



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

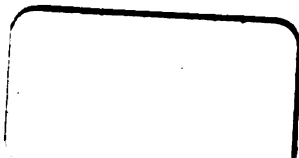
About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

A 865,774

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



**THIS "O-P BOOK" IS AN AUTHORIZED REPRINT OF THE
ORIGINAL EDITION, PRODUCED BY MICROFILM-XEROX BY
UNIVERSITY MICROFILMS, INC., ANN ARBOR, MICHIGAN, 1962**

Kotliarevskii, N. Nikolai Vasi.
St. Petersburg, 1903.

evich Gogol, 1829-1842.

Н. В. Гоголь

1829—1842

Н. Котляревскаго

ш.б., 7476

о.п., 85718

Спб. 1908

Kotliarevskii, Nestor Alexandrovich

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ГОГОЛЬ

Nikolai Vasilievich Gogol

1829—1842

ОЧЕРКЪ ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОВѢСТИ И ДРАМЫ

Н. А. КОТЛЯРЕВСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія И. Н. Скороходова (Индустриальный, 43)

1908

891.78
G 67
K 83
1903a

105.276422

ПАВЛУ ИГНАТЬЕВИЧУ

ЖИТЕЦКОМУ

одинъ изъ многихъ благодарныхъ воспитанниковъ.

КОЛЛЕГИ ПАВЛА ГАЛАГАНА

О личности Гоголя и его жизни, о заслугахъ его передъ нашимъ обществомъ и о художественной цѣнности его произведеній писано очень много. Все существенное достаточно выяснено, и все-таки тотъ, кто пожелалъ бы теперь вновь заговорить о Гоголѣ, не осужденъ всецѣло повторять старое.

Нашъ очеркъ не ставитъ себѣ цѣлью подробно ознакомить читателя съ біографіей поэта. Гоголь уже нашелъ біографа рѣдкой преданности и еще болѣе рѣдкой добросовѣстности. Кто хочетъ знать, какъ жилъ нашъ писатель, тотъ прочтетъ всю лѣтопись его жизни въ многотомномъ трудѣ В. И. Шенрока *), и если читателю случится иной разъ устать при этомъ чтеніи, то онъ, вѣроятно, вспомнитъ, что въ жизни каждаго человѣка, даже и очень крупнаго, всегда бываютъ скучные моменты и мало интересные дни. Для В. И. Шенрока, при его безпредѣльной любви къ Гоголю, всѣ прожитые потомъ дни были полны интереса, и біографъ былъ правъ со своей точки зрѣнія. Нашъ очеркъ не имѣетъ въ виду стать детальнымъ жизнеописаніемъ художника. Высшія условія жизни Гоголя будутъ приняты нами въ расчетъ лишь постольку, поскольку они прямо или косвенно вліяли на его настроеніе или на образъ его мыслей.

Наша работа не ставитъ себѣ также главной задачей

*) В. И. Шенрокъ. „Матеріалы для біографіи Гоголя“. IV тома. Москва, 1892 - 1898 г.

выясненіе художественной стоимости и общественнаго значенія произведеній Гоголя. Эта стоимость и значеніе давно опредѣлены. Мѣсто, занимаемое комедіями и повѣстями Гоголя въ исторіи нашей словесности, было вѣрно указано еще его современникомъ Бѣлинскимъ. Ошибка, имъ произведенная, хотя она и касалась преимущественно эстетической цѣнности созданій Гоголя, достаточно ясно намекала и на ихъ общественную роль. Это общественное значеніе творчества Гоголя въ связи съ его значеніемъ художественнымъ служило затѣмъ неоднократно предметомъ изслѣдованія. Посты Чернышевскаго, Аполлона Григорьева, А. Н. Пыпина и Алексея Н. Веселовскаго едва ли можно сказать что-либо новое по этому вопросу. Все знаютъ, какъ вмѣстѣ съ Пушкинымъ, Гоголь раздѣляетъ славу истинно-народнаго художника, перваго истиннаго реалиста въ искусствѣ. Никто не станетъ теперь преувеличивать гражданскихъ заслугъ Гоголя и, съ другой стороны, никто не просмотритъ того рѣшительнаго вліянія, какое слова Гоголя оказали на наше самосознаніе.

Такъ же точно едва ли есть необходимость пересматривать вновь исторію самого процесса художественной работы Гоголя, — исторію его «пріемовъ мастерства». Примѣчанія Н. С. Тихонравова къ его классическому изданію сочиненій нашего автора навсегда освободили историковъ литературы отъ труда надъ такимъ пересмотромъ.

Если признать, такимъ образомъ, что и біографія поэта, и художественная и общественная стоимость его произведеній, и, наконецъ, самые пріемы его работы достаточно выяснены и описаны, то на долю изслѣдователя, не желающаго ограничиться лишь повтореніемъ, выпадаетъ пересмотръ двухъ до сихъ поръ недостаточно разработанныхъ вопросовъ.

Надлежитъ, во-первыхъ, возстановитъ съ возможной

полнотой исторію психическихъ движеній этой загадочной души художника и, во-вторыхъ, изслѣдовать болѣе подробно ту взаимную связь, которая объединяетъ творчество Гоголя съ творчествомъ предшествовавшихъ и современныхъ ему писателей.

Изъ этихъ двухъ задачъ первая не допускаетъ полнаго рѣшенія. Гоголь унесъ съ собою въ могилу тайну своей души, этой загадочной души, психическія движенія которой были такъ сложны и такъ поражали современниковъ. Внутреннія мученія этого страждущаго духа, разрѣшившіяся настоящей душевной болѣзью—навсегда останутся полуобъяснимой загадкой. Изслѣдователь принужденъ ограничиться лишь догадками—попыткой возстановить послѣдовательную смѣну чувствъ и мыслей писателя по тѣмъ отрывочнымъ словамъ и намекамъ, какіе попадаются въ его переноскѣ и на нѣкоторыхъ интимныхъ страницахъ его произведеній.

Что же касается вопроса о томъ положеніи, какое занимаютъ произведенія Гоголя въ ряду современныхъ ему памятниковъ словеснаго творчества, то рѣшеніе этой задачи и возможно, и необходимо для правильной оцѣнки литературной и общественной роли нашего писателя.

У Гоголя были помощники,—писатели, которые своими трудами прокладывали ему дорогу или вмѣстѣ съ нимъ трудились надъ одной задачей, и даже болѣе пристально присматривались иногда къ нѣкоторымъ сторонамъ жизни, на которыя намъ сатирикъ не успѣлъ обратить должнаго вниманія. Вотъ эта-то связь творчествъ Гоголя съ литературными памятниками его времени и остается пока не вполне выясненной. Встарину одинъ лишь Бѣлинскій, на глазахъ котораго зрѣлъ Гоголь, оцѣнивалъ его творчество въ связи со всѣми литературными новинками тогдашняго дня. После Бѣлинскаго,

который такъ много способствовалъ укрѣпленію славы Гоголя—эта слава окончательно заглушила память о всѣхъ подвижникахъ нашего писателя, и о нихъ забыли. Когда на смѣну Гоголя пришли его ученики—тогда еще меньше было поводовъ вспомнить о старомъ. О немъ приходится, однако, теперь вспомнить и въ исторіи творчества нашего сатирика должно быть отведено мѣсто работѣ тѣхъ меньшихъ силъ, вмѣстѣ съ которыми ему удалось совершить свое великое дѣло. Разсказы объ этой совместной работѣ Гоголя и его сподвижниковъ и составить главную задачу нашего очерка. Мы постараемся выяснить, какъ фантазія русскихъ писателей постепенно сближалась съ русскою дѣйствительностью и какъ велико было значеніе словъ Гоголя въ исторіи этого сближенія жизни и вымысла.

При выполненіи этой задачи намъ нѣтъ нужды считаться со всѣмъ, что Гоголемъ было написано.

Литературная дѣятельность Гоголя, какъ извѣстно, приняла въ послѣдніе годы его жизни совсѣмъ особое направленіе. Художникъ-бытописатель превратился въ моралиста-проповѣдника. Это превращеніе подготовлялось издавна, чуть-ли не съ первыхъ шаговъ Гоголя на литературномъ поприщѣ: никакого рѣзкаго перелома, никакого кризиса его творчество не испытало, но общій характеръ его незамѣтно и постепенно измѣнился. Наступилъ моментъ, когда воплощеніе жизни въ искусствѣ стало Гоголя интересовать меньше, чѣмъ общій религіозно-нравственный смыслъ этой жизни и его обнаруженіе на практикѣ общественныхъ явленій. Это случилось приблизительно въ срединѣ 40-хъ годовъ, когда первая часть «Мертвыхъ Духовъ» была закончена, вторая набросана, первое полное собраніе сочиненій издано, когда вообще было создано все, что намъ оставилъ Гоголь-художникъ.

Такое преобладаніе размышленія надъ непосредственнымъ творчествомъ въ созданіяхъ художника совпало съ повышеніемъ въ самомъ обществѣ интереса къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ общественнаго характера, которые въ концѣ 40-хъ годовъ стали овладѣвать мыслью нашихъ публицистовъ и художниковъ.

На долю Гоголя выпала, такимъ образомъ, совсѣмъ особая роль: въ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ его произведенія были самыми выдающимися литературными явленіями и вокругъ нихъ главнымъ образомъ закипали всякіе литературные споры; въ концѣ сороковыхъ годовъ тѣ же Гоголь явился истолкователемъ разныхъ общественныхъ вопросовъ первостепенной важности. Дѣйствительно, какой бы строгой критикѣ мы ни подвергали его извѣстную «Переписку съ друзьями», мы должны признать, что появленіе этой книги оказало большое вліяніе на возбужденіе нашей общественной мысли и что сама эта книга была отвѣтомъ писателя на тѣ вопросы личной и социальной этики, которые тогда назрѣвали,—отвѣтомъ, нечернывающимъ или поверхностнымъ, вѣрнымъ или невѣрнымъ—это, конечно, вопросъ иной.

Такимъ образомъ, если въ творествѣ самого Гоголя и не признавать никакихъ рѣзкихъ переломовъ или поворотовъ, то все-таки исторія его литературной дѣятельности допускаетъ дѣленіе на двѣ эпохи, изъ которыхъ одна характеризуется расцвѣтомъ преимущественно художественнаго творчества поэта, а другая—стремленіемъ его осмыслить и понять жизнь, исключительно какъ проблему этическую и религіозную.

Разсмотрѣніе этой попытки художника стать судьей и истолкователемъ религіозныхъ, нравственныхъ и общественныхъ нуждъ его эпохи не войдетъ въ предѣлы

нашей работы: оно может составить предметъ совѣтъмъ особаго изслѣдованія. Мы будемъ говорить лишь о тѣхъ годахъ дѣятельности Гоголя, когда онъ былъ по преимуществу художникъ-бытописатель, не чуждый, конечно, тѣхъ религіозныхъ, нравственныхъ и общественныхъ идей, разъясненію которыхъ онъ посвятилъ послѣдніе годы своей жизни.

Въ предлагаемой книгѣ читатель неоднократно будетъ встрѣчаться съ однимъ общеизвѣстнымъ словомъ, которое въ данномъ случаѣ требуетъ нѣкотораго поясненія. Въ исторіяхъ литературы слова: *романтизмъ* и *романтическое* давно уже приобрѣли право гражданства, хотя филологическій ихъ смыслъ не имѣетъ никакого отношенія къ тѣмъ явленіямъ внутренней и внѣшней жизни человѣка, которыя этими словами обозначаются. Точнаго опредѣленія эти слова пока еще не получили и врядъ-ли когда-нибудь получатъ, такъ какъ они удобны именно своей неопредѣленностью. Въ нашей книгѣ они будутъ встрѣчаться часто, почти на всѣхъ тѣхъ страницахъ, на которыхъ намъ придется говорить о душевной жизни Гоголя и о проявленіи этой жизни въ его творчествѣ, а потому поясненіе этихъ словъ—если не нечернявяющее, то хоть приблизительное—направляется само собою.

Эти слова можно понимать въ смыслѣ общемъ и болѣе частномъ. Въ общемъ смыслѣ подъ словомъ *романтизмъ* должно разумѣть извѣстное душевное настроеніе—широко распространенное во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ. Люди рождаются романтиками, и это не мѣшаетъ имъ расходиться во взглядахъ на самые существенные вопросы жизни; среди нихъ есть и экзальтированные оптимисты и отчаянные пессимисты, люди опредѣленныхъ религіозныхъ вѣровѣданій и свободно вѣрующіе, консерваторы по политическимъ убѣжденіямъ и крайніе революціонеры, люди

самыхъ разнообразныхъ философскихъ убѣжденій, лишь бы эти убѣжденія не отрицали сверхчувственныхъ началъ жизни, наконецъ, люди, поклоняющіеся красотѣ въ жизни и въ искусствѣ, весьма различныя по своимъ вкусамъ и сходныя лишь въ одномъ—въ признаніи за искусствомъ преимущественнаго права не изображать жизнь таковой, какова она есть, а таковой, какою бы они ее хотѣли видѣть, въ ея красотѣ или безобразіи...

Романтическое настроеніе есть въ сущности лишь извѣстное характерное *отношеніе* человѣка къ вопросамъ жизни и духа, къ міру дѣйствительности и идеала; оно есть преимущественно тяготѣніе къ этому міру идеала, тяготѣніе безотчетное, которое нарушаетъ въ человѣкѣ нормальное равновѣсіе его ума и чувства, именно въ пользу послѣдняго.

Никогда и нигдѣ человѣкъ не могъ удовлетвориться настоящимъ, счесть все свои желанія исполненными и сказать въ гордомъ самомиѣніи, что онъ достигъ ступени умственнаго, нравственнаго и общественнаго развитія, за которую переступить не желаетъ. Духовная природа человѣка всегда влекла и влечетъ его къ иному міру—міру совершенному, въ который онъ перенесъ все ему дорогое, все свои высшія понятія о ненарушимой справедливости, неумирающей любви, неизмѣняющей истинѣ. Этотъ міръ идеала сопровождаетъ человечество по пути его жизни, свѣтитъ ему въ годы мрака, какъ библейское огненное облако. Всегда и вездѣ этотъ идеальный міръ быть человѣку и ободреніемъ, и укоромъ: онъ всегда занимаетъ его умъ и фантазію; иногда вслѣдъ поощляетъ его вниманіе и заставляетъ забывать о землѣ, иногда же служитъ ему главной поддержкой въ его упорномъ земномъ трудѣ надъ земной жизнью.

Религія, философія, искусство, все личныя, семейныя, гражданскія чувства должны приближать человѣка къ

этому міру и помогать ему въ борьбѣ съ тѣмъ, что онъ въ этой жизни считаетъ несовершенствомъ. Въ совѣтѣ особомъ отношеніи человѣка къ этимъ несовершенствамъ и заключается вся сущность «романтической» природы.

Какихъ бы убѣжденій ни держался романтикъ, онъ всегда либо отстаётъ отъ дѣйствительной жизни, либо опережаетъ ее. Въ немъ нѣтъ смиренія передъ неизбежнымъ, передъ фактомъ. Онъ почти всегда обезцѣниваетъ реальную жизнь, нередко презираетъ ее; насилуетъ свое понятіе и представленіе о ней ради своей мечты, часто томится о прошломъ, которое идеализируетъ и еще чаще живетъ предвкушеніемъ будущаго: критическое трезвое отношеніе къ факту не дается ему, потому что этотъ фактъ онъ всегда наблюдаетъ съ предвзятой точки зрѣнія, подгоняя его подъ тѣ общія начала жизни, въ которыя онъ увѣривать помимо всякихъ фактовъ. Свои стремленія романтикъ не привыкъ согласовать съ наличнымъ запасомъ своихъ силъ, и кропотливо работаетъ въ границахъ своихъ способностей надъ задачами жизни онъ почти неспособенъ; самые труднѣйшіе вопросы кажутся ему легко разрѣшимыми, и вмѣстѣ съ тѣмъ малѣйшія неудачи, неизбежныя въ жизни, губительно отзываются на его настроеніи. Романтикъ влюбленъ въ то идеальное представленіе о жизни, какое онъ себѣ составилъ, и потому-то онъ такъ трудно уживается съ житейскою прозой, неизбежною и для жизни необходимой. Все романтики въ основѣ своего темперамента, характера и ума—мечтатели, и этимъ опредѣляется ихъ общественная роль: безъ нихъ міръ погрязъ бы въ мелочахъ, но подъ ихъ исключительной властью онъ превратился бы въ фантазмагорію.

Таковъ общій смыслъ слова «романтизмъ»; но этимъ же словомъ можно пользоваться и въ смыслѣ болѣе частномъ. Имъ обозначаютъ иногда извѣстныя литературныя теченія конца XVIII и начала XIX вѣка въ Европѣ, т.-е.

тѣ, въ разныхъ странахъ различныя по своему идейному содержанію, но очень сходныя по основному характеру литературныя теченія, въ которыхъ всѣ вышеозначенные признаки романтической природы нашли свое художественное обнаруженіе и воплощеніе.

Въ этихъ двухъ смыслахъ—въ обще-психологическомъ и въ историко-литературномъ—понимаются слова «романтизмъ» и «романтической» и въ нашей книгѣ.

Вся трагедія Гоголя, какъ человѣка и писателя, заключалась въ томъ, что «романтическіе» порывы его души стали въ противорѣчіе съ его собственнымъ творчествомъ. Онъ былъ чистокровный романтикъ со всѣми отличительными чертами этого типа: къ спокойному отношенію къ жизни, къ трезвому суду надъ ней онъ былъ неспособенъ; мечта брала въ немъ всегда перевѣсъ надъ сознаніемъ дѣйтельности. Онъ любилъ жить въ мірѣ воображаемомъ и ожидаемомъ, т.-е. онъ либо разукрашалъ дѣйствительность, превращая ее въ сказку, либо воображалъ ее такой, какой она должна была бы быть сообразно съ его религиозными и нравственными понятіями. Онъ страшно тяготился разладомъ, который возникалъ между его мечтой и тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ, и онъ никогда не могъ смягчить ощущенія тоски и томленія—здоровой критикой существующаго и неизбежнаго. И онъ, какъ всѣ романтики, былъ влюбленъ въ тотъ идеалъ жизни, который онъ себѣ составилъ, и—главное—онъ считалъ себя призваннымъ торопить наступленіе и торжество этого идеала на землѣ. Онъ былъ не только мечтающій романтикъ, но и борющійся.

И при всей такой романтической организаціи духа онъ былъ одаренъ удивительнымъ даромъ, который и составилъ всю красоту и все несчастье его жизни. Онъ обладалъ рѣдкой способностью замѣчать всю прозаичность, мелочность, всю грязь жизни дѣйствительной. Всѣ тѣ прозаиче-

скія стороны жизни, отъ которыхъ романтикъ обыкновенно отворачивается, которыхъ онъ не замѣчаетъ, или не хочетъ замѣтить, всё просились на палитру Гоголя, и требовали отъ него воплощенія въ искусствѣ. Рѣдко когда природа создавала челоуѣка, столь романтическаго по настроенію и такого мастера изображать все пероантическое въ жизни. Естественно, что при такой раздвоенности настроенія и творчества художникъ былъ осужденъ на страданіе, и не могъ освободиться отъ тяжелаго душевнаго разлада, который долженъ былъ кончиться побѣдой одного какого-нибудь дара: либо способность реально изображать жизнь во всей ея прозѣ должна была въ писателѣ утишить романтическіе порывы его сердца. либо, наоборотъ, это романтическое настроеніе должно было исказить и подавить его даръ правдиваго воплощенія жизни въ искусствѣ. Такъ какъ Гоголь отъ рожденія, по природѣ своей, былъ типичный романтикъ, то романтическое настроеніе въ концѣ-концовъ и одержало въ немъ рѣшительный верхъ, и его талантъ художника-бытописателя реальной жизни былъ осужденъ на гибель.

Эта трагедія артистической души усложнилась еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что Гоголю пришлось жить и дѣйствовать въ эпоху, когда романтическое настроеніе—столь сильное въ Европѣ и у насъ въ первыя десятилѣтія XIX вѣка—шло замѣтно уже на убыль. Отъ мечтаній и надеждъ, отъ довѣрливаго оптимизма или поспѣшнаго разочарованія нашъ писатель сталъ переходить къ трезвой критикѣ дѣйствительности, къ изученію ея во всѣхъ ея прозаическихъ деталяхъ. Романтики-мечтатели должны были почувствовать себя чужими при этомъ поворотѣ общественнаго интереса и симпатій, и въ особенности тяжело пришлось тѣмъ, кто, какъ Гоголь, не только считалъ себя художникомъ, а думалъ, что онъ призванъ работать непосредственно надъ нравственнымъ улучшеніемъ ближняго.

Чѣмъ больше въ Гоголѣ разгоралось это желаніе помочь своимъ ближнимъ въ дѣлѣ нравственнаго и общественнаго воспитанія, тѣмъ труднѣе становилось ему, какъ художнику. Даръ обличителя житейской прозы казался ему недостаточнымъ для этой высокой цѣли, а романтическая способность упреждать жизнь въ мечтахъ и жить въ просвѣтленномъ мірѣ не находила для своего обнаруженія подходящихъ словъ и образовъ, и становилась все менѣе и менѣе современной и нужной для того дѣла трезваго критическаго отношенія къ жизни, которое къ концу сороковыхъ годовъ начинало сказываться въ нашемъ обществѣ.

Жизнь романтика должна была при такихъ условіяхъ стать глубокой трагедіей, и таковой она, дѣйствительно, и стала.



I.

Народныя черты характера Гоголя.—Его настроеніе въ дѣтствѣ.—Страшности этого настроенія.—Школьная жизнь.—Мечты о своемъ призваніи и планъ будущаго.

Биографію Гоголя принято начинать обыкновенно съ описанія той природы, среди которой онъ выросъ, и съ указанія на основныя черты характера той народности, изъ среды которой онъ вышелъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что Малороссія оказала большое вліяніе на развитіе его характера и его поэтическаго дарованія. Гоголь попалъ на сѣверъ лишь на 20-мъ году своей жизни—все свое дѣтство и юность прожилъ онъ въ южной усадьбѣ и въ городѣ Нѣжинѣ, гдѣ учился.

Есть какая-то затаенная грусть въ малороссійской природѣ; въ ней нѣтъ ни строгости, ни энергичнаго величія природы сѣверной, ни жгучей, страстной красоты настоящаго юга; ея красота по преимуществу томная, мечтательная, какъ греза безъ ясныхъ очертаній и сильнаго движенія. Народъ, живущій издавна среди этой природы одаренъ и соответствующими чертами характера — идилическимъ настроеніемъ души, переходящимъ иногда въ волевою слабость, грустной мечтательностью, которая всегда своритъ съ весельемъ, и живой, но не грандіозной фантазіей. Природа надѣлила малорусскій народъ, кромѣ того, особымъ даромъ—юморомъ, столь типичнымъ для всѣхъ, даже скромныхъ представителей этой національности. Трудно опредѣлить точно, въ чемъ этотъ даръ заключается; иногда это просто комическая жилка—способность оттѣнить въ предметъ или въ вопросѣ его смѣшную сторону, чтобы позабавиться — такъ, для невинной потѣхи; иногда это — своеобразный взглядъ на вещи, ищущій въ насмѣлкѣ противоясія грусти и ограждающій себя смѣхомъ отъ слишкомъ печальныхъ выводовъ и размышленій.

Всѣ эти народныя черты характера сохраняли свою власть и надъ жизнью и творчествомъ Гоголя. Сентиментальное романтическое сердце, любящее нѣжиться въ грусти, и острый, насмѣшливый умъ—вотъ тѣ дѣятели силы, которыя въ немъ никакъ не могли ужитья. Сердце было всегда лирически настроено и на землѣ тосковало по туманному идеаль-

ному міру, умъ всегда былъ трезвъ и обладалъ удивительною способностью замѣчать именно въ этой земной жизни всѣ ея несовершенства, ея неизбежную ложь, грязь и пошлость. Трудно было жить съ такими дарами духа, и Гоголь заплатилъ за нихъ своимъ душевнымъ покоемъ и счастьемъ.

Но еще задолго до того времени, когда зоркость художественнаго взгляда и лиризмъ сердца стали такъ враждовать между собой—еще въ ранніе школьные годы, Гоголь сроднился съ тревогою духа.

Какая-то неотгаивная мысль, весьма, впрочемъ, неопредѣленная, но мысль во всякомъ случаѣ серьезная и грустная, шла рука объ руку съ тѣмъ весельемъ и той рѣзвостью, какія, судя по воспоминаніямъ товарищей, проявлялъ этой хитрый мальчикъ. А онъ былъ хитеръ, скрытенъ и себѣ на умѣ, и таковымъ остался всю жизнь, къ немалому огорченію лицъ, которыя думали, что въ душѣ этого человѣка могли читать, какъ въ своей собственности.

Когда позднѣе серьезная сторона жизни приобрѣла въ его глазахъ гораздо большую цѣну. чѣмъ сторона веселая, когда задумчивость и грусть поколебали совѣсть его духовное равновѣсіе—трагедія его души можетъ быть объяснена трудностью того положенія, какое занялъ онъ—художникъ на отвѣтственномъ посту—передъ лицомъ родины, которая, какъ онъ былъ убѣжденъ, ждала отъ него прорицаній. Но любопытно, что еще въ дѣтствѣ у него были проблески этого сознанія отвѣтственности и сознанія своей силы; любопытно, что уже въ его дѣтскихъ интимныхъ рѣчахъ можно подмѣтить въ зародышѣ ту самую мысль, которая его позднѣе такъ мучила мыслью о томъ, что на него возложена какая-то великая миссія.

Людьми нерѣдко въ дѣтскомъ возрастѣ приходится считаться съ ударами судьбы. Эти удары на разныхъ людей разнѣ дѣйствуютъ: много закаливаютъ и дѣлаютъ жизнеупоритѣ, много расслабляютъ и заставляютъ теряться передъ мнущою — слѣдствіемъ чего почти всегда бываетъ осадокъ меланхоли и печали въ сердцѣ человѣка. Гоголю не пришлось испытать такихъ ударовъ въ дѣтствѣ.—и не они виноваты въ его ранней грусти.

Въ семьѣ царилъ любовь и согласіе. Ребенокъ росъ въ довольствѣ, воспитывался, какъ настоящій помѣщичій сыночекъ, и былъ очень избалованъ. Шлизи, рассказываютъ, также много. Счастливымъ условіемъ этой дѣтской жизни былъ и общій интеллигентный уровень всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя окружали ребенка. И семья Гоголя, и ея знакомые—были люди, чьи интересы умственные и литературные не были чужды. Отецъ поэта, какъ извѣстно, былъ авторомъ нѣсколькихъ игри-

выхъ комедій. Особого вліянія онъ, впрочемъ, на сына не оказалъ, такъ какъ умеръ очень рано. Если кто вліялъ непосредственно на ребенка, такъ это его мать — женщина очень религіозная. Ея вліяніе сказалося, по всѣмъ вѣроятіямъ, на томъ повышенномъ религіозномъ чувствіи, которое всегда, съ юныхъ лѣтъ, было живо въ душѣ ея сына. Она же, вѣроятно, болѣе другихъ и избаловала его. За эти-то попеченія много лѣтъ спустя ей и пришлось выслушать отъ сына нижеприведенное наставленіе: «Я очень хорошо помню—писалъ онъ матери въ 1833 году — какъ меня воспитывали. Вы употребляли все усиліе воспитать меня какъ можно лучше. Но, къ несчастію, родители рѣдко бываютъ хорошими воспитателями дѣтей своихъ. Вы были тогда еще молоды, въ первый разъ имѣли дѣтей, въ первый разъ имѣли съ ними обращеніе, и такъ могли ли вы знать, какъ именно должно приступить, что именно нужно? Я помню: я ничего сильно не чувствовалъ, я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ. Никого особенно не любилъ, исключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула эти чувства» *).

Иногда школа исправляетъ ошибки семьи и излишнее баловство въ семьѣ находитъ себѣ поправку въ школьной дисциплинѣ. Школа кое-чему научила и Гоголя, но только отнюдь не дисциплинѣ. На тринадцатомъ году онъ былъ отданъ въ Нѣжинскій лицей, и веселая жизнь въ усадьбѣ смѣнилась не менѣе веселой жизнью въ корридорахъ училища, въ его саду и въ окрестностяхъ маленькаго провинціального городка, гдѣ, вѣроятно, всѣ жители знали другъ друга по имени и, навѣрное, звали по имени и нашего студента, который много проказничалъ.

По свидѣтельству товарищей, Гоголь особеннымъ прилежаніемъ въ школѣ не отличался; онъ вынесъ изъ аудиторіи мало знаній, и вина въ данномъ случаѣ, едва ли падаетъ на учителей, которые, впрочемъ, также особенными талантами не блистали. Нѣжинъ оказалъ вліяніе только на общее развитіе юноши, умственный кругозоръ котораго расширился въ средѣ талантливыхъ товарищей. Но надъ этимъ расширеніемъ, кажется, больше, другихъ работалъ онъ самъ—кое-что онъ почитывалъ, а главное—наблюдалъ; общеніе съ весьма разнообразными классами общества, начиная съ лицейскаго начальства, кончая крестьянами городскихъ предмѣстій, куда онъ часто заглядывалъ, давало не мало пищи его остроумію и фантазіи. Яркій слѣдъ этой изощряющейся наблюдательности остался на его уцѣлѣвшихъ литературныхъ школьныхъ опытахъ и, вѣроятно, этотъ слѣдъ былъ еще болѣе замѣтенъ на тѣхъ его сатирахъ и памфлетахъ,

*) «Письма Н. В. Гоголя». Редакція В. И. Шенрока. Сиб. 1901, I. 260.

которые онъ писалъ также въ школы и которые, къ сожалѣнію, утратились. Много интересовался Гоголь въ эти юношескіе годы и театромъ: онъ ставилъ пьесы и самъ игралъ и, говорятъ, съ большимъ успѣхомъ. Не всего болѣе онъ въ эти годы думалъ, думалъ о самыхъ различныхъ и иногда очень серьезныхъ вопросахъ, и они-то и были источникомъ его грусти.

Стоить только перелистать школьную переписку Гоголя, чтобы увидеть, какая передъ нами сложная психическая организація. Эта юношеская переписка необычайно важна для характеристики всего склада его души. (Знакомимся же съ этими ранними признаками, въ которыхъ мы безъ труда узнаемъ совѣсть еще юнаго «искателя правды», т.-е. члена той у насъ довольно распространенной семьи моралистовъ отъ рожденія, для которыхъ жизнь—рядъ поводовъ терзать свою душу разными трудными вопросами. Дѣйствительно, въ раннихъ письмахъ Гоголя, передъ нами длинная вереница такихъ серьезныхъ размышленій, иногда изложивныхъ въ удивительно вычурномъ, патетическомъ тонѣ, который звучитъ подчасъ неискренно и непріятно. Но такое вычурное патетическое выраженіе бываетъ нерѣдко прямымъ слѣдствіемъ повышенности очень искренняго чувства, слишкомъ еще интенсивнаго и потому не способнаго изъ нѣсколькихъ выраженій выбрать себѣ наиболѣе подходящее; и у Гоголя, какъ извѣстно, эта вычурность языка всегда проступала наружу, когда онъ говорилъ о чемъ-нибудь сердцу его наиболѣе дорогомъ и близкомъ.

Одна мысль въ его дѣтскихъ письмахъ останавливаетъ на себѣ преимущественно наше вниманіе. Это мысль о томъ, что я — странная натура, иначе, чѣмъ другія; созданная, чувствующая и думающая иначе; куда идти мнѣ и какой избрать родъ дѣятельности, соответствующій той силѣ, какую я въ себѣ чувствую?

Какъ виднѣтъ, это та жеская мысль, съ которой Гоголь легъ въ могилу.

Гоголь еще въ самую раннюю пору жизни произвелъ себя въ какую-то загадочную натуру и какъ будто гордился этимъ: онъ почему-то думалъ, что уже успѣлъ испить отъ житейской печали и скорби, что вообще его отношенію къ жизни совѣсть иное, чѣмъ у другихъ людей его возраста. На обыкновенномъ школьномъ языкѣ такое состояніе духа иногда называютъ «ломаньемъ», но если доля такого «лома» и была въ ранней исповѣди Гоголя, то въ цѣломъ эта исповѣдь все-таки была правдива: что-то необычное и пока неяснѣе сознавалъ въ себѣ этотъ странный юноша.

Вотъ что онъ пишетъ матери наканунѣ выхода изъ школы: «Я больше испыталъ горя и нужды, нежели вы думаете; я нарочно старался у васъ

всегда, когда бываю дома, показывать разсѣянность, своеправіе и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало былъ принижавемъ злою. Но врядъ ли кто вынесъ столько неблагодарностей, несправедливостей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣвія и проч. Все выносила я безъ упрековъ, безъ роптанія, никто не слыжалъ моихъ жалобъ, я даже всегда хвалила виновниковъ моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всѣхъ; никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своеправнымъ, какимъ-то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнѣе всѣхъ, что онъ создастъ на другой ладъ отъ людей. Вы меня называете мечтателемъ, опрометчивымъ... Нѣтъ, я слишкомъ много знаю людей, чтобы быть мечтателемъ. Уроки, которые я отъ нихъ получилъ, останутся навѣки неизгладимыми, и они—вѣрная порука моего счастья» *).

Читая это письмо, бѣдная Марія Ивановна, вѣроятно, вѣрила каждому слову своего сына, тѣмъ болѣе, что и раньше онъ въ своихъ письмахъ говорилъ ей приблизительно то же, только не все сразу, какъ онъ это сдѣлалъ въ этомъ признаніи. Мы можемъ быть болѣе строги и можемъ заподозрить въ этихъ словахъ преувеличеніе, которое тѣмъ не менѣе весьма характерно. Преувеличивать Гоголь любилъ и позднѣе: ему всегда казалось, что жизнь на него смотритъ гораздо болѣе страшными глазами, чѣмъ это было на самомъ дѣлѣ; но эти равнія жалобы на одиночество, на неловкое, трудное, страдательное положеніе среди людей—показатели, хоть и неопредѣленного, но всетаки весьма задумчиваго отношенія юноши къ тому, мимо чего мы обыкновенно въ юности проходимъ, т. е. къ общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздробленными впечатлѣніями отдѣльныхъ минутъ и частныхъ будничныхъ столкновеній.

Иногда въ итогъ такого обобщенія житейскихъ встрѣчъ и явленій получался у нашего мечтателя вызывающій и презрительный отзывъ о людяхъ. Въ письмѣ къ одному пріятелю Гоголь въ такихъ словахъ говорилъ о своей лицейской жизни: «Какъ чувствительно приближеніе выпуска, а съ нимъ и благодѣтельной свободы: не знаю, какъ-то на слѣдующій годъ я перенесу это время! (Рѣчь идетъ объ экзаменахъ)... Какъ тяжело быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе человека. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться...

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 97—98.

изъ нихъ не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь въ зеркалѣ видишь меня. Пожалѣй обо мнѣ! Можетъ быть слеза соучастія, отдавшаяся на твоихъ глазахъ, послышится и мнѣ *)». Все это очень реторично и некрасиво высказано. Но во всей этой тирадѣ и тому подобныхъ, которыхъ въ письмахъ Гоголя не мало, есть и нѣчто истинное и искреннее; это—нелюбое пока чувство своего превосходства, чувство ничѣмъ еще не оправданное и потому лишь эстетически высказанное и взвѣшенное. Ставить юношѣ въ упрекъ это раннее самолюбіе, это подчеркиваніе своего отличія отъ всѣхъ остальныхъ людей, это кокетничанье своей загадочностью—можно, но надо помнить, что этотъ порокъ вытекалъ, безсознательно для самого Гоголя, изъ безспорнаго превосходства его ума и чувства, въ которомъ онъ не давалъ себѣ пока яснаго отчета.

Такое же неопредѣленное честолюбіе и плохо скрытая гордыня видны и въ его мечтаніяхъ о своемъ будущемъ, мечтаніяхъ, которыми онъ часто отдавался въ школѣ и которыя повѣрялъ охотно своей матери. Это темное предчувствіе славы въ грядущемъ, увѣренность въ великомъ подвигѣ, который его ожидаетъ—явленія довольно обычныя въ юношеской жизни людей крупныхъ. Они не должны удивлять насъ и въ Гоголѣ. Однако, въ этихъ мечтахъ нашего лицемѣста о будущей своей славѣ, есть нѣчто опять-таки очень своеобразное.

Въ 1826 году, въ веселую и добрую минуту онъ пишетъ матери: «Вы знаете, какой я охотникъ до всего радостнаго. Вы одиѣ только видѣли, что подъ видомъ иногда, для другихъ холоднымъ, угрюмымъ, таилось кипучее желаніе веселости (разумѣется не буйной) и часто, въ часы задумчивости, когда другимъ казался я печальнымъ, когда они видѣли или хотѣли видѣть во мнѣ признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывалъ науку веселой, счастливой жизни, удивлялся какъ люди, жадыые счастья, немедленно убѣгаютъ его, встрѣтившись съ нимъ. Ежели о чемъ я теперь думаю, такъ это все о будущей жизни моей. Во снѣ и на яву мнѣ грезится Петербургъ, съ нимъ выѣстъ и служба государству. До сихъ поръ я былъ счастливъ, но ежели счастье состоятъ въ томъ, чтобы быть довольну своимъ состояніемъ, то не совѣмъ, — не совѣмъ до вступленія въ службу, до пріобрѣтенія, можно сказать, собственнаго постояннаго мѣста **).

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 75.

**») «Письма Н. В. Гоголя I, 56, 59.

Въ другую, печальную минуту, вспоминая своего покойнаго отца, онъ пишетъ матери: «Сладостно мнѣ быть съ нимъ (т.-е. съ образомъ усопшаго), я заглядываю въ него, т.-е. въ себя, какъ въ сердце друга, испытую свои силы для поднятія труда важнаго, благороднаго на пользу отечества, для счастья гражданъ, для блага жизни подобныхъ, и, дотогѣ нерѣшительный, неувѣренный (и справедливо) въ себѣ, я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія... Черезъ годъ вступаю я въ службу государственную» *).

«Какъ угодно, почитайте меня, но только съ настоящаго моего поприща вы узнаете настоящій мой характеръ—пишетъ онъ матери, уже прощаясь съ Шѣжиномъ. Вѣрите только, что всегда чувства благородныя наполняютъ меня, что никогда не унижался я въ душѣ; и что я всю жизнь свою обрекъ благу... Вы увидите, что современемъ за всѣ худыя дѣла людей я буду въ состояніи заплатить благодареніями, потому что зло ихъ мнѣ обратилось въ добро» **).

Итакъ, скорѣй въ Петербургъ. «Уже ставлю мысленно себя въ Петербургъ — мечталъ онъ — въ той веселой комнаткѣ, окнами на Неву, такъ, какъ я всегда думалъ найти себѣ такое мѣсто. Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я точно жить въ такомъ райскомъ мѣстѣ или неутомимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ!» ***). Читая всѣ эти размышленія о предстоящемъ подвигѣ на благо людей и эти постоянные вздохи о Петербургѣ и службѣ: трудно отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что именно въ данномъ случаѣ такъ разжигало фантазію Гоголя. Было ли это въ самомъ дѣлѣ высокое честолюбіе, унаслѣдованное отъ предковъ, какъ утверждаетъ одинъ біографъ ****)? Едва ли. Вѣришь предположить, что столь популярное тогда слово «служба» и слово «служеніе» совпадали въ мечтахъ Гоголя о своемъ будущемъ. Дѣйствительно, нашъ художникъ всю жизнь признавалъ себя «служителемъ» общественнаго блага и даже тогда, когда отъ всякихъ честолюбивыхъ плановъ пришлось отказаться, онъ не переставалъ смотрѣть на свою писательскую дѣятельность, какъ на «службу» государству, и раздавалъ направо и налево совѣты государственной мудрости. Такъ и въ юные годы

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 68.

***) «Письма Н. В. Гоголя» I, 98.

****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 78.

*****) Срав. А. Колломица. «Дѣтство и юность Гоголя». «Московскій Сборникъ». С. Шарапова. М. 1887 г., стр. 224.

силась у него представление о службѣ въ Петербургѣ съ представлениемъ о служеніи на благо ближняго.

Но самое поразительное въ этихъ мечтахъ юноши, это полное молчаніе о писательской каррьерѣ: Гоголь настойчиво говоритъ о своемъ желаніи принести людямъ пользу, облагодѣтельствовать ихъ, и кромя «службы» онъ не видитъ иного пути для достиженія этой цѣли; онъ какъ будто не желалъ замѣтить, что въ его распоряженіи находится совсѣмъ особый даръ для служенія людямъ. Нельзя, однако, предполагать, что онъ совсѣмъ не сознавалъ въ себѣ этого дара, и потому-то молчаніе о немъ такъ странно. У писателей замѣчается обыкновенно еще въ дѣтствѣ большое пристрастіе и большое довѣріе къ будущему своему излюбленному дѣлу: они дѣтьми о немъ мечтаютъ. Гоголь въ данномъ случаѣ составлялъ исключеніе. Насколько позднѣе онъ высоко цѣнилъ свою писательскую дѣятельность, считая ее боговдохновеннымъ пророчествомъ, настолько небрежно относился онъ къ ней въ ранней юности и даже, какъ сейчасъ увидимъ, въ первые годы своей литературной работы.

А между тѣмъ въ школѣ онъ трудился надъ своимъ литературнымъ образованіемъ довольно усердно и самъ пописывалъ не мало и охотно.

II.

Литературные опыты въ школѣ.—Неоконченныя историческія повѣсти.—Идиллія «Гавицъ Кюхельгартовъ».—Ея содержаніе и биографическое значеніе.—Туманные идеалы.—Впечатлѣніе, произведенное Петербургомъ.—Неудача съ идилліей.—Вѣстие за границу.—Тревожное состояніе духа и успокоеніе.—Возвращеніе въ Петербургъ и поступленіе на службу.—Работа надъ «Вечерами на хуторѣ».—Ихъ выходъ въ свѣтъ въ 1831 и 1832 гг.

Гоголь пробовалъ свои силы и въ стихахъ, и въ прозѣ, пробовалъ въ разныхъ тонахъ, и веселыхъ, и грустныхъ, и въ различныхъ формахъ, и лирической, и повѣствовательной. Писалъ онъ сатиры и стихи на случай, наполняя ими издававшіеся въ лицѣ рукописныя журналы, написалъ какую-то трагедію «Разбойники», набросалъ нѣсколько историческихъ повѣстей и много потрудился надъ идилліей въ стихахъ, которая и была первымъ его произведеніемъ, появившимся въ печати. Биографъ Гоголя замѣтилъ совершенно вѣрно, что въ этихъ юношескихъ произведеніяхъ нашъ писатель предпочиталъ высокій стиль низкому и отдавалъ предпочтеніе патетическимъ темамъ передъ комическими *).

Патетиченъ былъ онъ, когда въ Иѣжинѣ воспѣвалъ Италію, когда впервые съ чужихъ словъ говорилъ объ этой странѣ лимоновъ и миртъ, которая въ послѣдствіи стала для него второй отчизной. Онъ воспѣвалъ ее въ стихахъ, не совсѣмъ гладкихъ и звучныхъ, но зато въ мечтахъ предъ нимъ звучали и лились «октаны» Тассо. Патетично настроенъ былъ онъ, когда писалъ свой историческій романъ «Гетьманъ», въ которомъ рассказывалъ страшное преданіе о томъ, какъ вѣкій благочестивый дьяконъ пошелъ усовѣщевать безбожныхъ ляховъ въ ихъ гнѣздо разврата, какъ его повѣсили на соснѣ, какъ затѣмъ посинѣла эта сосна, подобно мертвецу, какъ кивала убійца своей всклокоченной бородою, какъ она сквозь стѣну его спальни простерла къ нему свои колючія вѣтви, съ которыхъ капала на него не-

*) В. И. Шенрокъ. «Матеріалы для біографіи Гоголя». I, 88.

виная кровь. И уже въ этомъ романѣ, отъ котораго сохранилась только одна глава, можно было замѣтить мастерство прѣмовъ Гоголя въ описаніи природы, въ реализмѣ діалоговъ, въ умѣніи пользоваться фантастичнымъ и страшнымъ. Патетиченъ и страшенъ былъ нашъ молодой писатель и въ другомъ своемъ историческомъ романѣ, когда описывалъ монастырскую темницу, гдѣ «цѣлыя доски паутины вѣли темными клоками съ земляного свода, гдѣ обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу, гдѣ на одной изъ этихъ кучъ торчали человѣческія кости, гдѣ летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ, гдѣ, наконецъ, сова и летучая мышь были-бы красавицами». Ужасъ возбуждалъ нашъ рассказчикъ въ читателѣ, когда говорилъ о несчастномъ плѣнникѣ, котораго везли, чтобы заключить въ эту темницу, плѣнникѣ, который весь съ ногъ до головы былъ увязанъ ружьями, придавленъ пушечнымъ лафетомъ и привязанъ толстымъ канатомъ къ сѣдлу. «Оскѣтитъ бы мѣсячному лучу хоть на минуту этого несчастнаго—фонтъ бы (т. е. мѣсяць), вѣрно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мѣсяць не могъ видѣть лица его, потому что оно было заковано въ желѣзную рѣшетку»... Не всегда, впрочемъ, нашъ авторъ писалъ въ такомъ романтически-ужасномъ стилѣ. Въ третьей своей повѣсти «Странный кабанъ», удѣлявшей также лишь въ отрывкахъ, онъ набросалъ рядъ жанровыхъ картинокъ изъ малороссійской жизни, въ которыхъ былъ уже видѣнъ авторъ «Вечеровъ на хуторѣ». Здѣсь была дана мѣткая, полная юмора, характеристика школьнаго учителя, тщательно вырисованная сценка сельской жизни и рассказана очень граціозная, веселая любовная идиллія, которая потомъ будетъ такъ часто попадаться въ его малороссійскихъ повѣстяхъ.

Среди всѣхъ этихъ отрывковъ и литературныхъ плановъ «Ганць Кухельгартенъ»—идиллія въ стихахъ—представляетъ наибольшій интересъ для біографа. Въ художественномъ отношеніи эта идиллія стоитъ неизмѣримо ниже прозаическихъ отрывковъ изъ недоконченныхъ романовъ Гоголя, но она имѣетъ совсѣмъ иное значеніе: она документъ, важный для опредѣленія настроенія, въ какомъ находился нашъ мечтатель въ послѣдніе годы своей лицейской жизни. Эта странная греза съ ея героями изъ нѣмцевъ и съ обстановкой не русской, была въ сущности страницей изъ жизни самого автора, который скрылся подъ псевдонимомъ. Гоголь вложилъ много души въ эту сентиментальную повѣсть, которая причинила ему затѣмъ столько огорченій. Въ ней, безспорно, были самыя свѣжія воспоминанія и намеки на собственные думы и впечатлѣнія, что между про-

чямъ, подтверждается сходствомъ нѣкоторыхъ строфъ этой идилліи съ письмами Гоголя послѣднихъ лѣтъ его лицейской жизни. В. И. Шенрокъ далъ убѣдительные примѣры такихъ совпадений *) и тѣмъ самымъ рѣшилъ вопросъ и объ оригинальности «Ганца». Давно было указано на довольно извѣстную идиллію Фосса «Луиза», какъ на оригиналъ, который могъ служить Гоголю образцомъ для его «Ганца»—предположеніе, которое напрашивалось, въ виду общаго тона и сентиментальнаго настроенія въ этихъ двухъ памятникахъ. Сходство это однако чисто-внѣшнее, и у Фосса нѣтъ и намекъ на тотъ типъ, который данъ въ самомъ Ганцѣ. Но если даже и предположить въ данномъ случаѣ заимствованіе, то оно ничуть не понижаетъ автобіографическаго значенія этого перваго опыта. Западный образецъ надо въ крайнемъ случаѣ признать не за оригиналъ, съ котораго Гоголь списывалъ, а за предлогъ, который натолкнулъ Гоголя на мысль воспользоваться сходной внѣшней формой для выраженія своего внутренняго чувства. Припомнимъ содержаніе этой юношеской грезы.

Подъ тѣнью липъ стоитъ уютный домикъ пастора... Патриархальную жизнь ведутъ его обитатели. Старый пасторъ среди мирной своей семьи какъ бы предвкушаетъ вѣчный миръ небесныхъ селеній, и веселая весенняя природа улыбается ему, какъ вѣстникъ вѣчнаго свѣта, тепла и радости. Семья его не велика, но зато при немъ его Луиза, рѣзвая, свѣжая, любящая, какъ ангелъ-посѣтитель, озаряющая закатъ его дней. Все бы обстояло въ этой семьѣ благополучно, когда бы только не Ганцъ. Странный человекъ этотъ Ганцъ! Онъ вѣрно боленъ. Онъ обнаруживаетъ всѣ симптомы романческаго душевнаго разстройства. Въ часъ полночи, часъ мечтаній, сидитъ онъ за книгою преданій и перевертывая листы, ловитъ въ ней только нѣжныя буквы. Онъ живетъ въ вѣкахъ прошлыхъ; очарованъ чудесной мыслью, сидитъ онъ подъ сумрачной тѣнью дуба и простираетъ руки къ какой-то тайной тѣни. Онъ страдаетъ отъ прозы жизни, его тянетъ вдаль, вдаль не только пространства, но и времени. Онъ вздыхаетъ по древней Греціи, по ея свободѣ, славнымъ дѣламъ и прескраснымъ созданіямъ искусства.

И Ганцъ рѣшается бѣжать, пропѣвъ предварительно подъ окномъ своей невѣсты прощальную пѣсню. Гоголь, конечно, читалъ Байрона, такъ какъ не даромъ, когда Ганцъ, постоявъ нѣкоторое время въ раздумьи, удаляется, окутанный туманомъ, подъ вой вѣтра—

*) В. И. Шенрокъ, «Матеріалы для біографіи Гоголя», I, 159.

Вѣрный несъ какъ бы въ укоръ
Пролаялъ звучно на весь дворъ.

Въ эту ночь разлуки Луиза видѣла тяжелый сонъ; ей приснилось, что она въ темной пустынѣ, что вокругъ нея туманъ и глушь... По пришеству Татьяны, которая видѣла тотъ же сонъ, Луиза успѣшила найти разгадку своего сновидѣнiя и вообще бѣгства Ганца въ его собственномъ кабинетѣ. Вѣстѣ съ матерью онѣ начали рыться въ его книгахъ и романтическая тайна обнаружилась:

Вотъ входить въ комнату онѣ,
Но въ ней все пусто. Въ сторонѣ
Лежать въ густой пыли томъ давнiй
Платонъ и Шиллеръ свосправный.
Петрарка, Тикъ, Аристофанъ,
Да позабытый Винкельманъ.

Подборъ книгъ чрезвычайно любопытный. Это—библіотека, составленная изъ сочиненiй лучшихъ выразителей тѣхъ поэтическихъ мотивовъ, которые преобладаютъ въ поэзиі самого Гоголя. Платонъ и Шиллеръ, какъ пѣвцы того міра идей, тоска по которомъ не покидала нашего писателя во всѣ моменты его жизни; Петрарка, какъ пѣвецъ неземной любви, влюбленный въ воздушный женскiй образъ, которымъ бредила и разгоряченная фантазія нашего поэта; Аристофанъ—Гоголь афинской республики; Винкельманъ—восторженный жрецъ античной красоты и, наконецъ, Тикъ, средневѣковой Паладинъ, кудесникъ, живущiй въ такомъ ладу со всѣмъ міромъ привидѣнiй.

Цѣлыхъ два года пространствовалъ Ганцъ, помышляя о жертвахъ сѣдой брениности. Старикъ тѣмъ временемъ умеръ, надъ его могильнымъ холмомъ шумятъ смиренно два зеленыхъ явора... А Луиза?.. она ходитъ на его могилу и опершись лилейной рукой на урну сидитъ долго въ раздумьи. Она въ своей томной грусти какъ серафимъ, который тоскуетъ о пагубномъ паденiи человѣка. Она по прежнему ждетъ Ганца. Наконецъ онъ возвращается. Но кто бы узналъ въ немъ прежняго Ганца? Житейскiй опытъ превратилъ юношу въ старца. Его житейская мудрость свелась къ правилу, которое гласило, что если въ человѣкѣ нѣтъ желѣзной воли и силъ исполнить великое предназначеніе, то лучше въ скромной тишинѣ протекать по полю жизни, довольствоваться скромной семьей и не внимать шуму свѣта. Такъ дѣйствительно и поступилъ Ганцъ, вернувшись къ своей Луизѣ. Тяжкій сонъ страданiй съелъ съ его души, онъ переродился живой и спокойный, женился на Луизѣ... и потоки для нашего Ганца мирные годы счастья.

Гаяцъ — портретъ самого Гоголя, конечно идеализированный, но въ основныхъ чертахъ вѣрный. Тревожное состояніе духа, неясность желаній, стремленіе вдаль, на поиски за чѣмъ-то непонятнымъ, недовольство скромной дѣйствительностью—всѣ эти приступы романтической болѣзни испыталъ на себѣ очень рано и Гоголь. Въ одномъ только идилліи не совпала съ жизнью поэта—онъ не примирился и не пожелалъ въ скромной тишинѣ «протекать по полю жизни»—онъ всю жизнь тосковалъ по великомъ дѣлу и по высокому идеалу; онъ искалъ его сначала вокругъ себя, потомъ вдали, наконецъ въ себѣ самомъ и, измученный этими поисками, умеръ.

Подводя общій итогъ всѣмъ разрозненнымъ намекамъ, которые мы находимъ въ юношескихъ письмахъ Гоголя и въ его раннихъ литературныхъ опытахъ, мы получимъ въ высшей степени неясное впечатлѣніе о складѣ его ума и вообще объ его настроеніи. Ясно только одно, что передъ нами очень сложная натура, первая, въ которой настроенія мѣняются очень часто, склонная отъ природы къ меланхоліи; натура очень гордая и скрытная, съ очень высокимъ мнѣніемъ о себѣ и увѣренная въ томъ, что она современемъ оправдаетъ это самоишіе; натура богато одаренная литературнымъ талантомъ, съ умомъ рѣзкимъ, саркастическимъ и насмѣшливымъ и съ сердцемъ, полнымъ самаго расплывчатого лиризма. Какая на его долю выпадетъ дѣятельность, мальчикъ пока не знаетъ, и только смутное представленіе о службѣ государству окрашиваетъ въ розовый цвѣтъ всѣ его надежды на будущее. Съ этой службой тѣсно связано у него понятіе вообще о плодотворной дѣятельности на пользу людей, которые ждутъ отъ него чего то и которыхъ онъ, очевидно, любитъ, хотя и самой неясной, чисто сентиментальной мечтательной любовью. Въ этой любви нѣтъ никакихъ положительныхъ идеаловъ, на защиту которыхъ она должна быть направлена; все сводится къ туманнымъ, но заманчивымъ словамъ «добро» и «благо». Ко всѣмъ этимъ чувствамъ и размышленіямъ примѣшивается кромѣ того иногда очень искреннее религиозное настроеніе, и затѣмъ вѣкоторое ощущеніе тяготы дѣйствительностью: нашъ мечтатель тоскуетъ по иному порядку жизни, чѣмъ тотъ сѣрый, будничныи, среди котораго ему приходится вращаться. Это представленіе объ иномъ порядкѣ жизни не связано опять-таки ни съ какимъ определеннымъ понятіемъ объ условіяхъ реального существованія, это просто ощущеніе разлада между мечтой и дѣйствительностью, между туманнымъ желаемымъ и оскорбительно яснымъ настоящимъ—разлада, кото-

ры особенно ощутительно чувствуют натуры мечтательныя, сентиментальныя или, как их иногда называютъ, «романтическія».

Но вмѣстѣ съ тѣмъ, нашъ мечтатель и философъ болѣе чѣмъ кто либо умѣетъ въ этой сѣрой дѣйствительности найти и отгнѣнить то, что всегда помогаетъ переносить ея однообразіе—а именно ея смѣшную сторону. Многое весьма серьезное и глубокое угадываетъ онъ, этотъ еще неопытный искатель правды, и кажется только одного не подозреваетъ пока, это — своего призванія какъ художника. И, даже когда придется ему убѣдиться въ смѣ своего художественнаго таланта, онъ и тогда не съумѣетъ оцѣнить его какъ слѣдуетъ: все ему будетъ казаться, что этотъ талантъ цѣненъ не самъ по себѣ, а лишь тѣми нравственными истинами, которыми онъ служить.

Такова была эта мятежная душа, когда она сочиняла свою мирную идиллію:

Живаго юности стремленья
Такъ испестрился мечты.
Порой, небеснаго черты,
Души прекрасной впечатлѣнья
На немъ лежали; но чего,
Въ волненьяхъ сердца своего,
Искалъ онъ душою неясной,
Чего желалъ, чего хотѣлъ
Къ чему такъ пламенно летѣлъ
Душой и жадною, и страстной
Какъ будто міръ желалъ обнять,
Того и самъ не могъ понять.
Ему казалось душно, пыльно
Въ сей помброшеной странѣ,
И сердце билось сильно, сильно
Но дальней, дальней сторонѣ.
Тогда когда бъ вы повидали,
Какъ воздымалась буйно грудь,
Какъ взоры гордо трепетали,
Какъ сердце жаждало прильнуть
Къ своей мечтѣ, мечтѣ неясной,
Какой въ немъ пылъ кипѣлъ прекрасной;
Какая жаркая слеза
Живые полнила глаза! («Гандъ Кюхельгартенъ», Картина V).

Въ такомъ восторженно-неясномъ настроеніи былъ нашъ мечтатель, когда приходили къ концу годы его школьной жизни. Тягость того настроенія была нѣтъ глубоко прочувствована; онъ ждалъ измѣненія и примиренія и оно рисовалось ему вдали какъ награда за тѣ его тревоги. Юноша нашъ разсуждалъ такъ:

Благословенъ тотъ дивный мигъ.
Когда въ порѣ самопознанья,
Въ порѣ могучихъ силъ своихъ.
Тотъ, небомъ избранный, постигъ
Цѣль высшую существованья;
Когда не грезъ пустая тѣнь,
Когда не славы блескъ мвшурный
Его тревожатъ ночь и день,
Его влекутъ въ мѣръ шумный, бурный;
Но мысль и крѣпка, и бодря
Его одна объемлетъ, мучитъ
Желаньемъ блага и добра:
Его трудомъ великимъ учить
Для нихъ онъ жизни не щадитъ
Вотще безумно чернь кричитъ:
Онъ твердь средь сихъ живыхъ обломковъ
И только слышать, какъ шумитъ
Благословеніе потомковъ (Гандъ Кюкельгартенъ. Картина XVII. Дума).

Благословеніе потомковъ слышалось, вѣроятно, издали и нашему мечтателю, когда наконецъ насталъ жеманный мигъ и онъ сѣлся въ тарантасъ, чтобы ѣхать въ Петербургъ на службу.

Въ самыхъ радужныхъ цвѣтахъ рисовалась ему наша сѣверная столица — арена «гражданскихъ» его подвиговъ... Тѣмъ тяжелѣе и оскорбительнѣе было разочарованіе.

На самомъ дѣлѣ, ничего особенно грустнаго и печальнаго съ Гоголемъ въ Петербургѣ не случилось; никакія бѣды на голову его не упали — произошло самое обыкновенное: холерный ребенокъ попалъ въ чужой городъ, гдѣ никому до него не было дѣла и гдѣ, вѣ отъ жизни, ни отъ людей, нельзя было ждать ласки, — а Гоголь въ ней всегда нуждался.

Заставили его самого разсказать намъ о томъ, чѣмъ ему Петербургъ такъ не понравился: мы увидимъ, что главная причина недовольства — было именно отсутствіе ласки и красоты въ его петербургской обстановкѣ и отсутствіе вообще подъема духа въ этой для него новой, сѣрой и мелко-дѣловитой жизни. Первый разъ молодому фантазеру пришлось испытать на дѣлѣ разладъ мечты и дѣйствительности, и на первыхъ порахъ этотъ разладъ явился передъ нимъ въ очень несложномъ, обычномъ и пока милостивомъ своемъ видѣ.

«Скажу вамъ, — пишетъ онъ матери, — что Петербургъ мнѣ показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, также живы. Жить здѣсь несравненно дороже, нежели думали. Это заставляетъ меня жить, какъ въ пустынѣ: я принужденъ отказаться отъ

лучшаго своего удовольствія—видѣть театръ. Если я пойду разъ, то уже буду ходить часто: а это для меня накладно, т.-е. для моего не- уютнаго кармана...» *)

«Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, на- брасывающимъ на нее печать національности,—пишетъ онъ въ другомъ письмѣ.—На Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, ко- торые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, обиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не бле- ститъ въ народѣ, все служащее да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все погрязло въ трудахъ, въ которыхъ бесплодно издерживается жизнь ихъ» **).

Очевидно, что взглядъ на «службу» у нашего мечтателя нѣсколько измѣнился, и если Гоголь все-таки продолжалъ искать этой службы для себя, то это надо объяснять уже не прежнимъ романтическимъ увлече- ніемъ «службой», какъ средствомъ работать на благо людей, а менѣе сложными соображеніями чисто-матеріальнаго свойства.

Кажется, что отчасти эти же соображенія побудили Гоголя попытать свое счастье и на иномъ поприщѣ, чѣмъ служебное, а именно, на литера- турномъ. Гонимыи—кажется, потому что прямыхъ указаній на мотивы, которые заставили Гоголя печатать то, что у него накопилось въ порт- фелѣ, и приступить къ новой работѣ, у насъ нѣтъ. Въ письмахъ онъ говоритъ о своихъ литературныхъ планахъ неопредѣленно и не до- статочно откровенно. Одно только ясно: въ этихъ письмахъ совсѣмъ не видно увлеченія литературной работой, въ нихъ нѣтъ того увѣ- реннаго тона, по которому мы могли бы заключить, что эта работа— истинное «дѣло» Гоголя, его святое призваніе. И позднѣе, въ самый разгаръ работы надъ «Вечерами на Хуторѣ», онъ все будетъ напирать на непосредственную выгоду, которую онъ можетъ получить отъ своей работы, и будетъ очень трезво говорить о томъ, о чемъ другой—столь же даровитый художникъ, какъ онъ,—сталъ бы говорить совсѣмъ иначе. Какъ бы то ни было, но вскорѣ послѣ пріѣзда въ Петербургъ, Гоголь рѣшилъ напечатать своего «Ганца».

Нашъ авторъ едва ли могъ ожидать матеріальныхъ выгодъ отъ продажи этой идилліи, но, можетъ быть, онъ думалъ, что ея успѣхъ облегчитъ ему вообще дальнѣйшую его литературную работу. Онъ выпустилъ идиллію въ свѣтъ, однако, анонимно. На обложкѣ зна-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 115.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 117.

чилось, что она сочинена В. Азовымъ, а въ предисловіи говорилось отъ лица какихъ-то мнимыхъ издателей, что авторъ ея восемнадцатилѣтній юноша, что сама идиллія представляетъ изъ себя лишь разрозненные отрывки, что главный характеръ главнаго героя не дорисованъ, но что все таки издатели гордятся тѣмъ, что по возможности споспѣшествовали свѣту ознакомиться съ созданіемъ юнаго таланта. Какъ видимъ, это не совсѣмъ скромное предисловіе отзывалось нѣсколько рекламой. Но она не спасла идилліи.

«Гандъ» былъ принятъ критикой враждебно. Сначала «Московский Телеграфъ», а затѣмъ «Сѣверная Пчела» расправились съ нимъ жестоко—такъ, по крайней мѣрѣ, казалось автору, который впалъ въ отчаяніе и самъ предалъ казны своего первенца: онъ отобралъ изъ книжныхъ лавокъ и сжегъ почти всѣ экземпляры. Судъ былъ нѣсколько поспѣшвыи, тѣмъ болѣе, что критика, осудивъ этотъ юношескій опытъ, все-таки признала, что въ авторѣ замѣтно воображеніе и способность писать хорошіе стихи. Но самолюбіе Гоголя границъ и тогда уже не имѣло и этой суровой расправой со своей книгой онъ спасалъ себя отъ неприятныхъ намековъ и напоминаній въ будущемъ. Дѣйствительно, такъ какъ идиллія была написана и напечатана въ большомъ секретѣ отъ всѣхъ, даже близкихъ друзей, и такъ какъ съ книжнаго рынка она исчезла, то уязвленный авторъ могъ безъ опасеній забыть о ней—что онъ и сдѣлалъ.

Но эта неудача, довольно обычная въ жизни начинающихъ писателей, произвела въ первую минуту на Гоголя самое тягостное впечатлѣніе и очень своеобразно отразилась на его жизни.

Нашъ писатель вдругъ, совсѣмъ неожиданно, рѣшился покинуть Россію. Это было одно изъ тѣхъ мгновенныхъ рѣшеній, одна изъ тѣхъ выходовъ, на какія часто бываютъ способны нервные натуры. Смятеніе духа въ Гоголѣ было сильное и оно ясно выразилось въ любовномъ письмѣ, которое онъ написалъ матери, извѣщая ее о своемъ внезапномъ отъѣздѣ за границу. Въ письмѣ рядомъ съ явной ложью были и искреннія строки, очень цѣнныя.

«Я чувствую налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго!—писалъ Гоголь. Безумный! Я хотѣлъ было противиться этимъ вѣчно-неумолкаемымъ желаніямъ души, которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездѣйственной разсѣянностью свѣта. Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы я тамъ воспиталъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи

разсѣвать благо и работать на пользу міра. И я осмѣлился откинуть эти Божественныя помыслы и пресмыкаться въ столицѣ здѣшней между сими служащими, издерживающими жизнь такъ бесплодно. Пресмыкаться другое дѣло тамъ, гдѣ каждая минута жизни не утрачивается даромъ, гдѣ каждая минута — богатый запасъ опытовъ и знаній; но изжить тамъ вѣкъ, гдѣ не представляется совершенно впереди ничего, гдѣ всѣ дѣла, проводимыя въ ничтожныхъ занятіяхъ, будутъ тяжкимъ упрекомъ звучать душѣ,—это убійственно!»

«И рѣшился служить здѣсь во что бы ни стало; но Богу не было угодно. Вездѣ совершенно я встрѣчалъ оди: неудачи и, что всего страннѣе, тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя было ожидать».

Гоголь разсказывалъ въ этомъ письмѣ: дальше, что съ нимъ случилось великое несчастіе: онъ влюбился до безумія; все въ мірѣ: стало для него чуждо, адская тоска со всевозможными муками закипала въ его душѣ; онъ въ порывѣ бѣшенства кипѣлъ упиться однимъ только взглядомъ и потому созналъ необходимость бѣжать отъ самого себя.

Вся эта пламенная исповѣдь была, однако, чистой выдумкой; послѣ тщательной проверки всего біографическаго матеріала оказывается, что никакой такой дамы не было, которая такъ неожиданно погнала бы Гоголя изъ Петербурга. Онъ просто подыскивалъ правдоподобный мотивъ, который могъ бы въ глазахъ матери объяснить его странное юскіишное бѣгство изъ Россіи.

«Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька!—продолжалъ онъ въ томъ же письмѣ. Этотъ переломъ для меня необходимъ. Это училище непременно образуетъ меня: я имѣю дурной характеръ, испорченный избалованный нравъ (въ этомъ признаюсь я отъ чистаго сердца): бѣшь и безжизненное для меня здѣсь пребываніе непременно упрочили бы мнѣ ихъ нравѣкъ. Нѣтъ, мнѣ нужно передѣлать себя, перегодиться, кинуться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ дѣятельности, и если я не могу быть счастливъ (нѣтъ, я никогда не буду счастливъ для себя: это божественное существо вырвало покой изъ груди моея и удалилось отъ меня)—по крайней мѣрѣ, всю жизнь клянусь для счастья и блага себѣ подобныхъ *).

Всѣ эти восторженныя обѣщанія для насъ не новость, мы встрѣли ихъ еще въ писмахъ лицейста и должны признать ихъ и въ новомъ случаѣ: не за рисовку, а лишь за неумѣлое выраженіе крѣплаго порыва восторженной души, все еще не утратившей вѣры возможность работать на «благо» и «счастіе» ближняго.

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 123, 129.

Врожденная сентиментальность и восторженность, но убитая петербургской прозой, а лишь обманутая и раздраженная, она-то и заставляла нашего мечтателя бѣжать въ чужіе края, искать за границей Россіи желаннаго совпаденія мечты и дѣйствительности; бѣжать безъ оглядки на послѣднія деньги, унося съ собой все-таки надежду совершить нѣчто «полезное». Это неудержимое влеченіе вдали, которое Гоголь подмѣтилъ въ себѣ самою еще тогда, когда вручилъ своему Ганцу Кюхельгартену странническій посохъ, эта надежда найти за предѣлами Россіи разгадку тѣхъ вопросовъ, на которые его наводила жизнь—остались навсегда характерными чертами его психической организаціи. Онъ въ трудныя минуты всегда будетъ помышлять о бѣгствѣ!

Такой попыткой бѣжать отъ призраковъ, обступившихъ его душу, и была его первая побѣдка за границу. Приблизительно въ этотъ же смыслѣ истолковывалъ эту побѣдку и самъ авторъ, когда много лѣтъ спустя, писалъ въ своей «Авторской исповѣди»: «Я никогда не имѣлъ влеченія или страсти къ чужимъ краямъ, я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній. Но, странное дѣло, даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что, именно для службы моей отчизнѣ, я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ,^{*)} но видѣлъ самого себя такъ живо въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ по своей отчизнѣ; картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. Какъ бы то ни было, но это противувольное мнѣ самому влеченіе было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силѣхъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному. Проектъ и цѣль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду повсе не затѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣе, чтобы потерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи и добуду любовь къ ней вдали отъ нея» *).

Всѣхъ этихъ мыслей о Россіи у Гоголя въ 1829 году, конечно, не было; онѣ сложились и приняли такой настойчивый характеръ позднѣе, но надежда на то, что вдали ждетъ что-то, что обшцаетъ и проясне-

*) «Сочиненія Гоголя. X-ое изданіе», 1839 IV, 200.

не мысли, и успокоеніе взволнованнаго чувства, эта надежда могла въ душѣ Гоголя зародиться и въ очень ранніе годы.

Гоголь пробылъ за границей всего лишь три мѣсяца и поспѣшно вернулся обратно. Какъ можно судить по нѣкоторымъ весьма немногочисленнымъ письмамъ, состояніе его духа за этотъ срокъ времени было очень смутное. Его охватило знакомое намъ непонятное волненіе, которое выражалось теперь въ сѣтованіяхъ на Бога, зачѣмъ Онъ, создавъ такое единственное или, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ сердце, какъ его, создавъ такую душу, пламеніющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному, облекъ ее въ такую грубую оболочку? Гоголь какъ будто угадывая, что о немъ будетъ говорить потомство, спрашивалъ Бога, зачѣмъ онъ допустилъ въ его душѣ такую страшную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія?

Но смѣла впечатлѣній все-таки своо дѣло сдѣлала. Новая обстановка и новые люди заинтересовали Гоголя, и онъ въ письмахъ своихъ къ матери очень подробно и спокойно рассказывалъ о томъ, что ему пришлось видѣть новаго въ Любекѣ и Гамбургѣ, двухъ городахъ, дальше которыхъ онъ и не поѣхалъ. Впрочемъ, мечта и въ данномъ случаѣ значительно опередила дѣйствительность. Онъ ожидалъ отъ гужихъ странъ большаго. Онъ думалъ, что любопытство его будетъ изгораться постепенно. «Ничего не бывало. Я въѣхалъ (въ Любекъ) такъ, какъ бы въ давно знакомую деревню, которую привыкъ видѣть часто. Никакого особеннаго волненія не испыталъ я». Но въ этомъ отсутствіи волненія, быть можетъ, и заключался самый осязательный и благотворный результатъ путешествія. Гоголь самъ это чувствовалъ, когда писалъ матери, что теперь онъ въ силахъ занять въ Петербургѣ предлагаемую должность, что новыя занятія дадутъ силу его душѣ, быть равнодушнѣе и невнимательнѣе къ мірскимъ горечамъ. Иашъ странникъ, повидимому, настолько успокоился, что былъ даже въ состояніи довольно трезво обсудить свой собственный поступокъ. «Вотъ вотъ мое признаніе—писалъ онъ матери по поводу своей первой поѣздки—дни только гордые помыслы юности, пронистекавшіе, однако-жъ, изъ истата источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ влеко *). Тотъ-же трезвый тонъ слышится и черезъ мѣсяць, когда Гоголь уже рѣшилъ поскорѣй вернуться во свояси. «Въ скоромъ времени я надѣюсь опредѣлиться на службу, писалъ онъ матери. Тогда съ

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, I. 31.

обновленными силами принуждъ за трудъ и посвящу ему всю жизнь свою. Можетъ быть, Богу будетъ угодно даровать мнѣ возможность загладить современемъ мой безразсудный поступокъ»**).

Онъ и загладилъ его очень скоро, возвратясь въ Петербургъ в поступивъ въ первыхъ мѣсяцахъ 1830 года, на службу въ департаментъ удѣловъ.

Этотъ годъ и два за нимъ слѣдующихъ—эпоха очень знаменательная въ жизни Гоголя: это годы созданія его «Вечеровъ на хуторѣ», съ которыхъ началась его литературная слава и пиѣсти съ тѣми первыми годами сознательной выработки изъ себя художника подъ непосредственнымъ вліяніемъ Жуковского и Пушкина, съ которыми Гоголь въ это время познакомился и очень быстро сошелся.

За исключеніемъ этихъ замкостей, кругъ которыхъ постепенно расширялся, во внѣшней жизни Гоголя никакихъ особыхъ перемѣнъ не произошло. Онъ служилъ на маленькомъ мѣстѣ, жалованье получалъ весьма скромное, порой нуждался и на эту нужду жаловался. Свои финансовыя недочеты пополнялъ частью заказной литературной работой, отчасти уроками и гуверверствомъ. Во всякомъ случаѣ, сѣрая и прозаическая сторона жизни была для него ощутима не меньше, чѣмъ прежде и быть можетъ она давала себя чувствовать еще сильнѣе теперь, когда въ обществѣ Жуковского и Пушкина, разгорался въ Гоголѣ энтузіазмъ художника и міръ художественной мечты пріобрѣталъ для него особую прелесть.

Однимъ изъ способовъ смягчить тяготу прозаической жизни была и работа надъ малороссійскими повѣстями и сказками, изъ которыхъ потомъ составились «Вечера на хуторѣ». Эти повѣсти, съ одной стороны, должны были принести матеріальную пользу, съ другой—дать писателю возможность позабыться въ мечтахъ.

Писались эти рассказы довольно долго—цѣлыхъ три года, съ 1829 до 1831 г.—и авторъ, созидавая ихъ, на первыхъ порахъ менѣе всего думалъ объ ихъ литературной цѣнности: онъ не угадывалъ ихъ силы и значенія, и говорилъ о нихъ совсѣмъ не такъ, какъ художникъ говорить о своемъ любимомъ твореніи.

«Теперь, почтеннѣйшая маменька, теперь васъ прошу сдѣлать для меня величайшее изъ одолженій — писать онъ матери въ 1829 г. Вы много знаете обычаевъ и нравовъ малороссіянъ вашихъ и потому вы не откажетесь сообщить мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно... Я ожидаю отъ васъ описавія полного наряда сельскаго

**). «Письма Н. В. Гоголя» I, 138.

дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ это все называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ самыхъ внимате́ле переи́внившихся малороссіянъ... Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская ни малѣйшихъ подробностей... Еще вѣскольکو словъ о колядкахъ, о Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть, кромѣ того, какіе-либо духи или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами. Множество исчислѣ между простымъ народомъ совѣршѣ, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ и проч. Все это будетъ для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ пачки книжки малороссійскія комедіи: «Овца-собака» и «Романъ съ Параскою». Здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское, что я стараюсь попробовать, вѣзла ли одну изъ нихъ поставить на здѣшній театръ. За это, по крайней мѣрѣ, достался бы мнѣ хотя небольшой сборъ; а по моему мнѣнію, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ—къ третьему такъ далѣе *)).

И Гоголь неоднократно повторяетъ такія просьбы въ своихъ письмахъ. Его «отдохновеніе», подѣ которымъ онъ подразумѣвалъ свою писательскую работу, должно ему въ скорости привести существенную выльзу **). Онъ проситъ мать собирать ему свѣдѣнія объ играхъ (карточныхъ), о хорошедныхъ пѣсняхъ, а главное разсказываемыя престолюдинами повѣрья, въ которыхъ участвуютъ духи и мистыо. Гоголь такъ занятъ этимъ собираніемъ матеріала, что онъ забываетъ о немъ даже во время пребыванія своего за границей; какауиѣ отъѣзда за границу, онъ извѣщаетъ мать, что въ типичи уединія онъ «готовитъ запасъ», который не хочетъ выпустить въ свѣтъ, иа порядочно не обрабатаетъ. У него мелькаетъ даже мысль издать къ этотъ «запасъ» на иностранномъ языкѣ. Не успѣвъ онъ вернуться изъ за границы, какъ опять проситъ собирать для него всякія древнія монеты и рѣдкости, старопечатныя книги, другія «антики»; ѣ хочетъ прислужиться этимъ одному вельможѣ, отъ котораго заситъ улучшение его участи. Ему очень хотѣлось бы имѣть старыя писки, вѣдеиныя предками какой-нибудь старинной фамиліи, старовія рукописи про времена гетьманщины... «Эго составляетъ мой запасъ» — пишетъ онъ матери.

Размѣръ и содержаніе труда или «запаса», надѣ которымъ Гоголь разгалъ, недостаточно ясно опредѣляются всѣми этими указаніями. Легко

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 119—121.

**) «Письма Н. В. Гоголя» I, 122.

можно было, что онъ имѣлъ въ виду написать обширное этнографическое и историческое изслѣдованіе о Малороссіи: на это указывать, напр., его желаніе издать свой трудъ на иностранномъ языкѣ, который едва ли былъ пригоденъ для того, чтобы на немъ писать повѣсти. Мы знаемъ также, что мысль о широкомъ плавлѣ историческаго труда и познѣ очень долго занимала Гоголя. Во всякомъ случаѣ можно предположить, что чисто-художественная обработка собраннаго имъ матеріала, была не единственная, которую онъ имѣлъ въ виду, когда говорилъ о своихъ литературныхъ планахъ.

Первая часть «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки» вышла въ свѣтъ въ срединѣ 1831 г., а черезъ годъ была издана вторая. Литературная репутація Гоголя была сразу твердо установлена; его талантъ былъ признанъ и оцѣненъ по достоинству, и самымъ авторитетнымъ литературнымъ трибуналомъ, и кругомъ самой простой читающей публики.

Ученическіе годы Гоголя окончились.

Въ психической жизни художника за эти годы, какъ мы видѣли, много туманнаго и трудно объяснимаго. Удивительное чередованіе веселости и глубокой меланхоліи съ перевѣсомъ послѣдней; необычайно живо работающая фантазія и рядомъ съ ней умъ очень зоркій; романтическое тяготѣніе къ неизвѣданному и неиспытанному, большая склонность къ размышленію и къ анализу своихъ собственныхъ ощущеній и мыслей, самолюбіе сильно развитое и очень близко подходящее къ самолюбію; увѣренность въ своихъ силахъ, пока еще не испытанныхъ; смутное представленіе о призваніи къ чему-то великому, но пока неизвѣстному; взгляды на этотъ грядущій подвигъ, какъ на что весьма для людей полезное и спасительное, а потому и сознаніе своего права строго судить людей; наконецъ, великій даръ художественнаго творчества—поть тѣ мысли, ощущенія, настроенія и силы, которыя владѣютъ Гоголемъ одновременно.

Со всеми этими психическими факторами его жизни мы будемъ встрѣчаться и позже и они будутъ проявляться въ своеобразномъ, иногда весьма странномъ видѣ. Но теперь, когда Гоголь сталъ авторомъ «Вечеровъ на хуторѣ», мы должны на время оборвать рассказъ объ его жизни, чтобы перейти къ историко-литературной оцѣнкѣ его перваго художественнаго произведенія. Обзоръ главнѣйшихъ литературныхъ явленій конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ облегчить намъ эту оцѣнку.

III.

литическая мысль двадцатых и тридцатых годовъ недовольная старыми литературными традиціями.—Требованіе народнаго и самобытнаго творчества.—Мнѣнія, высказанныя по этому вопросу Кюхельбекеромъ, Вестужевымъ, Сомовымъ, кн. Васильскимъ, Писемтиновымъ, Кирѣевскимъ, Полковымъ и Надеждинымъ.

Годы, когда «Вечера на хуторѣ» создались и увидѣли свѣтъ, были исторіи нашего словеснаго творчества годами переходными: старыя литературныя традиціи падали, подорванныя и обезцѣненныя, а «новое», которое должно было заступить ихъ мѣсто, еще недостаточно было и утвердилось. Въ критикѣ шелъ нескончаемый и придирчивый споръ объ этомъ «новомъ и старомъ», о замѣштанномъ и новомъ, споръ о старикахъ, которымъ пора перестать поклоняться, и о современникахъ, которымъ обѣщать много, но пока еще такъ мало дали.

Въ исторіи литературы, какъ и въ иныхъ областяхъ жизни, существуютъ, действительно, свои переходныя критическія эпохи. Долго существовавшая традиція—традиція и содержанія, и формы, начинаетъ гнать подъ напоромъ новизны, и эта новизна, еще не систематизированная, не объясненная критически, но сильная сознаниемъ истинной житейской правды, начинаетъ требовать для себя признанія и права, который, конечно, ей приходится брать съ боя. Проводники этого «нового», въ чемъ бы оно ни сказывалось, въ идеяхъ ли, въ чувствахъ, въ ли художественномъ выраженіи, или въ иномъ какомъ либо обществ. ихъ проведеніи въ жизнь—бываютъ всегда слишкомъ прямолинейны и увлечены, чтобы быть справедливыми; имъ всегда кажется, что новое должно начинать собой новую эру, тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно только видоизмѣняетъ старую, имъ кажется, что оно есть не само по себѣ существующее, а повсе не обусловленное тѣмъ, съ чѣмъ такъ задорно коюется. Смерть традицій—таковъ общій смыслъ всѣхъ поціонныхъ переходныхъ эпохъ, и забываніе, что покойникъ былъ и въ живыхъ человѣкомъ и въ жизни свое дѣло сдѣлалъ—одна изъ

характерных чертъ въ психологii всѣхъ, кто торжествующему новому пролагаетъ дорогу. Жаль только, что смерть стараго не сразу обозначаетъ торжество новаго, а всего чаще разрѣшается въ состояніе двойственное, неопредѣленное, обильное всякаго рода несправедливостями. Такой періодъ неопредѣленности и неустойчивости во вкусахъ настроеніяхъ и сужденіяхъ, такой періодъ не всегда справедливыхъ нападковъ на старое переживала наша словесность въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда къ старому въ искусствѣ читатели стали охладѣвать, новое предчувствовали, но никакъ еще не могли договориться и условиться, въ чемъ именно должны заключаться его характерные признаки.

Что однако должны мы понимать подъ этимъ словомъ «старое», когда говоримъ о литературныхъ теченіяхъ того времени?

Обыкновенно подъ этимъ словомъ разумѣютъ традицію стараго классицизма, иѣкогда столь могущественную у насъ и, безспорно, отражавшую недавнюю правду своего времени—времени виліиняго лоска, эксплуатаціи чужихъ мыслей, насильно привитыхъ чувствъ и готовыхъ, напрокатъ взятыхъ, формъ и оборотовъ рѣчи. Но что осталось отъ этихъ классическихъ традицій къ 30-мъ годамъ? Мы этого покойника давно снесли въ могилу и даже забыли дорогу къ ней. Достаточно перелистать журналы того времени, чтобы увидать, какъ рѣдко мы тревожили тогда прахъ старыхъ писателей XVIII вѣка. Если кого изъ нихъ мы тогда вспоминали, то развѣ тѣхъ, которые—какъ, напр., Фон-визищъ или Державинъ—сумѣли отстоять свою самостоятельность вопреки господствующему литературному шаблону.

Къ писателямъ современнымъ, придерживавшимся старыхъ литературныхъ формъ и не переступившимъ за черту этого, сонсъмъ истрепаннаго, мнимо-классическаго міросозерцанія, относились мы тогда также очень равнодушно. Кто, въ самомъ дѣлѣ, принималъ тогда близко къ сердцу писанія и творенія Василія Пушкина, Владиміра Панаева, Михаила Дмитріева и другихъ? Для боже рьяныхъ критиковъ эти писатели служили удобной мишенью, отрѣлая въ которую, трудно было промахнуться, для же зазорныхъ они просто не существовали. Во всякомъ случаѣ старый классицизмъ, какъ литературная традиція и форма, былъ въ тридцатыхъ годахъ стариной сонсъмъ отиѣтой. Онъ никого не стѣснялъ своимъ присутствіемъ и не съ нимъ должна была сводить счеты та новизна, которая уже давала себя чувствовать.

Начиналъ умирать и другой классицизмъ, боже молодой годами и боже живой по темпераменту—классицизмъ, который въ началѣ двадцатыхъ годовъ пользовался большимъ почетомъ у молодого поколѣнія. Это былъ

классицизмъ не чистой пробы, такъ какъ въ немъ была большая при-
месь совсѣмъ моднаго сентиментализма, а иногда и либерализма; но онъ
всетаки сохранялъ классическую вѣтшность и старался поддѣлаться подъ
тонъ Авакреонта, Тибулла, Горація и Овидія или—когда былъ болѣе
серьезенъ— подъ тонъ Тацита, Ювенала и другихъ сатириковъ; нѣ-
когда подогрѣтый симпатіями всей пушкинской плеяды, онъ имѣлъ
широкій кругъ поклонниковъ; къ тридцатымъ годамъ онъ растерялъ
онъ всѣхъ и влчилъ жалкое существованіе на страницѣхъ какихъ-ни-
будь второстепенныхъ альманаховъ. Свое дѣло онъ сдѣлалъ: не такъ
давно далъ рядъ красивыхъ образовъ и готовыхъ мотивовъ для про-
славленія кипучей молодости и связаннаго съ ней свободомыслія, те-
перь и онъ вырождався въ настоящій реэстръ шаблонныхъ фразъ и
словъ, которые пошли гулять по рукамъ разныхъ бездарныхъ пере-
дѣлывателей чужихъ пѣсень.

Если, такимъ образомъ, подновленное античное въ разныхъ его ви-
дахъ совсѣмъ отходило въ прошлое, то можно было думать, что тѣ
литературныя направленія, которыя болѣе всего способствовали гибели
этого классицизма, а именно—сентиментализмъ и романтизмъ—сохра-
нять свою власть надъ нами. Дѣйствительно, эти западныя на-
правленія, пущенныя у насъ въ оборотъ Карамзиннымъ, Жуковскимъ и от-
части Пушкинымъ и его друзьями, имѣли въ двадцатыхъ годахъ на своей
сторонѣ симпатіи почти всей читающей публики. Не было писателя, ко-
торый не заплатилъ бы своей данію Оссіану, Скотту, Муру, Байрону,
Шиллеру, Гёте, Шатобриану—вообще всѣмъ западнымъ авторитетамъ,
который не пожелалъ бы такъ или иначе пересадить ихъ красоты на
русскую почву или на ихъ ладъ передѣлать русскіе сюжеты.

Пошутки такого пересажденія сентиментализма и романтизма ока-
зали нашей литературѣ и обществу не малую услугу: они пустили въ
оборотъ много новыхъ для насъ чувствъ и настроеній, не гово-
ря уже о томъ, что они много способствовали утонченію нашего
эстетическаго вкуса. Они служили также лучшими проводниками за-
падныхъ идей и вообще ускорили наше духовное общеніе съ куль-
турнымъ міромъ. Все говорило къ пользу того, что вліяніе этихъ
двухъ литературныхъ направленій, и сентиментализма, и романтизма,
будетъ весьма продолжительно, что мы не скоро исчерпаемъ ихъ со-
держаніе и не скоро пресытимся ими, но, несмотря на то, что мы,
дѣйствительно, не исчерпали ихъ содержанія, а лишь поверхностно усво-
или ихъ, наша критика тѣмъ не менѣе стала очевъ скоро этими на-
строениями тяготиться и готова была и ихъ отчислить съ разрядъ «ста-
раго», которое должно уступить мѣсто новому. Въ тридцатыхъ годахъ

къ сентиментализму критика совсѣмъ охладѣла, Карамзинъ съ его пиколой отоплила для нея въ прошлое, Жуковскаго она не переставала уважать, но увлеклась имъ сдержанно (да и самъ онъ сталъ писать мало), на вѣмедкій бурный романтизмъ и на байронизмъ, недавно столь головокружительный, стала смотрѣть косо, и если что еще сохраняло тогда для нея свое обаяніе, такъ это были общеміровые памятники литературы, какъ, напр., поэмы Гомера, драмы Шекспира, поэма Милтона, романы Гѣте и его «Фаустъ», наконецъ, историческіе романы Вальтеръ-Скотта, т. е. продолжало нравиться то, что стояло внѣ псалмическихъ литературныхъ школъ и тенденцій...

Наша критическая мысль опередила, такимъ образомъ, въ эти годы значительно нашу художественную словесность, которая за весьма рѣдкими исключеніями, по прежнему продолжала слѣдовать традиціямъ сентиментальнымъ и романтическимъ. У критики была одна мысль, одно желаніе, которое она высказывала очень опредѣленно и рѣзко—это было желаніе имѣть національную, самобытную литературу, черпающую свое содержаніе и свою форму изъ русской народной жизни. Желаніе было вполне законное, указывающее на сознательное отношеніе критической мысли къ недочетамъ текущей словесности; но вмѣстѣ съ тѣмъ это было желаніе трудно исполнимое, такъ какъ національное и самобытное въ нашей литературѣ въ тѣ годы еще совсѣмъ не окрѣпло, и мы пережили тогда, именно, переходный періодъ смѣшенія иноземнаго съ русскимъ, періодъ борьбы подражанія съ самобытнымъ, періодъ отрицанія этого подражанія безъ возможности замѣнить его сразу полетомъ вполне оригинальной фантазии. Какъ и слѣдовало ожидать, критика была неводержана и несправедлива въ своихъ нападкахъ на недавнихъ кумировъ, была непослѣдовательна въ ихъ осужденіи и, наконецъ, была не совсѣмъ ясна въ своихъ требованіяхъ «новаго», которое она опредѣляла однимъ словомъ—«народность», пыталась, но почти всегда безуспѣшно, выяснить, въ чемъ именно долженъ заключаться смыслъ этого таинственнаго слова.

Какъ бы то ни было, но въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Гоголь выступалъ со своими первыми произведеніями—всѣ прежнія литературныя традиціи, и классическія, и сентиментальныя, и романтическія, были уже значительно подорваны критикой и для огромнаго большинства литературныхъ судей была ясна необходимость имѣть вѣчто свое, столь же совершенное и народное, какъ то, чему эти критики поклонялись на западѣ. Что касается самой литературы, то, какъ мы сказали, она плохо отвѣчала на эти требованія критики и никакъ не могла взять вѣрнаго самобытнаго тона въ разработкѣ сю-

готовъ. Попытки въ этомъ направленіи, конечно, дѣлались иной разъ— какъ увидимъ— даже успѣшныя, но сколько было писателей, которые пребывали все еще въ разныхъ учевическихъ классахъ, гдѣ писали не съ натуры, а съ образцовъ и моделей. Случалось иногда, что одно и то же лицо, было и критикомъ, и художникомъ и тогда, какъ, напр., у Полевого, Марлинскаго, Кюхельбекера— получалось странное противорѣчіе между тѣмъ, что творилъ писатель, и тѣмъ, что онъ думалъ о творчествѣ. Какъ художникъ, онъ оставался рабомъ традиціи западной, какъ критикъ, онъ продолжалъ распинаться за народность.

Прислушаемся же къ нѣкоторымъ голосамъ изъ этого лагеря критиковъ и тогда борьба между старымъ и новымъ, споръ заимствованнаго съ самобытнымъ и надежды возлагаемая на «народность» обрисуются передъ нами очень ясно. Намъ необходимо подробно ознакомиться съ этими критическими взглядами, чтобы не возвращаться къ ихъ изложенію, когда ихъ суду подпадутъ произведенія Гоголя.

Еще въ серединѣ двадцатыхъ годовъ, т.-е. въ самый разгаръ подражанія иноземнымъ образцамъ сентиментальнаго и романтическаго типа, нѣкоторые, еще очень молодые, писатели стали опредѣленно требовать народныхъ, самобытныхъ сюжетовъ и національныхъ приемовъ въ творчествѣ.

Изъ нихъ наиболѣе характерные, въ то время достаточно популярныя, но затѣмъ быстро забытыя критики, были: Кюхельбекеръ—одинъ изъ редакторовъ альманаха «Мнемозина», Александръ Бестужевъ, редакторъ альманаха «Полярная Звѣзда», Веневитиновъ, членъ редакціи «Московскаго Вѣстника», Союзовъ—литературный обозрѣватель, и князь Вяземскій—членъ редакціи «Московскаго Телеграфа».

Въ 1824 году была въ «Мнемозинѣ» напечатана статья Кюхельбекера («О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилѣтіе» *). Въ этой статьѣ авторъ резюмировалъ свои мысли, расставляя въ разныхъ мелкихъ критическихъ замѣткахъ, которыя, начиная съ 1820 года, онъ печаталъ въ періодическихъ журналахъ Критикъ произносилъ очень суровое осужденіе господствующему въ русской литературѣ направленію. Онъ осуждалъ нашихъ поэтовъ за тѣмъ печальный минорный тонъ, который преобладалъ въ ихъ стихотвореніяхъ. Неистовая печаль не есть поэзія, гонорилъ онъ, а бѣшенство. Скучно слушать разныхъ Ивановъ да Федоровъ, которые намъ воютъ про свои несчастія. А кто отучилъ насъ понимать радость жизни

* «Мнемозина», II, 29—44.

и на нее откликаться? Это грѣхъ Жуковскаго, который сталъ подражать новѣйшимъ нѣмцамъ, преимущественно Шиллеру, и грѣхъ Батюшкова, который взялъ собѣ за образецъ двухъ пигмеевъ французской словесности—Парни и Мильвуа. Но больше всѣхъ виновата поэзія романтиковъ. Хороша была эта романтическая поэзія въ Шровансѣ и у Данте, въ свое время; но теперь, что отъ нея осталось? Одинъ Гёте, пожалуй, удовлетворяетъ въ нѣкоторыхъ изъ своихъ произведеній ея требованія, объ остальныхъ поэтахъ говорить не стоить; они почти всѣ подражатели, а наша русская романтика есть подражаніе—подражанію. Сила? гдѣ мы найдемъ ее въ большей части нашихъ мутныхъ, ничего не опредѣляющихъ, изнѣженныхъ, безцвѣтныхъ произведеній? Богатство и разнообразіе? Прочитайте любую злогію Жуковскаго, Пушкина или Баратынскаго, знаешь всѣ. Чувствъ у насъ уже давно нѣтъ: чувство унынія поглотило всѣ прочія. Чайльд-Гарольды насъ одолѣли, и отчего все это? Оттого, что мы не рѣшаемся быть самобытными. Изъ богатаго и мощнаго русскаго слова, мы извлекаемъ небольшой, благопристойный, приторный, искусственно-тощій, приспособленный для немногихъ языкъ... Печатью народности ознаменованы всего лишь какіе-нибудь 80 стиховъ въ «Свѣтланѣ» и въ «Посланіи къ Воейкову» Жуковскаго, нѣкоторыя мелкія стихотворенія Катенина, два или три мѣста въ «Русланѣ и Людмиль» Пушкина. Будемъ благодарны Жуковскому за то, что онъ освободилъ насъ изъ-подъ ига французской словесности, отъ Лагарпа и Батто, но не позволимъ ни ему, ни кому другому наложить на насъ окопы нѣмецкаго или англійскаго владычества. Всего лучше имѣть поэзію народную, но ужъ если подражать, то надо знать кому, а у насъ художественный вкусъ настолько не развитъ, что мы не отличаемъ поэтовъ. Мы одинаково цѣнимъ великаго Гёте и недозрѣвшаго Шиллера, огромнаго Шекспира и однообразнаго Байрона... Мы благоговѣемъ передъ всякимъ нѣмцемъ или англичаниномъ. Не довольно прислать сокровища иноземниковъ! Да создастся для славы Россіи поэзія истинно-русская! Да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ первой державой во вселивной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественности, гѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, вѣрнѣйшіе источники для нашей словесности. Станемъ надѣяться, что наши писатели сбросятъ съ себя поносныя цѣпи нѣмецкія и захотятъ быть русскими.

Статья Кюхельбекера—одного изъ самыхъ закоренѣлыхъ подражателей въ своемъ собственномъ творчествѣ—явленіе очень характерное; это—прямое порицаніе всему иноземному въ нашей словесности,

даже тому, которое, как поэзия Шиллера или байронизмъ, пользовалось тогда огромной популярностью. Кюхельбекеръ недоволенъ унывнѣть, т. е. одной изъ отличительныхъ и сильныхъ сторонъ тогдашняго романтизма; онъ давно отрекся отъ классическихъ традицій и требуетъ теперь отреченія отъ западнаго сентиментализма и романтизма во имя «народности», наступленіе которой онъ предчувствуетъ, но на готовыхъ примѣрахъ доказать и протвердить не можетъ.

Въ этомъ же смыслѣ высказывался и его сверстникъ Александръ Бестужевъ — знаменитый впоследствии Марлинскій — въ своихъ критическихъ обзорахъ текущей русской литературы, которые онъ печаталъ въ «Полярной Звѣздѣ».

Въ статьѣ «Взглядъ на старую и новую словесность въ Россіи» *) Бестужевъ, нежелая, какъ издатель альманаха, ссориться съ писателями, наговорилъ кучу любезностей каждому изъ нихъ безъ различія школъ и направленій. Исполнивъ этотъ актъ приличія, онъ очень вѣжливо сталъ распространяться о причинѣ паденія нашей литературы (совсѣмъ непонятнаго «паденія» послѣ тѣхъ комплиментовъ, которыми онъ осыпалъ рѣшительно всѣхъ писателей). Онъ усмотрѣлъ ее въ изгнаніи роднаго языка изъ общества и въ равнодушіи прекраснаго пола (?) ко всему, что на этомъ языкѣ пишется. «Утѣшился, говорилъ онъ, однако. Вкусъ публики какъ подземный ключъ стремится къ вышинѣ и время невидимо сѣетъ просвѣщеніе». Въ этихъ словахъ высказанъ только намекъ на то, что два года спустя съ большей силой было сказано въ томъ же альманахѣ:—но уже ставшемъ на ноги и завоевавшимъ симпатіи публики и писателей.

«Мы воспитаны иностранцами, писалъ Бестужевъ въ статьѣ: «Взглядъ на русскую словесность въ теченіи 1824 и началѣ 1825 года» **), — мы всосали съ молокомъ безнародность и удивленіе только къ чужому. Измѣряя свои произведенія исполненскою мѣрою чужихъ гениевъ, намъ свысока видится своя малость еще меншею, и это чувство, не согрѣтое народной гордостью, вмѣсто того, чтобы возбудить рвеніе сотворить то, чего у насъ нѣтъ, старается узрѣть даже и то, что есть. Къ довершевію несчастія мы выросли на одной французской литературѣ, вовсе не сходной съ нравомъ русскаго народа, ни съ духомъ русскаго языка... Чтобы все выразить, надо все чувствовать; но развѣ не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? А мы слишкомъ безстрастны и слишкомъ лѣнны и не довольно просвѣщены, чтобы и въ чужихъ авторахъ видѣть все высокое, оцѣнить все великое».

*) «Полярная Звѣзда» 1823 г.

***) «Полярная Звѣзда» 1825 года.

Замѣтивъ мимоходомъ, что мы начинаемъ уже чувствовать и мыслить, но пока еще ошупью, Бестужевъ выясняетъ значеніе критики у насъ вообще и, послѣ цѣлаго обвинительнаго акта противъ прозаичности нашей жизни, противъ безлюдья и ничтожества, онъ подробно останавливается на томъ, что болѣе всего лежитъ у него на сердцѣ—именно на вопросѣ о «подражаніи». «Насъ одолѣла страсть къ подражанію, пишетъ онъ; было время, что мы невпопадъ вздыхали по-стерновски, потомъ любезничали по-французски, теперь зацѣпили въ тридевятиую даль по-нѣмецки. Когда же попадемъ мы въ свою колею? Когда будемъ писать прямо по-русски? Богъ вѣсть! До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, наша муза остается невѣстою-невидимкою. Конечно, можно утѣшиться тѣмъ, что мало потери—такъ и слякъ пишутъ сотни чужестранныхъ и междуусобныхъ подражателей; но я говорю для людей съ талантомъ, которые позволяютъ себя водить на помочахъ. Оглядываясь назадъ, можно вѣкъ назади остаться, ибо время съ каждой минутой разводитъ насъ съ образцами. При томъ, всѣ образцовыя дарованія носятъ на себѣ отпечатокъ не только народа, но вѣка и мѣста, гдѣ жили они—слѣдовательно, подражать имъ рабски въ другихъ обстоятельствахъ невозможно и неумѣстно. Творенія знаменитыхъ писателей должны быть только мѣрою достоинства нашихъ твореній...»

Разсуждать такъ—было, конечно, не трудно, и критикъ зналъ, что теоретически онъ совершенно правъ, что лучше имѣть свое, чѣмъ подражать чужому. Но художнику эти замѣчанія критика, при всей ихъ убѣдительности, приносили мало пользы, такъ какъ заставить себя быть «народнымъ» художнику было невозможно: все зависѣло отъ степени таланта, но и кромѣ таланта нужна была еще школа и опытъ: наша-же культурная жизнь была еще слишкомъ молода, чтобы найти себя сразу оригинальную форму и самобытное отраженіе въ искусствѣ. Даже тѣ немногія талантливыя натуры, какъ, напр., Батюшковъ, Жуковский, Крыловъ и Грибоедовъ, даже они, при всей силѣ ихъ дарованія, не сразу и не всегда могли освободиться отъ иноземнаго вліянія и русскую дѣйствительность изображали либо рѣдко, какъ напр., Батюшковъ и Жуковский, либо не совсѣмъ по-русски, какъ напр., Крыловъ и Грибоедовъ. Когда же имъ удавалось взять вѣрный самобытный тонъ, нарисовать правдивую русскую картину нравовъ, какъ это иногда дѣлалъ Пушкинъ, то эта картина была такъ необычна, что критики сами не сразу научались цѣнить ее: такъ случилось, напр., съ «Евгеніемъ Онегинымъ».

Тѣмъ не менѣе критика продолжала твердить свое и требовать «народности». Въ 1823 году появилась маленькая книжечка О. Сонова,

небывающаго потомъ беллетриста; книжка была озаглавлена «О романтической поэзіи» *); на нее обратили мало вниманія, но она его заслуживала. Сомовъ былъ изъ числа первыхъ нашихъ беллетристовъ, которые въ своихъ разсказахъ старались разрабатывать матеріалъ народныхъ сказаній и повѣрій въ болѣе или менѣе реальной формѣ, т. е. стремились сохранить ихъ колоритъ и наивность. Онъ принималъ эту народность близко къ сердцу и въ своей книжкѣ о романтизмѣ воставилъ себѣ цѣлью направить наше вниманіе на тѣ богатства, которыя кроются въ нашей старинѣ и которыми нужно воспользоваться именно въ интересахъ «народнаго» нашего романтизма, а отнюдь не того водражательнаго, который ничего не даетъ для русскаго читателя.

Французская поэзія суха и холодна, говоритъ Сомовъ, и даже среди прославленныхъ французскихъ классиковъ есть только одинъ хорошій— Парни. Мы дѣлаемъ грубѣйшую ошибку, когда смѣшиваемъ классицизмъ французскій съ античнымъ. Античный классицизмъ полонъ жизни и природа его живообразна—это классицизмъ «народный», «мѣстный», согласный съ нравами и міросозерцаніемъ той страны, въ которой онъ родился; въ этомъ вся его свѣжесть и прелесть, которая отсутствуетъ во всѣхъ попыткахъ воскресить его. У старыхъ мастеровъ должно учиться, но водражать имъ не слѣдуетъ. Народной была и поэзія романтическая, въ тѣ годы, когда она пришла на смѣну классической; народной не перестаетъ она быть и въ наши дни въ тѣхъ странахъ, гдѣ она вытекла изъ жизни, гдѣ она развилась свободно. Словесность каждаго народа есть говорящая картина его нравовъ, обычаевъ и образа жизни—вотъ почему тщетны всѣ надежды возродить самобытную литературу на почвѣ подражанія, и мы русскіе должны наконецъ имѣть свою народную поэзію, въ которой бы отразились отличительныя черты характера нашей націи, какъ напр., твердость духа, безропотное повиновеніе законнымъ властямъ, радушное гостепримство и т. д. Сомовъ указываетъ затѣмъ на богатство нашей міеологіи, на разнообразіе нашей природы, на обиліе всякихъ красотъ въ нашей древней исторіи—все это затѣмъ, чтобы пристыдить насъ и упрекнуть за то, что мы небрежно проходимъ мимо своихъ богатствъ, заглядываясь на чужія. Занимствованіе и подражаніе къ добру насъ не приведутъ: ѣ безъ того въ нашей словесности замѣтно цѣлое наводненіе унылыми элегіями; вслѣдствіе встрѣчаешь унылыя мечты, желаніе неизвѣстнаго, утомленіе жизнью. Всѣ эти нѣмцеобразныя распадн противны живому и пылкому

*) О. Сомовъ. «О романтической поэзіи. Опытъ въ трехъ статьяхъ». Спб. 1823 г. стр. 102.

русскому народу. Онъ долженъ же наконецъ сказать свое слово, и мы можемъ надѣяться: у насъ есть таланты, много обѣщающіе—таковъ юный Пушкинъ, въ вымыслахъ, языкѣ и выраженіи котораго уже раскрываются черты народныя.

Гораздо болѣе сдержанно, хотя въ этомъ же приблизительно духѣ, высказывался въ двадцатыхъ годахъ и князь Вяземскій въ своихъ критическихъ статейкахъ.

Сдержанность его тона и нѣкоторая недоговоренность въ его сужденіяхъ о подражаніи и «народности» объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что по своему воспитанію и образованію, самъ онъ былъ рѣдкимъ примѣромъ запоздавашаго классика, и, во-вторыхъ, тѣмъ, что онъ при широтѣ своего литературнаго образованія, лучше, чѣмъ кто-либо, понималъ, чѣмъ наша культура была обязана западнымъ литературнымъ теченіямъ. Вяземскій въ сущности былъ скорѣе историкъ, чѣмъ критикъ; для настоящаго критика у него не хватало темперамента, и слишкомъ трезвый и холодный разумъ уберегалъ его отъ крайностей, которыя въ разгарѣ борьбы не всегда бываютъ лишними. Онъ былъ живой свидѣтель исторіи развитія нашей словесности, начиная съ самыхъ первыхъ годовъ XIX вѣка; для него наши классики и сентименталисты были совсѣмъ родные люди, какъ позднѣе для него родными стали и молодые романтики двадцатыхъ годовъ, въ кругу которыхъ онъ—старшій годами—былъ принятъ на правахъ товарища. Рѣзко судить о нашемъ классицизмѣ и романтизмѣ онъ не могъ, въ силу его способности все понимать, во всемъ отгнѣять достоинство и на все смотрѣть спокойнымъ и уравновѣженнымъ взглядомъ. Вотъ почему его критическія статьи, собранныя вмѣстѣ, и поражаютъ читателя нѣкоторой неопредѣленностью въ сужденіяхъ. Ласковое слово нашлось у него для всѣхъ: и для классиковъ XVIII вѣка, и для сентименталистовъ Карамзина и Жуковскаго, и для классиковъ болѣе новой формаціи, какъ, напр., Озеровъ, наконецъ, и для романтиковъ. Онъ симпатизировалъ имъ всѣмъ, правильно измѣряя историческую стоимость каждаго; и никогда у него не повернулся бы языкъ сказать, что Карамзинъ устарѣлъ, что Дмитріевъ плохая копія съ плохихъ оригиналовъ или что Жуковскій навредилъ нашей словесности слишкомъ безотчетнымъ преклоненіемъ передъ немцами. Быть можетъ, въ душѣ, Вяземскій все это и чувствовалъ, но известная корректность XVIII-го вѣка не позволяла ему въ данномъ случаѣ отгнѣнить свою мысль какъ бы слѣдовало. Впрочемъ, и ему иногда приходилось проговариваться и онъ тогда гонорилъ приблизительно то же, что и другіе критики, но говорилъ какъ бы въ скобкахъ.

«О чемъ мы хлопочемъ, кого отставляемъ?» говоритъ онъ по поводу разгорѣшагося у насъ спора между классиками и романтиками. «Имѣть ли мы литературу отечественную, уже пустившую глубокіе корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры мало число хорошихъ писателей успѣли только дать нѣкоторый образъ нашему языку; но образъ литературы нашей еще не означился, не прорѣзлся. Признаемся со смиреніемъ, но и съ надеждою: есть языкъ русскій, но нѣтъ еще словесности, достойнаго выраженія народа могучаго и мужественнаго *).

«Литература должна быть выраженіемъ характера и мѣтвѣй народа», пишетъ онъ въ другой статьѣ. «Судя по книгамъ, которыя у насъ печатаются, можно заключить, что у насъ или нѣтъ литературы, или нѣтъ ни мѣтвѣй, ни характера; но послѣдняго предположенія и допустить нельзя. Дайте намъ авторовъ, пробудите благородную дѣятельность въ людяхъ мыслящихъ и—читатели родятся. Они готовы; ноги изъ нихъ и вслушиваются, но ничего отъ насъ дослышаться не могутъ, и обращаются поневолѣ къ тѣмъ, кои не лепечуть, а говорятъ. Бѣда въ томъ, что писатели наши выпускаютъ мало ходячихъ вещей. Радуйтесь пока, что хотя иностранныя сочиненія находятся у насъ въ обращеніи; пользуясь ими, мы готовимся познавать дѣицу и юнкъ богатствъ, когда писатели наши будутъ бить, изъ отечественныхъ рудъ, монету для народнаго обихода **).

Въ своей извѣстной статьѣ «Внѣсто предисловія къ «Бахчисарайскому фонтану. Разговоръ между издателемъ и классикомъ съ Выборгской Страны или съ Васильевскаго Острова» (1824)—князь Вяземскій беретъ на себя боевую роль защитника новизны въ литературѣ отивъ старыхъ традицій. Въ данномъ случаѣ онъ подъ новизной разумѣлъ поэзію «романтическую». Вяземскій стоитъ на той точкѣ зрѣнія, что всякая поэзія, не насаженная извнѣ, а вырастающая гавически на своей почвѣ, среди своего народа—всегда поэзія сабытная, будь она классическая, какъ въ древности, или романтичная, какъ въ настоящее время, въ Европѣ. Народность въ словесности ключена не въ правилахъ, а въ чувствахъ. «Отпечатокъ народности, стности—вотъ что составляетъ, можетъ быть, главное существеннѣе достоинство древности и утверждаетъ ея право на вниманіе

*) «О Камкааскомъ плѣнникѣ», повѣсти А. Пушкина. Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, I, 74—75.

**) «Замѣчаніе на краткое обзорнѣе русской литературы 1822 года». Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, I, 103.

потомства. Гомеръ, Горацій, Эскиль имѣютъ гораздо болѣе средства и соотношенія съ главами романтической школы, чѣмъ съ своими холодными рабскими послѣдователями, кои слятся быть греками и римлянами заднимъ числомъ». Отсюда, повидимому, прямой выводъ, что подражать вообще никому не слѣдуетъ, ни старымъ, ни новымъ, и что современная романтическая литература русская, которую Вяземскій защищаетъ, также есть попытка быть заднимъ числомъ кѣмъ угодно, но только не самимъ собою. Вяземскій это понимаетъ, но принужденъ склониться передъ необходимостью. Онъ признаетъ, что мы, начиная съ Ломоносова, все только подражали, но что дѣлать, если пока нѣтъ своего? «Поэты современники наши, говоритъ онъ, не болѣе грѣшны поэтовъ предшественниковъ. Мы еще не имѣемъ русскаго покроя въ литературѣ; можетъ быть, его и не будетъ, потому что его нѣтъ; но, во всякомъ случаѣ, поэзія новѣйшая, такъ называемая романтическая, не менѣе намъ родна, чѣмъ поэзія Ломоносова или Хераскова, которую слятся выставить за классическую *)».

Взгляды Вяземскаго на народность, какъ видимъ, въ достаточной мѣрѣ скептичны. Въ его словахъ нѣтъ обычнаго тогда крика: долой иностранцевъ и да здравствуетъ свое національное; и эта сдержанность вполне понятна нѣмъ—въ человѣкѣ съ весьма развитымъ и требовательнымъ вкусомъ, большой литературной опытностью и вообще крайне осторожнымъ умомъ. Но что самъ Вяземскій предпочиталъ національное подражательному — въ этомъ едва ли можно сомнѣваться; онъ только не хотѣлъ увеличивать собою кругъ тѣхъ лицъ, которыя въ первыхъ росткахъ самобытной словесности готовы были видѣть уже осуществленіе своихъ ожиданій.

Полвѣка спустя, когда наша самобытная народная литература уже одержала побѣду надъ Европой, когда всякое подражаніе стало преданіемъ, Вяземскій въ 1876 году сдѣлалъ такую приписку къ одной изъ своихъ старыхъ критическихъ статей **, въ которой онъ разбираетъ вопросъ о романтизмѣ и классицизмѣ: «У насъ не было среднихъ вѣковъ, ни рыцарей, ни готическихъ зданій съ ихъ сумракомъ и своеобразнымъ отпечаткомъ, говорилъ онъ. Греки и римляне, грѣхъ сказать, не тяготѣли надъ нами. Мы болѣе слышали о нихъ, чѣмъ видѣлись съ ними. Но романтическое движеніе, разумѣется, увлекло и насъ. Мы въ подобныхъ случаяхъ очень легки на подъемъ. Тогдашъ

*) Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, I, 169.

**) «О жизни и сочиненіяхъ В. А. Озерова». Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, I, 57.

образовались у насъ два войска, два стана; классики и романтики до-
юдили до червильной драки. Всего забавнѣе было то, что налицо не
было ни настоящихъ классиковъ, ни настоящихъ романтиковъ: были
дни подставные и самозванцы. Грубнѣйшій человекъ, увлекся и я тогда
разлившись и мутаями потокомъ». Легко было такъ говорить о
мутьномъ потоки, когда онъ давно изсякъ, но въ двадцатыхъ годахъ,
при желаніи имѣть свое «собственное» и при отсутствіи его, остава-
юсь лишь кланяться направо и налево—и классикамъ, и романтикамъ,
гдѣ Вяземскій и дѣлалъ, разсуждая вполне правильно, что писатели
тихъ обихъ направлений ишли свои заслуги передъ нашей культурой.

Если Вяземскій былъ такъ остороженъ, какъ третейскій судья между
народностью» и подражаніемъ, то молодой его современникъ—Вене-
питиновъ былъ въ рѣшеніи этого вопроса выразителемъ самаго край-
няго и очень оригинальнаго взгляда. Веневитиновъ былъ ода-
енъ большимъ критическимъ чутьемъ и то малое, что онъ успѣлъ
дѣлать (а онъ умеръ дадцати двухъ лѣтъ) показываетъ, какую
юльшую утратившую силу мы въ немъ потеряли. Но онъ былъ преиму-
дественно философъ-метафизикъ и потому очень склоненъ къ обобще-
ніямъ. Мало углубляясь въ факты, онъ предпочиталъ оперировать съ са-
мыми общими формулами. Такую общую формулу прихвѣнилъ онъ и къ
опросу о самобытности нашей духовной жизни, и къ вопросу о томъ,
вкъ оградить насъ себя отъ подражанія. Мысли его заключены въ
маленькой статейкѣ, въ которой онъ обсуждалъ планъ затѣяннаго имъ
его товарищами философскаго журнала.

«Какими силами подвигается Россія къ цѣли просвѣщенія?—спраши-
валъ Веневитиновъ. Какой степени достигла она въ сравненіи съ дру-
гими народами на семь поприщъ, общимъ для всѣхъ? У всѣхъ наро-
въ самостоятельныхъ просвѣщенію развивалось изъ начала, такъ
казать, отечественнаго; ихъ произведенія, достигая даже нѣкоторой
тепени совершенства и входя, слѣдственно, въ составъ всемірныхъ
рѣобрѣтений ума, не теряли отличительнаго характера. Россія все
взучила извнѣ; отсюда это чувство подражательности, которое самому
влашту приносить въ даръ не удивленіе, но раболѣпство; отсюда со-
ершенное отсутствіе всякой свободы и истинной дѣятельности... мы
вздвигли мнимое зданіе литературы безъ всякаго основанія, безъ вся-
аго напряженія внутренней силы; мы, какъ будто предназначенные
ротиворѣчить исторіи словесности, мы получили форму литературы
режде самой ея существенности. Вотъ положеніе наше въ литера-
урномъ мѣрѣ—положеніе совершенно отрицательное. Что изъ того,
то мода у насъ держится недолго? Давно ли сбивчивыя сужденія

французовъ о философіи и искусствахъ почитались у насъ законами? И гдѣ же слѣды ихъ? Освобожденіе Россіи отъ условныхъ оковъ и отъ невѣжественной сомоувѣренности французовъ было бы торжествомъ ея, если бы оно было дѣломъ свободнаго разсудка; мы отбросили французскія правила, не отъ того, что мы могли ихъ опровергнуть какою-либо положительною системою; но потому только, что не могли примѣнить ихъ къ нѣкоторымъ произведеніямъ новѣйшихъ писателей, которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ правила непрерывно замѣнились у насъ отсутствіемъ всякихъ правилъ. Языкъ поэзіи обратился у насъ въ механизмъ, онъ сдѣлался орудіемъ безсмія, которое не можетъ себѣ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается опредѣлительнаго языка разсудка.

«При семъ нравственномъ положеніи Россіи, одно только средство представляется тому, кто пользу ея избереть цѣлью своихъ дѣйствій,— надобно бы совершенно остановить нынѣшній ходъ ея словесности и заставить ее болѣе думать, нежели производить».

Средство, какъ видимъ, радикальное, передъ неисполнимостью котораго Веневитиновъ, однако, не останавливается. «Надлежало бы, говорить онъ, нѣкоторымъ образомъ устроить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ литературномъ мірѣ, бесполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой бы она видѣла свое собственное предназначеніе». Веневитиновъ рекомендуетъ для этого одно средство—философскій журналъ, который заставитъ насъ дѣйствовать собственнымъ умомъ, устроить насъ на время отъ настоящаго и, главное, сдѣлаетъ насъ смилыхъ предметомъ нашихъ разысканій. «Россія нуждается въ твердомъ основаніи изящныхъ наукъ и найдетъ сіе основаніе, сей залогъ своей самобытности, и, слѣдственно, своей нравственной свободы въ литературѣ, въ одной философіи, которая заставитъ ее развить свои силы и образовать систему мышленія» *).

Можно, конечно, только улыбнуться, читая, какъ этотъ восторженный философъ думалъ сразу остановить все развитіе нашей словесности и начать его вновь сначала, выставивъ нашу мысль предварительно пройти строгій и полный курсъ философіи, но значеніе словъ Веневитинова отъ этого не убавится—они ясно указываютъ на то, какъ критическая мысль того времени опережала наше словесное творчество, какъ люди

*) Нѣсколько мыслей въ планъ журнала. «Сочиненія Д. В. Веневитинова». Москва, 1831 г., II, 25—31.

умные были медовольны опекой надъ нами иностраннаго, какъ, наконецъ, имъ хотѣлось имѣть свою самобытную словесность, которая могла бы состязаться съ западною. И все это писалось и говорилось въ тѣ годы, когда власть западныхъ литературныхъ теченій достигала въ нашъ словесномъ творчествѣ своего апогея. Пишутъ въ нашей литературѣ критика тогда не была довольна, и она была права не потому, что въ творчествѣ Жуковского, Пушкина, Языкова, Баратынского и другихъ не было ничего достойнаго восхваленія, а потому, что то, что иными художниками было создано, обѣщало въ дальнѣйшемъ опроверженіе самыхъ сильныхъ надеждъ. Читая Жуковского, Пушкина и иныхъ, критикъ думалъ, какъ хорошо было бы, если бы эту силу употребить на разработку истиннонароднаго сюжета и истинно самобытнымъ способомъ.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ критика не менѣе настойчиво продолжала требовать все той же «народности», и мысли самыхъ авторитетныхъ критиковъ, при рѣзкомъ несогласіи во многихъ вопросахъ, создавали именно въ этомъ—въ желаніи имѣть какъ можно скорѣе литературу, выросшую на русской почвѣ, пропитанную русскимъ духомъ и разрабатывающую русскіе сюжеты. Въ этомъ были согласны три наиболѣе видныхъ литературныхъ судей начала 30-хъ годовъ—И. В. Кирѣевскій, редакторъ журнала «Европеецъ», Н. А. Полевоій, редакторъ «Московского Телеграфа», и П. И. Надюдинъ, редакторъ «Телескопа»—какъ виднѣтъ, председатели всѣхъ главныхъ литературныхъ трибуналовъ того времени.

Взгляды Кирѣевского на назначеніе русской словесности тѣсно связаны съ его общими историко-философскими взглядами. Знаменитый нашъ славянофилъ былъ въ тридцатыхъ годахъ большимъ поклонникомъ Запада. Онъ стоялъ, въ интересахъ русскаго просвѣщенія, за наше тѣсное общеніе съ сосѣдами: Ему хотѣлось, чтобы китайская стѣна, которая отдѣляетъ Россію отъ Запада, скорѣе рушилась. Образованность наша должна возвыситься, говорилъ онъ, до европейской степени наша обязанность содѣйствовать этому. Существуетъ одинъ важнѣйшій вопросъ для всѣхъ образованныхъ людей русскихъ: это вопросъ объ отношеніи русскаго просвѣщенія къ просвѣщенію остальной Европы; отъ его рѣшенія зависитъ вся совокупность нашихъ мыслей о Россіи, будущей судьбѣ ея просвѣщенія и о нашемъ настоящемъ положеніи.

Кирѣевскій рѣшаетъ этотъ вопросъ не въ пользу тѣхъ лицъ, которые говорятъ о просвѣщеніи національномъ, которыя не ведаютъ имуществовать и хотятъ возвратитъ насъ къ коренному и старинно-русскому. Все благоденствіе наше, думалъ Кирѣевскій, зависитъ отъ нашего просвѣщенія, а искать у насъ національнаго значить искать

необразованнаго; но имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы его, если не изъ Европы? Повидимому, нашъ критикъ, оставаясь послѣдовательнымъ, долженъ былъ стать рѣшительно въ ряды сторонниковъ всякаго подражанія, въ томъ числѣ и литературнаго. Но мысль Кирѣевскаго нельзя понимать такъ просто. Онъ соглашается, что мы смѣшны, подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ чужовку и не вполне. Когда наше сближеніе съ Западомъ станетъ болѣе тѣснымъ, тогда только и окажутся вредотворныя послѣдствія этого сближенія. Утратить своей національности намъ бояться нечего: наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни французами, ни англичанами, ни вѣйцами. «До сихъ поръ національность наша была національность необразованная, грубая, китайски-неподвижная. Просвѣтитъ ее, возвыситъ, дать ей жизнь и силу развитія можетъ только вліяніе чужеземное; и такъ какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поравняемся съ остальною Европой. Тамъ, гдѣ *обще-европейское* совпадаетъ съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно русское, образованно національное, твердое, живое, глубокое и богатое благотѣльными послѣдствіями».

Мысль Кирѣевскаго стала теперь совсѣмъ ясна и для самолюбія нашего не обидна. Критикъ хочетъ сказать, что мы должны идти въ школу общечеловѣческую, усвоить себѣ все, что до насъ было сдѣлано въ области духа и, окончивъ, этотъ курсъ ученія, сочесть это «общее» съ тѣмъ «частнымъ», которымъ мы одарены отъ природы. Не чужое эхо должны мы изображать изъ себя, мы должны только обработать хорошо нашъ голосъ; теперь еще рано, но придетъ время, когда мы запоемъ свою пѣсню. А школа намъ пока не опасна, уже по одному тому, что въ настоящую минуту (т. е. въ началѣ XIX вѣка) она учитъ очень хорошему.

А чему можетъ научить насъ современное просвѣщеніе Европы? спрашиваетъ Кирѣевскій, и на этотъ вопросъ у него есть отвѣтъ очень характерный и очень опредѣленный. Кирѣевскій начинаетъ съ того, что указываетъ, какъ вообще истинная поэзія въ его время на Западѣ пала, какъ *соотѣтственность съ текущею минутою* стало первымъ требованіемъ, которое предъявляетъ общество писателю, какъ отъ этой погои за современностью понизился уровень творчества и какъ все указываетъ на то, что въ обществѣ: начинаетъ преобладать исключитель-

вое стремленіе къ практической дѣятельности. Все это факты, повидному, неутѣнительные, но Кирѣевскій изъ нихъ дѣлаетъ очень любопытный выводъ. «Ноужели,—спрашиваетъ онъ,—въ этомъ стремленіи къ жизни дѣйствительной нѣтъ своей особенной поэзіи? Именно изъ того, что жизнь *вытѣсняетъ* поэзію, должны мы заключить, что стремленіе къ жизни и къ поэзіи *сошлись* и что, слѣдовательно, часть изъ поэта жизни наступилъ. То же сближеніе жизни съ развитіемъ человѣческаго духа наблюдается и во всѣхъ остальныхъ сферахъ духовной дѣятельности человѣка. И философія открываетъ теперь новую цѣль и прокладываетъ новую дорогу. Она стремится къ истинному познанію, положительному, живому, составляющему конечную цѣль всѣхъ требованій нашего ума, и это познаніе не заключается въ логическомъ развитіи необходимыхъ законовъ нашего разума. Оно *есть* школьно-логическаго процесса, и потому *живое*; оно *выше* понятія вѣчной необходимости и потому *положительное*; оно *существенно* математической отвлеченности, и потому *индивидуально-опредѣленное, историческое*. Это требованіе исторической сущности и положительности въ философіи сближаетъ весь кругъ умозрительныхъ наукъ съ жизнью и дѣятельностью. То же стремленіе къ сущности, то же сближеніе духовной дѣятельности съ дѣятельностью жизни замѣтно въ настоящее время и въ религіи. Всѣ самыя разнообразныя современныя религиозныя партіи, которыя въ такомъ множествѣ вознужаются теперь въ Европѣ и которыя не согласны между собой во всемъ остальномъ, кѣ, однакоже въ одномъ сходятся: въ требованіи большаго сближенія религіи съ жизнью людей и народовъ. Это сближеніе замѣтно и на всей европейской образованности. Вездѣ господствуетъ направленіе чисто практическое и дѣятельно положительное: дѣло беретъ верхъ надъ истомой, сущность надъ формою, сущность надъ умозрѣніемъ. Человѣкъ нашего времени уже не смотритъ на жизнь, какъ на простое словіе развитія духовнаго; но видитъ въ ней *цѣль* и средство, и *цѣль* бытія, вершину и корень всѣхъ отраслей умственнаго и сердечнаго просвѣщенія. Ибо жизнь явилась ему существомъ разумнымъ и вслѣдствіемъ, способнымъ понимать его и отвѣчать ему, какъ художнику Пигмаліону его одушевленная статуя».

«Въ наше время всѣ важнѣйшіе вопросы бытія и успѣха таятся въ *вытѣхъ* дѣятельности и въ сочувствіи съ жизнью общечеловѣчюю, говоритъ Кирѣевскій, уже обращаясь прямо къ поэту, а потому юзія, не проникнутая сущностью, не можетъ имѣть вліянія довольно обширнаго на людей, ни довольно глубокаго на человѣка».

Если это такъ; то наше общеніе съ западными просвѣщеніемъ въ

данную минуту, чѣмъ оно будетъ тѣснѣе, тѣмъ для насъ полезнѣе. Мы научимся цѣнить дѣйствительность и существенность, мечтательность перестанетъ искажать правильность нашего взгляда на жизнь, мы въ угоду старинѣ не будемъ жертвовать настоящимъ и сентиментальное и романтическое отношеніе къ жизни уступать трезвому взгляду на нее.

«Мы должны всему этому учиться, чтобы готовиться къ той роли, которая намъ предстоитъ, а вся наша роль въ будущемъ, а не въ настоящемъ. Судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи: оно есть условіе и источникъ всѣхъ благъ. Когда эти всѣ блага будутъ нашими, мы ими подѣлимся съ остальной Европой и весь долгъ нашъ заплатимъ ей сторницею. Пока мы можемъ спокойно усваивать себѣ умственные богатства чужихъ странъ. Чужія мысли должны быть полезны только для развитія собственныхъ. Придетъ время, и мы будемъ имѣть и свою философію, которая должна будетъ развиться изъ нашей жизни, создастся изъ текущихъ вопросовъ, изъ господствующихъ интересовъ *нашего* народнаго и частнаго быта. Когда и какъ, скажетъ время. Блестящее поприще открыто еще для русской дѣятельности; всѣ роды искусствъ, всѣ отрасли познаній еще остаются неусвоеннымъ нашему отечеству, намъ дано еще надѣяться... А пока надо учиться».

Таковы общіе взгляды молодого Кирѣевскаго, высказанныя имъ во всегда безъ противорѣчій на разныхъ страницахъ его критическихъ статей. Критикъ не систематизировалъ ихъ, но и въ этомъ разрозненномъ видѣ они показались нашей цензурѣ настолько оскорбительными для русскаго самолюбія, что она прикрыла журналъ, гдѣ они были напечатаны *).

Этими общими взглядами Кирѣевскаго опредѣляются и его сужденія о русской литературѣ. Заранѣе можно сказать, что къ этой литературѣ, живущей, главнымъ образомъ, насчетъ запада, онъ отнесется мягко, какъ къ ученику, который учится прилежно. Съ другой стороны, принимая во вниманіе его требованія, чтобы литература сближалась съ жизнью и съ дѣйствительностью, нельзя ожидать отъ него милостиваго отношенія къ классическимъ, сентиментальнымъ и романтическимъ традиціямъ. Наконецъ, зная его мысли о великомъ будущемъ нашей родины, можно быть увѣреннымъ, что свой оптимизмъ онъ проя-

*) Всѣ эти взгляды взяты изъ разныхъ критическихъ статей Кирѣевскаго за періодъ отъ 1829—1830 г. См. «Полное собраніе сочиненій Н. В. Кирѣевскаго», Москва, 1861 г. I, 72, 82, 83, 108—109, 67, 69, 71, 72, 137, 46, 33, 15.

ить и въ отношеніи къ русской словесности. Дѣйствительно, критика его въ общемъ очень мягкая: въ ней нѣтъ вызывающаго, насмѣшливаго, не говоря нѣ уже—ругательнаго тона, которымъ иногда злоупотребляли его современники, какъ, напр., Полевой и Надеждинъ. Стоитъ только просмотрѣть «Обозрѣнія русской словесности за 1829 и 1831 годъ», чтобы увидать, какъ Кириѣвскому непріятно сказать что-либо рѣзкое. Онъ для всѣхъ находитъ слова ободренія, въ комъ только видитъ искреннее желаніе служить литературѣ. Но эта мягкость не мѣшаетъ ему критически отнестись даже въ лицамъ, къ которымъ онъ питалъ большое уваженіе, и еще строже не къ отдѣльнымъ лицамъ, а къ литературѣ вообще. Отдавая все должное заслугамъ Карамзина, онъ опредѣляетъ причины, почему образъ его мысли, нѣкогда для Россіи столь плодотворный, сталъ для насъ теперь неудовлетворительнымъ; онъ видитъ причину этой неудовлетворительности въ томъ, что идеальная, мечтательная сторона человѣческой жизни, которую преимущественно развиваетъ поэзія нѣмецкая, оставалась у насъ еще невыраженной; онъ указываетъ на то, что люди, которые начали воспитаніе нѣжными карамзинскими, съ развитіемъ жизни увидѣли неполноту ихъ и чувствовали потребность новаго. Для молодой Россіи нуженъ былъ Жуковскій. Его поэзія, хотя совершенно оригинальная въ средоточіи своего бытія (въ любви къ прошедшему), была, однако же, мало оригинальна. Она передала намъ идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ нѣмецкой жизни, и на этомъ роль ея кончилась. Лира Жуковского замолчала, но развитіе духа народнаго не могло остановиться. Народъ искалъ поэта. Народу необходимъ былъ наперсникъ, который бы сердцемъ отгадывалъ его внутреннюю жизнь, и въ восторженныхъ вѣсняхъ велъ дневникъ развитію господствующаго направленія, народу нуженъ былъ проводникъ народнаго самопознанія. И вотъ, явился Пушкинъ. «Въ его поэзіи совпалъ французскій сентиментализмъ съ нѣмецкимъ идеализмомъ и поэзія эта выражала собой стремленіе къ лучшей дѣйствительности. Сначала поэзія Пушкина была веселая, затѣмъ байронически разочарованная. Но въ обоихъ случаяхъ она выражала двѣ крайности. Между безотчетностью надежды и байроническимъ скептицизмомъ есть однако середина: это—довѣренность въ судьбу и мысль, что сѣмена *желаннаго будущаго* заключены въ *дѣйствительности настоящаго*; что, въ необходимости есть Провидѣніе; что если прихотливое созданіе мечты габнетъ, какъ мечта, зато изъ совокупности существующаго должно образоваться лучшее прочное. Оттуда уваженіе къ *дѣйствительности*, составляющее средоточіе той степени умственнаго развитія, на которой теперь остановилось просвѣщеніе

Европы и которая обнаруживается историческим направлениемъ всѣхъ отраслей человѣческаго бытія и духа».

И вотъ этого то уваженія къ дѣйствительности, или, выражаясь проще, этого правдиваго реализма, Кирѣевскій и не находилъ въ современной словесности. Хоть критикъ и отстаивалъ самобытность Пушкина противъ обвиненій, которыя на него сыпались за его «подражаніе» Байрону, хоть онъ и утверждалъ, что Пушкинъ уже почувствовалъ силу дарованія самостоятельнаго, свободнаго отъ постороннихъ вліяній, но все-таки Пушкинъ въ его глазахъ еще не оправдалъ всѣхъ надеждъ, которыя Кирѣевскій возлагалъ на истиннаго «поэта жизни»; и даже послѣ хвалебнаго разбора «Бориса Годунова» нашъ критикъ замѣтилъ, что Пушкинъ выше своей публики, но что онъ былъ бы еще выше, если бы былъ общепонятнѣе. «Своевременность—говорилъ Кирѣевскій, столько же достоинство, сколько красота, и «Промедей» Эсхила въ наше время былъ бы анахронизмомъ, слѣдовательно ошибкой».

О литературѣ же нашей вообще, безъ прихвонія къ какой бы то ни было личности, Кирѣевскій говорилъ болѣе строго. Общій характеръ всѣхъ первоклассныхъ стихотворцевъ нашихъ, а слѣдовательно, и характеръ нашей текущей словесности вообще, выражается въ сочтаніи «собственнаго» съ вліяніемъ шести чужеземныхъ поэтовъ: Гёте, Шиллера, Шекспира, Байрона, Мура и Мицкевича. Это добрый знакъ для будущаго, говоритъ Кирѣевскій. Но мы можемъ спросить, а для настоящаго? Очевидно, что даже въ отношеніи къ первокласснымъ стихотворцамъ, Кирѣевскій объ этомъ настоящемъ былъ не особенно высококачественнаго мнѣнія. Что же касается литературы вообще, какъ итога дѣятельности всѣхъ пишущихъ, то нашъ критикъ видѣлъ въ ней ничто совсѣмъ не самобытное, а продуктъ соединеннаго вліянія почти всѣхъ словесностей. «Нѣмецкое и французское вліяніе у насъ господствуютъ, говорилъ онъ, замѣтно много мотивовъ Байрона и Оссиана, вліяютъ также и подражанія древнимъ, Италия имѣетъ среди насъ своихъ представителей въ видѣ Нежинскаго и Батюшкова. Все это живеть вмѣстѣ, мѣшается, роднится, ссорится и общается литературѣ нашей характеръ многосторонній, когда добрый геній спасетъ ее отъ безхарактерности». Изъ словъ Кирѣевскаго, однако, видно, что пока еще такого добраго генія среди насъ не имѣется. «Будемъ же безпристрастны, говоритъ онъ, и сознаемся, что у насъ еще нѣтъ полнаго отраженія умственной жизни народа, у насъ еще нѣтъ литературы. Но утѣшима, у насъ есть благо, залогъ всѣхъ другихъ: у насъ есть адежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества! А пока всѣ движенія нашей словесности похожи на востройныя движенія рас-

познатого ребенка, движенія, однако, необходимы для развитія силы, для будущей красоты и здоровья *)».

Таковы взгляды Кирѣвскаго на наше литературное движеніе того времени: все у насъ въ будущемъ, а въ настоящемъ только намекъ. Настоящая народность еще должна появиться, и мы пока въ ожиданіи истиннаго «поэта нашей жизни».

Гораздо болѣе суроваго и язвительнаго сужды, вооруженнаго далеко не такой глубокой мыслью, какъ Кирѣвскій, но съ языкомъ болѣе острымъ, нашла себѣ наша молодая словесность въ Н. А. Полевомъ. Положеніе его въ данномъ случаѣ было трудное; онъ былъ признанный и самый откровенный защитникъ «романтизма», т.-е. всего новаго въ западной словесности его времени. Его журналъ «Московскій Телеграфъ» былъ проводникомъ этого западнаго романтизма у насъ въ Россіи; всѣ самыя злыя статьи противъ враговъ романтики были написаны имъ и его сотрудниками и ему же пришлось теперь творить свой судъ и расправу надъ учениками тѣхъ самыхъ учителей, которымъ онъ поклонялся. Онъ это сдѣлалъ со свойственной ему откровенностью, выясняя значеніе западныхъ мастеровъ; защищая ихъ отъ разныхъ незлыхъ нападокъ, которымъ они подвергались со стороны слишкомъ яркихъ поборниковъ всего національнаго, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ же былъ и свирѣпыиъ гонителемъ всякаго подражанія. И у него, несмотря на его преклоненіе передъ западомъ, была завѣтная мысль о народной русской словесности, о «самобытномъ», которое онъ искалъ въ текущей словесности съ терпѣніемъ муравья и которое весьма неудачно стремился создать самъ въ своихъ повѣстяхъ и драмахъ.

Когда онъ гонорилъ о старикахъ, о классикахъ, даже о сентименталистахъ, онъ, конечно, не испытывалъ никакого стѣсненія въ мысляхъ и рѣчи: они были его добычей, и онъ расправлялся съ ними жестоко и смѣло. Надобно было быть смѣлымъ, чтобы написать такую статью, которую онъ написалъ о Дмитріевѣ, въ годы, когда Дмитріевъ былъ еще литературной иконой. И Полевой попалъ вѣрно; старому класснику было отведено подобающее мѣсто; судъ былъ произнесенъ не только надъ нимъ, но и надъ всѣми, кто съ нимъ во главѣ думалъ такъ неумѣло воскресить классическое въ XIX вѣкѣ. Полевой у Дмитріева отнялъ сразу право на званіе поэта, онъ же назвалъ его космополитомъ, въ твореніяхъ котораго нѣтъ ничего русскаго, ни по уму, ни по языку. Критикъ вышутилъ классическую литературную традицію, всѣхъ этихъ цыганокъ, восклицающихъ «Эвоэ!» въ Марьиной роуцѣ

*) Полное собраніе сочиненій Н. В. Кирѣвскаго 1, 22, 23, 21, 14, 91, 43, 38, 41, 19.

всѣхъ этихъ пернатыхъ сиренъ на Волгѣ, и онъ подъ своими шутками похорошилъ и маститаго старца Ивана Ивановича, и его родственника, продолжителя семейныхъ литературныхъ традицій—Михаила Александровича Дмитріева, надъ которымъ онъ издѣвался, какъ надъ мальчишкой *).

Въ сужденіяхъ о новыѣ писателяхъ романтикахъ приходилось, конечно, быть болѣе сдержаннымъ въ отзывахъ, такъ какъ въ данномъ случаѣ были затронуты интересы самого критика. Онъ любилъ романтиковъ истинныхъ, западныхъ; когда Надеждинъ обрушился на нихъ своею тяжеловѣсною диссертациею, Полевой поднялъ перчатку. Въ очень остроумной статьѣ, самой злой, какую онъ когда либо написалъ, сталъ онъ метать ядовитыя стрѣлы противъ своего врага и также попадалъ вѣрно. Мѣрить западную литературную теченія аршиномъ прописной морали и риторическаго патріотизма, какъ это дѣлалъ Надеждинъ—Полевой считалъ непорядочнымъ и неумнымъ приѣмомъ со стороны критика. Онъ видѣлъ—и справедливо—нѣкоторую нечистоплѣтность въ частыхъ указаніяхъ Надеждина на французскую революцію, какъ на источникъ романтическаго настроенія, и полагалъ, что клеймить Байрона клеймомъ Каина надо предоставить кому угодно, но только не литератору **).

Съ горячностью отстаивая всѣхъ великихъ художниковъ романтической школы на западѣ, Полевой поглядывалъ однако очень косо на ихъ русскихъ учениковъ. Самый сильный изъ этихъ учениковъ, съ которымъ Полевою пришлось сводить свои счеты, былъ Жуковскій. Опѣнить его поэзію вѣрно и безпристрастно, опредѣлить точно его значеніе для Россіи было въ тѣ времена очень трудно, какъ вообще трудно писать о живыхъ еще въ полномъ цвѣтѣ находящихся писателяхъ, которыхъ нужно, однако, вдвинуть въ историческую перспективу.

Полевой не убоился трудности, и статья его—лучшее, что *до сихъ поръ* написано о Жуковскомъ, и тотъ, кто въ наше время будетъ писать о Жуковскомъ, вѣроятно только подпишется подъ доброй половиной словъ Полевого. Статья справедливая, но строгая и выдержанная въ спокойномъ, для Полевого рѣдкомъ, ровномъ тонѣ. Она помимо цѣнности критическихъ взглядовъ, въ ней высказанныхъ, замѣчательна и по тому историческому взгляду, который проведенъ въ ней. «Изъ

*) Статья: «Сочиненія П. П. Дмитріева» и «Стихотворенія Михаила Дмитріева». «Очерки русской литературы» П. Полевою. Сиб., 1849, II, 451—182, II, 439—447.

**) Статья «О началѣ, сущности и участи поэзіи, романтической называемой». Сочиненію П. Надеждина. «Очерки русской литературы». П. Полевою II, 241—257.

наше время годами проживают десятки лѣтъ — говоритъ критикъ. Духъ испытательности сорвалъ съ глазъ нашихъ всѣ повязки, развилъ въ душахъ нашихъ помыслы, невѣданныя отцамъ нашимъ струны. Наступило и время суда надъ Жуковскимъ. Заслуги его велики и говоря о немъ, никогда не должно забывать, что мы теперь выросли и усвоили всѣ духовныя богатства запада. Чтобы судить Жуковского, надо быти и критикомъ, и историкомъ. Онъ явился среди насъ въ безцвѣтную эпоху нашей словесности. Онъ замыкалъ собою тотъ періодъ свѣтскости, любезности, вѣрности, во положительныхъ понятій, періодъ сентиментальный и лощенный, когда не было различія между переводомъ и сочиненіемъ, не было слова о народности, когда никто не прислушивался къ родному голосу. Въ этотъ періодъ безцвѣтный и несамобытный, когда мы отъ кафтановъ переходили къ фракамъ, отъ Кориселя къ Дюсселямъ, когда единственнымъ лучшимъ памятникомъ вѣки, со всѣми признаками тогдашняго образованія, была «Исторія Государства Россійскаго»; когда самыя великія явленія Европы оставались неизвѣстными и никто объ этомъ не беспокоился; когда все было усыпано эпиграммами, мадригалами, акростихами, баснями, тріолетами, романсами, рондо, дистихами, которые писались на розовыхъ листочкахъ—въ это время явился на сцену Жуковский и съ нимъ вышла живое чувство и идеальныи взглядъ на жизнь. Онъ сталъ у насъ проводникомъ не щегольской, а истинной меланхолиі, и въ этомъ неопредѣленномъ, очень искреннемъ, но неглубокомъ чувствѣ, которое одушевляеть лишь юношу мечтателя. И даже языкъ, на которомъ этотъ юноша изъяснялъ любовь свою чужестраникѣ, даже этотъ языкъ былъ невѣренъ, ошибоченъ, хотя и пламененъ. Жуковский взялъ его у вѣнца, да и самъ поэтъ очень скоро, послѣ краткой вспышки «собственной» поэзіи, превратился въ смиреннаго периодчика и подражателя. Ходъ развитія его идей остановился, онъ застылъ задумчивымъ мечтателемъ, любовникомъ всего прекраснаго въ мірѣ, безогчетно мечтающимъ о небѣ и недоступнымъ высокому міру фантазіи, какой развила для насъ питомица Шекспира и философіи, германская и англійская новѣйшія музы. Однообразіе мысли Жуковский замѣнялъ только разнообразною формою стиха. Какъ за двадцать лѣтъ не зналъ онъ національности русской, когда писалъ «Марину роуцу» и старался обрусить Ленору, такъ онъ и въ тридцатыхъ годахъ остался незнакомъ съ этой національностью, пересказывая на русской языкъ сказку Перро о спящей царевнѣ. Принято думать, что Жуковский представитель современнаго романтизма. Это невѣрно; онъ былъ представителемъ только одной изъ идей его и мірѣ новаго роман-

тизма проходилъ и проходить мимо его такъ, что онъ едва успѣваетъ схватить и разложить одинъ изъ лучей, какими этотъ романтизмъ осіялъ Европу. Чего же Жуковскому не доставало? Въ прозѣ — идей; въ стихахъ — глубины восторга, но звуки его были прелестны. Читая созданія Жуковского, вы не знаете: гдѣ родился онъ, гдѣ поетъ онъ? хочетъ ли онъ передать вамъ чужое, оно обращается въ его собственное; собственные же созданія Жуковского, напротивъ до такой степени космополитны въ мирѣ литературномъ, что едва отличите вы ихъ отъ переводовъ. При такомъ направленіи эта поэзія и не могла быть народной и народности нечего искать у Жуковского. Онъ живетъ духомъ не на землѣ и что ему въ положительныхъ земныхъ формахъ *).

Произнеся такой строгій судъ надъ старикомъ, Полевой совсѣмъ иначе отнесся къ его великану наслѣднику. Въ одной изъ своихъ статей критикъ далъ цѣлый историческій очеркъ развитія творчества Пушкина. Онъ судилъ поэта, если не всегда вѣрно, то все таки объективно. Онъ привѣтствовалъ «Руслана», какъ блестящее прекрасное начало, въ которомъ, хотя и не было тѣни народности, но зато были краски. Онъ ставилъ Пушкину въ заслугу, что онъ не увлекся тогдашнимъ классическимъ громкословіемъ и не замечтался въ блѣдныхъ подражаніяхъ Жуковскому. Положимъ, что свѣтское карамзинское образованіе тяготѣло надъ его дѣтствомъ, и Байронъ былъ игомъ его юности, но Пушкинъ отъ этихъ опекуновъ скоро избавился. Онъ заплатилъ, впрочемъ, довольно дорого за свое увлеченіе Байрономъ: блѣденъ и ничтоженъ былъ его «Кавказскій плѣнникъ», перлшительны его «Бахчисарайскій фонтанъ» и «Цыгане» и легокъ «Евгеній Онѣгинъ» — русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова, какъ кавказскій плѣнникъ и Алеко были снимками съ Чайльдъ-Гарольдова лица. Но съ каждымъ шагомъ Пушкинъ становился выше, самобытнѣе, разнообразнѣе и единство его гевія прояснялось болѣе и болѣе. Ростъ его таланта всего яснѣе сказанъ на отдѣльныхъ пѣсняхъ «Евгенія Онѣгина». Первая глава пестра, безъ тѣней, насмѣшлива, почти лишена поэзіи; вторая впадаетъ въ мелкую сатиру, но въ третьей Татьяна уже есть идея поэтическая; четвертая облакаетъ ее еще болѣе увлекательными чертами; пятая — сонъ Татьяны — довершаетъ поэтическое очарованіе; въ шестой поэтъ снова впадаетъ въ тонъ насмѣшки, эпиграмму, и то же слѣдуетъ въ седьмой, но послѣднокъ Ленсаго съ Онѣгинымъ искупаетъ все, а въ восьмой послѣднее изображеніе Татьяны показываетъ, какъ

*) Статя: «Баллады и повѣсти В. А. Жуковского». «Очерки русской литературы». И. И. Полевой, I, 95—144.

возмужалъ всего семьѣ годами.. Идея народности появляется наконецъ въ «Полтавѣ», и Русь отзывается сквозь байроновскую оболочку даже въ «Братьяхъ Разбойникахъ». А сколько у Пушкина художественныхъ мелкихъ стихотвореній и сколько чисто народнаго въ его «Вступленіи къ Руславу», въ «Женихѣ» и «Утопленникѣ»! Пушкину не чуждо было и есть все, что волновало, двигало, тревожило нашъ разнообразный вѣкъ. Всего болѣе онъ подчинялся могуществу Байрона, но и другія силы романтизма ярко отражались на немъ: баллада испанская, нѣмецкая, поэзія восточная и библейская, эпопея и драма романтическая, разнообразіе юга и сѣвера вдохновляли его лиризмъ, стремящійся къ эпопее и драмѣ. Все это, выражая характеръ современности, составляя характеръ Пушкина, должно было напоследокъ привести его къ драмѣ и роману. Романъ ему не удался, какъ прозаическое отдѣленіе, но онъ создалъ «Бориса Годунова», который удовлетворилъ бы всѣмъ условіямъ настоящей исторической и самобытной драмы, если бы Карамзинъ своимъ освѣщеніемъ эпохи Бориса не сблизилъ поэта съ толку *).

Воздавъ такую хвалу Пушкину, Полевой остался все-таки при своемъ мнѣніи, что наша словесность пока еще переживаетъ періодъ младенчества. Въ своихъ фельетонахъ, которые онъ помѣщалъ въ «Телеграфѣ» подъ разными заглавіями и которые потомъ объединилъ въ шести томахъ «Нюпаго живописца общества и литературы», онъ, пользуясь правомъ не называть никого по имени, далъ цѣлый рядъ памфлетовъ, въ которыхъ осмѣивалъ нашу литературную братію того времени. Памфлетами были иногда и его критики въ самомъ журналѣ. Доставалось всѣмъ, и молодымъ, и старымъ, и доставалось главнымъ образомъ все за ту же страсть къ подражанію. Все прильнуло къ намъ снаружи, говорилъ онъ. Мнѣнія русскихъ классиковъ, какъ и русскихъ романтиковъ, представляютъ негнѣную смѣсь, развродную странную сложность противорѣчій. «Наши романтики большею частью показываютъ тоже дѣтство образованія, какое видимъ въ нашихъ классикахъ, дѣтство, повторяю, ибо все, что мы замѣчаемъ смѣшного въ тѣхъ и другихъ, совсѣмъ не доказываетъ, чтобы наши классики и романтики были злые люди и глупцы: вѣтъ, это недоученные дѣти, такъ какъ и наше русское (литературное) образованіе еще не вышло изъ везенокъ и едва, едва ходитъ на помочахъ, нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, схоластическихъ, всякихъ—только не самобытныхъ русскихъ **). На нашемъ Парнасѣ толкуются—какъ говорилъ критикъ,

*) (Статья «Борисъ Годуновъ» «Сочиненіе А. С. Пушкина. Очерки русской литературы» *И. Полевого* I, 160—183.

**) («Очерки русской литературы» *И. Полевого* II, 246, 248.

разные Феокритовы, Шолье-Андреевы, Гамлетовы, Анакреоны, Обезьянины, Демишиллеровы *), пишутъ они въ стихахъ и въ прозѣ—и толку отъ нихъ никакого. Всѣ эти Талаантины, Ариостовы, Ориенталины, Эпитетивны витають мечтой, кто на востокѣ, кто на западѣ, кто любить палму Ливанова, кто испанскій романсъ, кто Петрарку, кто Шиллера за его романсъ «Kennst du das Land», кто, наконецъ, бредить народностью и думаетъ, что будетъ истинно самобытенъ, если напишетъ романъ, въ которомъ Наполеона русская баба бьетъ башмакомъ и гдѣ у маршала Нея голодная кошка выхватываетъ жареную ворону... Чужое дано намъ, какъ образецъ; отчего же не составить планъ новой поэмы: основаніе взять изъ Гяура, дѣйствіе перенести на Кавказъ, началомъ сдѣлать разговоръ Ромео и Юліи, и потомъ ввести Миньону, похищенную черкесами? **).

Всего ядовитѣе и злѣе бывала шутка Полевого, когда онъ направлялъ ее противъ всевозможныхъ попытокъ молодой поэзіи создать насильственно во что бы то ни стало чтонибудь «народное» и «самобытное». Эта «народность» была для самого Полевого вопросомъ большимъ: онъ самъ изъ всѣхъ силъ старался быть въ всемъ творествѣ русскимъ по преимуществу и собственная неудача озлобляла его противъ другихъ—надо признаться не болѣе счастливыхъ—конкурентовъ.

Что онъ самъ понималъ подъ словомъ «народность», это изъ его рѣчей не вполне ясно: само слово онъ произносилъ часто, обставлялъ его пышными эпитетами, но изъ его же собственной критической оцѣнки Пушкина мы могли видѣть, что онъ не всегда обладалъ этимъ чутьемъ народности. Одно не подлежитъ сомнѣнію: и онъ былъ недоволенъ направлеиємъ текущей русской словесности и понималъ, что наше творчество—за исключеніемъ развѣ поэзіи Пушкина—расходится съ русской дѣйствительностью, вмѣсто того, чтобы съ нею сближаться. Продумавъ надъ этимъ вопросомъ много дѣтъ, онъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ, уже послѣ Пушкина и послѣ выхода въ свѣтъ всѣхъ повѣстей Гоголя, пришелъ къ такому безотрадному выводу: «Народность бываетъ двоякая, писалъ онъ, всѣ народы испытываютъ первую—но всѣ достигаютъ до второй. Первая народность та, которую можно назвать дѣтскимъ возрастомъ каждаго народа. Климатъ, мѣстность, происхожденіе, обстоятельства придаютъ особенную фізіономію самому дикому и пер-

*) «Новый живописецъ общества и литературы». Москва, 1832 г., II, 181. «Историческая чепуха».

**) «Новый живописецъ общества и литературы», IV, 202—204. «Беседа у молодого литератора или старымъ бредить повизна».

обытвому обществу... Но есть и высшая народность; она не может быть создана; она создается сама собою, какъ создаются сами собою, исторически, временемъ, изъ народовъ государства и изъ множества народныхъ жазией самобытная жизнь государственная. Стремясь къ сей цѣли, народы переходятъ періодъ подражанія чужеземцамъ—стараніе переработать въ свою самобытность хорошее чужое — и потомъ періодъ тщетныхъ усилій образовать систематически свою народность въ литературѣ... Мы русскіе, мы дошли до эпохи государственной народности и она создается у насъ трудами правительства и нашею исторіею, въ государственныхъ постановленіяхъ, правахъ, обычаяхъ, законахъ, гдѣ всюду появляется русскій самобытный духъ добрый, сильный, православный. Но словесность наша едва только касается сего періода. Она только что перешла періодъ подражанія, кипитъ, какъ ключъ подъ землею, новою самобытною, но ключъ еще не пробился на поверхность... Время, когда насильно стараются создать народную словесность, при высшей государственной гражданственности, представляютъ всегда усилія бесплодныя и негнѣдко забавныя. Мы теперь находимся въ такомъ времени. Самая простая и обольстительная идея прежде всего бросается въ глаза: обратиться къ первобытной народной поэзіи. Но это все равно, что завернуть взрослого въ пеленки и заязывать его покрывками». И съ большою грустью Полевой заканчиваетъ свою статью словами: «И кто знаетъ будущее? оно такъ обманчиво: сколько было прекрасныхъ началъ, по которымъ мы ворожили счастье и богатство нашей словесности? А чѣмъ кончалось? скучнымъ ничтожествомъ» *).

Совсѣмъ иначе смотрѣлъ на будущее современникъ Полевого и его ошлой противникъ Н. И. Надеждинъ. Полевой былъ рыцарь олимпизма, осужденный карать его слабыхъ адептовъ; Надеждинъ былъ защитникъ классицизма — воспитанный на немъ и ожившій отъ него спасенія для нашей юной словесности. Но какъ бы ни два критика ни ссорились, они сходились въ одномъ: въ невольности современнымъ имъ положеніемъ дѣлать на литературномъ микѣ.

Критическіе взгляды Надеждина выражены очень ясно въ отрицательныхъ положеніяхъ и очень неопредѣленно и неясно въ положительныхъ утвердительныхъ. Критикъ безъ стѣсненія, иногда даже неумиленно, разноситъ своихъ праговъ, но когда ему приходится гово-

* (Статья «Чары». Сценны изъ народныхъ былей и разказовъ малороссійскихъ. Черны русской литературы», Н. А. Полевого. II, 483—487, 510.

рить о томъ, что онъ желалъ бы видѣть на мѣстѣ разрушеннаго, онъ теряется въ общихъ словахъ и мысль замѣняетъ патетической риторикой.

У Надеждина былъ одинъ непримиримый врагъ, это—современное ему западное романтическое движеніе и преимущественно его выраженіе во французскомъ романтизмѣ и бабронизмѣ; къ нѣдкамъ онъ былъ болѣе снисходителенъ, хотя и поругивалъ Гете за его «Фауста». Но въ своей брани на романтизмъ Надеждинъ не зналъ границъ. Въ этой брани было кое-что и вѣрнаго, но въ общемъ она указывала на малое эстетическое пониманіе и развитіе критика.

«Романтизмъ въ настоящее время, разсуждалъ Надеждинъ, совершенный анахронизмъ. Беззаботное удалъство, заставлявшее нѣкогда рыцарей мыкаться по бѣлому свѣту и донскиваться приключеній, нынѣ возбуждаетъ не почтительное изумленіе, но улыбку сожалѣнія, если еще не презрѣнія. Тоскливыя жалобы и грустныя томленія безутѣшной мечтательности сами наговяютъ тоску, и не вымаливаютъ привѣтный отзывъ изъ оглушаемаго ими сердца. Если человѣкъ нынѣ не такая уже неподвижная статуя, каковою представлялся онъ въ паворахъ поэзіи классической, то, конечно, не такой же легучій змѣй — игральное бубновъ вихрей необузданнаго произвола, носимое по бездѣрнымъ пустынямъ фантастическаго міра, каковыми его изображала романтическая поэзія... Чтобы воскресить нынѣ эту поэзію, надлежало бы взмѣнить весь настоящій порядокъ вещей и воззвать къ жизни святую старину среднихъ вѣковъ, и право смѣшно заставлять теперь поэтическую фантазію безпрестанно скитаться со странствующими рыцарями по вертепамъ колдуновъ, страшилищъ и привидѣній, какъ бессмысленно и смѣшно принуждать ее вертѣться до упаду вокругъ Пилонскихъ стѣнъ и отпѣвать безконечную фамилію Атридовъ и Пирамидовъ... И зачѣмъ намъ все это, когда наше время значительно выше во всѣхъ смыслахъ временъ прошлыхъ? Человѣкъ классическій былъ покорный рабъ плеченія животной своей природы; человѣкъ романтическій былъ своевравный самовластитель движеній своей природы. И тамъ, и здѣсь упирался онъ въ крайности, или какъ невольникъ вещественной необходимости, или какъ игральное призраковъ собственнаго своего воображенія, но нашъ вѣкъ выше всего этого: онъ стремится къ соединенію сихъ двухъ крайностей чрезъ прочтеніе,—освященіе узъ общественныхъ, и существенный характеръ періода, въ которомъ живемъ мы, это возвышеніе и просвѣтленіе гражданственности. Въ этомъ-то гражданскомъ смыслѣ и вреденъ нынѣ романтизмъ: самовравная покорность своимъ прихотямъ, мечтамъ

и страстихъ, составлявшая душу времени романтическихъ въ настоящее время есть преступное буйство; романтизмъ—славословіе порока и грѣха, онъ явная несправедливость и клевета на природу человѣческую, которая устроена такъ, что всѣ частные ея разногласія и перекоры спасаются во всеобщей гармоніи. А что силится прогнать современная романтика? Жалкія и отвратительныя судороги бытія: наша романтическая поэзія есть лобное мѣсто—настоящая торговая площадь. Мы охотіе позволить неподвижнымъ статуямъ, вышпаннымъ изъ древняго міра, истязать слухъ нашъ чиннымъ разглагольствованіемъ, чѣмъ представлять взорамъ нашимъ жизнь человѣческую въ столь ужасныхъ конвульсіяхъ или со столь отвратительными гримасами. Это жеромантическое неистовство способно совратить даже какаго іенія. Примѣръ тому знаменитый Байронъ: онъ представляетъ мачевный примѣръ того всегубительнаго эгоизма, который, являсь на все, рубируется, наконецъ, до себя самого и истребивъ собственное бытіе, нисвергается съ шумомъ въ мрачную бездну ничтожества. Онъ родственникъ кюллера, этого выродка подновленнаго фальшиваго классицизма. Байонъ и Вольтеръ—двѣ зловѣщія кометы, производившія и производящія доселѣ: сильное и пагубное давленіе на вѣкъ свой и они, несмотря на ихъ видимое другъ отъ друга различіе, только отсвѣчиваютъ мрачное пламя одной и той же эстетической преисподней; британскій неавистникъ показываетъ ужасный примѣръ души, которая, закатившись въ безпредѣльную бездну самой себя, обрушивается собственною тяжестью глубже и глубже до тѣхъ поръ, пока, оглушенная безпримыслиемъ равновесіемъ, ожесточается злобною лютостью противъ всего шатающаго и изрыгаетъ собственное свое бытіе въ святотатскихъ хулахъ и неистовыми проклятіями».

«Если таковъ самъ Байронъ, то что же сказать объ его подражателяхъ: объ этихъ весеннихъ мошкахъ, съ ихъ искливыми жалобами мыслими гримасами на все, не исключая своей человѣческой приды? О времена! о нравы! *)».

А кто опредѣлитъ сколько нанесла вреда эта романтическая поэзія въ русскомъ? Мы теперь безъ ума отъ нея, и что же такое наша ящная словесность?

«Въ политическомъ состояніи отечества нашего все обстоитъ благоучно. Подъ благодатною сіянью Промысла, при отеческихъ попече-

*) «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи» (отричь изъ диссертации *И. И. Надеждина* 1830 г.) — перепечатано въ полномъ изданіи сочиненій Вѣлиискаго. С. А. Венгерова, I, 501—511.

вѣхъ мудраго правительства, мать святая Русь исполнинскими шагами приближается неукоснительно къ своему величію... Но наше просвѣщеніе и преимущественно наша литература, составляющая цвѣтъ народной образованности? Можно ли указать въ толпѣ безчисленныхъ метеоровъ, возгорающихся и блуждающихъ въ нашей литературной атмосферѣ, хоть одинъ, въ коемъ бы открывалось таинственное пареніе гевія въ горнюю страну вѣчныхъ идеаловъ?—даромъ что мы перечитали всѣ нѣмецкія эстетическія теоріи о поэзіи. Но сю пору, говоритъ критикъ, близорукій взоръ мой, преслѣдуя неизслѣдимыя орбиты хвостатыхъ и безхвостыхъ кометъ, кружащихся на нашихъ небосклонѣхъ, сквозь обливающій ихъ чадъ, могъ различить только то одно, что всѣ онѣ влекутся, силою собственнаго тяготѣнія, въ туманную бездну пустоты или въ страшный хаосъ».

«Нашъ Парнассъ не трудно спутать съ желтымъ дождемъ. Богъ судья поколѣному Байрону. Его мрачный сплинъ заразилъ всю настоящую поэзію и преобразилъ ее изъ улыбающейся хариты въ окаменяющую медузу. Всѣ наши доморощенные стиходѣи, стяжавшіе себѣ лубочный дипломъ на имя поэтовъ, загудѣли à la Byron *)».

«Нельзя, конечно, отрицать, что сближеніе съ Европой принесло намъ великую неоцѣненную пользу; оно вдавило насъ въ составъ просвѣщеннаго міра, но за это мы заплатили весьма дорого; мы стали пересаживать къ себѣ цвѣты европейскаго просвѣщенія, не заботясь, глубоко-ль они пустятъ корни и надолго ли примутся. Это иногда удавалось: и отсюда тѣ блестящія, необыкновенныя явленія, кои изумляютъ наблюдательность, блуждающую въ пустыняхъ нашей словесности. Сія явленія суть или переводы, или подражанія: они несамоходныя русскія, хотя часто имѣютъ русское содержаніе и составлены изъ чисто русскаго матеріала. Такъ растенія иноземныя, землемыя въ нашихъ садахъ, питаются русскимъ воздухомъ, сосутъ русскую почву, а все не русскія! Тяжело, а должно признаться, что доселѣ наша словесность была, если можно такъ выразиться, барщиной европейской; ова обрабатывалась руками русскими не по русски; истощала силія неистощимыя силы юнаго русскаго духа для воспитанія произрастеній чуждыхъ... Благодатный весенній возрастъ словесности, запечатлѣваемый у народовъ, развивающихся изъ самихъ себя, свободою естественностью и оригинальною самообразностью, у насъ, напротивъ, обреченъ былъ въ жертву рабскому подражанію и искусствен-

*) «Литературныя опасенія за будущій годъ». Статья II. II. *Нашеждина* 1828 г. Перепечатана у *Венгрова*. I, 455—465.

ной принужденности. Всѣ наши литературныя направленія весьма быстро выдвѣтали: отдѣляя Ломоносовъ и классицизмъ; Карамзинъ съ его везубудками, розами, горленками и нотыльками. Зазвучали серебряныя струны арфы Жуковского, настроенныя вѣжецкою мечтательною музою, и все бросилось подстраиваться подъ тонъ, и въ заданный фантазія переселилась на кладбище, мертвецы и вѣдьмы потянулись страшною вереницею, и литература наша огласилась дикими завываніями, конхъ запоздалое эхо отдается еще нынѣ по временамъ въ брачныхъ руннахъ «Московского Телеграфа». Новое броженіе, пробужденное своеобразными капризами Пушкина, метавшагося изъ угла въ уголъ, угрожало также всеобщей эпидеміею, которая развилась собственной вѣтротлѣнностью. Кошчилось тѣмъ, чѣмъ обыкновенно оканчивается всякое круженіе—утомленіемъ, охлажденіемъ, усыпленіемъ: литература онемѣла, подобно ратному полю, и минувшій годъ (1831) является молчаливымъ пустыннымъ кладбищемъ, на которомъ изрѣдка юзвикаютъ призраки усопшихъ воспоминаній *)».

Такова картина развитія нашей литературы, которую нарисовалъ такъ успѣшно этотъ желчный критикъ, не углубляясь въ факты, не споря о существу, а держась лишь самыхъ общихъ мѣстъ и опредѣленій. Чего значенія эта критика, конечно, не имѣла, она была простымъ крикомъ недовольства на скудость реализма, правды и самобытности искусства, крикомъ иногда совсѣмъ неприличнымъ, когда рѣчь входила о молодомъ Пушкинѣ, въ которомъ Надеждинъ видѣлъ главно виновника нашего (апроническаго) бѣснованія.

Что касается положительной стороны въ сужденіяхъ Надеждина, то она грѣшила большою неясностью. Прежде всего, полагалъ онъ, необходимо придумать что-нибудь, чтобы остановить этотъ потокъ романтизма, который грозитъ обратить нашу литературу въ грязную лужу, Надеждинъ хотѣлъ вѣрить, что намъ въ данномъ случаѣ можетъ оказать большую помощь истинное классическое образованіе.

«Дѣйствительное и цѣлебное противоядіе романтизму, думалъ Надеждинъ, заключается въ возвращеніи къ тщательному и благоговѣльному изученію священныхъ памятниковъ классической древности: разумеется, не въ поддѣльныхъ французскихъ слѣпкахъ, но въ самыхъ вѣстѣвшихъ оригинальныхъ источникахъ. Вездѣ и всегда изученіе классической древности поставлялось во главу угла умственнаго и нравственнаго образованія юношества, какъ первоначальная стихія разви-

*) «Житопися отечественной литературы». Статья *Н. Н. Надеждина*, 1831 г., напечатана у *Венгера*, I, 527—529.

вашей духовной жизни. Пусть въ этой правдѣ убѣдятъ насъ примѣры великихъ мужей, которыми хвалится наше время. Припомнимъ Клопштокъ, который любилъ классическую древность, Гёте, автора «Ифигени», Шиллера, который съ классическимъ миромъ былъ знакомъ гораздо раньше, чѣмъ познакомился съ Шекспиромъ. У грековъ и римлянъ. должны мы учиться истинной поэзии, и если мы этого не дѣлаемъ, то потому, что такое изученіе сопряжено съ большими трудностями и мы ихъ боимся». Надеждинъ понимаетъ, однако, что средство имъ рекомендуемое не вполне современно и онъ спѣшитъ оговориться: онъ отнюдь не желаетъ вернуть нашу словесность къ старому, но ему хотѣлось бы, чтобы новая словесность представляла собою разумное сочетаніе романтическаго съ классическимъ; какъ «эти полярныя противоположности должны быть возведены къ *средоточному единству*» — на это у Надеждина, конечно, нѣтъ яснаго отъѣта, и мысль его, развивая этотъ взглядъ, окончательно теряется въ риторическихъ фигурахъ и въ разныхъ ничего не говорящихъ сравненіяхъ.

Но какова же собственно должна быть наша народная современная словесность и что такое эта желанная «народность», которая прійдетъ же наконецъ на смѣну тому литературному хаосу, который насъ окружаетъ?

«Судьбы, коими благодатное Провидѣніе ведетъ, питаетъ и раститъ колосъ Россійскій, поистинѣ удивительны!—воскликнулъ Надеждинъ. Уже вся Европа или лучше весь земной шаръ, осужденный быть благоговѣйнымъ свидѣтелемъ ея дивнаго могущества, величія и славы—объемлется трепетнымъ изумленіемъ. Не можетъ же такая страна не имѣть своей словесности, не можетъ же статься, чтобы живое сознаніе внутренней своей гармоніи она не изразила внѣшнимъ гармоническимъ исполненіемъ? Тѣмъ болѣе, что былъ же у насъ Ломоносовъ, по превосходству поэтъ русскій, въ коемъ его великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя, былъ же Державинъ,—второе око нашего поэтическаго міра, коимъ ни одна страна и ни одинъ вѣкъ не посовѣстились бы хвалиться, былъ и Жуковский, но только не «пѣвецъ Свѣтланы», а «пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ», въ коемъ столь торжественно гудитъ величественное эхо святой любви къ отечеству; была же у насъ и басня въ лицѣ Хемницера, Дмитріева и Крылова, ознаменованная печатью высочайшей народности — вѣстовница духа и характера русскаго... Чудное и достойное великаго народа направленіе! И—о несчастіе! уже скудѣетъ сіе благородное стремленіе, гаснетъ сіе небесное пламя, умолкаетъ сія священная поэзія! Въ писателяхъ какъ будто переставетъ течь кровь русская и они хо-

тъ быть только романтиками»!). Но Надеждинъ былъ оптимистъ. «Слѣды Русь, говорилъ онъ, которая мнѣмъ Промысла предназначается разыгрывать первую роль въ новомъ дѣйстви драмы судьбъ человѣческихъ, создастъ свою поэзію. Эта поэзія придетъ на сцену и классицизму и романтизму, набогатившись ихъ неместоимымъ богатствомъ, и музыка наша восприметъ тогда къ живой и бодрой самодѣятельности»...

«Мало, конечно, можно надѣяться, но не должно и отчаиваться! Любодей внимательно, что принесетъ намъ поздній вечеръ»,—зачиниваетъ свою мысль Надеждинъ, какъ бы устыдявшись своего лишкомъ громкаго патриотическаго «эноузиализмъ» *).

Но всѣми этими словами понятіе о «народности» въ литературѣ мало мыслилось, въ особенности со стороны эстетической, и самъ Надеждинъ, все время говоря объ искусствѣ, какъ будто не хотѣлъ съ этой мкой зрѣнія считаться, браня напропалую Пушкина. Въ 1831 году онъ, впрочемъ, значительно смягчилъ свой отзывъ. Сказавъ нѣсколько словъ обзрѣнія такимъ писателямъ, какъ Орловъ, Гурьяшовъ, Кузкинъ съ братією, которые «какъ самородная трава, на подобіе мха и плесни, стали пробиваться изъ чисто народной почвы», Надеждинъ заявилъ, что въ русской словесности близокъ долженъ быть поворотъ къ художественнаго рабства и принужденія, въ которомъ они доселѣ не могли дышать свободно, къ естественности и къ народности. Залогъ этого онъ видѣлъ въ романахъ Загоскина, «въ конхъ русская народность работала до идеальнаго изящества, въ «Маріѣ Посадницѣ» Погодина, въ сказкахъ Жуковскаго и въ особенности въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина,—драмѣ, которая, по его отзыву, отличается глубокой родностью и особенно любопытна тѣмъ, что представляетъ сраженіе стѣбшей національности содержанія съ строжайшею покорностью къ искусственной сценической формѣ: **)...

Таковы въ общихъ, самыхъ основныхъ положеніяхъ сужденія литературныхъ судей о наличности русской словесности ихъ времени.

Этотъ судъ надъ литературой былъ, какъ мы видимъ, не въ пользу. Изъ какихъ бы точекъ отправленія критики ни исходили въ ихъ сужденіяхъ, они совпадали въ конечномъ выводѣ. И этотъ выводъ можетъ быть формулированъ такъ: содержаніе и форма русской словесности не соответствуютъ тому положенію, которое Россія за-

*) «О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи», статья *И. Надеждина*, перепечатана у *Венгерова*, I, 517—524.

**) «Изътопкеи отечественной литературы. Отчетъ за 1831 г.», статья *И. И. Надеждина*, перепечатана у *Венгерова*, I, 530, 531.

няла среди иных цивилизованных націй мира и не соответствую-
ют также тѣмъ національнымъ формамъ быта и тому національ-
ному смыслу, который, безспорно, заключенъ въ нашей народной и
государственной жизни. Мы—нація съ физиономіей самобытной, на-
ція, развивавшаяся иначе, чѣмъ другія, и уже имѣющая нѣкоторыя за-
слуги передъ культурнымъ миромъ, а тѣмъ не менѣе отраженіе нашей
жизни въ искусствѣ до сихъ поръ было и остается пародіей искусства
западнаго, несмотря на присутствіе среди насъ большихъ талантовъ,
обѣщающихъ многое въ будущемъ. У насъ нѣтъ ни силы, ни утѣны
провести нашу національную идею въ нашемъ художественномъ твор-
чествѣ, отлить ее въ самобытную форму: въ художникахъ нашихъ со-
всѣмъ еще не развито чутье «народности». Таковъ былъ приговоръ
критики, приговоръ, долгое время подвергавшійся пересмогру и до-
полненіямъ,—источникъ размысленій и споровъ и для критиковъ позд-
нѣйшихъ лѣтъ, и для самихъ художниковъ.

И развѣ Гоголь не былъ однимъ изъ такихъ художниковъ, подчинив-
шихъ свое вдохновеніе этому приговору? Развѣ его стремленіе выиснить
себѣ особенности народнаго русскаго духа, осмыслить религіозное и
нравственное содержаніе нашего быта и попытка облечь результатъ
этихъ размысленій въ художественные образы—развѣ всѣ эти думы
его позднихъ лѣтъ не были своего рода поисками «народности», той
самой «народности», которую всѣ кругомъ него требовали отъ художника?

Слово было какъ будто бы ясное, всѣмъ родное, а между тѣмъ
очень неопредѣленное, способное сбить и художника, и критика на
неверную дорогу.

Дѣйствительно, въ томъ, что говорила критика о «народности»
было много правды, но не мало и несправедливаго.

Несправедливо было, напр., отнимать у писателя право на за-
вѣнне «народнаго» писателя только потому, что онъ бралъ свои сю-
жеты или форму своихъ произведеній у сосѣдей. Писатель могъ и
подражать и все-таки оставаться народнымъ — какъ отдѣльное лицо,
какъ продуктъ нашей культуры. Народенъ былъ и Батюшковъ, какъ
выразитель чувствъ и настроеній цѣлаго опредѣленнаго кружка интел-
лигентныхъ «русскихъ» людей десятихъ годовъ XIX вѣка; народенъ
былъ и Жуковский со всѣми его иноземными балладами, опять-таки
какъ истолкователь думъ цѣлаго молодого поколѣнія, народенъ былъ
Пушкинъ, русскій либераль двадцатыхъ годовъ, почитывавшій Юве-
нала и Байрона; наконецъ, народными можно назвать и нашихъ клас-
сиковъ новой формации, какъ, напр., Дельвига, Языкова, Баратынска-
го, которые такъ часто поминали Парнасъ, Феба, Музы, Вакха,

Хлю, Дафну и Аглаю, наядь и дриадъ, думая о своихъ друзьяхъ, своихъ литературныхъ бесѣдахъ, о двѣцахъ, которыми плѣнялись, и о своихъ усадьбахъ. Эту «народность» въ подражаніи критика просмотрѣла, мало выикая въ психологію поэта и слишкомъ придирчиво относась къ выѣшней формѣ его рѣчей.

Въ смыслѣ, который тогдашняя критика придавала «народности», крылась еще и другая ошибка, или вѣриѣе односторонность. Само слово «народность» заставляло и поэта, и критика, прежде всего, думать о «народѣ» и при томъ о простомъ народѣ, который, такимъ образомъ, являлся какъ бы единственнымъ носителемъ народныхъ традицій. Критика какъ-то забывала, что слово «народность» можно и должно понимать въ смыслѣ болѣе широкомъ, что всѣ классы общества, даже съ простымъ народомъ разобщенные, все-таки «народны», какъ продуктъ органической національной жизни; что всякая культура, даже заимствованная, никогда не заимствуется безъ измѣненія, что она всегда претворяется, видоизмѣняется отъ перехода въ другую среду и что, такимъ образомъ, самый ревистный ученикъ вносить все-таки мѣсто свое въ слова учителя, которыя онъ вытвердилъ и повторяетъ. Критика тридцатыхъ годовъ эту «народность» совсѣмъ не отбѣняла и очень часто указывала на бытъ простого народа, какъ на главный источникъ, откуда художникъ долженъ черпать свою рѣчь, свое вдохновеніе и сюжеты.

Такимъ образомъ была допущена одна большая ошибка: критика, сама того не замѣчая, толкала художника на открытую и легкую дорогу «фальшивой» народности. Въ самомъ дѣлѣ, не можетъ быть, конечно, никакого сомнѣнія въ томъ, что народный бытъ, народные обряды, пѣсни, повѣрья, миомы, легенды, вообще вся народная старина—самый лучшій родникъ и хранитель того, что называется народнымъ «духомъ», народной оригинальностью. Несомнѣнно также, что въ старинѣ вообще больше «самобытнаго», чѣмъ во времени новомъ, когда надія успѣла уже болѣе или менѣе тѣсно сблизиться съ другими. Все это вѣрно, но напирать въ разсужденіяхъ о народности на возвратъ къ старинѣ, на изученіе и воспроизведеніе лишь стараго міросозерцанія и старыхъ чувствъ, хотя бы и очень оригинальныхъ, значило прививать художнику известную тенденціозность. Чѣобы давать художнику такой совѣтъ, надобно было быть увѣреннымъ въ большомъ его художественномъ тактѣ, въ большой эстетической силѣ, въ его способности проникаться стариной, а не поддѣлываться подъ нее. На самомъ же дѣлѣ, то литературное теченіе, которое критика такъ привѣтствовала, а именно разработка старыхъ народныхъ преданій и воскресеніе исто-

рической старины вообще — порождало лишь подражанія не менѣе опасныя для истинной «народности», чѣмъ подражанія иноземному. Художникъ корчилъ изъ себя «русскаго» — щеголялъ народными словами и оборотами, рядился въ національный костюмъ, воображалъ себя современникомъ то Владимира Краснаго Солнышка, то царя Иоанна Грознаго, а на дѣлѣ оставался весьма посредственнымъ копилаторомъ. Между нимъ и народомъ была все та же пропасть, которую онъ напрасно хотѣлъ заполнить цвѣтами краснорѣчія. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ такая ложная народность благополучно процвѣтала и критика иной разъ сама не знала, что ей дѣлать съ этимъ растеніемъ, заглушающимъ литературную ниву, растеніемъ, которое она сама же выращивала.

Такимъ образомъ, когда Гоголь выступалъ со своими «Вечерами на хуторѣ», на нашемъ литературномъ рынкѣ вращалась цѣлая масса разнообразнѣйшихъ произведеній словесности, въ которыхъ идея «народности» была понята и выражена въ этомъ историко-археологическомъ и этнографическомъ смыслѣ. Существовали слабыя попытки историческихъ романовъ, были болѣе или менѣе удачныя примѣры передѣлокъ русскихъ преданій на иностранный образецъ, была простая переизюмленность старыхъ сказокъ и легендъ, были недурные образцы реставрированной старины, какъ, напр., двѣ три пѣсенки Жуковского, Дельвига и Мерзлякова, были, наконецъ, какъ исключеніе, настоящіе перлы, вродѣ сказокъ Пушкина и его «Бориса», но въ общемъ преобладалъ литературный хламъ и мусоръ — для развитія истинно-народной словесности, пожалуй, болѣе опасный, чѣмъ столь гонимая критикой тенденція прямаго подражанія и списыванія съ западныхъ образцовъ.

«Вечера на хуторѣ» были однимъ изъ первыхъ и относительно удачныхъ откликовъ, которыми настоящій талантъ отозвался на требованіе «народности», понимаемой въ этомъ довольно узкомъ смыслѣ.

Въ одномъ, однако, тогдашняя критика была права, но безусловно, но все-таки права. Когда она говорила, что наша словесность не отражаетъ нашей «сущности», т.-е. дѣйствительности, и предпочитаетъ ей ише вѣка и бытъ иныхъ народовъ — критика констатировала безспорный фактъ, хотя при обрисовкѣ его и сгущала нѣсколько краски.

Въ этомъ смыслѣ въ нашей словесности того времени былъ дѣйствительно большой недостатокъ «народности», т.-е. наша *тогдашняя* жизнь не находила себѣ достаточно полнаго отраженія въ искусствѣ. Эта жизнь была очень сложна, очень пестра, характерна по разно-

образію идей, чувствъ и настроеній, которыми жили разные классы и группы нашего общества, но о всемъ этомъ разнообразіи нельзя было себѣ составить и приблизительнаго понятія по наличному богатству литературныхъ памятниковъ.

Критика, отличавшая это явленіе, была права въ своихъ жалобахъ по существу, хотя требованія, которыя она предъявляла нашей еще очень юной литературной жизни, были чрезмерны, а нападки ея на эту юную словесность были—какъ мы увидимъ—слишкомъ огульны: кое на что изъ «существенности» литература всетаки успѣла откликнуться, и то, что она уловила, было въ достаточной степени характерно для нашей тогдашней дѣйствительности. Критика просмотрѣла это малое, требуя многого.

Мы должны быть болѣе внимательны, въ особенности если хотимъ выяснить, какова была въ данномъ случаѣ заслуга Гоголя. Онъ—поэтъ дѣйствительности, «истинный поэтъ жизни», котораго призывалъ Кирѣевскій—что намель онъ уже свершеннымъ, въ той области, въ которой былъ призванъ свершить многое?

Такъ ли въ самомъ дѣлѣ была тогда глуха литература къ явленіямъ современности, какъ мы привыкли думать? и такъ ли полно отразилъ эту современность самъ Гоголь.—вмѣстѣ съ Пушкинымъ нашъ первый реализмъ въ искусствѣ?

А наша дѣйствительность тѣхъ лѣтъ могла по праву горевать о томъ, что было такъ мало художниковъ, ея достойныхъ.

Это была дѣйствительность, отливавшая самыми разнообразными отгѣнками мысли и чувства. Вѣкъ дѣятельный и тревожный, за которымъ слѣдовала эпоха сосредоточеннаго раздумья—иной разъ очень печальнаго. Вѣкъ броженія идей и подъема чувствъ, и затѣмъ годы замиренія и притиханія ума и сердца.

Эпоха Александра I могла въ особенности дать много матеріала и красокъ для историка, психолога и художника.

Въ кругахъ высшихъ были еще живы традиціи временъ Екатерины. Обложки этого царствованія еще сохраняли обаяніе старины и выдѣлялись среди новаго поколѣнія своей запоздалой оригинальностью. Люди стараго времени не играли уже никакой общественной и политической роли, но оставшіеся жить въ столицахъ или разсѣянные по усадьбамъ, отходили медленно въ прошлое, унося съ собою цѣлую отжившую культуру. Опустѣвшіе ряды пополнялись новыми лицами—той вольнодумной или вольнодумствующей аристократіей, которую такъ по-

ощрялъ въ началѣ своего царствованія императоръ Александръ. Самъ онъ и всѣ, кого онъ приближалъ къ себѣ и кому довѣрялъ, составляли совсѣмъ особую интеллигентную группу, съ необычными для тогдашней Россіи либеральнымъ міросозерцаніемъ на религіозной подкладкѣ, міросозерцаніемъ не стойкимъ и переменчивымъ, а потому вдвойнѣ интереснымъ. Умственный и психическій міръ этихъ людей въ началѣ царствованія Александра и въ концѣ его могъ дать богатѣйшую пищу для наблюдателя, и тотъ же наблюдатель, столь восторженный въ 1801 году, не могъ не задуматься, когда около своего любимца увидалъ Аракчеева и его свиту. Сложность и пестрота этой жизни высшихъ классовъ усложнилась въ зависимости отъ того, протекала ли она въ столицѣ на службѣ, гдѣ нужно было умѣть плыть по вѣтру, или въ деревняхъ, гдѣ на свободѣ можно было отдаться болѣе спокойно своимъ симпатіямъ и продолжать подгонять русскую жизнь подъ иностранный образецъ или, наоборотъ, афришировать даже до мелочей свою патріотическую и національную тенденцію.

Менѣе разнообразна, но не менѣе типична была военная среда того царствованія. Были здѣсь и поенные екатерининскаго времени, болѣе свѣтскіе люди, чѣмъ воины, были питомцы павловскаго царствованія, люди суворовской школы, и, наконецъ, всякая молодежь новѣйшей формации, столь много выдавшая и столь многому научившаяся на западѣ, молодежь по многихъ своихъ представителей либеральная, даже готовая ринуться въ политическую агитацію.

Это воинство съ честью вынесло на своихъ плечахъ всѣ трудности отечественной войны, шествіе его по всей Европѣ было шествіемъ триумфальнымъ, и никогда не думало оно такъ много о самыхъ разнообразныхъ общественныхъ вопросахъ, какъ въ эти годы, когда цивилизованныя націи встрѣчали его, какъ своего избавителя, и все-таки давали этимъ избавителямъ понять, что они полуобразованные люди.

Удивительное разнообразіе типовъ и характеровъ можно было найти въ это царствованіе и въ слояхъ бюрократіи, готовящейся стать всемогущей. Кто сможетъ исчислить всѣ эти отщипки общественной мысли, которая, начиная отъ полной косности и полной грубости въ низшихъ инстанціяхъ, восходила иногда до очень просвѣщенныхъ взглядовъ въ инстанціяхъ высшихъ, всего чаще, однако, смѣшная и грубость, и просвѣщеніе, и неумѣстность вмѣстѣ? Любопытная эта амальгама мѣнялась, проявлялась разпо въ столицахъ, въ губернскихъ городахъ и въ глухой провинціи...

Пестро и типично было также интеллигентное общество тѣхъ годовъ, общество, въ составъ котораго входили люди разныхъ сословій,

словъ и профессій... Условия благоприятствовали росту этого интеллигентнаго круга. Идеальнъ релігіознымъ, философскимъ, общественнымъ и политическимъ дарована была относительная свобода развитія, по крайней мѣрѣ, въ первую половину царствованія. Этой свободой интеллигентное общество широко пользовалось. Въ ней можно было встрѣтить и старыхъ вольтерьянцевъ, и читателей энциклопедій, сентименталистовъ карамзинскаго типа, масоновъ, ревностно принявшихъ за прерванную дѣятельность, мистиковъ и шістистовъ разныхъ оттѣнковъ, настоящихъ сектантовъ отъ добрыхъ знакомыхъ Татариновой до скопцовъ включительно, людей съ большими тяготѣніемъ къ католичеству, философовъ въ вѣмецкомъ стилѣ, учениковъ Шеллинга и натуръ-философій, экономистовъ, ревностныхъ читателей Смита, свободомыслящихъ въ политическомъ смыслѣ, сторовниковъ конституціи, людей радикальнаго образа мыслей, будущихъ декабристовъ и рядомъ съ ними ревнителей православія и самодержавія и, наконецъ, форменныхъ обскурантовъ, говнителей и гасителей науки и всякаго просвѣщенія. Всѣ эти люди высказывались довольно открыто и откровенно, говорили и дѣйствовали на виду, имѣя иногда къ своимъ услугамъ спеціальныя органы печати.

Такой же пестрою изъглядомъ отличалась и пишущая братія, составлявшая обширный кругъ литераторовъ въ разныхъ смыслахъ этого слова. По вышеизложеннымъ отзывамъ критики мы съ ними отчасти знакомы. Всѣ эти классики, сентименталисты, романтики, старики и молодежь, находились въ постоянномъ общеніи, перебранивались, договаривались, вновь ссорились, издавали цѣлыми группами журналы и альманахи, имѣли свои собранія и бесѣды, иногда съ призывными уставами и церемоніями, и опять-таки, что очень важно, могли на первыхъ порахъ говорить съ достаточной свободой.

Много было движенія тогда въ жизни тѣхъ классовъ, которымъ матеріальное и общественное положеніе гарантировало извѣстную или полную самостоятельность. Особое разнообразіе въ эту и безъ того разнообразную толпу вносили женщины—по образованію, направленію ума и чувствъ болѣе сходныя между собой, чѣмъ мужчины, но, тѣмъ не менѣе, все-таки очень типичныя.

Если бы изъ этихъ привилегированныхъ классовъ мы спустились въ болѣе низкіе и темные слои общества, то и здѣсь, въ средѣ купеческой, мѣщанской, и наконецъ, крестьянской, мы могли бы натолкнуться на обильнѣйшій запасъ всевозможныхъ оригиналовъ, людей хотя и темныхъ, но не менѣе интересныхъ съ психологической точки зрѣнія, чѣмъ люди образованные. Богатство этихъ типовъ удесятерилось этнографическими условиями нашей обширной родины. Каждая національ-

ность, входящая въ составъ нашего государства, имѣла, въ особенности въ низшихъ слояхъ, свою характерную физиономію и могла обогатить яркими красками палитру любого художника.

Когда кончилось царствованіе Александра и послѣ тревожнаго декабрьскаго дня наступило новое царствованіе, оно отозвалось сразу и очень сильно на внутреннея строенія нашего общества и на его внѣшнее облики. Нѣкоторыя теченія мысли и нѣкоторыя настроенія стали исчезать, замѣнялись другими, исчезать стали и нѣкоторые типы и зарождались новые. Къ началу тридцатыхъ годовъ эта перемена стала достаточно замѣтна. Религіозная, общественная и политическая мысль были приведены къ полному молчанію и исчезли совсѣмъ тѣ кружки и общества, которые служили проводниками этихъ мыслей въ царствованіе Александра. Бѣльшее однообразіе мысли установилось въ слояхъ военныхъ и бюрократическихъ и значительно понизился уровень серьезности въ журналистикѣ и литературѣ. Интеллигентное общество стало казаться болѣе однороднымъ по своимъ взглядамъ и вкусамъ, конечно, не потому, что оно стало однороднымъ, а потому, что многое въ мысляхъ и чувствахъ не имѣло возможности всплыть наружу.

Появились и новые типы: зарождался и крѣпкъ тотъ типъ разочарованнаго интеллигента, которому затѣмъ предстала интересная будущность въ новомъ царствованіи; продолжалъ развиваться на университетской скамьѣ типъ сосредоточеннаго въ себѣ философа, который предпочитаетъ глядѣть вдаль или въ глубь самого себя, чтобы не озираться вокругъ, типъ въ общемъ пока смирнаго служителя науки, который однако скоро станетъ въ ряды оппозиціи; наконецъ, надъ этими частными типами сталъ возвышаться одинъ общій и въ военной, и въ чиновной сферѣ, собирательный типъ человѣка николаевскаго царствованія, для котораго дисциплина, послушаніе, исполнительность и трепетъ испытываемый и нагоняемый, были первыми параграфами гражданской морали.

Всѣ эти видоизмѣненія произошли, конечно, не вдругъ, а постепенно, и сама метаморфоза была, пожалуй, болѣе интересна, чѣмъ тотъ результатъ, къ которому она приводила. Художникъ могъ бы имѣть въ ней тонкую канву для цѣлаго ряда психологическихъ этюдовъ.

А какъ же воспользовался всѣмъ этимъ матеріаломъ художникъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ? Онъ, свидѣтель царствованія Александра и свидѣтель первыхъ годовъ новаго царствованія, уловилъ ли онъ смыслъ или хотя бы только внѣшнюю форму

того историческаго процесса, который передъ нимъ развернулся? Была ли критика права, когда упрекала его въ непониманіи дѣйствительности и въ нежеланіи изображать ее, и могъ ли онъ отвѣтить ей, что и она не совсѣмъ внимательно отнеслась къ тому, что онъ по мѣрѣ силъ своихъ сдѣлалъ?

На эти вопросы отвѣтить не трудно.

IV.

Наша действительность и ее бытописатели. — Отражение современной жизни в творчестве Крылова, Жуковскаго, Ватушкина Грибоѣдова и Пушкина. — Второстепенныя литературныя силы: Нарѣжскій, Вулгаринъ, Бѣгичевъ, Ушаковъ, Лажечниковъ, Загоскинъ, Марлинскій и Полевой. — Значеніе ихъ романовъ въ дѣлѣ обличенія искусства и жизни.

Если подѣ словомъ «народность», которое такъ часто поминала наша критика въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, разумѣть преимущественно отраженіе *современной* русской жизни въ литературѣ, то съ жалобами критики на отсутствіе у нашихъ писателей любви и чутья къ действительности придется согласиться, хотя съ нѣкоторыми оговорками.

Не должно забывать прежде всего, что всѣ наши писатели, какъ индивидуальныя лица, при всемъ подражаніи въ ихъ творчествѣ, были все-таки въ известной степени самобытны и народны и никогда не перенимали чужого, не подмѣшавъ къ нему своего. Такимъ образомъ подѣ иностранной внѣшностью нерѣдко крылись русскіе помыслы и чувства, для которыхъ писателю трудно было пока подыскать вполне оригинальную форму, но которыя тѣмъ не менѣе, отражали, худо-ли хорошо-ли, русскую действительность.

Но помимо этого, въ тогдашней литературѣ попадалось не мало романовъ и повѣстей, въ которыхъ современная жизнь находила себѣ уже прямое, достаточно вѣрное воспроизведеніе. Нельзя было сказать такъ категорически, какъ говорила критика, «что мы нище, принужденные обкрадывать сосѣдей». Кое что у насъ было и своего, и это кое что при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается отнюдь не столь ничтожнымъ. Если критика недостаточно оцѣнила это національное богатство, то потому, что заглядываясь на западъ, требовала слишкомъ многого, а также и потому, что не всегда внимательно слѣдила за литературными новинками.

Слишкомъ большая строгость критики находить себѣ отчасти объясненіе въ томъ довольно любопытномъ фактѣ, что наши наилучшія литературныя силы и дарованія тѣхъ годовъ, действительно, всохотно бра-

лась за изображеніе окружавшей ихъ жизни, обнаруживая очень мало склонности къ ея реальному воспроизведенію въ искусствѣ. За реальное же изображеніе этой дѣйствительности, изображеніе, которое, въ силу своего реализма, и имѣло больше всего шансовъ стать «народнымъ», взялись не они, а художники второго, иной разъ третьяго ранга, въ произведеніяхъ которыхъ, конечно, цѣль и намѣреніе не покрывались исполненіемъ. Критика, видя эти эстетическіе недочеты въ повѣстяхъ и романахъ нашихъ раннихъ реалистовъ, поторопилась скинуть ихъ работу со счетовъ и потому естественно должна была придти къ выводу, что наша современность въ литературѣ почти не находитъ отзыва.

Но для историка такой строгій приговоръ старой критики необязателенъ и малое «эстетическое» значеніе первыхъ попытокъ нашего реального романа ничего не говоритъ противъ того «историческаго» значенія, какое они безспорно имѣли на творчество художниковъ, упразднившихъ эти попытки своими истинно-реальными картинами.

Страннымъ, дѣйствительно, на первый взглядъ можетъ показаться тотъ фактъ, что наши наиболѣе сильныя дарованія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ чувствовали очень малое влеченіе къ реальному изображенію нашей жизни въ искусствѣ. Они какъ будто сторонились отъ современности, оберегая свободу своего творчества, которой и пользовались, чтобы почаще перелетать за границу нашей родины, а нерѣдко и вообще за предѣлы всякой дѣйствительности.

Что тѣмъ болѣе странно, что XVIII вѣкъ завѣщалъ намъ довольно типичные примѣры реализма въ искусствѣ. Мы хорошо помнимъ Фон-Визина и охотно прощали ему за его реализмъ сентиментальную дидактику его комедій; мы не могли позабыть и о журнальной дѣятельности Новикова. Въ его старыхъ летучихъ листкахъ мы имѣли образцы довольно искусной жанровой живописи, образчики типовъ, можетъ быть, нѣсколько общаго характера, но все-таки живыхъ и реальныхъ; наконецъ и въ книгѣ Радищева, которую, конечно, трудно отнести къ числу памятниковъ чисто художественнаго творчества, были страницы такого захватывающаго житейскаго реализма, до котораго лишь много лѣтъ спустя возвысился нашъ романъ натуральной школы.

Эта тенденція сближенія искусства съ жизнью не исчезла, конечно, и въ началѣ XIX вѣка, и мы увидимъ, какъ медленно и постепенно расширялось все болѣе и болѣе поле зрѣнія русскаго бытописателя. Но если не погибла сама тенденція, то все-таки ея ростъ не соответствовалъ тому приросту литературныхъ силъ, который замѣчается въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ XIX вѣка. Талантовъ народилось много и даже очень сильныхъ, но изъ числа ихъ лишь нѣкоторые

притомъ болѣе слабые обнаружили склонность и способность къ реальному воссозданію нашей жизни въ искусствѣ: самые даровитые отклонялись на эту жизнь какъ-то неохотно и предпочитали заимствовать свой матеріалъ изъ жизни не русской и не современной, либо ограничивались изображеніемъ хотя и реальной жизни, но жизни частной и личной, т.-е. оставались лириками.

Представителемъ старшаго поколѣнія писателей-реалистовъ былъ въ тѣ годы Крыловъ. Авторъ сатирическихъ очерковъ, во многомъ напоминавшихъ статьи Новикова, Крыловъ въ началѣ XIX вѣка прославился своими баснями, которыя могли бы подъ его живписнымъ перомъ стать цѣлымъ рядомъ правдивыхъ жанровыхъ картинокъ нашей дѣйствительности, если бы авторъ не придерживался такъ послушно иноземныхъ образцовъ, откуда онъ заимствовалъ свои мысли и положенія. Басня Крылова—предметъ нашей національной гордости—была большой побѣдой «народности» въ искусствѣ, но эта побѣда пошла на пользу не столько литературѣ въ широкомъ смыслѣ этого слова, сколько языку и стилю въ частности. Въ вѣкъ неоригинальнаго стиля и несвободнаго языка Крыловъ былъ однимъ изъ ценныхъ писателей, въ которомъ русскій человѣкъ узнавалъ самого себя, со своей образной и остроумной рѣчью. Но огромное большинство басенъ Крылова всетаки не имѣло никакого ибъстнаго колорита и дѣйствующія въ нихъ лица были типы самые общіе, безъ всякихъ чертъ какой-либо народности. Во всѣхъ басняхъ мы наберемъ, можетъ быть, два три современныхъ типа, которые во всякомъ случаѣ не позволяютъ намъ сказать, что въ лицѣ Крылова передъ нами бытописатель нашей жизни. Крыловъ—выразитель мудрости общечеловѣческой, накопившейся вѣками и выраженной въ традиціонныхъ стереотипныхъ образахъ, на которыхъ давнымъ давно стерлись всякія краски и черты тѣхъ національностей, которыя надъ выработкой этихъ типовъ потрудились. Наша критика однако всегда превозносила Крылова за его «народность» и она была, конечно, права, если подъ этимъ словомъ разумѣть ту внѣшнюю форму, въ которую Крыловъ облакалъ свою мораль и сатиру, но связь этой морали со своимъ вѣкомъ была очень слабая, а иной разъ, какъ напр. въ типахъ изъ среды крестьянской, этой связи совсѣмъ не существовало.

Большую связь со своей эпохой обнаруживала поэзія Жуковскаго—столь популярная въ десятихъ и двадцатыхъ годахъ XIX вѣка. Она сумѣла уловить господствующее сентиментально-религіозное настроеніе русскаго общества, равно какъ и патріотическій подъемъ его духа, но для выраженія этихъ народныхъ чертъ поэзія Жуков-

скаго поэта всегда пользовалась заимствованной формой, образами и картинками, взятymi из какой угодно исторической жизни, но только не нашей. Чутья дѣйствительности у Василя Андреевича совѣтъ не было, да онъ, какъ извѣстно, мало интересовался этой дѣйствительностью, всегда предпочитая ей «былое» или туманное «тамъ». Определить по его поэзи, въ какой историческій моментъ она создана, крайне трудно, хотя, если этотъ историческій моментъ определенъ, то нить объясняются легко всѣ основные мотивы этой однообразной, но задушевной пѣсни. При своей нелюбви къ житейскому факту и стремленіи искать въ немъ всегда общій нравственный или религіозный смыслъ, Жуковский избѣгалъ всякаго намека на реализмъ въ своемъ искусствѣ, и искать въ его творествѣ какихъ-нибудь бытовыхъ чертъ—напрасно. Даже тогда, когда поэтъ съ умысломъ хотѣлъ быть русскимъ и брался за разработку русскихъ національныхъ преданій и старины—онъ никогда не могъ выдержать наивно-правдиваго тона, и пѣсня его сбивалась на иностраннѣйшій мотивъ, хотя критика, обманутая ея искренностью и красотой, и признавала эту пѣсню нерѣдко за истинно народную. Случалось, впрочемъ, и Жуковскому иной разъ напасть на тему современную, но всѣ его попытки въ этомъ родѣ ограничивались совѣтъ незамысловатыми эскизами и замѣтками, и онъ писалъ ихъ презрѣнной прозой.

Русская дѣйствительность была, такимъ образомъ, обойдена художникомъ, и онъ за своей собственной личностью просмотрѣлъ ее или, вѣрнѣе, не хотѣлъ къ ней приглядѣться. А Василя Андреевича имѣлъ случай изучить ее—и въ деревнѣ, и въ столичныхъ литературныхъ кружкахъ, и въ походахъ, и въ гостиницахъ, и во дворцѣ. Но онъ этихъ знаніемъ не воспользовался. Всю жизнь остался онъ юношей-мечтателемъ, и какъ поэтъ неохотно присматривался къ повседневной тихой русской жизни, и еще менѣе прислушивался къ шуму жизни западной, среди которой ему проживать случалось.

Не существовала текущая минута и для Батюшкова—этого тонкаго эстетика, которому слѣдовало бы родиться въ Авзоніи, а не на нашемъ дальнемъ сѣверѣ. Служитель музъ по преимуществу, онъ, такъ же какъ Жуковский, не питалъ пристрастія къ людямъ—какъ ихъ создаетъ пространство и время. Онъ любилъ человека въ его просвѣтленномъ образѣ.

Большой поклонникъ красоты античнаго міра и Италіи, затѣмъ ревностный ученикъ французской словесности XVIII-го вѣка, въ минуты тоски и печали романтикъ въ стилѣ Рене—Батюшковъ умѣлъ выразить съ неподражаемой граціей всѣ основныя общеевропейскія настроенія своего вѣка, подбирая для нихъ—въ чемъ и была его глав-

ная литературная заслуга — удивительно мелодичную форму. Русский язык подъ его перомъ приобрѣталъ особую эластичность и гнѣвучесть, которой иной разъ могъ позавидовать и Жуковский. Въ этой красотѣ формальной и заключалась вся заслуга поэзіи Батюшкова передъ нашей «народностью»: «народный» языкъ въ его стихахъ приобрѣлъ особую гибкость и приучился выражать чувства и настроенія, для передачи которыхъ онъ раньше, повидимому, не имѣлъ подходящей формы.

Но современная жизнь не оставила никакого слѣда на этой поэзіи. Даже тогда, когда нашъ эстетикъ, въ общемъ столь равнодушный къ теченію русской жизни, начиналъ обнаруживать хотя бы слабый интересъ къ социальнымъ и политическимъ вопросамъ, волновавшимъ наши умы, даже въ эти рѣдкія для него минуты, онъ продолжалъ оберегать свою фантазію отъ соприкосновенія съ дѣйствительностью: нѣсколько военныхъ картинокъ и нѣсколько военныхъ силуэтовъ — вотъ все «современное», что мы находимъ въ его поэзіи. Остальное было общечеловѣческое, съ текущей минутой связанное лишь самой общей связью и потому только русское, что оно было сказано русскимъ человѣкомъ и при томъ прекраснымъ русскимъ языкомъ.

Такими же русскими писателями, выразителями личныхъ чувствъ единичныхъ особей русскаго интеллигентнаго міра были и наследники Жуковского и Батюшкова — всѣ молодые наши поэты двадцатыхъ годовъ, всѣ эти таланты разныхъ степеней, которымъ наша лирическая поэзія обязана своимъ расцвѣтомъ.

Но одинъ тотъ фактъ, что Дельвигъ, Баратынский, Языковъ, Подолинскій, Туманскій, Веневитиновъ, Козловъ, Вяземскій и другіе были почти исключительно лириками, указываетъ на то, насколько трудно было даже для яркаго таланта найти въ себѣ силу для воспроизведенія дѣйствительности, дѣйствительности столь пестрой, столь разнообразной по своимъ взглядамъ и вкусамъ, какова была въ тѣ годы наша жизнь.

Исключеніемъ среди нихъ были два писателя, безусловно богато одаренные чутъемъ дѣйствительности, но одинъ изъ нихъ едва успѣлъ высказаться, а другой, хотя и работалъ много, но не все, что онъ создалъ, попало во время въ печать и стало общимъ достояніемъ.

Комедія Грибоедова, быть можетъ, потому произвела такое оглушающее впечатлѣніе на современниковъ, что она была единственнымъ литературнымъ памятникомъ двадцатыхъ годовъ, въ которомъ тогдашнее общество въ лицѣ многихъ своихъ представителей себя узнало. Художникъ — болѣе сатирикъ, чѣмъ бытописатель — обладалъ удивительнымъ даромъ реального воспроизведенія жизни, даромъ который онъ обнару-

жилъ въ созданіи нѣкоторыхъ типовъ, дѣйствительно, выражавшихъ господствующія вліянія его эпохи. Это были не только сами по себѣ интересные типы, но, главнымъ образомъ, такіе, въ которыхъ отразился глубокий смыслъ совершавшагося на глазахъ Грибоѣдова историческаго процесса. Во всей нашей литературѣ того времени не было памятника, въ которомъ бы этотъ смыслъ былъ такъ вѣрно уловленъ, какъ въ нашей знаменитой комедіи.

Комедія была не безъ недостатковъ и ее едва ли можно назвать комедіей вполне самобытно-русской. «Горе отъ ума» все-таки носитъ на себѣ слѣды вліянія французскихъ образцовъ. Чѣмъ-то не вполне русскимъ вѣетъ отъ рѣчей Софьи и Лизы—этой субретки и ея барыни-жеманиницы; да и самого хваленаго Чацкаго едва ли можно признавать настоящимъ типомъ—онъ не столько личность, сколько мысль самого автора, воплощенная въ нѣсколько странной трагикомической фигурѣ. Исторія появленія этой фигуры и ея исчезновенія изъ дома Фамусова рассказана также не вполне реально: и торопится Александръ Андреевичъ своимъ пріѣздомъ и спѣшить отъѣздомъ. Нѣкоторые эпизоды придуманы съ явнымъ умысломъ дать дѣйствующимъ лицамъ высказаться: таковы, напр., эпизоды паденія Молчалина съ лошади или монологъ Чацкаго среди танцевальной залы. Все это, быть можетъ, не вполнѣ сравнительно съ достоинствами комедіи, но онѣ довольно характерные показатели того, какъ даже большому таланту бывало подчасъ трудно обработать русскій сюжетъ вполне реально и съ дѣйствительностью согласно.

Но все-таки, какъ реалисту, Грибоѣдову принадлежитъ первое мѣсто среди писателей его эпохи — именно, въ виду того пониманія историческаго смысла этой эпохи, которое онъ обнаружилъ въ своей комедіи. Важна въ данномъ смыслѣ не столько яркая типичность нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ, какъ, напр., московскаго барина, въ которомъ сановитое чиновничество соединилось съ нѣкоторой аристократической распущенностью помѣщика, или его пріятеля, полковника аракеевской выправки ума и тѣла, или его гостей—этихъ рѣдкихъ экземпляровъ дворянской кусткамеры, или, наконецъ, его секретаря — чиновника изъ лакеевъ или лакея изъ чиновниковъ; важнѣе всѣхъ этихъ знамъ портретовъ то изумительное пониманіе современной минуты, которое выказалъ Грибоѣдовъ, когда всѣмъ этимъ сложившимся и опредѣленнымъ дѣльными типамъ, всѣмъ этимъ олицетвореніямъ общественной неподвижности, онъ противопоставилъ типъ свѣдѣтъ неустановившагося молодого человѣка, выразителя стремленій и думъ молодежи. Пониманіе эпохи и выразилось, главнымъ образомъ,

въ недоговоренности и нецѣльности этого молодого типа, въ которомъ соединены, какъ въ фокусѣ, всѣ нити тогдашней молодой мысли, мысль иногда противорѣчивой и неясной, но зато дѣйствительно современной. Чацкій—и славянофилъ, и западникъ, и сентименталистъ, и человекъ скептическаго и холоднаго разсудка, и виѣсть съ тѣмъ экзальтированный юноша, т. е. въ немъ, какъ въ сводномъ типѣ, соединены противорѣчія, которыя въ живомъ лицѣ не понятны, но въ типѣ сводномъ могутъ быть вполне истолкованы и согласены. Онъ — выразитель броженія молодыхъ чувствъ и идей, поставленный среди лицъ съ установившимися неподвижно взглядами и понятіями, и этотъ контрастъ былъ, дѣйствительно, однимъ изъ любопытныхъ историческихъ контрастовъ того времени. Грибоѣдовская комедія первая его отиѣтила и первая заставила о немъ подумать.

Для вѣрнаго художественнаго освѣщенія современности Грибоѣдовъ сдѣлалъ больше другихъ, но зато эта комедія и взяла у автора всю его творческую силу—стоила ему многолѣтней работы и высказала все, что имѣлъ сказать художникъ о своемъ времени: по крайней мѣрѣ, въ томъ, что Грибоѣдовъ писалъ послѣ «Горе отъ ума», въ его литературныхъ наброскахъ и планахъ, онъ отъ русской дѣйствительности сталъ удаляться.

Нельзя сказать, что къ этой современности блиако подошелъ и Пушкинъ. Онъ — «Петръ Великій нашей литературы», какъ его иногда называютъ — сблизилъ русское творчество съ Европой въ томъ смыслѣ, что единственный изъ русскихъ людей умѣлъ такъ сживаться съ міросозерцаніемъ и настроеніемъ нашихъ сосѣдей, что казался какимъ-то гражданномъ вселенной—какъ всѣ истинно міровые гени. Его творчество было цѣлой историко-литературной энциклопедіей, въ которой читатель имѣлъ передъ собой самые разнообразные поэтическіе міры, не реставрированныя съ натяжкой, а живо и глубоко прочувствованныя. Пушкинъ—классикъ и сентименталистъ, Пушкинъ романтикъ и почитатель Байрона и Вальтеръ-Скотта, Пушкинъ драматургъ съ пріемами Шекспира всегда оставался оригинальнымъ и самобытнымъ поэтомъ, который не подражалъ, а переплещался въ людей иныхъ вѣковъ, иного круга мнѣній, настроеній и мыслей. И при этой рѣдчайшей способности на все въ мірѣ откликаться, онъ всего рѣже откликался, какъ художникъ, на запросы современной ему русской жизни. Говоримъ «какъ художникъ», потому что онъ рѣзко разграничивалъ свою дѣятельность, какъ художника, отъ своей работы, какъ критика, историка и публициста. Трудно было найти въ нашемъ тогдашнемъ интеллигентномъ обществѣ человека, который имѣлъ бы такіе разносторонніе

общественные интересы, как именно Пушкинъ и, съ другой стороны, не легко указать писателя, съ его широтой ума и глубиной чувства, который бы такъ ревниво оберегалъ свое творчество отъ вторженія въ его область именно этихъ интересовъ. Тому были свои психологическія и иные причины, и здѣсь не мѣсто ихъ касаться, но самый фактъ остается фактомъ: Пушкинъ избѣгалъ современныхъ темъ, неохотно брался за изображеніе дѣйствительности, его окружавшей, и всегда предпочиталъ въ своемъ творествѣ міру реальному либо свой психическій, личный міръ, либо міръ историческихъ воспоминаній и легендъ, либо, наконецъ, міръ общихъ символовъ. И это дѣлалъ онъ, одинъ изъ самыхъ глубокихъ реалистовъ въ искусствѣ.

Но такое устраненіе отъ жизни не давалось ему легко. Онъ неоднократно старался побороть въ себѣ эту нелюбовь къ современному и до послѣднихъ годовъ своей жизни все носился съ мыслью объ истинно реальномъ, русскомъ социальномъ романѣ. Въ его бумагахъ какъ извѣстно, осталось много отрывковъ изъ такихъ недоконченныхъ романовъ, часть которыхъ относится къ самому началу тридцатыхъ годовъ. Приглядываясь къ этимъ отрывкамъ, удивляешься тому, что они остались въ такомъ неоконченномъ видѣ: въ нихъ нѣтъ ни вялости, ни натяжекъ, ни длиннотъ, ничего такого, что указывало бы на неспособность художника справиться съ темой, или на вымученность его работы. Пушкинъ въ этихъ отрывкахъ все тотъ же гениальный Пушкинъ и тѣмъ не менѣе работа его прервана въ самомъ началѣ. Очевидно, художнику измѣняла въ данномъ случаѣ не она, а любовь.

Во всемъ, что Пушкину пришлось обнародовать до появленія произведеній Гоголя, современность была слабо представлена. Если не считать мелкихъ стихотвореній, въ которыхъ отражалась жизнь той минуты въ формѣ ли сатиры, либеральной пѣсни, картинки изъ сельскаго жита, или вообще жанроваго эскиза, если не считать такихъ мелочей, какъ, напр., «Домикъ въ Коложнѣ» и «Графъ Нулинъ», то придется назвать только на «Евгенія Онегина» и на «Повѣсти Бѣлкина», какъ на попытки художественнаго воспроизведенія текущей минуты. И то, другое произведеніе—не въ одинаковой, конечно, степени—были безорной побѣдой истинной «народности» въ литературѣ, и странно, что публичка, которая такъ настойчиво требовала тогда отъ писателя вѣдности, отнеслась къ этимъ двумъ произведеніямъ совсѣмъ не такъ, къ нимъ этого заслуживали.

Въ «Евгеніи Онегинѣ» заинтересовала ее всего больше личность самого героя, т.-е. наименѣе типичное лицо, въ «Повѣ-

стяхъ Бѣлкина» ея вниманіе было сосредоточено главнымъ образомъ на фабулѣ рассказовъ, а не на деталяхъ, которыя наиболѣе цѣнны. На самомъ дѣлѣ, однако, и «Онѣгинъ», и «Повѣсти Бѣлкина» были рѣшительной попыткой изобразить реально нашу жизнь въ болѣе или менѣе цѣльной и связной картинѣ. Въ «Онѣгинѣ» эта цѣль была относительно достигнута, а повѣсти Бѣлкина остались незаконченными сборникомъ анекдотовъ. Тѣмъ не менѣе, и въ томъ, и въ другомъ памятникѣ, читатель имѣлъ передъ глазами окружающую его жизнь — жизнь тихихъ деревенскихъ уголковъ, съ ея затасанными думами и виѣшней простой обстановкой. Въ этой обстановкѣ жили и двигались люди довольные и мирные, не ставившіе жизни никакихъ особыхъ требованій, какъ напр. всѣ добрые знакомые старушки Лариной и всѣ члены ея семьи, за исключеніемъ задумчивой Татьяны, въ эту жизнь вторгались иногда пресыщенные столичные эгоисты въ родѣ Евгенія, съ ней мирно уживались восторженные юноши въ родѣ Ленскаго, привозившіе въ Россію нѣмецкую мудрость, которая однако не шла въ прокъ ихъ собственному уму; проживалъ среди этой обстановки и добрейшій Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, литераторъ и филантропъ, распустившій бразды своего правленія, сентименталистъ, трогательно рассказывавшій сказки о томъ, какъ баринъ полюбилъ крестьянку и готовъ былъ на ней жениться, и какъ другой баринъ увезъ себѣ для потѣхи дѣвушку, которая потомъ сама стала важной барыней. Вырисовывая съ особой любовью эту помѣщичью жизнь въ усадьбахъ, Пушкинъ въ томъ же «Онѣгинѣ» набрасывалъ сценки изъ жизни столичной, но набрасывалъ бѣгло, вмѣсто типовъ давая лишь силуэты. Итакъ, если въ «Онѣгинѣ» и на нѣкоторыхъ страницахъ «Повѣстей Бѣлкина» была правдиво воспроизведена наша дѣйствительность, то это воспроизведеніе освѣщало лишь очень незначительный уголокъ нашей жизни, и при томъ самый мирный, въ которомъ было всего меньше движенія внутри и на поверхности.

«Евгеній Онѣгинъ» и «Повѣсти Бѣлкина» были единственными произведеніями Пушкина, въ которыхъ онъ являлся какъ настоящій реалистъ-бытописатель передъ читающей публикой. Но это было далеко не все, что къ тридцатымъ годамъ въ этомъ направленіи онъ успѣлъ сдѣлать. Многое хранилось въ его портфель и только послѣ его смерти увидало свѣтъ. Такое позднее появленіе нѣкоторыхъ изъ его произведеній, написанныхъ съ удивительнымъ пониманіемъ дѣйствительности, не вознаграждало нашъ реализмъ въ искусствѣ за ту потерю, которую онъ понесъ отъ незнакомства съ этими опытами Пушкина въ свое время, когда онъ, этотъ реализмъ, боролся за свое существованіе.

Дѣйствительно, если бы въ началѣ тридцатыхъ годовъ читатель нѣгдѣ въ рукахъ «Исторію села Горохива» (1830)—эту историческую картину современныхъ крестьянскихъ порядковъ при старостахъ и приказчикахъ, эту сатирическую лѣтопись крестьянскаго быта, богатую столь вѣрными деталями; если бы онъ прочиталъ отрывокъ изъ романа «Рославель» (1831), въ которомъ Пушкинъ такъ удивительно просто рассказалъ исторію чисто русской души, получившей не русское образованіе и сохранившей, несмотря на все подражаніе иностранному, чисто русскую самобытность ума и сердца; если бы читатель могъ развернуть «Дубровскаго» (1832) и присмотрѣться къ этой галлерей типовъ дворянъ и ихъ дворовыхъ или если бы онъ могъ пробѣжать «Отрывки изъ романа въ письмахъ» (1831)—эту интимную переписку свѣтскихъ молодыхъ людей, переписку безъ всякой тѣни условнаго сентиментализма и романтизма, гдѣ всего лишь штрихами, но необычайно вѣрно очерчена была столичная свѣтская жизнь; если бы весь этотъ матеріалъ былъ во время напечатанъ, то наши художники реалисты того времени нѣгдѣ бы передъ глазами рядъ образцовъ истинно реального творчества и ихъ собственное творчество, конечно, отъ этого только бы выиграло. Но все это оставалось подъ спудомъ и Пушкинъ какъ бытописатель русской жизни, былъ извѣстенъ лишь какъ авторъ одной поэмы и одного сборника рассказовъ, мало оцѣненныхъ. Когда входила рѣчь о «народности» его поэзіи, то указывали главнымъ образомъ на его «Сказки» и на его «Бориса», понимая, какъ мы уже замѣтили, слово «народность» въ нѣсколько узкомъ смыслѣ.

Такимъ образомъ критика, обозрѣвая творческую дѣятельность нашихъ первоклассныхъ художниковъ, не могла не пожалѣть о томъ, что вся эта поэтическая сила уходила на изображеніе либо индивидуальнаго міра писателя, либо на выраженіе самыхъ общихъ мыслей и чувствъ, для которыхъ писатель подбиралъ къ тому же образы и обстановку совсѣмъ не русскую. Критика отиѣчала каждый мажншій поворотъ этихъ художниковъ къ «народности», радовалась ему, но кстаки жаловалась на то, что наша самостоятельность политическая не сопровождается равной ей самостоятельностью литературной.

Но если критика и была права, когда говорила съ упрекомъ нашимъ лучшимъ литературнымъ силамъ, она была недостаточно справедлива къ литературѣ вообще — къ работѣ тѣхъ второстепенныхъ писателей, въ творчествѣ которыхъ за эти годы все яснѣе и яснѣе стало проявляться стремленіе къ реализму и къ выбору са-

обытных темъ изъ русской жизни, прошлой, а главнымъ образомъ, современной.

Дѣйствительно, этотъ недостатокъ современности въ творествѣ нашихъ первыхъ литературныхъ силъ восполнялся трудолюбивой работой ихъ товарищей, менѣе сильныхъ, менѣе даровитыхъ, но зато болѣе зависящихъ отъ среды, которая ихъ окружала. Эту работу писателей второго ранга, а иногда и третьяго, нельзя упускать изъ виду. Какъ бы въ эстетическомъ отношеніи ни была несовершенна ихъ работа, она въ общей сложности представляла довольно значительное литературное богатство, и свидѣтельствовала о развивающейся и торжествующей тенденціи сблизить современную жизнь съ искусствомъ. При этой работѣ медленно и постепенно крѣпли приемы истинно реального творчества, вырабатывалась извѣстная техника и — что въ особенности важно — при ней замѣтно расширялся кругозоръ художника, который пріучался включать въ сферу своего художественнаго наблюденія матеріалъ все болѣе и болѣе разнообразный. Вся эта, иной разъ кропотливая, работа наблюдателей-жанристовъ и бытописателей-моралистовъ уравнивала дорогу, по которой долженъ былъ пойти истинно сильный талантъ, призванный дать настоящую художественную форму этимъ разрозненнымъ наблюденіямъ надъ жизнью.

Перечислять всѣ эти ранніе опыты нашихъ бытописателей нѣтъ никакой необходимости, такъ какъ весьма многіе изъ нихъ являются лишь разнообразными варіаціями одного общаго образца и почти совпадаютъ и въ планировкѣ разсказа, и даже иногда въ обрисовкѣ основныхъ типовъ. Тотъ, кто имѣлъ случай читать ихъ въ достаточномъ количествѣ — могъ убѣдиться въ ихъ однообразии. Талантовъ болѣе или менѣе крупныхъ среди этихъ второстепенныхъ писателей было немного; если назвать Нарѣжнаго, Полевого и Марлинскаго, то къ этимъ именамъ, пожалуй, другихъ добавлять и не придется. Остальные были просто люди съ извѣстной литературной опытностью, которые, конечно, не могли внести ничего своего въ искусство, но при случаѣ могли собрать довольно любопытный матеріалъ, что они и сдѣлали.

Этотъ матеріалъ изъ жизни дѣйствительной подбирался нашими писателями съ разными дѣлами, не всегда только художественными.

Всего чаще писатель имѣлъ въ виду поученіе или обличеніе, задолго упреждая ту обличительную тенденцію, которая такъ восторжествовала въ нашей литературѣ послѣ Гоголя. Писатель считалъ себя призваннымъ исправлять нравы, и ему охель улыбалась эта роль художника, карающаго порокъ и награждающаго добродѣтель. Онъ писалъ свои романы и повѣсти съ добрымъ намѣреніемъ, иногда потому,

что во природѣ своей былъ человѣкомъ благожелательнымъ, а иногда просто въ силу традиціи сентиментальной, которая такъ тѣсно соединяла доброту и нравственность съ творчествомъ, каково бы оно ни было. Слѣдуя этому призыву творить добро, предаваясь «мечтамъ воображенія», писатель, конечно, долженъ былъ озаботиться о томъ, чтобы его романъ или повѣсть хоть внѣшнимъ обликомъ не напоминали сухую проповѣдь и потому онъ запутывалъ дѣйствіе разными вставными занимательными эпизодами. Такъ какъ почти всегда планъ такого рассказа получался не какъ результатъ художественнаго наблюденія надъ жизнью, а былъ составленъ авторомъ раньше, опредѣленъ какъ извѣстная нравственная сентенція, то писателю, для выполненія своего плана, оставалось лишь пригонять факты жизни къ своей идее, нависывать ихъ на нить своей морали. Дѣйствіе развивалось, поэтому, несвободно, все произведеніе представлялось сшитымъ изъ разныхъ лоскутковъ, и авторъ, вмѣсто того, чтобы творить, занимался сортировкой и группировкой на лету схваченныхъ наблюденій. Для облегченія своей работы мозаиста и классификатора писатель прибѣгалъ обыкновенно къ очень распространенному приему: онъ заставлялъ главнаго героя своего рассказа — личность иногда мѣлѣе интересную, чѣмъ всѣ второстепенныя лица, которыя ее окружали — путешествовать или вообще передвигаться съ мѣста на мѣсто. Этотъ главный герой или героиня, которые не сами двигали дѣйствіе рассказа, а наоборотъ этимъ дѣйствіемъ приводились въ движеніе — шли, такимъ образомъ, случай сталкиваться съ самыми разнообразными контингентомъ лицъ, попадали иногда произвольно для себя, но съ умысломъ для автора, въ самыя различныя обстановки и писатель получалъ возможность устами своихъ героевъ раздавать «нравственно-сатирическіе» дипломы всѣмъ встрѣчнымъ и поперечнымъ. Такіе романы и носили названіе «нравственно-сатирическихъ» или «нраво-описательныхъ» и романистъ не думалъ скрывать своей тенденціи, потому что былъ увѣренъ, что публика, въ тѣ годы столь сентиментальная, не только не осудитъ его за это подчеркиваніе морали, но наоборотъ только прельстится ею. Дѣйствительно, спросъ на эти нравственно-сатирическіе романы былъ большой, и всѣ вопли противъ нихъ истинно талантливыхъ писателей ни къ чему не приводили.

Истинные таланты были, конечно, правы въ своемъ негодованіи на быстрый ростъ этой литературы, смахивавшей нѣсколько на ремесло, но историкъ долженъ быть болѣе разборчивъ въ своемъ осужденіи.

Если планъ этихъ романовъ в ихъ выполненіе были иной разъ

антихудожественны, то отдѣльныя детали этихъ «картинъ нравовъ» имѣли цѣну, не только историческую, но въ известномъ смыслѣ и литературную. Писатель иной разъ невольно становился жанристомъ, портретистомъ, фотографомъ и даже историкомъ. Само желаніе писателя говорить о «дѣйствительности», стремленіе держаться реальныхъ фактовъ заставляло его мало-по-малу вырабатывать приемы чисто реального творчества, и случалось нерѣдко, что онъ забывалъ свою тенденцію, увлекаясь самымъ процессомъ описанія. И то, что онъ описывалъ, во многихъ случаяхъ заслуживало описанія.

Изъ всей массы романовъ и повѣстей, написанныхъ съ этой тенденціей, мы, конечно, отмѣтимъ лишь самое выдающееся—то, что имѣло въ читающей публикѣ наибольшее распространеніе.

Разсказать содержаніе этихъ романовъ нѣтъ никакой возможности—такъ обыкновенно запутанъ бываетъ разсказъ и такъ много всевозможныхъ интригъ произвольно въ него вплетается. Писатель, какъ мы сказали, запутывалъ разсказъ умышленно, для того, чтобы морализирующая тенденція не выступала наружу слишкомъ явно; но кромѣ того онъ прибѣгалъ къ этой путаницѣ—почти всегда на любовной подкладкѣ—придерживаясь также старой традиціи, что безъ любви романъ не романъ. Тотъ, кто въ этихъ романахъ ищетъ указаній на современную жизнь, картинъ тогдашнихъ нравовъ, можетъ смѣло обойти молчаніемъ всѣ эти любовныя завязки, въ которыхъ нѣтъ и намекъ на реализмъ, нѣтъ типовъ, а одни только положенія и притомъ самыя шаблонныя.

Длинная серія этихъ «нравоописательныхъ» романовъ закончилась въ началѣ сороковыхъ годовъ «Мертвыми душами» Гоголя, этой послѣдней и самой блестящей попыткой нанизать жанровыя картинки изъ современной жизни на довольно произвольную нить «похожденій» одного человѣка. Въ первой части своей поэмы Гоголь окончательно освободилъ этотъ «нравственно-сатирическій» романъ отъ дидактики, и смерть помѣшала ему во второй части поэмы вновь вернуться на старую дорогу. Но еще задолго до Гоголя побѣда реализма надъ дидактикой была обезпечена.

Наиболѣе ясно дидактическая цѣль сказалась на первомъ нашемъ реальномъ романѣ, который вышелъ въ свѣтъ въ первый же годъ XIX вѣка. Это былъ нѣкогда популярный романъ совсѣмъ юнаго писателя А. Измайлова—«Евгеній» *). Авторъ въ предисловіи самъ ука-

*) «Евгеній или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества». Повесть А. Е. Измайлова, 1800 г.,

звалъ на задачу, которую себѣ ставилъ: онъ хотѣлъ, чтобы люди задумались надъ вопросомъ о воспитаніи и потому весь романъ—жизнеописаніе юности Евгенія Негодяева—былъ довольно искусно составленнымъ разсказомъ о разныхъ опасностяхъ, грозящихъ молодому человѣку. Отъ этихъ опасностей Евгеній и погибъ на 24 году жизни, залутавшись въ сѣтяхъ разныхъ Развратныхъ, Вѣтровыхъ, Подликовыхъ, Лидемѣркиныхъ и иныхъ, на збу которыхъ были прописаны всѣ ихъ пороки, и которые поэтому могли представить опасность лишь тогда, когда этого хотѣлъ самъ авторъ. И авторъ умышленно сталъ знакомить читателя со всевозможными темными личностями, заставляя его присматриваться ко всевозможнымъ сценамъ вымогательства, къ карточной фальшивой игрѣ, къ подстроенымъ въ цѣляхъ ограбленія любовнымъ свиданіямъ, ко всякой грязи, которую изображать онъ былъ мастерь. Но изображать эту грязь не значило еще быть реалистомъ. Передъ нами были все-таки не люди, а ходячіе пороки. Составить себѣ во нихъ понятіе о дѣйствительной жизни было невозможно, и единственно, что въ романѣ было дѣянаго, такъ это вовсе не эти общіе силуэты по всей землѣ распространенныхъ пороковъ,—а извѣстное, между строками проглядывающее, пониманіе дѣйствительности, которое обнаружилъ авторъ, угадавъ причину, вызывающую такое уродливое воспитаніе и ему способствующую. На эту причину авторъ указывалъ, когда говорилъ вообще о барскомъ строѣ жизни и мимоходомъ касался вопроса о крѣпостныхъ. Конечно, Измайловъ говорилъ все это не отъ себя—многіе писатели XVIII вѣка ему его слова подсказали—но важно то, что въ эпоху, очень неблагоприятную для всякихъ такихъ намековъ, онъ рѣшился заговорить объ этомъ.

«Знаете ли вы, безсмысленныя креатуры—говоритъ герой романа своимъ крестьянамъ—что жизнь ваша принадлежитъ не вамъ, а моему отцу, по смерти же его въ эретажъ мнѣ достанется?»—«Не будетъ шалатника, не будетъ и бархатника»—ворчитъ сквозь зубы крестьянинъ въ отиѣтъ на одну изъ такихъ выходовъ своего промотавшагося барина, который готовъ распродать своихъ «тварей» по одиночкѣ, ниѣмъ отъ отца довѣренность продавать людей въ случаѣ надобности. Много такихъ мелкихъ, но мѣткихъ чертъ у Измайлова, но, выработывая въ себѣ проповѣдника, нашъ авторъ не разработалъ свой талантъ реалиста.

Неразработанной осталась эта сторона и въ писательскомъ талантѣ Карамзина, который, хотя и опередилъ Измайлова, какъ авторъ слезливой «Бѣдной Лизы», но выступилъ, однако, уже послѣ него въ роли бытописателя современной ему жизни. Среди всѣхъ повѣстей Карам-

зна, даже тѣхъ, которыми онъ наполнилъ свою «Исторію Государства Россійскаго», «Рыцарь нашего времени» (1802) выдѣляется своей силой и оригинальностью. Это всего лишь отрывокъ, за который, однако, можно отдать цѣлые законченные тома сочиненій нашего писателя, такъ силенъ въ этомъ отрывкѣ аромать жизни, такъ непосредственно схвачена дѣйствительность человѣкомъ, который всегда изображалъ эту дѣйствительность не иначе, какъ передѣлавъ ее сообразно своему сентиментальному представленію о человѣкѣ и его призваніи въ жизни. «Рыцарь нашего времени» — уголокъ цѣлой художественной картины, въ которой должна была быть изображена наша дворянская жизнь глухой усадьбы. И если Карамзинъ когда былъ историкомъ, то, именно, въ этомъ отрывкѣ. Безъ шаржировки, безъ сатирической карикатурности и безъ прописной морали, т.-е. безъ всѣхъ обычныхъ для того времени недостатковъ, развертывается передъ нами эта бытовая картина, въ которой изображены старые типы провинціальнаго дворянства, ихъ жизнь и затѣи, и рассказана такъ трогательно исторія сентиментальнаго воспитанія дворянскаго подростка.

Изъ всѣхъ дальнѣйшихъ попытокъ реальнаго романа, которому Измайловъ и Карамзинъ положили начало, наиболѣе характерные принадлежатъ перу Нарѣжнаго и Булгарина.

Имя Нарѣжнаго въ свое время не пользовалось широкой извѣстностью, которую оно безспорно заслуживало. Даже въ разгаръ споровъ о нашей «самобытности» это имя упоминалось рѣдко, и только позднѣйшая критика признала въ немъ прямого предшественника Гоголя. Такое невнимательное отношеніе критики къ выдающемуся писателю крайне странно, тѣмъ болѣе, что этотъ писатель удовлетворялъ ходячему тогда вкусу публики къ такъ называемымъ «романамъ съ похождениями». Романы Нарѣжнаго, дѣйствительно, полны неувѣроятныхъ происшествій, и реальное съ придуманнымъ смѣшано въ нихъ самымъ произвольнымъ образомъ. Той или другой своей стороной они должны были бы нравиться, а между тѣмъ, критика недостаточно внимательно отнеслась къ ихъ реализму, а читатели недостаточно оцѣнили ихъ занимательность. Бываютъ иногда такія несправедливости... ихъ должно исправлять потомство, и въ отношеніи Нарѣжнаго эта поправка теперь сдѣлана. Въ исторіи нашей литературы ему отведено почетное мѣсто, и его нравоописательные романы послѣ долгаго забвенія теперь оживились въ нашей памяти.

Разсматривая ихъ, какъ историческій памятникъ, мы убѣждаемся, что Нарѣжный обладалъ большимъ чутьемъ дѣйствительности и что ему удалось освѣтить въ своихъ романахъ такія стороны нашей жизни, которыхъ не касались его современники. Изъ общаго перечня повѣстей

в романы Нарѣжнаго намъ для нашей цѣли необходимо остановиться лишь на пяти произведеніяхъ смѣшаннаго типа, въ которыхъ, однако, «сравоописаніе» составляетъ главную цѣль автора. Это: «Аристѣонъ» (1822), «Бурсакъ» (1824), «Два Ивана или страсть къ тяжбанѣ» (1825) и «Черный годъ или горскіе князья» (1829) (написанный въ самомъ началѣ столѣтія) и въ особенности «Россійскій Жилблазъ» (1814). Романы эти, какъ мы уже сказали, не однородны— въ однихъ, какъ, напр., въ «Аристѣонѣ», преобладаетъ дидактизмъ, въ «Бурсакѣ» большая примѣсь историческаго элемента, въ «Двухъ Иваняхъ» всего больше анекдотическаго, «Черный годъ» — социальная сатира и, наконецъ только «Жилблазъ» — типичный «сравоописательный» рассказъ. Содержаніе этихъ романовъ рассказывать нѣтъ нужды, тѣмъ болѣе, что оно такъ запутано, что и послѣ неоднократнаго чтенія удержать его въ памяти нѣтъ возможности. Чтобы оцѣнить значеніе этихъ бытовыхъ картинъ для искусства и жизни, достаточно указать лишь на тѣ общіе вопросы, которыхъ Нарѣжный въ нихъ коснулся. Одинъ бѣглый обзоръ имъ покажетъ намъ, какъ близко этотъ человекъ присматривался къ нашей тогдашней жизни и какой шагъ впередъ сдѣлало въ его романахъ наше общественное самосознаніе.

Въ романѣ «Аристѣонъ» *), въ которомъ авторъ преподаетъ урокъ истиннаго воспитанія, онъ, при обрисовкѣ дворянскаго быта, все время наводитъ нашу мысль на социальную аномалію своего времени и пользуется каждымъ случаемъ, чтобы обосновать свои сужденія о системѣ воспитанія на этой первопринципѣ всякой дворянской разнуздаванности. Если ему не удаются типы, и сами портреты сбиваются на шаблонъ, то эти художественные недочеты не вредятъ тому историческому смыслу, который вѣрно уловленъ и высказанъ въ этой картинѣ. Картина въ цѣломъ веселая, какъ почти всѣ рассказы Нарѣжнаго, который любилъ кончать все къ общему благополучію; картина, кромѣ того, мѣстами очень игривая и полная юмора, которымъ природа щедро надѣлила нашего автора, и вмѣстѣ съ тѣмъ картина съ возмутительными деталями въ тенъеровскомъ стилѣ. Передъ нами нищенское крестьянское хозяйство, исчисленіе всевозможныхъ воборовъ, которыми помѣщикъ облагаетъ крестьянъ, экзекуціи и мужиковъ, и дѣвокъ, грубыя игры помѣщичьихъ сынковъ съ крестьянскими мальчишками, уличныя сцены, гдѣ дѣйствующими лицами является толпа голодныхъ полуодѣтыхъ оборванцевъ, однимъ словомъ картины съ натуры, которыя тѣмъ рельефнѣе выступаютъ наружу, чѣмъ больше

*) «Аристѣонъ или перевоспитаніе». Истинная повѣсть. 2 части. Сиб. 1822.

авторъ старается скрасить ихъ иными придуманными рассказами напр., о томъ, какъ благодарные поселяне цѣлуютъ полу платья у благодѣтельныхъ помѣщиковъ.

Когда Нарѣжный отъ этихъ бытовыхъ картинъ переходитъ къ картинамъ историческимъ, какъ, напр., въ романѣ «Бурсакъ» *), онъ сохраняетъ тѣ же приемы реальной обрисовки лицъ и событій, несмотря на вторженіе иногда чисто сказочныхъ эпизодовъ въ его романъ. Онъ произвольно мѣшаетъ вымыселъ съ дѣйствительностью, съ исторической правдой обходится довольно свободно, придумываетъ имена совсѣмъ не реальныя, пользуется широко всякими разбойничьими сказками, запутываетъ нитригу до крайности, но искупаетъ все это живыми и юмористическими рассказами изъ жизни бурсы, казаковъ, запорожской сѣчи—спенками, которыя иногда какъ будто напоминаютъ манеру и письмо Гоголя. Онъ впрочемъ не совсѣмъ гоголевскія, потому что народный колоритъ въ нихъ не всегда выдержанъ и, главное, не выдержана рѣчь, которая у Гоголя болѣе естественна. Нѣтъ у Нарѣжнаго и того историческаго чутія, которое было у Гоголя, хотя Нарѣжный зналъ прошлое Малороссіи безспорно лучше, чѣмъ кто-либо изъ тогдашнихъ писателей до Гоголя.

Всего больше малороссійскихъ бытовыхъ чертъ сохранено въ другомъ романѣ Нарѣжнаго «Дна Ивана» **), который считается прототипомъ известнаго рассказа Гоголя «о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Пикифоровичемъ». Эта мысль о междуусобной истребительной волнѣ двухъ сосѣдей вытекла у Нарѣжнаго изъ вѣрно схваченной имъ основной черты нашей тогдашней жизни,—черты серьезной, несмотря на то, что она нерѣдко проявляла себя въ самыхъ комическихъ формахъ. Эта страсть къ тяжбамъ и одновременно къ самоуправству, была, при условіяхъ тогдашней дворянской жизни, некультурнымъ проявленіемъ самостоятельности въ поступкахъ и мнѣніяхъ, проявленіемъ энергіи, неправильно развитой царящимъ вокругъ произволомъ. И Нарѣжный, задолго до Гоголя и до Островскаго, уловилъ эту черту жизни не одной только Малороссіи, но и всей нашей дореформенной Россіи. Его романъ отнюдь не былъ «забавнымъ» романомъ, несмотря на массу истинно комическихъ эпизодовъ, даже балаганныхъ сценъ, которыми авторъ испестрилъ свою повѣсть. По основной идеѣ это была сатира социальная, въ которой писатель гнался за правдоподобностью, за вѣрными бытовыми крас-

*) «Бурсакъ». Малороссійская повѣсть. 4 части. Москва, 1824.

***) «Два Ивана или страсть къ тяжбамъ». 2 части. Москва, 1825.

ами, за оригинальностью въ языкѣ. И, дѣйствительно, помимо основной концепціи темы, читатель даже нашего времени найдетъ въ этомъ старѣломъ романѣ много страницъ, изъ которыхъ жизнь еще не выохлала. Сцены изъ быта простолюдинъ, сцены на ярмаркѣ, сельскія картинки, описаніе хуторовъ, шинокъ съ его козьями и посѣтителями, городъ, гдѣ ведется тяжба, и цѣлый рядъ судейскихъ тяговъ—все говоритъ о тонкой наблюдательности автора.

Стремясь всегда уловить въ окружающей жизни не только ея вѣщность, но и ея смыслъ, Нарѣжнѣй задумалъ еще въ началѣ всей дѣятельности нарисовать огромную бытовую картину русскихъ нравовъ, цѣлую эпопею дворянской и интеллигентной жизни этого времени. Предпріятіе было смѣлое и Нарѣжнѣй понималъ это: вотъ почему, быть можетъ, онъ и перенесъ дѣйствіе своего романа въ XVIII вѣкъ, какъ бы желая отвести глаза слишкомъ зоркаго читателя. Ему не удалось однако обмануть этого читателя: его романъ, «Россійскій Жилблязъ» *), былъ всетаки запрещенъ цензурой, и послѣднія три его части въ печати не появились.

Изъ тѣхъ трехъ частей, которыя передъ нами, мы видимъ ясно, какъ широкъ и глубокъ былъ замыселъ нашего писателя. Можно твердительно сказать, что даже послѣ «Мертвыхъ душъ» «Россійскій Жилблязъ» остался самымъ пространнымъ реальнымъ романомъ изъ нашей старой жизни. Конечно, слово «реальный» надо и въ данномъ случаѣ:— какъ всегда, когда говоримъ о Нарѣжномъ— понимать съ ольшими ограниченіями. Сама завязка романа и всѣ побочныя интриги, ходящія въ его составъ, опять—рядъ невозможныхъ и невѣроятныхъ интригъ и неожиданностей, вставленныхъ, конечно, ради развлеченія требовательнаго въ этомъ смыслѣ читателя. Но дѣло не въ запискѣ, а въ деталяхъ, и вотъ эти-то детали въ «Жилблязѣ» и цѣнны. Изъ самаго бѣглаго обзора ихъ можно убѣдиться въ томъ, какъ серьезно отнесся писатель къ своей задачѣ: и какъ онъ умѣлъ подхватить главное и существенное во всей пестротѣ современности.

Авторъ опять пользуется каждымъ случаемъ, чтобы сорвать свою волю на любомъ господинѣ Голосорѣзовѣ, который «на досугѣ гоняется въ дворовыми дѣвками, собираетъ слугъ и велитъ имъ бить другъ друга, самъ не можетъ налюбоваться, видя кровь, текущую отъ зубовъ и ноздрей, и волосы, летящіе клоками». Сопровождая затѣмъ своего героя въ его долгихъ и запутанныхъ похожденияхъ, авторъ всегда готовъ

*). «Россійскій Жилблязъ или Похождения князя Гаврилы Семеновича Чиншова». 6 частей. Спб. 1814 г. (Напечатаны всего лишь 3 части).

высказаться по самымъ существеннымъ вопросамъ. Его интересуетъ, напр., наше отношеніе къ иностранцамъ и къ нашей старинѣ. Нарѣжный держится очень трезвыхъ уравновѣшенныхъ взглядовъ на это двойное направленіе нашихъ симпатій, проявившихся въ тѣ годы съ достаточной рѣзкостью: онъ предаетъ остроумнѣйшему осмѣянію фанатиковъ-любителей старины, не понимающихъ сущности національнаго и замѣняющихъ эту сущность одной внѣшностью; онъ, съ другой стороны, травитъ иностранцевъ, которыхъ мы допускаемъ такъ охотно къ себѣ въ семьи и которыхъ мы готовы простить даже ихъ глумленіе надъ нашей національностью. Не менѣе любопытныя страницы посвящаетъ Нарѣжный въ своемъ романѣ карикатурной характеристикѣ русскаго «метафизика» — повидному, довольно странная выходка со стороны интеллигентнаго человѣка, которому наши умственные недочеты тѣхъ годовъ были ясны. Если, однако, Нарѣжный рѣшился заговорить объ излишествѣ метафизики въ русской головѣ, а не объ ея недостаткѣ, то эту сатирическую выходку, это глумленіе надъ разсужденіями о «душѣ, гдѣ она сидитъ, во лбу или въ затылкѣ?» этотъ разсказъ о томъ, какъ нашего метафизика свезли въ домъ умалишенныхъ—надо понимать не въ прямомъ смыслѣ. Нарѣжный въ своихъ романахъ далъ не мало доказательствъ тому, какъ высоко онъ цѣнилъ науку, и въ данномъ случаѣ онъ разумѣлъ не ее, а современный ему мистицизмъ, который, если еще не успѣлъ вполне заволочь русскіе умы («Жизнблзъ» написанъ въ 1814 г.), то все-таки достаточно тогда уже обнаружился. Трезвый умъ Нарѣжнаго предугадалъ опасность, но писатель не имѣлъ еще въ своемъ распоряженіи подходящаго слова, которымъ бы онъ могъ окрестить поднимавшіяся тогда туманъ мысли и онъ набросился на «метафизику», которой, какъ извѣстно, приходится часто расплачиваться не за свои грѣхи. А Нарѣжный—юмористъ и сатирикъ—любилъ во всемъ ясность и онъ доказалъ это въ томъ же романѣ необычайно для того времени смѣлой выходкой противъ массонства. Что въ своемъ беззащитномъ глумленіи надъ массонствомъ Нарѣжный былъ опять таки неправъ, это едва ли нужно доказывать; писатель сдѣлалъ крупную историческую ошибку: онъ частный случай разврата въ массонскихъ ложахъ изобразилъ какъ характерное для массонства явленіе. Но описаніе этихъ массонскихъ оргій, и этихъ церемоній, гдѣ дѣйствуютъ разные братья Козерогъ, Телецъ и Большой Песъ, «весь скотный дворъ земной, небесный и преисподній», гдѣ чвавится Полярный Гусь и гдѣ, въ концѣ концовъ, все мистическое сводится просто-на-просто къ скабресному — читается все-таки не безъ интереса, такъ много въ немъ смѣлой мысли.

А Нарѣжнѣ былъ сильный писатель. Еще въ самомъ началѣ своей литературной дѣятельности, въ тѣ годы, когда онъ чиновникомъ служилъ на Кавказѣ, онъ сочинилъ длинный романъ изъ жизни какъ будто «горскихъ князей». Романъ этотъ «Черный Годъ» *) вышелъ уже послѣ смерти Нарѣжнаго, такъ какъ самъ авторъ не рѣшался его печатать, и онъ имѣлъ на то свои основанія. Подъ невиннымъ заглавіемъ романа, дѣйствіе котораго происходитъ въ горахъ Кавказа и на берегу Каспійскаго моря, дѣйствующія лица котораго всѣ вымышленныя, и обстановка никакихъ мѣстныхъ красокъ не имѣетъ, нашъ авторъ создалъ любопытнѣйшій образецъ общественно-политической сатиры, единственный въ своемъ родѣ для того времени. Какъ чиновникъ, онъ имѣлъ случай присмотрѣться къ русскимъ порядкамъ на Кавказѣ въ тотъ самый моментъ, когда Грузія вошла въ составъ нашего государства. Всю перелицованную исторію этого управленія онъ и далъ въ своемъ юманѣ. Въ настоящую минуту разгадать всѣ намеки и псевдонимы трудно, да и нѣтъ необходимости. Романъ Нарѣжнаго цѣненъ не этимъ историческимъ матеріаломъ, а общими драматическими и комическими положеніями, въ которыхъ авторъ съ такимъ юморомъ выразилъ соотношеніе между разными общественными силами и властями. Связь, его министры, верховный жрецъ и его клеветы, военачальникъ и народъ — вотъ тѣ социальные силы, надъ которыми авторъ зощрялъ свое остроуміе, наводя насъ, однако, ежеминутно на серьезные мысли. Рѣчь шла, конечно, не о Грузіи только и не о тѣхъ русскихъ чиновникахъ, которые въ этой Грузіи хозяйничали, а вообще о властяхъ и о социальныхъ группахъ въ ихъ трагикомическихъ столкновеніяхъ между собой. Властитель, одурманенный своимъ величіемъ, призывный и своевольный, привыкшій смотрѣть на свой народъ, какъ на толпу, украшающую площадь при его выѣздахъ; совѣтъ министровъ, который не можетъ дать ни одного путнаго совѣта, верховный жрецъ, корыстолюбивый, торгующій святыею и желающій присвоить себѣ руководящую роль въ государствѣ, дезорганизованное войско, въ котораго война и грабежъ тождественны, законодѣль, и самый народъ, который при всякомъ случаѣ служить козломъ отпущенія — всѣ эти общіе собирательные типы и группы, которые авторъ ни на минуту не упускаетъ изъ виду — даже въ самый разгаръ разсказа о любовныхъ похищеніяхъ своего героя — достаточно поясняютъ серьезную мысль писателя и указываютъ на мишень, въ которую онъ мѣтилъ.

*) «Черный Годъ или Горскіе Князья», 4 части. Москва, 1829 г.

Въ романѣ есть страниды очень смѣлыя. Ни въ одномъ изъ нашихъ старыхъ романовъ, даже самаго сатирическаго типа, не отгъненъ, напр., такъ рельефно принципъ «дубины», который издавна имѣлъ такое широкое примѣненіе въ нашей жизни. Нарѣжный прозрачно намекаетъ на него въ нѣсколькихъ главахъ, въ которыхъ рассказываетъ, какъ горскій князь Кайтукъ 25-й, обладатель не малой части ущелій кавказскихъ, учредилъ особый орденъ нагайки, рыцарями котораго могли быть люди только извѣстнаго привилегированнаго положенія. Имъ только присвоенъ былъ этотъ знакъ, сдѣланный изъ кашеки бараньихъ, длиною въ аршинъ съ кнутовищемъ изъ кедроваго дерева, на которомъ былъ княжескій вензель. За награжденіе этимъ знакомъ отличія полагалось, однако, взыскивать не малую сумму для пополненія государственнаго казначейства. Кавалерамъ этого ордена были предоставлены особыя преимущества, среди которыхъ одно изъ немаловажныхъ заключалось въ томъ, что кавалеръ могъ приколотить не кавалера безъ суда и расправы, «только бы удары надѣляемы были ничѣмъ другимъ, какъ орденскою нагайкой» *).

Если вспомнить, что эти строки были писаны за много лѣтъ до торжества аракетевской системы и при томъ въ эпоху самаго розоваго оптимизма, въ годы наибольшихъ и наилучшихъ обѣщаній александровскаго царствованія, приходится удивляться зоркости нашего автора. Онъ умѣлъ отличать въ нашей жизни постоянное отъ наноснаго, существовавшее отъ случайнаго.

Въ этомъ смыслѣ Нарѣжный былъ явленіемъ рѣдкимъ, и среди нашихъ позднѣйшихъ реалистовъ николаевской эпохи мы не найдемъ достойнаго ему по смѣлости замѣстителя...

Впрочемъ, при оцѣнкѣ дѣятельности этихъ писателей николаевской эпохи, нужно всегда помнить, что условія ихъ работы были нѣсколько иныя, чѣмъ въ предшествующее царствованіе. Литература была взята подъ строгую опеку и писатель приучался сознать себя прежде всего цензоромъ своихъ произведеній, а потомъ уже ихъ авторомъ.

Изъ этихъ бытописателей-реалистовъ новаго царствованія всего болѣе былъ популяренъ въ читающей публикѣ Ѳ. В. Булгаринъ.

Онъ, какъ литераторъ, имѣлъ свои безспорныя заслуги и любовь къ нему, какъ къ человеку, не должна имѣть правильной оцѣнкѣ его дѣятельности, какъ журналиста и писателя. Для своего круга читателей, — очень широкаго, замѣтимъ — Булгаринъ былъ во всякомъ случаѣ поставщикомъ занимательныхъ разсказовъ, въ которыхъ

*) «Черный Годъ», часть I, стр. 53, 83, 89.

нъ обнаруживалъ и въ некоторую писательскую сноровку и въ некоторый маасъ свѣдѣній историческихъ и литературныхъ и, наконецъ, даже въ общемъ приличную сентиментальную мораль, правда, истертую, но въ общественномъ смыслѣ не вредную. Конечно, все это для круга самаго средняго, который такими разсказами и увлекался.

Для роста литературы въ широкомъ и серьезномъ смыслѣ этого слова—Булгаринъ, несмотря на его плодовитость, сдѣлалъ мало, и искать въ его романахъ истиннаго пониманія дѣйствительности или освѣщенія характерныхъ ея сторонъ—напрасно. Многое въ данномъ случаѣ зависѣло отъ темперамента самого писателя: Булгаринъ былъ по природѣ своей человѣкъ трусливый, который всегда боялся сказать не у мѣста что забудь лишнее. Настоящаго темперамента сатирика въ немъ не было, не много было и чисто литературнаго таланта. Всего вѣрнѣе будетъ, если мы его отчислимъ въ группу сентименталистовъ, проповѣдниковъ обыденной несложной морали, привыкшей имѣть дѣло съ самыми будничными добродѣтелями. Въ своихъ «картинахъ нравовъ» Булгаринъ поэтому всегда избѣгалъ касаться вопросовъ острыхъ и сложныхъ, почему всѣ его романы и повѣсти и носятъ такой общій характеръ Мѣстныхъ, народныхъ красокъ въ нихъ очень мало; бытовые черты попадаются рѣдко, но всетаки въ общемъ всѣ эти романы обнаруживаютъ тенденцію къ реализму и въ этомъ ихъ главная литературная заслуга. Они прививали публикѣ вкусъ къ литературѣ, воспроизводящей современность, и хоть слабо, но всетаки сосредоточивали ея интересъ на гѣйствительности. Въ этой погонѣ за реализмомъ Булгарину случалось громѣ того бросать иногда свѣтъ и на въ некоторые уголки нашей жизни, доселѣ мало освѣщенные.

Въ 1829 году Булгаринъ соединилъ всѣ свои фельетоны, разсказы, очерки и сказки въ 12-ти] томахъ своихъ «Сочиненій» *). Въ этомъ собраніи сочиненій не вошли его романы, которые къ этому году также могли бы составить 12 томовъ. Продуктивность, какъ видимъ, была юлыная, но количество шло всетаки въ ущербъ качеству. Въ этомъ сборникѣ мелкихъ статей передъ нами литературный матеріалъ довольно острый. Въ статьяхъ замѣтны двѣ главныя тенденции—моральная и патриотическая. Недаромъ, намекая на успѣхъ своихъ сочиненій въ публикѣ, Булгаринъ говорилъ въ предисловіи, что всѣ добрые и просвѣщенные люди держатъ его сторону. Онъ очень гордился тѣмъ, что ѣлъ добрыя чувства, но если мы поближе присмотримся къ этимъ увещаніямъ и мыслямъ, то намъ въ глаза сразу бросится вся ихъ неза-

*) «Сочиненія Фаддея Булгарина». С.-Пб. 1829 г. XII частей.

тѣлность. Шаблонна была и патріотическая тенденція его рассказовъ, которая сводилась исключительно къ прославленію силы и стойкости русскаго оружія и къ восхваленію преданности «славянъ» своимъ государямъ. Торжество этихъ добродѣтелей Булгаринъ пояснялъ рассказами изъ славянской старины, конечно, вымышленной, изъ русской древней исторіи, а также картинками изъ жизни реальной, которыя онъ срисовывалъ съ событій, свидѣтелямъ которыхъ былъ самъ, и съ лицъ, съ которыми встрѣчался во время своихъ походовъ съ Наполеономъ. Если отбросить заключительную мораль, пришитую почти всегда на живую нитку къ самой повѣсти, то въ этихъ воспоминаніяхъ найдутся живыя странички. Ихъ значительно меньше въ повѣстяхъ чисто вымышленныхъ, сочиненныхъ въ доказательство какой-нибудь нравственной сентенціи. Такія сентенціи, не идущія дальше самыхъ банальныхъ истинъ, Булгаринъ разъяснялъ и восточными апологами, и фантастическими сказками, и жанровыми сценками. Всѣ они не выше общаго литературнаго ординара того времени и въ нихъ не затронутъ ни одинъ сколько-нибудь важный вопросъ нашей тогдашней жизни. Если автору и случается на такомъ вопросѣ мимоходомъ остановиться, какъ, напр., на вопросѣ крестьянскомъ, то изъ обличителя и правописателя, какимъ онъ себя мнитъ, онъ становится сентименталистомъ самой чистой воды и рисуетъ блаженныхъ идилліи. Освѣщенію дѣйствительности онъ предпочитаетъ въ такихъ случаяхъ туманный ничего не говорящій очеркъ идеала. Наиболѣе удачныя въ этихъ рассказахъ сатирическія выходы противъ литературной братіи, нравы которой Булгаринъ имѣлъ возможность изучить на себѣ самомъ и ближайшихъ пріятеляхъ.

Такую же малую литературную цѣнность имѣлъ и его нѣкогда очень популярный романъ «Иванъ Выжигинъ» *). Задуманъ онъ былъ очень широко, по плану ходячихъ тогда «романовъ съ похождениями». Авторъ перекатывалъ своего героя и всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа по всему пространству нашей родины, отъ Польши до киргизскихъ степей, заставляя ихъ жить въ самыхъ разнообразныхъ общественныхъ условияхъ, придумывалъ невѣроятныя случайности и все это затѣмъ, чтобы дать «благонамѣренную сатиру, прощѣтанію которой въ Россіи издавна составляло заботу нашего мудраго правительства». Такимъ образомъ, и въ этомъ романѣ авторъ остался вѣренъ своимъ излюбленнымъ тенденціямъ — сентиментально-дидактической, которая должна изображать жизнь «благонамѣренною», не возбуж-

*) «Иванъ Выжигинъ. Нравственно-сатирическій романъ». 4 части. С.-Пб. 1829 г.

ны сильныхъ страстей, и тенденціи патріотической, которая должна вѣдѣть въ читателѣ довѣріе къ правительству, а потому и уменьшитъ строгость его недовольства дѣйствительностью. Авторъ, такимъ образомъ, имѣя себя обезоруживалъ. Онъ хотѣлъ, пользуясь похождениями совсѣмъ значительнаго и неинтереснаго Ивана Выжигана, дать намъ по возможности полный списокъ пороковъ нашей русской жизни и онъ, вѣстѣ съ тѣмъ, въ изображеніи этихъ пороковъ, отнюдь не желалъ рогнѣвить тѣхъ, кто, можетъ быть, былъ больше всего виноватъ въ ихъ процвѣтаніи. Поэтому, всѣ его сатирическіе образы — ища безъ лицъ, тѣни безъ плоти и крови, съ традиціонными, въ мѣдѣтахъ даже годами уже устарѣвшими, фамиліями Плутягичей, Котенко, Плезиринныхъ, Воробатинныхъ, Ножовыхъ, Безпечиныхъ или и контраста — Виртутиныхъ и Законенко. Само собою разумѣется, что и вся жизнь этихъ лицъ — одна фантазмагорія, съ русской жизнью чего общаго не имѣющая, а между тѣмъ, ею именно заняты почти всѣ страницы романа. Заканчивая свой длинный романъ, авторъ устами героя высказался въ самомъ примирительномъ духѣ и тѣмъ показала, къ несвойственна была ему роль сатирика и обличителя, которую онъ разыгрывалъ.

«Испытавъ многое въ жизни — говорилъ онъ — бывъ слугою и господомъ, подчиненнымъ и начальникомъ, дѣльцомъ и дѣльщикомъ, мотомъ и игрокомъ, испытавъ людей въ счастья и несчастья, я удалился отъ всѣхъ, но не погасилъ въ сердцѣ моемъ любви къ человѣчеству. увѣрился, что люди больше слабы, нежели злы, и что на одного злого человѣка, вѣрно, можно найти пятьдесятъ добрыхъ, которые того только неприятны въ толпѣ, что одинъ злой человѣкъ дѣлаетъ больше шуму въ свѣтѣ, нежели сто добрыхъ. Радуюсь, что я русский, ибо, не смотря на наши странности и причуды, неразлучны съ ювѣчествомъ, какъ недуги тѣлесныя, итѣ въ жрѣ народа смышлѣе, добрѣе, благодарнѣе нашего». Съ такимъ оптимизмомъ было, конечно, очень трудно выполнить роль Катона, на которую претендовалъ нашъ обличитель, и въ своемъ описаніи нравовъ онъ долженъ былъ пройти мимо главнѣйшихъ «нравственныхъ» вопросовъ тогдашней жизни.

И все-таки въ четырехъ томахъ своего романа Булгарину иногда удалось уловить ту или другую характерную черточку нашей дѣйствительности. Все это были картины довольно тускляя, но, по крайней мѣрѣ, списанныя съ натуры. Быть бѣлорусскаго помещика, его отношенія къ крестьянину и къ еврею были очерченъ въ романѣ довольно ясно, во личныиъ воспоминаніи самого автора. Наблюдательность и

даже въ некоторое остроуміе обнаружилъ онъ въ обрисовкѣ нравовъ нашей древней столицы и въ описаніи разныхъ старыхъ и новыхъ типовъ московской жизни; иногда онъ поднимался и выше этихъ простыхъ наблюденій, переходилъ къ обобщеніямъ, рассуждалъ на тему о солидарности всѣхъ сословій, которая должна быть установлена просвѣщеніемъ; при случаѣ, измѣняя даже своему миролюбивому настроенію, рассказывалъ о томъ, какъ помѣщичьи стригли своихъ дѣвушекъ и продавали ихъ косы на сторону; подбиралъ мимоходомъ веселые анекдоты о помѣщичьей дури; произошелъ однажды на счетъ дворянъ либераловъ, которые за вкуснымъ обѣдомъ или на вечерѣ, въ толпѣ молодыхъ людей, вопіяли о благѣ челоѣчества и о законахъ, а дома у себя были самовластными пашами и угодили подъ судъ за свое обхожденіе съ крестьянами. Всѣхъ такихъ неблагоумѣренныхъ людей авторъ готовъ былъ свезти въ усадьбу нѣкаго Александра Александровича Россіянинова, чтобы научить ихъ уму-разуму и заставить приглядѣться къ жизни истинно русскаго добродѣтельнаго дворянина — совсѣмъ, какъ много лѣтъ спустя Гоголь возилъ своего Чичикова по разнымъ исправительнымъ усадьбамъ во второй части «Мертвыхъ Душъ». Этотъ болгаринскій Россіяниновъ истинный цѣль культуры. Усадьба его — земной рай. Крестьяне сыты, одѣты и довольны, къ тому же всѣ они нѣжны сердцемъ и богаты умомъ. Домики ихъ обложены рѣзными украшеніями, дворы всѣ загорожены высокими заборами; стоятъ эти дома одинъ отъ другого на нѣкоторомъ разстояніи изъ предосторожности отъ пожара, между ними садики съ плодовыми деревьями, позади овощные огороды, а за ними гумны... тамъ церковь, тамъ домики для общественной пользы, въ одномъ изъ нихъ госпиталь и аптека, въ другомъ богадѣльня для безродныхъ, въ третьемъ запасный сельскій магазинъ, въ четвертомъ сельское училище и словесный судъ. Крестьянскія лошади и скотъ отличной породы, упряжь и земледѣльческія орудія въ исправности. «Вотъ какова можетъ и должна быть цѣлая Россія!» восклицаетъ любимецъ автора Милонидинъ при этомъ умиленномъ зрѣніи. Еще больше умилилъ былъ тотъ же Милонидинъ, когда онъ вошелъ внутрь дома г-на Россіянинова и ознакомился съ его библіотекой, гдѣ вмѣстѣ съ русскими книгами въ огромныхъ шкафахъ стояли книги латинскія, греческія, французскія, нѣмецкія, англійскія и итальянскія и рядомъ съ этими шкафами другіе — съ физическими инструментами, химическими аппаратами, моделями машинъ и собраніемъ минераловъ. «Здѣсь пахнетъ Европою!» сказалъ въ восторгѣ обозрѣватель, и, наконецъ, сама Европа явилась передъ нимъ въ лицѣ двухъ гувернеровъ, живущихъ при дѣтяхъ Россіянинова.

это были носы Эстрии и горь Гутманъ, которымъ можно было безъ смаски довѣрить воспитаніе русскаго юношества... Г-нъ Росслянинновъ былъ вообще человекъ не только очень благожелательный, но и достаточно либеральный: въ его иѣнѣи всѣ молодые люди были грамотны, такъ какъ помѣщикъ былъ убѣжденъ, что безъ грамоты невозможно воспитать ни нравственности въ народѣ, ниже возбудить понятіе объ его обязанностяхъ къ властямъ для собственного же его блага.

Было много людей, которымъ эта прѣ-сная идиллія Булгарина очень нравилась, но въ кружкахъ литературныхъ она была встрѣчена насмѣшкой. Въ ней видѣли произведеніе лубочное и рыночное—и въ смыслѣ художественномъ «Иванъ Выжигинъ», пожалуй, иной оцѣнки и не заслуживалъ; но помимо кое-какихъ своихъ достоинствъ, этотъ романъ даже своими отрицательными сторонами оказалъ извѣстную услугу русскому реализму. «Выжигинъ» вызвалъ не мало пародій. Въ этихъ пародіяхъ, въ которыхъ совсѣмъ уже незначительные писатели изощрили свое остроуміе надъ образомъ мыслей и надъ поведеніемъ плоскаго булгаринскаго героя, попадаются опять-таки страницы очень характерныя. Авторы разнообразяютъ обстановку и, оставляя въ сторонѣ тѣ круги дворянскіе и чиновныя, о которыхъ говорилъ Булгаринъ, и жизнь которыхъ, онъ, какъ имъ казалось, исчерпалъ, сосредоточиваютъ свое вниманіе на болѣе низкихъ слояхъ общества, гдѣ и застаиваютъ вращаться либо самого Выжигина, либо его родственниковъ, жену и дѣтей, либо какую-нибудь карикатуру съ него списанную. Въ этомъ отношеніи характеренъ, напр., романъ Гурьянова «Новый Выжигинъ», въ которомъ дано недурное описаніе макарьевской ярмарки *). Не малый интересъ представляютъ въ данномъ смыслѣ и извѣстные романы А. А. Орлова, надъ которыми въ свое время такъ потѣшались. Этотъ Орловъ былъ человекъ довольно любопытный. Литераторъ безъ таланта, но съ большой любовью къ писательству, онъ выпускалъ романъ за романомъ, въ которыхъ висалъ разные пасквили на Выжигина и его семью, производя весь ихъ родъ отъ Ваньки Каина и иныхъ личностей сомнительнаго поведенія **). Сатира въ этихъ романахъ была очень слаба, но недурно обрисованы были нѣкоторые типы иѣщанскіе и купеческіе, очевидно списанные съ натуры авторомъ, который, какъ мы знаемъ изъ его автобіографіи,

*) Н. Гурьяновъ. «Новый Выжигинъ на макарьевской ярмаркѣ». Москва. 1831 г.

***) А. Орловъ. «Хамновскіе степняки Игнатъ и Сидоръ или дѣти Ивана Выжигина». Москва 1831 года. «Родословная Ивана Выжигина» сына «Ваньки Каина». Москва 1831 г. «Смерть Ивана Выжигина». Москва 1831 г.

былъ съ жизнью этихъ словъ общества достаточно знакомъ съ дѣтства *).

Къ числу «правоописательныхъ» романовъ нужно отнести также и ту обширную хронику дворянской жизни, которая въ началѣ 30 годовъ вышла подъ заглавіемъ «Семейство Холмскихъ» **). Авторъ ея С. Бѣгичевъ—былъ самъ родовитый дворянинъ и зналъ о чемъ писалъ. Ему пришла странная фантазія въ голову пристегнуть свой рассказъ къ комедіи «Горе отъ ума», съ авторомъ которой онъ былъ очень друженъ. Такимъ образомъ въ его романѣ дѣйствуютъ наши старые знакомые. Но отъ этого интересъ рассказа нисколько не выигралъ. Значеніе этой длинной хроники опредѣляется опять не главными типами, которыхъ нѣтъ, а довольно вѣрно схваченными деталями помѣщичьей жизни. Историкъ нашего дворянства найдетъ въ немъ кое-какія любопытныя указанія. Авторъ не пощадилъ своего сословія, и хотя въ концѣ концовъ все разрѣшилось къ благополучію благомыслящихъ дворянъ, но много коренныхъ недостатковъ этой жизни пришлось разоблачить писателю. Отношенія къ крестьянамъ стоятъ и здѣсь на первомъ планѣ. Сцены мрачныя: авторъ не экономитъ красокъ и всевозможные виды крестьянскихъ страданій, всевозможныя формы расправы съ ними попадаютъ во всѣхъ томахъ этой длинной хроники. Жизнь помѣщика въ усадьбѣ, лѣнивая и полная самодурства, жизнь въ столицахъ, распутная и безшабашная, протекающая въ будуарахъ и въ игорныхъ домахъ, гдѣ всякіе Змѣйкины, Вампировы, Удушьевы и Шурке заняты вымогательствомъ дворянскихъ денегекъ; покинутыя въ усадьбахъ сѣмьи, во главѣ которыхъ стоятъ беззащитныя и слабыя женщины, живущія подъ ежедневнымъ страхомъ конфискаціи имущества за долги; описаніе всевозможныхъ формъ жизни не по средствамъ, жизни праздною, приводящей человѣка то къ пустому поверхностному разочарованію, то къ маниловщинѣ, сентиментальной и попусту мечтательной, то, наконецъ, даже къ преступленію — всѣ эти довольно тщательно выписанныя детали одной общей картины не лишены интереса, въ особенности, если вспомнить, что они вышли изъ-подъ пера человѣка, который радъ былъ бы такія сцены и не вырисовывать. Въ общемъ авторъ обнаружилъ не мало свободомыслія и смѣлости, иной разъ даже злой ироніи по адресу аристократовъ. Заключившая свою хронику, какъ и полагалось, благополучнымъ концомъ

*) А. Орловъ. «Моя жизнь или исповѣдь Московскія происшествія». Москва. 1832 г.

***) «Семейство Холмскихъ, нѣкоторыя черты нравовъ и образа жизни, семейной и одинокой, русскихъ дворянъ». Москва. 1830 г. VI частей.

для всѣхъ добродѣтельныхъ представителей истинно-гуманнаго дворянства, авторъ съ грустью говорилъ, что онъ не успѣлъ выполнить всей своей задачи. «Мы почти не коснулись сословія знатнаго и богатаго дворянства, говорилъ онъ. А какое обширное поле! Развратные, безаравственные, безпутные старики и негодныя старухи, вѣроломные супруги, беспечные родители, филантропки и раскольницы нашего времени, молящіяся по католическимъ книгамъ, и имѣющія аббатовъ отцами наставниками, молодые, полувыучившіеся люди, тоскующіе о философіи, метафизикѣ, статистикѣ, юриспруденціи, правахъ народовъ. Вѣсьма бы любопытно было описать общества сихъ великихъ мудрецовъ, которые за стаканомъ шампанскаго съ трубкою въ зубахъ и съ очками на глазахъ, т.-е. со всѣми признаками глубокой учености, судятъ и рѣдятъ о своемъ отечествѣ, не выдавъ его и ничего не зная о немъ. Какую обильную жатву представлять писателю съ дарованіемъ характеры и домашняя жизнь интригановъ или пройдохъ—придворныхъ, министерскихъ, губернскихъ, уѣздныхъ и даже деревенскихъ! Потому паразитовъ, или, употребляя старинное русское названіе, прихлѣбателей, начиная также съ придворныхъ, продолжая потомъ наблюденія свои въ чертогахъ вельможъ и знатнаго дворянства и оканчивая въ смиренномъ соломоу крытомъ домикѣ небогатаго похѣщика. Купечество? (какое пространное поле! есть гдѣ разгуляться воображенію! есть надъ чѣмъ позабавиться!»

Перечисленные правоописательные романы—лучшее, что создала тогдашняя литература въ этомъ родѣ. Если мы къ нимъ добавимъ виданъ Симоновскаго «Русскій Жилблазъ» *)—то перечень ихъ будетъ почти что полный, такъ какъ остальные романы этого типа рѣшительно ничего характернаго въ себѣ не содержатъ.

Романъ Симоновскаго особыми достоинствами также не отличается въ большей части своихъ главъ—простое повтореніе обычныхъ для того времени положеній, размышленій и разговоровъ. Та же мораль и тоже мрачныя картины крѣпостной жизни. Но попадаетъ въ этомъ жанрѣ кое-что и новое, какъ, напр., довольно обстоятельно рассказанная исторія домашняго воспитанія и затѣмъ школьнаго обученія дворянскаго сына—горя этой скучной исторіи. Она оживляется когда торю приходится говорить о нравахъ губернской гимназіи, о гимназическомъ начальствѣ, берущемъ взятки и о бытѣ самихъ учениковъ, живущихъ по квартирамъ преподавателей. Мимолетомъ обрисованы и

*) Г. Симоновскій. «Русскій Жилблазъ», пожездвіе Александра Сибирикова или ола жм-лннѣ, 2 части. Москва 1832 г.

женскіе пансіоны. Все это описано наскоро и небрежно, но вѣрно съ натуры.

Такая живопись съ натуры вообще единственное достоинство всѣхъ этихъ «картинокъ нравовъ», и настоящихъ большихъ полотенъ вродѣ только что поминovanýchъ, и другихъ, которыя изображали лишь одинъ какой-нибудь уголокъ русской жизни. Такихъ романовъ съ негѣ широкой программой, но съ тѣмъ же стремленіемъ уловить бытовыя особенности нашей дѣйствительности въ тѣ годы было также не мало и иной разъ въ этихъ разсказахъ былъ собранъ довольно интересный этнографическій матеріалъ. Такъ, напр., малороссійская усадьба была живо обрисована въ романѣ Погорѣльскаго «Монастырка» *), кое-какіе нравы южнаго губернскаго города въ разсказѣ Кулжинскаго «Федюша Мотовильскій» **), и особенной популярностью пользовался романъ Калашникова «Дочь купца Жолобова» ***)—романъ разбойничій, но съ массою бытовыхъ чертъ изъ жизни сибирскаго купчества. Къ числу такихъ бытовыхъ романовъ можетъ быть отнесенъ и надѣлавшій въ свое время нѣкоторый шумъ романъ Ушакова «Киргизъ-Кайсакъ» ****) Этотъ довольно живо и умѣло написанный разсказъ посвященъ разбору одного социально-нравственнаго вопроса, который нерѣдко подымался и въ романтической литературѣ, а именно, вопроса о столкновеніи незаконнорожденнаго человѣка, но одареннаго всѣми дарами духа, съ общественными предрасудками. Герой романа—свѣтскій блестящій кавалеръ, счастливый любовникъ, оказывается незаконнымъ сыномъ какой-то киргизки, купленной за 100 рублей. Быстрая агонія этого несчастнаго среди свѣтскаго общества, гдѣ онъ хорошо принятъ, крушеніе всѣхъ надеждъ любви, несмотря на то, что онъ усыновленъ какой-то княгиней, сцены свиданія со своей старухой матерью и, наконецъ, смерть его на войнѣ даютъ автору возможность написать нѣсколько истинно драматическихъ страницъ, нарисовать съ настроеніемъ картинку киргизскихъ степей и ихъ быта, а главное, при случаѣ рѣзко подчеркнуть свою собственную либеральную тенденцію. Романъ, дѣйствительно, полонъ благородныхъ рѣчей и изъявленій симпатій по адресу простого народа; и въ самомъ дѣлѣ, развѣ мало было въ то время людей, имѣвшихъ право на уваженіе общества, и униженныхъ въ виду своего незаконнаго, т.-е. крѣпостнаго происхожденія? Среди рома-

*) *Антоній Погорѣльскій*. «Монастырка». 2 части. Спб. 1830—1833.

***) *И. Кулжинскій*. «Федюша Мотовильскій, украинскій романъ». Москва. 1833.

****) *И. Калашниковъ*. «Дочь купца Жолобова. Романъ завлеченный въ Иркутскихъ преданій». 4 части. Спб. 1832.

*****) *И. Ушаковъ*. «Киргизъ-Кайсакъ». Повѣсть. 2 части. Москва. 1830.

вошь съ серьезныиъ замысломъ, «Киргизъ-Кайсакъ» занималъ одно изъ верхнихъ мѣстъ.

Совсѣмъ не серьезна и очень скучна былъ романъ Греча «Поѣздка въ Германію»^{*)}, но и его должно отбросить, такъ какъ это была попытка набросать новыя для того времени бытovyя сценки изъ жизни русскихъ въ Германіи и князевъ въ Россіи.

Не мало было также въ тѣ годы повѣстей и романовъ изъ военнаго быта, частью вымышленныхъ, а частью написанныхъ по воспоминаніямъ о великой отечественной войнѣ. Что интересъ писателя долженъ былъ остановиться на этой эпохѣ—это воопшѣ понятно, но ожидать отъ этихъ повѣстей истиннаго реальнаго воспроизведенія дѣйствительности было уже потому трудно, что самый сюжетъ наталкивалъ на преувеличеніе, на пафосъ и на повышенный патріотизмъ. Такое преувеличеніе и составляетъ основной недостатокъ всѣхъ романовъ этого типа.

Лучшее, сочиненное на эту тему—были «Походныя записки русскаго офицера»^{**)}—дневникъ, который И. Лажечниковъ велъ во время своихъ походовъ въ 1812—1815 годахъ. Написанныя при свѣтѣ бивуачныхъ костровъ, на барабанахъ и нерѣдко на конѣ, при шумѣ идущаго войска, эти записки были совсѣмъ не чужды пафоса и излишняго сентиментализма, но они были правдивы. Лажечниковъ записывалъ изо дня въ день свои впечатлѣнія на горахъ развалинъ русскихъ городовъ, на поляхъ и въ лѣсахъ, гдѣ валялись непогребенные остатки великой битвы, на полѣ битвы въ предѣлахъ Россіи и за границей, рассказывалъ объ ужасныхъ звѣрствахъ голодныхъ и замерзавшихъ солдатъ, абрасывалъ силуэты полководцевъ, описывалъ все, что случалось идти въ иновѣрныхъ городахъ вплоть до Парижа, лилъ слезы надъ славянствомъ и взывалъ къ чувствительнымъ сердцамъ, призывая ихъ волчиться противъ людской вражды и злобы и—что очень характерно—въ оцѣнилъ и поваялъ ту жертву, которую въ эти тяжелые годы ривесъ русскій простой народъ; и, какъ бы благодаря его за этотъ подвигъ, Лажечниковъ не упустилъ случая напомнить объ его подвигѣмъ положеніи, почему въ свой военный рассказъ и вставлялъ исто эпизоды изъ крестьянской жизни и пускался даже въ политическія разсужденія.

Несмотря на ту дань, которую Лажечниковъ заплатилъ своему сентиментальному вѣку, его записки даютъ гораздо болѣе правильное

*) И. Гречъ. «Поѣздка въ Германію. Романъ въ письмахъ». 2 части. Спб. 1831.

**) И. Лажечниковъ. «Походныя записки русскаго офицера». Спб. 1820.

понятіе объ эпохѣ двѣнадцатаго года, чѣмъ настоящіе романы, которые на эту тему написаны.

Изъ этихъ романовъ выдѣлялись тогда особенно два: «Рославлевъ» Загоскина и «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» Булгарина. Романъ Загоскина написанъ болѣе умѣло, чѣмъ «Выжигинъ», но ни тотъ, ни другой художественными достоинствами не блещутъ. На развитіи дѣйствія, равно какъ и на самихъ характерахъ отражается очень невыгодно слишкомъ яркая патріотическая тенденція писателей. Она превращаетъ рассказъ въ однообразную проповѣдь любви къ отечеству, проповѣдь, которую автору приходится во что бы то ни стало разнообразить вымысломъ—что и влечетъ за собой вторженіе въ реальный романъ совершенно излишнихъ, романтическихъ эпизодовъ. Въ «Рославлевѣ» *) придуманнаго очень много; едва замѣтенъ «духъ времени» и почти нѣтъ мѣстныхъ красокъ, хотя завязка — любовь русской дѣвочки къ плѣнному французу и ея страшная гибель — кажется, взята изъ дѣйствительной жизни. Все, что относится къ этой завязкѣ написано въ старомъ романтическомъ стилѣ; и офицеры, русскіе и французы, равно какъ и дамы, стоящія между ними—не люди, а страсти и чувства временно облеченныя въ тѣлесную форму. Впрочемъ, какъ въ бытовыхъ романахъ, такъ и въ этомъ—суть не въ главной интригѣ, и не въ главныхъ лицахъ, а въ деталяхъ, и въ этомъ смыслѣ кое-что уловлено Загоскинымъ вѣрно. Не лишены напр. интереса народные типы—солдаты и партизаны; авторъ умѣетъ даже при случаѣ говорить не совсѣмъ лозманымъ народнымъ языкомъ; ему ясна до известной степени психологія массы и эта масса у него не только издаетъ одобрительные или порицающіе возгласы, она разсуждаетъ и чувствуетъ, а вообще, кое-гдѣ въ романѣ вѣетъ атмосферой войны.

Этихъ достоинствъ совсѣмъ нѣтъ въ романѣ Булгарина «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» **). Сынъ Ивана Ивановича Выжигина, конечно, образецъ доблести и самаго яркаго патріотизма. Рядъ неожиданныхъ приключеній ставитъ на пробу эту его любовь къ отечеству, и онъ выходитъ изъ нихъ побѣдителемъ, чтобы успокоиться въ объятіяхъ своей Лизы, скромной дѣвушки, выросшей въ семьѣ людей «средняго состоянія», а посему добродѣтельныхъ, о которыхъ авторъ говоритъ вообще съ большою вѣжностью, противопоставляя имъ наше

*) М. Загоскинъ. «Рославлевъ или русскіе въ 1812 году». 4 части. Москва. 1831 г.

***) Ф. Булгаринъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ. Нравописательный историческій романъ XIX вѣка. 4 части. Спб. 1831 г.

нышее общество, столь мало патристичное. Романъ въ общемъ неудачный и не имѣвшій у публики успѣха, но всетаки съ попыткой уловить живые типы и описать историческія событія не нарушая правды. ;

Наиболѣе живой и вѣрный типъ русскаго военнаго былъ данъ впрочемъ не наблюдателями со стороны, а человекомъ, который самъ на своихъ плечахъ вынесъ всю тяготу походной жизни. Въ 1832 году вышло—безъ имени и псевдонима автора—первое собраніе повѣстей декабриста Александра Бестужева, очень популярнаго и тогда уже подъ именемъ Марлинскаго **). Авторъ этихъ повѣстей былъ человекъ съ большими талантомъ и для своего времени его дѣятельность была явленіемъ очень замѣтнымъ. Создатель особаго литературнаго стиля, нѣсколько вычурнаго, но сильнаго и эффектнаго, напоминавшаго во многомъ ранній стиль Гоголя, критикъ остроумный и образованный, Марлинскій былъ истинно съ тѣмъ самымъ талантливымъ изъ нашихъ историческихъ романистовъ. Его историческая повѣсть, всегда съ занимательною интригой, полная археологически-вѣрныхъ деталей и веденная въ быстромъ драматическомъ темпѣ имѣла свою оригинальную прелесть. Несмотря на то, что Марлинскій въ этихъ историческихъ повѣстяхъ подражалъ образцамъ западнымъ, онъ сумѣлъ сочетать болѣе или менѣе удачно заимствованное съ народныхъ... Отъ историческихъ картинъ Марлинскій сталъ постепенно переходить къ описанію дѣйствительности, и повѣсти, написанныя имъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, были уже наполовину очерками бытовыми. Правда, въ этихъ повѣстяхъ болѣе любопытна характеристика міросозерцанія и настроенія самаго автора—человѣка во многихъ отношеніяхъ замѣчательнаго во и помимо этого въ нихъ собрано было не мало бытовыхъ чертъ изъ жизни нашего свѣтскаго общества и преимущественно военнаго. Марлинскій изучилъ этотъ бытъ хорошо, въ особенности, когда судьба забросила его на Кавказъ, гдѣ онъ тянулъ впродолженіи долгиа глѣтъ солдатскую линку.

Отчасти въ Иркутскѣ, куда онъ былъ сначала сосланъ, отчасти на Кавказѣ были написаны эти рассказы, въ которыхъ, вспоминая всю вольную жизнь, нашъ авторъ рисовалъ портреты съ себя самого и своихъ знакомыхъ. Нередко рассказывалъ онъ и о своей личной жизни на Кавказѣ, и никто не умѣлъ такъ вѣрно, какъ онъ, схватить живую прелесть кавказской природы и такъ живо обрисовать восточные типы горцевъ, мирныхъ и воинственныхъ. Его «Вечеръ на Кавказѣ»

** «Русскія повѣсти и рассказы». 4 части. Москва. 1832. (въ 1834 году добавлены еще 4 части).

скихъ водахъ» (1830), «Амалатъ Бекъ» (1832) и поэзіе «Мулла Нуръ» (1835), лучшее, что до Лермонтова было у насъ написано о Кавказѣ. Тонкій, полный юмора разсказъ изъ жизни нашихъ моряковъ за границей далъ Марлинскій въ своемъ «Лейтенантѣ Бѣлосорѣ» (1831), и, наконецъ, въ цѣломъ рядѣ мелкихъ очерковъ, даже самыхъ фантастическихъ, онъ умѣлъ сохранить правдивость чувствъ и вѣрную психологическую мотивировку въ поступкахъ своихъ героевъ. Марлинскій, при всей романтической необузданности своей фантазіи, былъ, безспорно, хорошій психологъ и въ дѣлѣ сближенія искусства съ жизнью онъ—романтикъ по преимуществу—сдѣлалъ больше, чѣмъ многіе реалисты, его мѣше талантливые современники.

Напѣть краткій переченьъ русскихъ реальныхъ романовъ былъ-бы неполовъ, если бы мы обошли молчаніемъ одинъ сборникъ анекдотовъ и сатирическихъ очерковъ, который былъ очень оригинальнымъ явленіемъ тогдашней обличительной литературы. Это былъ «Новый живописецъ» Полевого *) (1832). Въ немъ были собраны летучія статейки на разныя темы, которыя Полевой печаталъ въ своемъ «Московскомъ Телеграфѣ». Среди всѣхъ тогдашнихъ сатиръ и обличительныхъ картинокъ нравовъ «Живописцу» по остроумію принадлежитъ первое мѣсто. Содержаніе его необычайно богато. Почти каждый памфлетъ—живая страничка изъ русской жизни, конечно, перелицованной. Та «виродность», которая ускользала отъ Полевого, когда онъ писалъ свои повѣсти и романы, въ этихъ каррикатурахъ далась ему легко и непринужденно. Злая и мѣткая шутка надъ очень серьезными сторонами нашей жизни—вотъ главное достоинство этого наследника новиковскаго «Живописца». Полевой—романтикъ и сентименталистъ передъ нами въ новой очень удачной роли юмориста.

Достается всѣмъ. Дворянамъ Тугоумовымъ, Щелкоперовымъ и Тонкосвистовымъ за то, что они просвистали свои родовыя мѣшья, за то, что либеральничали, будучи въ сущности страшными эгоистами; толкуя о правахъ человѣчества, истязали низшую братію; торговали собой, умѣли хвастаться лишь чужими заслугами, жить не своими умомъ и на чужой счетъ. Досталось и дамамъ за то, что, по ихъ мѣшью, вся жизнь создана для забавы, за то, что они нятъ себя королевами, для которыхъ существуютъ одиѣ лишь прерогативы и ни одной обязанности. Градь насмѣшекъ сыпался на голову чиновниковъ, отъ мелкихъ до высокопоставленныхъ, и если эти насмѣшки были мало

*) *И. Полевой*. «Новый живописецъ общества и литературы». 6 частей. Москва. 1832.

оригинальны, и авторъ въ нихъ казнилъ все старыя грѣхи — все извѣстность да плутовство — онѣ были чрезвычайно остры и забавны. Среди этихъ остроумныхъ шутокъ находилась и маленькая драматическая сценка, озаглавленная «Ревизоры, или славныя бубны за горами» — комическій эпизодъ изъ чиновничьей жизни, напоминающій сюжетъ «Ревизора». То же ожиданіе ревизора, тѣ же страхи, совѣщанія, какъ отразить грозу, торжественный пріемъ ему и его женитьба на дочери Цапкина — судья, «какихъ много».

Однимъ изъ лучшихъ страдальцевъ въ «Живописцѣ» были посвящены безпощадному глумленію Полевого надъ своими собратьями — литераторами и журналистами. Подняты на смѣхъ нѣкоторые писатели подъ довольно прозрачными псевдонимами, даны очень удачныя пародіи разныхъ литературныхъ стилей, и осмѣяны всѣ литературныя партіи, и классики, и романтики, и искатели народности, осмѣяны тонко, безъ шаржа и грубостей. Но среди этихъ шутокъ есть и серьезныя мысли: такъ напр., цѣлый обзоръ современной литературы втиснуть въ маленькій діалогъ, озаглавленный «Разговоръ послѣ бесѣды съ литераторами». Основная мысль этого діалога — не въ такой только рѣзкой формѣ — намъ уже извѣстна по критическимъ статьямъ Полевого. «Можно ли утверждать, что у насъ есть литература? — спрашивалъ нашъ памфлетистъ. Когда литература будетъ необходимою потребностью общества, когда она составитъ часть его бытія, тогда только она будетъ имѣть право на названіе голоса общества. Наше общество совсѣмъ не въ такомъ отношеніи къ литературѣ; книга для русскаго человѣка такая же вещь, какъ часы, игрушки дѣтскія, или такое же занятіе, какъ гулянье подъ Новинскимъ... Смѣшно, однако, требовать литературы когда мы едва грамотѣ знаемъ... Нельзя дивиться, замѣчая у насъ мелкость литературную, не видя примѣровъ высокаго самоотверженія и находя повсюду безцвѣтность, холодность, подражательность. Отъ этихъ ли пестрыхъ куколъ, отъ этихъ ли человѣковъ на восковыхъ ножкахъ ждать высокихъ, сильныхъ порывовъ души, глубокаго восторга, самобытныхъ созданій! У нихъ всѣ дѣтскія пороки. Самохвальство, горделивость, невѣжество, мелочная зависть, сплетни, подражательность — все это найдется въ нашей литературѣ, и ни одной добродѣтели, даже ни одного порока взрослого человѣка... Впрочемъ, зачѣмъ говорить такимъ языкомъ? Съ литературой русскою надобно шутить и смѣяться, потому что на дѣтей сердиться грѣшно и смѣшно. Пусть критика ставитъ иногда русскіхъ литераторовъ къ уголь за шалости — и нашъ, въ данномъ случаѣ, пристрастный критикъ, разставляя въ своихъ «Живописцѣ» по угламъ рус-

скихъ литераторовъ, даже такихъ, которые вовсе этого не заслуживали. Но Полевой, конечно, иронизировалъ и шутилъ. Не могъ же онъ въ 1832 году не видѣть, что изъ дѣтской рубашки наша литература давно выросла.

Эта литература числила въ своихъ рядахъ, какъ мы видѣли, людей съ большимъ, даже огромнымъ дарованіемъ; ей на пользу шли, кромѣ того, труды цѣлаго ряда писателей менѣе даровитыхъ, но все-таки наблюдательныхъ. Если первоклассныя силы сдѣлали въ общемъ слишкомъ мало для освѣщенія текущей жизни и ея художественнаго истолкованія, если работа второстепенныхъ силъ оставляла многія стороны нашей дѣйствительности неосвѣщенными и если, такимъ образомъ, разнообразіе нашей тогдашней жизни не находило себѣ въ общемъ достаточнаго отраженія въ искусствѣ—то все-таки къ началу тридцатыхъ годовъ настоящая народность, т.-е. истинный реализмъ началъ проявляться въ литературѣ достаточно ясно.

Критика не замѣтила и не оцѣнила его по достоинству. Къ тому же эти попытки самобытнаго творчества тонули и исчезали въ огромной массѣ переводныхъ памятниковъ и чисто подражательныхъ произведеній, либо совсѣмъ ничтожныхъ, либо такихъ, въ которыхъ народность проявилась въ своей условной формѣ, архаически-легендарной или исторической. Во всемъ этомъ огромномъ количествѣ литературныхъ памятниковъ самаго смѣшаннаго типа, въ этомъ, обычномъ для каждой переходной эпохи, скрещиваніи своего и иноземнаго, стараго и новаго, трудно было услѣдить за произведеніями, которыя не были настолько талантливы и ярки, чтобы бросаться въ глаза сразу своей оригинальностью. И потому всѣ попытки реального воспроизведенія нашей тогдашней жизни въ искусствѣ, несмотря на все цѣнное, что въ нихъ заключалось—остались мало оцѣненными, но свое дѣло все-таки сдѣлали: они подготовляли общество къ достойной встрѣчѣ истиннаго таланта, въ созданіяхъ котораго ихъ тенденція настоящаго реализма и народности должна была восторжествовать окончательно... и такой талантъ не заставилъ себя ждать долго.

Въ гоголевскихъ типахъ и въ завязкахъ его повѣстей нерѣдко подмѣчаютъ извѣстное сходство съ тѣми положеніями и лицами, которыя до него сумѣли уловить Нарѣжнѣй, Полевой, Булгаринъ, Бѣгичевъ и другіе. Проводить эти параллели нѣтъ особенной надобности, такъ какъ въ данномъ случаѣ со стороны Гоголя никакого прямого заимствованія не было. Онъ писалъ съ натуры такъ-же, какъ и его предше-

ственики, и потому совпаденія были неизбежны. Но если не было заимствованія, то зависимость все-таки существовала. Пріемы реального воспроизведенія жизни и интересъ къ бытовымъ ея сторонамъ, тенденція изображать не одну лишь лицевую сторону дѣйствительности, а также ея изнанку, отсутствіе въ писателѣ отвращенія къ житейской пошлости и грязи, стремленіе эту грязь претворить въ художественный образъ—всѣ эти черты «натуральной» школы, отцомъ которой считается Гоголь, существовали въ нашей литературѣ задолго до появленія его рассказовъ, и ему въ данномъ случаѣ пролагать новыхъ путей не приходилось. Должно отиѣтить также, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ Гоголь даже отставалъ отъ скромныхъ своихъ предшественниковъ, но какъ художникъ, конечно. Было много очень острыхъ и важныхъ вопросовъ нашей общественной жизни, о которыхъ предшественники Гоголя ниѣли смѣлости говорить рѣзко, хотя и не совсѣмъ складно, и мимо которыхъ—какъ мы увидимъ—Гоголь проходилъ съ опаской или молча.

Въ 1832 г., съ выходомъ въ свѣтъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», Гоголь сталъ литературной знаменитостью.

Но по этому первому оригинальному произведенію нашего художника трудно было догадаться, какое направленіе приметъ его творчество: начнетъ ли оно уходить въ даль народной старины, исторической и легендарной, или, наоборотъ, отъ этого поэтического пропѣгаго—которое тогда такъ любилъ Гоголь—приближаться къ настоящему.

V.

Народная старина и народный бытъ въ памятникахъ словесности. — Поезѣты Пегодина. — «Вечора на Хуторѣ»; снѣженіе въ нѣтъ романтизма съ реализмомъ. — Отступленія отъ бытовой правды; фантастическое; идеализація. — Отъемы прития о «Вечерахъ». — Автобиографическое значеніе этихъ повѣстей.

Среди различныхъ путей, какими писатель того времени шелъ на розыски истинной «народности», былъ, какъ мы знаемъ, одинъ путь, повидимому, самый прямой и удобный. Народная жизнь въ ея далекомъ прошломъ, съ ея мѣрами, преданіями и обрядами, съ ея историческими воспоминаніями, давала художнику сразу обильнѣйшій матеріалъ для литературнаго сюжета и готовые образы для внѣшней его отдѣлки. Писатель могъ воспользоваться также и тѣмъ матеріаломъ, который онъ находилъ въ современной ему жизни простонародья, въ міросозерцаніи котораго были еще такъ живы традиціи и воспоминанія старины. Въ обоихъ случаяхъ онъ стоялъ у самаго источника «народности», понятой, правда въ нѣсколько узкомъ смыслѣ, но, во всякомъ случаѣ, неподдѣльной. Эти богатства, таящіяся въ жизни народной массы, были къ тридцатымъ годамъ уже достаточно разработаны, и мы знаемъ, что критика такую разработку очень поощряла. Но помимо критики на эту же сторону народной жизни обратила тогда свое вниманіе и наука, еще очень не совершенная, но, тѣмъ не менѣе, авторитетная въ глазахъ общества.

Исслѣдованіе народной старины, начавшееся еще въ XVIII вѣкѣ, подвигалось успѣшно и быстро. Если прѣмы этого изслѣдованія были мало научны, то результаты его оказались все-таки плодотворны. Старина воскресала подъ перомъ историковъ, юристовъ, издателей старинныхъ памятниковъ, въ особенности собирателей народныхъ пѣсенъ, повѣрій и обрядовъ. Къ тридцатымъ годамъ занасъ такихъ археологическихъ, историческихъ и этнографическихъ матеріаловъ былъ достаточно обширенъ и богатъ, и писатель-художникъ могъ имъ легко воспользоваться. Пользовались имъ, какъ извѣстно, и

Жуковский, и Пушкинъ, и Гоголь — Гоголь въ особенности; и такая разработка старины иной разъ обогащала нашу изящную словесность. Но, какъ уже было замѣчено, литература могла и пострадать отъ неумѣлаго стремленія писателя поддѣлаться подъ эту старину и отъ неизбежной въ такихъ случаяхъ фальсификаціи «народности». И, дѣйствительно, въ нашей словесности тѣхъ годовъ существовали всѣ эти три вида разработки народныхъ древностей — и простое, весьма цѣнное, собраніе самихъ памятниковъ старины, и художественная переработка ихъ и, наконецъ, поддѣлка подъ старое — въ большинствѣ случаевъ неудачная. Рѣдко, очень рѣдко удавалось художнику реставрировать старину настолько правдоподобно, что она казалась истинно народной и старинной. Пушкинъ въ своихъ «Сказкахъ» и въ своемъ «Борисѣ» подходилъ къ этому идеалу довольно близко, подходилъ и Жуковский также въ своихъ «Сказкахъ» — но это были исключенія. Обыкновенно въ произведеніяхъ съ такимъ народнымъ и археологическимъ колоритомъ царилъ полное смѣшеніе стараго съ новымъ, русскаго съ иноземнымъ, и, въ лучшемъ смыслѣ, получалась та амальгама, та мозаичная работа съ подборомъ старинныхъ образовъ и романтически-сентиментальныхъ положеній, какая намъ дана, напр., въ сочиненіяхъ Катенина — тогда достаточно популярнаго писателя.

Не лучше, если не хуже, обстояло дѣло съ попытками нашихъ писателей изображать не историческую, а современную имъ жизнь престолярды. Изъ краткаго обзора нашихъ повѣстей и романовъ того времени мы могли видѣть, что писатель не избѣгалъ этой темы и всегда охотно приплеталъ ее къ своему разсказу. Но онъ дѣлалъ это почти всегда съ цѣлью обличительной и потому въ картинахъ народнаго современнаго быта его вниманіе было сосредоточено, главнымъ образомъ, на одной сторонѣ этой жизни, именно на столкновеніи крестьянина съ помещикомъ. Пересказывая эту эпопею всевозможныхъ насилій, писатель иной разъ улавливалъ ту или другую бытовую черту въ жизни престолярды, но сама психологія народа, его мірозерцаніе и размахъ его фантазіи оставались не разъясненными. Если же писатель хотѣлъ, никоимъ образомъ не обличая, расположить читателя въ пользу униженнаго и обездоленнаго, то онъ идеализировалъ крестьянина и писалъ съ него портретъ по старому сентиментальному шаблону; изъ сатирика онъ превращался въ идиллика. Лицевая сторона крестьянской жизни выступала тогда поднадевиная наружу, а все мрачное или даже сѣрое — пряталось. Никакой «народности» въ этихъ идилліяхъ и буколикахъ, конечно, не было, была лишь невинная благомыслящая ложь. Для истиннаго пониманія народной жизни мрачныя страницы обличительныхъ и сати-

рических романовъ давали, во всякомъ случаѣ, больше. Но если изъ этихъ романовъ читатель узнавалъ, какъ велико было горе народа, то онъ все-таки не зналъ, какъ этотъ народъ чувствуетъ и что онъ думаетъ. Для того, чтобы узнать это необходимо было либо изучать народную жизнь на мѣстѣ, — что и стали дѣлать наши писатели, но только значительно позже, уже послѣ освобожденія крестьянъ, — либо попытаться проникнуть въ народную душу не путемъ прямого наблюденія надъ ней; а путемъ изученія тѣхъ старыхъ памятниковъ народнаго быта, которые, какъ мы сказали, къ тому времени были уже въ достаточномъ количествѣ собраны. При отсутствіи непосредственнаго знакомства съ народной жизнью, такой окольный путь къ ея разужнѣнью былъ, конечно, наиболѣе удобный. Народный миръ все-таки элементарная форма народной философіи, равно какъ и народный обрядъ — хорошее отраженіе того круга чувствъ и понятій, которымъ живетъ народъ или жилъ долгое время.

До появленія повѣстей Гоголя, въ которыхъ эта трудная задача воссозданія народнаго быта по остаткамъ старины и по наблюденіямъ надъ жизнью дѣйствительной была рѣшена относительно удачно — въ русской литературѣ, за исключеніемъ развѣ комедіи-фарса, было очень мало памятниковъ, которые, удовлетворяя хоть нѣсколько художественной правдѣ, сближали жизнь простонародья съ искусствомъ.

Ей — этой простонародной жизни — пришлось долго ждать настоящаго бытописателя, который освѣтилъ бы ее въ неподдѣльныхъ краскахъ одинаково съ ея печальной и радостной стороны. Въ тѣ юные годы нашей словесности, о которыхъ говоримъ мы, нельзя было и рассчитывать на такое широкое пониманіе и знаніе народнаго быта у нашего еще малоопытнаго художника. Но все-таки въ этомъ направленіи были и тогда уже сдѣланы первыя попытки и среди нихъ самой удачной или, вѣрнѣе, самой поэтической, были «Вечера на Хуторѣ». Въ русской литературѣ эти повѣсти Гоголя прямыхъ предшественниковъ не имѣли, хотя, конечно, ихъ фантастическій, историческій и вѣншній бытовой элементъ, порознь взятый, не былъ новинкой. Низина заключалась лишь во внутреннемъ бытовомъ содержаніи этихъ разсказовъ т.-е. въ попыткѣ изобразить народъ дѣйствующимъ, чувствующимъ и мыслящимъ. Какія бы натяжки въ этомъ изображеніи ни допустилъ Гоголь — онъ все-таки эту трудную задачу рѣшилъ удачнѣе своихъ современниковъ.

Изъ этихъ современниковъ работали тогда надъ той же задачей — Даль и Погодинъ. Но казакъ Луганскій [Даль] въ началѣ тридцатыхъ годовъ только выступалъ съ первыми своими разсказами, растянутыми, блѣдными и вялыми, въ которыхъ къ тому же о простомъ народѣ

вока говорилось назо *). Но и впереди, когда Дашь сталъ переписывать старыя сказки и набрасывать народныя сценки, онъ не пошелъ дальше вѣшняго описанія народнаго быта или некрустади народныхъ оборотовъ рѣчи, пословиць и поговорокъ въ довольно незначительные рассказы. Погодинъ въ данномъ случаѣ—литературная сила болѣе зачѣтная.

Въ 1832 году Погодинъ издалъ полное собраніе своихъ повѣстей**), въ которыхъ онъ—тогда уже извѣстный ученый и профессор—былъ очень неравнодушенъ. Содержаніе сборника довольно пестрое. Сюда вошли повѣсти, нѣющія чисто автобиографическое значеніе, писанныя Погодинымъ на зарѣ его юности, въ моменты сердечныхъ увлеченій, а потому—восторженно сентиментальныя, съ примѣсью нѣмецкой мечтательности, столь обычной въ московскомъ университетскомъ кружкѣ двадцатыхъ годовъ. Но уже въ этихъ сентиментальныхъ повѣстяхъ Погодинъ обнаружилъ талантъ наблюдателя и хорошаго психолога. Въ другихъ рассказахъ—гдѣ лиризма было меньше—этотъ даръ давалъ себя еще больше чувствовать, несмотря на романтическую канву повѣсти. Изъ числа нашихъ раннихъ реалистовъ—а Погодина должно вчислить въ ихъ группу—нашъ ученый повѣствователь былъ однимъ изъ первыхъ, который попытался въ «картину нравовъ» включить описаніе быта низшихъ слоевъ нашего общества. Онъ сдѣлалъ больше: не только описывалъ, но изображалъ этихъ намъ тогда малознакомыхъ людей, изображалъ ихъ чувствующими и думающими, а также разговаривающими и притомъ довольно естественной рѣчью. Содержаніе повѣстей оставалось въ большинствѣ случаевъ романтичнымъ, но въ выполненіи проступалъ наружу довольно откровенный реализмъ.

Галерея типовъ, набросанныхъ Погодинымъ, довольно характерна: избитыхъ типовъ нѣтъ и нашъ авторъ беретъ свои образы изъ малоисследованныхъ общественныхъ круговъ—изъ круга купеческаго, лица исскаго и, наконецъ, крестьянскаго; иногда онъ знакомитъ насъ и въ той сѣрой массѣ, которая вербуетъ изъ самыхъ различныхъ слоевъ составлять въ обществѣ такъ называемыя «поддонки».

Нельзя было, конечно, ожидать, что Погодинъ исполнитъ удачно справиться съ такой новой и трудной задачей. Но всѣ недостатки литературной условности въ его повѣстяхъ искупаются обильемъ вѣрно описанныхъ и схваченныхъ бытовыхъ чертъ, а въ иныхъ случаяхъ

*), — Были и былилиды казака Владимира Луганскаго. Книжка первая. Спб. 1833.

**) «Повѣсти Михаила Погодина». 3 части. Москва. 1832.

и серьезностью основной идеи. Авторъ иллюстрируетъ иногда свою тему народными повѣртіями, пѣснями и обрядами, какъ, напр., въ трогательномъ разсказѣ о любви бѣднаго приказчика, забитаго и скромнаго Ивана Гостинцева къ дочери богатаго купца Чужого—этой сентиментальной повѣсти, очень напоминающей излюбленные драматическія положенія Островскаго («Суженый»). Авторъ вводитъ насъ также въ кругъ мелкопомѣстной провинціальной жизни, подробно описываетъ ее и съ большимъ юморомъ рассказываетъ намъ о столь обычномъ, трагикомическомъ положеніи подростка дѣвочки, сидящей въ ожиданіи жениха, который во образѣ настоящаго Хлестакова и спѣшитъ ее утѣшить («Невѣста на ярмаркѣ»). Особенно много красокъ и драматизма въ повѣсти «Черная немочь»—одной изъ самыхъ идейныхъ въ сборникѣ Погодина. Это печальная исторія о томъ, какъ одинъ купеческій сынъ восчувствовалъ тяготѣніе къ знанію и наукѣ и какъ онъ тщетно рвался изъ своей среды на волю. Типъ купца-старика, который думаетъ, что женитьба испѣлитъ его сына отъ «дури», отъ этой «немочи», отъ жажды знанія и стремленія къ какой-то философіи; старушка мать—безгласная передъ отцомъ, безумно любящая сына и ищущая опоры и утѣшенія у священника и матушки; сваха, достаточно циничная, работливая и хитрая, которая устраиваетъ смотрины; чучело-невѣста и рядомъ съ нею этотъ задумчивый, неизвѣстно какъ въ этотъ кругъ попавшій, молодой человекъ, «изъ котораго могъ бы выйдти Гёрддоръ или Ломоносовъ»; наконецъ, смерть этого несчастнаго, его самоубійство—все эти типы и положенія—первый лучъ, который заронилъ въ наше темное царство наблюдательный писатель. Погодинъ попытался освѣтить и другой темный уголокъ нашей жизни. Въ повѣсти «Счастье въ несчастіи» онъ описалъ вертепъ нищихъ, воровъ и мошенниковъ, описалъ не ради обличенія или дешевой проповѣди, какъ дѣлало большинство его современниковъ, а ради возбужденія въ насъ чувства состраданія къ несчастнымъ, которые все-таки люди съ неугасшей Божьей искрой въ ихъ темномъ сердцѣ. Коснулся Погодинъ также и жизни крестьянской. И въ этой попыткѣ изобразить народный бытъ, уловить міросозерцаніе народа и раскрыть его психику, написъ авторъ, конечно, не избѣгъ сентиментальныхъ и романтическихъ условностей, но этотъ романтизмъ въ сюжетахъ испукался реализмомъ въ обрисовкѣ психическихъ движеній. Нѣкоторыя положенія очень трогательны. Такова, напр., идиллія изъ малороссійской жизни—разсказъ о томъ, какъ Петрусь любилъ несчастную Наташку, которую отецъ не хотѣлъ выдать за бѣдняка и выдалъ за богатаго; какъ бѣдный Петрусь ушелъ копить деньги; какъ возвратился и засталъ свою невѣсту замужемъ за другимъ, засталъ больную

и разоренную; какъ онъ отдалъ имъ всѣ свои накопленные деньги. (Петрусь).

Пома драматическаго движенія и разбойничья сказка, въ которой выносятся отгнаны благородные порывы крестьянскаго сердца. Есть въ сборникѣ также живоописание одного нищаго—повѣсть съ опредѣленнымъ социальнымъ смысломъ. Авторъ рассказываетъ, какъ помѣщикъ укралъ у своего крѣпостнаго его невѣсту, какъ его—мирнаго крестьянина—онъ этимъ насильемъ чуть-чуть не подблъ на убійство, какъ за покушеніе на жизнь помѣщика его отдали въ солдаты, какъ онъ страдалъ и терпѣлъ и какъ, наконецъ, на старости пошелъ просить милостыню. (Пищій).

Изложеніе содержанія всѣхъ этихъ повѣстей не даетъ, конечно, понятія объ ихъ литературной стоимости и, если, ознакмявшись съ ними, читатель поставитъ автору въ вину смѣшеніе романтизма и сентиментализма въ замыслѣ съ реальной обрисовкой быта и психическихъ движеній, то этотъ недостатокъ не умаляетъ значенія повѣстей Погодина въ исторіи развитія нашей реальной повѣсти. Этотъ обычный для того времени недостатокъ дѣлитъ съ Погодинымъ и Гоголь.

Въ «Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки» смѣшеніе реального элемента съ романтическимъ составляетъ, дѣйствительно, отличительную черту всего замысла художника. Впрочемъ, былъ ли у Гоголя замыселъ, когда онъ сочинялъ эти повѣсти? Мы знаемъ, какъ случайно онѣ возникли: авторъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ ихъ художественномъ значеніи, онъ писалъ ихъ отчасти скуки ради, отчасти нища въ виду матеріальную выгоду, а главное писалъ ихъ потому, что часто вспоминалъ о своей Малороссіи и находилъ отраду въ этихъ воспоминавіяхъ. Быть можетъ, эти рассказы и вышли такъ непринужденно естественны и такъ разнообразны потому, что авторъ при ихъ созданіи не пресѣдовалъ никакой опредѣленной цѣли, ни назидательной, ни литературной. Смѣшеніе же романтическихъ образовъ съ чисто бытовыми картинками произошло также невольнo и неумышленно. Въ Гоголѣ романтической лиризмъ всегда боролся съ зоркостью наблюдателя-жанриста и по этому первому, самостоятельному и относительно крѣпкому произведенію никакъ нельзя было рѣшить, куда клонятся симпатіи автора—къ реальному ли изображенію жизни или къ символизаци ея въ романтическихъ образахъ. И то, и другое въ «Вечерахъ» смѣшано и слито.

Передъ нами рядъ фантастическихъ легендъ самаго опредѣленнаго романтическаго характера, съ совсѣмъ воздушными образами вмѣсто живыхъ людей и съ большою прихвѣсью суевѣрія. Рядомъ съ этими

легендами—много жанровых картинъ, съ реальными аксессуарами, съ относительно естественной композиціей и даже одинъ рассказъ о Шпонькѣ и его тетушкѣ, выдержанный весь, безъ малѣйшаго отклоненія, въ стилѣ строжайшаго реализма. Такое совмѣщеніе въ душѣ художника двухъ противоположныхъ пріемовъ и направленій творчества тѣмъ болѣе оригинально, что почти всегда эти направленія сѣмблируются или идутъ параллельно въ одномъ и томъ же рассказѣ. Такъ уже въ «Сорочинской ярмаркѣ» въ реальную жизнь начинается вторгаться легенда. Въ рассказъ объ «Ивановой ночи», полный ужаса и романтическихъ страстей, вставлены живые, съ натуры списанные, портреты. Въ «Майской ночи» сельская идиллія, веселая и живая, сплетена даже неестественно съ печальной легендой. Въ фантастическое сказаніе о «Страшной мести» введенъ цѣлый рядъ эпизодовъ изъ казачьей жизни, нарисованныхъ необычайно правдиво и реально. Въ «Ночи передъ Рождествомъ» фантастика совсѣмъ переплелась съ дѣйствительностью, какъ и въ «Пропавшей грамотѣ» и въ «Заколдованномъ мѣстѣ». Въ одной только «повѣсти о Шпонькѣ»—какъ мы замѣтили—реализмъ въ искусствѣ проявился безъ всякой примѣси романтической грезы или мечты, и авторъ далъ намъ первый примѣръ истинно художественной юмористической повѣсти. Во всѣхъ остальныхъ рассказахъ онъ одновременно и юмористъ-бытописатель, и сентиментальный романтикъ.

«Вечера на Хуторѣ» стояли, такимъ образомъ, на распутьи двухъ литературныхъ теченій, стараго—романтическаго и новаго—реальнаго, и скорѣе принадлежали прошлому, чѣмъ открывали дорогу новому.

Романтика въ нихъ преобладала. Она проявлялась прежде всего въ обилии фантастическаго элемента, которымъ большинство этихъ повѣстей было насквозь пропитано. Эта фантастика была тогда очень распространена въ нашей словесности: Богатѣйшій родникъ ея ишли мы въ нашихъ собственныхъ народныхъ преданіяхъ и сказкахъ; кромѣ того, многое перенесено было къ намъ съ Запада. Изъ дѣбрей преимущественно нѣмецкаго романтизма перелетали на русскую землю вѣдьмы, лѣшіе, оборотни и всякая нечисть. Повѣсти Тика, напр., читались охотно, и самъ Гоголь заимствовалъ у него завязку своего «Вечера наканувѣ Ивана Купалы». Чудесное приходило къ намъ и съ Востока, съ горъ Кавказа. Правда, повѣсти Гоголя вносили нѣчто свое въ эту чертовщину, а именно, тотъ же малороссійскій юморъ, который по репликамъ вѣдьмъ и чертей заставлялъ всѣхъ догадываться, что они проживаютъ не въ ущельяхъ финскихъ горъ, не въ дремучихъ лѣсахъ Муромскихъ, а на Лысой горѣ подъ Кіевомъ. Но это

эпиграфическое отличіе ничуть не мѣняло ихъ роли и ихъ участія въ людской жизни.

Читатель, еще задолго до этихъ «Вечеровъ», любилъ, какъ мы въ наше дѣтствѣ, чтобы съ героемъ повѣсти случалось непремѣнно что-нибудь необыкновенное, чтобы въ жизнь его виѣшивались свѣтлые и темные духи—именно потому, что русскій читатель тогда былъ еще ребенкомъ.

Повѣсти Гоголя въ этомъ смыслѣ вполне отвѣчали господствующему вкусу. Но это чудесное, подсказанное народными легендами, интересно Гоголя не только какъ извѣстный рычагъ дѣйствія: оно совпадаетъ съ одной очень важной стороной его собственнаго міросозерцанія. Зародыши суевѣрія и наивной вѣры съ дѣтства таились въ Гоголѣ; съ годами они окрѣпли. Эти малороссійскіе черти и вѣдьмы превратились со временемъ въ настоящаго чорта, въ существованіе котораго Гоголь вѣрилъ и отъ котораго предостерегалъ Аксакова; старые народные ирачные духи, подъ вліяніемъ религіи, отождествились тогда въ его пониманіи съ принципомъ зла и, конечно, о комическомъ ихъ вторженіи въ жизнь человѣка не могло быть и рѣчи.

Но помимо этой существенной роли, какую чудесное играло въ міросозерцаніи нашего автора, міръ призраковъ удовлетворялъ во дни его юности и другой потребности его духа, именно—жаждѣ свободы. Выворотить человѣческую жизнь на изнанку, поставивъ въ ней все вверхъ дномъ, сдѣлать ее рядомъ неожиданностей, пока въ большинствѣ случаевъ очень пріятныхъ для человѣка, значило тогда для скромнаго и нуждающагося мелкаго чиновника—испытать хоть въ мечтахъ свободный размахъ своей энергіи и воли, которая такъ была стѣснена въ жизни. Очень часто, когда обстоятельства слагаются не весело, хотво мечтаешь о томъ, какъ бы хорошо было, если бы они вдругъ, ю шучьему велѣнію, какъ говорятъ, перевернулись. Такъ могло быть и съ Гоголемъ.

Таившееся въ немъ суевѣріе и страхъ передъ зломъ въ мірѣ нашло себѣ выраженіе въ такихъ повѣстяхъ, какъ «Вечеръ наканунѣ Івана Купалы» и «Страшная месть», а невинная мечта о благоключеніи виѣшательства этихъ силъ въ жизнь человѣка отразилась въ «Майской ночи» и въ особенности въ «Ночи передъ Рождествомъ».

Но помимо чудеснаго, которое придаетъ этимъ повѣстямъ такой ювантичeskій характеръ, само изображеніе малороссійскаго быта грѣнило шерѣдко излишней романтической красотой. Конечно, сравнительно ю всѣми прежними опытами въ этомъ родѣ, «Вечера на Хуторѣ» могутъ быть названы первой правдивой картиной южно-русскаго быта,

написанной безъ всякой тенденціи дидактической или сентиментальной. Но это отсутствіе тенденціи и даже обиліе вѣрно схваченныхъ и правдиво изображенныхъ типовъ не спасаютъ «Вечера на Хуторѣ» отъ упрека въ идеализаціи и въ не совсѣмъ правдоподобной компановкѣ разсказа. Одно время критика очень придирчиво высчитывала равныя ошибки, которыя Гоголь допустилъ въ обрисовкѣ малорусскаго народнаго характера и въ описаніи различныхъ народныхъ обрядовъ*); она оказалась, однако, неправою: почти все, что Гоголь говорилъ о малорусской жизни, были фактически вѣрно; онъ ничего не измыслилъ и не искажилъ; но вопросъ не въ этомъ — вѣрно ли онъ срисовалъ детали. Онѣ могли быть все списаны съ натуры или взяты изъ народныхъ пѣсней. Если Гоголь въ чемъ погрѣшилъ противъ правды, такъ это въ компановкѣ этихъ деталей и въ привычкѣ самшкомъ отбѣивать красивую и яркую сторону изображаемой имъ жизни.

Въ компановкѣ повѣстей допущены, дѣйствительно, нѣкоторыя странности, съ реализмомъ не вполне согласныя. Могла ли свадьба устроиться такъ быстро, какъ она устроилась на ярмаркѣ въ Софочинцахъ, и могъ ли цыганъ такъ хитро спрятать все нити своей интриги и своего «чудеснаго» вмѣшательства въ ходъ сватовства парубка— это остается на совѣсти автора; могла ли майская ночь пройти такъ безумно весело съ такимъ импровизированнымъ крестьянскимъ маскарадомъ, съ такой правильно организованной остроумной уличной демонстраціей хлопцовъ противъ начальства—это также сомнительно; какимъ образомъ вся ночь передъ Рождествомъ обратилась въ сплошную буффонаду, невѣроятно запутанную и невѣроятно смѣльную, какимъ образомъ все дѣйствующія лица этого фарса могли позволить случайностямъ такъ играть съ собой — тоже мало понятно. Впрочемъ, можетъ быть, въ этой малоповѣтливости и заключался умыселъ художника; но, во всякомъ случаѣ, въ его планы отнюдь не входило заставлять своихъ крестьянъ иной разъ говорить совсѣмъ городской выхоленной рѣчью, а въ «Вечерахъ» такая рѣчь въ устахъ парубковъ и дѣвчатъ совсѣмъ не рѣдкость. Послушать ихъ любовныя разговоры—и въ нихъ иногда не замѣтно даже поддѣлки подъ народную рѣчь, до того ихъ слова отборны и литературны...

*) См. объ этомъ статьи Кулиша («Основа», 1861, кн. 4, 5 и 9); отвѣтъ Максимовича («День», 1861 № 3, 5, 7 и 9); Пилинь. «Исторія русской этнографіи» III, 209. «Малороссійскій писатель Гоголь по гг. Кулишу и Максимовичу». «Время», 1852, I. И. И. Коробка, «Кулишъ объ украинскихъ повѣстяхъ Гоголя». «Литературный Вѣстникъ», 1902, I.

Помню этихъ довольно явныхъ отступленій отъ реализма и житейской правды, нельзя не указать и на описанія природы, какъ на образецъ художественной, но никакъ не реальной пейзажной живописи. Мы съ дѣтства привыкли благоговѣть передъ этими описаніями и учимъ ихъ наизусть; но едва ли, созерцая настоящую природу Малороссіи, мы о нихъ когда-либо вспомнимъ. Конечно, тѣ страницы «Вечеровъ», гдѣ насъ спрашиваютъ—«знаемъ ли мы украинскую ночь» и гдѣ намъ говорятъ, какъ «чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ»—эти страницы ослѣпительны по блеску метафоръ, красотѣ образовъ и торжественному настроенію созерцателя, но это не описанія того, что видишь и что желалъ бы другого заставить видѣть, это—исторгъ по поводу видѣннаго и, какъ таковой, онъ субъективенъ въ крайней степени.

Нельзя назвать реальной живописью и тѣ портреты, преимущественно женскіе, которые періодко авторъ вставляетъ въ свои рассказы. Въ нихъ очень много красоты, но жизни мало. Когда видишь, какъ на юзу сидитъ хорошенькая дочка Солопія Черевника—«съ круглымъ личкомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ вѣтливыми карими глазами, съ безпечно улыбающимися розовыми губами, съ повязанными на головѣ красными и синими лентами, которыми вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ богаю короною покоятся на ея очаровательной головкѣ», то такому портрету вѣришь, хотя и не узнаешь въ немъ крестьянки. Но когда затѣмъ читаешь о дочку Коржа, какъ «ея щеки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго шикаго розоваго цвѣта, когда, умывшись Божьей росой, — горитъ тѣ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только что подившимся солнышкомъ; какъ брови ея, словно черные шнурочки, ровно гнувшись, какъ будто глядятся въ ясныя очи; какъ ротикъ ея какъ на то и созданъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни, какъ волосы ея черны какъ крылья ворона, и мягки, какъ молодой лентъ» — такому портрету уже не вѣришь, хотя и любишься имъ, какъ любуешься и на первый выходъ Гавны, когда она «на порѣ семнадцатіи весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская ни двери переступастъ черезъ порогъ; когда въ полуясномъ мракѣ имѣть привѣтно, будто звѣздочки, ея ясныя очи»...

Всѣ эти женскіе портреты—типичные образцы ходячей красоты, шовы женскаго вѣшняго совершенства и убранства. Эти деревенскія красавицы не хрупки, не блѣдны, не воздушны какъ дѣвы тогдашней антики: онѣ не расливаются въ туманѣ, напротивъ того, онѣ всѣ въ здоровы, румяны, какъ былинныя красавицы, но онѣ все-таки

сродни своимъ блѣдымъ сестрамъ, онѣ также съ реальной жизнью имѣютъ мало общаго, хотя и носятъ на себѣ отпечатокъ здоровья.

Такъ же точно и любовныя рѣчи этихъ красавицъ и ихъ обожателей едва ли подслушаны Гоголемъ; вѣрнѣе, что они отзвучъ народныхъ малороссійскихъ пѣсень *).

Такая идеализація типовъ—явленіе, однако, не постоянное. Подкрашены въ большинствѣ случаевъ только молодые типы—тѣ, вокругъ которыхъ сплетается любовная романтическая завязка. Чѣмъ дѣйствующее лицо старше—тѣмъ оно реальнѣе обрисовано. Старикъ и старуха иногда даже смахиваютъ на карикатуры — такъ усердно авторъ при изображеніи ихъ, не соблюдая мѣры, гнался за реализмомъ.

Такимъ образомъ, «Вечера на Хуторѣ», при многихъ вѣрныхъ бытовыхъ деталяхъ, при относительно естественномъ языкѣ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица, наконецъ, при безспорно «народныхъ» сюжетахъ историческихъ, легендарныхъ и бытовыхъ, были все-таки произведеніемъ, созданымъ скорѣе въ старомъ стилѣ, сентиментально-романтическомъ, чѣмъ въ стилѣ новомъ, который требовалъ тѣсной связи искусства и жизни. Одна только повѣсть «объ Иванѣ Федоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ» давала понять, что авторъ способенъ создать въ этомъ новомъ реальномъ стилѣ. Но эта повѣсть осталась неоконченною и застѣнчивый Иванъ Федоровичъ—родственникъ Подколесина, его тетушка-амазонка и ея дворянъ, Григорій Григорьевичъ, хитрый плутъ, и его благонравныя сестрицы промелькнули передъ нами и исчезли, чтобы появиться, однако, вновь въ «Женитьбѣ», «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ Душахъ».

Смѣшеніе въ «Вечерахъ» двухъ приѣмовъ творчества было въ тѣ еще годы отмѣчено критикой.

Успѣхъ книги въ общемъ былъ большой: и не только интересъ публики, но и симпатіи большинства судей были на ея сторонѣ. Разногласіе критиковъ произошло отъ того, что они не хотѣли рассмотреть книгу въ ея цѣломъ: одинъ заинтересовался больше бытовыми чертами, которыя находилъ въ ней, другой обратилъ вниманіе на ея романтическій колоритъ, третьяго поразило больше всего ея веселіи и смѣшливымъ тономъ. Каждый изъ критиковъ далъ, поэтому, оцѣнку нѣсколько одностороннюю и въ этомъ отчасти былъ виноватъ, самъ авторъ.

Кто дорожилъ житейской правдой, тотъ остался недоволенъ отступленіями отъ нея. «Нарѣжный и Погорѣльскій — разсуждаютъ

*) В. И. Шенрокъ «Матеріалы для біографіи Гоголя», I, 270.

одних критикъ—стояли къ жизни ближе, чѣмъ таинственный Рудый Панько. Онъ допустилъ слишкомъ много высокопаренія въ своемъ стилѣ, въ своихъ описаніяхъ лицъ и природы. Съ другой стороны, онъ изобразилъ малороссійскую жизнь слишкомъ грубо: грубы, напр., многія выраженія въ «Сорочинской ярмаркѣ», гдѣ парни ведутъ себя совсѣмъ какъ петухи и олухи. Въ разсказахъ допущены также ошибки историческія, какъ, напр., въ «Пропавшей грамотѣ», и въ особенности неприятно поражаютъ въ разговорахъ—совсѣмъ ненародные обороты рѣчи» *).

Такъ же неодобрительно, какъ этотъ неизвѣстный критикъ, отнесся къ «Вечерамъ» и Полевой—знакомый намъ строгій голубчикъ всякой поддѣлки подъ народность. Полевой заподозрилъ нашего разсказчика въ настоящей мистификаціи. Повѣсти эти—говорилъ онъ—написаны самозванцемъ пасичникомъ; этотъ пасичникъ—москаль и притомъ горожанинъ; онъ искусственно воспользовался кладомъ преданій; сказки его несмысленны; желаніе поддѣлаться подъ малоруссизмъ спутало его языкъ; вѣдалъ бы онъ примѣръ съ Вальтеръ-Скотта, какъ тотъ умѣетъ просто разсказывать... У Гоголя и въ шуткахъ нѣтъ ловкости, а главное—нѣтъ настоящаго мѣстнаго колорита; куда напр., выше его Марлинскій, который въ своей повѣсти «Лейтенантъ Бѣлозоръ» сумѣлъ дать столь яркіе типы изъ голландской жизни. Въ заключеніе Полевой совѣтывалъ Гоголю исправить неприятное впечатлѣніе, какое получилось отъ плохого употребленія хорошихъ матеріаловъ **). Давая отчетъ о второй части «Вечеровъ», Полевой впрочемъ нѣсколько смягчилъ свой отзывъ. Онъ въ авторѣ уже призналъ малороссіянина и хвалилъ его юморъ и веселость, но отмѣтилъ въ повѣстяхъ отсутствіе глубины замысла. Это—плясовая музыка, говорилъ онъ, которая ласкаетъ нашъ слухъ, но быстро исчезаетъ. Отмѣчалъ онъ также и скудость изобрѣтенія и воображенія и опять подчеркивалъ неопытности въ языкѣ и высокопарность слога ***).

Сенковскій—редакторъ вновь возникшаго журнала «Библіотека для Чтенія»—обозвалъ Гоголя при случаѣ русскимъ Поль-де-Кокомъ, и сказавъ, что предметы его грязны и лица взяты изъ дурного обще-

*) Андрей Царынинъ. «Мысли малороссіянина по прочтеніи повѣстей пасичника Рудаго Панька, издавннхъ ннъ въ книжкѣ подъ заглавіемъ «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и рецензія на оныя», «Сынъ Отечества», 1832, т. 147, 41—49, 101—115, 150—164, 223—242, 288—312.

***) «Московскій Телеграфъ». Часть XL I, 1831, 94—95

***) «Московскій Телеграфъ». Часть XLIV, 1832, 262—267.

ства *), отнесся, однако, достаточно милостиво къ «Вечерамъ», когда они вышли вторымъ изданіемъ; онъ заявилъ только, что украинское забавничанье и насмѣшку не должно смѣшиваться съ настоящимъ остроуміемъ и серьезнымъ юморомъ **).

Вѣрѣе всѣхъ понялъ Гоголя журналъ Надеждина. Критикъ очень хвалилъ автора за печать «мѣстности», которая лежитъ на всѣхъ разсказахъ. Прежніе писатели, какъ, напр., Нарѣжный, либо сглаживали совершенно всѣ мѣстные идиотизмы украинскаго нарѣчія, либо сохраняли ихъ совершенно неприкосновенными. Гоголь сумѣлъ избѣгнуть этихъ крайностей, и повѣсти его и литературны, и естественны ***). Эти же достоинства, т.-е. отсутствіе вычурности и хитрости, естественность дѣйствующихъ лицъ и положеній, неподдѣльную веселость и не выкраденное остроуміе — отбѣнялъ въ повѣстяхъ и критикъ «Литературныхъ прибавленій къ «Русскому Инвалиду» (Л. Якубовичъ) ****).

Хвалилъ ихъ также очень Булгаринъ, называя ихъ «лучшими народными повѣстями» и предлагая эти «хорошіе» повѣсти поставить выше чужеземнаго «превосходнаго». Въ лицѣ Гоголя — такъ говорилъ Булгаринъ — малороссійская литература оставила мѣстную цѣль и обратилась къ болѣе глубокой мысли — удерживать только характерное отличіе своего нарѣчія, чтобы раскрыть народность. Русскую народность пока еще не уловили и у насъ еще нѣтъ ничего равнаго «Вечерамъ»; мы еще пока учено стремимся къ народности, а не самосознательно. У Гоголя національность проявляется естественно, не такъ, какъ, напр., у Погодина, который думаетъ, что рѣшительное уклоненіе къ провинциализму и любовь къ старымъ формамъ языка есть приближеніе къ національному, или, какъ, напр., у Загоскина, которому патриотизмъ мѣшаетъ быть правдивымъ. Гоголю не достааетъ только иногда творческой фантазій, хотя инокоторыя мѣста въ его повѣстяхъ и дышатъ пѣстическимъ вдохновеніемъ. Онъ въ описаніяхъ менѣе смѣлъ, чѣмъ Марлинскій, но и онъ достигаетъ иногда большого совершенства. Булгарину въ особенности нравится «пергаментная» простота въ повѣсти «Ночь наканунѣ Ивана Купала», которую можно сравнить развѣ только съ «Борисомъ Годуновымъ» *****).

Такъ разсуждала критика, смутно улавливая достоинства этихъ разсказовъ и не сходясь во мнѣніи о томъ, насколько истинная «народ-

*) «Библиотека для Чтенія», томъ III, 1834. «Критика», 31—32.

***) «Библиотека для Чтенія», томъ XV, 1836. «Литературная Лѣтопись».

****) «Телескопъ», 1831, часть V, 558—563.

*****) «Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1831, № 79.

*****) «Сѣверная Пчела», 1831, №№ 219, 220; 1832, № 59; 1836, № 26.

ность въ нихъ сквачена и вѣрно изображена. Разногласіе въ оцѣнѣ было неизбежно. Бытописатель-реалистъ и романтикъ спорили въ душѣ такою авторъ, а критика свои симпатіи между ними подѣлила. Романтикъ Полевой боялся, какъ бы Гоголь не началъ поддѣлываться подъ народность и не сталъ фальшивить, а врагъ романтизма Надеждинъ приветствовалъ Гоголя именно за обиліе вѣстныхъ красокъ въ его описаніяхъ. На одномъ, впрочемъ, сошлись, кажется, симпатіи всѣхъ читателей. Всѣхъ увлекла неподдѣльная веселость рассказчика.

«Книга понравилась здѣсь всѣмъ, начиная съ государыни» — писалъ Гоголь своей матери, посылая ей первый томъ «Вечеровъ»; и слово всѣмъ не было преувеличеніемъ. Самъ Гоголь рассказывалъ, напр., Пушкину о впечатлѣніи, какое эта книга произвела на наборщиковъ. Любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей — писалъ онъ *). Только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давая ледяныя фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворотившись къ стѣнкѣ. Это меня вѣскольکو удивило; я къ фактору, и онъ, послѣ нѣкоторыхъ выжижданныхъ уклоненій, наконецъ сказалъ, что *штучки, которыя изволили послать изъ Павловска для печатанія, очень до чрезвычайности заняты и наборщикамъ принесли большую забаву. Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусѣ черни». Но и самъ Пушкинъ раздѣлялъ смѣхъ этой черни. «Сейчасъ прочелъ «Вечера близъ каньки», — писалъ онъ А. Ф. Воейкову **). Они изумили меня. Вотъ стоящая веселость, искренняя, непринужденная, безъ жеманства, безъ чопорности. А мѣстами какая поэзія, какая чувствительность! Это такъ необыкновенно въ нашей литературѣ, что я доселѣ не разумился. Поздравляю публику съ истинно веселою книгою...»*

Но были ли эти повѣсти на самомъ дѣлѣ такъ непринужденно веселы? Вобщемъ, конечно, да. Въ нихъ было много смѣшного, больше, чѣмъ въ «Стѣнгахъ», но иной разъ грусть все-таки врывается въ этотъ веселый рядъ — и не потому, что тема рассказа была печальна, а потому, что печалась былъ самъ авторъ.

Сорочинская ярмарка, игривая буффонада, кончалась, напр., такими смѣшными неожиданными и какъ будто лишними строками:

«Смычокъ умираетъ. Неясные звуки терялись въ пустотѣ воздуха. Такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ въ никуда. И напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье! Въ тишиномъ эхѣ слыпнуть онъ уже грусть и пустыню и дико внем-

*) «Исторія П. В. Гоголя». I, 145.

**) «Сочиненія А. С. Пушкина». Изданіе литературнаго фонда, VII, 287.

летъ ему. Не такъ ли рѣзвые други бурной и вольной юности по однокѣ одинъ за другимъ теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного старшаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему».

Гоголь признавался въ своей «Авторской Исповѣди», что на него находили припадки тоски, ему самому необъяснимой, которые происходили, можетъ быть, отъ его болѣзненного состоянія. «Чтобы развлекать самого себя—говоритъ онъ—я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Эти повѣсти однихъ заставляли смѣяться также беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣнію рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости».

Пришли же всѣ эти «глупости» ему въ голову путемъ очень естественнымъ.

Мы знаемъ, что въ первый періодъ петербургской жизни ему жилось далеко не весело, мы помнимъ, какъ тревожно было настроеніе его духа, какая борьба надеждъ и сомнѣній происходила въ его сердцѣ. Все это нашло себѣ отраженіе и въ «Вечерахъ на хуторѣ», но только отраженіе въ обратную сторону. Мечта восполняла дѣйствительность, и Гоголь бредилъ тѣмъ, чего не доставало въ жизни.

Во-первыхъ, — Малороссіей; онъ по ней тосковалъ и потому разукрашалъ и подогрѣвалъ о ней свои воспоминанія. Изъ нихъ вышли эти дивные пейзажи, совсѣмъ не реальныя, выкопанные въ метафоры и вырисованные съ такимъ лирическимъ подъемомъ духа.

Бредилъ нашъ писатель и весельемъ и счастьемъ прежней привольной жизни, о которой такъ часто приходилось думать въ дѣломъ, скучномъ и непривѣтливомъ Петербургѣ; ему хотѣлось быть веселымъ, и потому въ его разсказахъ такъ много свѣта—наперекоръ тому мраку, который въ дѣйствительности, ковечно, тяготѣлъ надъ крѣпостной малороссійской деревней; поэту хотѣлось, наконецъ, за поэтической сказкой и преданіемъ совсѣмъ забыть о гнетущей прозѣ минуты—но именно это и не удалось ему.

Онъ былъ не въ состояніи забыться; и разладъ между сѣрой дѣйствительностью и приподнятымъ восторженнымъ лиризмомъ автора сказывался на тѣхъ «лирическихъ мѣстахъ», въ родѣ вышеприведеннаго, которыя нарушали веселый тонъ его повѣстей. Странное, неопредѣленно-грустное настроеніе, подъ властью котораго находился Гоголь въ первые годы своей петербургской жизни, прорывалось наружу даже тогда,

когда онъ хотѣлъ шутить и смѣяться. Съ этихъ единоборствъ смѣха и грусти мы будемъ встрѣчаться и во всѣ послѣдующіе годы его жизни.

Итакъ, въ исторіи жизни и творчества Гоголя «Вечерамъ на Хуторѣ близъ Диканьки» должно быть отведено, несмотря на незатѣливость ихъ содержанія, мѣсто очень видное. Эти повѣсти были первымъ оригинальнымъ произведеніемъ нашего автора, въ которомъ «народность», понимаемая не въ широкомъ, а въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, нашла себѣ художественное воплощеніе. Гоголь являлся передъ нами, и какъ бытописатель современной ему (простонародной малороссійской жизни и какъ романтикъ, творчески пересоздающій старыя преданія и легенды. Онъ смѣшивалъ въ своемъ произведеніи оба стили, отдавая пока предпочтеніе романтическому, въ которомъ онъ выдерживалъ даже описанія природы и характеристику многихъ дѣйствующихъ лицъ,—что не мѣшало ему изображать другія лица и иныя положенія съ неподдѣльной простотой и трезвостью истиннаго реалиста. Въ этомъ смѣшеніи двухъ стилей, равно какъ и въ чередованіи веселья и грусти, смѣха и слезъ, сказывалось не только неустановившееся пока направленіе его творчества, но также та внутренняя борьба, которая происходила въ самомъ авторѣ: идеализмъ романтика никакъ не могъ ужиться со способностью реалиста видѣть насквозь всю пошлость и грязь той дѣйствительности, которую хотѣлось бы понять и истолковать въ иномъ, возвышенномъ и идеальномъ смыслѣ.

Послѣ юншескаго мечтательнаго сентиментализма, какъ онъ выразился въ «Ганцѣ» и отчасти въ «Вечерахъ на Хуторѣ», художникъ вступалъ теперь въ новый фазисъ своего духовнаго развитія; въ немъ крѣпнѣе все болѣе и болѣе трезвый, юмористическій взглядъ на окружающую его дѣйствительность, который и достигъ своего полнаго выраженія въ комедіяхъ и въ «Мертвыхъ Душахъ».

Попробуемъ же теперь освѣтить эту важную эпоху въ жизни нашего писателя, когда въ творествѣ его, послѣ упорной борьбы между враждебными настроеніями и послѣ частыхъ ихъ колебаній—зоркость наблюдателя и бытописателя одержала временно верхъ надъ сентиментальной и романтической идеализаціей жизни. Эта знаменательная эпоха въ жизни Гоголя падаетъ въ промежутокъ времени отъ 1832 до 1842 года.

VI.

Семь лѣтъ жизни въ Петербургѣ (1829—1836).—Религіозное настроеніе Гоголя и мысли о своемъ призваніи.—Отношеніе къ людямъ.—Гоголь на поискахъ службы: учительство и профессура.—Колѣбанія въ приѣмахъ творчества.—Романтикъ и натуралистъ въ борьбѣ съ бытописателемъ-юмористомъ.—Гоголь въ кружкѣ Пушкина.

Гоголь провелъ въ Петербургѣ около семи лѣтъ (1829—1836)—лучшую пору своей молодости. Въ эти семь лѣтъ онъ создалъ почти всѣ свои произведенія; онъ написалъ «Вечера на Хуторѣ», «Арабески» и «Миргородъ», «Ночь» и «Коляску», «Женитьбу», всѣ драматическіе отрывки, поставилъ на сцену «Ревизора» и задумалъ «Мертвыя Души»—однимъ словомъ въ 27 лѣтъ нашъ писатель высказалъ почти все, что онъ имѣлъ сказать, и затѣмъ только передѣлывалъ, передумывалъ и дополнял сказанное или задуманное раньше.

Годы, проведенные Гоголемъ въ Петербургѣ,—одинъ изъ самыхъ важныхъ періодовъ въ исторіи его творчества и его жизни.

Съ вышней стороны эта будничная жизнь испытала нѣсколько значительныхъ переиѣнъ. Гоголь скоро бросилъ свою скучную департаментскую службу, изъ чиновника превратился въ педагога, получилъ мѣсто преподавателя исторіи въ Патриотическомъ Институтѣ, затѣмъ, былъ назначенъ профессоромъ петербургскаго университета и дважды (въ 1832 и 1835 году) ѣздилъ къ себѣ: на югъ, на родину. Всѣ эти переиѣны внесли извѣстное движеніе въ его жизнь и она текла въ общемъ совсѣмъ не скучно, даже весело, если принять во вниманіе, что число знакомыхъ Гоголя значительно увеличилось и онъ — уже признанный писатель—сталъ членомъ самаго избраннаго литературнаго круга.

Странное, однако, впечатлѣніе производятъ письма Гоголя за этотъ періодъ его литературной дѣятельности (1831—1836). Нельзя сказать, чтобы эти письма были грустны; въ нихъ очень много подъема духа, много паоса, много вспышекъ самыхъ розовыхъ неуиѣренныхъ надеждъ на будущее; но во всѣхъ этихъ порывахъ души

забѣта все-таки какая-то скрытая, очень серьезная, порой даже грустная дума. Забѣта въ книгѣ также сильная тревога духа, но о тайной причинѣ этой тревоги приходится догадываться лишь по намекамъ, которые разбѣяны въ интимныхъ письмахъ поэта и скрыты въ общемъ смыслѣ его произведеній. Жизнь складывалась однако такъ, что должна была возбуждать въ нашемъ писателѣ одно лишь довольство настоящимъ и полную увѣренность въ будущемъ: совсѣмъ еще молодой человекъ, безъ особаго труда и быстро сумѣлъ пройти въ первые ряды тогдашняго интеллигентнаго общества; его первый литературный опытъ принятъ былъ не на правахъ опыта, а былъ сразу признанъ крупной литературной побѣдой и создалъ автору имя; этого автора приласкали самые выдающиеся по уму и таланту люди; какъ близкій другъ вошелъ онъ въ общество Жуковского и Пушкина и, сознавая въ себѣ силу отплатить достойнымъ образомъ за эту дружбу. Порывъ къ творчеству также не покидалъ его за все это время: выпадалъ, правда, какъ-то годъ, когда ему не писалось, но въ обществѣ, кто же въ такой короткій промежутокъ времени успѣлъ создать столько, сколько онъ создалъ? Одинъ литературный планъ сибѣялся въ его головѣ быстро другимъ, и всѣ эти планы, хоть съ перерывами, но близились къ осуществленію. Поѣздка въ Москву въ 1832 году расширила кругъ его знакомствъ и Гоголь встрѣтилъ въ московскихъ литературныхъ кружкахъ не меньшее радушіе, чѣмъ въ петербургскихъ. Отстранная, не сразу понятная прихоть писателя стать ученымъ историкомъ и профессоромъ, также нашла себѣ удовлетвореніе, и Гоголь получилъ, вопреки всѣмъ правамъ, возможность поучать съ университетской кафедры. Наконецъ въ послѣдній годъ его петербургской жизни, несмотря на всѣ препятствія, «Ревизоръ» былъ сыгранъ, и впечатлѣніе, произведенное этой комедіей, показало автору наглядно, какая въ немъ таилась сила; если онъ смутно ощущалъ ее въ себѣ прежде, теперь онъ могъ воочию въ ней убѣдиться. Однимъ словомъ жизнь была полна движенія, полна борьбы, и борьба приводила къ побѣдѣ. Не было ни одной мысли, ни одного плана, передъ которымъ бы Гоголь въ растерянности остановился; если нѣкоторые изъ этихъ плановъ не осуществлялись такъ, какъ ему этого хотѣлось, то такая неудача вознаграждалась общими сознаниемъ своего все болѣе и болѣе зрѣющаго таланта.

А между тѣмъ послѣ семи лѣтъ такой побѣдоносной литературной дѣятельности, Гоголь въ 1836 г. покидалъ Россію въ самомъ тревожномъ состояніи духа, неудовлетворенный собой до крайней степени, недовольный всѣмъ, что онъ создалъ, и съ твердымъ намѣреніемъ начать передѣлывать все сызнова.

Мы знаемъ, съ какими неясными планами Гоголь въ Петербургъ

пріѣхалъ. Сентименталистъ и мечтатель, онъ все носился съ мыслью такъ или иначе облагодѣтельствовать ближнихъ, мнилъ себя призваннымъ свершить нѣчто великое, приучалъ себя смотрѣть на людей покровительственно-любовно и все думалъ, что «служба» вѣрнѣйшій путь къ достиженію всѣхъ этихъ возвышенныхъ цѣлей; мы знаемъ также, какъ скоро во всемъ пришлось разочароваться и какъ, послѣ неудачной попытки сказать свое первое слово, пришлось даже бѣжать съ поля битвы, съ тѣмъ, однако, чтобы сейчасъ же возвратиться. Это смутное состояніе духа не покидало Гоголя и въ тѣ годы, о которыхъ теперь идетъ рѣчь.

Мысль о призваніи свершить нѣчто для ближнихъ очень важное, спасительное для ихъ духа и жизни, попрежнему прорывается въ интимныхъ рѣчахъ Гоголя. «Какъ благодарю я Вышнюю десницу за тѣ непріятности и неудачи, которыя довелось испытать мнѣ! — пишетъ онъ матери въ началѣ 1831 года. Ни на какія драгоценности въ мірѣ не промѣнялъ бы я ихъ. Время это было для меня наилучшимъ воспитаніемъ, какого я думаю, рѣдкій царь могъ имѣть! Зато какая теперь тишина въ моемъ сердцѣ! какая неуклонная твердость и мужество въ душѣ моей! Не угасимо горитъ во мнѣ стремленіе, но это стремленіе — польза. Мнѣ любо, когда не я ищу, но моего ищутъ знакомства» *). Въ 1833 году онъ опять пишетъ матери: «Я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе... Я изслѣдовалъ человѣка отъ его колыбели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ, и между тѣмъ, не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы, кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ свѣтлый природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ» **).

Быть можетъ Гоголь умышленно нѣсколько повышалъ свой пророческій тонъ, когда говорилъ съ Маріей Ивановной, которая намеки понимала туго, но именно съ ней то онъ и говорилъ всего откровеннѣе. Не менѣе откровенно писалъ онъ, впрочемъ, и своему другу Погодину въ 1836 году, когда, раздосадованный Петербургомъ за пріемъ «Ревизора», покидалъ Россію: «Прощай — писалъ онъ — іду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебѣ, вѣрно, освѣженный и обновленный. Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 171—172.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 261.

ва мое воспитаніе, и мнѣ я чувствую, что не земная воля направляетъ путь мой. Онь, вѣрно, необходимъ для меня» *).

Эта мысль объ опеку Провидѣнія, избравшаго его предметомъ особыхъ своихъ попеченій,— для насъ также не новость; мы знаемъ, что она была тѣсно связана съ представленіемъ, какое Гоголь съ дѣтскихъ лѣтъ имѣлъ о своей чрезвычайной мисси. Въ періодъ его петербургской жизни эта связь религіозной идеи съ мыслью о собственномъ призваніи не нарушается. Гоголь остается попрежнему религіозенъ. Всякое испытаніе—думаетъ онъ—посылается по чудной волѣ высшей. Все дѣлается единственно для того, чтобы мы болѣе поняли послѣ свое счастье **). Самые простыя житейскія случайности онъ готовъ истолковывать Божіимъ вмѣшательствомъ ***). «Я испыталъ многое на себѣ—пишетъ онъ матери въ 1834 году. Во всемъ, чѣмъ я только займусь съ болѣею осмотрительностью, хорошенько обсужу дѣло, поведу съ величайшею аккуратностью и порядкомъ, не занимаясь мечтами о будущемъ, во всемъ этомъ я вижу ясно Божью помощь» ****).

Одно признаніе Гоголя въ данномъ случаѣ въ особенности характерно: Гоголь благодаритъ свою мать за то, что она первая разбудила въ немъ религіозную мысль картиной страшнаго суда—того суда, мысль о которомъ въ послѣдніе годы жизни была для нашего писателя источникомъ такихъ страшныхъ душевныхъ мученій. «Одинъ разъ—напоминаетъ онъ матери—я просилъ васъ разсказать мнѣ о страшномъ судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшныхъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность, это заронило и произвело впоследствии во мнѣ самыя высокія мысли» *****). Такъ продолжала жить въ его сердцѣ религіозная мысль или, вѣрнѣе, религіозная «чувствительность»—въ эти годы пока затасанная, немощная известная, но затѣмъ, къ концу его жизни, покорившая всѣ его чувства и думы.

Но измѣнилось, кажется, за это время и прежнее горделивое отношеніе Гоголя къ людямъ—не къ отвлеченной идеѣ чести, ради которой, если вѣрить его словамъ, онъ готовъ былъ претерпѣть вся-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 378.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 172.

****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 193.

*****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 311.

*****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 260.

кля уныженія и страданія, а къ людямъ вообще, которые его окружали. Гоголь въ своихъ отношеніяхъ продолжалъ сохранять ту степень осторожности и независимости, которая вообще отличала всё его связи. Къ чувству дружбы или вообще къ чувству расположенія онъ прии́шпавалъ и теперь не мало хитрости и разсчета, а также иногда и сознанія своего превосходства. Быть можетъ, передъ Пушкиныиъ и Жуковскыиъ склонялся онъ съ искренномъ признаніемъ икъ силы и власти надъ собой,—съ другими онъ былъ болѣе чѣмъ независимъ. За эти годы онъ завязалъ нѣсколько новыхъ знакомствъ—съ Погодыныиъ, Плетневыиъ, Одоевскыиъ, Россетъ, Максимовичемъ, Аксаковыиъ, Щепкыиъ—съ цвѣтомъ тогдашней интеллигенціи; и въ письмахъ, которыя онъ писалъ этимъ лицамъ, онъ всегда умѣлъ сохранить независимый тонъ, который къ перепискѣ съ людьми болѣе близкими готовъ былъ перейти даже въ наставническій (напр. въ письмахъ къ матери). Этотъ тонъ, кромѣ того, былъ попрежнему самоувѣренъ и мѣстами вызывающе-гордъ, въ особенности когда рѣчь заходила о себѣ самомъ, о своей работѣ, своихъ планахъ или выдахъ на будущее. Передъ нами и теперь все тотъ же самовлюбленный человекъ, какыиъ онъ былъ въ его школьныхъ письмахъ—къ настоящую минуту даже еще болѣе гордый въ виду своихъ успѣховъ и своихъ связей съ первыми литературными знаменитостями. Какого иногда онъ былъ о себѣ мнѣнія—можно видѣть по одному очень характерному признанію. Въ одномъ письмѣ къ матери онъ, выговаривая ей за то, что она посылаетъ его на поклонъ къ человеку, съ нимъ незнакому, говоритъ: «Признаюсь, не знаю такого добра, которое бы могъ мнѣ сдѣлать человекъ... Добра я желаю отъ Бога...» *).

Не покидалъ Гоголь и своей мечты о «службѣ», которая такъ манила его издали въ годы ранней юности. При его стѣсненномъ матеріальномъ положеніи—тяготу котораго онъ испытывалъ продолженіи всей своей петербургской жизни—имѣть постоянное служебное мѣсто было необходимо, и потому не будемъ удивляться, если въ его перепискѣ мы встрѣтимся съ частыми размышленіями на эту прозаическую тему. Но при всемъ своемъ прозаическомъ и практическомъ взглядѣ на этотъ вопросъ, Гоголь всетаки не переставалъ придавать понятію о «службѣ» прежнее идейное и даже романтическое содержаніе.

Отъ службы въ департаментѣ онъ очень скоро отказался и былъ, конечно, радъ, что могъ бросить эти «ничтожныя» занятія. «Шутъ у меня другой, дорога прямѣе и въ душѣ болѣе силы нати твердыиъ

* «Письма Н. В. Гоголя», I, 205.

шагомъ», писалъ онъ матери, извѣщая ее о томъ, что поступилъ учителемъ въ Патріотическій Институтъ (въ мартѣ 1831 г.). Здѣсь, на учительской кафедрѣ, на этомъ новомъ мѣстѣ служенія онъ чувствовалъ себя хорошо и признавался, что его занятія «составляютъ для его души неизъяснимыя удовольствія». Этому показанію легко можно повѣрить; Гоголь, дѣйствительно, на первыхъ порахъ очень увлекся своими занятіями и, конечно, не потому, что былъ прирожденнымъ педагогомъ. Онъ обладалъ, правда, извѣстнымъ педагогическимъ опытомъ, который онъ приобрѣлъ, зарабатывая деньги на частныхъ урокахъ, но если онъ такъ увлекся уроками въ институтѣ, то потому, что и на этотъ родъ прозаической «службы» взглянулъ со свойственнымъ ему преувеличеніемъ. А такое преувеличеніе было—на что указываетъ, между прочимъ, его желаніе написать въ двухъ или даже въ трехъ томахъ цѣлый курсъ всеобщей исторіи и географіи, для котораго онъ подобралъ уже заглавіе «Земля и люди». Этотъ курсъ долженъ былъ составиться изъ его чтеній, которыя записывались институтками. Гоголь принялся за выполнение этого плана очень ретиво; если вѣрить одному его письму къ Погодину, то даже приступилъ къ его напечатанію, но вслѣдствіе налетѣвшей на него тоски, корректурный листъ выпалъ изъ его рукъ, и работа была брошена. Гоголь продолжалъ, однако, служить, и еще въ 1835 г. увѣрялъ Жуковскаго, что считаетъ преподаваніе для себя дѣломъ роднымъ и близкимъ.

Съ 1838 года Гоголь сталъ помышлять о новой службѣ; и только—думается намъ—его взглядами на святость службы и можно объяснить то упорство, съ какимъ онъ сталъ добиваться профессуры сначала въ Кіевѣ, а затѣмъ въ Петербургѣ. Что въ Гоголѣ могъ проявиться большой интересъ къ научнымъ занятіямъ, и онъ одно время могъ думать, что призванъ быть именно ученымъ — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго; но, что онъ пожелалъ непремѣнно стать профессоромъ, не имѣя на то никакихъ правъ—то такое нескромное желаніе, помимо матеріальнаго разчета, который несомнѣнно былъ у Гоголя, можетъ быть объяснено только необычайно высокимъ понятіемъ о профессорской дѣятельности, о профессорской «службѣ», какое себѣ составилъ нашъ искатель великаго дѣла. Гоголь шелъ на большой рискъ, становясь въ ряды университетскихъ «дѣятелей», но онъ одно время, дѣйствительно, искренно думалъ, что профессура и есть его настоящее призваніе, что на кафедрѣ онъ сможетъ сдѣлать всего больше добра и блага.

Этотъ трагикомическій эпизодъ съ профессурой, на которомъ стоитъ

остановиться, очень характеренъ для поясненія того лирическаго и неподнятаго настроенія, въ какомъ находился нашъ художникъ все еще не увѣренный въ томъ, что роль писателя и служеніе искусству — его призваніе и все еще помышляющій о какой-нибудь обществомъ признанной опредѣленной службѣ.

Интересъ къ старинѣ проснулся въ Гоголѣ очень рано — еще тогда, когда онъ приступилъ къ собиранію матеріаловъ для своихъ украинскихъ повѣстей. Въ 1832 году исторія стала уже его «любимой» наукой — какъ видно изъ одного его письма къ Погодину. Быть можетъ, что и дружба съ Погодинымъ, закрѣпленная въ этомъ году, оказала свое вліяніе на направленіе научныхъ симпатій Гоголя. «Главное дѣло — всеобщая исторія, писалъ онъ своему другу *), а прочее стороннее» и, кажется, что въ эти годы (1832—1833) для Гоголя, дѣйствительно, все кромѣ исторіи, стало дѣломъ стороннимъ.

Какъ видно изъ его тетрадокъ и записокъ, онъ принадлежалъ на чтеніе, и въ самомъ дѣлѣ, читалъ много. Въ концѣ 1833 года онъ сообщаетъ своему другу Максимовичу, «что онъ принялся за исторію бѣдной Украины». «Ничто такъ не успокаиваетъ — пишетъ онъ **) — какъ исторія. Мои мысли начинаютъ литься тише и стройнѣе. Мнѣ кажется, что я напишу ее (т. е. исторію Малороссіи), что я скажу много того, чего до меня не говорили».

Въ это же время, т. е. въ концѣ 1833 года у Гоголя зарождается и мысль о томъ, какъ хорошо было бы занять кафедру исторіи въ Кіевѣ. Ему надобно въ Петербургъ; ему хочется въ древній прекрасный Кіевъ. Тамъ можно обновиться всѣми силами и много такъ можно надѣлать добра. О своихъ правахъ на эту кафедру Гоголь также уже подумалъ: эти права въ его работѣ и стараніяхъ, но главное въ томъ, что онъ истинно-просвѣщенный человекъ, человекъ чистый и добрый — такъ, по крайней мѣрѣ, онъ аттестуетъ себя въ письмѣ къ Максимовичу, который, кажется, и поддалъ ему первую мысль о кіевской профессурѣ ***).

Гоголь спѣшилъ набросать свои мысли и планъ преподаванія на бумагу, чтобы представить его министру просвѣщенія Уварову, и онъ надѣется, что Уваровъ отличить его отъ толпы «вялыхъ» профессоровъ, которыми набиты университеты. Онъ вполне можетъ рассчитывать на кіевскую кафедру, такъ какъ три года тому назадъ (1831?) ему уже предлагали кафедру въ Москвѣ (?) — такъ по крайней мѣрѣ.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 231.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 263.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 268.

говорить отъ Пушкину и слова его остаются, конечно, на его совѣсти. Въ надеждѣ на поддержку Пушкина, Гоголь добѣряетъ ему и всѣ свои надежды: «Какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ — пишетъ онъ *). Тамъ кончу я исторію Украйны и юга Россіи и напишу всеобщую исторію, которой, въ настоящемъ видѣ ея, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только на Руси, но даже и въ Европѣ нѣтъ». «Какъ только въ Кіевѣ — гѣнь къ чорту! чтобъ и духъ ея не пахъ. Да превратится онъ въ русскіе Аомны, богоспасаемый нашъ городъ». И Гоголь, если вѣрять ему, дѣйстви- тельно, отрекается отъ гѣни. Онъ спокоенъ духомъ, и малороссійская и всемірная исторія начинають у него «двигаться»; ему прихо- дятъ въ голову крупныя, полныя, свѣжія мысли; ему кажется, что онъ сдѣлаетъ во всеобщей исторіи что-то не-общее. Малороссійская его исторія бѣшена, слогъ въ ней горитъ, онъ исторически жгучъ и живъ... Гоголь пишетъ эту исторію отъ начала до конца и уже разсчи- талъ, что она займётъ шесть малыхъ или четыре большихъ тома... Но, кажется, что все это были однѣ мечты потому, что когда Надеждинъ попросилъ у него отрывокъ изъ этой исторіи для напечатанія, Гоголь признался Погодину, что онъ не можетъ его прислать, такъ какъ эта исторія у него въ такомъ забытій и такой облечена пылью, что онъ боится подступить къ ней **). Тѣмъ не менѣю, онъ продолжаетъ энер- гично хлопотать о кіевской кафедрѣ.

Въ 1834 году Гоголя очень обезпокоило извѣстіе объ одномъ конкурентѣ на эту кафедру; онъ не понимаетъ, какъ это могло случиться, когда ми- нистръ ему обѣщавъ это мѣсто и даже требовалъ, чтобы онъ подавалъ про- шеніе, которое онъ только потому не подалъ, что хотѣлъ быть сразу орди- нарнымъ, а ему предлагали только адъювкта. Гоголь проситъ Максимо- вича похлопотать у кіевского попечителя за него, проситъ его намекнуть попечителю, что онъ, Максимовичъ, не знаетъ человѣка, который имѣлъ бы такія глубокія историческія свѣдѣнія и такъ бы владѣлъ языкомъ преподаванія, какъ Гоголь. Съ той же просьбой обращается Гоголь и къ Пушкину, прося его назвать на министра. Министръ — какъ онъ утвер- ждаетъ — готовъ ему дать экстраординарнаго профессора, но все- гдѣ только кормитъ его словами и обѣщаніями; между тѣмъ, кіевскій по- печитель предлагаетъ ему занять мѣсто кафедры всеобщей исторіи, кафедры русской, чего Гоголь совѣститъ не желаетъ... онъ готовъ ско- рѣе все бросить и откланяться, чѣмъ читать исторію русскую.

*), «Письма Н. В. Гоголя», I, 270—271.

**), «Письма Н. В. Гоголя», I, 285.

Вся эта волокита не привела, однако, ни къ чему: кievскую кафедру получилъ его конкурентъ, но зато въ июлѣ 1834 г. Гоголь былъ назначенъ профессоромъ с.-петербургскаго университета по кафедрѣ всеобщей исторіи. Съ мечтой преобразовать Кіевъ въ Аѳины пришлось протяться. Гоголь, не желая показать своего раздраженія, сталъ теперь утверждать, что онъ только ради здоровья добивался профессуры на югѣ, профессуры, «которая, если бы не у насъ на Руси, то была бы самое благородное званіе» *).

Пришлось остаться въ Петербургѣ, но Гоголь продолжалъ думать о Кіевѣ. По крайней мѣрѣ, уже послѣ назначенія своего профессоромъ, онъ писалъ Максимовичу, что онъ рѣшился принять предложеніе остаться на годъ въ петербургскомъ университетѣ, лишь затѣмъ, чтобы имѣть больше правъ занять кафедру въ Кіевѣ. Онъ даже просилъ своего друга присмотрѣть въ Кіевѣ для него домикъ, если можно, съ садикомъ, гдѣ-нибудь на горѣ, чтобы хоть кусочекъ Дибпра былъ видѣнъ.

Какъ бы то ни было, но Гоголь своего добился: на кафедре онъ взомелъ. При разборѣ его историческихъ статей мы увидимъ, какъ онъ повиналъ свою задачу. Отмѣтимъ пока лишь, что онъ работалъ, и работалъ много—самостоятельно или не самостоятельно, это иной вопросъ, но доброе желаніе у него, безспорно, было. Онъ приступилъ теперь къ писанію исторіи среднихъ вѣковъ, которую онъ рассчиталъ томовъ на восемь или на девять. Даже на гѣтнихъ каникулахъ онъ не прерывалъ своей ученой работы. Онъ продолжалъ въ себя вѣрить, и въ оцѣнкѣ роли профессора, все подчеркивалъ необходимость «благородныхъ» качествъ души у преподавателя **).

Но ихъ оказалось недостаточно для того, чтобы устоять на такомъ отвѣтственномъ посту. Профессура готовила Гоголю жестокое разочараніе.

Собравшимъ нѣсколько показаній современниковъ о томъ, какъ нашъ художникъ велъ себя на этомъ мѣстѣ «служенія»

О первой его лекціи мы имѣемъ свидѣтельство одного изъ его слушателей—Иваницкаго ***). «Гоголь вошелъ въ аудиторію—разсказываетъ онъ—и въ ожиданіи ректора началъ о чемъ-то говорить съ инспекторомъ, стоя у окна. Замѣтно было, что онъ находился въ тревожномъ состояніи духа: вертѣлъ въ рукахъ шляпу, мялъ перчатку и

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 305.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 340.

***) Перепечатано у В. И. Шенрока. «Материалы для біографіи Гоголя», II, 228--230.

какъ-то недоумчиво поглядывалъ на насъ. Наконецъ, подошелъ къ кафедрѣ и, обратясь къ намъ, началъ объяснять, о чемъ намѣренъ онъ читать сегодня лекцію. Виродолженіи этой коротенькой рѣчи, онъ постепенно всходилъ по ступенямъ кафедры: сперва всталъ на первую ступеньку, потомъ на вторую, потомъ на третью. Ясно, что онъ не довѣрялъ самъ себѣ и хотѣлъ сначала попробовать, какъ-то онъ будетъ читать? Миѣ кажется, однако жъ, что волненіе его происходило не отъ недостатка присутствія духа, а просто отъ слабости нервовъ, потому что въ то время, какъ лицо его неприятно блѣднѣло и принимало богъзнаемое выраженіе, мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логически и въ самыхъ блестящихъ формахъ. Къ концу рѣчи Гоголь стоялъ уже на самой верхней ступенькѣ кафедры и замѣтно одушевился... Не знаю, прошло ли и пять минутъ, какъ ужъ Гоголь овладѣлъ совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно слѣдить за его мыслью, которая летѣла и преломлялась, какъ молнія, освѣщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ иракѣ средневѣковой исторіи. Впрочемъ, вся эта лекція изъ слова въ слово напечатана въ «Арабескахъ». Ясно, что и въ этомъ случаѣ, не довѣряя самъ себѣ, Гоголь выучилъ наизусть предварительно написанную лекцію, и хотя во время чтенія одушевился и говорилъ совершенно свободно, но ужъ не могъ оторваться отъ затверженныхъ фразъ и потому не прибавилъ къ нимъ ни одного слова».

Съ этимъ свидѣтельствомъ очевидца несовѣмъ согласно показаніе другого. «На первую лекцію—разсказываетъ профессоръ Васильевъ*)—навалили къ Гоголю въ аудиторію всѣ факультеты. Изъ постороннихъ посѣтителей явились и Пушкинъ, и, кажется, Жуковский. Скопфузился ладъ пасѣчникъ, читалъ плохо и произвелъ весьма невыгодный для себя эффектъ. Этого впечатлѣнія не поправилъ онъ и на слѣдующихъ лекціяхъ. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Образованіемъ своимъ въ иѣжинскомъ лицѣѣ и дальнѣйшими потомъ занятіями Гоголь нисколько не былъ приготовленъ читать университетскія лекціи исторіи; у него не было для этого ни истиннаго призванія, ни достаточной начитанности, ни даже средствъ пріобрѣсти ее, не говоря уже о совершенномъ отсутствіи ученыхъ пріемовъ и соответственнаго времени взгляда на науку».

«Какъ ни плохи были вообще слушатели Гоголя—продолжаетъ Васильевъ—однако же сразу поняли его несостоятельность. Въ такомъ положеніи остался ему одинъ исходъ—удивить фразами, заговорить;

*) В. Н. Широкъ. «Матеріалы для біографіи Гоголя» II, 231—233.

но это было не въ натурѣ Гоголя, который нисколько не владѣлъ даромъ слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что послѣ трехъ-четырехъ лекцій студенты ходили въ аудиторію къ нему только для того ужъ, чтобы позабавиться надъ «маленько-сказочнымъ» языкомъ преподавателя. Гоголь не могъ того не видѣть, самъ тотчасъ же созналъ свою неспособность, окладилъ къ дѣлу и еле-еле дотянулъ до окончанія учебнаго года, то являясь на лекцію съ повязанной щкою въ свидѣтельство зубной боли, то пропуская ихъ за тою же болью. На годичный экзаменъ Гоголь также пришелъ съ окутанной косынками головою, предоставилъ экзаменовать слушателей декану и ассистентамъ, а самъ молчалъ все время. Студенты, зная, какъ не твердъ онъ въ своемъ предметѣ, объяснили это молчаніе страхомъ его обнаружить въ чемъ-нибудь свое незваніе».

Съ этими суровымъ отзывомъ согласны отзывы и другихъ лицъ.

«Гоголь—разсказываетъ И. С. Тургеневъ—изъ трехъ лекцій непременно пропускалъ двѣ; когда онъ появлялся на кафедрѣ, онъ не говорилъ, а шепталъ что-то весьма несвязное, показывая намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ, и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены, что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи. На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета онъ сидѣлъ подвязанный платкомъ, якобы отъ зубной боли съ совершенно убитой физиономіей—и не раздвигалъ рта. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю недовкость своего положенія».

Еще строже высказывался одинъ изъ его товарищей—А. В. Никитенко. «Гоголь такъ дурно читаетъ лекціи въ университетѣ—записываетъ онъ въ своемъ дневникѣ—что сдѣлался посмѣшищемъ для студентовъ. Начальство боится, чтобы они не выкинули надъ нимъ какой-нибудь шалости, обыкновенной въ такихъ случаяхъ, но неприятной по послѣдствіямъ».

Самъ ли Гоголь догадался, что онъ взялся не за свое дѣло, или ему дали понять это, но только въ концѣ 1835 года онъ университетъ покинулъ. Съ нѣкоторымъ ухарствомъ и съ большимъ самоувѣреніемъ писалъ онъ по этому поводу Погодину: «Я расплепался съ университетомъ, и черезъ мѣсяць опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взомелъ на кафедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года—годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говоритъ, что я не за свое дѣло взялся,—въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ

свѣдѣній, но высокія, исполненные истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вашъ, мои небесныя гости, навели на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку: васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія; когда вы исторгнетесь съ болѣею силою, не посмѣютъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... *)

Такой печальной думой закончились всѣ недавніе восторги. А Гоголь, кажется, не допускалъ сомнѣнія въ томъ, что его устами глаголетъ истина, хотя, послѣ первыхъ же лекцій, онъ могъ увидать, что его перестали слушать.

«Знаешь ли ты — писалъ онъ Погодину въ концѣ 1834 года—что значить не встрѣтить сочувствія, что значить не встрѣтить отзыва? Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ, въ здѣшнемъ университетѣ. Никто меня не слушаетъ и ни на одномъ лицѣ ни разу не встрѣтилъ я, чтобы поразила его яркая истина. Хотя бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ бездѣльный, какъ Петербургъ». А между тѣмъ, если бы онъ могъ заглянуть въ будущее, онъ сталъ бы вглядываться внимательно въ лица двухъ слушателей:—передъ ними на студенческой скамьѣ сидѣли Тургеневъ и Грановскій.

Вся эта печальная исторія съ профессурой, отозвавшаяся очень больно на Гоголя, не была слѣдствіемъ лишь минутнаго налетѣвшаго на него каприза. Если матеріальныя соображенія могли входить въ его расчеты, то все-таки они не были главнымъ мотивомъ его упорства. Это была снова мечта, мечта о служеніи ближнимъ, обманувшая нашего легковѣрнаго романтика. Ему вдругъ показалось, что онъ можетъ обозрѣть все прошлое духовнымъ окомъ, — и сказать свое слово о судьбахъ человѣчества.

Съ выходомъ изъ университета Гоголь прощался съ послѣдней надеждой на «службу». Онъ становился, дѣйствительно, вольнымъ казачкомъ. Можно удивляться, что онъ не захотѣлъ стать имъ раньше и такъ долго носился съ мыслью пристроить себя къ какому-нибудь официальному «дѣлу». Очевидно, что вѣра въ себя, какъ въ писателя только, какъ въ художника по преимуществу, все еще недостаточно была крѣпка въ немъ. Онъ все еще не рѣшался сказать самому себѣ, что служеніе искусству—его истинное, единственное призваніе.

Это тѣмъ болѣе странно, что какъ разъ въ тѣ годы, когда онъ такъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 357.

упорно стремился выработать из себя ученаго и профессора, онъ, какъ художникъ, обнаружилъ рѣдкую по силѣ и быстротѣ производительность. Замѣтимъ кстати, что онъ совсѣмъ не хладнокровно относился въ это время къ своей литературной работѣ. Когда въ концѣ 1832 года и въ 1833 году эта дѣятельность временно какъ будто начала ослабѣвать, Гоголь очень былъ обезпокоенъ такимъ застоємъ въ работѣ. Онъ досадовалъ, что творческая сила его не посѣщаетъ; онъ презрительно отзывался о своихъ «Вечерахъ на Хуторѣ»: «Да обречутся они неизвѣстности—писалъ онъ—покажѣсть что-нибудь увѣсисто», великое, художническое не изыдетъ изъ меня!». Бездѣйствіе и неподвижность въ творчествѣ его бѣсили. «Мелкаго не хочется, великое не выдумывается». Онъ испытывалъ за это время настоящія муки творчества. «Еслибы вы знали—писалъ онъ Максимовичу—какіе со мной происходили странныя перевороты, какъ сильно растерзано все внутри меня! Боже сколько я *перезжею*, сколько перестрадалъ!» *).

Тревоги Гоголя были, конечно, напрасны. Творческая способность его не покидала, но, наоборотъ, развертывалась съ полной силой. Въ 1835 году были напечатаны «Арабески» и «Миргородъ», съ 1832 года началась работа надъ комедіями и всѣ «Отрывки», «Женитьба» и «Ревизоръ» были къ 1836 году закончены въ первоначальныхъ редакціяхъ. Въ концѣ 1835 года Гоголь началъ писать «Мертвыя Души»—однимъ словомъ, работа кипѣла, и странно, какъ мы сказали, что при этой кипучей литературной работѣ, онъ все никакъ не хотѣлъ разстаться съ работой ученой. Но послѣ университетскаго фiasco—совѣтній уже не могло быть.

«Михо, мимо все это!—писалъ Гоголь Погодину. Теперь вышель я на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтаніе дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетъ—прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше. Да здравствуетъ комедія!» **)

Настоящая дорога была, наконецъ, найдена.

Итакъ, если сравнить того Гоголя, съ которымъ мы познакомились въ первый годъ его жизни въ Петербургѣ, съ тѣмъ уже виднымъ писателемъ, который теперь передъ нами, то никакой почти перемены не замѣтимъ мы ни въ его характерѣ, ни въ образѣ его мыслей. Та же замкнутость и самоиѣніе; тѣ же мечты о великомъ своемъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 227, 237, 263.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 357.

призваніи, та же религіозность. Тѣ же мысли о томъ, какъ бы найти вскорѣе истинное дѣло, свершая которое онъ могъ бы служить людямъ, творить имъ добро, вѣщать имъ истину—людямъ, которыхъ онъ любитъ какъ идею или мечту и съ которыми туго сближается въ жизни. Наконецъ, и прежнія грусть, и тревога духа не покинули Гоголя въ эти болѣе зрѣлые годы: старый разладъ между мечтой и жизнью, между идеаломъ, къ которому тяготѣла душа поэта и житейской грязью, къ которой онъ теперь сталъ присматриваться, давалъ себя чувствовать всепрежнему тяжело и настойчиво. Иначе и быть не могло, такъ какъ за этотъ періодъ времени, отъ 1832 до 1836 года, обѣ основныхъ и главныхъ силы его духа: и романтическій лиризмъ его сердца, и трезвый взглядъ реалиста-художника, вступили въ первую рѣшительную борьбу между собой—борьбу, которая на этотъ разъ должна была кончиться побѣдой художника реалиста надъ романтикомъ и моралистомъ.

Обѣ эти основныхъ силы крѣпли въ немъ и росли быстро.

Способность присматриваться къ мелочамъ жизни, способность анализировать ее безошадно, срывая съ нея иногда всѣ романтическіе покровы, талантъ трезваго бытописателя, для котораго изображеніе жизни важнѣе затаеннаго въ ней смысла,—этотъ даръ достигъ въ Гоголѣ своего наибольшаго расцвѣта какъ разъ къ началу сороковыхъ годовъ. Уже въ «Вечерахъ на Хуторѣ» онъ былъ достаточно замѣтенъ и затѣмъ съ каждымъ годомъ сказывался все опредѣленнѣе и рѣзче. Въ 1831 году была написана «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Въ 1832 году начата была комедія «Владиміръ 3-ей степени», набросано «Утро дѣловаго человѣка» и написаны «Старосвѣтскіе помѣщики». Въ 1833 году начата «Женитьба»; въ 1834 году написаны «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго» и начаты «Ревизоръ»; въ 1835 году начаты «Мертвыя Души», написана «Коляска»; въ 1836 году законченъ «Ревизоръ» и написанъ «Носъ». Затѣмъ отъ 1836 до 1842 года тянулась работа надъ первой и второй частью «Мертвыхъ Душъ».

Но и тяготѣніе къ романтическому міропониманію и къ лирическимъ изліяніямъ по поводу того, что приходилось наблюдать и видѣть, отнюдь не замерло въ душѣ художника за этотъ періодъ времени. Наоборотъ, оно отстаивало свою власть надъ его сердцемъ очень упорно. Проявлялось оно въ понышенномъ патетическомъ настроеніи духа, въ восторгахъ передъ таинственнымъ смысломъ жизни вообще и передъ красотой въ мірѣ въ частности; сказывалось оно также въ любви къ фантастическому, чудесному и религіозному, наконецъ, въ увлеченіи старинной легендарной и исторической.

Съ только что поименованнымъ рядомъ памятниконъ, въ которыхъ Гоголь являлся трезвымъ реалистомъ, можно сопоставить такой же рядъ произведеній, обличающихъ въ писателѣ сентименталиста и романтика. Мы знаемъ, какъ много такого сентиментализма и романтизма было въ «Вечерахъ на Хуторѣ». Съ 1830 года эти вкусы сказываются во всѣхъ отрывкахъ изъ историческихъ романовъ, во всѣхъ статьяхъ съ историческимъ содержаніемъ, во всѣхъ стихотвореніяхъ въ прозѣ, которыя озаглавлены «Женщина» (1830) «Борисъ Годуновъ» (1830), «Живопись, скульптура и музыка» (1831), «1834 годъ» (1833), «Жизнь» (1834). Этимъ же романтизмомъ окрашены и повѣсти «Вій» (1834), «Тарасъ Бульба» (1834) и «Портретъ» (1835).

При такой постоянной переменѣ настроенія и смѣнѣ въ приемахъ творчества работала Гоголь въ эти знаменательные годы своей жизни. Состояніе его духа было беспокойное и смутное. Все настойчивѣе начиналъ его тревожить вопросъ — съ какой же стороны художнику подходить къ жизни? Призванъ ли художникъ вычитывать изъ этой жизни ея таинственный смыслъ, напоминать ей объ ея идеалѣ и быть для людей маякомъ, который, возвышаясь надъ взволнованнымъ житейскимъ моремъ, ведетъ ихъ къ вѣрной пристани; или онъ долженъ быть для нихъ простымъ зоркимъ спутникомъ, смотрящимъ смѣло въ глаза опасности? Этотъ не совсѣмъ правильно поставленный вопросъ возникъ во всей его строгости передъ Гоголемъ и сталъ для него источникомъ великихъ мученій. Поэтъ никакъ не могъ рѣшить, въ чемъ его обязанность передъ людьми: въ томъ ли, чтобы только выворачивать передъ ними всю ихъ грѣшную и грязную душу, или въ томъ, чтобы, выворотивъ ее, указать имъ путь спасенія. Эта загадка должна была измучить Гоголя, уже по одному тому, что въ умѣ нашего поэта съ дѣтскихъ лѣтъ крѣпко засѣла мысль объ особенной мисси, которая пменно на него возложена.

На эти же мысли о призваніи поэта и объ его отношеніи къ миру идеальному и реальному наводило Гоголя, кромѣ того, одно весьма важное обстоятельство его петербургской жизни. Это была его близкія связи съ кружкомъ Пушкина.

Съ Жуковскимъ Гоголь познакомился въ концѣ 1830 г., съ Пушкинымъ въ 1831 г. Отношенія установились сразу очень хорошія, несмотря на неравенство лѣтъ и положенія. Въ кабинетѣ Пушкина, у Жуковского, Одоевскаго, Вельгорскаго, въ салонѣ фрейлины Россетъ протекали счастливыя для Гоголя минуты, когда онъ чувствовалъ себя въ сосѣдствѣ съ гениемъ, добромъ и красотой—съ этими тремя дарами, которые онъ цѣнилъ выше всего въ жизни человѣка.

Совершенно особаго рода вліяніе оказалъ кружокъ Пушкина на Гоголя. Онъ не нанесъ никакого ущерба его самостоятельности, но усилилъ въ немъ одну склонность, которая и безъ того была сильна въ немъ, а именно, его любовь къ отрѣшенію отъ дѣйствительности и просвѣтленному представленію о жизни и человѣкѣ.

Атмосфера пушкинскаго кружка заставила сердце Гоголя романтиче и возвышеннѣе чувствовать, и пропасть между дѣйствительностью и идеальнымъ представленіемъ о ней стала нашему художнику казаться еще шире. Люди, которые теперь его окружали, противопоставляли житейской грязи и пошлости—горній міръ красоты, въ которомъ жила ихъ богато одаренная фантазія. Отъ будничныхъ волненій они стремились стать подалше. Въ своей борьбѣ за доброе начало въ жизни, они могли сравнить себя съ тѣмъ ветхозавѣтнымъ вождемъ, который въ разгарѣ битвы Израиля со врагомъ стоялъ на горѣ съ поднятыми къ небу руками: пока онѣ были подняты, Израиль побѣждалъ, и потому надо было только высоко держать ихъ, не оглядываясь и не заботясь объ остальномъ. На такой горѣ стояли Пушкинъ и его друзья.

Пушкинъ былъ главный чародѣй этого заколдованнаго царства; и Гоголь восторженно поклонялся въ немъ удивительному полету его вдохновенія, которое умѣло надъ міромъ прозы поставить свой чудесный міръ мечты и торжествовать свою полную побѣду надъ дѣйствительностью. Это вдохновеніе было необычайно спокойно и ясно, и носило въ себѣ сознаніе своей облагораживающей и возвышающей силы.

Этой силы не было въ поэзіи Жуковскаго, но зато она намекала человѣку на таинственную загробную даль, ласкала наши упованія и нашу вѣру въ Промыслъ, который допускаетъ зло на землѣ, лишь какъ временное испытаніе, и въ этой поэтической вѣрѣ для Гоголя дамо было великое утѣшеніе.

Все въ кружкѣ Пушкина говорило объ особомъ свѣтломъ мірѣ, куда доступъ былъ открытъ только избраннымъ, и Гоголь чувствовалъ, что онъ въ числѣ ихъ. Въ этомъ кружкѣ, который такъ высоко поднимался надъ жизнью, который не вступалъ съ ней въ споръ, а только указывалъ ей на ея просвѣтленный образъ,—нѣкоторыя мысли и чувства Гоголя получили особое подтвержденіе. Въ немъ укрѣпилось убѣжденіе, что поэтъ есть истинный избранникъ Божій, которому не только дана сила возсоздать жизнь въ образѣ, но сила руководить ею во всѣхъ даже детальнахъ ея вопросахъ единственно по праву вдохновенія. Понятіе о художникѣ въ его представленіи слилось съ понятіемъ о пророчествѣ, о непосредственномъ слугѣ Божиемъ, ода-

ренномъ свыше чуть ли не чудесной силою прозрѣнія для блага и счастья ближнихъ.

Самъ Пушкинъ и его друзья понимали призваніе поэта, быть можетъ, и не въ столь мистическомъ смыслѣ, но обаяніе ихъ личности и творчества придали въ глазахъ Гоголя именно такой мистическій смыслъ вдохновенію.

Тяжело было жить Гоголю съ такимъ непомирно-высокимъ мнѣніемъ о своемъ назначеніи въ мірѣ; ему, въ которомъ талантъ бытописателя и реалиста крѣпкъ съ каждымъ годомъ, въ которомъ тоска по гармоніи идеала и жизни должна была усиливаться по мѣрѣ того, какъ этотъ талантъ развивался и все болѣе и болѣе сводилъ поэта съ высотъ лиризма, приближая его къ прозаической злобѣ дня.

Такая борьба лиризма и романтическихъ чувствъ съ трезвой наблюдательностью реалиста оставила свой ясный слѣдъ на произведеніяхъ Гоголя за этотъ періодъ его дѣятельности. Въ томъ, что онъ говорилъ въ «Арабескахъ», въ «Миргородѣ» и въ другихъ своихъ повѣстяхъ, статьяхъ и замѣткахъ, мы находимъ своеобразное рѣшеніе волновавшихъ его вопросовъ, а также и прямое отраженіе чередующихся въ немъ настроеній романтика-энтузіаста и бытописателя-юмориста.

Гоголя прежде всего тревожитъ вопросъ о назначеніи искусства въ жизни. Поэтъ-художникъ — кто онъ? Для чего онъ посланъ въ міръ? Какое соотношеніе существуетъ между міромъ реальнымъ, къ которому мы прикованы, и міромъ идеала, о которомъ тоскуемъ? Какое положеніе среди этихъ двухъ спорящихъ міровъ долженъ занять художникъ? Эти вѣчные вопросы явятся сейчасъ передъ нами, выраженные въ художественныхъ образахъ.

И нашъ писатель одновременно начнетъ развертывать передъ нами обѣ стороны своего таланта: онъ, какъ романтикъ, эстетикъ и историкъ, будетъ донскиваться въ жизни ея символическаго смысла, будетъ любоваться на ея красоту и попытается воссоздать ея прошлое; какъ реалистъ и бытописатель, онъ станетъ приглядываться къ ея прозаическимъ деталямъ, начнетъ выискивать въ ней и прошлое, и смѣшное. Зачѣмъ? Пока лишь затѣмъ, чтобы отъ души посмѣяться.

VII.

Статьи Гоголя по вопросамъ объ искусствѣ; ихъ лирическій тонъ.—Гоголь какъ литературный критикъ.—Жизнь и психическій міръ художника въ повѣстяхъ того времени.—Повѣсти и драмы кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Кукольника, Полевого, Тимофѣева и Павлова.—Повѣсть Гоголя «Портретъ»; значеніе ея въ исторіи развитія взглядовъ Гоголя на искусство.—Разладъ мечты и дѣйствительности, какъ онъ изображенъ въ повѣстяхъ Гоголя «Негскій Проспектъ» и «Записки сумасшедшаго».

За всѣ семь лѣтъ своей литературной дѣятельности въ Петербургѣ, среди самыхъ разнообразныхъ трудовъ, Гоголь обнаруживалъ живой, все возрастающій интересъ къ вопросамъ объ искусствѣ. Философомъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова онъ никогда не былъ и къ эстетическимъ «теоріямъ», которыми тогда уже серьезно увлекались его современники, онъ относился съ достаточнымъ хладнокровіемъ, но искусство во всѣхъ его видахъ, тайна творчества, а также и вопросъ о роли поэта въ жизни не переставали его тревожить.

Гоголь свелъ въ Петербургѣ дружбу съ художниками, занимался живописью въ Академіи, много слушалъ музыки, изучалъ исторію искусствъ и вообще упорно работалъ надъ развитіемъ своего эстетическаго вкуса. Эта работа оставила ясные слѣды на его статьяхъ и разсказахъ; и всякій разъ, когда нашему писателю приходилось касаться вопросовъ о прекрасномъ и о его значеніи для нашей жизни, онъ обнаруживалъ большую силу чувства, чѣмъ силу мысли: искусство показало лирическое настроеніе Гоголя, и его дума почти всегда переходила въ восторгъ и пафосъ. Съ нѣкоторыми изъ такихъ патетическихкихъ возгласовъ намъ нужно ознакомиться. Мы увидимъ, какого высокаго мнѣнія былъ художникъ о томъ дѣлѣ, которому начиналъ служить, и какъ при такомъ высокомъ взглядѣ на поэзію жизни ему было трудно найти ей мѣсто среди житейской прозы.

Въ 1830 году—еще въ самый первый годъ своего робкаго служенія искусству—Гоголь принѣтствовалъ поэзію восторженнымъ дионисанбомъ по поводу выхода въ свѣтъ «Бориса Годунова» Пушкина. Онъ посвятилъ этой драмѣ нѣсколько интимныхъ страницъ, писан-

ныхъ не для печати. Это было его первое славословіе искусству, мысль о которомъ затѣмъ такъ и осталась въ его умѣ и сердцѣ неразрывно связанной съ именемъ Пушкина. Восторженный юноша Подліоръ, классическимъ именемъ котораго окрестилъ себя на этотъ случай нашъ романтикъ, выходя изъ книжной лавки, гдѣ продавалось новое твореніе Пушкина, впалъ въ торжественную задумчивость: какая-то священная грусть, тихое негодованіе сохранялись въ чертахъ его, какъ будто бы онъ слышалъ въ душѣ своей пророчество о вѣчности, какъ будто бы душа его терпѣла муки, невыразимыя и непостижимыя для земного. Онъ не хотѣлъ высказать своего мнѣнія о великомъ поэтѣ, потому что считалъ святотатствомъ всякое свое слово. Кому нужно знать, какъ онъ о поэтѣ судить? Толковать и говорить о поэтѣ не то же ли самое, что, упавъ на колѣни, жарко молиться на площади, гдѣ чернь кипитъ и суетится? Смиримся передъ гениемъ въ безмолвіи! «Великій!—обращается Подліоръ, или просто нашъ Николай Васильевичъ, къ Пушкину, — Великій! Когда развертываю дивное твореніе твое, когда вѣчный стихъ твой гремитъ и стремится ко мнѣ: молвію огненныхъ звуковъ, священный холодъ разливается по жиламъ, и душа дрожитъ въ ужасѣ, вызвавъ Бога изъ своего безпредѣльнаго лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающіе внутренность земли нашей, безконечный воздухъ, объемяющій міръ, ангелы, пылающія планеты превратились въ слова и буквы—и тогда бы я не выразилъ ими и десятой доли дивныхъ явленій, совершающихся въ то время въ лонѣ *невидимаго меня*. Таково чудо, творимое искусствомъ надъ душой человѣка, который способенъ его чувствовать... Всякій гений — благословеніе Божіе человѣчеству... Склоняясь подъ этимъ благословеніемъ, Го-голь восклицалъ: «Великій! Надъ симъ вѣчнымъ твореніемъ твоимъ клянусь!.. Еще я чистъ, еще ни одно презрѣнное чувство корысти, рабскости и жаднаго самолюбія не заровнялось въ мою душу. Если мертвящій холодъ бездушнаго свѣта исхититъ святотатственно изъ души моей хотя часть ея достойнѣи; если камень обхватитъ тихо горящее сердце; если презрѣнная, ничтожная глѣнь окуетъ меня; если дивныя мгновенія души понесу на торжище народныхъ хвалъ; если опозорю въ себѣ тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть обольется оно невозможнымъ ядомъ, вопьется миллионами жалъ въ невидимаго меня, неугасимымъ пламенемъ упрековъ обовьетъ душу и раздастся по мнѣ тѣмъ пронзительнымъ воплемъ, отъ котораго изныли бы всѣ суставы, и сама бы безсмертная душа застонала, возвратившись безотвѣтнымъ эхомъ въ свою пустыню... Но нѣтъ! оно какъ Творецъ, какъ благость! Ему ли пламенитъ казнью? Оно обниметъ снова моремъ

свѣтлыхъ лучей и звуковъ душу и слезой примиренія задрожить на отуманенныхъ глазахъ обратившагося преступника!» *)

Въ такое умиленіе повергало Гоголя созерцаніе красоты Пушкинскаго творчества. Это былъ чистый, почти безсознательный восторгъ.

Три года спустя, наканунѣ 1834 года, Гоголь, уже отъ своего лица, говорилъ приблизительно то же, обращаясь къ своему «генію». Самъ, теперь уже признанный художникъ, уже сознающій въ себѣ своего бога, ставился онъ на колѣни передъ его алтаремъ и просилъ себѣ благословенія. Всѣ его думы о святости своего призванія, о миссіи, на него возложенной, о силѣ, которую онъ въ себѣ чувствовалъ въ тѣ молодые и счастливые годы—всѣ упованія и восторги художника нашли себѣ выраженіе въ этихъ страстныхъ, порой вычурныхъ, но безспорно искреннихъ словахъ:

«Великая, торжественная минута!—писалъ, встрѣчая новый годъ, Гоголь на одномъ листѣ бумаги, который также не предназначался для читателя. — Боже! какъ слились и столпились около нея волны различныхъ чувствъ! Нѣтъ, это не мечта. Это та роковая неотразимая грань между воспоминаніемъ и надеждой... Уже нѣтъ воспоминанія, уже оно несетя, уже пересиливаетъ его надежда. У ногъ моихъ шумитъ мое прошлое; надо мной сквозь туманъ свѣтитъ неразгаданное будущее... Молю тебя, жизнь души моей, мой геній! О, не скрывайся отъ меня! Пободри меня надо мной въ эту минуту и не отходи отъ меня весь этотъ, такъ заманчиво наступающій для меня годъ. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно! Будь дѣлательно, все предано труду и спокойствію».

«Таинственный, неизъяснимый 1834 годъ! Гдѣ означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанныхъ одинъ на другой домовъ, гремящихъ улицъ, кипящей меркантильности,—этой безобразной кучи моль, парадовъ, чиновниковъ, дикихъ сѣверныхъ ночей, блеску и низкой бездѣльности? Въ моемъ ли прекрасномъ, древнемъ, обѣтованномъ Кіевѣ, увѣнчанномъ многоплодными садами, опоясанномъ моимъ южнымъ, прекраснымъ чуднымъ небомъ, упительными ночами, гдѣ гора обсыпала кустарниками, съ своими какъ бы гармоническими обрывками, в подмывающій ее мой чистый и быстрый Дѣвпръ. Тамъ ли? О!.. я не знаю, какъ назвать тебя, мой геній! Ты, отъ колыбели еще пролетавшій съ своими гармоническими пѣснями мимо моихъ ушей, такія чудныя, необъяснимыя донинѣ, зарождавшій во мнѣ думы, такія

*) «Юрисъ Годуновъ». Повесть Пушкина.

необъятныя и упоительныя леглявшій во мнѣ мечты! О взгляни! Прекрасный! низведи на меня свои небесныя очи. Я на колѣняхъ. Я у ногъ твоихъ! О, не разлучайся со мною! Живи на землѣ со мною хоть два часа каждый день, какъ прекрасный братъ мой! Я совершу... я совершу. Жизнь кипитъ во мнѣ. Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ Божество! Я совершу... О, поцѣлуй и благослови меня! *).

Такъ молился художникъ своему вдохновенію поэта, въ которое уже начиналъ вѣрить... И всякій разъ, когда Гоголь встрѣчался съ этой небесной силой, воплощенной въ человѣкѣ ли или въ его твореніи, онъ ощущалъ подъемъ патетическаго чувства, который превращалъ его размышленіе въ неудержимый порывъ восторга.

Такимъ сплошнымъ восторгомъ передъ искусствомъ, передъ тайной творчества была и его статья о «скульптурѣ, живописи и музыкѣ», съ которой открывались его «Арабески». Статья любопытна и своими мыслями, и силой восхищенія. Весь романтизмъ языка и чувства, на который Гоголь былъ способенъ, проявился въ этомъ гимнѣ. «Три чудныхъ сестры посланы Зихдителямъ мириадъ украсить и усладить міръ!—говорилъ нашъ мечтатель. Безъ нихъ онъ былъ бы пустыня и безъ пѣнія катился бы по своему пути. Первая—скульптура. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бѣгущая, влача съ торжествомъ за собой толпу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ... Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собой итѣгу и самодовольствію языческаго міра... Вторая сестра—живопись. Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ своемъ убранствѣ, мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и обширная, какъ вселенная, яркая музыка очей—она прекрасна! Все неопредѣленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредѣляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное невольно проникаетъ все. Она беретъ уже не одного человѣка, ея границы шире: она заключаетъ въ себѣ весь міръ; всѣ прекрасныя явленія, окружающія человѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь человѣка съ природою—въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ. Третья сестра—музыка. Она восторженіе,

*) «1831 г.».

она стремительно обхватила сестер своих. Она вся — порывъ; она вдругъ, за одинъ разомъ, отрываетъ человѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могущихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой миръ; она обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не страдаетъ — онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ, своею жизнью, живетъ порывно, сокрушительно, мятельно. Она томительна и мятельна, но могущественнѣй и восторженнѣй подъ безконечными, темными сводами катедраля, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни молельщиковъ стремятъ она въ одно согласное движеніе, обнажаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружитъ и несется съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи остроконовечной башни...

Разсужденія объ искусствѣ, написанныя такимъ языкомъ, конечно, мало убѣдительны, но внимательный читатель все-таки замѣтитъ, насколько вѣрны и ярки отдѣльныя мысли и опредѣленія, которыя такъ записаны цвѣтами краснорѣчія; и, дѣйствительно, гоголевская метафора способна иной разъ лучше всякой мысли передать впечатлѣніе, которое то или другое искусство производитъ на человѣка. Любопытна въ статьѣ также и ея заключительная мысль — обращеніе художника къ музыкѣ, какъ къ единственному искусству, которое способно пробудить наши меркантильныя души и дремлющія чувства. Совсѣмъ какъ нѣмецкіе романтики — Гоголь думаетъ, что музыка въ силахъ прогнать ужасный эгоизмъ, сляпційся овладѣть нашимъ міромъ, и что она въ нашъ «юныи и дряхлыи вѣкъ» велитъ намъ къ Богу, который послалъ ее на землю.

Этотъ дирижабль музыкѣ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, если припомнить, что Гоголь не признавалъ себя способнымъ понимать ее и говорилъ, что у него нѣтъ «уха къ музыкѣ» *); но такое признаніе лишній разъ убѣждаетъ насъ въ томъ, какъ напишетъ писатель умѣлъ восхищаться, когда дѣло касалось искусства.

Впрочемъ, онъ умѣлъ и разсуждать, и иногда очень тонко. Характернымъ примѣромъ такихъ эстетическихъ разсужденій являются двѣ его статьи: одна объ «архитектурѣ нынѣшняго времени», другая о знаменитой картинѣ Брюлова «Послѣдній день Помпеи». Обѣ статьи обнаруживаютъ большую вдумчивость и пониманіе, и указываютъ на немалое количество знавій по исторіи художествъ. Статья объ архитектурѣ нашего времени есть собственно плачь о паденіи этого искусства и краткій очеркъ развитія прежнихъ архитектурныхъ стилей — античнаго, византийскаго, ро-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 343.

манскаго, восточнаго и, преимущественно, готическаго. Авторъ видитъ источникъ паденія архитектуры въ томъ стѣсненіи, которое испытываетъ нынѣ полетъ генія. Геній удерживается отъ оригинальнаго и необыкновеннаго потому только, что предъ нимъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Соразмѣрность въ отношеніи къ окружающимъ явленіямъ мѣшаетъ архитектору быть оригинальнымъ. Онъ стремится, чтобы всѣ дома были похожи одинъ на другой, чтобы все представляло изъ себя «гладкообразную кучу». Однообразная простота, т.-е., другими словами, проза заѣла всякую оригинальность и духовность въ водчествѣ. А въ старину ея было много и въ особенностяхъ въ готикѣ. Гоголь уже въ эти годы (1831) является рѣшительнымъ поклонникомъ и сторонникомъ готическаго средневѣкового стиля. «Готическая архитектура—говоритъ онъ—чисто европейская, созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чуждое ея величіе и красота превосходятъ всѣ другія. Но готическій образъ строенія нельзя употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселяшагося или торгующаго, или работающаго народа. Нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. Но они прошли—тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра устремляла всѣ мысли, всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и передъ нимъ, почти въ виду его, благоговѣнно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летѣло къ небу; узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину: прозрачный, почти кружевной шпигль, какъ дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядитъ разноцвѣтный цвѣтъ оконъ, поднимая глаза кверху, гдѣ теряются, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ копча нѣтъ,—весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святости, которой не смѣсть и коснуться дерзновенный умъ человѣка».

Гоголь понималъ, что возвратъ къ старинѣ невозможенъ, но онъ стремился хоть научить людей любить эту старину во всемъ ея разнообразіи и для этого проектировалъ имѣть въ городѣ одну такую улицу, которая бы вмѣщала въ себѣ архитектурную летопись: на ней должны были стоять зданія построенныя во всѣхъ стиляхъ—отъ первобытнаго дикаго до самаго новаго.

Статья, какъ видимъ, опять чисто лирическая, съ очень характер-

ыми для Гоголя вкусами и мыслями: ясно проступает въ ней наружу его любовь къ старинѣ и его релігіозное настроеніе. Оттѣненъ въ ней также и его страхъ передъ прозой жизни, скорбь о своемъ юномъ и дряхломъ вѣкѣ.

Три года спустя, когда Гоголь писалъ свою статью о картинѣ Брюлова «Послѣдній день Помпеи» (1834), онъ къ XIX вѣку отнесся болѣе милостиво. Восхваляя Брюлова за то, что онъ въ своемъ «всемирномъ созданіи такъ сумѣлъ сочетать идеальное съ реальнымъ, что онъ не далъ въ своей картинѣ перевѣса идеѣ; за то, что онъ разлилъ въ ней цѣлое море блеска, что ему удалось схватить природу «исполинскими объятіями и сжать ее со страстью»—Гоголь бросилъ мимоходомъ одно замѣчаніе о направленіи искусствъ въ XIX вѣкѣ—небезынтересное, если его отнести къ творчеству самого Гоголя. «Можно сказать—пишетъ нашъ авторъ—что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до послѣдняго, топорщится произвести эффектъ, начиная отъ поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надобѣдаютъ, и, можетъ быть, XIX вѣкъ, по странной причудѣ своей, наконецъ, обратится ко всему безъэффектному. Въ живописи съ этими эффектами можно еще помириться, но въ произведеніяхъ (словесныхъ), подверженныхъ духовному оку, они вредны, если ложны, потому что простодушная толпа кидается на блестящее. Но въ рукахъ истиннаго таланта они вѣрны и превращаютъ человѣка въ исполнителя. Въ общей массѣ стремленіе къ эффектамъ болѣе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ... Желая произвести эффекты, многіе болѣе стали разсматривать предметъ свой, сильнѣе напрягать умственные способности. И если вѣрный эффектъ оказывался болѣею частью только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ гениевъ... Кто-то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе гениа всемирнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ гениа не былъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ. И его шаги уже, вѣрно, будутъ исполинскими и видны всѣми, отъ мала до велика.»

Въ этихъ туманно и вѣскольکو противорѣчиво высказанныхъ словахъ кроется любопытный намекъ. Если вмѣсто слова «эффектъ» поставить слово восторгъ и паоось, а подъ словомъ не-эффектъ разумѣть правдивое, реальное отношеніе человѣка къ жизни, то въ разсужденіяхъ Гоголя замѣтно нѣкоторое критическое отношеніе къ «романтическому» міросозерцанію, а также и указаніе на совер-

шающійся переломъ въ его собственномъ творествѣ. Наши авторы, не отрекаясь отъ «исполнискихъ» эффектовъ жизни, какъ будто хотятъ сказать, что въ XIX вѣкѣ приготовлено столько хорошихъ матеріаловъ, т.-е. сдѣлано надъ жизнью столько вѣрныхъ наблюдений, что истинному таланту дана возможность вѣснить всю жизнь XIX вѣка въ свою картину, безъ необходимости ослѣплять читателя мелкими эффектами личнаго субъективнаго воображенія.

Такъ думалъ Гоголь о сущности, границахъ и приемахъ художественнаго творчества, не систематизируя своихъ мыслей, но обнаруживая въ нихъ при случаѣ безспорную силу теоретика.

Предметомъ теоретическаго интереса была для него въ тѣ годы и область чисто словеснаго творчества. Онъ одно время думалъ даже утилизировать свой талантъ для чисто литературной критики. Въ этой мысли его поддерживалъ и Пушкинъ, который совѣтовалъ своему другу написать цѣлую исторію нашей критики, и чуть въ данномъ случаѣ Пушкина не обмануло. Хотя иногда и приходится слышать, что попытки Гоголя, какъ литературнаго критика—такой же капризъ съ его стороны, какъ и его ученая работа, но это далеко не вѣрно. Изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ критическихъ статей Гоголя видно, что мы въ немъ имѣли, дѣйствительно, очень тонкаго цѣнителя литературы. Несмотря на относительно слабое литературное образованіе, Гоголь въ своихъ критикахъ, а позднѣе и въ своей «Перепискѣ съ друзьями», обнаружилъ рѣдкій для поэта тактъ и вкусъ въ оцѣнкѣ сочиненій современныхъ ему писателей: и только въ оцѣнкѣ собственныхъ трудовъ онъ просчитался. Но художнику, какъ извѣстно, всего труднѣе быть судьей своей работы даже тогда, когда онъ не предъявляетъ къ ней тѣхъ высокихъ этическихъ требованій, которыя предъявлялъ Гоголь.

Первая критическая статья Гоголя относится къ 1832 году. Это была маленькая замѣтка подъ заглавіемъ: «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ»—попытка болѣе спокойно поговорить о томъ, о чемъ съ такимъ пафосомъ Гоголь говорилъ въ своей лирической статьѣ о «Борисѣ Годуновѣ». Статья, при всей ея краткости, очень замѣчательная. Мы помнимъ изъ обзора русской критики 30-хъ годовъ, какъ наши судьи бились съ установленіемъ правильнаго взгляда на «народность», съ оцѣнкой творчества Пушкина и съ рѣшеніемъ вопроса о значеніи этого творчества въ исторіи развитія нашей «народности». Изъ статьи Гоголя этотъ вопросъ рѣшенъ кратко и ясно. «Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа,—писалъ его поклонникъ. Это—русскій человѣкъ въ окончномъ его раз-

жити, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится черезъ двѣсти лѣтъ. Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій, и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. Онъ остался русскимъ всюду, куда его забрасывала судьба: и на Кавказѣ, и въ Крыму, т.-е. тамъ, гдѣ имъ написаны тѣ изъ его произведеній, въ которыхъ хотятъ видѣть всего больше подражательнаго. Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядя на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами...» Опредѣливъ истинную «народность» созданій Пушкина такъ вѣрно и понявъ ее такъ широко, Гоголь переходитъ затѣмъ къ разсмотрѣнію одного изъ любопытнѣйшихъ вопросовъ въ исторіи критическаго отношенія нашихъ читателей къ творчеству ихъ любимца. Гоголь спрашиваетъ, почему писанное Пушкинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ нравится публикѣ меньше, чѣмъ то, что имъ было писано въ ранніе, романтическіе годы его творчества? И Гоголь, упреждая Бѣлинскаго, видитъ причину этого недоразумѣнія въ неспособности читателя подняться до пониманія истиннаго, простого и сильнаго реализма, а потому и настоящей народности. Защищая Пушкина отъ нападокъ читателя, который ожидалъ въ его послѣднихъ произведеніяхъ прежняго романческаго блеска и эффектовъ, къ которымъ пріучили кавказскія и крымскія поэмы художника, Гоголь говоритъ: «Масса народа похожа на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ... Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный, какъ воля, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, ширтался въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однако же онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. Но и тотъ, и другой, они оба—явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе...» Слова необычайно вѣскія для того времени, когда наши критики, какъ мы знаемъ, не могли

столковаться, въ какомъ именно видѣ «существованность» должна быть представлена въ литературѣ; и слова еще болѣе вѣскія, если вспомнить, какъ въ самомъ Гоголѣ въ тѣ годы боролись эти двѣ склонности: отыскивать въ жизни ея эффектныя красивыя стороны или брать ее таковой, какова она есть, не гнушаясь ея извѣтной. «Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства,—писалъ Гоголь въ той же статьѣ.—Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувъ на картину, покачалъ головой и сказалъ: «Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущіе, а не сухое». Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ...» Писать такъ въ самомъ началѣ собственной литературной дѣятельности (1832), въ годы, когда писатель обыкновенно гоняется за успѣхомъ—значило обнаружить не малую смѣлость и оригинальность.

Такую же смѣлость и даже рѣзкость въ литературныхъ сужденіяхъ проявилъ Гоголь и въ своей статьѣ «О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 гг.» (1836), которую Пушкинъ—съ большими оговорками и выпусками—поймѣтилъ въ своемъ «Современникѣ».

Гоголь состоялъ сотрудникомъ «Современника» не только по белетристическому его отдѣлу, но и по отдѣлу литературной критики. Мелкія рецензіи, которыя онъ поставлялъ въ этотъ журналъ, не представляютъ интереса *), но статья «О движеніи журнальной литературы» для сво-

*) Любопытенъ только отзывъ о книгѣ «Обозрѣніе сельскаго хозяйства удѣльныхъ мѣстъ въ 1832 и 1833 годахъ». Гоголь касается въ этой рецензіи крестьянскаго вопроса, который онъ почти обошелъ въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ и на которомъ останавливался лишь позднѣе въ своей «Перепискѣ». Взглядъ Гоголя на крестьянскую жизнь въ 1836 году очень характеренъ: онъ поплачиваетъ, какъ неопредѣленно нашъ писатель объ этомъ вопросѣ думалъ. Выпишемъ изъ этой рецензіи нѣсколько руководящихъ мыслей и мы увидимъ, какъ сентиментальное отношеніе Гоголя къ дѣйствительности искажало правильное ея пониманіе, несмотря на то, что сущность вопроса была все-таки уловлена критикомъ. «Что такое русскій крестьянинъ?—спрашиваетъ нашъ авторъ.—Онъ раскинутъ или, лучше сказать, разбѣянъ, какъ сімена, по обширному полю, изъ котораго будетъ густой хлѣбъ, но только не скоро. Онъ живетъ уединенно въ деревняхъ, отдаленныхъ большими пространствами. Лишенный живого быстрого сообщенія, онъ еще довольно грубъ, мало развитъ и имѣетъ самыя бѣдныя потребности. Возьмите жизнь земледѣльца—скверна и вредна. У него нища однообразна: ржаной хлѣбъ и щи,—олиѣ и тѣ же щи, которыя онъ ѣстъ

его времени— явление замѣчательное. Въѣсть со статьями Бѣлинскаго тѣхъ годовъ она самое серьезное разсужденіе на тему о нуждахъ нашей критики и о причинахъ ея упадка. Недаромъ Гоголь въ этой статьѣ говорилъ съ похвалою о Бѣлинскомъ и признавалъ въ немъ «вкусъ, хотя не образовавшійся, молодой и опрометчивый, но служащій порукою за будущее развитіе, потому что онъ основанъ на чувствѣ и душевномъ убѣжденіи» *).

Статья Гоголя—дѣлый обвинительный актъ противъ текущей русской журналистики 1834 и 1835 годовъ. Авторъ открыто утверждаетъ, что у насъ нѣтъ настоящей критики, какъ сами критики говорили, что у насъ нѣтъ настоящей литературы. Критики нѣтъ потому, что нѣтъ серьезнаго взгляда на дѣло; въ судьяхъ нѣтъ ни философскихъ принциповъ, ни эстетическаго вкуса, ни даже широкаго интереса. Люди дѣйствительно образованные и эстетически развитые въ роли критиковъ не выступаютъ и представляютъ эту важнѣйшую область словесности людямъ мало подготовленнымъ, а эти, съ своей стороны, не считают свое дѣло важнымъ и принимаютъ за него безъ благоговѣнія и размышленія и не имѣютъ въ виду возвышенно-образованныхъ читателей. Раскваливаютъ они безъ всякаго разбора и ругаются также совершенно безотчетно. Наши критики отличаются, кромѣ того, литературнымъ безвѣріемъ и литературнымъ невѣжествомъ; они не знакомы съ исторіей нашей словесности и не имѣютъ историческаго взгляда. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдѣлались совершенною игрушкою въ рукахъ этихъ судей. У всѣхъ у нихъ отсутствуютъ чистое эстетическое наслажденіе и вкусъ; ихъ сужденія не носятъ признаковъ пониманія и не истекаютъ изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ мертвяще-холоденъ; въ мыс-

каждый день. Выходъ дома его нѣтъ даже огорода. У него нѣтъ никакой потребности наслажденія. Онъ способенъ пережить свою жизнь, но только когда вокругъ его явятся улучшенія, а побывавъ въ городѣ, русскій поселянинъ уже бросаетъ земледѣліе и дѣлается промышленникомъ... съ помощью живота и смѣтливости онъ въ непродолжительное время дѣлается богачомъ (?). Такимъ образомъ русскій мужикъ дѣлается рѣшительно гражданиномъ (?) всей Руси, не укрѣпился ни въ какомъ мѣстѣ... Но всякомъ случаѣ правительство дѣйствуетъ, руководимое глубокою мудростью, оно обращаетъ преимущественное вниманіе на земледѣліе (?). Земледѣлецъ—добрый, крѣпкій корень государства въ политическомъ и нравственномъ отношеніи. Купецъ человекъ продажный; всякій промышленникъ человекъ подвижный: сегодня здѣсь, завтра тамъ; но земледѣльчество неподвижный элементъ государства. («Очищенія Н. В. Гоголя». Изд. X. VI, 363—364).

*) Этотъ отзывъ о Бѣлинскомъ не попалъ на страницы «Современника» и сохранился въ рукописи.

ляхъ одна мелочность и мелочное щегольство. Таковы отличительныя черты критическихъ суждений большинства нашихъ литературныхъ судей. Есть, конечно, исключенія, но ихъ очень мало.

Наша критика отнеслась невнимательно къ событіямъ западной литературной жизни, говоритъ Гоголь, и не сумѣла даже одѣнить какъ слѣдуетъ наше русское національное богатство. Она просмотрѣла напр. смерть Вальтеръ Скотта и не замѣтила, что въ литературѣ всей Европы распространился безпокойный, волнующійся вкусъ. Она не замѣтила, какъ явились опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, пламенныя—слѣдствіе политическихъ волненій той страны, гдѣ они рождались. Но если ей и простить эти недосмотры въ области чужой жизни, то трудно извинить ея невниманіе къ русскому. А одѣнила ли она это русское? «Наши писатели—говорилъ Гоголь—отлились совершенно въ особенную форму, нежели писатели другихъ земель, и, несмотря на общую черту нашей литературы—подражанія опередившимъ насъ европейцамъ,—они заключаютъ въ себѣ чисто русскіе элементы, и подражаніе наше носитъ совершенно своеобразный характеръ, представляетъ явленіе замѣчательное даже для европейской литературы. Гдѣ вы найдете похожаго на нашего Державина? это не Горацій, не Пиндаръ: у него своя самородная, дикая, сверкающая поэзія, текущая, колоссально разливаясь, какъ Россія. Что такое нашъ Жуковский? Это одно изъ замѣчательнѣйшихъ явленій, поэтъ, явившійся оригинальнымъ въ переводахъ, возведшій всѣ сильныя и малосильныя оригиналы до себя, создавшій новый, совершенно оригинальный родъ—быть оригинальнымъ. Возьмите нашего Крылова: и въ баснѣ у него выразился чисто-русскій гибъ ума, новый юморъ, незнакомый ни французамъ, ни нѣмцамъ, ни англичанамъ, ни итальянцамъ. Такъ широко раскинуть фундаментъ колоссальнаго зданія будущей русской литературы. Поняла-ли все это наша критика?

«Видите ли эти зарождающіеся атомы: какихъ то новыхъ стихій—спрашиваетъ Гоголь?—Видите ли эту движущуюся, снующую кучу прозаическихъ повѣстей и романовъ, еще блѣдныхъ, неопредѣленныхъ, но уже сверкающихъ изрѣдка искрами свѣта, показывающими скорое зарожденіе чего-то оригинальнаго: колоссальное, можетъ быть, совершенно новое, неслыханное въ Европѣ явленіе, предвѣщающее будущее законодательство Россіи въ литературномъ мірѣ, что должно осуществиться непременно, потому что стихіи слишкомъ колоссальны, и рамы для картины сдѣлались слишкомъ огромны?» *).

*) «Сочиненія Н. В. Гоголя». Изданіе X-ое, VI, 316—317.

Неугнбренный патриотизмъ, который сказывается въ послбднихъ строкахъ этой замбчательной статьи, составлялъ всегда отличительную черту образа мыслей Гоголя; онъ можетъ быть названъ преждевременнымъ для своей эпохи, но въ немъ, какъ мы можемъ теперь уббдиться, крылось пророчество: наша литература, дбйствительно, стала общепитрымъ явленемъ. Оставляя, однако, въ сторонб надежды автора на будущее, мы должны признать, что въ его статьб высказана необычайно вбрная оцбнка настоящаго—быть можетъ, наиболбе полная изъ всбхъ намъ извбстныхъ... Въ самомъ дблб, кто изъ тогдашнихъ критиковъ оцбнилъ такъ вбрно «оригинальную» сущность вашей подражательной литературы, кто такъ широко поилъ «народность» въ ея обнаруженб въ нашей словесности, кто, наконецъ, понимая все значеве нашихъ первоклассныхъ писателей, зумблъ отдать должное работб силъ второстепенныхъ? Мы видбли, какъ наша критика огульно осуждала подражане, какъ узко она понимала значене «народности», какъ несправедливо подчасъ и сурово относилась къ Пушкину и Жуковскому и съ какимъ пренебреженемъ обходила писателей менбе даровитыхъ. Все это показываетъ, что Гоголь обладалъ настоящимъ критическимъ чутьемъ, и что Пушкинъ былъ правъ, намбчая его въ критики своего журнала.

Всб перечисленные нами статьи Гоголя по вопросамъ объ искусствб въ широкомъ смыслб этого слова и по вопросамъ литературнымъ показываютъ, какъ много онъ въ эти годы думалъ о томъ дблб, которому начиналъ служить, и какъ трудно ему было придти къ какому-нибудь своему рбшеню въ вопросахъ, такъ повышавшихъ лиризмъ его романтического сердца.

Къ мыслямъ о поэзи и ея назначенб въ жизни предрасполагала нашего писателя, какъ мы уже замбтили, и литераторская среда, въ которой онъ вращался. Что въ кабинетб Пушкина и Жуковского и къ друзей рбчь неоднократно заходила о поэтб, о томъ, кто онъ и вбчбмъ онъ въ мирб,—это болбе чбмъ вброятно; Пушкина эта тема учила всю жизнь, да и Жуковский много надъ ней думалъ. Въ къ творчествб вопросу о призванб поэта былъ центральнымъ, къ которому постоянно возвращалась дума художника, и въ стихотворенбхъ того и другаго поэта можно прослбдить по годамъ, какъ нарасталъ этотъ вопросъ и какія разнообразныя получалъ рбшеня. ся умственная атмосфера кружка Пушкина была насыщена мыслью въ искусствб, понимаемомъ, и какъ откровене, и какъ наслажене, и, наконецъ, какъ «дбло». Гоголь не могъ остаться безучаст-

нынѣ къ этимъ разговорамъ, которые въ немъ самою будили старыя настойчивыя думы. И если его собесѣдники, не рѣшая вопроса о призваніи поэта въ мірѣ по существу, умѣли въ сильныхъ или трогательныхъ стихахъ говорить о немъ, то онъ умѣлъ этими стихами наслаждаться и черпать въ нихъ силу безотчетнаго восторга. Поэзія Пушкина и Жуковского учила Гоголя благоговѣнію передъ художникомъ, подымала его лирическое настроеніе на большую высоту и въ известной степени разобщала его съ окружающей дѣйствительностью и съ переживаемой минутой. Онъ, призванный стать бытописателемъ этой дѣйствительности и этой минуты, страдалъ немало отъ такого пагуба сердца, какой въ немъ всегда возбуждало искусство, но въ этомъ же пагубѣ находилъ онъ и свою силу, какъ мы могли это видѣть по его восторженнымъ рѣчамъ о «Борисѣ» Пушкина, «О скульптурѣ и живописи» и по его обращенію къ своему гению. И чѣмъ величественнѣе рисовался Гоголю поэтъ и его художническая миссія, тѣмъ труднѣе ему должна была казаться его собственная задача, и тѣмъ ощутительнѣе было для него противорѣчіе поэзіи въ мечтахъ и прозы въ жизни, а также возможный контрастъ между добромъ, которое заключено въ искусствѣ, и зломъ, которое иногда изъ того же искусства можетъ родиться.

Эти мысли стали со временемъ кошмаромъ Гоголя, но въ тѣ годы, о которыхъ теперь идетъ рѣчь, онѣ были для него лишь интересной проблемой.

Кромѣ ближайшихъ друзей, творчество которыхъ заставляло Гоголя такъ возвышенно думать о поэтѣ, нашъ художникъ находилъ поддержку своимъ взглядамъ и у многихъ изъ своихъ современниковъ.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ въ литературѣ неоднократно ставился вопросъ о призваніи поэзіи и о ея противорѣчии и борьбѣ съ презрѣнной прозой жизни. Въ тотъ романтическій періодъ нашей словесности это была тема модная и не у насъ только, а также и на западѣ. Французскіе и нѣмецкіе романтики, которыхъ мы тогда такъ усердно читали, подсказывали намъ различныя рѣшенія этой эстетической задачи, и мы повторяли эти рѣшенія частью дословно, а иногда и съ русскими вариациями. Остановимся подробнѣе на нѣкоторыхъ памятникахъ, въ которыхъ говорилось тогда о психическомъ мірѣ поэта и его жизни на землѣ, въ виду ихъ родства или совпаденія съ темою, которая тогда такъ занимала Гоголя. Мы увидимъ, какъ мысль Гоголя шла вровень съ мыслью его поколѣнія, опережая ее однако въ художественномъ своемъ воплощеніи.

Въ этихъ безчисленныхъ разсказахъ о художникахъ, ихъ вдохновеніи, ихъ жизни и почти всегда трагической смерти, преобладало мѣ-

сколько излюбленных мотивовъ. Писатель любилъ говорить объ искусствѣ и о художникѣ, какъ о благой силѣ, которая послана на землю для счастья человѣчества. Онъ любилъ славословить поэта и украшать всевозможными эпитетами и метафорами его служеніе красотѣ, добру и истинѣ. Трагическая сторона этого служенія также привлекала его вниманіе: писатель стремился выяснитъ себѣ, въ чемъ заключается даръ вдохновенія и почему человѣкъ, одаренный этимъ даромъ, быметъ такъ неудовлетворенъ въ жизни; отчего то, что радуетъ такъ другихъ, и что другіе такъ въ жизни цѣнятъ, отчего все это такъ безцѣленно въ глазахъ поэта. Всего чаще авторъ останавливался поэтому на противорѣчій, которое существуетъ между поэтомъ и средой его окружающей, на взаимномъ ихъ непониманіи и на страданіи непонятаго и неопціеннаго художника. Иногда—но очень рѣдко—это противорѣчіе толпы и поэта пояснялось кое-какими, весьма для того времени интересными, социальными мотивами.

Въ числѣ писателей, которые съ охотой брались за такія темы, было много людей съ талантомъ, и среди нихъ особенно выдѣлялся своимъ оригинальнымъ дарованіемъ кн. В. Ѳ. Одоевскій — добрый знакомый и Жуковского, и Пушкина, а потому и Гоголя. Гоголь былъ въ восторгѣ отъ повѣстей Одоевскаго, находя въ нихъ — и справедливо — кучу воображенія и ума, любилъ читать ихъ еще въ рукописи и даже завѣдывалъ ихъ изданіемъ въ 1833 году *).

Думать надъ эстетическими проблемами Одоевскій былъ приученъ съ дѣтства. Еще въ университетскомъ пансіонѣ, гдѣ онъ обучался въ началѣ двадцатыхъ годовъ, его воспитали въ священномъ трепетѣ передъ воззрѣніемъ и художникомъ, философіей и нравственностью, т. е. передъ красотой, добромъ и истиной, взаимное соотношеніе которыхъ осталось потомъ на всю жизнь предметомъ его размышленій. Еще въ школѣ произнесъ онъ рѣчь о томъ, что «всѣ знанія и науки тогда только доставляютъ намъ истинную пользу, когда они соединены съ чистой нравственностью и благочестіемъ» **)—рѣчь, въ которой онъ провозглашалъ философію всеобщей науки, отъ которой всѣ другія заимствуютъ свои силы, какъ планета отъ источника свѣта—солнца. Когда, затѣмъ, въ кругу московскихъ архивныхъ юношей, онъ сталъ адептомъ философіи Шеллинга, міръ искусства приобрѣлъ для него особую идейную прелесть. То, чему онъ восхищался отъ всего своего восторженнаго сердца, было теперь выражено его разумомъ, и красота въ жизни получила для Одоевскаго

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 228, 241.

**) «Рѣчь, разговоръ и стихи, произнесенныя на публичномъ актѣ университетскаго благороднаго пансіона 1822 г. марта 25 дня». М. 1822 г.

особую умозрительную санкцію. Свои мысли объ этой связи красоты и истины молодой философ излагалъ въ формѣ аллегорическихъ и фантастическихъ сказокъ, тогда излюбленной формѣ его творчества. Говорить о красотѣ и о гении простымъ языкомъ—разсуждалъ Одоевскій—было бы святотатствомъ. Только иносказательно, въ формѣ аллегоріи, въ формѣ аполога, можно дать почувствовать всю таинственность ихъ земного бытія, только словами навпий, божественной сказки можно воскресить ихъ свѣтлый образъ. Языкомъ такихъ сказокъ и стремился Одоевскій пояснить великое таинство гениа еще на самой зарѣ своей юности, когда издалъ маленькій сборникъ апологовъ *). Среди густого мрака—разсказывалъ нашъ философъ и моралистъ—по колючимъ терніямъ, между безднами и скалами велъ одинъ дервишъ несчастныхъ странниковъ; снѣлой ногой притапывалъ онъ терніа, свѣтильникомъ освѣщалъ онъ ихъ путь—и что же? Многіе проклинали его и роптали, зачѣмъ не для нихъ очищаетъ онъ дорогу, зачѣмъ не имъ свѣтитъ. Холодный, безстрастный шелъ дервишъ и ве прииѣчалъ стона испадающихъ. Не для освѣщенія ничтожной толпы вестъ онъ свѣтильникъ; для высокой цѣли, къ которой онъ стремился, онъ забывалъ все подлунное; если онъ подавалъ помощь суутникамъ, то только потому, что, идя къ цѣли, не могъ не освѣщать свѣтильникомъ дороги. Мудрый! Ужели добродѣтели простолюдина цѣль твоихъ дѣйствій? спрашивалъ Одоевскій. Толпа бессмысленная, приравнивая тебя къ себѣ, ищетъ въ тебѣ сихъ добродѣтелей. Но не твоя ли добродѣтель возвышеннѣе всѣхъ прочихъ... *совершенствоаніе*—оно поглощаетъ и благотворительность, и милосердіе, и любовь къ ближнему. Но все-таки она—единая цѣль пламеннаго стремленія гениа («Дервишъ»). Да! Гений—это солнце, которое пробуждаетъ, согрѣваетъ и свѣтитъ; бываетъ, что густые туманы скрываютъ его лицо, и тогда слабоумнымъ кажется, что его нѣтъ вовсе. О! сколь ничтожны въ глазахъ простолюдина возвышенныя умствованія гениевъ! Какъ солнце они гонятъ мразь и мракъ, даютъ довольство и покой, во туманы предразсудковъ иногда скрываютъ ихъ отъ людскихъ глазъ, и безпечные люди думаютъ, что они ничѣмъ имъ не обязаны («Солнце и младевецъ»); и часто невѣжество въ прахъ обращаетъ всѣ усилія мудраго! Пусть магъ, призвавшій на помощь всѣ силы искусства и природы, день и ночь погруженный въ размышленія надъ древними свитками, пожертвовавъ всѣми наслажденіями жизни, изобрѣтетъ питье, подающее жизнь, долгую и вѣчное здравіе, найдется другой магъ, его сопер-

*) «Четыре аполога». Москва. 1821 г.

никъ, который изъ зависти опрокинетъ драгоценный сосудъ («Два кага»), но не всегда отъ нечистаго прикосновенія гаснетъ божественное пламя, оно еще болѣе возгорается, клокочетъ и обращаетъ въ прахъ дерзкаго гасильщика невѣжду («Алогіи и Епименидъ»).

Такъ философствовалъ молодой «любомудръ» на тему о великомъ призваніи гевія, спасая его свободу и самостоятельность и вмѣстѣ съ тѣмъ прославляя его, какъ благодѣтеля и страдальца за ближнихъ. Гевій, при всей его отчужденности и неприступномъ величіи, есть сама любовь, само милосердіе—какъ бы хотѣлъ сказать нашъ философъ и эстетикъ—только не нужно требовать отъ гевія мелкой службы и повседневной будничной работы.

Такое же преклоненіе и благоговѣніе передъ гевіемъ проповѣдывалъ Одоевскій и въ своемъ философскомъ альманахѣ «Мнемозина», который онъ издавалъ въ 1824 году вмѣстѣ съ другимъ великимъ поклонникомъ красоты и вдохновенія—В. К. Кюхельбекеромъ. Первая книжка этого альманаха открывалась аллегорической сказкой редактора: «Старики или островъ Панхай». Довольно злая сатира на наше свѣтское воспитаніе, на прозаическое направленіе нашего вѣка и на излишнее увлеченіе «опытными знаніями», этотъ памфлетъ на «стариковъ-младенцевъ», какъ Одоевскій окрестилъ пошляковъ и филистеровъ своего вѣка, долженъ былъ научить читателя достойному преклоненію передъ поэтическимъ восторгомъ людей и порывомъ ихъ къ возвышенному. Есть люди, которыхъ очи пламенѣютъ небеснымъ огнемъ—говорилъ нашъ сатирикъ,—ихъ не туманило ничтожное земное; душевная дѣятельность—вылаютъ во всѣхъ ихъ чертахъ, во всѣхъ движеніяхъ, они презираютъ шумный, суетный крикъ младенцевъ—ихъ взоры быстро стремятся къ возвышенному. Кто сіи невѣдомые? можно спросить, и тайный голосъ отвѣтитъ намъ, что это бессмертные люди, которые, стремясь къ возвышенной цѣли своей, *мимоходомъ* разливаютъ съ отеческой нѣжностью свои дары на людей. Неблагодарные люди не понимаютъ ни дѣяствій, ни цѣли бессмертныхъ: одни смѣются надъ ними, другіе презираютъ, иные не обращаютъ вниманія, бѣлая часть даже не знаетъ о существованіи сихъ юношей. Но вращаются вѣка, быстрые круговороты времени поглощаютъ въ безднѣ забвенія ничтожную толпу *стариковъ-младенцевъ*, и живутъ бессмертные—живутъ, в нѣтъ предѣла ихъ возвышенной жизни *)

Этотъ же первый томъ «Мнемозины» Одоевскій заканчивалъ такой выпиской изъ *Маякъ-Поля Рихтера*: «свѣтъ исполненъ былъ болѣзнями

*) «Мнемозина» I, 8.

и страха, люди изъ пылающихъ селеній бѣжали въ опустошенныя: во цвѣтущей землѣ простиралось всюду горе и восходили въ голубое небо облака смерти, дымъ и стenanія; человекъ бѣшенный поборалъ человекъ, и кровь текла изъ ранъ его! Но посреди сего ада покоилось царство мира: жаворонокъ поднимался въ лазурь свою, соловей и другіе пѣвцы весенніе перекликались за цвѣтущими кустами и рощами или грѣли неоперенныхъ птенцовъ своихъ! О дѣти повзѣи! и вы поете: живите же, какъ пернатые, въ веселыхъ пространствахъ высокаго; не въ бѣдномъ низменномъ мірѣ!» *) Слова вѣсколько эгоистичныя, но Одоевскій подписывался подъ ними не безъ оговорокъ. Въ его пониманіи возвышенность поэтическихъ помысловъ была лишь однимъ изъ видовъ тѣснаго общенія съ людьми, но только такого, при которомъ художникъ уберегалъ себя отъ всякой грязи и скверны, не приближаясь къ нимъ, а лишь издали очищая ихъ лучами того горяго свѣта, который онъ носилъ въ своей душѣ. Ученику Шеллинга, какимъ былъ Одоевскій, не трудно было устоять на этой высотѣ, не тревожась вопросомъ о томъ, на какое именно разстояніе къ житейской пошлости долженъ былъ приближаться художникъ или вообще человекъ съ такими высшими стремленіями, сознающій возложенную на него святую миссію.

Гдѣ только представлялся случай, въ апологахъ, сказкахъ, критическихъ статьяхъ, Одоевскій взывалъ къ этому «чувству возвышеннаго» въ человекѣ, грозилъ пошлостью жизни и издѣвался надъ ея прозячностью. Ядовитымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкимъ смѣхомъ надъ всякой пошлостью жизни были, напр., насквозь пропитаны въ свое время очень извѣстныя «Пестрыя сказки» нашего автора **). Погодинъ—другъ молодости Одоевского—отказывался въ шестидесятыхъ годахъ разгадать смыслъ этихъ сказокъ, хотя и признавалъ, что въ тридцатыхъ ихъ кружокъ понималъ ихъ и ими забавлялся ***). Сказки, дѣйствительно, замысловатыя, съ очень частымъ злоупотребленіемъ аллегоріей и съ дидактическимъ смысломъ, который тонетъ въ полужсныхъ намекахъ на разныя пошлыя и прозячествующія стороны тогдашней свѣтской и литературной жизни. Одно, впрочемъ, въ этомъ сборникѣ было выражено ясно, это—противорѣчіе между идейнымъ поэтическимъ пониманіемъ жизни у автора и тѣмъ, что онъ вокругъ себя видѣлъ. Издатель «Пестрыхъ сказокъ» говорилъ, что онъ очень боится за успѣхъ сочиненія почтеннаго

*) «Мнемосина» I, 181.

***) «Пестрыя сказки съ красивымъ словомъ, собраннымъ Иринею Модостовичемъ Гомозейкою, магистромъ философіи и членомъ разныхъ ученыхъ обществъ Иазаы Беагласнымъ». М. 1833.

****) «Въ память о князѣ Владимірѣ Теодоровичѣ Одоевскомъ». М. 1869, 55.

агистра философі Гомоейки. Бѣдный магистръ! Онъ былъ изъ ученыхъ, въ пустыхъ ученыхъ,—зналъ всевозможные языки, живые, мертвые полумертвые, зналъ всѣ науки, которыя преподаются и не преподаются въ всѣхъ европейскихъ каедряхъ, могъ спорить о всѣхъ предметахъ, ну известныхъ и неизвестныхъ, и пуще всего любилъ лопать себѣ слову надъ началомъ вещей и прочими тому подобными нехлѣбными реджатами. Онъ былъ очень скромнень. Обремененный многочисленными жействами мыслей и удрученный основательностью своихъ познаній въ не прочь былъ поблизать въ обществѣ, но всегда какой-нибудь молодецъ съ услами перебывалъ его рѣчь замѣчавшими о температурѣ въ комнатахъ, или какой-нибудь почтенный мужъ—разсказомъ о тѣхъ постижимыхъ обстоятельствахъ, которыя сопровождали проигравный въ большой шлемъ. Магистръ молчалъ и наконецъ рѣшился заговорить печати, и онъ написалъ свои «Пестрыя сказки». Онъ жаловался на онъ вѣкъ, трезвость этого вѣка его печалила, ему казалось, что мы рѣзали крылья у воображенія и, боясь тратить время попустому, замыли для себя многіе источники наслажденій и ума, и сердца.. Нашъ вѣкъ—вѣкъ утилитарный, говорилъ философъ, но что пользы въ томъ, в мы составляемъ системы для общественнаго благоденствія, посредствомъ которыхъ цѣлое общество благоденствуетъ, а каждый изъ членовъ страдаетъ?.. что мы составляемъ статистическія таблицы, составляемъ ражку нравственной философіи и подгоняемъ подъ нее всѣхъ людей, в изъ этого? Мы обходимся безъ любви, безъ вѣры, безъ думанья... гутствіе простора въ воображеніи и мысли пскуду чувствуется. Проза жествуетъ, и ни откуда не повѣетъ на насъ поэзіей. Не только людямъ, даже чертямъ тошно отъ нашей скуки, отъ паровыхъ машинъ, ланаконъ, атомистической химіи, отъ благородумія нашихъ дамъ, в англійской философіи, французской вѣры и устава благочинія нахъ гостинныхъ.

Въ длинную рядъ фантастическихъ разсказовъ, въ которыхъ попагтся цѣлая страница, необычайно игривыя по юмору и сильныя своими мизмомъ, бичуетъ авторъ эту прозу нашей жизни, касаясь преимущественно жизни свѣтской. Вопросъ о вырожденіи мужчины и женщины говорильную машину, омертвленіе мысли и главнымъ образомъ чувства, ата естественности и интереса ко всему, что есть духъ, восторгъ вдохновеніе—вотъ о чемъ въ шутивожъ тонѣ, но съ большою незностью, говорилъ пріятель Гоголя, читая ему наединѣ свои сказки».

Своему восторгу передъ поэзіей Одоевскій давалъ полный просторъ въ своихъ разсказахъ изъ жизни художниковъ.

Напѣ авторъ еще въ ранней юности зачитывался ихъ біографіями въ извѣстномъ сборникѣ Вакенродера. Вспоминая этого искуснаго рассказчика и восторженнаго романтика, Одоевскій написалъ и свои три повѣсти: «Послѣдній квартетъ Бетховена», «Импровизаторъ» и «Себастьянъ Бахъ», которыя потомъ вошли въ составъ его «Русскихъ ночей». Во всѣхъ этихъ рассказахъ—одно стремленіе: приблизить насъ насколько возможно къ великой тайнѣ творчества, дать намъ понять, что такое священный восторгъ поэта, и вѣстѣ съ тѣмъ показать намъ «неизглаголанность» страданій высокої души художника. Чтобы облегчить намъ приближеніе къ этому таинству, авторъ, конечно, долженъ былъ коснуться вѣчнаго противорѣчія, которое существуетъ между прозой жизни и поэзіей, между толпой и гениемъ. «Я холоднаго восторга не понимаю—говорилъ Одоевскій устами Бетховена.—Я понимаю тотъ восторгъ, когда цѣлый міръ для меня превращается въ гармонию, всякое чувство, всякая мысль звучитъ во мнѣ, всѣ силы природы дѣлаются моими орудіями, кровь моя кипитъ въ жилахъ, дрожь проходитъ по тѣлу, и волосы на головѣ шевелятся... и все это тицетно! Да и къ чему это все? Зачѣмъ? Живешь, терзаешься, думаешь, написалъ и конецъ! Къ бумагѣ приковались сладкія муки созданія—не воротить ихъ! Унижены, въ темницу заперты мысли гордаго духа-создателя.—А люди? люди! Они придуть, слушаютъ, судить—какъ будто они судьи, какъ будто для нихъ создаешь! Какое имъ дѣло, что мысль, принявшая на себя понятный имъ образъ, есть звено въ безконечной цѣпи мыслей и страданій; что минута, когда художникъ исходитъ до степени человѣка, есть отрывокъ изъ долгой богиженной жизни неизмѣримаго чувства; что каждое его выраженіе, каждая черта—родилась отъ горькихъ слезъ серафима, заклепаннаго въ человѣческую одежду и часто отдающаго половину жизни, чтобы только минуту подышать свѣжимъ воздухомъ вдохновенія? *)

Одоевскій былъ хорошій музыкантъ и знатокъ музыки, почему въ своихъ рассказахъ о жизни художниковъ всего чаще и славословилъ ее. И онъ умѣлъ прославлять ее такъ возвышенно и краснорѣчиво, что читатель немусыкантъ, подъ обаяніемъ его рѣчи, пріобрѣталъ самъ нѣкоторое музыкальное настроеніе. «Есть высшая степень души человѣка, которой онъ не раздѣляетъ съ природою—говорилъ Одоевскій словами органиста Албрехта, учителя Баха,—высшая степень, которая ускользаетъ изъ-подъ рѣзда ваятеля, которую не доскажутъ пламенные

*) «Сочиненія князя В. Ѡ. Одоевского». Спб. 1844, I, 166--167.

строки стихотворца—та степень, гдѣ душа, гордая своею побѣдой надъ природою, во всемъ блескѣ славы, смиряется предъ Вышнюю силу, съ горькихъ страданіемъ жаждетъ перенести себя къ подножію ея престола и, какъ странникъ среди роскошныхъ наслажденій чуждой земли, вздыхаетъ по отчизнѣ. Чувство, возбуждающееся на этой степени, люди называли *несвыразимымъ*; единственный храмъ сего чувства—музыка: въ этой высшей сферѣ человѣческаго искусства человѣкъ забываетъ о буряхъ земного странствованія; въ ней, какъ на высотѣ Альповъ, блещетъ безоблачное солнце гармоніи; одни ея неопредѣленные, безграницные звуки обнимаютъ безпредѣльную душу человѣка: лишь они могутъ совокупить воедино стихіи грусти и радости, разрозненные паденіемъ человѣка, лишь ими младенчеству сердце и переноситъ насъ въ первую невинную колыбель перваго невиннаго человѣка. Не ослабѣвайте же, юноши! Молитесь, сосредоточивайте всѣ познанія ума, всѣ силы сердца на усовершенствованіе орудій сего дивнаго искусства! *)—такъ говорилъ Альбрехтъ своему ученику Себастьяну Баху, и этотъ великій музыкантъ сохранилъ на всю жизнь заветы своего учителя. Тихимъ огнемъ горѣло вдохновеніе въ его душѣ, и онъ вездѣ былъ вѣренъ святымъ искусства, и никогда земная мысль, темная страсть не прорывались въ его звуки; отъ того теперь, когда музыка перестала быть молитвой, когда она сдѣлалась выраженіемъ мятежныхъ страстей, забавою праздности, приманкою тщеславія—музыка Баха кажется холодною, безжизненною: мы не понимаемъ ее, какъ не понимаемъ безстрастія мучениковъ на крестѣ язычества; мы ищемъ понятнаго, близкаго къ нашей лѣтн, къ удобствамъ жизни: намъ страшна глубина чувства, какъ страшна глубина мыслей; мы боимся, чтобы, погружаясь во внутренность души своей, не открыть своего безобразія: смерть оковала всѣ движенія нашего сердца—мы боимся жизни **).

Какъ много въ этихъ мысляхъ было дорогого и близкаго Гоголю, который вѣсть со своимъ пріятелемъ изыскивалъ тогда слова и бороты рѣчи, чтобы какъ-нибудь выразить «не выразимое» искусства! Достичь ясности въ такомъ выраженіи было, конечно, очень трудно, легче было говорить о грѣхахъ художника и его страданіи, чѣмъ о его вдохновеніи и радости.

Среди такихъ грѣховъ и печалей вниманіе писателя останавливала тогда одна прозаическая сторона въ жизни артиста: именно его

*) «Сочиненія князя Н. Ѳ. Одоевскаго», I, 250.

***) «Сочиненія князя Н. Ѳ. Одоевскаго», I, 250.

погоня за модой, успѣхомъ и деньгами. Одоевскій отмѣтилъ этотъ трагическій моментъ артистической жизни въ разсказѣ «Импровизаторъ», слегка напоминая своей основной идеей повѣсть Гоголя «Портретъ». Это — печальная исторія нѣкоего поэта Кипріано, терпящаго большую нужду съ юныхъ лѣтъ, поэта съ творческимъ даромъ, но безъ способности легко владѣть имъ. Каждая работа требовала отъ него массу труда и времени; каждый стихъ стоилъ ему нѣсколькихъ изгрызенныхъ перьевъ, нѣсколькихъ вырванныхъ волосъ и обломанныхъ ногтей. Онъ готовъ былъ обмѣнять свой даръ на какое-нибудь простое ремесло, но не могъ, такъ какъ природа дала ему всѣ причуды поэта, врожденную страсть къ независимости, непреборимое отвращеніе отъ всякаго механическаго занятія и привычку дожидаться минуты вдохновенія. Онъ не въ силахъ былъ разлюбить своего дара и рѣшился продать свою волю дьяволу, лишь бы тотъ далъ ему способность безъ труда пользоваться этимъ даромъ и на немъ основать свое житейское благополучіе. Изъ рукъ какого-то доктора Сегелеля, одного изъ служителей дьявольскихъ, нашъ художникъ и получаетъ способность «производить безъ труда», но при одномъ условіи, что вмѣстѣ съ этимъ даромъ онъ получитъ и другой даръ — «все видѣть, все знать и все понимать». Кипріано радуется, что число даровъ удвоилось, но этотъ второй даръ и оказывается источникомъ его гибели. Нашъ поэтъ становится извѣстнымъ импровизаторомъ; творитъ, дѣйствительно, безъ труда, деньги плывутъ ему въ руки, но, все видя и все понимая, онъ ни въ чемъ не находитъ отрады и успокоенія. Высшій смыслъ жизни для него потерянъ; все въ природѣ разлагается передъ нимъ: всѣ его чувства и его умъ анализируютъ жизнь до мелочей безъ способности обнять ее въ синтезѣ, онъ не можетъ забыться въ высокому поэтическому произведенію, не можетъ набрести на глубокую думу или отдохнуть умомъ въ стройномъ философскомъ зданіи: онъ видитъ всю черную работу и художника, и философа. Вся красота искусства для него гибнетъ: въ лучшей музыкѣ онъ видитъ лишь одиѣ животныя жилы, по которымъ скользятъ конскіе волосы. Такой карой былъ наказанъ художникъ, который хотѣлъ избѣгнуть труда, неразлучнаго со всякимъ творчествомъ; и этотъ докторъ Сегелель — близкій родственникъ гоголевскаго Петромихали, олицетвореніе всѣхъ тѣхъ искушеній, которыя на своемъ терновомъ пути встрѣчаетъ художникъ... искушеній блеска, успѣха и золота, мимо которыхъ столь немногіе, даже крупные люди, проходятъ въ сознаніи своего долга.

Среди писателей, особенно облюбовавшихъ такіе сюжеты, сталъ выдвигаться въ тѣ годы и товарищъ Гоголя по Шѣвчинскому ли-

ю— Н. В. Кукольникъ. Онъ былъ также изъ числа петербургскихъ накомыхъ Гоголя, хотя дружбы между ними не было: Гоголь всегда вышучивалъ его за слишкомъ восторженное и патетическое отноше- де къ жизни, называлъ его не иначе, какъ «Возвышенный», и удив- ялся его способности писать нескончаемыя трагедіи и декламировать хъ при каждомъ удобномъ случаѣ. Въ срединѣ тридцатыхъ годовъ (укольникъ—со временемъ очень популярный писатель—только начи- аль свою литературную карьеру. Дебютировалъ онъ относительно чачно драматической фантазіей въ стихахъ «Торквато Тассо» *), новую мысль которой онъ неоднократно повторялъ затѣмъ во мно- ихъ своихъ трагедіяхъ и романахъ. Это была и основная мысль его бственной жизни: сущность ея сводилась все къ тому же противо- чію между вдохновеніемъ и прозой жизни, между все понимающимъ дождикомъ и не понимающей его толпой...

Въ драмѣ «Торквато Тассо» это противорѣчіе напряжено до авности. Изображена печальная жизнь великаго итальянскаго та, разсказана его несчастная любовь къ двумъ сестрамъ своего кровителя, описано его изгнаніе, его сумасшествіе, и все это глѣ, чтобы въ послѣдней сценѣ вознести его до небесъ, вѣн- ь его вѣнкомъ Вергилія и заставить его, итальянца, прощаясь землей, пророчествовать о великой славѣ Россіи и привѣтствовать далека Державина, своего наследника. Кромѣ этого неумѣстнаго рютизма, на который Кукольникъ былъ всегда очень щедръ, ма въ общемъ производитъ впечатлѣніе цѣльное, въ виду неизмѣно ышеннаго тона, въ какомъ она написана, и единства идеи, которая ея основаніе положена. Все въ драмѣ сводится къ указанію не- миримой розни, которая существуетъ между гениемъ и окружающей средой, а также къ прославленію величія гения, которое въ глазахъ стыхъ людей есть либо дерзость, либо заносчивость, либо коварство,), наконецъ, безуміе. Тассъ, влюбленный въ герцогиню и изгнан- изъ Феррары, Тассъ, бездомный странникъ, затерянный въ толпѣ ихъ, Тассъ, въ минуту изступленія способный на убійство, гений въ дѣ стъ сумасшедшини, и онъ же увѣнчанный лаврами и всѣми признан- , и со всѣми примиренный, (примиренный, однако, не для жизни, а для ти),— все это рядъ поэтическихъ образовъ, въ которые облечена одна традицна мысль: излюбленная романтическая мысль о томъ, что для мнаго гения нужна мная вселенная, чѣмъ та, въ которую его ба забросила. Бросить свѣтъ и спрятаться отъ людей въ пустышъ—

*) «Торквато Тассо». Большая драматическая фантазія. Спб. 1833.

вотъ что долженъ сдѣлать этотъ избранникъ Божій. Жить для жизни не стоитъ, такъ какъ сама жизнь — что она такое? Безсонница страстей! Въ нашемъ мѣрѣ нѣтъ гостепрѣимства для генія, и правъ онъ, когда ненавидитъ людей, когда чувствуетъ, что весь мѣръ опустѣлъ для его сердца.

Зачѣмъ же призванъ этотъ геній жить среди людей, и въ чемъ его назначеніе, если встрѣча съ людьми естественно должна его натолкнуть на ненависть, вмѣсто того, чтобы исполнить его сердце любовью? На этотъ вопросъ у многихъ изъ нашихъ романтиковъ былъ отвѣтъ опредѣленный, но не вполне ясный. Они полагали, какъ и Кукольникъ въ своемъ «Тассо»*), что геній долженъ жить высокими неземными страстями; какъ небо, онъ долженъ отдѣляться отъ земли, быть возлюбленникомъ Бога и не любить обманчивость земного совершенства. Пусть простой человѣкъ горитъ въ страстяхъ и желаніяхъ, но тотъ, кому Господь вливаетъ силу прославиться великими дѣлами на благо *человѣческому роду*, долженъ истребить въ себѣ всѣ чувства, о тѣлѣ, о душѣ своей забыть и помнить о своемъ завѣтѣ, для коего онъ призванъ въ мѣръ. Этотъ завѣтъ — служеніе красотѣ. Она сама свое дѣло сдѣлаетъ и всю работу художника обратитъ на пользу человѣчества, какъ бы далеко ни стоялъ самъ поэтъ отъ всѣхъ людей и житейскихъ вопросовъ.

Въ обрисовкѣ столкovenія этого отчужденнаго въ жизни поэта съ людьми, для блага которыхъ онъ существуетъ въ мѣрѣ, писатель договаривался иногда до большихъ странностей. Не безызвѣстный въ тѣ годы поэтъ Тимофѣевъ — одинъ изъ самыхъ восторженныхъ и неистовыхъ романтиковъ — рассуждалъ на эту тему такъ въ своей «драматической фантазіи» «Поэтъ» (1834): «Пусть — говорилъ онъ — жизнь безъ поэзіи — пустыня, изъѣденный червями трупъ, но и сама поэзія тотъ же трупъ подъ гальванизмомъ. Подъ этимъ сводомъ неба поэту душно: въ немъ засыпаютъ желанья, воля, душа... Гдѣ найти для него дѣятельность? Любовь и дружба — бредни, добродѣтель — чадъ, слава — дымъ; свобода? Но развѣ она есть здѣсь въ нашемъ мѣрѣ? на свѣтѣ? Свободенъ одинъ Богъ. Одно лишь новое, нѣчто совершенно новое, не имѣющее въ себѣ ни малѣйшаго отпечатка человѣчества, могло бы удовлетворить поэта, который боленъ «омерзненіемъ» къ людямъ, который признаетъ, что гдѣ человѣкъ — тамъ нѣтъ великаго. Предъ чѣмъ благоговѣть здѣсь, на землѣ, гдѣ идеалъ — вдали звѣзда, чуть ли не солнце, а вблизи — вонючій запахъ сѣры, едва мерпающій огонь? Нѣтъ въ нашемъ

*) «Торквато Тассо», актъ 3-й, явленіе III, выходъ 2-й.

ирѣ для поэта ни мѣста, ни дѣла, и если вообще существуетъ роль, то достойная, то только одна—въ состязаніи съ самимъ Творцомъ. Иной разъ поэту кажется, что онъ дѣйствительно способенъ вдохнуть ачаю бытія въ цѣлый необработанный хаосъ. Ему грезится, что онъ можетъ создать такой міръ, которому позавидуетъ цѣлая вселенная. Слово «ужасъ» никогда не будетъ существовать въ этомъ вновь созданномъ мірѣ, въ немъ будетъ вѣчная весна, исчезнетъ въ немъ навсегда всякая злоба. Въ этомъ новомъ мірѣ долженъ жить и новый словѣкъ—душа вселенной. Пусть будетъ онъ безсмертенъ и вѣчно частливъ. Трудовъ никакихъ не будетъ—человѣкъ съ минуты самаго ожденія узнаетъ все и съ бытіемъ получить даръ всепознанія; онъ удетъ имѣть одни желанія, но страстей въ его душѣ не будетъ; грасти—язвы, всепожирающій огонь, зкидны. Ихъ не надо! Такъ считать иногда поэтъ, желая исправить ошибки Всевышняго. И эта ечта—его гибель, потому что такого міра нѣтъ, и онъ, если бы былъ изданъ, носилъ бы въ себѣ противорѣчіе. Поэтъ осужденъ жить въ ашени, а не въ иномъ мірѣ, и отъ всѣхъ мечтаній онъ долженъ робудиться на площади, среди большого европейскаго города, среди шумной толпы, иной разъ и пьяной, и грубой; среди этой пошлости адлежить ему и умереть подъ говоръ этихъ пигмеевъ въ платьѣ гоизма. Его предсмертныя страданія ужасны, въ особенности, если онъ знаетъ, что даже тѣмъ малымъ счастьемъ, которое человѣку на землѣ вступно, онъ не сумѣлъ воспользоваться. Ничтожества проситъ онъ своего генія передъ прощаніемъ съ жизнью. Онъ бонтся, что съ юей «живой душой» онъ даже небесный рай, куда онъ долженъ перемиться, обратитъ въ черную обитель страданія. Но геній беретъ его в небеса, и со смертью для него начинается новая жизнь. Онъ исполмъ свое назначеніе: онъ былъ залогомъ союза Бога съ человѣкомъ, гъ былъ свѣтиломъ для этого мрачнаго, мертваго міра, лампадой во мѣ грѣха, недугонъ и печали, хотя онъ и ненавидѣлъ этотъ міръ. вверъ, въ моментъ смерти, святой небесный огонь долженъ быть взятъ в свою отчизну. Душа поэта—душа земли; его величіе—величіе люи; его могила—вся вселенная. Даже его безумная мечта о новомъ ирѣ не пропадаетъ даромъ—она цѣлебный бальзамъ для души всегда мьваго человѣка *).

Далеко не всѣ изъ нашихъ романтиковъ ставили вопросъ о борьбѣ ичты и жизни на такую общую почву; писатель бралъ иногда столмюшенія менѣе рѣзкія, и тогда его этюды выигрывали въ психологи-

*) «Опыты Т.и.ф.». Слб. 1837. Часть 1, 1—61.

ческой правдѣ. Такъ, напр., поступалъ Н. А. Полевой, всегда готовый думать и говорить о позгѣ, объ искусствѣ, о красотѣ и объ ихъ назначеніи въ жизни. Въ своихъ романахъ и повѣстяхъ, касаясь этой темы, онъ останавливался преимущественно на столкновеніи артистической природы съ разными прозаическими сторонами дѣйствительной жизни. Разочарованія, на которыя осуждена въ жизни пылкая натура, и уколы, къ которымъ она такъ чувствительна—вотъ тотъ повседневный житейскій фактъ, съ которымъ Полевой никакъ не хотѣлъ помириться. Онъ изображалъ это печальное столкновеніе мечты и дѣйствительности также не безъ романтическихъ условностей, но все-таки стремился приблизиться къ правдѣ жизни. Въ его повѣстяхъ передъ нами люди, а не ходульные символы, и только одно можно этимъ людямъ поставить на счетъ, а именно ихъ не русское, а чисто нѣмецкое происхожденіе.

Краткая исторія жизни одной изъ такихъ артистическихъ натуръ дана намъ въ повѣсти Полевого «Живописецъ» *). Высокодобродѣтельная, божественнымъ дарованіемъ отиѣченная душа Аркадія—порывистая, готовая на все наброситься и тяготящаяся усидчивой работой—не находитъ среди людей ни мѣста ни дѣла. Естественное въ такихъ условіяхъ разочарованіе готово угасить въ немъ святую искру и, какъ всегда бываетъ, одна любовь, пылкая и всепоглощающая, кажется ему надежнымъ якоремъ спасенія. Онъ можетъ существовать только вдохновеніемъ страстей. Художникъ исчезнетъ въ немъ, если любовь имъ не овладѣетъ; она одна можетъ вознести его къ великому идеалу... Такъ думалъ онъ, но жизненная его загадка рѣшалась, однако, не такъ просто. Художника продолжало тяготить его вдохновеніе. Голова его наполнялась идеями, на воплощеніе которыхъ у него не доставало ни формъ, ни образовъ, ни выраженій. Какое-то безотчетное стремленіе владѣло имъ, и это стремленіе удовлетворенія съ собой не приносило. Онъ хотѣлъ вырубить весь Кельнскій соборъ однимъ ударомъ изъ одного камня и, конечно, долженъ былъ придти къ сознанію, что на землѣ такіа страсти утолить невозможно. И, наконецъ, то на что онъ въ жизни всего больше надѣялся—любовь, и она ему измѣнила, т. е. предметъ его страсти оказался не на высотѣ его требованій. Когда ему удалось создать свое первое произведеніе, написать «Прометея», онъ на выставкѣ своей картины могъ убѣдиться въ томъ ничтожествѣ, какое представляли изъ себя всѣ его суды. Кромѣ баналь-

*) «Мечты и жизнь». Были и повѣсти, сочиненныя Н. Полевымъ. 4 части. М. 1838. Часть II.

ностей, онъ ничего не услышалъ отъ нихъ, и первую банальность сказала его невеста. «Прелестно»,—отвѣтила она, глядя на этотъ шедевръ своего возлюбленнаго, на эту картину, «гдѣ Эскиль былъ переведенъ рукой Гёте, мнѣ первобытной Эллады проникнуть огнемъ всеобъемлющаго романтизма, событіе древней исторіи описано въ трагедіи Шекспира». И, съ довершеніемъ всего, дѣвица вышла замужъ за другого по волѣ своего родителя. Аркадія бѣжалъ въ Италію и тамъ скоро умеръ.

Этотъ же нехитрый сюжетъ разработалъ Полевой и въ своемъ романѣ «Аббадонна» *), который однимъ уже заглавіемъ показываетъ, изъ какихъ книгъ черпалъ нашъ авторъ свое вдохновеніе. Полевой, впрочемъ, не скрываетъ происхожденія своего героя и оставилъ ему его нѣмецкую фамилію. «Аббадонна»—романъ изъ нѣмецкой жизни, и герой его, поэтъ Рейхенбахъ—авторъ славной трагедіи «Армінія».

Содержаніе «Аббадонны»—варіація на тему извѣстнаго эпизода изъ «Мессіады» Клопштока; исторія чистой восторженной души, влюбленной въ грѣшную душу и готовой на всѣ жертвы, чтобы спасти ее. Такъ и поэтъ Рейхенбахъ, пламенный поклонникъ и родственникъ героевъ Шиллера, готовъ отдать свою жизнь, чтобы спасти великую актрису Элеонору изъ того оута свѣтской пошлости и разнузданности, въ которомъ она погрязла. Ради этого подвига любви, любви артиста къ женщинѣ и артистикѣ, онъ забываетъ чистую, скромную любовь, которая соединяла его съ вѣрной, прелестной, но безцвѣтной Генриэттой, его первой музой и свидѣтельницей первыхъ его литературныхъ успѣховъ. Тамъ, какъ видимъ, сентиментальная и старая, пересказанная, однако, Полевымъ занимательно и мѣстами очень драматично. Основная идея романа заключена, впрочемъ, не въ этомъ противопоставленіи двухъ сердечныхъ склонностей—любви поэтической, страстной и грѣшной и любви чистой, тихой и невинной. Пользуясь лишь этимъ драматическимъ положеніемъ для развитія самого разсказа, авторъ при каждомъ случаѣ выдвигаетъ другое противопоставленіе съ болѣе глубокимъ смысломъ—все ту же намъ хорошо знакомую антитезу мечты и существенности. Съ одной стороны, передъ нами поэтъ и артистка съ ихъ невыраженными и, можетъ быть, невыразимыми чувствами и душой, съ другой—вся житейская проза въ видѣ филистерскихъ бюргерскихъ семей, свѣтскаго пустого круга, педантической критики присяжныхъ литературныхъ судей и т. д.

«Для чего никогда не находилъ я въ мірѣ согласія и мира между

*) «Аббадонна». Сочиненіе Н. Полевого. Спб. 1840. 4 части (романъ началъ печататься съ 1835 г.).

жизнью и поэзией—спрашивает Рейхенбахъ—ни въ дѣтствѣ, ни въ юности, ни въ мастерскихъ отца, ни въ школахъ и училищахъ, ни въ семейной жизни, ни тамъ, гдѣ люди отвели особенный участокъ искусству, въ ученыхъ обществахъ, театрахъ, галереяхъ статуй и картинъ,—не находилъ его ни въ буйномъ разгулѣ жизни, ни въ хижинѣ бѣднаго, ни въ чертогахъ богача, ни между людьми, которые называютъ себя поэтами и художниками—нигдѣ, нигдѣ? И вездѣ искусство и поэзія—ремесло, забава досуга или глупость, безразсудство. Но вѣдь есть, однако-жъ, въ человѣкѣ особенное чувство искусства и поэзіи? Но вѣдь Богъ отдѣлилъ же ему цѣлую треть души человеческой? Но искусство свѣтлѣетъ, однако-жъ, именами Шекспира, Рафаэля, Моцарта, Микель-Анджело? Что же такое все это? Не потому ли, что безъ цѣли, безъ плана жизни, безъ отчета въ своемъ вдохновеніи, въ вѣчной борьбѣ съ самимъ собою, поэтъ, обдѣленный въ раздѣлѣ всего того, что судьба даетъ душѣ человѣка на землѣ, упавъ съ неба и бродитъ здѣсь между людьми съ неясной и недостижимой идеею неба, между тѣмъ какъ всѣмъ другимъ есть дѣло на землѣ и съ землею кончится это дѣло для всѣхъ другихъ. Юристъ судитъ, купецъ торгуетъ, крестьянинъ пашетъ, ремесленникъ шьетъ, кроитъ, куетъ, солдатъ дерется. А что дѣлаетъ художникъ и поэтъ? Глотаютъ дымъ мечтаній или подслуживаются другимъ изъ насущнаго хлѣба...» Такъ жаловался нашъ поэтъ и иногда въ этихъ жалобахъ терялъ нить мыслей и впадалъ въ какой-то восторгъ отчаянія. «Природа! Люди!—восклидалъ онъ, протягивая руки.—О! ради Бога, душу моей душѣ, сердце моему сердцу, любовь моей любви! Нѣтъ отвѣта—все безмолвствуетъ!» «Осень жизни міра, осень бытія человѣка! Неужели ты наступила для насъ? Неужели Наполеонъ, Гёте, Байронъ, В. Скоттъ, вы всѣ, великіе, вдругъ улетѣвшіе изъ міра, какъ ласточки, улетающія осенью, предсказываете намъ холодную осень? И воевъ буря осенняя! И всѣ мечты, всѣ созданія оставшихся бѣдняковъ, всѣ наши мелкіе помыслы—ласточки, пожелтѣлыя на грязной, холодной, застывшей почвѣ міра!..» «Да, во многомъ виноваты нашъ вѣкъ, нашъ промышленный, индустріальный вѣкъ. Нашъ вѣкъ—монета, истертая употребленіемъ, обрѣзанная, вытравленная жидами и иѣновщиками».

«Мы родимся холодно, систематически; мы плачемъ въ нашей колыбели, а не производимъ звуковъ гармоническихъ. Пчелы не летаютъ нынѣ на уста младенца-поэта со своимъ медомъ: гдѣ отыскать имъ колыбель его въ нашихъ городахъ! Только любовь могла бы еще воспламенить поэта на созданія чудныя...» Но, какъ показывается мораль нашего романа, для пылкой души крестя и въ любви родникъ великихъ несчастій.

Вариации этой мелодраматичной темы безконечны. Въ большинствѣ случаевъ писатель, за недостаткомъ глубокихъ мыслей и тонкихъ чувствъ, впадалъ въ шаблонную риторику и перекраивалъ на свой ладъ чужія положенія, вычитанныя у иностранныхъ романистовъ. Но эта истрепанная тема оживала, когда авторъ, вмѣсто того, чтобы обобщать типы, придавалъ имъ болѣе реальный и мѣстный характеръ, въ особенности когда онъ вводилъ въ разсказъ элементъ социальный. Въ повѣсти «Художникъ» уже знакомаго намъ Тимофѣева и въ разсказѣ «Именины» Н. Ф. Павлова передъ нами двѣ такихъ попытки разнообразить этотъ старыи романтическій сюжетъ именно такимъ новымъ общественнымъ мотивомъ.

«Художникъ» Тимофѣева (1833) не свободенъ отъ того романтическаго перенапряженія чувствъ, которыми всегда грѣшили этотъ искаженный эффектъ. Въ одиннадцать лѣтъ его художникъ хотѣлъ уже разгадать тайну сотворенія вселенной и считалъ себя существомъ чужимъ для людей, заброшеннымъ въ здѣшній свѣтъ изъ чужого міра. Его мечты всегда были наполнены необыкновеннымъ и чудеснымъ. То онъ предводительствовалъ отважными шайками, свершалъ геройскіе подвиги, то уносился въ какой-нибудь новосозданный міръ и населялъ его своими идеалами, то спускался въ адъ и завоевывалъ тронъ Велесула и съ подземнымъ воинствомъ шелъ противъ вселенной; онъ видѣлъ, какъ горы таятъ, рѣки улетаютъ парами, земля съ трескомъ разваливается на части... Дымъ и сирадъ, громъ и буря, всеобщее разрушеніе — и посреди этого хаоса — онъ!.. Онъ любилъ также рогуливаться по карнизамъ развалившихся строеній или бѣгать по срунамъ колодезей... Онъ обнаруживалъ, какъ видимъ, самую эксцентричную риничку и необыкновенный складъ ума и фантазія, и все это здѣсь, среди гогова міра, окруженный людьми, этими жалкими, смѣшными и, между тѣмъ, прелестными, величественными созданіями, среди нихъ, среди гогова великолѣпнаго храма, возносящагося главою до небесъ и стоящаго на гусиныхъ лапкахъ! И поэтъ былъ осужденъ въ этомъ мірѣ искать красоты и истины, истины, которая здѣсь, на землѣ, какъ «отвертѣемое, покрытое грязью и въ лохмотьяхъ существо ютится, свергнувшись клубкомъ въ отверстіи какого-то мрачнаго грота». Чего ему искать у людей—онъ всегдъ чужой, онъ гость среди нихъ. Явится, съжметъ кометой по ночному небу, и вѣтъ его. Горитъ комета, толпа пляшетъ се, упрекаетъ, ищетъ въ ней пророчества ужаснѣйшихъ несчастій; потухла—потомство дивится глупости толпы и дѣлаетъ точно то же. А между тѣмъ, художнику болѣе, нежели кому-либо, надобно жить человекомъ. Решительная воля, пламенная страсть, возвышенная

душа, здравый разумъ и чувствительное сердце—вотъ его необходимыя принадлежности. Сердце художника—термометръ, зеркало, въ которомъ отражаются всѣ люди, весь мѣръ, земля и небо!»

Какъ жить съ такимъ даромъ въ нашентъ мѣръ? И несчастный «баловень судьбы», поэтъ, обреченъ на всѣ терзанія. Создалъ онъ картину, написалъ и онъ своего «Прометея», и судъ глупцовъ и толпы—его награда. Хотѣлъ онъ продать свою картину, ее стали мѣрить на аршины, и она была куплена съ условіемъ, что художникъ поправитъ небольшія погрѣшности, замѣченныя въ ней не покупщикомъ, а его французскимъ учителемъ, служившимъ два года сторожемъ при берлинской картинной галлерей! Нужда заѣдала художника. Имущество его описали, съ квартиры его выселили; у него остался одинъ комодъ, который онъ взвалилъ на извозчика и свезъ на площадь. Онъ взялъ лоскутъ бумаги, написалъ на немъ «квартира художника», привязалъ этотъ лоскутъ къ песту, воткнулъ шесть гвоздѣвъ комода и пошелъ бродить по улицамъ. Онъ днями не ѣлъ, за-то пилъ, сколько дунѣвъ угодно, потому что изъ Невы вода отпускается даромъ. Вся жизнь его была рядомъ лишеній и страданій, и физическихъ, и духовныхъ, и одна только любовь могла согрѣть его изстрадавшееся сердце. Но эта любовь его окончательно погубила, не по его винѣ, даже не по винѣ того, кого полюбилъ онъ. Нашъ художникъ — и въ этомъ заключается вся оригинальность замысла Тимофѣева—былъ незаконнорожденный. Онъ не зналъ, кто его отецъ и мать, хотя, въ концѣ концовъ, нашелъ своихъ родителей. Свою мать онъ встрѣтилъ на улицѣ.—нищей, развратной и преступной женщиной, а его отецъ оказался помѣщикомъ той усадьбы, гдѣ онъ родился. Дѣтство его было ужасно. Онъ жилъ въ какой-то грязной избѣ, въ сору, вмѣстѣ съ овцами и коровами; онъ былъ предметомъ презрѣнія всей дворни. Псаря травили его собаками, кучера заставляли прыгать черезъ палку, прихлестывая кнутомъ; повара обливали помоями. Онъ не могъ понять, почему тѣ же самые люди, которые отгоняли его отъ себя кнутомъ и травили собаками, ласкали ихъ и кормили разными лакомствами. Величайшимъ его удовольствіемъ сдѣлалось уединеніе. Поздно вечеромъ онъ возвращался въ деревню и, прокравшись черезъ гумна въ какую-нибудь избу, утаскивалъ кусокъ хлѣба и снова бѣжалъ въ поле. Ночь проводилъ онъ гдѣ случалось, подъ плетнемъ, въ стогѣ сѣна, въ помойной ямѣ. Первое существо, которое приняло въ немъ участіе, была собака... Наконецъ, случайно прогуливавшійся баринъ заинтересовался узнать кто онъ, и тайна рожденія его открылась. Онъ поступилъ въ число дворни и сталъ лакеемъ своего родителя. Помѣщикъ былъ любитель живо-

ки, и вотъ, однажды взглянувъ въ грустную минуту на висѣвшую въ его ишатъ Рафаэлю Мадонну, лакей понялъ, въ чемъ его призваніе. Онъ палъ жить новой жизнью, и образъ Мадонны не покидалъ его. Помѣникъ оказался все-таки настолько добрымъ человѣкомъ, что позволить лакею учиться вѣстѣ со своими дѣтьми, съ его сыномъ и дочерью; успѣхи несчастнаго мальчика обратили на себя вниманіе его тца, и когда онъ замѣтилъ въ немъ страсть къ рисованію, онъ далъ ему возможность учиться этому искусству. Двѣнадцати лѣтъ его свезли въ губернскій городъ и отдали въ выучку какому-то старику академику. У него провелъ онъ восемь лѣтъ и художникомъ вернулся къ бѣ на родину. Его отецъ уже умеръ; имѣніемъ правилъ его братъ, къ нему поступилъ онъ въ качествѣ: домашнего живописца. Жизнь шла трудная, полная униженій; новый баринъ былъ вспыльчивъ и отрѣлъ на искусство, какъ на ремесло, и за то, что художникъ пови-лъ свое призваніе иначе и защищалъ свои права, его братъ однажды указалъ его высѣчь. Онъ чуть не сошелъ съ ума, но судьба на которое время спасла его для искусства... именно—на время, такъ гъ иная, неизлечимая рана разъядала его сердце. Онъ былъ влюб-тъ, безумно влюбленъ въ дочь своего отца, въ свою сестру, кото-о онъ полюбилъ еще тогда, когда они вѣстѣ играли и учились... въ встрѣтился съ ней потомъ, когда уже сталъ художникомъ на-ящимъ, но не нашелъ въ ней не только отзыва на свои чувства, даже пониманія своихъ стремленій, какъ художника... Сумасшедшій п. пріютилъ эту мятежную душу.

Не будь этой социальной тенденціи, проведенной въ повѣсти очень льно и ярко, рассказъ Тимофѣева былъ бы очень ординарнымъ сказомъ стараго. Общественная тенденція придаетъ этому рассказу которое историческое значеніе, такъ какъ, за вычетомъ всѣхъ ро-гическихъ условностей и негѣпостей, въ немъ остается большая доза вды о положеніи многихъ и очень многихъ талантливыхъ натуръ, оставшихъ въ томъ или иномъ подневольномъ состояніи *).

Съ еще бѣльшей смѣлостью освѣщено подневольное положеніе та-гливой натуры въ повѣсти Н. Ф. Павлова «Именины» **). Эта повѣсть, стѣ съ двумя другими («Аукціонъ» и «Ятаганъ»), которыя Павловъ лъ въ 1835 году, надѣлала много шума. Цензура обратила на шикъ свое особое вниманіе, и онъ заслужилъ даже высочайшее рбреніе. Дѣйствительно, изъ всѣхъ рассказовъ тѣхъ годовъ, по-

*) «Опыты Т. и. Ф. а.», часть II, 1—181.

**) «Три повѣсти» Н. Ф. Павлова, Москва, 1835.

вѣсть «Именины» была самая тенденціозная и касалась самаго большого общественнаго вопроса. Эта была исторія жизни одного крѣпостнаго музыканта, исторія по своему глубокому трагическому смыслу упредившая извѣстную повѣсть Герцена «Сорока-Воровка». Авторъ не столько описывалъ, сколько рассуждалъ или, вѣрнѣе, наводилъ читателя на раздумье. Началъ онъ свою повѣсть съ очень для того времени характернаго замѣчанія: «Человѣки вездѣ равно достойны вниманія—говорилъ Павловъ — потому что въ жизни каждаго, кто бы онъ ни былъ, какъ бы ни провелъ свой вѣкъ, мы встрѣтихъ или чувство, или слово, или происшествіе, отъ которыхъ повникаеть голова, привыкшая къ размышленію. Приглядись къ мирному жильцу земли, къ послѣднему изъ людей,—въ немъ найдешь пишу для испытующаго духа, точно также какъ въ человѣкѣ, который при глазахъ цѣлаго міра пронесется на волнахъ жизни изъ края въ край...» Писать такъ въ годы торжества романтики—значило предчувствовать наступленіе той литературы, которая займется изображеніемъ самыхъ простыхъ и самыхъ сѣрыхъ людей,—и жизнь такого простого, съ виду сѣраго человѣка рассказалъ авторъ и показалъ намъ, сколько смысла и чувства въ такой жизни было...

Герой разсказа—музыкантъ и пѣвецъ—былъ крѣпостной по рожденію; на мѣдныхъ дьявги учили его грамотѣ, и санъ дьячка былъ границей его честолюбія. Но въ одинъ день, съ котораго началось его второе рожденіе, ему осмотрѣли зубы и губы; по осмотру заключили, что онъ—флейта, отчего и отдали учиться на флейтѣ. Его готовили въ куклы для прихотливой скуки, для роскошной праздности, но музыка спасла своего питомца: музыкальныя способности въ немъ развернулись. Много лѣтъ прошло, какъ мало-по-малу онъ началъ знакомиться съ извѣстными артистами въ Москвѣ, бросилъ флейту, оказалъ большіе успѣхи на скрипкѣ и на фортеціано, наконецъ, пѣніе сдѣлалось его исключительнымъ занятіемъ. Любители музыки дорожили его дарованіемъ, но онъ былъ для нихъ машина, которая играетъ и поетъ, къ которой во время игры и пѣнія стоятъ лицомъ, а послѣ поворачиваются спиной. Его хвалили, но эта похвала пахла милостью. Однажды впрочемъ случай свелъ его съ пламеннымъ поклонникомъ искусства, который его, выброшеннаго изъ числа людей, полюбилъ какъ брата. Крѣпостному было ново, неловко, когда его другъ при гостяхъ заводилъ съ нимъ разговоръ или просилъ садиться. «Вѣрнѣе—признавался нашъ художникъ—что не смѣть сѣсть, не знать, куда и какъ сѣсть—это самое мучительное чувство!» Этотъ благородный любитель искусствъ далъ ему средство совершенствовать свой талантъ, заставляя его читать книги; во книги

мзорблили крѣпостного: онѣ все говорили ему о другихъ и ничего о немъ самомъ. Онѣ видѣлъ въ нихъ картину всѣхъ правовъ, всѣхъ трастей, всѣхъ лицъ, всего, что движется и дышетъ, но нигдѣ не стрѣтилъ себя: онѣ былъ естественъ, исключеннымъ изъ книжной ереписи людей, нелюбопытное, незанимательное, о которомъ нечего казать и котораго нельзя испомнить—онѣ былъ хуже, чѣмъ убитый одасть, заколоченная пушка, переломанный штыкъ или порванная труна... Человѣкъ, отъ котораго онѣ «зависѣлъ», долженъ былъ однако хать въ свое имѣніе, и съ нимъ имѣстѣ уѣхалъ и нашъ музыкантъ. ѣ счастью, по сосѣдству съ имѣніемъ его барина находилась и усадьба го благодѣтеля. Въ качествѣ пріѣзжаго музыканта онѣ сдѣлался де-зевскимъ учителемъ, и въ усадьбахъ ему оказывали больше почета, ѣль въ столицѣ, потому что никто не зналъ тайны его рожде-ія. Здѣсь, въ деревенской глуши, встрѣтился онѣ съ одной пріѣзжей ыришней, музыкантшей-пѣвицей, на вечерѣ, куда онѣ былъ пригла-сѣтъ аккомпанировать. Александрина ему поправилась. «Впрочемъ,—мзнавался онѣ,—я не могу сказать, что она поправилась мнѣ; съ сло-мъ *мрачиться* соединяется какая-то мысль о равенствѣ... Я смотрѣлъ нес, какъ на картину, которая не продается, которую нечѣмъ ку-пѣтъ; какъ на ноты, по которымъ предсказывалъ себѣ волшебное со-асіе ихъ звуковъ: смотрѣлъ, не какъ человѣкъ, а какъ музыкантъ...» ь эту богиню любовался онѣ однажды издалека, за обѣдомъ, сидя на уни-ельномъ краю стола. Одинъ изъ гостей, худощавый человѣкъ и по ду пречувствительный, любитель музыки, разговаривалъ со своимъ сосѣ-мъ: «А я сегодня обработалъ славное дѣло,—сказалъ онѣ.—продалъ ухъ музыкантовъ по тысячѣ рублей штуку...» «Вы понимаете, чего ѣ хотѣлось,—признавался нашъ музыкантъ автору повѣсти,—но не то ло время». Онѣ полюбилъ Александрину, и она его: искусство ихъ мнимо, и первое время въ чаду увлеченія артистъ забыть, кто онѣ. ѣ очулся, когда услышалъ признаніе изъ ея усть, и тутъ пришлось у открытъ свою тайну... Ему впрочемъ блеснулъ было лучъ спасенія: его ятели и благодѣтель готовъ былъ купить его у помѣщика, но по-щикъ не могъ продать его, такъ какъ проигралъ въ карты деревню, которой онѣ былъ приписанъ, и его самого... «Я помню,—разказы-пъ артистъ, что я очутился въ спальнѣ моего барина... Лампада теп-мсь передъ образомъ, и первые лучи утренней зари прокрадывались изъ закрытые ставни. У меня въ рукѣ была бритва. Я смѣло по-велъ къ кровати, съ отнагой убійцы отдернулъ занавѣсъ, но... я ьрью правду—рука моя опустилась прежде, чѣмъ я увидѣлъ, что въ едѣи никого не было. Да, у меня не достало бы силы на такое дѣло...

я долженъ благодарить Провидѣніе, что мой баринъ не ночевалъ дома: онъ проигрывалъ послѣднее и проигралъ». На другой день музыкантъ бѣжалъ переодѣтый, съ дѣлюю пойти въ солдаты или кончить жизнь самоубійствомъ. Онъ бродилъ, какъ Кайтъ, по Россіи. Голая, осенняя земля бывала часто ему постелью, а засохшій хлѣбъ—пищею... Его взяли, наконецъ, какъ безпаспортнаго, и привели къ исправнику. Исправникъ прежде допроса схватилъ его за воротъ и замахнулся; «но Богъ спасъ насъ обоихъ—разсказывалъ артистъ,—блюститель благочинія и порядка вѣрво хотѣлъ только начать, съ чего слѣдуетъ, и пострадать меня, но не ударить; а я видѣлъ уже минуту, какъ неумѣстный судья полетитъ вверхъ ногами къ подножію зеркала». Но наступилъ наконецъ и для него часъ искупленія. Онъ былъ приговоренъ въ солдаты и поступилъ въ арестантскія роты. «Я дышалъ свободно,—разсказывалъ онъ,—я смотрѣлъ смѣло, меня уже не пугала барская прихоть; я сдѣлался слугою не людей, но смерти»,—и онъ пошелъ на войну. Съ поэтическимъ трепетомъ увидѣлъ онъ въ первый разъ то поприще, гдѣ падаютъ люди не по выбору, а кто попадется, гдѣ презрѣніе къ жизни можетъ задушить человѣческое идеоріятіе и поставить первымъ того, кто стоялъ послѣдній... Онъ былъ украшенъ затѣмъ георгіевскимъ крестомъ и дослужился до офицерскаго чина.

Таково содержаніе самой сѣлой по замыслу повѣсти тридцатыхъ годовъ. Изъ всѣхъ разсказовъ, въ которыхъ дѣйствующими лицами являлись художники, это была единственная повѣсть, въ которой противорѣчіе мечты и дѣйствительности было понято въ самомъ непосредственномъ смыслѣ и схвачено съ его самой грубой, но вѣстѣ съ тѣмъ самой реальной стороны. Конечно, это было противорѣчіе устранимое, тогда какъ то духовное противорѣчіе, о которомъ такъ часто говорили тогда писатели, было неизлѣпимымъ и вѣчнымъ.

На этотъ интересъ писателей къ темамъ объ искусствѣ и о психическомъ мірѣ: его служителя Гоголь, какъ извѣстно, также откликнулся. Помимо теоретической разработки вопроса, съ которой мы уже знакомы, нашъ писатель попытался изложить свое артистическое исповѣданіе въ формѣ повѣсти. Онъ написалъ свой знаменитый разсказъ «Портретъ» (1835), разсказъ, имѣющій двойное значеніе, художественное и философское—какъ разработка извѣстной общей темы и, кромѣ того, автобіографическое, какъ личное признаніе.

Надъ этою повѣстью Гоголь трудился долго, часто ее передѣлывалъ и въ сороковыхъ годахъ написалъ ее почти-что заново, что ука-

зность на особое значеніе, какое онъ придавалъ ей. Если въ выборѣ сюжета и во внѣшнемъ мотивѣ повѣсти, т.-е. въ освѣщеніи противорѣчія истиннаго искусства и ремесла, и въ исторіи о таинственномъ портретѣ, въ которомъ заключена частица души оригинала, съ котораго онъ списанъ, нашъ писатель, по всѣмъ вѣроятіямъ, былъ связанъ известными литературными традиціями и воспоминаніями*), то въ разработкѣ идейной темы и, главнымъ образомъ, въ развитіи двухъ основныхъ ея мыслей Гоголь былъ былъ вполне оригиналенъ и субъективенъ.

Въ повѣсти было мало бытовыхъ чертъ, а мотивъ социальный со-всѣмъ отсутствовалъ. «Портретъ» — рассказъ общаго типа, въ которомъ можно было безъ нарушенія правдоподобности замѣнить всѣ русскія имена лицъ и мѣста иностранными. Скажемъ больше: при такой за-дѣйствительности повѣсть выиграла бы въ стилѣ, такъ какъ она написана въ духѣ западной романтики и специально нѣмецкой. Не будь въ ней историч. мыслей, выстраданныхъ самимъ Гоголемъ, можно было бы подумать, что онъ написалъ ее, вспоминая Гофмана или Тика.

Въ повѣсть включено два эпизода: рассказъ о гибели таланта художника Черткова и рассказъ о страшномъ ростовщикѣ. При всей внимательности этихъ двухъ эпизодовъ и мастерствѣ, съ какими они изложены, не въ нихъ смыслъ повѣсти. Легенда о ростовщикѣ и об-вѣстившихъ — простая сказка, а исторія гибели художника — подтверж-деніе старой мало интересной истины о томъ, что нельзя служить Богу мамонѣ, что погоня за усѣихомъ и служеніе святому, истинному при-вѣщанію трудно примиримы.

Когда злой гевій шепчетъ художнику: «Ты думаешь, что дол-женъ усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь завидное право кинуться съ заакіенскаго моста въ Неву или, завязавъ шею платкомъ, повѣ-тяться на первомъ гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, купивъ тебѣ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную розу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается на свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего рода! Бери все, что ни закажутъ; но не любляйся въ свою ра-боту, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь

*) См. И. Шлякинъ. «Портретъ» Гоголя и «Мельмотъ-скиталецъ» Матюрина. Литературный Вѣстникъ 1902, I, 66—68.

не останавливается. Чѣмъ больше смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и славы» — когда злой геній шепчетъ эти слова, онъ повторяетъ то, что всегда говорилось всѣми искусствителями.

Немного новаго, хотя много красиваго, давали и тѣ страницы повѣсти, на которыхъ Гоголь стремился передать читателю впечатлѣніи истиннаго, высокаго вдохновенія и искусства. Припомнимъ одну страничку, и тотъ, кто имѣлъ случай читать романтическія повѣсти тридцатыхъ годовъ, найдетъ въ словахъ Гоголя много знакомаго, хотя, конечно, долженъ будетъ признать силу этой красивой и патетической рѣчи.

«Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невіста, стояло передъ нимъ (Чертковымъ) произведеніе художника. И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя мысль о томъ, чтобы показаться черни, — никакой, никаких! Ово возносилось скромно. Ово было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и, изумленные столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; и все это было заброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ ослѣпившей его мысли. Вся картина была мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію».

Никогда, говоря объ искусствѣ, Гоголь не возвышался до такой красоты выраженія, и если невыразимое, дѣйствительно, поддается до извѣстной степени выраженію, то такая степень на этой страницѣ достигнута, и въ писателѣ чувствуется и творецъ изящнаго, и удивительно тонкій его цѣнитель.

Но не эти страницы въ «Портретѣ» самыя цѣнныя. Есть въ этой повѣсти двѣ мысли, которыхъ мы не встрѣтимъ въ однородныхъ повѣстяхъ того времени, и мысли очень важныя въ исторіи развитія взглядовъ самого Гоголя на искусство. Одна мысль касается вопроса о степени приближенія искусства къ жизни, т. е. о границахъ истиннаго реализма въ художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности.

Гоголь описывает впечатлѣніе, произведенное таинственнымъ портретомъ на художника: «Чертковъ—разсказываетъ онъ—съ жадностью ухватился за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея пораженный страхомъ. Тѣмные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вѣстѣ жертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе глаза... Не смѣя думать о томъ, чтобы взять портретъ съ собою, Чертковъ выбѣжалъ на улицу. «Что это?» думалъ онъ самъ про себя: «искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, возможную границу для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность, та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ всей оси какинъ-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ южомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго чело-вѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ людо, ижьющее черезчуръ сладкій вкусъ?» Но это было, во всякомъ случаѣ, произведеніе искусства, «которое, хотя оно было не окончено, однако носило на себѣ рѣзкій призывакъ могущественной кисти; но, при этомъ томъ, эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Всѣ чувствовали, что это верхъ тѣмны, что изобразить ее въ такой степени можетъ только гений, и что этотъ гений уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли живописца».

Если мы вспомнимъ, что въ тѣ годы, когда «Портретъ» былъ написанъ, въ талантѣ Гоголя происходила упорная борьба его романтическихъ усомнѣній со все болѣе и болѣе созрѣвавшей въ немъ способностью реального воспроизведенія дѣйствительности, то эти размышленія художника къ границамъ приближенія искусства къ жизни приобрѣтаютъ особое значеніе. Талантъ Гоголя, дѣйствительно, начиналъ приближать художника къ чертѣ, которая отдѣляетъ искусство отъ самой жизни. Съ каждымъ онъ анатомическая зоркость его артивстическаго взгляда возрастала.

Жизнь теряла тотъ постепенный привлекательный образъ, который она имѣла, когда художникъ смотрѣлъ на нее взглядомъ романтика; грязь и грѣховность этой жизни переходила на страницы созданій поэта. У него — строгаго моралиста отъ рожденія — могла явиться мысль, не служить ли искусство самому грѣху, когда такъ правдиво его воспроизводитъ? Эту робкую, тревожную мысль онъ и высказалъ въ своемъ «Портретѣ». Предчувствовалъ ли онъ, что со временемъ онъ въ ней укрѣпится и все созданное имъ въ реальномъ стилѣ сочтетъ грѣхомъ передъ человечествомъ и въ частности передъ русской жизнью? Пока эта мысль была высказана лишь въ видѣ догадки, и, увлекимый своимъ талантомъ, Гоголь не давалъ ей власти надъ своимъ творчествомъ. Онъ, наоборотъ, старался, чтобы именно частица жизни, самой будничной, оставалась въ его созданіяхъ. Онъ не убѣгалъ грѣха жизни, а шелъ ему смѣло навстрѣчу. Но замѣчательно все-таки, что именно въ годы этого смѣлаго творчества такая мысль остановила на себѣ его вниманіе.

Въ томъ же «Портретѣ» Гоголь высказалъ и другую мысль, которой также суждено было со временемъ восторжествовать въ его творчествѣ. Это была мысль о религіозномъ призваніи искусства и поэта въ жизни — мысль старая, нѣмецкая по происхожденію. Художникъ, написавшій знаменитый портретъ ростовщика — который былъ не кто иной, какъ самъ антихристъ — долженъ былъ искупить свой грѣхъ — свой невольный грѣхъ артиста. Онъ и искупилъ его постомъ и молитвой, имоческой жизнью и своимъ же искусствомъ, которое онъ всецѣло посвятилъ Богу. Міръ дѣйствительный далеко отошелъ отъ него, и ему здѣсь на землѣ уже свѣтилъ міръ небесный. Стоя на краю могилы, раскаявшійся художникъ говорилъ своему сыну: «Дивись, мой сынъ, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помысловъ. Горе, сынъ мой, бѣдному человечеству... Но слушай, что мнѣ открыла въ часъ святого видѣнія сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лица Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты ея, я былъ посѣщенъ вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣнила меня, и ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волосы мои, и душа вся трепетала. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый

ликъ Дѣвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ вѣчно». Случай, рассказанный въ «Портретѣ», конечно, случай исключительный, и портретъ, списанный простодушнымъ художникомъ съ антихриста могъ требовать отъ него покаянія; но, читая эту повѣсть и припоминая нѣкоторыя мысли, которыми Гоголь былъ занятъ въ послѣдніе годы своей жизни, нельзя опять не подивиться странныхъ совпадений... Гоголя, какъ извѣстно, преслѣдовали списанные имъ съ натуры портреты; онъ думалъ, что онъ совершилъ тяжкій грѣхъ, отдавшись свободно своему вдохновенію, онъ вѣрилъ, что на немъ лежитъ обязанность искупить все имъ сотворенное ценой творческой работой, и онъ у Бога также просилъ вдохновенія, чтобы Онъ помогъ ему на новомъ пути уже не простого воспроизведенія дѣйствительности, а ея воссозданія въ идеальныхъ образахъ. Постомъ и молитвой замаливалъ и Гоголь свой грѣхъ реалиста-художника.

Но все это случилось значительно позже; въ серединѣ тридцатыхъ годовъ эта религиозная мысль лишь промелькнула въ «Портретѣ», не возбудивъ пока особенно сильной тревоги въ душѣ благочестиваго художника.

Вопросъ о трагической участи непримиреннаго съ жизнью поэта поставленъ и освѣщенъ Гоголемъ въ повѣстяхъ «Невскій проспектъ» (1834) и «Записки сумасшедшаго» (1833—34).

Обѣ повѣсти имѣютъ также двойное значеніе въ творчествѣ Гоголя... Онѣ любопытны, во-первыхъ, по той основной мысли о разладѣ мечты и дѣйствительности, мысли, котоія составляла для нашего автора всегда предметъ самыхъ упорныхъ и печальныхъ раздумій; во-вторыхъ, важно въ нихъ то, что эта идея, которую современники Гоголя почти всегда старались освѣтить съ ея сентиментальной и романтической стороны, развита и воплощена Гоголемъ въ образахъ самыхъ реальныхъ, житейски-правдивыхъ, безъ всякаго повышенія тона и настроенія. Обѣ повѣсти—примѣръ того, какъ быстро развивался въ Гоголѣ талантъ бытописателя. Въ нихъ этотъ талантъ проступаетъ ярче внаружу, чѣмъ даже въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ», гдѣ спокойный идилическій тонъ съ умысломъ такъ ровенъ и однообразенъ. Въ «Невскомъ проспектѣ» и въ «Запискахъ сумасшедшаго» тонъ постоянно мѣняется, переходя отъ патетическаго къ рѣзко комическому, всегда въ соотвѣтствіи съ изображеннымъ лицомъ и положеніемъ, т.-е. въ соотвѣтствіи съ житейской правдой. Сколько, напр., жанровыхъ картинокъ и замумительно вѣрныхъ силуэтовъ разбросано на тѣхъ страницахъ, гдѣ

Гоголь описывает Невскій проспектъ въ различные часы дня и ночи, гдѣ онъ описываетъ бытъ ремесленниковъ, офицерскую жизнь, жизнь художниковъ и притоны разврата. Разнообразіе удивительное—при той краткости, съ какой обрисованы всѣ типы и положенія. Недаромъ Пушкинъ называлъ «Невскій проспектъ» самымъ полнымъ изъ сочиненій Гоголя, желая, вѣроятно, этимъ сказать, что до этой повѣсти ни въ одномъ изъ своихъ произведеній Гоголь не обнаружилъ такого богатства настроеній, тоновъ, красокъ, позъ, профилей и портретовъ. Такъ же точно и въ «Запискахъ сумасшедшаго» передъ нами на маломъ количествѣ страницъ—цѣлый романъ изъ департаментской жизни чиновъ высшихъ и низшихъ.

Основная идея обѣихъ повѣстей—все та же мысль о борьбѣ художника съ прозою жизни, борьбѣ жестокой, полной страданій, которая почти всегда кончается гибелью дерзкаго, возмущившагося противъ дѣйствительности человѣка.

Въ «Невскомъ проспектѣ» самъ авторъ неоднократно наводитъ читателя на эту основную идею своего произведенія. «О! какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты?» «Боже! что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!»—говоритъ самъ Гоголь, задумываясь надъ судьбой своего героя; и, заканчивая свою повѣсть, онъ повторяетъ тотъ же возгласъ, но только не въ патетическомъ, а въ полушутливомъ тонѣ: «Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснѣйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замѣчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пѣшкомъ и довольствуется только только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводить рысака. Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ (не можетъ пропустить; другой имѣетъ ротъ величиною въ арку Главнаго штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какими нибудь нѣмецкимъ обѣдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!»

Насъ не долженъ смущать этотъ юмористическій тонъ, которымъ авторъ стремится себя утѣшить и которымъ онъ смягчаетъ грустное впечатлѣніе своего разсказа. Разсказъ о художникѣ Пискаревѣ, дѣйствительно, очень печаленъ, и веселый анекдотъ объ его товарищѣ Пироговѣ только ярче отбѣняетъ всю трагедію несчастнаго мечтателя, который ду-

нагъ найти свой идеалъ на Певскомъ проспектѣ и, идя слѣдомъ за этимъ идеаломъ, очутился въ самомъ грязномъ притонѣ. Но и безъ этой фатальной встрѣчи нашъ кѣжливый и тихій мечтатель-художникъ— фигура трагическая. «Художникъ въ землѣ свѣговъ, художникъ въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, тумани! Какъ часто питаетъ онъ въ себѣ истинный талантъ, и если бы только дунулъ на него свѣжій воздухъ Итали, онъ бы, вѣрно, развился такъ же волею, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ конюшни на чистый воздухъ». У него, жителя сѣвера, мечта можетъ разыграться не хуже, чѣмъ у его южныхъ братьевъ. Отъ такой мечты, отъ такого сновидѣнія и погибъ нашъ мечтатель, который хотѣлъ день обратить въ ночь, жизнь въ сонъ, чтобы не разлучаться со своимъ идеаломъ, мечтатель, который рѣшился было облагородить житейскую грязь своимъ прикосновеніемъ къ ней и, наконецъ, въ самоубійствѣ нашелъ примиреніе съ жизнью.

Читая эту повѣсть, можно, конечно, задуматься надъ сравнительно ничтожнымъ мотивомъ, который избралъ авторъ, какъ предлогъ для такой душевной катастрофы. Можно удивиться, что изъ всѣхъ противорѣчій идеала в жизни, противорѣчій, такъ сильно отзывающихся на душѣ поэта, Гоголь остановился именно на этомъ рѣзкомъ контрастѣ внѣшней жевской красоты и душевнаго безобразія и грязи. Контрастъ въ его изображеніи вышелъ, дѣйствительно, очень рѣзкій. Женщина, паденіе которой повлекло за собой гибель художника, была съ внѣшней стороны идеаломъ красоты, на описаніе которой нашъ авторъ не поспешилъ. «Боже, какія божественныя черты!—писалъ онъ въ своемъ старомъ повешенномъ стилѣ.—Ослапительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ осыненъ былъ прекрасными, какъ агаты, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тропутой тонкимъ, свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роемъ прелестнѣйшихъ грезъ. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе при свѣтящейся лампадѣ,—все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ...»

Гоголь имѣлъ свои основанія, когда всю загадку жизни художника сосредоточилъ на его любви къ этой красавицѣ. Надо знать, какъ въ тѣ годы, да и вообще во всю свою жизнь, нашъ авторъ высоко ставилъ женщину и ея красоту, чтобы понять ту общую мысль, которую онъ высказалъ въ своей повѣсти. Исторія съ Пискаревымъ была не только страницей обыденной жизни, страницей воистинѣ согласной съ реальной правдой,—это былъ рассказъ съ затаеннымъ смы-

словъ. Для Гоголя женская красота и «красота» вообще были понятія почти что равнозначущія, а съ «красотой» въ жизни для него неравно были соединены и понятія объ истинѣ и добрѣ. Онъ въ тѣ годы неоднократно подчеркивалъ эту связь понятій, и есть основаніе думать, что онъ всю жизнь продолжалъ вѣрить въ эту связь, которая такъ затрудняла ему его отношенія къ женщинамъ, съ которыми онъ сталкивался.

Еще въ 1830 году Гоголь напечаталъ маленькое стихотвореніе въ прозѣ подъ заглавіемъ «Женщина». «Устреми на себя испытующее око, — говорилъ онъ тогда устами какого-то вдохновеннаго мудреца пылкому юношѣ Телеклеусу, влюбленному въ Алкиною, — чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталъ нынѣ, съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ вѣчность въ божественныхъ чертахъ Алкинон! сколько новыхъ тайнъ, сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадалъ ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? Когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину? Что женщина? Языкъ боговъ! Она поэзія, она мысль, а мы только воплощеніе ея въ дѣйствительности. На насъ горятъ ея впечатлѣнія, и чѣмъ сильнѣе, и чѣмъ въ большемъ объемѣ они отразились, тѣмъ выше и прекраснѣе мы становимся. Пока картина еще въ головѣ художника и безплотно округляется и создается — она женщина; когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость — она мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несатытымъ желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимъ чувствамъ? Оттого, что имъ управляетъ одно высокое чувство — выразить божество въ самомъ веществѣ, сдѣлать доступною людямъ хотя часть безконечнаго міра души своей, воплотить въ мужчинѣ женщину... Чтѣ бы были высокія добродѣтели мужа, когда бы онѣ не ослѣплялись, не преображались нѣжными, кроткими добродѣтелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрѣніе къ пороку перешли бы въ звѣрство. Огними лучи у міра — и погибнетъ яркое разнообразіе цвѣтовъ: небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнѣйшій береговъ Аида. Что такое любовь? Отчизна души, прекрасное стремленіе человѣка къ минувшему, гдѣ совершалось безпорочное начало его жизни, гдѣ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый слѣдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонетъ въ эфирномъ лонѣ души женщины, когда отыщетъ въ ней своего отца — вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ — дотогѣ невыразимая землею чувства и явленія, что тогда съ нею? Тогда она повторяетъ въ себѣ: прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, разнивая ее до безконечности».

Земное чувство любви изображается и поясняется у Гоголя нередко такими возвышенными, а иной раз и мистическими, возгласами. Нашъ поэтъ въ любви былъ большой романтикъ и рыцарь: у него былъ свой культъ красоты и ея носительницы—женщины, почему и выставленное въ «Невскомъ Проспектѣ» противорѣчіе между идеальной красотой внешней и внутреннимъ душевнымъ безобразіемъ являлось въ его глазахъ однимъ изъ самыхъ страшныхъ контрастовъ идеала и жизни. Контрастъ былъ и потому еще столь ужасный, что онъ не допускалъ викакого соглашения, которое до известной степени могло быть достигнуто при иныхъ противорѣчіяхъ, какъ, напр., при борьбѣ художника и толпы, при спорѣ между замысломъ артиста и средствами, которыми онъ располагаетъ, при борьбѣ таланта съ житейской прозой и нуждой, т. е. при иныхъ всевозможныхъ драматическихъ коллизіяхъ артистической жизни.

Въ одной изъ такихъ острыхъ и неразрѣшимыхъ формъ представлено противорѣчіе идеала и жизни и въ повѣсти «Записки сумасшедшаго». Въ томъ видѣ, въ какомъ повѣсть теперь передъ нами, она не вполне отражаетъ основной замыселъ художника. Она должна была быть также повѣстью изъ жизни художника. Въ записной книжкѣ, гдѣ Гоголь набросалъ перечень статей, изъ которыхъ онъ предполагалъ составить свои «Арабески», помѣчены какія-то «Записки сумасшедшаго музыканта». Гоголь, какъ думаетъ Н. С. Тихонравовъ *), увлекшись разсказами кн. В. Ѳ. Одоевскаго о сумасшедшихъ музыкантахъ **), первоначально предполагалъ написать (и, можетъ быть, дѣйствительно, написалъ) повѣсть на эту тему; эта повѣсть до насъ не дошла, но въ «Запискахъ сумасшедшаго» осталось то настроеніе и та главная мысль, которая Гоголь хотѣлъ развить и дать почувствовать въ своемъ написанномъ, но задуманномъ разсказѣ.

Передъ вами все тотъ же разладъ мечты и «существенности» и опять одно изъ возможныхъ, но самыхъ ужасныхъ соглашеній этого разлада — потеря разсудка, главнаго виновника всѣхъ несчастій мечтателя. У Гоголя нѣтъ болѣе трагичной повѣсти, чѣмъ эти «Записки», читая которая нельзя, однако, удержаться отъ смѣха. Самая грустная и романтическая мысль развита въ нихъ съ такою юморомъ и такъ реально, съ такимъ беспощаднымъ глумленіемъ надъ человѣческимъ разсудкомъ, что за этимъ сарказмомъ на первыхъ порахъ можно просмотрѣть весь трагическій пафосъ разсказа.

*) «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-е изданіе, V, 610.

**) Одоевскій думалъ тогда напечатать цѣлый сборникъ такихъ разсказовъ, но не напечаталъ.

Отвѣтитъ кстати, что въ «Запискахъ сумасшедшаго» попадаются первые проблески общественной сатиры, которая до сихъ поръ не проскальзывала ни въ одномъ изъ напечатанныхъ произведеній Гоголя. Всѣ эти разсужденія титулярнаго совѣтника о департаментскомъ начальствѣ, разсказъ о томъ, какъ собачонка нюхала орденскую ленточку, разсужденія на тему — какое мѣсто на свѣтѣ занимаютъ генералы и камеръ-юнкеры — для Гоголя, автора «Вечеровъ на Хуторѣ», «Миргорода» и «Арабесокъ», мѣсто новое, новый мотивъ, съ которымъ мы пока еще не встрѣчались, но скоро встрѣтимся въ его комедіяхъ. Правда, эти смѣлыя слова высказаны отъ лица сумасшедшаго, но эта маска никого не обманула; по крайней мѣрѣ, она не обманула цензуры, которая въ первомъ изданіи всѣ эти сумасшедшія слова вычеркнула.

Въ «Запискахъ сумасшедшаго» много общечеловѣческаго печальнаго и глубокаго пафоса. Сколько такого пафоса въ одной той мысли, что титулярный совѣтникъ — король испанскій Фердинандъ VIII-й, и какъ часто случается, что вся трагедія нашей жизни вытекаетъ изъ нашихъ претензій на такіе престолы, которые мы считаемъ свободными. Какъ часто въ погоню за счастьемъ мы принимаемъ наше право на него за гарантію его осуществленія, и какъ часто мы въ дѣйствительности лѣземъ на стѣну, чтобы достать луну, движимые, конечно, не тѣмъ смѣшнымъ соображеніемъ, которымъ руководится Поприщинъ, но иной разъ не менѣе безумнымъ? И, наконецъ, способность или необходимость истолковывать всѣ мученія, которымъ больной человѣкъ подвергается въ сумасшедшемъ домѣ, истолковывать ихъ въ самомъ выгодномъ для себя смыслѣ, развѣ на этой способности не виждется для многихъ здоровыхъ людей вся ихъ жиннерадостность?

Глубоко серьезенъ и патетиченъ этотъ до нельзя смѣшной разсказъ, который авторъ закончилъ полными грустнаго лиризма словами, какъ бы желая напомнить читателю о томъ, сколько на свѣтѣ чувствъ и настроеній, которыя роднятъ и сближаютъ его, здравомыслящаго, съ этимъ безповоротно помѣшаннымъ. «Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть, — говоритъ Поприщинъ или любой изъ насъ, не находящій отклика своей мечтѣ въ дѣйствительности. Боже! чтѣ они дѣлаютъ со мной. Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Чтѣ я сдѣлалъ имъ? За что они мучатъ меня? Чего хотятъ они отъ меня бѣднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не имѣю, я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ, какъ

впередъ, коней! Садись, мой ящикъ, звени, мой колокольчикъ, взвей-
тось кони и несите меня съ этого свѣта: Далѣе, далѣе, чтобы не
видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится предо мною; звѣздочка
сверкаетъ вдали; лѣсъ несетса, съ темными деревьями и мѣсяцемъ;
сильный туманъ стелется подъ ногами; струна звенить въ туманѣ; съ
одной стороны море, съ другой—Италія; вонъ и русскія избы видѣются.
Домъ ли то мой сибѣтъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ?
Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную
головушку! Посмотри, какъ мучать они его! Прижми ко груди своей
бѣднаго сиротку! Ему итъ мѣста на свѣтѣ! Его гонять! Матушка, пожа-
льба о своемъ больномъ дитяткѣ!»

Какъ похожъ этотъ бредъ на то, что мы иногда называемъ
мечтами!

Итакъ, изъ всѣхъ статей Гоголя по вопросу объ искусствѣ, о ху-
дожникѣ, его роли среди насъ и его этикѣ артиста, если можно такъ
выразиться, равно какъ и изъ нѣкоторыхъ, только что поименован-
ныхъ повѣстей нашего автора, мы видимъ, какъ упорно и настойчиво
грудился онъ надъ выясненіемъ себѣ самому своего собственнаго при-
званія. Онъ то думалъ объ этомъ, то мечталъ, то образами стремился
пояснить свои мысли. Нельзя сказать, что онъ додумался до чего-ни-
будь опредѣленнаго и яснаго. Ясно было одно: ощущеніе разлада
между поэзіей и жизнью, между желаннымъ и настоящимъ. Романти-
ческая неудовлетворенность жизнью вызывала въ нашемъ поэтѣ
большую тревогу чувства и мысли. Она коренилась, главнымъ
образомъ, въ томъ, что художникъ никакъ не могъ опредѣлить своей
роли въ этомъ спорѣ мечты и дѣйствительности. Служить ли этой
мечтѣ или описывать эту дѣйствительность? — вотъ задача, надъ ко-
торой Гоголь въ эти годы много думалъ, и вопросъ о направленіи,
котораго должно держаться въ творчествѣ, остался для него, въ виду
того раздумья, временно нерѣшеннымъ.

Какъ можно догадываться по разсказу «Портретъ», Гоголь осуждалъ
то искусство, которое слишкомъ близко подходитъ къ жизни и переходить
за черту, отдѣляющую творчество отъ дѣйствительности, и какъ
на конечную цѣль искусства, Гоголь въ этой же повѣсти указывалъ на
его религиозно-нравственную миссію. Извѣстно, что подъ конецъ своей
жизни онъ и оставовиися на этомъ рѣшеніи и себя самого возвелъ
въ проповѣдники морали и религіи. Онъ осудилъ тогда всѣ лучшія свои
созданія именно за ихъ близость къ жизни, за ихъ беспощадный реал-

лизитъ и думалъ, что въ нихъ, какъ въ знаменитомъ портретѣ, заключена частица мирового зла, которое должно побороть картинами иной просвѣтленной и добродѣтельной жизни.

Но въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, онъ былъ еще далекъ отъ таковаго окончательно установившагося взгляда. Его талантъ реалиста, быстро развиваясь, приближалъ его все болѣе и болѣе къ дѣйствительности, къ ея злу и грязи, и романтическій взглядъ на жизнь, предпочитающій въ ней желаемое настоящему, терялъ свою власть надъ художникомъ.

Но свою власть этотъ взглядъ уступалъ, однако, не безъ борьбы, и была область духовныхъ интересовъ, въ которыхъ Гоголь—при всемъ тогдашнемъ торжествѣ реализма въ его поэзи—оставался романтикомъ. Эта область была—старина историческая и легендарная, русская и не-русская, которую Гоголь стремился воскресить, какъ поэтъ и историкъ.

VIII.

Увлеченіе Гоголя исторіей; романтическая подкладка этого увлеченія.—Приемы его работы.—Чего онъ требовалъ отъ исторіи и историка.—Любовь Гоголя къ среднимъ вѣкамъ.—Религіозная и консервативная тенденція въ его историческомъ мировоззрѣніи.—Литературная обработка историческихъ сюжетовъ: «Ал-Мамушъ» и «Альфредъ».—«Жизнь».—Занятія Гоголя исторіей Малороссіи; его увлеченіе пѣвцами.—Неоконченная повѣсть объ Острициѣ.—«Тарась Вульба»; реализмъ въ деталяхъ повѣсти и романтизмъ въ замыслѣ.—Наша историческая повѣсть времени Гоголя: Пушкинъ, Нарѣжнѣй, Маринскій, Загоскинъ, Лажечниковъ и Полевой.—«Тарась Вульба», какъ лучшій образецъ исторической повѣсти романтическаго стиля.

Влеченіе къ прошедшему никогда не покидало нашего писателя и онъ положилъ много труда на удовлетвореніе этой любви. Съ вѣвшими условіями, при которыхъ Гоголю пришлось выступить въ роли истолкователя и иллюстратора старины мы уже знакомы; намъ остается только поближе присмотрѣться къ тому, какъ онъ выполнялъ свою задачу. Онъ выполнялъ ее двояко: и какъ педагогъ-историкъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова и какъ художникъ, который историческое прошлое избиралъ предлогомъ и канвою для своихъ поэтическихъ созданій.

Пересмотръ историческихъ статей и повѣстей Гоголя покажетъ намъ прежде всего, какъ упорно держались въ немъ его романтическіе вкусы. Какъ настоящій романтикъ, Гоголь любилъ старину не временной и капризной страстью, а любовью ровной и постоянной. Онъ любилъ исторію еще въ вѣжливомъ лицѣ, и несмотря на общее гнѣвное отношеніе ко всѣмъ наукамъ, онъ этой наукѣ удѣлялъ тогда всего больше времени; и онъ продолжалъ любить ее и послѣ, даже въ послѣдніе тяжелые годы своей жизни.

Это была любовь достаточно самоувѣренная, какъ извѣстно. Чувствуя въ себѣ даръ дивинація, художникъ привыкалъ на него полагаться; фантазія часто ослѣпляла его и онъ пріучался цѣнить въ себѣ импровизатора,—почему настоящая осмотрительная ученая работа и была ему мало по вкусу. Гоголь сокращалъ эту работу иногда очень произвольно и даже не совсѣмъ корректно. Онъ пользовался чужимъ тру-

домъ безъ критики, компилировалъ, а иногда прямо насѣлъ брать чужіе выводы и очень откровенно просилъ своихъ друзей — ученыхъ специалистовъ снабжать его таковыми. Когда напр., на него «извалили», какъ онъ говорилъ, чтеніе курса древней исторіи, ему почти совсѣмъ незнакомой, онъ, не стѣсняясь, просилъ Погодина выслать ему его лекціи, хоть въ корректурѣ. Но въ этомъ же письмѣ, гдѣ онъ такъ открыто взывалъ о помощи, есть нѣсколько строкъ, въ которыхъ для біографа кроется важное указаніе. «Я бы отъ души радъ былъ, еслибъ намъ подавали побольше Гереновъ *),—писалъ Гоголь.—Изъ нихъ можно таскать обѣими руками... Ты не гляди на мои историческіе отрывки: они давно писаны; не гляди также на статью «О среднихъ вѣкахъ». Она сказана только такъ, чтобы сказать что-нибудь и только раззадорить нѣсколько въ слушателяхъ потребность узнать то, о чемъ еще нужно рассказать, что оно такое. Я съ каждымъ мѣсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думай также, чтобъ я старался только возбудить чувства и воображеніе. Клянусь! у меня цѣль высшая! Я, можетъ быть, еще мало опытенъ, я молодъ въ мысляхъ, но я буду когда-нибудь старъ. Отчего же я черезъ недѣлю уже вижу свою ошибку? Отчего же передо мной раздвигается природа и человѣкъ?... **).

Можно какъ угодно скептически относиться къ историческимъ званіямъ и занятіямъ Гоголя, но читая такія признанія, невольно задаетъ себѣ вопросъ, неужели же онъ лукавилъ и лгалъ? Не будемъ ли мы правы, предположивъ, что онъ, какъ настоящій поэтъ и мечтатель, былъ самъ введенъ въ заблужденіе своей фантазіей и, дѣйствительно, ощущалъ въ себѣ такой наплывъ творческой мысли—хотя бы очень неопредѣленной—который уполномочивалъ его думать, что онъ однимъ даромъ прозрѣнія можетъ достичь того, чего другіе достигаютъ упорнымъ трудомъ?

Не наглостью, а самообольщеніемъ должно объяснять нѣкоторыя мысли и слова Гоголя, въ которыхъ онъ съ непонятной развязностью говоритъ о наукѣ и ея работникахъ. А такихъ неосторожныхъ словъ было сказано много. «Охота тебѣ — пишетъ онъ Погодину — заниматься и возиться около Герена ***), который далѣе своего нѣмецкаго носа и своей торговли ничего не видитъ. Чудной человѣкъ: онъ воображаетъ себѣ, что политика какой-то осязательный предметъ,

*) Нѣмецкій ученый историкъ.

***) «Писма Н. В. Гоголю», I, 326—327.

***) У котораго онъ собирався таскать обѣими руками.

господить во фракѣ и башмакахъ, и притомъ совершенно абсолютное существо, являющее мимо художествъ, мимо наукъ, мимо людей, мимо нравовъ, мимо отличій вѣковъ, не старѣющее, не молодѣющее, ни умное, ни глупое, чортъ знаетъ что такое... Я самъ замышляю дернуть исторію среднихъ вѣковъ,—тѣмъ болѣе, что у меня такія роятся о ней мысли...» *). «Я только теперь прочелъ изданнаго вами Беттигера,—писалъ онъ тому же Погодину. Это точно, одна изъ удобнѣйшихъ и лучшихъ для насъ исторія. Нѣкоторыя мысли я нашелъ у ней совершенно сходными съ моими и потому тотчасъ выбросилъ ихъ у себя. Это нѣсколько глупо съ моей стороны, потому что въ исторіи пріобрѣтеніе дѣлается для пользы всѣхъ и владѣніе имъ законно. Но что дѣлать? Проклятое желаніе быть оригинальнымъ! Я нахожу только въ ней тотъ недостатокъ, что во многихъ мѣстахъ не такъ развернуто и охарактеризовано время» **). При другомъ случаѣ Гоголь жалуется, что онъ по цѣлымъ мѣсяцамъ нигдѣ не встрѣчаетъ ни одной новой исторической истины. «Набору словъ пропасть—говоритъ онъ—выраженія усилены, сколько можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая» ***). Нашъ самоувѣренный историкъ былъ также совсѣмъ не доволенъ, напр., всѣми существующими общими снодами по исторіи среднихъ вѣковъ. Онъ не досчитывался въ нихъ строгаго порядка и плана, художественной отдѣлки и вообще «достойнствъ совершенно классическаго созданія» ****), а между тѣмъ, какъ видно изъ его замѣтокъ по «Библиографіи среднихъ вѣковъ», онъ былъ знакомъ съ дѣйствительно классическими трудами по интересовавшему его вопросу...

Рѣзкость сужденій Гоголя, конечно, не покрывалась его знаніями, но должно замѣтить, что онъ трудился не мало. По натурѣ своей онъ былъ человѣкъ гнѣвный, это вѣрно; но кто знаетъ, какія книги у него въ рукахъ перебывали? Судить объ его чтеніи по тѣмъ указаніямъ, которыя сохранились въ его рукописяхъ—едва ли возможно; многое могло не попасть въ эти записки, наконецъ, и сами рукописи дошли до насъ, очевидно, не въ полномъ составѣ. Какъ воспользовался Гоголь прочитанными книгами—это иной вопросъ, и никто никогда не рѣшится назвать Гоголя ученымъ или признать за его работами какое-нибудь научное зна-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 324—325.

**) «Письма Н. В. Гоголя» I, 237.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 250.

****) См. его замѣтки: «Библиографія среднихъ вѣковъ». «Сочиненія Н. В. Гоголя», К—ое изданіе, VI, 273.

ченіе. Но самъ Гоголь могъ съ нѣкоторой гордостью говорить о своихъ занятіяхъ, такъ какъ лишь онъ одинъ зналъ, чего они ему стоили, и лишь онъ одинъ могъ судить о силѣ того вдохновенія, которое ощущалъ въ себѣ, когда направлялъ свою мысль на судьбы прошлаго.

Въ этихъ мысляхъ насъ поражаетъ прежде всего широта требованій, которыя Гоголь ставилъ исторіи и историку, и вмѣстѣ съ тѣмъ большая односторонность, когда нашъ художникъ взялся самъ выполнять ихъ.

Въ статьѣ «О преподаваніи всеобщей исторіи», которая была какъ бы официальной программой, представленной Гоголемъ въ министерство, нашъ профессоръ и историкъ говорилъ подробно о томъ, какъ онъ понимаетъ сущность своей науки и вышнюю форму ея преподаванія. Онъ хочетъ научить слушателей не методу историческихъ изслѣдованій, а научить ихъ понимать и чувствовать всю летопись міра. Не на разборѣ отдѣльныхъ событій и эпизодовъ хочетъ онъ, какъ профессоръ, остановиться, чтобы показать ученику какъ работать; онъ хочетъ развернуть передъ нимъ сразу всю картину человѣческой жизни, не упуская ни одной изъ ея истинъ. Географическое положеніе, этнографическій составъ, племенная психологія, политика *) , торговля, религія, литература и искусство—все должно войти въ одну общую картину жизни всѣхъ вѣковъ и народовъ. Картина эта должна быть «плодомъ долгихъ соображеній и опыта. Ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не должно быть брошено въ этой картинѣ для красоты и мишуринаго блеска, но должно быть порождено долговременнымъ чтеніемъ летописей міра, такъ какъ составить эскизъ общій, полный исторіи всего человѣчества можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешь самыя тонкія и запутанныя ея нити».

Раскидывать на бумагѣ такой планъ было легко, какъ и требовать отъ историка, чтобы онъ совѣщалъ съ собою всѣ цѣнныя качества лучшихъ представителей науки, чтобы онъ «глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединялъ съ быстрымъ огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательной расторопной мудростью Миллера». Можно было въ своихъ требованіяхъ пойти и еще дальше, и ко всѣмъ достоинствамъ только что перечисленныхъ историковъ добавить еще «неодолимую увлекательность», которая дышетъ въ историческихъ трудахъ Шиллера, умѣніе Вальтеръ-Скотта замѣчать самыя тонкіе оттѣнки и, наконецъ, шекспировское искус-

*) Нашъ авторъ умалчиваетъ только о государственныя устройствахъ.

ство развивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ *)». Мечтать о такомъ историкѣ, было, конечно, позволительно, но ожидать его появленія было невозможно, и самъ Гоголь въ своемъ стремленіи къ этому идеалу остановился лишь на самыхъ вышнихъ его качествахъ; онъ погнался за картинностью выраженія и за характеристиками историческихъ лицъ, дѣлая свою рѣчь все болѣе и болѣе «огненной» и напрягая всю всѣхъ силъ свою фантазію. Такимъ образомъ, при очень широкомъ пониманіи исторіи, онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на одной лишь вышней сторонѣ изложенія, которая, за отсутствіемъ другихъ сторонъ обращала его лекцію въ лучшемъ смыслѣ въ занимательную бесѣду. Онъ самъ говорилъ, что всеобщая исторія «должна быть полной величественной поэмой»; что въ изложеніи историка «все, что ни является въ исторіи: народы, событія должны быть непремѣнно живы и какъ бы выходить предъ глазами слушателей или читателей, чтобы каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ со всѣми своими подвигами и влияніемъ на міръ, проносился ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ имущія времена». Понимать такъ задачу преподаванія значило прежде всего требовать отъ профессора яркаго литературнаго таланта. Гоголь и мѣтилъ его въ яду, когда говорилъ, что слогъ профессора долженъ быть увлекательнымъ, огненнымъ, «что профессоръ долженъ въ высочайшей степени овладѣть вниманіемъ слушателей, что разсказъ его долженъ дѣлаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмѣстѣ съ тѣмъ быть простъ и понятенъ для всякаго». Профессору разрѣшалось также не быть скупымъ на сравненія, такъ какъ понятное еще болѣе поясняется сравненіемъ **). Самъ Гоголь такими сравненіями любилъ злоупотреблять и, какъ мы видимъ, не только ю недостатку знаній, а сознательно.

Вся великая поэма міра, которую нашъ самозванный профессоръ обирается разсказать своимъ слушателямъ интересовала его самого, впрочемъ не одинаково во всѣхъ своихъ эпизодахъ. Были эпохи исторіи, которыя Гоголь не зналъ и — что для него было хуже — не любилъ. Зато былъ одинъ періодъ, вполне соотвѣтствующій его романтическимъ вкушамъ.

Древней исторіей Гоголь почти не интересовался и былъ очень недоволенъ, когда ему поручили ея чтеніе. Грецію онъ какъ-то совсѣмъ

*) Статья «Шлецеръ, Миллеръ и Герднеръ» въ «Арабескахъ».

***) Статья «О преподаваніи всеобщей исторіи» въ «Арабескахъ».

обошелъ, что кажется очень страннымъ при его развитомъ эстетическомъ вкусѣ. Среди сохранившихся записокъ по этому періоду всеобщей исторіи—записокъ, представляющихъ почти сплошь выписки изъ Геродота—есть только одна оригинальная замѣтка объ Александрѣ Македонскомъ, неизвестно когда написанная, въ которой Гоголь восторженно отзывался объ этомъ завоевателѣ и, что очень характерно, отиѣтилъ, какъ дорого обошлись планы этого реформатора для греческой самобытности *). Этотъ малый интересъ Гоголя къ Греціи находитъ себѣ, быть можетъ, объясненіе въ той нелюбви къ чисто политическимъ вопросамъ, которую нашъ писатель всегда обнаруживалъ и которая должна была служить большой помѣхой въ изученіи именно греческой исторіи, ходъ которой опредѣляется главнымъ образомъ государственнымъ устройствомъ различныхъ племенъ, входившихъ въ составъ эллинской національности. Гоголь не любилъ и Рима. «Народъ, проведшій суровую воинственную жизнь, съ простыми республиканскими, грубыми и мужественными доблестями, еще не имѣвшій времени и не достигшій развитія жизни гражданской» **)—былъ ему мало симпатиченъ. Эпоха римской республики могла ему не нравиться своимъ утилитарнымъ и ригористическимъ взглядомъ на жизнь, а эпоха имперіи казалась ему «неподвижнымъ» временемъ и сами императоры—безсильными ***).

Сердце его лежало къ среднимъ вѣкамъ, къ которымъ были такъ равнодушны всѣ европейскіе романтики.

Психика поэта не мало участвовала къ этому выборѣ; гдѣ было найти такое преобладаніе мечты надъ реальной жизнью, такое вторженіе чудеснаго и небеснаго въ житейское, такое самопогруженіе людей въ область религіозной и философской мысли, какъ въ эту романтическую эпоху человѣческой жизни? Христіанство съ его длинной мрачной эпохой мученій и его небесными видѣніями, разлагающійся античный міръ съ его меланхоліей и разгуломъ, стихійное движеніе варваровъ, рыцарство и монашество, папа и императоръ, угнетенный и освобожденный Іерусалимъ и, наконецъ, воскресеніе старыхъ боговъ Олимпа — какъ легко было заблудиться въ этомъ лѣсу поззіи!..

Стѣбитъ прочитать лекцію Гоголя о движеніи народовъ въ концѣ V вѣка, а главное, его лекцію о среднихъ вѣкахъ, чтобы увидать, какой смыслъ для него имѣла эта эпоха.

*) «Александръ». Сочиненія Н. В. Гоголя. X-ое изданіе, VI, 265

**) «Выдержки изъ лекцій по исторіи среднихъ вѣковъ». «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-ое изданіе VI, 278.

***) Статьи «О среднихъ вѣкахъ» въ «Арабескахъ».

Она считала ее самой главной эпохой в истории. «Средние вѣка составляютъ узелъ, связывающій міръ древній съ новымъ—говорилъ профессоръ; нѣтъ можно назначить то самое мѣсто въ исторіи человѣчества, какое занимаетъ въ устройствѣ человѣческаго тѣла—сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходятъ всѣ жилы. Исторія среднихъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой востроты, такого живого дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположеній, такой странной яркости, какъ въ ней, и ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готскія руны, на другомъ блещитъ римская позолота; арабская рѣзба, греческій карнизъ, готическое окно—все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только вѣншній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность испанская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юности, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена» *). «Средние вѣка—вѣка чудесные. Чудесное прорывается при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ, юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, порывы и мечты, не думавшіе о слѣдствіяхъ, не признававшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имѣвшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все въ среднихъ вѣкахъ—поэзія и безотчетность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда вступите въ область исторіи новой. Перемена слишкомъ ощутительна, и состояніе души вашей будетъ похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся не правильными, высокими буграми, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою равниною мѣрно и стройно совершающія правильное теченіе».

Романтикъ, влюбленный въ идеализированное имъ прошлое, чувствуетъ въ каждомъ слогѣ этой странной университетской лекціи, чувствуетъ и поэтъ, умѣющій въ двухъ трехъ словахъ набросать дѣлающую картину, производящую впечатлѣніе, но опять-таки на фантазію слушателя, а не на его мысль.

Стѣдуетъ послушать, какъ Гоголь говорилъ о крестовыхъ походахъ, «въ которыхъ не было ни одного собственного желанія, ни одной личной выгоды», объ этомъ «шестивъ королей и графовъ въ простыхъ власни-

*) «О среднихъ вѣкахъ», 1834 г.

цахъ и монаховъ, превоспанныхъ оружіемъ, епископовъ и пустышниковъ съ крестами въ рукахъ»; какъ онъ говорилъ о средневѣковой женщинѣ, «розовая или голубая лента которой вьется на шлесахъ и латахъ и вливаетъ сверхъ-естественныя силы,—женщинѣ, для которой суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бѣгуна своего. налагаетъ на себя обѣты изумительныя и неподражаемыя по своей строгости къ себѣ, и все это для того, чтобы быть достойнымъ повернуться къ ногамъ своего божества»; достаточно припомнить слова профессора о «страшныхъ тайныхъ судахъ, гдѣ-нибудь въ глуши лѣсовъ, подъ сырими сводами глубокаго подземелья, судахъ неумолимыхъ, неотразимыхъ, какъ высшія предопредѣленія, являющихся уже не совѣстью передъ вѣтренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни»; стѣбитъ также послушать съ какимъ прочувствованнымъ пафосомъ нашъ ученый говорилъ о готическомъ искусствѣ, о средневѣковомъ городѣ съ его «узенькими неправильными улицами, высокими пестрыми готическими домиками, среди которыхъ стоитъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ домъ, по растреснувшимся стѣнамъ котораго лѣпится мохъ и сырость, окна котораго глухо заключены—жилище алхимика:—ничто не говоритъ въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываетъ о неусыпномъ бодрствованіи старца, уже послѣдшаго въ своихъ исканіяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою, и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреодолимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже отъ неудачи...» стѣбитъ прослушать всѣ эти слова чтобы догадаться, что на каюдрѣ сидитъ настоящій поэтъ, который въ прошлой жизни ищетъ преимущественно красивыхъ очертаній, таинственнаго смысла, величія явленій и, не стѣсняясь, идеализируетъ все, что ему въ этомъ прошломъ такъ нравится. А Гоголю нравилось либо непосредственное, первобытно-дикое, какъ видно изъ его колоритныхъ разсказовъ о такой скучной эпохѣ, какъ переселеніе народовъ, либо таинственно-спокойное и величественно-восторженное—что онъ въ изобиліи находилъ въ эпоху расцвѣта средневѣковаго міросозерцанія. Въ обоихъ случаяхъ онъ раздѣлялъ вкусы и симпатіи всѣхъ романтиковъ своего поколѣнія.

Въ статьяхъ и лекціяхъ Гоголя можно уловить, кромѣ того, еще двѣ тенденціи, которыя въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ верѣдко проступали въ романтическомъ міросозерцаніи нашихъ писателей; эти

тенденціи — религіозность и консерватизмъ. Въ оцѣнкѣ той власти, которую онѣ имѣли тогда надъ Гоголемъ, нужно, однако, принять во вниманіе, что статья «О преподаваніи всеобщей исторіи», въ которой эти тенденціи всего яснѣе выражены, была, какъ замѣтилъ Н. С. Тихомировъ, официознымъ profession de foi Гоголя при предъявленіи кандидатуры на кафедру всеобщей исторіи въ кievскомъ университетѣ *). Консерватизмъ и религіозный образъ мыслей могли быть поэтому умышленно подчеркнуты авторомъ, какъ, напр., въ программѣ его лекцій умышленно была обойдена французская революція и преподавателю предоставлено право изъ эпохи Людовика XIV перескочить сразу въ эпоху первой имперіи.

Цѣлью его преподаванія, какъ говорилъ профессоръ, было стремленіе сдѣлать сердца юныхъ слушателей твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатикъ и никакое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастья, ни въ несчастія не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ — быть вѣрными отечеству и государю». Эти слова могли быть вполне искренно сказаны: Гоголь всю жизнь былъ правовѣрнымъ консерваторомъ и вѣрнопопданнымъ, а если предположить, что онъ на профессуру смотрѣлъ какъ на «службу», а отъ службы ожидалъ великой пользы для своихъ соотечественниковъ, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ профессору вмѣнялъ въ обязанность блюсти за тѣмъ, чтобы для слушателей слова «преданность религіи и привязанность къ отечеству и государю» не были словами ничтожными, «что влечетъ за собой нерѣдко ужасныя слѣдствія». Но если даже признать, что въ своей «официозной» программѣ Гоголь нѣсколько повысилъ свой патріотизмъ и свое религіозное чувство, то вѣдь обѣ эти тенденціи сказывались достаточно ясно и въ его историческихъ статьяхъ и замѣткахъ. Онъ все-таки думалъ, «что не люди совершенно устанавливаютъ правленіе, что его нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли, отъ котораго зависитъ народный характеръ, что поэтому-то формы правленія и священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ»... Онъ думалъ также, что вся всеобщая исторія есть осуществленіе плановъ Провидѣнія и онъ при каждомъ удобномъ случаѣ говорилъ объ этомъ Провидѣніи: непостижимой волею Его опустился на Европу величе-

*) «Сочиненія Н. В. Гоголя», X-ое изданіе, V, 566.

ственный хаосъ переселенія вародовъ, въ Его планахъ было усиленіе власти римскаго первосвященника: безъ нея Европа разсыпалась-бы, другія государства бы развратились, другія сохранили бы дикость на гибель сосѣдямъ... Провидѣніе неуспѣшно бодрствовало и надъ европейскимъ рыцарствомъ и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его... «Все колоссальное величіе міра проникнуто таинственными путями Промысла, передъ которымъ неволью преклонишь колѣна», говорилъ профессоръ и мы не имѣемъ никакого основанія предполагать въ этихъ словахъ одну лишь риторическую фигуру восклицанія. По крайней мѣрѣ, съ этими консервативными и религіозными идеями Гоголь сошелъ въ могилу.

Таковы были мысли нашего писателя о всеобщей исторіи, его симпатіи и его рѣчь съ кафедръ... Нѣтъ нужды ставить вопроса—что отъ этихъ плановъ и рѣчей сама исторія выиграла. Важно не то, чѣмъ Гоголь былъ для исторіи (труды его никакого научнаго значенія не имѣютъ), а то, чѣмъ исторія была для него. А она дала ему не мало минутъ высокаго наслажденія. На ея страницахъ находилъ онъ, энтузіастъ и романтикъ, отвѣтъ на многіе свои духовные запросы. Идеиность, таинственность и религіозность среднихъ вѣковъ были историческимъ подтвержденіемъ многихъ для него самого живыхъ чувствъ и мыслей. Позднѣе, подъ конецъ жизни, его міросозерцаніе приняло даже нѣкоторый средневѣковой оттѣнокъ и его мистцизмъ, самобичеваніе, религіозный экстазъ, его посты и молитвы, его путешествіе ко гробу Господню, его покаяніе передъ всѣмъ свѣтомъ—были проявленіемъ тѣхъ самыхъ чувствъ и того настроенія, которыя рисовались ему столь заманчивыми въ исторической дали. Гоголь-профессоръ среднихъ вѣковъ предвѣщалъ уже появленіе Гоголя-проповѣдника религіозной, аскетической и смиренной морали.

Быть можетъ такое субъективное отношеніе къ исторіи и было причиной неуспѣха профессора у слушателей. Мы помнимъ неслестные отзывы ихъ о лекціяхъ Гоголя: почти всѣ свидѣтели его профессорской дѣятельности утверждаютъ, что у него не было достаточныхъ знаній; но судьями его знаній они быть не могли, такъ какъ у нихъ этихъ знаній было еще меньше. Мы имѣемъ право предположить, что Гоголь готовился къ своимъ лекціямъ и потому причину ихъ неуспѣха слѣдуетъ искать въ слишкомъ необычномъ для учителя, слишкомъ исключительномъ, романтическомъ отношеніи къ тому, что требовало критики и хладнокровія — отношеніи, которое далеко не всѣмъ слушателямъ было понятно и симпатично, и которое, кромѣ того, въ самомъ преподавателѣ зависѣло отъ минутнаго настроенія. Вотъ почему профес-

соръ на одной лекціи могъ увлечь своихъ слушателей, а на другой былъ вѣдъ и скученъ, вотъ почему и они могли быть недовольны, и онъ могъ негодовать на нихъ за то, что они его не понимаютъ и на его настроніе не откликаются. Онъ все-таки оставался на кафедрѣ: капризнымъ поэтомъ и потому такъ долго не сознавалъ своей ошибки.

Лекціи Гоголя, какъ мы видѣли, бывали много разъ, дѣйствительно, невольными поэтическими грезами. Случалось, однако, что онъ и сознательно пользовался своими историческими знаніями для чисто литературныхъ цѣлей. Такимъ литературнымъ произведеніемъ была напр. его историческая характеристика Калифа Ал-Мамуна (1834), которую онъ преподнесъ своимъ слушателямъ вмѣсто лекціи. Эта характеристика по своей художественной законченности и психологической правдѣ напоминаетъ знаменитыя въ послѣдствіи характеристика Гранинскаго. Все въ ней собразительно и красиво и каждая фраза либо мысль, либо художественный образъ. Среди этихъ мыслей есть два намека, которые для насъ важны, опять-таки не какъ историческая истина, а какъ правда о самомъ Гоголѣ. Это—прежде всего мысль о томъ, какова роль великихъ поэтовъ въ государствѣ. Они—великіе жрецы—говорилъ нашъ самолюбивый художникъ. Мудрые властители чествуютъ такихъ поэтовъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины человѣческаго сердца». Какъ часто въ послѣдніе годы своей жизни Гоголь считалъ себя призваннымъ давать такія государственныя совѣты именно въ силу того, что сознавалъ себя «вѣдателемъ глубины человѣческаго сердца!» Въ «Ал-Мамунѣ» есть и другая мысль, которая съ годами также укоренилась въ сознаніи нашего поэта; это его взглядъ на національную самобытность. Калифъ Ал-Мамунъ, великій реформаторъ и просвѣтитель, при всѣхъ своихъ необычайныхъ достоинствахъ, ускорилъ паденіе своего государства, потому что «упустилъ изъ виду великую истину, что образованіе черпается изъ самаго же народа, что просвѣщеніе наносное должно быть въ такой степени заимствовано, сколько можетъ оно помогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же національныхъ стихій». Съ этой здѣсь впервые вскользь брошенной мыслью Гоголь уже не разставался.

Романтическая любовь къ типу идеальнаго властителя побудила нашего автора приступить и къ обработкѣ одного историческаго сюжета въ формѣ драмы. Въ 1836 году онъ набросалъ нѣсколько яв-

лей трагедіи изъ английской жизни, подъ заглавіемъ «Альфредъ». Въ трагедіи повторенъ типъ великаго народнаго реформатора. Король Альфредъ — образецъ рыцарской чести, самаго просвѣщеннаго ума и благихъ тенденцій, примѣръ рыцаря-христіанина и вмѣстѣ съ тѣмъ самовластнаго повелителя, который долженъ повелѣвать всѣмъ по своему усмотрѣнію, — однимъ словомъ довольно распространенный въ тогдашней романтикѣ типъ вѣрующаго въ свою власть благодѣтеля и просвѣтителя народовъ.

«Ал-Мамунъ» и «Альфредъ» — единственные литературные памятники, обязанные своимъ происхожденіемъ увлеченію Гоголя всеобщей исторіей. Есть впрочемъ и еще одинъ набросокъ, въ которомъ нашъ историкъ далъ полную свободу своей фантазіи, стремясь сохранить однако историческую перспективу. Это — знаменитое стихотвореніе въ прозѣ «Жизнь» (1834). Оно всѣмъ извѣстно; и если мы рѣшаемся припомнить его, то лишь затѣмъ, чтобы еще разъ указать на то, какъ историческое прошлое будило въ нашемъ историкѣ его даръ поэта, какъ художникъ побуждалъ и оковчательно покорялъ въ немъ ученаго.

«Бѣдному сыну пустыни — мечталъ Гоголь — снится сонъ:

Стоитъ надъ неподвижномъ моремъ древній Египетъ. Пирамида надъ пирамидою: граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ. Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрями. Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушимая тлѣніемъ.

«Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишатъ на Средиземномъ моріи острова, потопленные зелеными рощами; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ: ираморъ страстный дышетъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любитъ свою прекрасною наготою... И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величіи.

«Стоитъ и распростирается желѣзный Римъ, устремляя глѣсъ копій и сверкая грозою сталью мечей, вперивъ на все завистливыя очи и протянувъ свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронетъ львиными членами.

«И говоритъ Египетъ, понавая тонкими пальмами, жилицами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ: «Народы, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человѣка. Все тлѣитъ. Науки, искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія. Да и будетъ

ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое существованіе...»

«И говорить ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность свѣтлый міръ греховъ и, казалось, вмѣсто словъ слышалось дыханіе цѣвницы:

«Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! Мчись на колесницѣ, искусно правя конями на блестятельныхъ играхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и цѣвница создавы быть властителями міра, а властительницею ихъ— красота. Увидай плющемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія—умѣй быть достойнымъ наслажденія».

«И говорить покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ глыбомъ копій: «Я постигнулъ тайну жизни человѣка. Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Малъ для души разитѣрь искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглушенный звукомъ желѣза, весись на сожнутыхъ щитахъ бранноопасныхъ легионовъ! Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ, стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ— ты завоеуешь, наконецъ, небо».

Но остановился Римъ и впередъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немногочисленная весъ прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка, неровно отгѣвными изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградой стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

«Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья; привикла ухомъ великая Азія съ народами—пастырями; нагнулся Араратъ, древній прапращуръ земли...»

Все, чѣмъ жилъ тогда Гоголь въ минуты лирическаго подъема духа и увлеченіе стариной, и культъ красоты, и полетъ воображенія и глубоко затаенное религиозное чувство, — все нашло себѣ выраженіе въ этой грезѣ, поэтической и философской, патетической и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко искренней. Это одно изъ самыхъ блестящихъ и самыхъ правдивыхъ «лирическихъ мѣстъ», которыми такъ часто прерывалась рѣчь нашего писателя о людяхъ и мірѣ.

Труды надъ всеобщей исторіей чередовались у Гоголя съ работами по исторіи Малороссіи. Съ его планами написать исторію своей родины, своей «бѣдной Украины», мы отчасти уже знакомы. Планы были очень смѣлые и очень заманчивые: настолько заманчивые, что Гоголь, думая о нихъ, терялъ, иногда умышленно, а иногда и неумышленно способность различать между исполненнымъ и задуманнымъ. Старину своей родины онъ любилъ съ дѣтства. Воспоминанія о ней и живой интересъ къ ея остаткамъ легли въ основаніе его первыхъ повѣстей; съ мечтами объ этой старинѣ онъ не разставался и въ первый разъ, когда бѣжалъ за границу; надъ ней работалъ онъ и въ періодъ своего увлеченія наукой, и, наконецъ, когда въ 1836 году покинулъ Россію надолго, онъ увезъ съ собой все ту же любовь къ малороссійскимъ древностямъ: онъ и въ Италіи продолжалъ думать о запорожцахъ и долго носился съ планами объ исторической трагедіи изъ жизни старой Украины, реннственно роясь въ мемуарахъ, пѣсняхъ и разныхъ ученыхъ книгахъ.

Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ эта любовь, какъ мы знаемъ, была подогрѣта надеждой получить въ Кіевѣ кафедру, и Гоголь жилъ мечтой стать малороссійскимъ Оукидидомъ...

Въ 1834 году эта мечта, кажется, особенно разыгралась. «Я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всемірную — писалъ онъ Погодину; и та и другая у меня вачинаетъ двигаться... Малороссійская исторія моя чрезвычайно бѣшена, да иначе, впрочемъ, и быть ей нельзя. Миѣ попрекаютъ, что слогъ въ ней ужъ слишкомъ горитъ, но исторически звучъ и живъ; но что за исторія, если она скучна!» *) «Исторію Малороссіи я пишу всю отъ начала до конца, — сообщалъ онъ другому пріятелю Максимовичу. Она будетъ или въ шести томахъ, или въ четырехъ большихъ томахъ» **).

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 275.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 277.

Наконецъ, въ томъ же году онъ напечаталъ въ «Сѣверной Пчелѣ» объявленіе объ изданіи исторіи малороссійскихъ казаковъ, гдѣ говоритъ, что настоящей исторіи Малороссіи пока еще не существуетъ, что все, что по этому вопросу написано — компиляція и что онъ намѣренъ восполнить этотъ пробѣлъ въ наукѣ. «Около пяти лѣтъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіяся къ исторіи этого края, — заявлялъ онъ. Половина моей исторіи почти уже готова, но я медлю выдавать къ свѣтъ первые томы, подозрѣвая существованіе многихъ источниковъ, мнѣ неизвѣстныхъ». И Гоголь просилъ сообщать ему эти матеріалы, лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ и діловыя бумаги. Обманывался ли онъ самъ, или хотѣлъ невѣрнымъ сообщеніемъ выманить у читателя кое-какія рѣдкости? Вѣроятно, — и то, и другое: онъ хитрилъ и былъ вѣстенъ съ тѣмъ самъ обмануть своей мечтой, какъ это въ жизни съ нимъ неоднократно случалось.

Что же, въ концѣ концовъ, осталось отъ этихъ занятій исторіей Малороссіи? Много выписокъ изъ читанныхъ книгъ, двѣ статьи, одна историческаго, другая литературнаго содержанія, много плановъ въ головѣ, наброски историческихъ повѣстей, одинъ фантастическій разсказъ, и, наконецъ, историческій романъ или поэма о «Тарасѣ Бульбѣ».

Какъ и слѣдовало ожидать, исторія вернула нашего писателя къ его юртовой любви — къ поэзій, и наука обогатила лишь фантазію поэта. Зчитываться въ лѣтописи Гоголь не любилъ, но зато отъ народныхъ пѣнь и преданій былъ въ восторгѣ. «Моя радость, жизнь моя, пѣсни! — писалъ онъ собирателю ихъ Максимоничу. — Какъ я васъ люблю! Что кѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими воками, живыми лѣтописями! Я не могу жить безъ пѣсенъ... Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни; онѣ все даютъ по новой чертѣ въ мою исторію, все разоблачаютъ яснѣе и яснѣе, вы! прошедшую жизнь, и увы! прошедшихъ людей...» *) «Я къ нашимъ лѣтописямъ охладѣлъ, напрасно силясь въ нихъ отыскать то, что хотѣлъ бы отыскать — признавался Гоголь И. И. Срезневскому. Нигдѣ ничего о томъ времени, которое должно бы быть богаче всѣхъ событіями (т. е. о временахъ казачества). И потому-то каждый звукъ пѣсни мнѣ говоритъ живѣе о протекшемъ, нежели наши вялыя и короткія лѣтописи, сли можно назвать лѣтописями не современныя записки, но позднія писки, начавшіяся уже тогда, когда память уступила мѣсто забвенію. Эти лѣтописи похожи на хозяина, прибывшаго замокъ къ своей

*) «Письма И. В. Гоголя», I, 263—264.

ковюшиѣ, когда лошади уже были украдены... Еслибъ нашъ край не имѣлъ такого богатства пѣсенъ, я бы никогда не писалъ исторіи его, потому что я не постигнулъ бы и не имѣлъ понятія о прошедшемъ, или исторія моя была бы совершенно не та, что я думаю съ нею сдѣлать теперь *)).

Малороссійскимъ пѣснямъ посвятилъ Гоголь даже цѣлую статью въ своихъ «Арабескахъ». Какъ бы настраивая свою рѣчь на ихъ ладъ, онъ говорилъ о нихъ пѣсенными, пѣвучими словами. Статья «О малороссійскихъ пѣсняхъ» — опять лирическое изліяніе, которое, однако, въ данномъ случаѣ, было на всемъ мѣстѣ. «Пѣсни для Малороссіи — все, говорилъ Гоголь, — поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнулъ въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытіи этой цвѣтущей части Россіи».

Большое историческое значеніе сохранено за этими пѣснями, велика также ихъ литературная стоимость. «Все въ нихъ, и образы и настроеніе, и стихосложеніе, и музыка, все — поэзія. Характеръ музыки нельзя опредѣлить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ пѣсняхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалить, рѣзвится звуками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную фізіономію, становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело ударяютъ въ землю; иногда же становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, сягающіе обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуетъ себя исполнителемъ: душа его и все существованіе раздвигается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ отъ земли, чтобы сильнѣе ударить въ нее блестящими подковами и взнестись опять на воздухъ». Такъ рѣзно, въ тактъ съ веселыми пѣснями, писалъ Гоголь... и еще болѣе красивыя слова нашелъ онъ, когда ему пришлось говорить о музыкѣ грустныхъ пѣсенъ. «Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться, — спрашивалъ онъ, впадая въ столь ему обычное умное патетическое настроеніе — жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живутъ, жгутъ, раздражаютъ душу... Безотрадное, равнодушное отчаяніе иногда слышится въ этой пѣснѣ такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуетъ, что надежда давно улетѣла изъ міра. Въ другомъ мѣстѣ отрывистыя стенанія, вопли, такіе яркіе, живые, что съ трепетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирѣпое насиліе вырываетъ младенца, чтобы съ звѣрскимъ смѣхомъ расшибить его о

*) «Письма II. В. Гоголя», I, 278.

камень... По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о минувшихъ страданіяхъ Малороссіи, такъ точно, какъ о бывшей бурѣ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по бриллиантовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освѣженные деревья, когда солнце мечетъ вечерній лучъ, разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звонко дробезжить мычаніе стадъ, голубоватый дымъ, вѣстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свѣтлыми кольцами къ нобу и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

Никто, конечно, не осудитъ историка за такую любовь къ пѣснямъ, къ одному изъ важнѣйшихъ памятниковъ старины, и во всѣхъ этихъ словахъ Гоголя любопытенъ не ихъ смыслъ — вполне вѣрный, а сердечность, восторженность, и картинность, съ какой они высказаны. Чувствуешь, что писатель, гоноря о нихъ, проникнуть ими; и понимаешь, почему при каждомъ удобномъ случаѣ, въ любой исторической статьѣ, онъ готовъ сбиться со спокойнаго историческаго тона на лирическій и разсужденіе захватить образомъ и картиной. Такъ напр., въ статьѣ, которая была замѣчена какъ вступительная глава къ его «Исторіи Малороссіи» и была оставлена «за штатомъ въ виду передѣлки этой исторіи» *), т. е. изъ статьѣ, открывающей ученую книгу, нашъ историкъ придерживался этого же самаго картинно-повѣствовательскаго тона. Вмѣсто ученаго трактата, въ которомъ слѣдовало бы указать на географическія, этнографическія, экономическія и юридическія условія, на почвѣ которыхъ возникъ особый народъ съ оригинальной фізіономіей, получился разсказъ, занимательный и колоритный, съ массою описаній вѣшнихъ сторонъ жизни и многими бытовыми картинками и пейзажами. Поэтъ чувствовался на каждой страницѣ, но историка не было видно, несмотря на то, что предметъ, о которомъ говорилъ Гоголь, былъ имъ изученъ повидимому достаточно основательно.

Нечего удивляться поэтому, если нашъ авторъ, работая надъ исторіей своей родины, въ то же время былъ занятъ историческимъ романомъ, изъ которомъ малорусская запорожская старина должна была появиться передъ читателемъ во всей своей восстановленной полнотѣ и подновленной свѣжести. Этотъ романъ носилъ заглавіе — «Тарасъ Бульба».

Еще въ самомъ началѣ тридцатыхъ годовъ (1831—1832) Гоголь принялся за литературную обработку одного эпизода изъ исторіи казачества. Онъ успѣлъ тогда написать лишь нѣсколько главъ, и затѣмъ работу

*) «Взглядъ на оставленіе Малороссіи».

бросилъ, вѣроятно потому, что Тарасъ Бульба вытѣснилъ изъ его сердца любовь къ гетману Острианицѣ, котораго онъ сначала нагнѣтилъ въ герои своего разсказа. На эти главы изъ неоконченной повѣсти можно, дѣйствительно, смотрѣть какъ на предварительныя этюды къ «Тарасу Бульбѣ». Прежде чѣмъ дать намъ такія колоритныя картины старины, которыми блещетъ «Тарасъ Бульба», авторъ въ повѣсти изъ жизни Острианицы пріучалъ свое перо схватывать истинный колоритъ старой казацкой жизни. Содержаніе повѣсти осталось недосказаннымъ и Острианица является передъ нами только въ роли героя любовной идилліи, которая, какъ и въ «Тарасѣ Бульбѣ», отнюдь не составляетъ лучшаго эпизода въ разсказѣ. Написана эта идиллія, конечно, со свойственнымъ Гоголю лиризмомъ, съ тѣми же тонами и красками въ описаніяхъ природы, которыя такъ поражаютъ нашъ слухъ и наше зрѣніе въ его «Вечорахъ», съ тѣмъ же описаніемъ женской красоты, которая приближаетъ женщину къ поэтической грезѣ—вообще, со всѣми намъ хорошо знакомыми романтическими приемами творчества. Страдаетъ отъ этихъ пріемовъ, конечно, не только внѣшняя, но и внутренняя психологическая правда. Чтобы вообразить себѣ малороссійскаго казака XVII вѣка такимъ рыцаремъ и трубадуромъ, какимъ изображенъ Острианица, нужна большая живость фантазіи, а также и хорошее знаніе малороссійскихъ ифсенъ, отзвуки которыхъ и слышны во всѣхъ рѣчахъ гетмана и его прелестной Гали, Галюночки, Галички и Галюни... Въ повѣсти есть, однако, сцены и вводные эпизоды, въ которыхъ сентиментальный любовный мотивъ уступаетъ свое мѣсто довольно реальному жанру. Сцена пасхальной ночи, съ описаніемъ толпы XVII вѣка, съ еврейскими и польскими типами, вырисованными безъ шаржа; описаніе хутора Острианицы, детальное со всевозможными археологическими подробностями; описаніе обряда христосованья поселянъ со своимъ господиномъ—всѣ эти декорации разставлены очень искусно и всѣ онѣ исторически вѣрны: въ нихъ виденъ знатокъ, который произвелъ кропотливыя розысканія, стремясь выработать вѣрный колоритъ для разсказа, по всѣмъ вѣроятіямъ сплошь измышленнаго.

Большихъ подготовительныхъ работъ потребовала отъ нашего автора и повѣсть «Тарасъ Бульба», которая въ 1833 году была имъ вчернѣ закончена. Повѣсть эта была единственнымъ цѣннымъ результатомъ всѣхъ его работъ по исторіи Малороссіи. Гоголь самъ понималъ это, и, напечатать «Тараса Бульбу» въ 1835 году, онъ продолжалъ работать надъ своимъ разсказомъ, стараясь довести до возможной точности его бытовья и историческія детали. Въ позднѣйшей редакціи (сороковыхъ годовъ) «Тарасъ Бульба», дѣйствительно, приблизился къ типу

тихъ настоящихъ историческихъ романовъ Валтеръ Скотт'овскаго типа, которые могутъ во мнѣшнихъ своихъ подробностяхъ поспорить иной разъ съ историческими памятниками, но и въ тридцатыхъ годахъ эта повѣсть выделялась своимъ истиннымъ колоритомъ среди всѣхъ однородныхъ ей произведеній нашей словесности.

Въ ней замѣтно сильное колебаніе въ манерѣ письма. Реализма въ описаніи характеровъ, въ рѣчахъ, въ передачѣ психическихъ движеній много; но въ общемъ этотъ рассказъ носитъ на себѣ ясную печать того романтическаго взгляда на прошлую жизнь, который Гоголь проводилъ во всѣхъ своихъ историческихъ статьяхъ и планахъ. Правда, той рѣзкой идеализаціи типовъ и того пѣсеннаго склада рѣчи, которые насъ такъ поражали въ «Вечерахъ на Хуторѣ», мы въ «Бульбѣ» почти не встрѣтимъ, но предъ нами все-таки эпическая поэма, съ повышеннымъ тономъ и съ фигурами не совсѣмъ правдоподобныхъ разитировъ.

Тотъ, кто пожелалъ бы въ «Тарасѣ Бульбѣ» отмѣтить мастерство реального воспроизведенія жизни, ея обыденныхъ, но правдивыхъ мелочей, тотъ могъ бы указать на цѣлый рядъ художественныхъ страницъ. Онъ исполнилъ бы встрѣчу Бульбы съ сыновьями, на первый взглядъ дикую по своей грубости, но правдоподобную; онъ припомнилъ бы описаніе свѣтлицы стараго казака; предъ нимъ воскресъ бы страдальческій образъ старухи-матери въ ту безсонную ночь, когда она обрѣла дѣтей, чтобы на зарѣ потерять ихъ. Всѣ сценки, въ которыхъ фигурируютъ евреи — въ сѣчи, въ лагерѣ, въ своихъ столичныхъ канурахъ, въ городской тюрьмѣ — также образецъ очень реального жанра; наконецъ, и казнь запорожцевъ — археологически вѣрно восстановленная картина.

Но, съ другой стороны, несмотря на всѣ эти проблески яркаго реализма, повѣсть «Тарасъ Бульба» остается все-таки по существу своему одними изъ самыхъ цѣнныхъ памятниковъ нашей романтики. Она имѣетъ, безспорно, всѣ достоинства романтической поэмы. Это все-таки повѣсть о герояхъ и ихъ подвигахъ; и сами герои, и ихъ дѣянія переходятъ нерѣдко за черту возможнаго и правдоподобнаго. Грандіозность разитировъ въ очертаніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ, равно какъ и въ описаніи событій, бросается въ глаза при первомъ же взглядѣ. Читатель не получаетъ отъ рассказа впечатлѣнія эпически спокойнаго и ровнаго. Онъ все время тревожно настроенъ: такъ подымаетъ его настроеніе самъ авторъ полетомъ собственнаго лиризма или торжественнаго паюса.

Припомнимъ, напр., какъ Бульба сѣвшигъ на выручку взятаго

въ плѣнь Остапа. «Какъ молвія, вѣрочались во всѣ стороны его запорожцы. Бульба, какъ гигантъ какой-нибудь, отличался въ общемъ хаосѣ. Свирило наносилъ онъ свои крѣпкіе удары, воспламеняясь болѣе и болѣе отъ сыпавшихся на него. Онъ сопровождалъ все это дикимъ и страшнымъ крикомъ, и голосъ его, какъ отдаленное ржаніе жеребца, переносили звонкія поля. Наконецъ, сабельные удары посыпались на него кучею; онъ грянулся лишенный чувствъ. Толпа стиснула и смяла, кони растоптали его, покрытаго прахомъ. Ни одинъ изъ запорожцевъ не остался въ живыхъ: всѣ полегли на мѣстѣ».

Припомнимъ также, какъ умиралъ этотъ гигантъ, когда ему «прикрутили руки, увязали веревками и цѣпями, когда привязали его къ огромному бревну, правую руку, для большей безопасности, прибили гвоздемъ и поставили это бревно рубомъ въ расщелину стѣны, такъ что онъ стоялъ выше всѣхъ и былъ видѣнъ всѣмъ войскамъ, какъ побѣдный трофей удачи. Вѣтеръ развѣвалъ его бѣлые волосы. Казалось, онъ стоялъ на воздухѣ, и это, вмѣстѣ съ выраженіемъ сильнаго безсилія, дѣлало его чѣмъ-то похожимъ на духа, представлявшаго воспріятствовать чему-нибудь сверхъестественной своею властью и увидѣвшаго ея ничтожность». Вспомнимъ, наконецъ, о послѣднемъ подвигѣ казаковъ, который они свершили на глазахъ своего умирающаго атамана. «Казаки достигли бы пониженія берега—рассказываетъ Гоголь если бы дорогу не преграждала пропасть сажени въ четыре шириною: одинъ только свай разрушеннаго моста торчали на обонихъ концахъ; изъ недосыгаемой глубины ея едва доходило до слуха умиравшее журчаніе какого-то потока, низперганшагося въ Днѣстръ. Эту пропасть можно было объѣхать, взявъ вправо; но войска непріятельскія были уже почти на плечахъ ихъ. Казаки только одинъ мигъ остановились, подняли свои нагайки, свиснули—и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластались въ воздухѣ, какъ змѣи, и перелетѣли черезъ пропасть. Подъ однимъ только конь оступился, но зацѣпился копытомъ и привыкшій къ крымскимъ стремнинамъ, выкарабкался съ своимъ сѣдокомъ...» Читая такія и съ ними сходныя страницы (а ихъ въ «Тарасѣ Бульбѣ» не мало), чувствуешь себя невольнымъ участникомъ дѣяній какого-то сказочнаго міра, міра преданій или мифа.

Самъ авторъ не историкъ, а слагатель новой былины, у когорой онъ иногда даже заимствуетъ обороты рѣчи. «Какъ хлѣбный колось, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувствовавшій смертельное желѣзо, повисъ онъ головою и повалился на траву, не сказавъ ни одного слова»—поэтъ Гоголь совсѣмъ старымъ эпическимъ складомъ, описывая смерть несчастнаго Андрія. Да и весь явочный эпизодъ объ-

Андрій—сентиментально романтическая повѣсть чистѣйшаго стиля, начиная съ момента встрѣчи Андрія съ незнакомкой, кончая описаніемъ геройской смерти брата полячки, который погибаетъ въ сраженіи съ казаками, какъ бы искупая своей смертью казнь несчастнаго влюбливаго запорожца. Только необычайная картинность разсказа и драматичность всѣхъ положеній заставляютъ насъ забыть о томъ, что эта повѣсть любви, торжествующей свою побѣду надъ долгомъ и патріотическимъ чувствомъ—старая сказка, пересказанная безчисленное количество разъ. Все въ ней такъ извѣстно: и неожиданность первой встрѣчи, и робкая опасная любовь, и ночныя свиданія, и долгая разлука и обаяніе новой встрѣчи и забвеніе всего на свѣтѣ въ объятіяхъ земного блаженства... и все это такъ субъективно для самого Гоголя, что мы не должны удивляться, если въ мечтахъ Андрія найдемъ большое сходство съ думами самаго автора. «Андрій также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ—писалъ Гоголь, какъ бы на страничкѣ своего дневника. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за 18 лѣтъ. Женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его. Онъ, слушая философскіе диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокою, вѣжливую. Передъ нимъ безпрерывно мелькали ся сверкающія, упругія перси, гнѣздя, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ся свѣжихъ, дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ гнѣздя скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной вѣжливой души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безнужно думать казаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы». И одному ли казаку XVII вѣка было стыдно признаться въ этихъ думкахъ?—можемъ спросить мы. Не приходили онѣ ли на умъ Гоголю, когда онъ слушалъ свои философскіе диспуты въ Нѣжинѣ? Не о себѣ ли думалъ онъ и тогда, когда описывалъ прощаніе казаковъ съ родными хуторами, въ который имъ не суждено было вернуться? «День былъ сѣрый, рассказываетъ Гоголь; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Останъ и Андрій, проѣхавши, оглянулись назадъ. Хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только стояли на мѣстѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика, одни только вершины деревьевъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; одинъ только дальній лугъ еще стлался передъ ними, тотъ лугъ, по которому они югли припомнить всю исторію жизни своей, отъ лѣтъ, когда катались по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобро-

вую казачку, боязливо летѣвшую черезъ него съ помощью своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ножекъ. Вътъ уже одинъ только шестъ надъ колодецъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телеги, одиноко торчитъ на небѣ; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горю и все собою закрыла.—Прощайте и дѣтство и игры, и все, и все!»

Столько лиризма допускалъ нашъ авторъ въ своей поэмѣ, которая при всей правдоподобности въ нѣкоторыхъ деталяхъ и въ обрисовкѣ психическихъ движеній, оставалась романтической по своему замыслу, стилю и тону.

Даже въ описаніяхъ природы мы подмѣтимъ старую манеру автора — преувеличивать размѣры описываемаго и украшать описаніе богатыми метафорами. Мы, правда, не встрѣтимъ уже такого блеска метафоръ, который ослѣплялъ насъ въ «Вечерахъ на Хуторѣ», но мы попрежнему будемъ далеки отъ реальной пейзажной живописи. «Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе—писалъ Гоголь... Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растений. Одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ—какъ въ лѣсу, вытѣпывали ихъ. Ничто въ природѣ не могло быть лучше ихъ. Вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули милліоны разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубые, синіе и лиловые волшки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтикообразными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный Богъ знаетъ откуда колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли цѣлою тучею ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ знаетъ, въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась нѣжными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонъ она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою. Вонъ она перевернулась крыльями и блеснула передъ солнцемъ. Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!»

Послѣднее, нѣсколько комическое, и совсѣмъ не въ тонѣ сорвавшееся восклицаніе позволяетъ думать, что Гоголь самъ не былъ доволенъ своимъ романтическимъ пейзажемъ и что онъ перемѣнилъ тона хотѣлъ настроить читателя менѣе патетично, но зато болѣе правдиво.

«Тарасъ Бульба» былъ данью той восторженной любви, которую

Гоголь всегда питалъ къ старинѣ своей родины: это была пѣснь по славу малороссійской вольницы, героическій разсказъ объ ея богатыряхъ. Всѣ труды Гоголя по исторіи Малороссіи послужили ему матеріаломъ для этой сказочной картины, которую онъ разукрасилъ, однако, исторически-вѣрными деталями, хотя въ самомъ разсказѣ и не уберечь себя отъ лиризма; но этотъ лиризмъ былъ уже потому неизбеженъ, что мысль о Малороссіи всегда влекла за собой цѣлую вереницу личныхъ воспоминаній писателя.

Какъ художественное произведеніе «Тарасъ Бульба» не открывалъ никакого новаго литературнаго горизонта; онъ замыкалъ собою старое теченіе и былъ лишь наилучшимъ образцомъ этого стараго стиля: Гоголь слѣдовалъ извѣстной литературной традиціи, уже установившейся и очень распространенной. Нельзя, конечно, указать ни на одинъ историческій романъ того времени, вліяніе котораго можно было бы прослѣдить на повѣсти Гоголя, тѣмъ болѣе, что первоисточники его повѣсти намъ извѣстны: мы знаемъ откуда онъ бралъ сырой матеріалъ для своей картины. Но тѣмъ не менѣе извѣстная зависимость «Тараса Бульбы» отъ современнаго ему литературнаго стиля не подлежитъ сомнѣнію. При всей своей оригинальности, Гоголь не отступилъ отъ тѣхъ требованій, которыя романтика ставила историческому роману. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ имѣлъ передъ глазами образцы много литературнаго стиля въ историческихъ повѣстяхъ Пушкина—его друга, критика и кумира. Но въ настроеніи и міросозерцаніи нашего автора «романтическое» было еще настолько сильно въ тѣ годы, что оно устояло передъ искушеніемъ красоты спокойнаго, равнаго, величаво-простого стиля, каковыиъ Пушкинъ писалъ свои историческіе романы.

О какомъ бы родѣ художественнаго русскаго творчества намъ ни приходилось говорить, всегда рѣчь сведется къ Пушкину: и въ данномъ случаѣ, говоря о судьбахъ историческаго романа, необходимо вернуться къ «Арапу Петра Великаго» и къ «Капитанской дочкѣ».

Оба памятника стоятъ совершенно одиноко въ нашей литературѣ тѣхъ годовъ. Мы не найдемъ имъ предшественниковъ ни у насъ въ Россіи, ни даже на западѣ. Все, что до Пушкина писано въ этомъ родѣ на русскомъ языкѣ—ничтожно и не возвышается надъ уровнемъ литературной посредственности; все, что писано на западѣ—при всѣхъ красотахъ выполненія—не достигаетъ той художественной простоты, той ясности въ замыслѣ и той жизненной правдивости въ рѣчахъ и поступкахъ дѣйствующихъ лицъ, которая такъ поражаетъ насъ въ историческихъ романахъ Пушкина... Не сравниваемъ мы съ ними ни сен-

сентиментальных и немецких романов Лафонтена или Мейснера, въ которыхъ много чувствительности и мало правды, и французскихъ романовъ типа Гюго, Вивьи или Дюма—гениально колоритныхъ и патетическихъ, но всегда сбивающихся на сказку, и, наконецъ, романовъ английскихъ—даже такихъ, какъ романы Вальтеръ-Скотта или Бульвера, въ которыхъ воображенія неизмѣримо больше, чѣмъ въ пушкинскихъ разсказахъ, но въ которыхъ опять-таки нѣтъ психологической правды въ душевныхъ движеніяхъ настолько сильной, чтобы обратить историческую личность въ нашего собесѣдника и насъ въ его современниковъ. А именно всеми этими качествами и блещетъ историческая повѣсть Пушкина. Какъ иногда художественно-реальная игра артиста заставляетъ насъ забыть о существованіи рамки, такъ иногда историческая повѣсть творитъ тоже чудо въ отношеніи времени: прошедшее становится для насъ дѣйствительностью и почти безъ усилія фантазіи мы начинаемъ себя чувствовать людьми иного вѣка, потому что видимъ предъ собой живыхъ людей и живую обстановку, въ которыхъ соблюдены всѣ условія реальной дѣйствительности. Пушкинъ обладалъ этимъ даромъ заставлятъ читателя жить прошлой жизнью и только онъ одинъ изъ всѣхъ нашихъ писателей имѣлъ эту власть надъ временемъ, пока «Война и Миръ» не указали намъ его законнаго наследника.

Отъ «Арапа Петра Великаго» до «Войны и Мира» мы не имѣли настоящаго историческаго романа: у насъ процвѣталъ романъ сентиментальный и романъ приключеній, которому авторъ иногда стремился придать колоритъ той или другой исторической эпохи. Къ числу такихъ романовъ, возросшихъ въ тридцатыхъ годахъ до угрожающаго количества, принадлежалъ и «Тарасъ Бульба»; онъ былъ среди нихъ первымъ по красотѣ, эффектности и колоритности, въ чемъ всякій можетъ убѣдиться, кто пожелаетъ сравнить его съ современными ему однородными литературными памятниками.

Ихъ количество росло съ необычайной быстротой и затопляло литературный рынокъ. Обзрѣть всю эту массу историческихъ повѣстей и романовъ нѣтъ рѣшительно никакой возможности, да и не нужно; можно остановиться лишь на самыхъ главнѣйшихъ, чтобы указавшемъ на ихъ достоинства или недостатки лучше оцѣнить то преимущество, которое надъ всеми ними имѣетъ разсказъ Гоголя.

Наша историческая повѣсть, за исключеніемъ повѣсти Пушкина, была, какъ мы только что замѣтили, по сюжету и стилю повѣсть сентиментальной и романтической. Тотъ и другой элементъ она зами-

ствозала съ запада, гдѣ такія историческіе романы процвѣтали. Къ этому романтическому сюжету и сентиментальному настроенію наши писатели съ своей стороны стали прииѣшивать элементъ нини народный, тотъ самый, о которомъ такъ много говорилось въ тридцатыхъ годахъ и въ пониманіи котораго, какъ мы знаемъ, парила большая путаница. Съ первыхъ же своихъ шаговъ наша историческая повѣсть должна была отвѣчать, помимо литературныхъ требованій, еще и на требованія этой «народности»: она должна была во всѣхъ смыслахъ быть патріотической, т.-е. убѣждать насъ въ томъ, что наша русская народность обладаетъ тѣми же богатыхъ духовнымъ содержаніемъ и тѣми же вышними красотами, которыми мы такъ привыкли удивляться въ историческихъ романахъ изъ жизни намъ чуждой. Такимъ образомъ нашъ историческій романъ тѣхъ годовъ былъ въ основѣ своей тенденціозенъ.

Дѣйствительно, если присмотрѣться хотя бы даже къ самымъ лучшимъ образцамъ этого литературнаго рода, то не трудно замѣтить, что всѣ три элемента: сентиментальный, романтическій и условно-народный входятъ въ составъ и замысла, и выполненія любого исторического романа того времени.

Вы встрѣтите въ немъ прежде всего традиціонную любовную интригу со всевозможными пропятетіями, сентиментальною, часто слезливую и трогательную. Эта интрига всегда—главная нить, на которую напизаны всѣ эпизоды, иной разъ самые важныя и интересныя въ историческомъ смыслѣ. Выходитъ такъ, что въ исторической повѣсти главное не—историческое, вѣрно воспроизведенное, а общечеловѣческое, воспроизведенное при томъ довольно пазблонно.

Рядомъ съ этимъ сентиментальнымъ истивомъ въ историческихъ повѣстяхъ того времени вы найдете всегда и всѣ романтическіе прѣмы творчества. Ходъ дѣйствія всегда необычайно запутанъ, обставленъ вѣроятными происшествіями, которыя разчитаны на повышеніе въ читателѣ его нервнаго напряженія; характеристики дѣйствующихъ лицъ и драматическія ихъ положенія почти всегда переходятъ за черту возможнаго или даже вѣроятнаго; много таинственнаго, недосказаннаго или умышленно умолченнаго; эффекты на каждомъ шагу и частая игра на контрастахъ.

Наконецъ, и условно народный элементъ проявляется въ этихъ повѣстяхъ почти всегда въ однихъ и тѣхъ же формахъ. Прославленіе православія и самодержавія, перечень разныхъ добродѣтелей, свойственныхъ русскимъ, всчисленію и вмѣстѣ съ тѣми извиненію кое-какихъ вороковъ, археологическая рестаирація обстановки, костюма и, по мѣрѣ:

силъ, самой рѣчи, иногда экскурсамъ въ область мифологии и народныхъ преданій—вотъ самые распространенные мотивы и приемы, при помощи которыхъ авторъ стремился придать своему разсказу народный характеръ.

Само собою разумѣется, что среди нашихъ романистовъ-историковъ, несмотря на сходство приемовъ въ ихъ работѣ, можетъ быть, и должна быть установлена извѣстная литературная іерархія. Она и была установлена читателями, который одни романы забыли, а другіе запомнили. Во всякомъ случаѣ, когда Гоголь писалъ своего «Тараса Бульбу» онъ вступалъ въ состязаніе съ людьми, далеко не лишеными таланта, но только этотъ талантъ тратился на работу фальшивую уже въ самомъ своемъ замыслѣ.

Еще Нарѣжнѣй, идя во слѣдъ Карамзину, пытался создать такую сентиментальную и патріотическую повѣсть, отъ которой на насъ пахнуло бы родной стариной. Но въ своихъ «Славянскихъ Вечерахъ» *) онъ не пошелъ дальше ординарнаго слащаваго и псевдогероическаго разсказа, въ которомъ даже не было намёка на безспорный талантъ автора.

Въ двадцатыхъ годахъ историческая повѣсть нѣсколько оживилась подъ перомъ Марлинскаго. Достоинство его повѣстей—очень немногочисленныхъ и не длинныхъ **)—опредѣляется, главнымъ образомъ, если не отсутствіемъ, то меньшимъ подчеркиваніемъ всевозможныхъ патріотическихъ тенденцій; Марлинскій отъ нихъ также не вполнѣ свободенъ, но главное его вниманіе обращено все-таки не на эту сторону, а на возможно ббльшую близость къ исторической правдѣ и, главное, на правдоподобность психическихъ движеній дѣйствующихъ лицъ. У него есть повѣсти изъ рыцарскихъ временъ остзейскаго края, въ которыхъ о Россіи упоминается рѣдко — и это лучшія повѣсти. Есть разсказы также изъ русскаго прошлаго, въ которыхъ русскаго духа совсѣмъ нѣтъ, но есть много археологически вѣрныхъ декораций и много рѣчей и чувствъ не въ стародавнемъ стилѣ, но зато въ хорошемъ стилѣ начала XIX вѣка. Во всѣхъ этихъ повѣстяхъ виденъ даровитый ученикъ Вальтеръ-Скотта, а иногда и Мура, и Байрона, но эта зависимость отъ иностраннаго образца мало вредитъ разсказамъ Марлинскаго, такъ какъ она не поддѣлка а только лишь

*) «Славянскіе вечера», 2 части. Сиб. 1826.

**) «Гедонъ», «Замокъ Эйзенъ», «Шахиды», «Замокъ Венденъ», «Ремельскій турниръ», «Романъ и Ольга», «Ильминикъ».

хорошо усвоенная манера. Историческая повесть была, впрочемъ, для Марлинскаго увлеченіемъ переходящимъ и онъ отъ старинны скоро перешелъ къ описанію современной ему жизни, которую и умѣлъ освѣщать очень правдиво и своеобразно.

Никто не отниметъ также таланта у Загоскина, который еще задолго до Гоголя увлекъ всѣ сердца «Юріемъ Милославскимъ» *). Въ русской литературѣ этотъ романъ былъ настоящимъ событіемъ и удостоился даже перевода на многіе иностранныя языки. Но кто же теперь, читая этотъ романъ даже безъ скуки, станеть отрицать, что онъ фальшивъ отъ первой страницы до послѣдней; что герой со своей клятвой Владиславу скорѣе сифионъ, чѣмъ патетиченъ; что любовь его къ Анастаси неестественно приторна и риторична; что почти всѣ польскіе типы — шаржированы и каррикатурны, а русскіе идеализированы; что всѣ историческія «картины» скорѣе лубочныя сцены и что рѣчь, которой говорятъ и простолюдины, и дворяне, какъ мозаика, составлена изъ бѣдальныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, высканнхъ въ словарѣ? Еще меньше литературныхъ красотъ имѣлъ другой историческій романъ Загоскина «Аскольдова могила» **) — рассказъ изъ времени Владимира Святого, въ которомъ повѣствовалося о любовныхъ похожденияхъ этого князя, о борьбѣ христіанства съ язычествомъ и гдѣ при случаѣ высказывались самыя восторженныя вѣроподданническія чувства истинныхъ россовъ къ своему государю. Романъ былъ нечѣмъ инымъ, какъ расширенной романтической балладой со всѣми традиціоннымъ инвентаремъ жинно народныхъ аксессуаровъ. «Аскольдова Могила» была бы совсѣмъ забыта, если бы музыка Вестонскаго о ней до сихъ поръ не напоминала.

Самъ Загоскинъ не отдавалъ себѣ, впрочемъ, отчета въ той дорогѣ, во которой шелъ и, не смотря, на то, что съ каждымъ новымъ его историческимъ романомъ интересъ публики падалъ, онъ продолжалъ писать ихъ одинъ за другимъ.

Оперникъ Загоскина — уже извѣстный намъ И. И. Лажечниковъ въ свое время былъ также очень популярнымъ сочинителемъ историческихъ романовъ. И если требовать отъ такихъ романовъ, прежде всего, занимательности, то романы Лажечникова для своего времени

*) «Юрій Милославскій или русскіе въ 1612 году» М. И. Загоскина. 3 части Москва. 1829—30.

**) «Аскольдова могила. Повесть изъ времени Владимира Перваго» М. И. Загоскина. 3 части. Москва. 1833.

должны быть поставлены на первое мѣсто. «Послѣдняго Новика» *) и «Ледяной домъ» **) можно и въ наше время прочесть съ не ослабѣвающимъ вниманіемъ. Умѣніе запутать и распутать интригу — самая сильная сторона таланта Лажечникова и ради всѣхъ этихъ хитросплетеній въ дѣйствіи нашъ авторъ готовъ пожертвовать и исторической правдой (которую онъ иногда искажаетъ самыми произвольными образомъ) и правдой въ психическихъ движеніяхъ. Но за вычетомъ занимательной интриги, въ романахъ Лажечникова едва ли что-нибудь останется. Узнать эпоху Петра I или Анны Иоанновны въ этихъ разсказахъ почти невозможно: передъ нами самые общіе типы людей, которые годились бы для какой угодно эпохи, если окрестить ихъ иными именами и измѣнить кое-что въ окружающей ихъ обстановкѣ. Довольно ordinarily и стереотипны и тѣ эффекты, къ которымъ постоянно прибѣгаетъ авторъ: это все тѣ же обычные романтическіе ужасы или восторги, къ которымъ насъ приучала французская и нѣмецкая романтика. Сентиментальный элементъ въ любовныхъ приключеніяхъ, и въ особенности элементъ патріотическій, мы найдемъ у Лажечникова также въ изобиліи, но главнымъ недостаткомъ его романовъ остается все-таки несоответствіе между психическими движеніями дѣйствующихъ лицъ правами той эпохи, когда эти лица жили. Однѣ сцены въ романѣ умышленно грубы, другія умышленно слишкомъ тонки и между этими двумя крайностями правда жизни исчезаетъ: вмѣсто нея передъ нами занимательная неправдоподобная сказка, отъ которой, однако, все-таки съ трудомъ оторвешься.

Изъ всѣхъ этихъ сказокъ только «Басурманъ» ***) поднялся выше средняго уровня литературной моды, главнымъ образомъ, въ виду интереса основной своей идеи: Лажечниковъ попытался изобразить психологію культурнаго западнаго человѣка, появившагося въ некультурную русскую среду эпохи Ивана III и этотъ мало патріотичный романъ — лучшее, что удалось создать нашему патріоту.

Въ свое время Загоскинъ и Лажечниковъ въ области историческаго романа достойныхъ соперниковъ не имѣли: они считались первыми авторитетами. Но историкъ литературы въ правѣ нѣсколько видоизмѣнить эту іерархію. Если примѣнять къ историческому роману тѣ требованія, которыя ему ставилъ тогдашній вкусъ публики, то рядомъ съ романами Загоскина и Лажечникова, если не выше ихъ, придется поставить одинъ

*) «Послѣдній Новикъ или завоеваніе Лифляндіи въ царствованіе Петра Великаго» *И. Лажечникова*. 4 части. Москва. 1831—33.

**) «Ледяной домъ» *И. Лажечникова*. 4 части. 1835.

***) «Басурманъ» *И. Лажечникова*. 4 части. Москва. 1834.

романъ, который, не былъ оцѣненъ тогда по достоинству. Эта была «Клятва при гробѣ Господнемъ» *). Авторъ — Н. А. Полевой, известный намъ критикъ, памфлетистъ, сатирикъ, историкъ и романистъ.—еще въ двадцатыхъ годахъ попробовавъ свои силы на поприщѣ историческаго бытописанія. Онъ написалъ тогда повѣсть «Симеонъ Кирдяпа», принятую съ большими похвалами. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Полевой задумалъ написать цѣлую хронику русской жизни временъ Василія Темнаго. Планъ былъ очень смѣлый, въ особенности если принять во вниманіе, какими скудными историческими данными пришлось располагать автору. Онъ, конечно, но избѣгъ традиціонныхъ ошибокъ. Главный герой повѣсти остался совсѣмъ въ тѣни и продолжалъ быть для читателя загадочной личностью; таинственной осталась и клятва, которую этотъ герой давалъ при гробѣ Господнемъ; въ неизмѣнную любовную фабулу авторъ опять подсыпалъ большую дозу сентиментальныхъ сладостей, и часто злоупотреблялъ эффектами. Но всѣ эти недостатки искупались шириной набросанной имъ картины. Въ этомъ длинномъ разсказѣ объ интригахъ нашихъ старыхъ князей мы имѣемъ передъ собой галлерею очень типичныхъ лицъ. Ни одинъ историческій романъ не давалъ также такого разнообразія бытовыхъ картинъ, какъ романъ Полевого. Князья, ихъ бояре, стража, крестьяне, мѣщане, купцы, воины, послушники, монахи, страшники—проходятъ передъ нами, не нарушая единства дѣйствія и торопя завязку или развязку главной интриги. Пасколько всѣ эти лица согласны съ исторической правдой, это, конечно, вопросъ иной; у нашего романтика было свое понятіе объ этой исторической правдѣ, но среди всѣхъ тогдашнихъ искаженій ея, романъ Полевого былъ изъ числа наиболѣе колоритныхъ.

Читатель тридцатыхъ годовъ былъ, однако, менѣе требователенъ, чѣмъ мы, и рядомъ съ именами Загоскина, Лажечникова и Полевого ставилъ еще и много другихъ именъ, теперь почти совсѣмъ или совсѣмъ забытыхъ. Охотно, напр., читались историческіе романы Булгарина—худшее, что имъ было написано. Полные мелодраматическихъ эффектовъ, скучные въ тѣхъ своихъ частяхъ, гдѣ авторъ стремился не отступать отъ исторіи и копировалъ лѣтописи и другіе источники, пропитанные насъкозь патріотической тенденціей и приторной прописной гражданской моралью, съ негнройтой сентиментальной психологіей любви, съ романтическими ужасами всевозможнаго вида—«Димитрій

*) «Клятва при гробѣ Господнемъ. Русская быль XV вѣка». 4 части. Москва. 1832.

«Самозванецъ» *) и «Мазепа» **) были для средняго читателя самой удобоусвоенной пищей и авторъ могъ одно время гордиться, что обить его романовъ не пострадалъ отъ сосѣдства съ «Борисомъ Годуновымъ» и «Полтавою» Пушкина. Читался также съ интересомъ и Масальскій— авторъ романовъ «Стрѣльцы» ***) и «Регентство Бирона» ****), очель сходныхъ по своему историческому колориту съ романами Лажечникова. Читателей находилъ и Вельтманъ со своими неуклюжими историко-фантастическими сказками. На смѣну этимъ писателямъ позднѣе пришелъ Зотовъ и, главнымъ образомъ, Кукольникъ, стремившіеся плодотворностью замѣнить оригинальность, но дѣятельность этихъ писателей падаетъ въ сороковые годы и потому лежитъ внѣ поля зрѣнія того изслѣдователя, который говоритъ о взаимномъ отношеніи творчества Гоголя и современныхъ ему литературныхъ вкусовъ.

Существуетъ ли такое соотношеніе между ходячими тогда историческими романами и «Тарасомъ Бульбой»? Если имѣть въ виду выполненіе задачи, то, конечно, ни о какомъ сравненіи Гоголя съ только что поименованными авторами не можетъ быть и рѣчи. Человѣкъ съ огромнымъ литературнымъ талантомъ можетъ остаться вполне художникомъ и на той дорогѣ, идя по которой другой писатель съ меньшей силой необходимо упрется въ шаблонъ и банальность. Въ «Тарасѣ Бульбѣ» всѣ недостатки нашей старой исторической повѣсти были, дѣйствительно, спасены талантомъ Гоголя, но они не перестаютъ быть недостатками. Отъ того художественнаго воспроизведенія старины, при которомъ она становится для насъ переживаемой дѣйствительностью Гоголь все-таки далекъ. Его разсказъ остается романтической грезой, а не живой повѣстью о быломъ, хотя всѣ погрѣшности противъ правды и прикрыты въ этой грезѣ художественнымъ ея выполненіемъ. Новыхъ путей въ созданіи историческаго романа Гоголь не указалъ, но старое довелъ до совершенства. Въ «Тарасѣ Бульбѣ» онъ избѣжалъ всѣхъ антихудожественныхъ условностей, не понижая общаго романтическаго тона всей повѣсти. Сентиментальную любовную интригу онъ не довелъ до приторности, героизмъ въ обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ не повывсилъ до фантастическаго, не примѣшалъ къ повѣсти никакой патріотической тенденціи или морали и, кромѣ того, въ деталяхъ сумѣлъ остаться строгимъ реалистомъ. Исторически вѣрнаго общаго представленія о жизни

*) «Дмитрій Самозванецъ». Историческій романъ *Ф. Буларина*, 4 часть Спб. 1830.

**) «Мазепа» *Ф. Буларина*, 2 части. Спб. 1833.

***) «Стрѣльцы». Историческій романъ *К. Масальскаго*, 4 части. Спб. 1832.

****) «Регентство Бирона». *К. Масальскаго*, 2 части. Спб. 1831.

качества по его повѣсти мы не получимъ, но зато въ описаніяхъ частностей этого быта видимъ не компилятора или мозаиста, какими были современныя ему сочинители историческихъ повѣстей, а человека, сжимшагося со стариной, съ ея внѣшностью и только во внутреннее ея содержаніе вносящаго свой романтическій пафосъ.

Впрочемъ, такое сочетаніе романческаго взгляда на жизнь съ реальной вырисовкой ея деталей встрѣчается не въ одномъ только «Тарасъ Бульба», а—какъ сейчасъ увидимъ—во всѣхъ гоголевскихъ повѣстяхъ того времени, даже тѣхъ, въ которыхъ художникъ-реалистъ одержалъ верхъ надъ своимъ неотвязнымъ спутникомъ, разсуждающимъ, морализирующимъ, восторженнымъ или умиленнымъ романтикомъ.

IX.

Постепенное торжество реализма въ творчествѣ Гоголя.—«Вій».—«Старосвѣтскіе помѣщики».—«Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ».—«Ночь».—«Колебка».—«Петербургскія Ваньки 1836 г.».—Выходъ въ свѣтъ «Арабесокъ» и «Миргорода».—Отзывы критики.—Значеніе повѣстей Гоголя въ исторіи развитія его творчества.

«Если бы насъ спросили—писалъ Бѣлинскій въ одной изъ своихъ статей—въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы — мы отвѣчали бы: въ томъ именно, что отъ высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомитъ ее съ нею же самою. Это значило сдѣлать литературу выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ. Уничтоженіе всего фальшиваго, ложнаго, неестественнаго должно было быть необходимымъ результатомъ этого новаго направленія нашей литературы, которое вполнѣ обнаружилось съ 1836 года, когда публика наша прочла «Миргородъ» и «Ревизора».

Гоголь, вѣроятно, никогда бы не согласился съ Бѣлинскимъ въ томъ, что онъ отошелъ отъ изображенія «высшихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни»—онъ, который, въ концѣ концовъ ради нихъ отрекся отъ своего творчества, но въ общемъ Бѣлинскій былъ правъ. «Миргородъ» и рядъ другихъ повѣстей, тогда набросанныхъ или написанныхъ Гоголемъ, отмѣчаютъ ясно поворотъ его творчества отъ романтизма въ искусство къ реализму.

Помимо тѣхъ историческихъ, литературныхъ и эстетическихъ статей, которыя были напечатаны Гоголемъ въ сборникѣ «Арабески» (1836), кромѣ повѣстей «Портретъ», «Невскій проспектъ» и «Записки сумасшедшаго», появившихся въ томъ же сборникѣ, помимо комедій, надъ которыми нашъ авторъ тогда работалъ, и «Мертвыхъ Душъ», писать которыя онъ также началъ, Гоголь въ 1835 году выпустилъ въ свѣтъ продолженіе своихъ «Вечеровъ на Хуторѣ» подъ заглавіемъ «Мирго-

родъ». Въ составъ сборника вошли четыре повѣсти: уже знакомая намъ повѣсть «Тарасъ Бульба», и затѣмъ «Старосвѣтскіе помѣщики», «Вій» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Если къ этимъ повѣстямъ добавить тогда же написанные рассказы «Ночь» (1833) и «Коляска» (1835); статью «Петербургскія Записки» (1835—1836) и задуманную повѣсть «Шивель» (1834) то мы будемъ имѣть полный списокъ тѣхъ созданій Гоголя, въ которыхъ романтикъ уступалъ свое мѣсто реалисту, чтобы въ «Комедіяхъ» и въ «Мертвыхъ Душахъ» окончательно ему подчиниться.

Какъ памятники, на которыхъ остались слѣды этого любопытнаго спора двухъ способностей и тенденцій въ одномъ авторѣ—всѣ только что перечисленные сочиненія Гоголя имѣютъ большое значеніе въ исторіи его творчества. Въ нихъ стала все яснѣе и яснѣе проступать наружу та его способность, которая, по собственному его признанію, не могла ничего «выдумать», которая, чтобы творить, должна была видѣть и осязать. Пушкинъ разумѣлъ именно эту способность Гоголя, когда говорилъ, что никто не умѣетъ такъ схватывать и чувствовать житейскую пошлость, какъ его добрый пріятель. Отъ этого дара самому Гоголю становилось иной разъ жутко и столкновеніе, грозное столкновеніе между бытописателемъ и лирикомъ становилось неизбежно. Оно, дѣйствительно, и наступило во всей своей строгости послѣ созданія «Комедій» и «Мертвыхъ Душъ», но въ тридцатыхъ годахъ это столкновеніе не причиняло Гоголю пока еще никакой боли и сказывалось только на довольно странномъ смѣшеніи противорѣчивыхъ настроеній и стилей въ нѣкоторыхъ изъ его повѣстей.

Уже при оцѣнкѣ той основной мысли, которую авторъ стремился пояснить въ своихъ разсказахъ: «Портретъ», «Записки сумасшедшаго» и «Невскій проспектъ», мы имѣли случай указать, какъ реальные типы и реальная обстановка сочетались въ этихъ повѣстяхъ съ романтическимъ настроеніемъ и замысломъ. Во всѣхъ этихъ трехъ разсказахъ вниманіе автора какъ бы двоялось: онъ занятъ былъ освѣщеніемъ и разработкой основной романтической мысли о миссіи поэта или о разладѣ мечты и жизни и вѣстѣ съ тѣмъ мимоходомъ онъ рисовалъ бытовые картины въ самомъ реальномъ, иногда даже каррикатурномъ стилѣ.

Жизнь артистической богемы, жизнь мелкихъ чиновниковъ Коломны, нѣсколько профилей великосвѣтскихъ барынь, модный художникъ въ своей мастерской—вотъ о чемъ успѣлъ мимоходомъ сказать нѣсколько самыхъ картинныхъ словъ нашъ писатель, когда въ «Портретѣ» разоблачилъ передъ нами тайныя страданія артистической души, измѣ-

нившей своему призванію ради ви́шняго блеска или когда говорил о той чертѣ, которая должна отдѣлять искусство отъ жизни. Въ «Невскомъ проспектѣ» и въ «Запискахъ сумасшедшаго» передъ нами еще больше такихъ реальныхъ деталей, совершенно жизненныхъ,—которыя пояснена основная мысль о романтическихъ страданіяхъ непримиреннаго съ дѣйствительностью мечтателя. И военные, и художники, и нѣмецкіе ремесленники, и бульварная публика и департаментскіе чиновники—все включены въ одну, понидимому, тѣсную рамку и все живутъ на нашихъ глазахъ, несмотря на то, что передъ нами мелькаютъ иногда лишь только ихъ профили и силуэты.

Такъ же точно и въ другихъ повѣстяхъ, начисанныхъ въ эти годы, талантъ Гоголя двоятся, и въ одномъ и томъ же произведеніи мы встрѣчаемъ и самое художественное реальное изображеніе жизни, и знакомое намъ субъективно-романтическое отношеніе автора къ ней, причемъ это послѣднее идетъ замѣтно на убыль.

Повѣсть «Вій» по замыслу настоящая фантастическая сказка, очень похожая на тѣ, которыя авторъ рассказывалъ въ своихъ «Печерахъ». А между тѣмъ рядомъ съ этимъ фантастическимъ элементомъ въ повѣсти дана цѣлая бытовая картина и притомъ безъ идиллическихъ прикрасъ, безъ какого-либо искаженія правды, въ стилѣ очень строгаго реализма. Въ тогдашней литературѣ не было памятника, въ которомъ бы жизнь бурсаковъ и бытъ двора знатнаго помѣщика были бы очерчены такъ кратко и ви́стѣ съ тѣмъ правдиво—правдиво потому, что то самое простонародье, жизнь котораго Гоголь раньше любилъ подкрасить, выведено здѣсь во всей своей наготѣ на сцену; и притомъ это вовсе не та лубочная нагота, которой иногда щеголялъ писатель тѣхъ годовъ, когда хотѣлъ изобразить наивность простонароднаго міросозерцанія.

То же смѣшеніе тоновъ замѣтно и въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики», въ этой несложной идиллической исторіи двухъ закатающихся жизней. Романтическая идиллія, какъ извѣстно, была очень распространеннымъ родомъ творчества въ нашей старой словесности. Писатели очень любили такіа благодарныя темы, какъ исторія двухъ любящихъ сердецъ, поселенныхъ среди мирной природы, вдали отъ цивилизаціи, сердецъ, занятыхъ исключительно своими чувствами. «Старосвѣтскіе помѣщики» были удачною попыткой замѣнить въ этой темѣ все романтическіе элементы—реальными и бытовыми. Въмѣсто прежнихъ пустынныхъ мѣстъ—магроссѣйская деревня, вмѣсто разочарованныхъ героевъ и томныхъ или страстныхъ героинь—старикъ и старуха; и при всей этой ви́шней простотѣ и прозаичности,

повѣсть глубоко поэтична. Она—рѣшительная побѣда реализма въ искусствѣ, а между тѣмъ, какъ часто въ ней прорывается наружу романтическое настроеніе автора. Сколько субъективной грусти вложено въ этотъ спокойный разсказъ, какъ невозмутимо однообразенъ его тонъ, во всемъ соответствующій тому понятію, какое мы имѣемъ о реальной, хотя бы самой замкнутой, помѣщичьей жизни. «Старосвѣтскіе помѣщики», при всемъ реализмѣ въ деталяхъ, какъ напр. въ сценахъ изъ крестьянской жизни, при поразительномъ своемъ безпристрастїи, все таки производятъ впечатлѣніе какой-то грустной грезы, на которой остались слѣды любимыхъ размышленій автора о печаляхъ жизни. Онъ не уберегъ себя отъ этой романтической грусти даже въ этой повѣсти, въ которой рисовалъ жизнь мирнаго уголка, жизнь, полную счастья, любви, тишины и довольства.

То же вторженіе романтической грусти подмѣчаемъ мы и въ «Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ». Гоголь не особенно высоко цѣнитъ эту повѣсть—она была въ его глазахъ простой шуткой: и въ ней есть этотъ шутовской элементъ, граничащій даже съ невѣроятностью. Появленіе бурой свиньи, которая утѣшила жалобу Ивана Никифоровича, можетъ быть оправдано только смѣшливымъ капризомъ автора. Но вѣстѣ съ тѣмъ эта повѣсть вполне реальная картина уѣзднаго города и Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича можно встрѣтить и въ наше время. Мы смѣемся надъ ними отъ души, равно какъ и надъ всѣми гостями, которые сталкиваютъ двухъ друзей на знаменитомъ обѣдѣ городничаго. Когда мы потомъ читаемъ «Ревизора» и «Мертвыя Души», то эта картина уѣзднаго общества всегда приходитъ намъ на память; вспоминаемъ мы и судью, который слушаетъ чтеніе безконечнаго дѣла и прерываетъ его разсужденіями о пѣвнхъ дроздовъ, вспоминаемъ и городничаго, который при ежедневныхъ рапортахъ спрашиваетъ квартальныхъ надзирателей, нашлась ли пуговица отъ его мундира, потеряла ли два года тому назадъ; помнимъ мы и Антона Прокофьевича, который продалъ свой домъ и на вырученныя деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и бричку, затѣмъ промѣнялъ этихъ лошадей на скрипку и дворовую дѣвку, чтобы эту дѣвку промѣнять въ концѣ-концовъ на сафьянный съ золотомъ кисеть... Одно только возбуждаетъ въ насъ недоумѣніе, это—окончаніе повѣсти. Отчего этотъ веселый разсказъ кончается такими печальными словами?

«Тошчя лошадя,—такъ заключаетъ авторъ свою повѣсть,—извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытными своими, погрузавшимися въ сѣрую массу грязи, неприятный

для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ на жидка, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкой, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые досѣдки свои, медленно, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрѣя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо. Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!»

Лирическая вставка, очень характерная именно въ такой веселой повѣсти, и лишній разъ указывающая на то, какъ нашему автору было трудно подавить личное грустное ощущение даже въ самой безобидной повѣсти, сбивающейся на смѣшную шутку.

Шутками можно назвать и «Коляску» и «Ночь»—два коротенькихъ разсказа, въ которыхъ авторъ далъ полную волю своему остроумію; въ этихъ повѣстяхъ или, вѣрнѣе, анекдотахъ, странно было бы доискиваться какой-нибудь идеи, но при всей незначительности содержанія, эти шутки въ литературномъ смыслѣ явленіе замѣчательное, именно въ виду реальной обрисовки нѣкоторыхъ типовъ и сценъ, хотя бы самыхъ незатѣпчивыхъ. Цирюльникъ Иванъ Яковлевичъ и майоръ Ковалевъ, ночь котораго позволилъ себѣ такую непристойную выходку, люди живые, несмотря на всю чепуху, которая съ ними творится. Но рядомъ съ этой необъяснимой чепухой имъ приходится быть свидѣтелями и безъинтересныхъ житейскихъ явленій. Такова, напр., сцена въ газетной экспедиціи, гдѣ печатались объявленія о томъ, «что отпускается въ услуженіе кучеръ трезваго поведенія, малоподдержанная коляска, вывезенная въ 1814 году изъ Парижа и дворовая дѣвка 19-ти лѣтъ, упражнявшаяся въ прачечномъ дѣлѣ, годная и для другихъ работъ»... Такова сцена у частного пристава; наконецъ, описаніе той сенсаціи, какую произвелъ сбѣжавшій и прогуливающійся носъ въ столицѣ, сенсаціи, охватившей всѣ круги общества... Такіе тонкіе сатирическіе штрихи—впрочемъ очень безобидные—попадаютъ и въ «Коляску». Взять хотя бы типъ главнаго виновника этого смѣшного инцидента—помѣщика, который давалъ прекрасные обѣды дворянству, на которыхъ объявлялъ, что если только его выберутъ предводителемъ, то онъ поставитъ дворянъ на самую лучшую ногу, который затѣмъ употребилъ приданое жены на шестерку отличныхъ лошадей, вызолоченные замки къ дверямъ, ручную обезьяну для дома и француза дворецкаго...

Вообще въ этихъ шуткахъ Гоголя читатель могъ наткнуться со всѣмъ неожиданно на проблески общественной сатиры. Такой сатирическій элементъ былъ въ особенности силенъ въ повѣсти «Шинель», которую Гоголь въ это же время задумалъ, но обработалъ значительно позднѣе.

Гораздо большій общественный смыслъ имѣло и удивительно яркое сравненіе Москвы и Петербурга, набросанное Гоголемъ въ 1835 году и затѣи, въ 1837 году напечатанное въ «Современникѣ» подъ заглавіемъ «Петербургскія Записки 1836 года». Эта статья, «написанная въ свѣтлыя минуты веселости великимъ меланхоликомъ»—какъ о ней говорилъ Пушкинъ—своего рода перлъ остроумія. Государственная, общественная и литературная физиономія двухъ столицъ обрисована съ неподражаемой яркостью красокъ и мѣткостью выраженія. Москва—эта старая домосѣдка, которая почетъ бливы, глядитъ издали и слушаетъ разсказъ, не подымаясь съ кресель, о томъ, что дѣлается на свѣтѣ; Петербургъ—разбитной малый, который никогда не сидитъ дома, всегда одѣтъ и, охорашиваясь передъ Европою, раскланивается съ заморскимъ людомъ... Петербургъ—аккуратный человѣкъ, совершенный вѣнецъ, который на все глядитъ съ расчетомъ и прежде нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотреть въ карманъ; Москва—русскій дворянинъ, который если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ... Москва, гдѣ журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и проч. Петербургъ—гдѣ въ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности; Москва—гдѣ журналы идутъ на ряду съ вѣкомъ, но опаздываютъ книжками и Петербургъ, гдѣ журналы не идутъ наравнѣ съ вѣкомъ, но выходятъ аккуратно, въ положенное время; Москва, куда тащится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается налегкѣ; Петербургъ, куда ѣдутъ люди безденежные и разѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ взряднымъ капиталомъ. Москва—которая не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ, который продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ; Москва, которая нужна для Россіи, и Петербургъ, которому нужна Россія...

Въ цѣлой вереницѣ такихъ остроумныхъ сопоставленій поясняетъ Гоголь свою основную мысль: о противорѣчій коренной русской Москвы и Петербурга, похожаго на «европейско-американскую колонію». Эту мысль нужно отиѣтити, какъ первое проявленіе тѣхъ патріотическихъ взглядовъ, которые позднѣе сблизятъ Гоголя съ славянофилами.

Такъ наблюдатель и реалистъ въ своемъ творествѣ сталъ за эти годы нашъ авторъ, все болѣе и болѣе изощряя свой взглядъ художника надъ всякими мелочами нашей повседневной жизни *).

*) Къ 1830—1835 годамъ относятся и нѣсколько отрывковъ изъ начатыхъ повѣстей («Сочиненія Н. В. Гоголя». X-ое изданіе V, 91—98), по содержанию своему также являющія реальныя.

Большинство этих очерковъ и рассказовъ, равно какъ и серьезные статьи по исторіи, литературѣ и искусству, Гоголь, какъ мы уже сказали, собралъ и выпустилъ въ свѣтъ въ двухъ сборникахъ, напечатанныхъ почти одновременно.

Въ началѣ 1835 года вышли въ свѣтъ «Арабески» *) и вслѣдъ за ними обѣ части «Миргорода» **).

Авторъ придавалъ, кажется, особенное значеніе «Арабескамъ», гдѣ были собраны его статьи по эстетикѣ и исторіи. Хотя онъ и писалъ въ одномъ частномъ письмѣ, что этотъ сборникъ, «сумбуръ, смѣсъ всего, каша—***), но эти слова были просто авторскимъ кокетствомъ. По крайней мѣрѣ въ предисловіи къ «Арабескамъ» Гоголь не только не скромничалъ, но говорилъ съ читателемъ въ достаточно горделивомъ тонѣ, который неприятно поразилъ тогдашнюю критику. «Признаюсь, писалъ молодой авторъ, въ которыхъ пьесъ я бы, можетъ быть, не допустилъ вовсе въ это собраніе, если бы издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмѣсто того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неутомимымъ къ своимъ занятіямъ *настоящимъ*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо какъ позабывать минувшіе дни своей юности. При томъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще не сказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго». Такой тонъ въ предисловіи исключалъ, повидимому, всякую авторскую скромность и Гоголь, дѣйствительно, ревниво относился къ успѣху своей книги. Онъ очень жаловался, что его «Арабески» и «Миргородъ» не идутъ совершенно: «Чортъ ихъ знаетъ, что это значить, восклицалъ онъ. Книгопродавцы такой народъ, которыхъ безъ всякой совѣсти можно повѣсить на первомъ деревѣ» ****). Въ своихъ заботахъ объ «Арабескахъ» Гоголь готовъ былъ даже пойти на газетную рекламу. «Сдѣлавъ милость, писалъ онъ Погодину, напечатать въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» объявленіе объ «Арабескахъ» въ такихъ словахъ: что теперь, дескать, только и говорятъ всздѣ, что объ «Арабескахъ», что сія книга возбудила всеобщее любопытство, что расходъ на нее страшный (NB. До сихъ поръ ни гроша барыша не получено) и тому подобное» **).

*) Въ «Арабески» вошли всѣ историческія, эстетическія и критическія статьи и повѣсти: «Портретъ» «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго».

***) Въ «Миргородѣ» были напечатаны: «Старосвѣтскіе помѣщики», «Видъ», «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» и «Тарасъ Бульба».

****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 331.

*****) «Письма Н. В. Гоголя», I, 351.

Если «Арабески» не шли, то въ этомъ былъ, конечно, виновать ихъ учено-эстетическій багажъ, для большой публики мало интересный. Эти историческія и ученныя статьи Гоголя очень не понравились и критикѣ, которая въ обществѣ отнеслась къ «Арабескамъ», и въ особенности къ «Миргороду» благосклонно.

Сенковскій въ «Библиотекѣ для Чтенія» разругалъ Гоголя за его предисловіе, говоря, что только Гете да Гоголь могутъ съ публикой объясняться такимъ образомъ, что Гоголь, не полагаясь на разбогачивость наследниковъ и обожателей, начинаетъ свое литературное поприще тѣмъ, что самъ издаетъ свои посмертныя сочиненія. Критикъ очень неодобрительно отнесся и къ ученымъ статьямъ нашего автора. «Арабески»—говорилъ онъ—это полная мистификація наукъ художествъ, смысла и русскаго языка. Въ ученыхъ статьяхъ не обещенья уродливыхъ сужденій, тяжкихъ грѣховъ противъ вкуса и логики. Въ нихъ поражаетъ читателя внутренняя пустота мысли и дисгармонія языка». Сенковскій смѣялся также надъ «средними вѣками» и «готикой» Гоголя, надъ этими «любимыми куклами его воображенія». Вкусъ и логика изнасилованы во всѣхъ этихъ серьезныхъ статьяхъ Гоголя, говорилъ онъ. Вообще было-бы гораздо лучше, когда бы статьи этого рода высказывались не изъ души, а изъ предварительной науки. О повѣстяхъ, напечатанныхъ въ «Арабескахъ» критикъ отзывался очень глухо, но похвалилъ слегка «Записки сумасшедшаго» и «Невскій проспектъ» **). Къ повѣстямъ въ «Миргородѣ» Сенковскій отнесся мягче, выписалъ даже цѣлую страницу изъ «Тараса Бульбы», однако замѣтилъ, что повѣсть о «ссорѣ Ивана Ивановича» очень грязна и что въ «Віѣ» нѣтъ ни конца, ни начала, ни идеи, ничего кромѣ страшныхъ, невѣроятныхъ сценъ ***). Во всей рецензіи, какъ видимъ, сквозило явное недоброжелательство.

Булгаринъ говорилъ объ «Арабескахъ» приблизительно то же самое: порицалъ автора за аристократическій и диктаторскій тонъ въ его предисловіи, видѣлъ во всѣхъ его серьезныхъ статьяхъ промахи противъ логики и истины, языка и вкуса. Повѣсти похвалилъ, но по поводу «Невскаго Проспекта» упрекнулъ Гоголя въ неразборчивомъ вкусѣ и замѣтилъ, что карикатуры ему лучше удаются. Вообще, по его мнѣнію, «Арабески» названы удачно: это «образы безъ лицъ» ****). Въ той же «Сѣверной Пчелѣ», гдѣ была помѣщена

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 341.

***) «Библиотека для чтенія», 1835. Т. IX. «Литературная лѣтопись», 3—14.

****) «Библиотека для чтенія» 1835 т. IX. «Литературная лѣтопись» 31—34

****) («Северная Пчела», 1835, № 73.

эта рецензія, былъ разобрать и «Миргородъ» относительно-благосклонно. Любопытны заключительныя слова критика. Въ повѣсти о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» — говорилъ онъ — описана прозаичная жизнь двухъ сосѣдей бѣднаго уѣзднаго городка со всѣми ея незанимательными подробностями, описана съ удивительною вѣрностью и живостью красокъ. Но какая цѣль этихъ сценъ? — Сценъ, не возбуждающихъ въ душѣ читателя ничего, кромѣ жалости и отвращенія? Въ нихъ нѣтъ ни забавнаго, ни трогательнаго ни смѣшнаго. Зачѣмъ же показывать намъ эти рубища, эти грязныя лохмотья, какъ бы ни были они искусно представлены? Зачѣмъ рисовать непріятную картину задняго двора жизни и человѣчества, безъ всякой видимой цѣли?» *)

Кромѣ этихъ рецензій, недоброжелательныхъ и насмѣшливыхъ, остальные были всѣ въ пользу Гоголя. Критикъ «Московского Наблюдателя» Шевыревъ поздравилъ русскую литературу съ появленіемъ новаго, совершенно оригинальнаго таланта, въ которомъ простодушная веселость нашла себѣ художественное выраженіе. Пользуясь случаемъ, Шевыревъ написалъ цѣлый философскій трактатъ о теоріи смѣха, отводя Гоголю почетное мѣсто среди первыхъ юмористовъ міра, какъ представителю славянскаго простодушнаго юмора. Критикъ хвалилъ «Тараса Бульбу», но не вполне былъ доволенъ слогомъ Гоголя. Свою рецензію онъ заканчивалъ также очень характернымъ пожеланіемъ. «Желательно — говорилъ онъ — чтобы Гоголь обратилъ свой наблюдательный взоръ на общество, насъ окружающее. Онъ водилъ насъ въ Миргородъ, въ мастерскую сапожника, въ сумасшедшій домъ. Но столица уже довольно смѣялась надъ провинціей и деревенщиной. Пусть Гоголь откроетъ бессмыслицу въ нашей собственной жизни и въ кругу, такъ называемомъ, образованномъ, въ нашей гостини, среди модныхъ фракковъ и галстуковъ, подъ модными головными уборами» **).

Силу Гоголя, какъ юмориста, отфѣнилъ и критикъ «Литературныхъ Прибавленій къ «Русскому Инвалиду», который, говоря о «Ревизорѣ», попутно коснулся и повѣстей нашего автора. «Гоголь обыкновенно описываетъ мелочныя обстоятельства и ничтожныя случаи — писалъ рецензентъ — но рассказываетъ о нихъ съ важностью, какъ о необыкновенныхъ происшествіяхъ міра. Объясняясь предположеніями ложными, однако же свойственными тому человѣку, который предполагаетъ, мысля грубыми предразсудками, отпуская даже глупости въ

*) «Сѣверная Пчела», 1835, № 116. Статья подписана «П. М.—скій».

**) «Московский Наблюдатель», 1835, I, статья Шевырева о «Миргородѣ», 396—411.

лицъ какого-нибудь глупца—Гоголь сохраняетъ при этомъ столько умствующую, дальновидную, убѣдительную физиогномію, что вамъ сначала покажется, не считаетъ ли самъ онъ такими важными эти бездѣлицы. Онъ никогда не подастъ вамъ подозрѣнія, что шутитъ. Простодушіе его такъ велико, что еще сомнительно, знаетъ ли самъ онъ, что онъ такъ остеръ и забавенъ *)).

На очаровательную бездѣливую явность повѣстей Гоголя указывалъ и критикъ «Телескопа», который шутиливо замѣчалъ при этомъ: «Знались же вы, почтенный пасичникъ, отъ того, что въ «Библиотеку для Чтенія» называютъ васъ русскимъ «Полю де-Коконъ!» **). Реализмъ въ повѣстяхъ Гоголя встрѣтилъ полное сочувствіе и еще въ одномъ анонимномъ критикѣ «Литературныхъ Прибавленій». «Въ повѣстяхъ Гоголя сюжетъ простъ, занимателенъ, величествененъ, какъ природа, разсматриваемая не очами слѣпца, — говорилъ рецензентъ. Выполненъ сюжетъ увлекательно. Съ радостью скажемъ, что авторъ «Миргорода» уже оставляетъ свою прежнюю напыщенность: простота есть одно изъ трехъ Грацій—изящнаго! Теперь каждое слово Гоголя есть необходимая часть цѣлаго, ни одно слово не уронено на вѣтеръ» ***).

Но самой полной оцѣнкой литературнаго значенія новыхъ повѣстей Гоголя былъ извѣстный историческій обзоръ русской повѣсти, данный Бѣлинскимъ въ его статьѣ «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя («Арабески» и «Миргородъ») ****).

Насмѣшливо относясь ко всѣмъ «ученымъ» статьямъ Гоголя, Бѣлинскій восторженно говорилъ объ его литературномъ талантѣ. Для него Гоголя прежде всего—истинный поэтъ, тотъ самый, творчество котораго «бездѣливо съ цѣлю, безсознательно съ сознаемъ, свободно съ зависимостью».

Гоголь мастеръ дѣлать все изъ ничего. Его созданія ознаменованы печатью истиннаго таланта и созданы по непреложнымъ законамъ творчества. Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій—суть вѣрные, необманчивые признаки творчества: это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, жизни, коротко знакомой намъ... Каждая его повѣсть—смѣшная комедія, кото-

*) «Литературныя Прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1836, № 59—60. *И. Серебряный*. «Русскій театръ», 479.

***) «Телескопъ» XXI. «Моза», 351.

***) «Литературныя Прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1835, № 33. Статья *А. и. м. л.* «Мои коммержаи о сочиненіи Н. Гоголя «Миргородъ», 262—3.

****) «Телескопъ», 1835, XXVI, № 8.

рая начинается глупостями и оканчивается слезами, и которая, наконецъ, называется жизнью. И таковы всѣ его повѣсти: сначала смѣшно, потомъ грустно! И такова жизнь наша: сначала смѣшно, потомъ грустно! Сколько тутъ поэзіи, сколько философіи, сколько истины! Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени: Гоголь ни мало не думаетъ о народности, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гонятся за нею и ловятъ—одну тривиальность... Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодупный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простачкомъ и этотъ юморъ тѣмъ скорѣе достигаетъ своей цѣли... и въ этомъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. О! Предъ такую нравственность можно падать на колѣна!

«Арабески» и «Миргородъ», продолжалъ Бѣлинскій, носить на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше упоенія, лирическаго разгула, чѣмъ въ «Вечерахъ», но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, Гоголь здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой! какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Гоголь еще только началъ свое поприще, но какія надежды подаетъ его дебютъ! Эти надежды велики, ибо Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ, онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Пусть Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе и пусть страшится описывать то, что велитъ ему описывать или его воля, или г. критики *). Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то вышшею, не зависящею отъ него волею или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!.

Такъ говоритъ Бѣлинскій, примѣняя къ творчеству Гоголя положенія, выработанныя нѣмецкой эстетикой, и онъ былъ на этотъ разъ правъ Гоголь, дѣйствительно, творилъ безсознательно съ сознаніемъ и никакой цѣли въ своихъ повѣстяхъ пока не преслѣдовалъ. Онъ оставался художникомъ по преимуществу, поэтомъ, который искалъ художествен-

*) Намекъ на вышеприведенное пожеланіе Шевырева.

ныхъ образовъ для выраженія всѣхъ своихъ наблюденій и всѣхъ разнообразныхъ, иногда прямо противорѣчивыхъ, настроеній, подъ властью которыхъ находимся.

Подводя общій итогъ всей литературной дѣятельности Гоголя, какъ она выразилась въ «Миргородѣ» и «Арабескахъ», мы приходимъ къ выводу, что нашъ писатель постепенно выходилъ изъ круга тѣхъ романтическихъ вкусовъ въ выборѣ сюжетовъ и тѣхъ романтическихъ приемовъ въ ихъ обработкѣ, какіе господствовали въ современной ему литературѣ.

Какъ печальникъ о разладѣ мечты и дѣйствительности, какъ мечтатель-поэтъ, которому трудно отвѣтить на вопросъ—чему служить его вдохновеніе, въ чемъ заключена его тайна и его земное назначеніе, наконецъ, какъ любитель старины, въ которой онъ искалъ не безпристрастной истины, а подтвержденія своихъ думъ и симпатій, Гоголь тридцатыхъ годовъ—сынъ своего романтическаго поколѣнія.

Но въ немъ одновременно созрѣвалъ творецъ иного литературнаго направленія, отъ развитія котораго наше самосознаніе должно было такъ много выиграть впоследствии. Наша дѣйствительность со всѣми ея грѣхами начинала приковывать къ себѣ вниманіе художника и онъ становился ея бытописателемъ: необычайно быстро и рѣшительно освоился онъ съ этой новой ролью, и если въ его повѣстяхъ замѣтно колебаніе въ настроеніи, стигъ рѣчи и приемахъ мастерства, то этого колебанія уже нѣтъ въ его комедіяхъ, надъ которыми онъ въ тѣ же годы работалъ. Въ этихъ комедіяхъ онъ чистокровный реалистъ, удивительный техникъ и съ виду спокойный наблюдатель дѣйствительности. Онъ истолкователь и обличитель этой дѣйствительности, о которой пока онъ говорилъ лишь мимоходомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что онъ успѣлъ сказать о ней? Въ «Вечерахъ» онъ сблизилъ насъ съ жизнью малорусской деревни и позволилъ намъ однажды заглянуть въ помѣщичью усадьбу; въ «Арабескахъ» погулялъ съ нами по Щукинскому двору и по Невскому проспекту, заглянулъ мимоходомъ въ мастерскую художника, въ квартиру ильица-ремесленника, погибшей дѣвicy и сумасшедшаго департаментскаго чиновника; въ «Миргородѣ» опять возвратился съ нами въ Малороссію, познакомилъ насъ со старосвѣтскими помѣщиками, со странствующими бурсаками, со всей администраціей и съ обывателями уѣзднаго, мелкаго городишка. Конечно, онъ провелъ насъ по цѣлой портретной галлерей, и мы любовались этими разнообразными типичными

типами. Ихъ было такъ много и они были новы. Но всѣ они были случайные типы, портреты, написанные при случаѣ; въ нихъ не было объединяющаго смысла, по которому можно было бы судить не о томъ или другомъ изъ нихъ порознь, а обо всѣхъ сразу, какъ объ общественныхъ группахъ.

Такой осмысленный подборъ реальныхъ типовъ Гоголь далъ сначала въ своихъ комедіяхъ, а затѣмъ въ «Мертвыхъ Душахъ».

Х.

Наша комедія до Гоголя; ея малая художественная стоимость и въ очень рѣдкихъ случаяхъ большая стоимость общественная.— «Недоросль» Фонъ-Визина и «Ябедка» Канниста среди безцѣвной комедіи XVIII вѣка.— Родениль и легкая комедія александровскаго царствования; Крыловъ, Хмѣльницкій, кн. Шаховской и Загоскинъ.— Малая идейная стоимость ихъ комедій.— Вѣрность и глубина сатирическаго взгляда на современную жизнь въ сатиру Грибоѣдова.— Паденіе театра въ концѣ двадцатыхъ годовъ.— Общественные вопросы, затронутые въ ненапечатанныхъ драмахъ Лермонтова и Валинскаго.— Комедіи Квитки: «Дворянскіе выборы» и «Прѣзжіи изъ столицы».

Въ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія, тѣхъ годовъ, театр—сила, съ которой необходимо считаться. Отдавая, однако, должное нѣкоторымъ выдающимся памятникамъ нашей драматургіи, нужно признать, что въ общемъ наша старая комедія и драма владели существованіемъ достаточно жалкое и были въ огромномъ большинствѣ случаевъ разобщены съ тѣмъ историческимъ моментомъ, когда возникали. Большое, конечно, значеніе имѣли въ данномъ случаѣ чисто внѣшнія стѣпенія, какими всегда было обставлено появленіе на нашей сценѣ болѣе или менѣе серьезной пьесы. Власть всегда ревниво оберегала театральнаго зрителя отъ всякихъ искушеній, считаясь съ его необычайной восприимчивостью къ зрѣлищамъ: а русскій человѣкъ, какъ извѣстно, театралъ очень страстный. Но одними внѣшними условіями едва ли можно объяснить бѣдность и безсиліе нашей драматической литературы того времени. Нужно, прежде всего, считаться со случайностью, т. е. съ отсутствіемъ истинныхъ драматическихъ талантовъ и, кромѣ того, съ отсутствіемъ подготовительной литературной школы.

Такой школы не было въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы; ее надлежало создать и Гоголь былъ первымъ настоящимъ драматическимъ плантомъ, который положилъ ей основаніе. У своихъ предшественниковъ онъ не многому могъ научиться, и на его долю выпало созданіе встоящей русской комедіи, т. е. такой, которая удовлетворяла бы одновременно двумъ требованіямъ,—и художественнымъ, какъ извѣстное литературное произведеніе, и требованіямъ идейнымъ, какъ вѣрное

изображеніе переживаемой дѣйствительности. Такая гармонія формы и содержанія была, дѣйствительно, достигнута Гоголемъ и притомъ самостоятельно и сразу. Были, конечно, недостатки и въ его комедіяхъ, но съ момента ихъ созданія должны мы начинать исторію нашего са-мобытнаго «національнаго» театра.

Какъ художникъ-драматургъ нашъ авторъ превосходилъ всѣхъ своихъ предшественниковъ и современниковъ. Онъ былъ рожденъ драматическимъ писателемъ: комическое положеніе, имъ созданное— всегда вѣрно схваченное и художественно переданное наблюденіе, а не придуманный, хотя бы и очень смѣшной, эффектъ; всѣ лица его комедій и главныя, и самыя второстепенныя, живутъ и дѣйствуютъ сами по себѣ, какъ люди, а не ради той или другой идеи автора; наконецъ, и рѣчь ихъ—рѣчь простая и естественная, а не собраніе разныхъ оборотовъ и сентенцій, заранѣе заготовленныхъ. Все это достоинства, которыхъ мы не встрѣчаемъ ни у предшественниковъ Гоголя, ни и у его современниковъ, и только объ одномъ можемъ мы пожалѣть, что нашъ авторъ не обнаружилъ достаточной смѣлости въ выборѣ своихъ сюжетовъ. Это тѣмъ болѣе жаль, что Гоголь сознавалъ себя и смѣлымъ, и сильнымъ, и одно время работалъ надъ комедіей «правдивой и злой», которую не окончилъ, а, можетъ быть, и окончилъ, но сжегъ, убоившись цензуры. Авторъ имѣлъ, конечно, основаніе ея бояться, но идти наперекоръ ей и вынуждать ее на уступки онъ, однако, не рѣшился и уступилъ самъ. Такимъ образомъ, нашъ первый драматургъ-бытописатель, опережая всѣхъ, и предшественниковъ, и современниковъ, какъ художникъ—отсталъ отъ нихъ, какъ сатирикъ, въ смѣлости и вѣскости своихъ ударовъ.

Все это сейчасъ намъ станетъ ясно при болѣе подробномъ сравненіи комедій Гоголя съ тѣми лучшими «опытами» комедій и драмъ, которые до него и въ его время появились на сценѣ или остались въ рукописи.

Какъ мы уже замѣтили, появленіе на нашей сценѣ выдающейся пьесы съ общественнымъ смысломъ было явленіемъ очень рѣдкимъ. За семьдесятъ лѣтъ, если считать со времени «Бригадира» (1766) до «Ревизора» (1836), мы можемъ похвалиться лишь двумя-тремя дѣйствительно замѣчательными театральными новинками; остальные пьесы, хотя бы и имѣвшія успѣхъ у современниковъ, не оказали никакого вліянія ни на развитіе нашего художественнаго вкуса, ни на пріорность нашего общественнаго сознанія. Эти старыя комедіи и драмы, какъ картины нравовъ, въ громадномъ большинствѣ случаевъ не переступали за черту посредственнаго, мнѣ, если переступали, то, при

всей силѣ и правдѣ обличенія, оставляли въ художественномъ отношеши жалать многого.

Если взять въ цѣломъ всю нашу комедію XVIII вѣка, то невольно поразитесь малой ея художественной и общественной стоимостью. О пьесахъ того времени принято, впрочемъ, говорить съ уваженіемъ, и какъ «зачатки» театра, онѣ, конечно, такое уваженіе заслуживаютъ. Но гдѣ найдемъ мы истинно-комическій взглядъ писателя на «комичное» его эпохи или серьезный, прикрытый смѣхомъ, взглядъ на то, что дѣйствительно было достойно обличенія и осужденія? Если съ такими требованіями подойти къ старой комедіи, то вся ея мнимая смѣлость и откровенность покажется намъ невинной шуткой, ребячествомъ, не говоря уже объ очень низкой ея художественной стоимости. Невинной шуткой покажутся, напр., и комедіи самой императрицы, блистательной откровенностью которыхъ такъ гордились ея вѣроподаніе, возмущенные всѣми мелкими людскими пороками и убаюканные пороками крупными. Всѣ громы другихъ комиковъ противъ своего времени мы признаемъ также наивными и бьющими поверхъ головъ истинно виновныхъ. Чѣмъ общіе были грѣхъ и порокъ, тѣмъ онъ казался тогда достойнѣе осмѣянія, и сатирикъ кончалъ тѣмъ, что боролся не съ людьми, а съ фантастическими призраками. Такъ любилъ обобщать свои типы, напр., учившій по технику драматургъ того времени—Княжнинъ. Кто смотрѣлъ на его «Хвастуна», тотъ много смѣялся на всѣ забавныя выходки ерхолоста; но зритель могъ быть спокоенъ, и знать, что этотъ Хвастунокъ XVIII-го вѣка въ его довѣріе не вотрется: слишкомъ неестественно и неправдоподобно было вранье этого лгуна, доведенное авторомъ до колоссальныхъ размѣровъ лишь затѣмъ, чтобы показать порокъ во всей его наготѣ, въ какой онъ никогда не гуляетъ на сценѣ. Комедія «Чудаки» *), въ которой выступали «недавно вышедшій изъ дворянства господинъ Лентягинъ, весьма богатый и по своему философствующій человекъ»; Улинька—сиренная вѣтреница; «весьма мальчишескій дворянинъ» Прятъ; «пріятель всемірный» Труситъ, эти Тромпетинъ и Свирѣлкинъ, и главный рычагъ всего дѣянія — слуга Прозаъ, — эта комедія обѣщала иѣчто, тѣмъ болѣе, что авторъ хотѣлъ изобразить въ ней простаго человѣка, мѣщанина, гордый вмѣсто того, чтобы чваниться своимъ дворянствомъ, наоборотъ считать всѣхъ своими демократическими симпатіями. Но этотъ философствующій человекъ обратился подъ перомъ Княжнина въ

*) И «Хвастуна» и «Чудаки» — передѣлка съ французскаго

настоящаго «чудака», почти что шута, и, вмѣсто картины нравовъ мѣщанской семьи во дворянствѣ, получился забавный водевиль съ масками вмѣсто лицъ и буффонадой вмѣсто комическихъ положеній.

Тѣмъ большей неожиданностью было появленіе комедіи Фонъ-Визина.

Съ этихъ пьесъ начинаютъ обыкновенно исторію нашей художественной комедіи—но вѣрнѣе было бы начинать исторію нашей общественной сатиры. Фонъ-Визинъ—сатирикъ по преимуществу, писатель, для котораго ударъ, нанесенный врагу, былъ цѣннѣе того оружія, какимъ этотъ ударъ наносится. Вмѣстѣ съ Новиковымъ и Радищевымъ самый смѣлый человѣкъ своего вѣка, онъ хорошо понималъ, въ какую цѣль надо мѣтить, если хочешь сказать своему вѣку въ глаза всю правду. Нападать на общечеловѣческіе недостатки онъ считалъ дѣломъ празднымъ, и—оградивъ себя нѣсколькими комплиментами, сказанными по адресу бдительнаго правительства и благомыслящихъ людей въ родѣ Добролюбова, Стародума, Правдина и Милона, — онъ произвелъ свою безпощадную расправу съ тѣмъ сословіемъ, за которымъ власть тогда такъ ухаживала, считая его лучшимъ проводникомъ и просвѣщенія и гуманности. Осмѣять какого-нибудь петиметра, выставить въ сѣйшномъ видѣ педанта, простодушнаго глупца, хвастуна, вралю, пертопраха, интригана или жеманницу, модницу, сплетницу, кокетку, какъ это дѣлала въ большинствѣ случаевъ тогдашняя комедія—значило вызвать въ зрителѣ пріятную улыбку; но показать ему полное вырожденіе цѣлой дворянской семьи,—значило заставить его смѣяться именно тѣмъ смѣхомъ, который могъ вызвать озлобленіе и желаніе *расправиться* съ авторомъ; и если Фонъ-Визинъ избѣгъ этой расправы, которая много лѣтъ спустя угрожала Гоголю за гораздо болѣе скромнаго «Ревизора», то потому, что Фонъ-Визина, какъ Бомарше, вѣроятно не воплиъ поняли.

Пока дѣло шло о семейномъ любовномъ водевилѣ, разыгранномъ въ домѣ Бригадира (1766), можно было смѣяться безъ гнѣва. Сынокъ, который говорилъ, что тѣло его родилось въ Россіи, а духъ принадлежитъ коронѣ французской, который отца вызывалъ на дуэль, потому что во французской книжкѣ «Les sottises du temps» прочиталъ о такомъ случаѣ, который говорилъ, что онъ пренесчастный человѣкъ, потому что въ двадцать пять лѣтъ имѣетъ еще отца и мать, двухъ животныхъ, съ которыми, чортъ его возьми, онъ долженъ жить,—этотъ оригинальный молодой человѣкъ могъ своимъ динизмомъ развеселить, какъ вообще всякая остроумная карриатура, какъ могъ заставить смѣяться и его родитель, который утверждалъ, что не у всѣхъ людей волосы на головѣ сосчитаны, что Господь Богъ, знающій все,

знать и табель о рангах и потому считаетъ волосы на людской головѣ, лишь начиная съ пятого класса...

Пока рѣчь шла о смѣшныхъ пререканіяхъ такихъ оригиналовъ, къ смѣху зрителей не примѣшивалось никакихъ постороннихъ чувствъ; но совсѣмъ иная картина развернулась въ «Недоросль» (1782). Кто умѣлъ читать между строками или понимать намеки, могъ призадуматься. Дѣйствительно, чуть ли не каждое явленіе этой комедіи можно было расширить до цѣлаго трактата на самую серьезную общественную тему.

Полный умственный иракъ въ семьѣ, которой довѣрена опека надъ массою людей; ослабленіе въ этомъ дворянскомъ гнѣздѣ всѣхъ семейныхъ узъ, свободное развитіе и удовлетвореніе всѣхъ животныхъ инстинктовъ, порожденныхъ обезпеченнымъ положеніемъ и праздностью, полное презрѣніе ко всякому ученію, отрицаніе за человѣкомъ, стоящимъ ниже тебя, всякаго достоинства личности, кулачная расправа, какъ доказательство своей правоты, и, наконецъ, самый открытый цинизмъ въ отношеніи къ крестьянамъ— вотъ какой перечень дворянскихъ грѣховъ развернулъ сатирикъ передъ зрителемъ, въ то время какъ носители этихъ грѣховъ пользовались самымъ привилегированнымъ положеніемъ.

Все это было сказано авторомъ очень умѣло, почти мимоходомъ, при пересказѣ довольно скучной и ординарной любовной интриги, безъ которой комедія того времени была немыслима; мимоходомъ же было брошено и дѣсколько замѣчаній, вызывающе-смѣлыхъ, которыя можно было бы сравнить со знаменитыми репликами Фигаро, если бы тогдашнее общество не пропустило ихъ мимо ушей; взять хотя бы возгласъ нашей дворянки, когда ей докладываютъ, что захворала Палашка: «захворала! лежитъ! Ахъ, она бестія! лежитъ! Какъ будто она благородная!» Одна эта строка стоитъ многихъ обличительныхъ комедій того времени.

Но какъ бы ни было велико значеніе «Недоросля», какъ сатиры, художественная его стоимость отъ этого общественного смысла ничего не выигрываетъ. Скуднѣйшая дидактика въ устахъ добродѣтельнаго Стародума, безцвѣтное поддакиваніе ему Правдина, наивное благомысліе Милона превращаютъ всѣхъ этихъ лицъ въ какихъ-то манекеновъ; любовная интрига ведена безъ намека психологической правды и, что хуже всего, всѣ отрицательные типы — самые реальные по замыслу—выходятъ нереальными и часто каррикатурными въ ихъ группировкѣ и рѣчахъ; что ни выходи, то скандалъ или эффектъ, что ни реплика, то какое-нибудь характерное слово или цѣлая остроумная тирада. Не развитіе самого дѣйствія разстаетъ дѣйствующихъ

лицъ по мѣстамъ, а самъ авторъ по мѣрѣ надобности выпускаетъ ихъ на сцену и прячетъ за кулисы, послѣ того, какъ они проговорили все, что ему нужно. Но то, что ему нужно было сказать, онъ сказалъ неподражаемо и блестяще.

Въ XVIII вѣкѣ Фонтъ-Визинъ на сценѣ не имѣлъ соперниковъ и та комедія, которой послѣ «Недоросля» отводять обыкновенно второе мѣсто по силѣ обличенія, а именно «Ябеда» Капниста (первое представленіе 1798 г.) лишній разъ подтверждаетъ истину, что плохая комедія можетъ быть очень ядовитой сатирой.

Никогда взяточничество и сутяжничество не были выставлены въ такой наготѣ наружу, какъ въ этомъ драматизированномъ памфлетѣ. Но авторъ, распаленный благороднымъ негодованіемъ, забылъ, что онъ имѣетъ дѣло съ людьми, у которыхъ всякій порокъ попадаетъ въ известной амальгамѣ съ иными чувствами; Капнистъ хотѣлъ воплотить самый порокъ въ человѣческомъ образѣ и потому искавилъ этотъ образъ въ угоду призраку. Болѣе живымъ у него вышло то лицо, на которое онъ менѣе всего обращалъ вниманія, т.-е. добродѣтельный простакъ, карманъ котораго отданъ на расхищеніе чиновникамъ, а сердце осуждено на любовныя тревоги и матримоніальные планы, совсѣмъ ненужныя въ этой сенсационной комедіи. Но зато, когда сцену заполняютъ предсѣдатель гражданской палаты Кривосудовъ, его товарищи, прокуроръ Хватайко и секретарь Кохтинъ, то воздухъ такъ пропитывается насквозь испареніями всевозможныхъ канцелярскихъ пороковъ, что живымъ людямъ дышать въ немъ становится невозможно. Самоуправство, ябедничество, лжесвидѣтельство, сутяжничество и незаконная нажива празднуютъ на сценѣ открыто свою вакханалію—въ прямомъ смыслѣ слова, потому что всѣ эти манекены, изображающіе жрецовъ Оеиды, пьютъ, играютъ въ карты и поютъ хоромъ самыя возмутительныя и беззастѣнчивыя пѣсни. Хоть зритель и выходитъ изъ театра нравственно вполне удовлетворенный, такъ какъ въ концѣ концовъ всю эту шайку разбойниковъ сенатскій указъ выметаетъ изъ палаты, но онъ скоро забываетъ объ этихъ фантомахъ, которые не задѣли въ немъ ни одной человѣческой струны. Въ «Ябедѣ» порокъ былъ казненъ, но только *in effigie*, заочно, въ лицѣ свѣшныихъ куколъ, какъ заочно казнили преступниковъ, которыхъ схватить не удавалось. Но, плохой драматургъ, Капнистъ все-таки держалъ въ рукѣ крѣпко и свою указку моралиста, и свой сатирическій бичъ.

Наступило александровское царствованіе и вызвало рѣзкія измѣненія въ старыхъ общественныхъ условіяхъ, и создало новыя; роди-

лись и новые типы. На эту перемену комедія и драма совсѣмъ не откликнулись. Новыхъ пьесъ ставилось, правда, много, драматическая литература обогатилась двумя-тремя талантливыми комедіями, но между новой эпохой и всѣми этими театральными новинками никакой связи не было.

Крыловъ былъ первоклассный сатирикъ и, какъ баснописецъ и отчасти журналистъ, онъ обладалъ удивительно острымъ взглядомъ, который смѣшивъ и порочное умѣлъ выслѣживать до самого тайника человеческого сердца. При высшей наивности своей и хитромъ добродушіи, при явномъ консерватизмѣ міросозерцанія; онъ могъ быть строгимъ судьей своего времени, и былъ имъ, хотя какъ осторожный человекъ часто не договаривалъ своей мысли. О чемъ же, однако, говорилъ онъ въ своихъ комедіяхъ, столь живыхъ и остроумныхъ? Въ концѣ XVIII-го вѣка, когда онъ писалъ своихъ «Проказниковъ» и «Сочинителя въ прихожей» онъ высмѣивалъ метромановъ и неудачныхъ сочинителей, болтуновъ и легкомысленныхъ, взбалмошныхъ жениховъ. Онъ продолжалъ охоту за этими невинными типами и тогда, когда могъ бы поговорить о чемъ-нибудь болѣе серьезномъ. Но двѣ самыхъ популярныхъ его комедій—«Модная лавка» (напечатана 1807 г.—первое представленіе 1816 г.) и «Урокъ дочкамъ» (напечатана 1807 г.—первое представленіе 1816 г.) были, въ сущности, два смѣшныхъ водевиля ловко написанные. Пубliku всегда очень смѣшилъ простодушный дворянинъ Сумбуровъ, степной помѣщикъ, его тяжеловѣсная жена, которая гонялась за французской модой, и дочка, которая устраивала любовныя свиданія въ модной лавкѣ подъ покровительствомъ бойкой французенки, содержательницы магазина и русской крѣпостной Маши, ея помощницы. Смѣшонъ былъ и крѣпостной дворовый, пьяный и глупый, который толкался на сценѣ для того, чтобы получить головомойки, впрочемъ довольно мягкія. Въ общемъ, было много шутокъ, смѣха, острыхъ словъ и чисто водевильныхъ положеній. Водевилемъ была и комедія «Урокъ дочкамъ»—удачная перелиповка Мольера, въ которой Крыловъ потѣшался надъ несчастными русскими барышнями Лукерьей и Феклой, влюбленными во все французское, жеманницами, которыхъ дурачить слуга Семенъ, разыгрывающій передъ ними роль эмигранта-маркиза.

Только однажды позволилъ себѣ Крыловъ написать въ драматической формѣ нечто болѣе злое и смѣлое. Это была его комедія «Трумфъ», общественный и политическій смыслъ которой до сихъ поръ не разгаданъ.

Весь театръ Хитильницкаго—въ тѣ годы очень популярнаго драматурга—былъ также собраніемъ водевилей или передѣланныхъ съ

иностранный комедій. Не говоря о тѣхъ пьесахъ, которыя самъ авторъ озаглавилъ «водевилями», даже его «комедіи» какъ, напр., «Воздушныя замки» (1818 г.), «Нерѣшительный» (1819) «Взаимныя испытанія» (1819) и «Свѣтскій случай» (1826) были простыми анекдотами въ драматической формѣ. Легкая любовная интрига, хорошій салонный разговоръ, много удачныхъ остротъ—вотъ всѣ ихъ достоинства и ихъ безспорныя права на названіе талантливыхъ театральныя пустичковъ, прослушать которые всегда пріятно.

Несравненно большую стоимость имѣли тоже очень ходкія въ началѣ вѣка комедіи кн. Шаховскаго и Загоскина.

Князь А. А. Шаховской былъ плодовитый драматургъ, но отъ этой плодовитости наше общественное самосознаніе ничего не выиграло, а наше искусство выиграло очень мало. Почти въ самомъ началѣ своей дѣятельности онъ написалъ удачный «анекдотическій водевилъ «Казакъ стихотворецъ» (1812)—съ недурно обрисованными типами изъ малороссійскаго престонароднаго быта; и затѣмъ, уже въ концѣ своей карьеры, онъ создалъ одну изъ лучшихъ пьесъ нашего романтическаго репертуара «Двумужницу» (1832)—разбойничью мелодраму, очень занимательную и кровавую. Эти двѣ пьесы сохранились въ нашемъ репертуарѣ, все остальное забылось. Въ свое время, однако, помимо многихъ его водевилей съ музыкой и пѣніемъ или безъ оныхъ, написались очень три его комедіи: «Новый Стернь» (1805)—остроумная, нѣсколько карикатурная, пародія на русскихъ «чувствительныхъ» людей начала вѣка, на тогдашнихъ праздныхъ дворянъ-сентименталистовъ, которые отъ нечего дѣлать искали въ своихъ усадьбахъ идиллическаго настроенія, столь плѣнительнаго на страницахъ иностраннаго романа; затѣмъ—«Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды» (1815)—длинное и довольно скучное изобличеніе женскаго кокетства, въ сѣтяхъ котораго готовы погибнуть нѣсколько комическихъ представителей того, что называется курортной публикой—комедія съ патріотическими сентенціями, сатирическими выходками противъ высшаго свѣта и неизмѣнными благородными рѣчами благомыслящихъ резонеровъ; и, наконецъ, «Пустодомы» (1819)—самое интересная по идеѣ комедія князя. Это довольно жестокое и карикатурное осмѣяніе какого-то домашняго Вольтера, у котораго мужички пошли по міру—проектера, желающаго въ своемъ имѣніи поставить все на европейскую ногу, прогорѣвшаго и въ конецъ обобраваемаго своимъ управляющимъ. Любопытно, что этотъ помѣщикъ, отъ практическихъ проектовъ котораго разсудительный мужикъ Гома приходилъ въ ужасъ, обнаруживалъ большое пристрастіе къ теоретической философіи. Въ его сумбурной головѣ, увѣряетъ насъ

Шаховской, умѣщался «Зевона стоицизмъ, Пиррова скептицизмъ, Спиноза реализмъ, Фихтевъ ихтеизмъ, Берклея идеализмъ, Сократа-платонизмъ, антропофилеизмъ, суперъ-натурализмъ, перипатетизмъ, доризмъ, эмпиизмъ, кантивизмъ, фиксизмъ и фатализмъ». Такъ аляповато было чуть ли не первое по времени, и потомъ столь распространенное, издѣвательство русскаго литератора надъ философiей, о которой онъ не имѣлъ никакого понятiя.

Рядомъ съ именемъ Шаховскаго блестяло въ тѣ времена и имя Загоскина, который въ двадцатыхъ годахъ только готовился къ своей роли археолога и воинствующаго патрiота, какимъ явился въ «Юрiи Милославскомъ». Патрiотизмъ въ разныхъ видахъ—главная пружина почти всѣхъ его комедiй. Изъ нихъ обратила на себя особенное вниманiе комедiя «Богатоновъ или провинциалъ въ столицѣ» (1817), въ которой авторъ призывалъ наше дворянство вернуться въ деревню и не вѣзять въ долги въ Петѣрбургѣ, разоряясь на игры, балы и любовныя шашки. Тема, какъ видимъ, очень старая, да и выполненiе ея было также не ново: все тѣ же приемы французской комедiи и та же ходячая любовная интрига. Стилемъ болѣе живымъ и съ большимъ драматическимъ движенiемъ написано продолженiе этой комедiи—«Богатоновъ въ деревнѣ или сюрпризъ самому себѣ» (1821). Комедiя не характеровъ, а водевильныхъ положенiй, въ какiя становится по своей глупости нашъ дворянинъ, вернувшiйся послѣ раззоренiя въ свою усадьбу и приступающiй къ разнаго рода хозяйственнымъ и инымъ реформамъ—эта пьеса была пропитана насквозь какой-то враждой къ нововведенiямъ. Положимъ, что всѣ нововведенiя Богатонова въ его деревнѣ въ достаточной мѣрѣ безразсудны и глупы: помѣщикъ надъ своей фабрикой строитъ греческiй куполъ и пристраиваетъ къ ней римскiй портикъ, ломаетъ старую кухню, чтобы перестроить ее на голландскiй манеръ и вмѣсто кухни остаются одиѣ развалины, хочетъ на саксонскiй манеръ расселить мужичковъ, чтобы была не деревня, а все фермы, управленiе деревней довѣряетъ депутатамъ, которые засiдають въ сборный избѣ, пока ихъ не выгоняють оттуда дубиной, рубить рошу, чтобы получить хорошiй «пуанъ де ву» и т.-д., но во всѣхъ остротахъ автора по поводу такихъ чудачествъ звучитъ ясно не столько неодобренiе неумѣлыхъ реформъ, сколько собственное сердечное желанiе «какъ хорошо было-бы, еслибы все оставалось по старому».

Надъ дворянскимъ чудачествомъ посмѣялся Загоскинъ и въ пьесѣ «Благородный театръ» (1829), гдѣ выведенъ баринъ, помѣшанный на домашнихъ спектакляхъ и мнящiй себя великимъ актеромъ. У него водъ носомъ разыгрывается любовная интрига его дочери съ однимъ

изъ исполнителей; передъ самымъ спектаклемъ влюбленная пара бѣжитъ и вѣнчается противъ воли родителя, который однако, чтобы не отиѣнять спектакля, соглашается бѣглецовъ простить, если только они вернутся и исполнять свои роли.

Наряду съ этой страстью къ театру Загоскинъ высмѣивалъ и метроманію, въ особенности женщинъ, покровительницъ словесности, которыхъ порочать разные литераторы Шмелевы, Змейкины, Тиракины («Вечеринка ученыхъ» 1817) Хорошій типъ плута и краснбая съ хлестаковскими наклонностями, фата, умѣющаго втереться въ женское довѣріе, изображенъ въ пьесѣ «Добрый малый» (1820) и не безъ комическихъ сценъ и относительно реальнымъ языкомъ написана комедія «Урокъ матушкамъ», въ которой описаны всякія ухищренія одной мачихи, желающей пристроить свою падчерицу такъ, чтобы сохранить за собою управленіе ея имуществомъ; наконецъ, много дѣйствительно недурно схваченныхъ типовъ изъ міра чиновничьяго и купческаго дано нашимъ авторомъ въ маленькой пьесѣ «Новорожденный», въ которой разсказано, какъ одинъ мелкій чиновникъ въ честь всѣхъ своихъ начальниковъ называлъ своего новорожденнаго сына Андреемъ.

Какъ видимъ, все сюжеты очень невинные и незатѣйливые, типы довольно блѣдые и общіе, которые, однако, нравились благодаря главнымъ образомъ, умѣнію автора запутать нехитрую интригу и писать иногда живымъ и остроумнымъ языкомъ. Загоскинъ зналъ хорошо сцену и это знаніе спасало его комедіи, которыя хотя и могли назваться пріятными новинками, но неимѣли никакого общественнаго значенія, такъ какъ ни одинъ сколько нибудь важный вопросъ того времени не оставилъ на нихъ и бѣлаго слѣда. Даже въ послѣдней, самой зрѣлой своей комедіи (написанной, правда въ годы, неблагоприятныя для открытаго обсужденія общественныхъ вопросовъ), въ которой онъ открыто заговорилъ о нашей самобытности и успѣхахъ нашей культуры, а именно, въ комедіи «Недовольные» (1835), онъ не вышелъ за предѣлы ординарныхъ патриотическихъ параллелей между своимъ и западнымъ, истрепаннымъ нападкомъ на людей, заимствующихъ у запада лишь вѣшній лоскъ, и патетическихъ возгласовъ на тему о томъ, «какъ мы впередъ шагнули и какъ насъ уважаетъ Европа». Комедію спасала лишь довольно смѣшная фабула и легкій стихъ, кое-гдѣ поддѣланный подъ грибоѣдовскій.

Надъ всѣми комедіями александровскаго времени возвышалась одна только сатира Грибоѣдова, которую авторъ — большой театралъ — облекъ въ драматическую форму. Сатира была гениальная по вѣрности и иѣткости

своего удара; она была одновременно и по старшему поколѣнью, и по младшему, и въ этомъ сказалась вся глубина ея общественнаго смысла. Дѣйствительно, истинному сатирику того времени нужно было показать безъ прикрасъ ту старину, которой при новыхъ вѣвяхъ не ие должно было быть мѣста, и нужно было показать также, сколько неустойчиваго, противорѣчиваго и неяснаго было въ этомъ новомъ броженіи. Борьба остановившихся въ своемъ развитіи отцовъ съ дѣтьми, поспѣшившими развитіемъ, была однимъ изъ важнѣйшихъ общественныхъ явленій александровскаго царствованія, и въ «Горе от ума» эта борьба была необычайно мѣтко схвачена. Ее можно было, конечно, изобразить и какъ трагическое столкновеніе, и какъ комическое. Грибоѣдовъ попытался освѣтить ее одновременно съ этихъ двухъ сторонъ, почему и поставилъ трагическую фигуру Чацкаго въ комическое положеніе. Отживающая старина екатеринская и павловская воплотилась въ лицѣ Фамусова и Скалозуба—этихъ представителей оппортунистической философіи карьеристовъ и безыдейной выправки фронтовиковъ. Отъ лица молодыхъ говорилъ Чацкій, и о нихъ болталъ Репетиловъ. И Чацкій, конечно, не вполне выразилъ думы и стремленія молодежи, и Репетиловъ представилъ въ карикатурномъ видѣ то, что заслуживало бы много, болѣе серьезнаго отношенія, и самъ Грибоѣдовъ слишкомъ погнался за остротами—но настроеніе молодыхъ умовъ и напряженіе молодыхъ чувствъ было все-таки очерчено вѣрно: любовь къ родинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ тяготѣніе къ Западу, либерализмъ и рядомъ съ нимъ нетерпимость, рѣшеніе серьезныхъ вопросовъ при малой подготовкѣ, неопредѣленное чувство протеста безъ яснаго міросозерцанія—все эти отличительные признаки молодого движенія были въ общихъ очертаніяхъ выставлены на показъ. Если вспомнить къ тому же, что сатира Грибоѣдова была написана въ концѣ царствованія Александра, когда борьба между самоувѣреннымъ новымъ и старымъ, которое готово было воскреснуть, обострилась и разгорѣлась, то приходится удивляться смѣлости писателя, занявшаго среди двухъ спорящихъ силъ такое независимое положеніе.

Но какъ бы высоко мы ни ставили эту сатиру, едва-ли мы признаемъ въ ней хорошую комедію. Неоднократно говорилось объ ея недостаткахъ, какъ сценическаго произведенія—о сдѣдахъ французской комедіи, которые остались на ея построеніи и на характеристикѣ одного изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, именно Лизы; на малую правдоподобность въ развитіи дѣйствія, на языкъ, который почти у всѣхъ лицъ одинъ и тотъ же, т.-е. сжатый, острый, грибоѣдовскій; на старыи пріемъ испанцами обозначать главную черту характера человѣка

и называть людей *Молчаливыми*, *Скалозубомъ*, *Рестилосимъ*; на отсутствіе жизненности въ такихъ характерахъ какъ Чацкій и Софья. Всѣ эти упреки справедливы и они, нисколько не умаляя историко-общественнаго значенія комедіи, не позволяютъ признать ее за образецъ вполне художественнаго воспроизведенія жизни на сценѣ.

Послѣ «Горе отъ ума» пришлось дожидаться цѣлыхъ десять лѣтъ, когда наконецъ въ пьесахъ Гоголя данъ былъ образецъ истинно художественной бытовой комедіи, съ чисто русскими дѣйствующими лицами, лицами живыми, съ рѣчью каждому изъ нихъ присущей и съ очень естественной группировкой ихъ на сценѣ.

Новый николаевскій режимъ былъ очень неблагоприятенъ для всякаго публичнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ, и на сценѣ этотъ режимъ отозвался особенно вредно: на театрѣ игралось старое, уже потерявшее свой ароматъ, за исключеніемъ комедіи Грибоедова, которую съ величайшимъ трудомъ удалось наконецъ поставить (въ 1831 г.). Повинокъ не было, мелодрама и водевилъ забили и комедію, и драму. Ни о какомъ отраженіи русской жизни на сценѣ не было и рѣчи. Но если молчала сцена, то писатели все-таки не молчали, и въ первые же годы новаго царствованія, въ концѣ двадцатыхъ и въ началѣ тридцатыхъ годовъ были сдѣланы попытки заговорить на сценѣ о нѣкоторыхъ весьма острыхъ современныхъ вопросахъ. Само собою разумѣется, что всѣ эти опыты на подмостки не попали, хотя авторъ имѣлъ иногда наивную смѣлость представлять ихъ въ цензуру. Попытки эти были сдѣланы Лермонтовымъ и Бѣлинскимъ.

Еще въ самые ранніе годы—въ бытность свою студентомъ (1830—1831)—Лермонтовъ написалъ нѣсколько драмъ, въ которыхъ, какъ въ интимномъ дневникѣ, стремился выяснитъ себѣ нѣкоторыя свои мысли и чувства, ему самому тогда не вполне ясныя. Онъ задумывался надъ той меланхоліей, которую ощущалъ въ себѣ, надъ своимъ нелюдимымъ отношеніемъ къ окружающимъ, надъ вызывающей смѣлостью своихъ мыслей о Богѣ и людяхъ, надъ своей влюбчивостью и недовѣріемъ къ женщинамъ, наконецъ, вообще надъ той тяготой бытія, которая очень рано стала его тревожить. Поэтъ самъ для себя былъ психологической загадкой и въ своихъ раннихъ драмахъ пытался рѣшить эту загадку, создавая разные образы разочарованныхъ, влюбленныхъ и озлобленныхъ молодыхъ людей, которые всѣ кончали очень трагично.

Драмы Лермонтова написаны хотъ и съ малою сценической опытностью, но съ большимъ талантомъ и жаромъ, и для біографа—источникъ перво-степенной важности. Какъ отголоски русской жизни, онѣ не имѣли бы

ровно никакого значенія, если бы авторъ мимоходомъ не коснулся крестьянскаго вопроса. Этотъ вопросъ попалъ, однако, въ его драмы случайно, не потому, что Лермонтовъ ставилъ себѣ задачей обличить социальный грѣхъ своей родины, а потому, что заинтересовался одной обще-нравственной проблемой, а именно вопросомъ—до какихъ степеней человекъ можетъ быть для другого человека волкомъ. Ничего особенно характернаго въ этихъ сценахъ помѣщичьяго произвола Лермонтовъ не сказалъ, но нѣкоторые виды его перечислилъ; ему было не трудно это сдѣлать, такъ какъ въ жизни своихъ близкихъ родственниковъ онъ имѣлъ передъ глазами примѣры такого деспотизма, попавшаго даже на страницы исторіи. Вотъ почему два-три наброска въ его юношескихъ драмахъ—какъ напр. типъ старухи помѣщицы, у которой для слугъ нѣтъ другого слова, кромѣ угрозы и брани (въ драмѣ «Menschen und Leidenschaften»), или сцена, въ которой одинъ мужикъ на колѣняхъ проситъ молодого вертопраха, чтобы онъ купилъ ихъ у помѣщицы, которая съчесть ихъ, вывертываетъ руки на станки, колетъ ножицами дѣвочкѣ, выщипываетъ бороду волосокъ по волоску (въ драмѣ «Странный человекъ») — конечно, не выдумка, не эффектный эпизодъ, а страничка изъ воспоминаній... По голена Лермонтова была въ тѣ годы занята многими воспоминаніями чисто семейнаго и личнаго характера, и потому его драмы—не исключая и «Маскарада» (1835)—сохраняя безспорную цѣну художественную и автобиографическую, какъ картины русской жизни слишкомъ общи и субъективны.

Очень общую картину нашей помѣщичьей жизни далъ и Бѣлинскій въ своей юношеской драмѣ «Дмитрій Калининъ» (1831), за которую юнцатился исключеніемъ изъ университета. Идея драмы была навѣяна втору не жизнью, а чтеніемъ и размышленіемъ. Бѣлинскій также пытался взглянуть одинъ изъ важнѣйшихъ этическихъ вопросовъ, а именно вопросъ о нравственномъ достоинствѣ человека и о свободѣ личности, только попутно, въ видѣ поясненія основной мысли, нарисовалъ ужасную картину помѣщичьей расправы съ крѣпостными. Политической мысли въ комедіи не было *), а была лишь защита одного общаго принципа, защищая который, нельзя было, однако, уберечься отъ спадокъ на то, что въ русской жизни бросалось въ глаза каждому уралисту.

Образы, а иной разъ и цѣлыя тирады, нашъ авторъ заимствовалъ западныхъ громителей деспотизма, преимущественно у Шиллера, а

*) См.р. С. А. Венгеровъ. «Полное собраніе сочиненій В. Г. Бѣлинскаго», I, 1—132. Примѣчанія къ «Дмитрію Калининъ».

обстановку взялъ русскую и притомъ помѣщичью, въ которой трудно было и предположить возможность такихъ типовъ, какъ Дмитрій Калининъ.

Воспитывается этотъ Калининъ — крѣпостной человѣкъ безъ роду и племени — въ дворянской семьѣ, на правахъ всѣхъ прочихъ ея членовъ, двухъ сыновей и дочери Софьи; онъ любимецъ старика помѣщика, который заботится о немъ, какъ о родномъ сынѣ, и онъ счастливъ среди общей ненависти къ нему и жены и сыновей его благодѣтеля... счастливъ потому, что пользуется взаимностью Софьи... Онъ самъ любитъ ее до безумія и, повинувшись голосу любви и свободѣ страсти, онъ становится ея тайнымъ любовникомъ. Первое дѣйствіе драмы застаетъ его въ Москвѣ: онъ отправилъ старику письмо, въ которомъ просилъ руки его дочери. «Неужели я не имѣю права любить дѣвушку только потому, что отецъ ея носитъ на себѣ пустое званіе дворянина и что онъ богатъ, а я безъ имени и бѣденъ?» разсуждаетъ нашъ мечтатель.

Наконецъ, приходитъ и письмо, но оно не отъ отца, а отъ его сына Андрея. Въ самыхъ циничныхъ выраженіяхъ сынъ извѣщаетъ Дмитрія о смерти отца, о томъ, что отпускиня, которую старикъ далъ Дмитрію, уничтожена, что сестра Софья выходитъ замужъ за какого-то князя, и что, такъ какъ у нихъ недостаетъ лакеевъ для служенія при свадебномъ столѣ, то онъ и проситъ Дмитрія поскорѣе къ нимъ пожаловать. «Я—рабъ!», восклицаетъ Калининъ, и этотъ возгласъ—возгласъ отчаянія и мести. Дмитрій долженъ ѣхать, и онъ ѣдетъ. Вмѣстѣ съ другомъ, который сопровождалъ его изъ Москвы, они готовятъ планъ похищенія Софьи. Но пылкая натура Дмитрія не выдерживаетъ: тревога, злоба и ревность туманятъ его разсудокъ, онъ прѣдлагаетъ самъ требовать свою Софью, попадаетъ въ усадьбу на званый вечеръ, и при всѣхъ родныхъ и знакомыхъ даетъ понять, что онъ для Софьи, и что она для него... Братъ Софьи въ неистовствѣ бросается къ нему съ роковымъ словомъ «рабъ» и схватываетъ его за грудь, но Дмитрій выхватываетъ изъ кармана пистолетъ и убиваетъ Андрея.

Драма запутывается; отношенія Дмитрія и Софьи должны естественно измѣниться послѣ этого убійства, и единственнымъ выходомъ для обоихъ является смерть... Дмитрій, отданный въ руки правосудія, усилъваетъ какъ-то бѣжать изъ тюрьмы, ему удастся еще разъ прижать къ своей груди Софью и, по ея просьбѣ, онъ ее закалываетъ. Уже послѣ этого второго убійства узнаетъ онъ, что его возлюбленная—его сестра, что онъ—незаконный сынъ своего благодѣтеля. Онъ закалывается.

Такова канва этой ультра романтической драмы. Герой намъ хорошо знакомъ еще по образцамъ западной романтики. Это все тотъ же защитникъ правъ человѣка, котораго натолкнула на преступленіе несправедливость людей и социальная неурядица. Только герой этотъ дѣйствуетъ теперь на русской почвѣ и ему нужна, поэтому, реальная русская обстановка. Эту обстановку Бѣлинскій ему и придумалъ, воспользовавшись частью традиционными типами въ родѣ постылаго жениха или вѣрнаго друга, частью общими образами злодѣевъ, а частью тишани изъ простонародья, которые выведены на сцену лишь затѣмъ, чтобы служить живымъ укоромъ для всѣхъ тѣхъ, кто ихъ такъ безжалостно мучить. На изображеніе этихъ мучителей Бѣлинскій не возлагалъ красокъ. Это не люди, это поистинѣ звѣри, которые изощряются въ изобрѣтеніи всякихъ жестокостей, начиная съ побоевъ, кончая даже презрѣннымъ грабительствомъ, и все затѣмъ, чтобы показать свое преимущество и силу, которыхъ никто не оспариваетъ. Такія густыя краски были нужны автору, чтобы лучше отгѣнить основной нравственный вопросъ, который онъ рѣшалъ въ своей драмѣ, и оправдать, хоть отчасти, немцовство и кровожадность самого героя, который былъ не борецъ за торжество святой идеи, а мститель за ея поруганіе. «Кто дасть это гибельное право однимъ людямъ поработать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище— свободу?—справдливаетъ Калининъ передъ тѣмъ, какъ покончить съ собой.—Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человѣчества? Господинъ можетъ, для потѣхи или для разсѣянія, содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корону, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердный Боже! Отецъ человѣковъ! отгѣтствуй миѣ: твоя ли прамудрая рука промывала на свѣтѣ этихъ змѣевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?» и Дмитрій отомстилъ за этихъ несчастныхъ...

Чтобы нѣсколько смягчить тяжелое впечатлѣніе такихъ сценъ и словъ, авторъ въ своей рукописи сдѣлалъ такую приписку: «Къ славіи и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства, подобныя тиранства уже начинаютъ совершенно истребляться. Оно поставляетъ для себя священною обязанностью пенситься о счастьи каждаго человѣка, вѣреннаго его отеческому попеченію, не различая ни лицъ, ни состояній».

Неизвѣстно, что сказалъ бы попечительное правительство, если бы

оно прочитало эту драму; но цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ, призналъ ее безнравственной и позорящей университетъ.

Среди выдающихся театральныхъ новинокъ того времени слѣдуетъ отмѣтить и три комедіи Квитки-Основьяненка: «Дворянскіе выборы» (1829), «Дворянскіе выборы, часть вторая, или выборъ исправника» (1830) и «Прѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ» (1828). Авторъ ихъ—малороссійскій писатель, подвизавшійся на томъ же поприщѣ, что и Гоголь—приобрѣлъ себѣ большую извѣстность, главнымъ образомъ, своими рассказами и водевилями изъ малороссійскаго народнаго быта. Его комедіи пользовались меньшей славой; на сцену онѣ, кажется, не попали, но были одобрены цензурой къ печати въ 1828—9 году.

Двѣ изъ нихъ, а именно, «Дворянскіе выборы» и «Прѣзжій изъ столицы» удовлетворяютъ всѣмъ тогдашнимъ требованіямъ бытовой комедіи; комедія же «Выборъ исправника», какъ въ большинствѣ случаевъ всѣ «продолженія» и «вторыя части» удачныхъ пьесъ—слаба, растянута и ничего не прибавляетъ новаго къ тому, что было авторомъ сказано въ его «Дворянскихъ выборахъ». Лучшее въ ней—простонародныя сцены, въ которыхъ появляется любимецъ автора—волостной писарь Шельмонко—типъ остроумца-малороссіянина, созданный Квиткой и съ тѣхъ поръ сохранявшійся въ литературѣ. Но эти народныя сцены эпизодичны, смахиваютъ на водевилъ и лежатъ внѣ поля нашего зрѣнія...

Для историка русской общественной мысли, поскольку она находила себѣ выраженіе въ комедіи, наибольшій интересъ представляетъ пьеса «Дворянскіе выборы», въ которыхъ наше дворянство изображено въ одну изъ очень характерныхъ минутъ своей уѣздной жизни.

Комедія написана съ пріемами старыми, какъ мы сказали. Писзбѣжная любовная интрига, совсемъ лишняя, занимаетъ почти половину дѣйствія всѣхъ трехъ актовъ, резонеры не упускаютъ случая поговорить о сущности разныхъ общественныхъ добродѣтелей и о благодѣтельномъ правительствѣ, которое своими заботами сдѣлаетъ скоро совершенно излишнимъ подобное обличеніе, какое себѣ разрѣшаетъ благомыслящій авторъ; всѣ лица, наконецъ, еще до начала дѣйствія знакомятъ зрителя со своимъ кондуктнымъ спискомъ, рекомендуясь ему, кто—Староплотовымъ, Заправлялкинымъ, Кожедраловымъ, Выжималовымъ, Драчугинымъ и Подтрусовымъ, кто Благосудовымъ и Твердовымъ. «Дворянскіе выборы» при всѣхъ художественныхъ недостаткахъ были, однако, очень смѣлымъ памфлетомъ на наше высшее

сословію. Квитка подобралъ удивительную коллекцію разныхъ плутовъ, негодяевъ, поддѣлывателей документовъ, грабителей, пьяницъ и болвановъ, передъ которыми всѣ взяточники гоголевской комедіи—невинныя дѣти. Всю эту дворянскую свору, для надлежащаго пострашенія и для торжества истиннаго дворянскаго принципа, авторъ загналъ въ губернскій городъ на выборы предводителя. Все было пущено въ ходъ, чтобы эта должность досталась Кожедралову, но передъ баллотировкой прежній губернскій предводитель предложилъ разобратъ, кто имѣетъ право класть шаръ и кто иѣтъ, и тогда открылось, что этотъ Кожедраловъ сослѣдуетъ подъ судомъ за взятки. Произошла, какъ говоритъ дворянинъ Староплотовъ, заинтересованный въ выборѣ Кожедралова, «ужасная революція», т.-е. всю банду дворянъ-авантюристовъ выгнали, и предводителемъ былъ избранъ Твердовъ, который нѣтъ придачи къ новой должности получилъ и руку m-lle Тихиной—племянницы Староплотова; сердце же ея ему давно принадлежало.

Такова завязка; но въ ней попадаетъ одна деталь, очень оригинальная и истинно курьезная: это—описаніе одного изъ способовъ, какими заинтересованная дворянская партія стремилась на выборахъ гарантировать себѣ большинство голосовъ.

Подбирались немущіе дворяне, родъ которыхъ размножился. Случалось, что болѣе десятка такихъ дворянъ владѣли однимъ крестьянникомъ и двумя десятинами земли, которая и называлась деревней. Вотъ такихъ-то дворянъ собралъ—какъ рассказываетъ Квитка—плутъ Кожедраловъ и на повозкахъ привезъ въ городъ, на выборы. На сей случай была имъ отпущена приготовленная амуниція, и пока баллотировка продолжалась, они всѣ жили на его харчахъ, ѣли безъ устали, пили безъ просыпу, но зато обязались класть свой шаръ, кому имъ прикажутъ. Всѣмъ этимъ подставнымъ дворянамъ на сценѣ производить смотръ; ихъ подсчитываютъ, причемъ оказывается, что одинъ едва ли будетъ годенъ, потому что наканунѣ на вочлегѣ прибитъ до полусмерти, да и другіе ненадежны, такъ какъ съ порепою ничего не понимаютъ. Ихъ тѣмъ не менѣе обучаютъ, какъ себя держать на выборахъ, потому что всѣ они новаго набора, а старыхъ прошлогоднихъ иѣтъ. Изъ этихъ прошлогоднихъ трое сосланы по уголовному суду на поселеніе, четвертый отданъ вѣчно въ солдаты, пятый вляпнѣ умеръ, а шестой служить ямщикомъ на станціи.

Всѣ тѣ сцены, въ которыхъ выступаетъ эта благородная голтепа—образецъ очень веселой буффонады, которая резонерамъ пьесы даетъ удобный случай высказать свои мнѣнія объ истинномъ призваніи дворянина.

Въ комедіи говорится и о крестьянскомъ вопросѣ. Сентиментальная дѣвица Тихина—героиня комедіи—при всей тихости своего темперамента, возмущена обращеніемъ Кожедралова съ крестьянами и потому не принимаетъ его сватовства. Ея опекуша, наоборотъ, проповѣдуетъ систему плетки и пощечинъ, и гордится тѣмъ, что она вела себя «не подло» и не отставала отъ другихъ. «Дѣвки у меня духа моего тревожатъ,—говоритъ она,—все работаютъ, я только поговаяю. И коли у меня дѣвка выдержитъ пять лѣтъ, такъ ужъ похвалится своимъ холоскимъ здоровьемъ». Такія и подобныя имъ реплики, равно какъ и откровенное глумленіе надъ дворянствомъ, заставляютъ насъ причислить комедію Квитки къ памятникамъ обличительной литературы, въ которыхъ, какъ мы уже замѣчали неоднократно, серьезность и глубина содержания почти никогда не совпадала съ художественнымъ выполненіемъ. И «Дворянскіе выборы» также—плохая комедія и недурная сатира.

Вторая комедія Квитки «Пріѣзжіи изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ» въ художественномъ отношеніи стоитъ выше первой, но по содержанію она менѣе характерна. Для насъ она имѣетъ, однако, совсѣмъ особое значеніе въ виду одного случайнаго обстоятельства: фабула комедіи очень похожа на фабулу «Ренизора»; и существуетъ предположеніе, что Гоголь заимствовалъ свой сюжетъ у Квитки.

Городничій уѣзднаго города Ома Омичъ Трусилкинъ получаетъ отъ одного изъ служащихъ въ губернаторской канцеляріи извѣщеніе, что черезъ его городъ поѣдетъ важная и знатная особа, кто—неизвѣстно, но только очень уважаемая губернаторомъ. Городничій предполагаетъ, что эта особа—ревизоръ. Это извѣстіе вызываетъ большую тревогу и въ семьѣ городничаго, и среди его знакомыхъ, и въ чиновныхъ кругахъ города. Заинтересованы очень прежде всего дамы—сестра городничаго—старая дѣва лѣтъ сорока; разбитая и весьма глупая жена одного стряпчаго, ея дочь Эжени—по-русски Евгаша—воспитанница трехъ французскихъ пансіоновъ, помѣшанная на французской рѣчи, пустая вертушка; и одна только благонравная дѣвица, племянница городничаго, принимаетъ извѣстіе о пріѣздѣ ревизора хладнокровно.

Всего больше, конечно, заинтригованъ чиновный міръ: флегматичный Тихонъ Михайловичъ Спалкинъ—уѣздный судья; Лука Семеновичъ Печаталкинъ—почтовый экспедиторъ и Афиногенъ Валентиновичъ Ученосиловъ, большой театраль и смотритель уѣздныхъ училищъ. Городничій, потерявшій голову начинаетъ придумывать разные штры для достойной встрѣчи ревизора, предлагаетъ свять выборы на нижней

улицъ и положить доски по большой, гдѣ ревизоръ поѣдетъ, лицевыя стороны фонарныхъ столбовъ подмазать сажей и, чтобы во время пребыванія ревизора не произошло пожара—вездѣ у бѣдныхъ залечатать печи. Приставъ Шаринъ отъ себя предлагаетъ избрать кое-кого зря да посадить въ острогъ, такъ какъ арестантовъ мало и могутъ подумать, что они распушены... Наконецъ рѣшено посадить порасторопнѣе человѣка на колокольню, чтобы онъ, чуть увидитъ экипажъ, сломя голову летѣлъ бы къ городничему.

Когда всѣ чиновники въ мундирахъ собрались у городничаго и онъ разставилъ ихъ въ залѣ по порядку, настааетъ страшная минута, и лалется прїѣзжій изъ столицы Владиславъ Трофимовичъ Пустолобовъ, который входитъ важно и, пройдя всѣхъ безъ вниманія, останавливается посреди комнаты. Городничій подаетъ ему рапортъ и начинаетъ представлять сначала чиновниковъ, затѣмъ дамъ. Ученосвѣтовъ узнать въ Пустолобовѣ своего стараго знакомаго, выпаннаго изъ университета студента и идетъ къ нему съ распростертыми объятіями, но тотъ отступаетъ отъ него и до особенной аудіенціи велитъ ему наблюдать строжайшую скромность. Наконецъ, городничій рѣшается обратиться къ ревизору съ вопросомъ о томъ, въ какомъ онъ чинѣ, чтобы не ошибиться въ титулѣ, и Пустолобовъ отвѣчаетъ ему развязно, что «онъ уже достигъ до той степени, выше которой подобныя ему не восходятъ». Всѣ заключаютъ изъ этихъ словъ, что онъ превосходительный, и дѣйствіе кончается общими шестивемъ въ столовую:

«Не угодно ли послѣ дороги отдохнуть?» спрашиваетъ городничій своего гостя. «Мнѣ отдыхать? что же было бы тогда съ Россіей, ако я бы я спалъ послѣ обѣда?»—отвѣчаетъ Пустолобовъ и проситъ къ себѣ на прїемъ чиновниковъ. Оказывается, что Пустолобовъ разыгрываетъ всю эту комедію съ цѣлю найти богатую невѣсту и достать хоть какую-нибудь сумму денегъ, такъ какъ онъ безъ когдѣмъ. Первымъ онъ вызываетъ къ себѣ на аудіенцію Ученосвѣтова, выговариваетъ ему за неумѣстную фамильярность при встрѣчѣ, по секрету объявляетъ ему, что эта фамильярность чуть не нарушила равновѣсіе Европы и велитъ соблюдать впредь строжайшую тайну. Между прочимъ, онъ ловко выспрашиваетъ его о невѣстахъ и узнаетъ, что земляница городничаго невѣста съ достаткомъ и что самое близкое ицо къ этой дѣвицѣ—ея тетка... Проводивъ зрителя училищъ, онъ вызываетъ городничаго и проситъ представить ему казначея; оказывается однако, что казначей у прїятеля въ деревнѣ и ключи отъ кладовой у него. Набѣгъ на казенную кладовую, такимъ образомъ, не дается и приходится изыскивать другія средства. При разговорѣ съ

почмейстеромъ, Пустолобовъ освѣдомляется, сколько у него въ почтамтѣ на лицо денегъ, и узнавъ, что 28 руб. 80 коп.—приходить въ уныніе. Но ему мелькаетъ другая мысль. Онъ говоритъ почмейстеру, что пришлетъ ему нѣкоторыя бумаги, которыя тотъ вскорѣ долженъ ему принести, какъ бы полученные на его имя съ эстафетой...

На нѣкоторое время сцену заполняютъ домашніе городничаго, и зрителю выясняется, что сердце племянницы городничаго, на которое нацѣлился ревизоръ, не свободно и уже отдано майору Милову... Пустолобовъ, который этого не подозреваетъ, открываетъ компанію и признается сестрѣ городничаго въ своей любви, очень осторожно, намеками, говоря, что яснѣе объясняться не можетъ изъ опасенія заставить смѣяться весь дипломатическій корпусъ Европы. Старая дѣва, не разслушавъ, кого любитъ Пустолобовъ, принимаетъ все на свой счетъ и отвѣчаетъ, что, уважая критическое положеніе, или яснѣе сказать, состояніе дѣлъ Европы и изъ почтенія къ дипломатическому корпусу, она согласна... Она очень разочарована и обозлена, когда узнаетъ, что предметъ воздыханій Пустолобова ея племянница, но беретъ на себя порученіе содѣйствовать этой интригѣ, имѣя впрочемъ свои виды... Наконецъ городничій и почмейстеръ приносятъ Пустолобову имѣ же написанныя бумаги, какъ бы полученные съ вѣрной эстафетой. Въ этихъ бумагахъ значится, что иностранное министерство возлагаетъ на Пустолобова произвести тонкую хитрость и назначаетъ для этого десять тысячъ. Деньги Пустолобовъ можетъ получить, гдѣ вздумаетъ... Нашъ ревизоръ, однако, мирится и на пяти. Но казначей уѣхалъ, и городничему остается раздобыть гдѣ-нибудь эти деньги въ городѣ; на первый случай онъ предлагаетъ свои 500 р., которые Пустолобовъ и принимаетъ «на эстафеты». «Я уже пріученъ издерживать свои—говоритъ онъ—начальникъ подъ видомъ шутки относить все къ пожертвованіямъ, но я благодаренъ; такихъ пожертвованій набираются сотни тысячъ...»

Пустолобону тутъ же приходитъ въ голову и еще новая мысль—запереть городъ, чтобы никто не узналъ объ его проказахъ и не помѣшалъ ему жениться; для этого онъ приказываетъ городничему не впускать и не выпускать безъ его вѣдома никого за заставу... Этими онъ самъ себя, какъ оказывается впоследствии, ставитъ ловушку. Дѣйствіе оканчивается приходомъ пристава, который приноситъ полученную отъ губерватора бумагу на имя городничаго; но городничаго пока разыскать невозможно: онъ куда-то исчезъ, на время спрятался, сказавъ, что отправляется въ секретную экспедицію. «Ахъ,—говоритъ приставъ,—кабы городничій позволилъ ночью поджечь избенку какого

бѣднаго обывателя. Тутъ бы крикъ, тревога, суматоха. Ревизоръ бы выбѣгалъ: гдѣ полиція? гдѣ полиція? А я бы, давъ погорѣть, тутъ изъ-за угла на него трубою, трубою, которую на первый случай изрядно-золько исправили. Тутъ, навѣрное, пошло бы обо мнѣ представленіе... орденъ! Здѣсь въ глуши нашему брату только фальшивой тревогой и взять...»

Итрига начинаетъ близиться къ развязкѣ. Старая дѣва доводитъ до свѣдѣнія своей племянницы о пламени, какимъ къ ней пылаетъ Пустолобовъ. Желая занять ея мѣсто, она уговариваетъ племянницу на время скрыться, а Пустолобову говоритъ, что племянница отъ его предложенія въ восторгѣ, согласна бѣжать съ нимъ и вѣнчаться въ ближайшемъ селѣ. Она предупреждаетъ его только, чтобы онъ не удивился, если невіста будетъ молчать не только всю дорогу, но и подѣ вѣнцомъ. Пустолобовъ на все согласенъ, въ благодарность обѣщаетъ этой тетушкѣ сдѣлать ее знатной дамой и записать имя ея въ исторію. Немедленно нашъ ревизоръ спрашиваетъ себѣ шестерку добрыхъ почтовыхъ лошадей съ надежными ящиками и подѣ вечеръ укатываетъ вѣстѣ со старой дѣвой, принимая ее за племянницу...

Наконецъ, появляется городничій, который пропадалъ, отыскивая для Пустолобова деньги по всему городу. Ему докладываетъ приставъ, что ревизоръ уѣхалъ въ каретѣ и, какъ ему показалось, съ его племянницей. Городничій озадаченъ, зачѣмъ ревизору понадобилось бѣжать, когда онъ открыто могъ сдѣлать честь всей семьѣ своимъ предложеніемъ. Все объясняется, когда тотъ же приставъ подаетъ городничему бумагу отъ губернатора. Въ ней сказано, что высшее начальство, узнавъ, что откомандированный въ нѣкоторыя губерши титулярный совѣтникъ Пустолобовъ осмѣлился выдавать себя за важнаго государственнаго чиновника, производящаго изслѣдованія по какой-то секретной части, и чрезъ то надѣлавшій большихъ безпорядковъ и злоупотребленій, предписываетъ схватить его и прислать за строгимъ карауломъ въ Петербургъ.

Общее смятеніе на сценѣ, и затѣмъ развязка: ревизора ловятъ у заставы, изъ которую его не пропустили по собственному его же предписанію. Вмѣстѣ съ нимъ вытаскиваютъ на сцену и закутанную длму, которая въ обморокѣ лежитъ у двухъ создатель на рукахъ. Съ нею срываютъ покрывало, и окупуженная и разсерженная тетушка начинаетъ ругаться. Пустолобова уводитъ приставъ; племянница появляется, майоръ Миловъ протягиваетъ ей руку, и городничій доволенъ, что все это такъ хорошо кончилось и что онъ отдался 50-ю рублями, такъ какъ 450 были взяты у Пустолобова при обыскѣ...

Комизмъ развязки совершенно не удался Квнткѣ. Никто изъ дѣйствующихъ лицъ не знаетъ, что сказать и какъ отнестись къ этому скандалу; всѣ отдѣляются шутками или ничего не значущими возгласами. Самъ городничій принимаетъ всю развязку необычайно хладнокровно и спѣшитъ поскорѣе дать согласіе на бракъ своей племянницы съ маіоромъ. Лучше всѣхъ ведетъ себя Пустолобовъ, который спокойно покоряется своей участи и благодаритъ Бога, что не обвинялся со старою дѣвою..

Во всякомъ случаѣ, не съ этой комедіи списывалъ Гоголь своего «Ревизора».

Таковъ въ самыхъ общихъ очертаніяхъ ходъ развитія сюжетовъ въ нашей комедіи до Гоголя.

Несмотря на количественный ростъ пьесъ, ихъ качественная стоимость оставалась приблизительно одна и та же. Въ художественномъ отношеніи ни комедіи, ни драмы не возвышались надъ среднимъ литературнымъ уровнемъ. По содержанію большинство было безцѣльно, и историческая эпоха не находила въ нихъ своего отраженія. Исключеніе составляли лишь единичныя явленія, очень рѣдкія. Но это были сатиры, въ которыхъ глубина содержанія не покрывалась художественностью выполненія.

Настоящей бытовой комедіи мы пока еще не имѣли, и Гоголь былъ первый, который намъ ее далъ. Въ его комедіяхъ правда жизни сочеталась съ художественной правдой въ искусствѣ. Сцена стала отраженіемъ жизни: общіе типы, типы замкнутыя, условности въ интригахъ, моральная тенденція—все исчезло: художникъ и бытописатель стали однимъ лицомъ. Но зато ни одна изъ комедій Гоголя не поднялась до той высоты смѣлаго обличенія, до какой возвышались нѣкоторыя изъ пьесъ стараго репертуара. Сатира Гоголя была художественна, но того глубокаго общественнаго смысла, какимъ нѣкогда была такъ сильна сатира Фонъ-Визина и Грибоѣдова—она не имѣла: сравнительно съ запросами своего времени она была сдержанна и осторожна.

XI.

Взглядъ Гоголя на смѣшное въ жизни; «шутка» и облагораживающій насъ «смѣхъ». — Гоголь, какъ обличитель общественныхъ пороковъ; отсутствие либеральной тенденціи въ его сатирахъ. — Первые мысли о комедіи; одновременная работа надъ тремя сюжетами; трудность и длительность этой работы. — «Игроки». — «Женитьба»; обзоръ типовъ и общественный смыслъ комедіи. — Остатки отъ неоконченной комедіи «Владимиръ третьей степени»: «Утро дѣловаго человѣка»; «Тяжба»; «Отрывокъ» и «Лавинская». — Выведенные въ нихъ типы и затронутые вопросы.

Въ своей «Авторской исповѣди» Гоголь, вспоминая былые годы и чистосердечно рассказывая исторію собственнаго творчества, сдѣлалъ одно очень любопытное признаніе: «Первые мои опыты, — говоритъ онъ, — были почти всё въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявшіеся также вмѣстѣ со мной въ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надобѣдать другимъ моими шутками; въ самыхъ раннихъ сужденіяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнь замѣчать тѣ особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманія другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но угадать человѣка, то-есть угадать, чтѣ онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаніемъ самого склада и образа его мыслей и рѣчей». Способность, о которой здѣсь говоритъ Гоголь, была ему дана отъ природы и неизмѣнно проявлялась во всѣхъ его произведеніяхъ, начиная отъ «Вечеровъ», кончая «Мертвыми Душами»: всегда и вездѣ онъ, какъ художникъ, обладалъ способностью перевоплощенія. Въ какихъ случаяхъ онъ ею пользовался? Отмѣчая въ своей «Авторской Исповѣди» востоянную смѣлу настроеній, которая имъ владѣла, это частое совѣщеніе глубоко меланхолическаго взгляда на жизнь со способностью отыскать въ этой жизни ея комическія стороны, Гоголь признался, что онъ не могъ отдѣлаться отъ охоты «шутить» и «надобѣдать» другимъ теми шутками. Повидному, онъ своему смѣху придавалъ первона-

чальво значеніе чисто личное—мало серьезное. На самомъ дѣлѣ оно такъ и было, и мы неоднократно могли убѣдиться, что Гоголь шутилъ ради шутки и никакого особенно важнаго значенія своимъ «шуткамъ» не приписывалъ. Такъ отъ души смѣялся онъ въ своихъ малороссійскихъ разсказахъ и въ петербургскихъ повѣстяхъ, лоя на лету все смѣшное, что попадалось, иногда выдумывая это смѣшное, не подбирая типовъ и не направляя своего смѣха на какую-нибудь опредѣленную сторону жизни. Въ этихъ повѣстяхъ и разсказахъ мы смогли подмѣтить только однажды слабые проблески того, что называется общественной сатирой.

Но скоро во взглядахъ Гоголя на смѣшное произошла очень значительная перемѣна. Смѣхъ получилъ въ его глазахъ значеніе не личное только, но общественное: Гоголь сталъ необычайно серьезно смотрѣть на него, и серьезность эта съ каждымъ годомъ такъ возрастала, что скоро грань между смѣхомъ и слезами начала исчезать и прежнее загадочное противорѣчіе въ настроеніяхъ разрешилось въ намъ всѣмъ извѣстный и дорогой «смѣхъ сквозь слезы». Какъ совершилась эта перемѣна, въ подробностяхъ разсказать невозможно: но только эта перемѣна во взглядѣ на смѣшную сторону жизни стала сказываться еще въ 1832 году, т. е. тогда, когда Гоголь продолжалъ «шутить», такъ, для себя, для домашняго обихода. Въ 1836 году, наканунѣ перваго представленія «Ревизора», этотъ серьезный взглядъ на «смѣшное» нашелъ себѣ уже очень ясное и точное выраженіе въ одной статейкѣ, которую Гоголь набросалъ для пушкинскаго «Современника». Статья называлась «Петербургскія записки 1836 года» и мы съ ней уже знакомы по вышеприведенной параллели между Москвой и Петербургомъ. Во второй части этой статьи Гоголь говорилъ о репертуарѣ нашихъ театровъ въ сезонъ 1835—36 года. По поводу этого репертуара онъ и высказалъ нѣсколько общихъ соображеній, сущность которыхъ мы и изложимъ*).

Гоголь жалуется, что балетъ и опера совершенно завладѣли нашей сценой. А между тѣмъ, живетъ еще въ мысляхъ каждаго инѣице, что есть высокая драма, что есть и высокая комедія — вѣрный сколокъ съ общества, комедія, производящая смѣхъ глубиной своей ироніи, не тотъ смѣхъ, который производитъ на насъ легкія впечатлѣнія, который рождается бѣглой острою, мгновеннымъ калам-

*) Взгляды Гоголя мы изложимъ по черновымъ наброскамъ этой статьи, такъ какъ въ нихъ они выражены болѣе полно. Черновые наброски носятъ заглавіе «Петербургская сцена въ 1835—1836 г.». Сочиненія *Н. В. Гоголя*, X-е изданіе. VI. 316—326.

бурю, не тотъ пошлый смѣхъ, который движеть грубою толпою общества, для произведенія котораго нужны конвульсія, гримасы природы; но тотъ электрический, живительный смѣхъ, который исторгается невольно и свободно, который разноситъ по всѣмъ нервамъ ослѣпительное наслажденіе, рождается изъ спокойнаго наслажденія души и производится высокими и тонкими умомъ. Такого смѣха на нашемъ театрѣ нѣтъ: мы пробавляемся французской мелодрамой и водевилями, пусть бы еще французскими, но водевилями русскими! Все это происходитъ оттого, что мы гоняемся либо за дешевымъ смѣхомъ, либо за эффектами. А между тѣмъ, нынѣшняя драма показала стремленіе вывести законы дѣйствій изъ нашего же общества. Чтобы замѣнить общіе элементы нашего общества, двигающіе его пружины— для этого нужно быть великому таланту. Но наши писатели, порожденные новымъ стремленіемъ, не были таланты и общіихъ элементовъ не замѣтили, а набросились на исключенія. Странность сюжета выносила ихъ имя и дѣлала извѣстными. Идея сознанія нынѣшнихъ драмъ непремѣнно—разсказать какой-либо новый случай, непремѣнно странный, непремѣнно еще никѣмъ не виданный, несслуханный... Что хуже всего, такъ это отсутствіе національнаго на нашей сценѣ. Кого играютъ наши актеры? Какихъ-то нехристей, людей—не французовъ и не ищичевъ, но Богъ знаетъ кого, какихъ-то взбалмошныхъ людей—иначе и трудно назвать героевъ мелодрамы, не имѣющихъ рѣшительно никакой точно опредѣленной страсти, а тѣмъ болѣе видной физиогноміи. Не странно ли? Тогда какъ мы больше всего говоримъ геперь объ естественности, намъ какъ нарочно подносятъ подъ носъ верхъ уродливости. Русскаго мы просимъ! Своего давайте намъ! Что намъ французы и весь заморскій людъ? Разнѣ мало у насъ нашего народа? русскихъ характеровъ! своихъ характеровъ! Давайте намъ самихъ. Давайте намъ нашихъ плутовъ, которые тихомолкомъ употребляютъ въ зло благо, изливаемое на насъ правительствомъ нашимъ, которые превратно толкуютъ наши законы, которые, подъ личиною кротости подъ рукою дѣлаютъ дѣлашки не совсѣмъ кроткія. Обратите намъ нашего честнаго, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимыхъ, среди потерь и тратъ, чинимыхъ ему, остается непоколебимъ въ своихъ положеніяхъ, безъ ропота на безшашное правительство и исполненъ той же русской, безграничной любви къ царю своему, для котораго бы онъ и жизни, и домъ, и послѣднюю каплю благородной крови готовъ принести, какъ назначенную жертву... Просьте долгій взглядъ по всю длину и ширину животрепещущаго вазеленія нашей раздольной (родины): сколько есть у насъ добрыхъ лю-

дей, но сколько есть и плебей, отъ которыхъ житья вѣтъ добрымъ и за которыми не въ силахъ слѣдить никакой законъ. На сцену ихъ! Пусть видитъ ихъ весь народъ! Пусть посмѣется онъ! О, смѣхъ великое дѣло! Ничего болѣе не боятся человѣкъ такъ, какъ смѣха. Онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія у виновнаго; но онъ ему силы связываетъ и, боясь смѣха, человѣкъ удержится отъ того, отъ чего бы не удержала его никакая сила. Благосклонно склонится око монарха къ тому писателю, который, подвижимый чистымъ желаніемъ добра, предприметъ уличить визкій порокъ, недостойныя слабости и привычки въ слояхъ нашего общества и этимъ подастъ отъ себя помощь и крылья его правдивому закону. Театръ—великая школа, глубоко его назначеніе: онъ цѣлой толпѣ, цѣлой тысячѣ народа за однимъ разомъ читаетъ живой полезный урокъ и при блескѣ торжественнаго освѣщенія, при громѣ музыки показываетъ смѣшное привычекъ и пороковъ или высокотрогательное достоинствъ и возвышенныхъ чувствъ человѣка. Нѣтъ! театръ не то, что сдѣлали изъ него теперь. Нѣтъ! Онъ не долженъ возбудить тѣхъ тревожныхъ и безпокойныхъ движеній души. Нѣтъ! Пусть зритель выходитъ изъ театра въ счастливомъ расположеніи, помирая отъ смѣха или обливаясь сладкими слезами, и понесши съ собою какое-нибудь доброе намѣреніе.

Писатель, который отводилъ смѣху такую карающую и наставническую роль въ обществѣ, былъ, конечно, далекъ отъ всякихъ «шутокъ», и имѣлъ право обидѣться, когда нѣкоторые люди при оцѣнкѣ его комедій, за ихъ шутливой виѣшностью, не поняли скрытаго въ нихъ серьезнаго смѣха.

Переходя къ обзору этихъ комедій, мы должны прежде всего сдѣлать большую оговорку. Всякій разъ, когда рѣчь зайдетъ объ общественной тенденціи этихъ комедій, надо помнить, что въ представленіи Гоголя эта общественная тенденція не имѣетъ ничего общаго съ «либеральной». Она въ его комедіяхъ—тенденція нравственная, безъ всякой примѣси политическаго элемента. Вотъ почему онъ могъ позднее истолковать всего «Ревизора» чисто нравственно и мистически, какъ онъ это сдѣлалъ въ извѣстной «Развязкѣ»; вотъ почему онъ и приходилъ въ такое страшное негодованіе и чувствовалъ себя такъ оскорбленнымъ, когда его называли «либераломъ» или подозрѣвали въ желаніи сказать что-нибудь неспріятное правительству.

Гоголь по своимъ политическимъ взглядамъ былъ всегда чистокровнымъ консерваторомъ и вѣрнопопдааннымъ. Либеральный отъенокъ его комедіямъ и его творчеству придалъ не онъ, а условія нашей общественной жизни времянъ императора Николая, условія, ко-

торыя въ 1852 году заставили само правительство признать Гоголя «опаснымъ» писателемъ и попытаться «замолчать» въ нѣкоторомъ смыслѣ его кончину.

Помимо того, что всякое рѣзкое обличеніе нравственныхъ недостатковъ всегда можетъ быть истолковано въ либеральномъ смыслѣ, т. е. всегда бросаетъ извѣстную тѣнь на государственный порядокъ, при которомъ такіе недостатки процвѣтають — помимо этого, въ «Комедіяхъ» и въ «Мертвыхъ Душахъ» было, какъ извѣстно, высказано довольно рѣзкое осужденіе русской бюрократической системы. И это осужденіе, вѣстнѣ съ общегуманнымъ отношеніемъ къ низшей братіи и подало поводъ всѣмъ нашимъ прогрессивнымъ партіямъ зачислить Гоголя въ разрядъ, если не своихъ сотрудниковъ, то, во всякомъ случаѣ, въ число лицъ, подготовлявшихъ почву для воспріятія прогрессивныхъ идей. И это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Вопреки самому Гоголю, его придется признать однимъ изъ отцовъ русскаго либерализма или вѣрнѣе русской прогрессивной общественной мысли, которая, покинувъ общеправственныя точки зрѣнія, переходила къ критикѣ существующаго общественнаго и государственнаго порядка.

Разногласіе между Гоголемъ и его читателями — и современниками и потомками — вытекало изъ очень понятныхъ причинъ. Гоголь для Россіи не желалъ лучшаго устройства государственнаго, чѣмъ то, при которомъ жилъ. Самодержавная власть, непоколебимая, признанная всѣми, Богомъ установленная и надъ всѣми властями поставленная, безконтрольная и всемогущая въ человѣческихъ условіяхъ; православная вѣра, ревнивая и подъ особымъ Божіимъ покровительствомъ состоящая; дворяне — царевы первые слуги, отцы многочисленныхъ крестьянскихъ семей, ихъ наставители въ вѣрѣ и въ чувствахъ долга передъ царемъ и родиной, дворяне — опекуны низшей братіи, блюстители ихъ умственного и нравственнаго совершенствованія и экономическаго благосостоянія, наконецъ, эта низшая братія, по славянской натурѣ своей богобоязненная, царелюбивая, добрая и смысленая, признающая, что всякая власть отъ Бога и смиренно занятая своимъ земледѣльческимъ трудомъ — вотъ основныя положенія общественнаго и государственнаго проповѣданія Гоголя, отъ которыхъ онъ не отступалъ во всю жизнь въ которой вѣрилъ еще съ самыхъ юныхъ лѣтъ. Не любилъ онъ только «состояній среднихъ» за то, что они слишкомъ подвижны и нестойчивы. Такимъ образомъ для большинства силъ, какими приводился въ движеніе русская общественная и государственная жизнь, вѣдь желалъ отъ всего своего консервативнаго сердца сохраненія существующаго. Ролью одной только силы, и притомъ очень важной,

онъ былъ недоволенъ, мало сказать, — онъ былъ оскорбленъ ею. Этой силой была бюрократія, дѣйствительно, всемогущая въ николаевское царствованіе. На нее направилъ Гоголь свои удары сатирика и моралиста. Если не считать плутоватыхъ типовъ въ родѣ Хлестакова и Чичикова, особенно облюбованныхъ нашимъ авторомъ, типовъ, съ которыми онъ обошелся, однако, очень милостиво; если оставить въ сторонѣ портреты, списанные съ дворянъ-помѣщиковъ, портреты не лестные, но во всякомъ случаѣ написанные безъ злобы и негодованія, то именно чиновный міръ отъ губернатора и городничаго до квартальнаго, былъ главной мишенью или болѣе сильныхъ сатирическихъ нападокъ нашего автора. Но и въ этихъ нападкахъ сатирикъ соблюдалъ нѣкоторую осторожность. Въ комедіи «Владимиръ 3-й степени», въ этой первой попыткѣ систематическаго обличенія бюрократіи, Гоголь рѣшился было заговорить о столичныхъ довольно высокопоставленныхъ кругахъ, но сообразилъ, что это не совсѣмъ удобно и потому въ дальнѣйшихъ своихъ сочиненіяхъ продолжалъ говорить лишь о чиновникахъ губернскихъ и уѣздныхъ.

Въ дѣлѣ обличенія бюрократическихъ сферъ Гоголь имѣлъ, какъ намъ извѣстно, многочисленныхъ предшественниковъ, но никто изъ нихъ не относился такъ страстно и съ такимъ душевнымъ сокрушеніемъ къ этому вопросу, какъ онъ. Писатели александровской эпохи предпочитали говорить объ аристократіи, столичной и помѣщичьей, и съ достаточной смѣлостью освѣщали невзрачныя стороны свѣтскаго круга. Поэтъ николаевскаго времени былъ призванъ указать на все то зло, какое влекла за собой широко-развившаяся въ это время бюрократическая система. И Гоголь свою задачу выполнилъ какъ настоящій патриотъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ вѣрнопопдаанный. Онъ не допускалъ даже мысли о томъ, что сама правительственная система могла быть виновата въ томъ бюрократическомъ злѣ, которое онъ такъ вѣрно подмѣтилъ и оцѣнилъ; въ его глазахъ вся вина падала не на укладъ правительственной жизни, ставящій чиновника въ такое положеніе, при которомъ превышеніе власти и злоупотребленіе ею сами собой напрашивались, а на самого чиновника, какъ на отдѣльную нравственную единицу, какъ на личность съ извѣстнымъ нравственнымъ содержаніемъ. Такимъ образомъ вопросъ съ почвы общественной переводился Гоголемъ прямо на почву нравственную, а поздѣе на религіозную. Все зло пронстекало, по мнѣнію автора, изъ природы самого человѣка, а не изъ тѣхъ условій, въ какія онъ былъ поставленъ. Чтобы излечить его не было нужды мѣнять обстановки, въ которой онъ выросъ и которая приучала его къ гордынѣ, своеволю, самопоклоненію,

хитростямъ, обманамъ, лжи и отсутствію понятія о гражданскомъ долгѣ—лечить его нужно было или нравственнымъ воздѣйствіемъ на его душу, или силою кары—силою падающаго на него несчастья, которое должно было непосредственно повліять на его нравственное самосознаніе. Труднѣйшій общественный вопросъ рѣшался, такимъ образомъ, для Гоголя весьма просто. Весь ходъ жизни зависитъ отъ нравственнаго совершенствованія человѣка,—думалъ нашъ моралистъ. Можно поставить человѣка въ какія угодно условія—экономическія, общественныя и политическія, его жизнь будетъ посвящена благу своему и ближняго, если только въ немъ самомъ есть этотъ нравственный регуляторъ. Можно спросить, конечно, не зависитъ ли въ свою очередь это нравственное сознаніе отъ тѣхъ самыхъ условій, на которыя оно должно воздѣйствовать? Но этотъ вопросъ не остановилъ на себѣ вниманія Гоголя.

Въ общественныхъ взглядахъ нашего писателя была, какъ видимъ, большая доза романтизма и еще болѣе сентиментализма. Онъ, этотъ «чувствительный» взглядъ на жизнь и помогъ Гоголю нарисовать ту странную идиллію русской дѣйствительности, которая такъ поразила читателей въ его «Перепискѣ съ друзьями». Тамъ, не колебля не только основъ, но даже второстепенныхъ проявленій русской государственной жизни онъ нарисовалъ цѣлую утопію блаженнаго житія всѣхъ условій, всѣхъ, и вѣстителей, и подчиненныхъ, и сытыхъ, и голодныхъ, и сильныхъ, и безправныхъ при одномъ единственномъ условіи, то «любовь» будетъ передаваться по начальству, что она будетъ циркулировать по инстанціямъ отъ низшихъ до самой высшей, такъ—какъ циркулируютъ департаментскія бумаги. Все это Гоголь писалъ полнѣе искренно, не угождая власти, передъ идеей и системой которой онъ преклонялся, требуя только отъ ея носителей и исполнителей нравственной выправки, т. е. того, что при этой системѣ достигнуть это крайне трудно.

Съ такимъ же сентиментализмомъ отнесся Гоголь и къ самому значительному общественному злу своего времени—къ крестьянскому рабству. Въ, какъ реалистъ, и нигдѣ много случаевъ говорить о немъ и въ своихъ по-
стяхъ, и въ «Мертвыхъ Душахъ». Но онъ касался этого вопроса, гораздо же, чѣмъ его предшественники, романисты и публицисты александров-
ой эпохи. Конечно, это общественное зло отъ его взгляда не укрылось, нельзя предположить, что онъ рисовалъ себѣ мужицкую жизнь таковой,
кой онъ изображалъ ее въ своихъ малороссійскихъ идилліяхъ Двѣ-три
мички въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и въ «Мертвыхъ Душахъ».

а также журнальная рецензія, которая приведена выше, показываютъ, что онъ далеко былъ отъ полнаго оправданія существующаго порядка *)).

Но и на этотъ вопросъ онъ смотрѣлъ съ чисто нравственной точки зрѣнія, непогрѣшно сужая понятіе о нравственности, такъ какъ мысль о «безнравственности» самого положенія крестьянскаго, кажется, не приходила ему въ голову: онъ и въ данномъ случаѣ оправдывалъ систему и говорилъ только о безнравственности самихъ ея исполнителей и тѣхъ, надъ кѣмъ она тяготѣла. Онъ вѣрилъ въ возможность настоящей блаженной идилліи на почвѣ данныхъ социальныхъ условій и ставя очень строгія требованія господину, говоря ему о великомъ его долгѣ, не желалъ умалять его правъ и среди этихъ правъ признавалъ за нимъ и право рабовладѣнія.

Гоголь былъ, такимъ образомъ, вполне искрененъ, когда въ своей статьѣ «Петербургская сцена» такъ ясно и часто говорилъ о своей благонадежности. На свою сатиру онъ смотрѣлъ какъ на орудіе, которое вполне можетъ и должно дѣйствовать согласно съ цѣлями и видами правительства. Если со временемъ она послужила точкой опоры для тѣхъ, кто былъ несогласенъ не только съ поведеніемъ исполнителей правительственной системы, но и съ самой системой по существу, то Гоголь былъ здѣсь не при чемъ. Шедшее за нимъ поколѣніе увидало въ его творчествѣ.—въ этомъ вѣрномъ отраженіи самой жизни—то, чего самъ Гоголь въ немъ не видѣлъ. Писатель гибѣлъ на людей, зачѣмъ

*) Есть даже прямое указаніе на то, что онъ хотѣлъ однажды довольно откровенно поговорить объ этомъ вопросѣ. Въ бумагахъ его сохранился отрывокъ изъ одной неоконченной драмы, надъ которой онъ работалъ, кажется, въ 1833 году («Сочиненія Н. В. Гоголя». X-ое изданіе. V, 101—104, 554). Въ этомъ отрывкѣ, на вопросъ одного изъ дѣйствующихъ лицъ: «Чѣмъ занимается его барыня?» слуга крѣпостной отвѣчаетъ: «какъ, чѣмъ занимается? Навѣстно, дѣло женское. Я вамъ скажу, сударь, что дѣла хозяйственныя идутъ у насъ, Богъ знаетъ какъ. Если бы вы увидѣли, какъ она изволяетъ управлять, такъ это курамъ смѣшно. Вообразите, что сама переходитъ по всѣмъ набамъ, и чуть только гдѣ вышла больного, и пошла потѣха: сама натащить мазей, трипокъ, начнетъ неровизывать. Ну, скажите, пожалуйста: боирское ли это дѣло? Какое же послѣ этого будетъ къ ней уваженіе мужиковъ? Нѣтъ, ужъ коли хочешь управлять, то ты сама ужъ сиди на одномъ мѣстѣ; а если что—пошли прикащика: ужъ это его дѣло; онъ уже обдѣлаетъ, какъ ему слѣдуетъ—мужика не балуй! Мужика въ ухо. Народъ простой, вышесеть. А этимъ-то и держится порядокъ. При баринѣ не такъ было. Ахъ, если бы вы знали, сударь, что это было за рѣдкостный человѣкъ!»

Рассказываютъ, что Гоголь однажды читалъ Жуковскому какую-то трагедію (вѣроятно, чту) и что Жуковский задремалъ подъ ея чтеніе. «Когда спать захотѣлось, значить должно и смочь», сказалъ Гоголь и тутъ же бросилъ свою трагедію въ каминъ.

въ нихъ такъ много зла и пошлости, потомки были богѣе справедливы и саросмы, виноваты ли одни люди въ этомъ злѣ и не падаетъ ли доля вины на тѣ условія, въ которыхъ они выросли и дѣйствовали? Гоголь объ этихъ условіяхъ молчалъ, довольствуясь лишь обличеніемъ вѣшнихъ результатовъ, къ которымъ они приводили.

Первой попыткой такого сознательнаго обличенія, въ общемъ, однако, отнюдь не суроваго, были тѣ комедіи, которыя Гоголь задумалъ еще въ началѣ своей петербургской жизни и частью отдѣлалъ и закончилъ къ 1836 году.

Съ театромъ у Гоголя были родственныя связи. Его отецъ пописывалъ комедіи изъ малороссійскаго быта и онѣ пользовались въ свое время успѣхомъ. Самъ Гоголь еще въ нѣжинскомъ лицѣ пробовалъ свои силы на сценическомъ поприщѣ и былъ, по общему признанію, очень талантливымъ актеромъ. Товарищи его рассказывали, что отличительной чертой его игры была необыкновенная правдивость и простота, т.-е. то, что въ юные годы артисту дается очень рѣдко. Исполнялъ Гоголь исключительно роли комическія. Такъ, напр., одной изъ лучшихъ его ролей была роль г-жи Простаковой въ «Недорослѣ». Одинъ изъ зрителей, видѣвшій его въ этой роли, рассказываетъ, что сколько онъ потомъ ни видалъ актрисъ въ этой роли, ни одна не заставила его забыть шестнадцатилѣтняго Гоголя. Товарищи были убѣждены, что, онъ поступить на сцену и онъ однажды, дѣйствительно, сдѣлалъ эту попытку, которая кончилась, впрочемъ, неудачно. Это было еще въ 1830 году, т.-е. въ первый годъ его грустной и одинокой жизни въ Петербургѣ; Гоголь искалъ тогда, гдѣ пристроиться, и рѣшилъ пойти къ директору Императорскихъ театровъ и просить подвергнуть его испытанію, но странно,—въ роляхъ непремѣнно драматическихъ. Почему именно драматическихъ, когда до сихъ поръ онъ игралъ только комическія роли,—неизвѣстно, можетъ быть, потому что на душѣ у него тогда было не весело и онъ, какъ многіе угрюмые молодые люди думалъ, что достаточно этого угрюмаго вида и тоски на душѣ, чтобы быть датскимъ принцемъ. Испытанію его подвергли и нашли, что члеть онъ слишкомъ просто и потому не годится. «Въ случаѣ особенной милости директора,—говорилъ производившій испытаніе,—Гоголь можетъ быть принятъ развѣ только въ качествѣ актера на выхода». Какъ непривѣтливо принялъ Гоголя на первыхъ порахъ тотъ самый театръ, который потомъ былъ ему такъ много обязанъ своей славой.

Отъ надежды стать актеромъ пришлось отказаться, но тѣмъ сильнѣе стали занимать нашего писателя мысли о комедіи. Знакомство съ артистами, какъ, напр., съ Сосницкимъ въ Петербургѣ и съ Щепкинымъ въ

Москвѣ, и знакомсто съ записными театрами, какими былъ, напр., С. Т. Аксаковъ, могло въ данномъ случаѣ остаться не безъ влияния.

Въ 1832 году планъ комедіи уже созрѣлъ въ головѣ Гоголя. «Я не писалъ тебѣ,—говорилъ онъ Погодину въ письмѣ отъ 20-го февраля 1833—я помѣшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвѣ (гѣ-томъ 1832 г.), въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда, не выходила изъ головы моей, но до сихъ поръ я ничего не писалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: «Владиміръ 3-ей степени», и сколько злости, смѣха, и соли. Но вдругъ остановился, увидѣвъ, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура низачто не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играть: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она, какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неоконченное произведеніе? Миѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, на который бы даже кварталный не могъ обидѣться. Но что комедія безъ правды и злости? Итакъ за комедію не могу приняться. Примусь за исторію—передъ мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскалываютъ зубы, и—исторія къ чорту! и вотъ почему я сижу при гнѣи мыслей» *). Изъ этого признанія видно, какъ серьезно взглянулъ нашъ смѣшливый пасичникъ на комедію въ первый же разъ, какъ мысль о ней пришла ему въ голову. Этотъ серьезный взглядъ Гоголя на «смѣшное» въ жизни поразилъ и С. Т. Аксакова при первой ихъ встрѣчѣ въ Москвѣ, въ 1832 г. Рѣчь у нихъ зашла о комедіяхъ Загоскина, которыя очень нравились Аксакову, и Гоголь похвалилъ Загоскина за веселость, но замѣтилъ, что онъ не то пишетъ, что слѣдуетъ, особенно для театра. Аксаковъ возразилъ, что у насъ писать не о чемъ, что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, что «даже глупости смѣшной въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой». Гоголь посмотрѣлъ на Аксакова «какъ-то значительно» и сказалъ, что это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы уже сами надъ собой будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его». Очевидно, что Гоголь успѣлъ не мало подумать о серьезной стоимости того смѣха, для котораго теперь подбиралъ новую литературную форму. Онъ нашелъ, было, и форму, и со-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 245.

держаніе, но оно ему показалось слишкомъ опаснымъ и онъ сталъ искать другого сюжета.

Онъ подыскалъ его скоро; это былъ тотъ самый сюжетъ, который онъ позднѣе разработалъ въ своей «Женитьбѣ». Но мысль о серьезной и злой комедіи не покидала нашего автора, и въ 1834 году мы застаемъ его за работой надъ «Ревизоромъ». Очевидно, что сюжетъ «Ревизора» казался Гоголю менѣе опаснымъ и задорнымъ, чѣмъ фабула первой комедіи: «Владиміръ 3-ей степени», надъ отдѣльными сценами и явленіями которой онъ всетаки урывками продолжалъ работать. Такимъ образомъ, Гоголь одновременно писалъ три комедіи: незаконченную комедію «Владиміръ третьей степени», которую онъ задумалъ въ 1832 году и отдѣльныя части которой (подъ заглавіями: «Тяжба», «Утро дѣловаго человѣка», «Лакейская» и «Отрывокъ») окончательно отдѣлалъ въ 1842 году; «Женитьбу», начатую въ 1833 году и оконченную также въ 1842 г., и, наконецъ, «Ревизора», начало котораго относится къ 1834 году и окончательная редакція перваго изданія къ 1835 году. Въ 1836 году были, кажется, начаты «Игроки» и закончены въ 1842 году.

Впродолженіи цѣлыхъ десяти лѣтъ (1832—1842) работалъ Гоголь надъ своими комедіями. Теперь, когда весь процессъ его работы намъ извѣстенъ *), приходится удивляться этому кропотливому труду генія: не только сценарій мѣнялся часто, но почти каждая реплика переделывалась по нѣскольку разъ; то, что въ этихъ комедіяхъ намъ кажется столь естественно и легко сказаннымъ—давалось автору съ необычайнымъ трудомъ, отчасти потому, что онъ самъ придавалъ своей работѣ необычайно важное значеніе и ждалъ отъ нея, какъ онъ говорилъ.—«воликаго» и «художническаго»; отчасти и потому, что реальное воспроизведеніе дѣйствительности не давалось ему сразу, и онъ, сентименталистъ и романтикъ, не могъ найти съ перваго раза подходящаго тона для исполн. бытовой комедіи.

По серьезности своего содержанія комедіи Гоголя не равнаго достоинства. «Игроки» — простой драматизированный анекдотъ; «Женитьба» — бытовая сцена, съ виду простая шутка, но на дѣлѣ сатира не безъ общественнаго смысла; «Владиміръ 3-ей степени» или вѣрнѣе тѣ обложки, которые отъ него остались — попытка очень серьезной и шпуюкой общественной сатиры; и, наконецъ, «Ревизоръ» — осуществленіе этой сатиры въ ея смягченномъ видѣ. Такъ какъ Гоголь надъ своими комедіями работалъ почти одновременно, то намъ нѣтъ необхо-

*) А онъ выискивалъ трудомъ Н. С. Тихонова и В. И. Шенрока.

димости при ихъ разборѣ придерживаться хронологическаго порядка; онъ намъ ничего не объяснитъ и только спутаетъ, и потому мы не поступимъ произвольно, если сгруппируемъ всѣ комедіи нашего автора по широтѣ затронутыхъ ими общественныхъ круговъ и вопросовъ.

Наименшій интересъ въ данномъ смыслѣ представляетъ комедія «Игроки»—одно изъ самыхъ совершенныхъ драматическихъ произведеній по техникѣ. Когда комедія была написана—съ точностью опредѣлить нельзя: набросана она была въ послѣдніе годы жизни Гоголя въ Петербургѣ, а закончена, вѣроятно, уже за границей *). Комедія не выдумана, а создана на основаніи рассказовъ о дѣйствительныхъ продѣлкахъ разныхъ шулеровъ и мошенниковъ. Рассказы о такихъ продѣлкахъ попадались часто въ современной Гоголю литературѣ. Рѣдкій романъ нравовъ обходился безъ нихъ, и всевозможные господа Плутяговичи, Змѣйкины, Шурке стали скоро традиціонными типами. Жертвами ихъ бывали обыкновенно либо вертопрахи, либо довѣрчивые честные люди, либо раззоренные дворяне, загнанные нуждой въ игорные дома. Картежный шулеръ попадалъ такимъ образомъ въ свѣту многочисленныхъ злодѣевъ, искушающихъ людскую добродѣтель, нерѣдко торжествующихъ надъ нею, и все это затѣмъ, чтобы автору дать возможность прочесть подобающее наставленіе. Заслуга Гоголя заключалась въ томъ, что онъ эту шаблонную тему развилъ необычайно жизненно и съ неподражаемымъ остроуміемъ, что онъ одинъ общій типъ сумѣлъ представить въ нѣсколькихъ варіаціяхъ, одинаково правдивыхъ, а главное, что онъ избѣгъ всякой морали, исключивъ изъ числа дѣйствующихъ лицъ прежняго героя—«пострадавшаго»; нельзя же въ самомъ дѣлѣ назвать пострадавшимъ человѣка, который въ компаніи мошенниковъ сплеховалъ, будучи самъ первымъ червоннымъ валетомъ. Въ «Игрокахъ» описано не состязаніе хитрости и слабодушной простоты, порока и добродѣтели, а состязаніе семи жуликовъ-артистовъ, которое кончается самоуничтоженіемъ одного изъ самыхъ опасныхъ по мнѣнію Гоголя пороковъ именно—плутства.

«Женитьба» по замыслу значительно шире «Игроковъ»; въ ней есть даже общественная мысль, хотя она не сразу проступаетъ наружу. Судьба комедіи «Женихи» или, какъ она была позднѣе названа, «Женитьба», очень замѣчательна. Изъ всѣхъ драматическихъ произведеній Гоголя она подверглась наибольшимъ и самымъ продолжительнымъ передѣлкамъ. Начата она была въ 1833 году, когда Гоголь искалъ сюжета, «которымъ бы и кварталный не могъ обидѣться». Авторъ передѣлы-

*) Н. Н. Щероки. «Матеріалы для біографіи Гоголя», II, 377.

мъ комедію въ 1834 и 1835 годахъ, затѣмъ въ 1838, 1839 и 1840 году, и только въ 1842 году онъ остался доволенъ ея редакціей. Какъ видно изъ различныхъ редакцій, первоначальный планъ комедіи былъ совсѣмъ иной, чѣмъ тотъ, который теперь передъ нами. Мѣстомъ дѣйствія комедіи была Малороссія, и фабула ея напоминала слегка нѣкоторые эпизоды изъ «Сорочинской ярмарки» и «Ночи передъ Рождествомъ». Героиней комедіи была первоначально помѣщица, искавшая жениха и отправившая на розыски такового на ярмарку свою прислугу. Ни Кочкаревъ, ни Подколесинъ (характеръ очень сходный со Шпонькой) въ этой первоначальной редакціи не появлялись *). Въ 1835 году эта фабула была измѣнена, и въ новой редакціи Гоголь читалъ свою пьесу у Югодина. Мы имѣемъ любопытное свидѣтельство объ этомъ чтеніи одного изъ присутствовавшихъ. «Гоголь,—разсказываетъ С. Т. Аксаковъ,—до того мастерски читалъ или, лучше сказать, игралъ свою пьесу, что многіе, понимающіе это дѣло, люди до сихъ поръ говорятъ, то на сценѣ, несмотря на хорошую игру актеровъ, эта комедія не такъ смѣшна, какъ въ чтеніи самого автора. Слушатели до того смѣялись, что нѣкоторымъ сдѣлалось почти дурно. Но увы! Комедія не была понята. Большая часть говорила, что пьеса — неестественный арсъ, но что Гоголь ужасно смѣшно читаетъ». Можетъ быть, въ этой первой редакціи «комическое», дѣйствительно, граничило съ буффонадой, и слушатели были правы; но когда Гоголь принялся за новую редакцію, и когда комедія была закончена, она ни съ какимъ фарсомъ уже ничего общаго не имѣла.

Люди, которые продолжали называть ее фарсомъ, впадали въ крупную ошибку потому, что не умѣли отличить смѣшное въ положеніяхъ отъ смѣшного въ характерахъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно взять совсѣмъ различныхъ, самыхъ безцвѣтныхъ людей и поставить ихъ въ такое смѣшное положеніе, при которомъ они возбуждаютъ въ насъ самый непереносимый смѣхъ именно своимъ совершенно исключительнымъ положеніемъ, напр., какимъ-нибудь забавнымъ *qui pro quo*, не во время полной репликой, неожиданной оговоркой, взаимнымъ непониманіемъ, вѣроятнымъ стеченіемъ обстоятельствъ, однимъ словомъ, рядомъ случайностей, которыя изъ характера самихъ дѣйствующихъ лицъ нетекаютъ. Такое комическое положеніе можетъ назваться фарсомъ, и

*) (Описаніе редакцій и подробная исторія ихъ переделокъ дана въ отрудѣ Н. Шенюка, помѣщенномъ въ VI томѣ X-го изданія «Сочиненій Гоголя», стр. 1—575. Ср. также Н. С. Тихонравовъ. «Сочиненія». т. III, часть I, статья «М. С. Аксаковъ и Н. В. Гоголь», стр. 550 и слѣд.)

этот комизм может достигать степеней довольно различных: от игривой шутки до глупой, от безобидной до непристойной; и всегда это будет комизм низшаго сорта.

Но есть богѣе высокій: это комизм самихъ характеровъ и изъ нихъ вытекающій иногда комизм положеній. Смѣшонъ можетъ быть самъ человекъ по складу своего ума и по своимъ чувствамъ. Все наше отношеніе къ окружающему міру, идеалы наши, требованія, которыя мы ставимъ людямъ—все можетъ быть настолько несерьезнымъ, настолько страннымъ и нелѣпымъ, что можетъ вызвать смѣхъ—опять—таки смѣхъ разный: веселый, беззаботный, а можетъ быть и очень сердитый, раздраженный и желчный.

Комедіи Гоголя—комедіи характеровъ, а отнюдь не положеній только. Присматриваясь къ любому типу, имъ выведеному, мы видимъ, что онъ самъ по себѣ законченъ и комиченъ. Его можно взять изъ той обстановки, въ которой онъ показанъ, взять его порознь, видѣть его столкновенія съ другими типами, и онъ возбудитъ ту же улыбку, тотъ же смѣхъ, какъ рѣдкій оригиналъ и типичный продуктъ нашей жизни. Иногда этотъ гоголевскій типъ возвышается и до типа общечеловѣческаго, которымъ мы такъ удивляемся въ комедіяхъ Мольера. Хотя бы тѣ же Подколесинъ и Кочкаревъ... ихъ можно встрѣтить въ любомъ мѣстѣ и въ любое время: здѣсь они передъ нами въ роли мелкихъ обывателей Петербурга, а сколько такихъ лицъ, лицъ прыгающихъ въ окно въ рѣшительную минуту, и лицъ, вносящихъ въ жизнь сумбуръ и суматоху, сколько ихъ дѣйствовало и дѣйствуетъ на широкой аренѣ, общественной и политической?

Въ «Женитьбѣ» Гоголь слегка пересолил въ компоновкѣ положеній, въ какія онъ поставилъ дѣйствующихъ лицъ своей комедіи. Ихъ, встрѣчающихся въ жизни въ розницу, онъ собралъ въ кучу и въ одномъ мѣстѣ. Но авторъ въ свое оправданіе можетъ сказать, что старыя порядки смотривъ жениховъ или невѣсты—предлогъ вполне законный для разныхъ необычныхъ встрѣчъ. Агафья Тихоновна сама требовала разнообразія, и потому сваха могла обратить ея гостиную на нѣкоторое время въ выставку всякихъ рѣдкостей.

«Женитьба» была первой по времени художественной «бытовой комедіей». Мы съ этимъ типомъ комедіи теперь—послѣ Островскаго—хорошо знакомы. Но написать такую до Островскаго, значило сдѣлать большое открытіе въ области искусства.

И въ этомъ заслуга Гоголя какъ драматическаго писателя. Онъ первый призналъ, что театръ существуетъ для того, чтобы, прежде всего, изображать жизнь—вѣрно, безъ прикрасъ и натя-

никъ и первый сталъ цѣнить въ художественномъ типѣ его полное хотѣтельство съ жизненной правдой. Мораль должна была сама собой вытекать изъ соблюденія всѣхъ этихъ условій.

Никакой морали нѣтъ и въ «Женитьбѣ», этой правдивой картинѣ изъ жизни русскаго «средняго» сословія. Но при всей невинности своего содержанія «Женитьба» не лишена общественнаго смысла.

Комедія много выиграла отъ переноса мѣста дѣйствія изъ Малороссіи въ Петербургъ. Бесѣды съ артистами Сосницкимъ и Щепкинымъ помогли Гоголю въ обрисовкѣ мало ему знакомаго купеческаго быта, а петербургская обстановка, съ своей стороны, позволила ему ввести въ комедію рядъ типовъ, появленіе которыхъ въ малороссійской усадьбѣ было бы мало правдоподобно. Въ общемъ, эта комедія—борище какихъ-то чудаковъ, цѣлая кунсткамера. Если припомнить, однако, каковъ былъ въ тѣ времена уровень духовныхъ интересовъ и потребностей мелкаго чиновничества, купечества и вообще средняго люда, то такое собраніе не должно поражать насъ своей вычурной кѣшистостью. Всѣ эти лица—историческіе документы. Каждый изъ нихъ представитель извѣстнаго сословія, и авторъ съ умысломъ наралъ дѣйствующихъ лицъ изъ разныхъ круговъ общества. Здѣсь и уряды, и чиновники, и военные. Всѣ они, за исключеніемъ гостинодворца Старкова—коренного руссака, котораго затѣмъ такъ возвеличилъ Островскій—донельзя смѣшны и нелѣпы въ своемъ міросозерданіи; всѣ они—люди жалкіе, но не дурные. И Тихонъ Пантелеймовичъ—отецъ невѣсты, который усахарилъ свою жену и который мвало, ударивъ по столу рукой—съ ведро величиною,—говаривалъ въ сердцахъ: «Плевать я на того хочу, кто стыдится быть купцомъ»; дочка его, которая помѣшалась на дворянствѣ и не хочетъ идти за купца, потому что у него борода—эта сентиментальная дѣвица, наказанная судьбой за то, что мечтаетъ о лучшей жизни, была та, среди которой выросла. Не возбуждаетъ въ насъ никакихъ враждебныхъ чувствъ и экзекуторъ Яичница—представитель необразованной и грубой аккуратности, для котораго женитьба—блговая сдѣлка и предлогъ принять по инвентарю движимое и недвижимое, въ его глазахъ болѣе цѣнное, чѣмъ придатокъ къ имѣнію—невѣста. «А невѣстѣ скажи, что она подлець!» кричитъ отъ кавалеря, совсѣмъ ошеломленный извѣстіемъ, что домъ вѣнцовой Агафьи Тихоновны заложонъ. Никаноръ Ивановичъ Анучинъ—тотъ никогда не позволилъ бы себѣ съ дамой такого неприличнаго обращенія. Онъ—сама сентиментальная деликатность. Идеальчикъ—барышня, говорящая по-французски, и никто не объяснитъ, за-

тѣмъ ему этотъ французскій языкъ, на которомъ самъ онъ не умѣетъ сказать ни слова. Онъ робокъ, даже какъ будто стыдится своей глупотной службы, но утѣшаетъ себя тѣмъ, что онъ все-таки умѣетъ дѣлать обхождение высшаго общества. Это не мѣшаетъ ему ругать своего отца мерзавцемъ и скотиной за то, что онъ не обучилъ его французскому диалекту, незнакомство съ которыми самой невѣсты разбило и всѣ его матримоніальные планы... Онъ отказывается отъ нихъ безъ сожалѣнія, даже безъ гнѣва и уходитъ печальный, какъ будто разочаровался, дѣйствительно, въ чемъ-то очень серьезномъ... Балтазаръ Балтазаровичъ Жевакинъ—веселый морякъ въ отставкѣ, тотъ защищаетъ упоритѣе другихъ свою позицію. Большой любитель женскаго пола и поклонникъ Сидпалн, круглый невѣжда и набитый дуракъ, какъ его аттестуетъ Кочкаревъ, онъ человѣкъ очень веселаго нрава, и своимъ самоиѣніемъ гарантированный отъ всякихъ, даже очень оскорбительныхъ уколовъ со стороны.

И всѣми этими обиженными Богомъ людьми вертеть и крутить Кочкаревъ—натура, безспорно, энергическая, но съ однимъ очень часто встрѣчающимся недостаткомъ, съ отсутствіемъ мысли о томъ, «что изъ всего этого выйдеть». Ему лишь бы дѣйствовать и суетиться, а какъ на другихъ его суета отзовется, до этого ему дѣла мало: онъ дозволеть, что вмѣшался, что самъ на виду, и въ этой суетѣ безъ расчета и плана все его самоудовлетвореніе... и рядомъ съ нимъ его застѣнчивый спутникъ Подколесинъ, этотъ родной братъ Обломова, безъ стремленій, безъ желаній, съ одной лишь мыслью, чтобы скорѣй прошелъ день, который безконечно тянется. Этого человѣка ничѣмъ не побудишь къ дѣйствию, онъ со своей флегмой и пассивностью устоитъ противъ всякихъ доводовъ разума или оболъщенной мечты; жизнь для него—дремота въ сумерки, и никто и ничто его отъ этого полусна не пробудитъ. Вскипѣть и заторопиться на мгновеніе онъ можетъ, но лишь затѣмъ, чтобы сейчасъ же впасть въ отчаяніе страха передъ поступкомъ.

Таковы дѣйствующія лица этой веселой комедіи. Насмѣявшись вдоволь, зритель можетъ, однако, задуматься; сколько стѣрыхъ, томительно скучныхъ и глупыхъ людей увидитъ онъ тогда передъ собой, людей, которые осуждены влачить жизнь безъ всякаго смысла и для которыхъ все спасеніе—въ отсутствіи сознанія своего духовнаго нищенства. Если же подумать, для сколькихъ людей въ Россіи жизнь Жевакиныхъ, Анушкиныхъ, Яичницъ и Подколесинныхъ была существованіемъ нормальнымъ, а, можетъ быть, и неизбежнымъ, то могло стать и страшно...

Къ своему сибѣху, какъ мы знаемъ, Гоголь на первыхъ же порахъ узналъ принимать много «злобу». Онъ началъ писать сибѣхую комедию съ облачительной тенденціей, но отъ этого плана отказался, насаясь, что комедія его съ цензурой не поладитъ. Было ли это опасіе главной причиной того, что Гоголь свою работу бросилъ, или, какъ узнаютъ, онъ отступился отъ нея потому, что планъ былъ слишкомъ широкъ и художникъ не могъ разобратъся во всемъ богатствѣ раскрывшагося передъ нимъ содержанія, но только отъ этой комедіи намъ сталося лишь нѣсколько отрывковъ, извѣстныхъ подъ заглавіями «Утро (чиновника или, какъ настояла цензура) дѣловаго человѣка», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывокъ».

Возстановить по нимъ полностью сценарій утраченной комедіи—невозможно; мы знаемъ только, что это была комедія изъ чиновнаго быта притомъ классовъ довольно высокыхъ, что одному изъ дѣйствующихъ идъ такъ хотѣлось получить орденъ Владимира 3-й степени, что онъ мѣшался и воображалъ, что онъ-то и есть этотъ желанный Владимиръ. Остальныя подробности интриги затеряны, но она была, кажется, очень сложная.

Отрывки комедіи «Владимиръ 3-й степени» могутъ быть, впрочемъ, интересны и какъ совершенно самостоятельныя сцены. Гоголь надъ ними работалъ долго и упорно, начиная съ 1832 года, закругливъ ихъ держаніе и самъ включилъ ихъ въ первое собраніе своихъ сочиненій.

Со стороны художественнаго выполненія, эти отрывки—совершенно. Трудно себѣ представить какъ такіе малые количества оныхъ можно достигнуть такой образности. Всѣ лица—живыя лица, чья—прямая и художественно-естественная; реализмъ въ выполненіи—поразительный. Какъ живой передъ нами Иванъ Петровичъ—лицетвореніе безчисленнаго количества разныхъ начальниковъ, выходящихъ трепеть своимъ дѣловымъ видомъ и разносящихъ своихъ думиныхъ за то, что у нихъ поля по краямъ бумаги неровны, за то, что они въ одной строкѣ пишутъ «сі» а въ другой «ятель-ну»; какъ хорошъ онъ, управляющій однимъ изъ колесъ государственной машины, когда онъ навязываетъ своей Зюзюшкѣ бумажку хвостъ и, встрѣчая посѣтителя, развертываетъ сводъ законовъ, бы сейчасъ же начать разговоръ о вчерашнемъ вистѣ. Но мысль его о самъ третей дамѣ крестовъ, которую онъ запомнилъ: его мысль вергся вокругъ другого креста, который ему мучительно хочется видѣть на своей шеѣ; и достаточно одного замѣчанія его собесѣдника о томъ, что его превосходительство, услыжавъ фамилію Ивана Петровича, сказалъ многозначительно «гм!», чтобы онъ—эта гроза кан-

целаріи—утратилъ на цѣлый день спокойствіе духа («Утро дѣловаго человѣка»). Начато въ 1833 г. Окончено въ 1837 г.)^{*)}. Великолѣпецъ и Александръ Ивановичъ, сенатскій оберъ-секретарь, прішедшій въ такое негодованіе при извѣстїи о производствѣ Бурдюкова. Чтобы имѣть возможность уличить этого Бурдюкова въ гадости, самъ Александръ Ивановичъ готовъ выклепать все, что угодно; и когда, наконецъ, наклеивается дѣло о фальшивомъ завѣщанїи, подписанномъ вмѣсто «Евдокїя» словомъ «обмокиа»—завѣщанїи, въ которомъ Бурдюковъ самъ себя отказалъ всѣмъ угоды, а своему брату три стаметовыя юбки—Александръ Ивановичъ блюститель справедливости—на седьмомъ небѣ. «Постой,—говоритъ онъ по адресу своего партнера въ вистѣ—теперь я сяду играть, да и посмотримъ, какъ ты будешь подплясывать. А ужъ коли изъ своихъ прїятелей чиновниковъ наберу оркестръ музыкантовъ, такъ ты у меня такъ заплашешь, что во всю жизнь не отдохнуть у тебя бока» («Тяжба». Окончена въ 1839—1840 г.).

Въ комедїи «Владимїръ 3-ей степени» Гоголь имѣлъ нацѣренїе изобразить не одинъ лишь кругъ чиновнаго міра; въ нее должны были войти также эпизоды изъ жизни свѣтской. Одинъ такой эпизодъ сохранился. Онъ былъ озаглавленъ самимъ Гоголемъ «Сцены изъ свѣтской жизни» и потомъ переименованъ въ «Отрывокъ». Это—извѣстный разговоръ Марїи Александровны съ Собачкинымъ (набросанъ, вѣроятно, въ 1837 г. и отдѣланъ въ 1842 г.).

Семейное объясненїе Марїи Александровны съ ея сыномъ Мишей, которое предшествуетъ появленїю Собачкина—остроумнѣйшее повторенїе довольно старой темы. Мамаша хочетъ женить сына на княжнѣ Шлепохвостовой, которая «вовсе не первоклассная дура, а такая же, какъ всѣ другїя», но сердце Миши занято дочерью «бѣдныхъ, но благородныхъ родителей». Марїа Александровна возмущена такимъ «либерализмомъ» и пуще всего тѣмъ, что, кажется, жерзавецъ Собачкинъ виновникъ того, что ея сынъ сталъ вольнодумничать и что-то толкуетъ о сердечной склонности и о душѣ въ дѣлѣ женитьбы... Этотъ Андрей Кондратьевичъ Собачкинъ, вліянія котораго на сына такъ опасается Марїа Александровна—

^{*)} Эта сцена была замѣчена критикой тотчасъ же послѣ ея напечатанїя въ «Современникѣ». «Утро дѣловаго человѣка»—писалъ Вилнскій, представляетъ собою нѣчто дѣловое, отличающееся необыкновенной оригинальностью и удивительной вѣрностью. Если вся комедїя такова, то одна она могла бы составить эпоху въ исторїи нашего театра и литературы. (Нѣсколько словъ о «Современникѣ». «Телескопъ», 1836. «Молва», 170.)

ольшой оригиналь и одинъ изъ лучшихъ портретовъ въ гоголевской шпуреѣ. Онъ изъ семьи Хлестаковыхъ и Чичиковыхъ—такой же шутъ, но только на мелкія дѣла. Нахаль, фатъ, клеуэникъ, готовый а клевету и первостепенный враль—онъ типъ настоящаго паразита. Дивляешься, почему его не вытолкають.. но оказывается, что и этотъ шельмакъ, циникъ и спекулянтъ на самыхъ низкихъ чувствахъ, вооруженъ своимъ жаломъ, которое защищаетъ его въ борьбѣ за существованіе. На сплетню и на клевету, которыми онъ промышляетъ—ольшой спросъ, и въ нѣкоторыхъ кругахъ онъ—доморощенный актотумъ, безъ котораго не обойдется, можетъ быть, и очень феенебельная гостиная. Трудно было показать болѣе наглядно, чѣмъ то сдѣлано Гоголемъ въ его «Отрывкѣ», изъ какого мутнаго источника вытекаетъ иной разъ то, что мы называемъ ходячимъ мнѣніемъ, какъ иногда негодяй можетъ пригодиться. Этотъ «Отрывокъ», съ рваго взгляда столь невинный — образецъ безпощадной и глубокой сатиры... и это всего лишь нѣсколько страницъ изъ неоконченной комедіи... какъ непомѣрно зла должна была бы быть она въ цѣломъ!

Кажется, что и «Лакейская» (окончена въ 1839—1840 г.) входила въ составъ этой комедіи, хотя и не въ томъ видѣ, въ какомъ она шерь передъ нами. Въ настоящей своей отдѣлкѣ это совсѣмъ самостоятельная картинка нравовъ—единственная въ своемъ родѣ, не только въ тѣ годы, но, пожалуй, и въ наши.

Барани наша комедія занималась часто, оставляя въ сторонѣ ихъ ижайнаго сосѣда—слугу. Въ старой комедіи онъ появлялся обыкновенно въ двухъ роляхъ, очень условныхъ, а именно: какъ резонеръ, торый жаловался партеру на своего барина и говорилъ передъ зрителями вслухъ то, чего не смѣлъ сказать своему господину съ глазу на глазъ; или онъ появлялся на сценѣ затѣмъ, чтобы смѣшить публику своимъ невѣжествомъ, глупостью и тупостью. Онъ былъ одновременно на послышкахъ и у своего господина, и у автора. Гоголь порвалъ изу съ этия наблювомъ, и «Лакейская»—первая, и вплоть до «Шлювъ просвѣщенія» единственная художественно-реальная картина изъ жизни барской дворни. Эта дворня вся на лицо, съ ея тунеядствомъ, боскальствомъ и нахальствомъ. Она очень говорлива, пока «медвѣдь зарычалъ изъ берлоги» и пока не схватилъ кого-нибудь за ухо; она етъ или молчитъ, когда передъ ней стоитъ баринъ; она дерзка съ другимъ ривномъ, когда получила приказаніе не принимать его, она имѣетъ, наконецъ, и своего резонера, который ей читаетъ мораль на тему: «коли ты—такъ слуга, коли дворянинъ—такъ дворянинъ, а то бы, пожалуй,

всякій зачалъ: нѣтъ я не дворецкій, а губернаторъ или такъ какой-нибудь отъ инфантеріи...»

Мораль въ тѣ годы весьма ходкая и для многихъ очень усвоенная, которую, однако, сама жизнь опровергала, прививая праздному слугѣ всѣ пороки барина и заставляя чуть ли не каждаго барина думать, что онъ губернаторъ или какой-нибудь отъ инфантеріи.

Такъ наглядно проскальзывала злость въ смѣхѣ нашего автора. Если бы онъ не испугался борьбы, комедія «Владиміръ 8-ей степени» была бы настоящей боевой комедіей, не уступающей, быть можетъ, въ силѣ удара ни «Недорослю», ни «Горю отъ ума». Но этого не случилось. Гоголь замѣнилъ этотъ опасный сюжетъ другимъ болѣе скромнымъ

XII.

Исторія текста «Ревизора». — Вопросъ о совпаденіяхъ съ другими комедіями. — Художественное значеніе «Ревизора». — Отсутствие въ комедіи либеральной тенденціи. — Ея нравственный смыслъ и поясненіе этого смысла, данное авторомъ. — Первое представленіе «Ревизора» въ Петербургѣ и Москвѣ. — Умныя Гоголя и его жалобы на зрителей. — Толки и обвиненія; отзывы на нихъ Гоголя. — Отзывы критики: статьи Вулгарина, Сенковского, Андросова, кн. Вяземскаго, Серебрянаго, критика «Молвы» и Балинскаго. — Значеніе комедій Гоголя въ исторіи развитія его творчества.

Какъ большинство произведеній Гоголя, «Ревизоръ» подвергался неоднократнымъ и продолжительнымъ передѣлкамъ, прежде чѣмъ вышелъ въ ту художественную форму, которой самъ авторъ остался доволенъ. Первые наброски комедіи относятся къ 1834 году. Къ концу этого года или къ началу 1835 года комедія была уже закончена вся чертѣй; черезъ годъ, въ самомъ концѣ 1835 г., эта первоначальная редакція была вся вновь переработана, и Гоголь рѣшился провести ее на сцену. Въ 1836 году было напечатано первое изданіе комедіи и одновременно былъ составленъ ея сценическій текстъ, сообразно съ требованіями театральной цензуры. Этотъ сценическій текстъ остался неизмѣненнымъ на долгіе годы, а текстъ печатный продолжалъ перерабатываться. Послѣ перваго представленія (1836), которое принило автору столько огорченій, Гоголь охладѣлъ на нѣкоторое время къ «Ревизору», но съ 1838 года—уже за границей—вновь началъ работать надъ его текстомъ. Работа данлась вплоть до 1842 года, когда, наконецъ, была установлена авторомъ окончательная редакція.

Такъ терпѣливо, работалъ художникъ надъ своимъ созданіемъ въ теченіе восьми лѣтъ. Мысль о «Ревизорѣ» не покидала его, когда онъ писалъ свои повѣсти, когда читалъ лекціи и давалъ уроки, когда сочинялъ и компилировалъ свои статьи по исторіи, эстетикѣ и литературѣ, когда путешествовалъ за границей и даже тогда, когда онъ усиленно работалъ надъ «Мертвыми Душами». Что бы онъ ни говорилъ

о своей комедіи въ минуту раздраженія на зрителей, какъ бы онъ ни унижалъ ее въ своихъ собственныхъ глазахъ,—онъ продолжалъ любить ее. «Ревизоръ», при всѣхъ своихъ недостаткахъ, былъ въ его глазахъ все-таки первымъ его «серьезнымъ» произведеніемъ, первымъ «смѣшнымъ» словомъ съ необычайно серьезнымъ смысломъ, какое сказалъ авторъ, достигшій теперь зрѣлаго возраста и какъ человекъ, и какъ художникъ.

Мы знаемъ, какъ способность воплощать дѣйствительность въ реальныхъ образахъ крѣпла въ Гоголѣ съ годами и какъ она боролась съ сентиментальнымъ и романтическимъ его взглядомъ на жизнь. Въ періодъ «Вечеровъ» она только что начинала пробиваться наружу. Она стала болѣе замѣтна, когда нашъ авторъ писалъ свои рассказы «Невскій проспектъ», «Портретъ» и «Записки сумашедшаго». Она отходила на задній планъ въ его историческомъ міросозерцаніи, но все-таки проступала въ тѣхъ повѣстяхъ, въ которыхъ онъ говорилъ о старинѣ; она выдвинулась открыто на первый планъ въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ», и въ «Повѣсти о ссорѣ Ивана Ивановича» и, наконецъ, въ «Ревизорѣ» она восторжествовала чтобы на нѣкоторое время уже не идти на убыль. Эта побѣда далась автору, конечно, не сразу; и по отдѣльнымъ редакціямъ «Ревизора» можно видѣть, какъ постепенно она подготавливалась. Развитие дѣйствія и основные типы въ этихъ редакціяхъ не вѣнялись, но зато почти каждая реплика испытала многократную передѣлку именно въ видахъ наибольшаго приближенія и самой интриги, и дѣйствующихъ лицъ къ правдѣ той жизни, которую изображалъ художникъ *).

Вопросъ о томъ, какъ Гоголю пришелъ на умъ сценарій «Ревизора» неоднократно останавливался на себѣ вниманіе биографовъ и изслѣдователей. Самъ Гоголь говорилъ, что онъ получилъ сюжетъ «Ревизора», равно какъ и «Мертвыхъ Душъ», отъ Пушкина. Пушкинъ дѣйствительно, рассказывалъ своимъ друзьямъ объ одномъ авантюристѣ, который въ гор. Устюжнѣ выдалъ себя за ревизора и обобралъ довѣрчивыхъ чиновниковъ. Извѣстно также, что самого Пушкина— въ бытность его въ Нижнемъ-Новгородѣ, приняла за секретнаго ревизора, который подъ предлогомъ будто бы собиранія матеріаловъ для исторіи пугачевского бунта, объѣзжалъ восточныя окраины. Гоголь, конечно, зналъ объ этомъ.

Съ другой стороны, изслѣдователями подобрано было не мало параллелей, говорящихъ о безспорномъ сходствѣ «Ревизора» съ нѣкото-

*) Исторія текста комедіи дана въ X-омъ изданіи Сочиненій Гоголя. Томъ II подъ редакціей Тихонравова и томъ VI подъ редакціей Шенрока.

рши старыми комедиями нашего репертуара. Указывались аналоги даже въ комедіях XVIII вѣка, говорилось, что «Ревизоръ» былъ просто списанъ съ комедіи въ стихахъ какого-то Жукова: «Ревизоръ изъ сибирской жизни 1796») — (комедіи, которую никто пока еще не видѣлъ), наконецъ всего больше было разговоровъ о совпаденіи содержанія «Ревизора» съ фабулой уже извѣстной намъ комедіи Квитки: «Пріѣзжій сто-столицы». Совпаденіе, дѣйствительно, бросается въ глаза, и комедія Квитки, рукопись которой ходила по рукамъ въ концѣ двадцатыхъ годовъ, могла быть извѣстна Гоголю, хотя нашъ авторъ хранилъ о произведеніяхъ Квитки и о немъ самомъ упорное молчаніе и нигдѣ не обмолвился словомъ о своемъ знакомствѣ съ нимъ. Въ послѣднее время г. Волковымъ было произведено очень тщательное и остроумное сличеніе обѣихъ комедій и въ результатѣ получился цѣлый рядъ аналогій въ характерахъ, словахъ и комическихъ положеніяхъ, въ особенности замѣтныхъ въ первоначальной редакціи «Ревизора» *). Исследователь пришелъ къ выводу, что Гоголь не только читалъ комедію Квитки, но и пользовался ею при сочиненіи «Ревизора». Едва ли однако можно допустить, что нашъ авторъ пользовался комедіей Квитки именно при сочиненіи «Ревизора»; стѣбитъ только сравнить естественность въ развитіи дѣйствія въ «Ревизорѣ» съ совершенно водевильной неестественностью этого развитія въ комедіи «Пріѣзжій изъ столицы». Но этимъ не устраняется возможность предположенія, что Гоголь удержалъ въ своей памяти сценарій «Пріѣзжаго», когда задумывалъ «Ревизора» и впервые набрасывалъ его на бумагу. Но и противъ этого предположенія можно выдвинуть другое, одинаково вѣроятное, а именно, что самый сюжетъ—пріѣздъ ниняго ревизора въ городъ—обязывалъ всѣхъ, кто брался за эту тему, держаться одного плана въ разсказѣ, т. е. говорить объ ожиданіи ревизора, дать характеристики всѣхъ высшихъ чиновниковъ уѣзднаго города, перечислить ихъ проступки противъ службы, изобразить ихъ робость и ухаживаніе за нинимъ начальникомъ, показать, какъ въ этомъ нинимомъ начальникѣ нарастаетъ нахальство и самоуверенность, и закончить, наконецъ, разсказъ разоблаченіемъ личности пріѣзжаго и изображеніемъ переполоха, который это разоблаченіе вызвало среди всѣхъ одураченныхъ. При такомъ обязательномъ сценаріи (обязательномъ, потому что самомъ естественномъ) совпаденія въ общемъ планѣ всѣхъ такихъ разсказовъ о ревизорахъ были неизбежны и вопросъ о зависимости одного разсказа отъ другого

*) И. В. Волковъ. «Къ исторіи русской комедіи», I. «Зависимость «Ревизора» Гоголя отъ комедіи Квитки: «Пріѣзжій изъ столицы». Спб. 1899 г.

этихъ устраняется. Наконецъ, можно предположить, какъ недавно было сдѣлано, что въ виду часто повторявшихся въ русской жизни случаевъ, подобныхъ описанному въ комедіи Гоголя, сложились вообще бродячіе анекдоты о самозванномъ ревизорѣ и одураченныхъ имъ провинціальныаъ чиновникахъ. Весьма возможно, что и Гоголь, и Квитка и другіе обработали одинъ изъ подобныхъ рассказовъ, чѣмъ и объясняется то сходство, которое замѣчается въ ихъ комедіяхъ *).

Въ виду всѣхъ этихъ соображеній вопросъ о зависимости «Ревизора» отъ предшествующихъ ему однородныхъ по замыслу комедій долженъ остаться открытымъ; и каждый признаетъ, что онъ имѣетъ совершенно второстепенное значеніе въ исторіи творчества нашего автора. Важна не фабула: важна ея литературная обработка и смыслъ, вложенный въ нее писателемъ, а художественное выполненіе «Ревизора» принадлежитъ нераздѣльно нашему автору, какъ и оригинальный смыслъ, который таится въ его комедіи.

О «Ревизорѣ», какъ о художественной комедіи, много говорить не приходится; всякій разъ, когда на нее смотришь, убѣждаешься въ томъ, насколько дѣльны, законченны и живленны ея типы; удивляешься также и той простотѣ и естественности, съ какой развертывается дѣйствіе обыденное, несложное и вполне вѣроятное.

Если же при всѣхъ этихъ достоинствахъ пьеса, какъ жизненной картины, она со сцены иногда производитъ впечатлѣніе легкой комедіи съ карикатурнымъ оттѣнкомъ, то вина въ этомъ не Гоголя, а актеровъ и режиссера.

Гоголь отлично понималъ, съ чьей стороны грозитъ его комедіи опасность, и онъ неоднократно и въ письмахъ, и въ отдѣльныхъ замѣткахъ давалъ разнаго рода наставленія, какъ его пьеса должна играть, и изъ всѣхъ этихъ словъ видно, что первое требованіе, которое онъ ставилъ актеру, было естественность и правдоподобіе. Послѣ перваго же представленія «Ревизора», которое, кажется, въ этомъ отношеніи сошло далеко не благополучно, у Гоголя явилась мысль поидѣлиться съ актерами кое-какими мыслями о томъ, какъ должно исполнять ввѣренныя имъ роли. Эти мысли Гоголь привелъ въ систему не сразу; часть ихъ онъ высказалъ тогда же въ своихъ письмахъ, потомъ развилъ ихъ въ 1841 году въ «Отрывкѣ изъ письма писаннаго авторомъ вскорѣ послѣ перваго представленія «Ревизора» къ одному ли-

*) *И. Александровскій*. «Этюды по психологіи художественнаго творчества. «Ревизоръ», Гоголя». «Ежегодникъ Колегіи Павла Гадагана» 1898, 211.

тератору» *), затѣмъ въ особомъ «Предувѣдомленіи для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора», и наконецъ въ комедіи «Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи», которой онъ заключилъ первое полное собраніе своихъ сочиненій (1842).

Въ этихъ двухъ отрывкахъ и въ «Театральномъ разъѣздѣ» самъ авторъ истолковалъ намъ свою комедію, далъ полную характеристику почти всѣхъ ея дѣйствующихъ лицъ и намекнулъ довольно ясно на основную ея идею. Позднѣйшей критикѣ немного пришлось добавлять къ этимъ авторскимъ словамъ, которыя, къ сожалѣнію, не были изданы одновременно съ комедіей или непосредственно послѣ ея представленія и потому не могли предотвратить многіе кривые толки и пошлые публикѣ разоборы въ первомъ впечатлѣніи, вынесенномъ изъ театра.

Воспользуемся этими указаніями Гоголя для опредѣленія художественной и идейной стоимости его комедіи. Хотя эти указанія и даны пять лѣтъ спустя послѣ того, какъ «Ревизоръ» былъ написанъ, но мы не допустимъ никакихъ анахронизмовъ, если предположимъ, что и въ 1836 году Гоголь имѣлъ сказать то же, что сказалъ въ 1841 и 1842 г. Такое предположеніе потому допустимо, что въ частной перепискѣ нашего писателя, относящейся къ эпохѣ постановки «Ревизора», онъ, дѣйствительно, высказываетъ вкратцѣ то, что въ «Отрывкѣ» и въ «Предувѣдомленіи» имъ развито болѣе подробно.

«Большее всего надобно опасаться, чтобы не впасть въ карикатуру, — писалъ Гоголь въ «Предувѣдомленіи». Ничего не должно быть преувеличеннаго или тривиальнаго даже въ послѣднихъ роляхъ. Напротивъ, нужно особенно стараться актеру быть скромнѣй, проще и какъ бы благороднѣй, чѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ есть то лицо, которое представляется. Чѣмъ меньше будетъ думать актеръ о томъ, чтобы смѣшнить и быть смѣшнымъ, тѣмъ болѣе обнаружится смѣшное взятой имъ роли. Смѣшное обнаружится само собою именно въ той серьезности, съ какою занято своимъ дѣломъ каждое изъ лицъ, выводимыхъ въ комедію... Умный актеръ, прежде чѣмъ схватить мелкія причуды и мелкія особенности внѣшнія доставшагося ему лица, долженъ стараться поймать общечеловѣческое выраженіе роли». Въ этихъ словахъ — вся оцѣнка «Ревизора» какъ художественнаго памятника. Авторъ потому такъ горячо заступался за «общечеловѣчность» своихъ типовъ, и потому требовалъ отъ актера такой выдержки и отказа отъ всякаго подчеркиванія эффектовъ, что онъ былъ самъ

* Гоголь утверждалъ, что это письмо было имъ писано въ Пушкину, но это не такъ верно.

твердо убѣждаетъ въ томъ, что имъ создана истинно реальная комедія, въ которой на первомъ планѣ стоитъ не та или другая цѣль автора, не то или другое господствующее чувство, желаніе или страсть дѣйствующаго лица, а оно само, это дѣйствующее лицо — живое, со всѣми признаками живого человѣка, т.-е. съ цѣлой суммой чувствъ, мнѣній и стремленій. И, въ самомъ дѣлѣ, если ближе [присмотрѣться ко всѣмъ лицамъ комедіи, то ни въ одномъ изъ нихъ мы не замѣтимъ какой-либо господствующей черты характера, которая превращала бы это лицо, какъ это было правиломъ для старыхъ комедій, въ носителя какого-нибудь опредѣленнаго понятія или чувства. Вотъ почему ни одному изъ дѣйствующихъ лицъ «Ревизора» нельзя наклеить ярлыка на лобъ и переименовать его въ какого-нибудь Кривосудова, Кожедралова, Хапалкина, Пустолобова или иныхъ; передъ нами все люди, отъ перваго до послѣдняго, и съ ними на сценѣ творится то, что могло всегда съ ними случиться въ жизни.

Въ томъ, что они всѣ живые люди—заключенъ и идейный смыслъ комедіи. «Ревизоръ»—комедія безъ политической тенденціи, она комедія съ тенденціей общечеловѣческой нравственной, и потому, конечно, общественной. Авторъ казнилъ въ ней грѣшныхъ людей, и притомъ не столько порочныхъ, сколько вообще слабыхъ—поставленныхъ однако жизнью на отвѣтственный постъ.

Десять лѣтъ спустя послѣ постановки «Ревизора», Гоголь говорилъ въ своей «Авторской исповѣди», что онъ въ «Ревизорѣ» рѣшился собрать въ кучу все дурное въ Россіи, какое онъ тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше требуется отъ человѣка справедливости, и что онъ за одинъ разъ хотѣлъ посмѣяться надо всѣмъ. Это признаніе, высказанное въ годы, когда нашъ авторъ мнилъ себя пророкомъ, указующимъ своей роднѣ путь спасенія и призывающимъ ее къ покаянію—едва ли передаетъ вѣрно ту основную мысль, изъ которой исходилъ авторъ, когда сочинялъ свою комедію. Что въ «Ревизорѣ» вовсе не собрано «все дурное», что авторъ считалъ дурнымъ въ Россіи, и «всѣ несправедливости», какія въ ней творились—это само собою ясно. Если бы авторъ хотѣлъ говорить о специально русскихъ грѣхахъ, онъ нашелъ бы нѣчто болѣе характерное и сильное, чѣмъ тѣ слабости, общелюдскія, надъ которыми онъ посмѣялся. Комедія была значительно болѣе скромна, чѣмъ самому автору это потомъ казалось.

Прежде всего должно отмѣтить, что Гоголь былъ далекъ отъ всякой мысли такъ или иначе кольнуть правительство. Онъ не боялся цензуры, не утаивалъ своей мысли — наоборотъ, онъ открыто ее вы-

сказалъ, потому что считалъ ее вполне благонамѣренной, и онъ пришелъ въ большое удивленіе, когда его прославили либераломъ. Лучше всѣхъ его понялъ императоръ Николай Павловичъ, который избавилъ «Ревизора» отъ цензурныхъ мытарствъ; и, конечно, императоръ въ данномъ случаѣ не сдѣлалъ никакой уступки либерализму.

«Ревизоръ» былъ въ сущности апологіей правительственной бдительной власти и однимъ изъ главныхъ, но незримыхъ дѣйствующихъ лицъ комедіи было «недремлющее око» этой власти. Дѣйствіе происходило въ далекомъ уфадномъ городкѣ, и въ этотъ глухой закоулокъ око все-таки заглянуло; всѣ привлеченныя къ отвѣтственности лица были мелкія лица по своему общественному положенію; это была мелюзга, которая трепетала передъ тѣнью закона и была лишена всякаго вліянія на него и потому не могла совершить никакого крупнаго беззаконія и развѣ только какую-нибудь мелочь украсть у закона изъ-подъ носа. Вся толпа опозоренныхъ чиновниковъ промышляла мелкимъ воровствомъ и какъ мелкій жуликъ оробѣла при видѣ жандарма. Этотъ утѣрь, который заставляетъ начальника города и всѣхъ высшихъ чиновниковъ окаменѣть и превратиться въ истукановъ—наглядный показатель благомыслія автора. И авторъ самъ призналъ это въ своемъ «Театральномъ Развѣздѣ», когда заставилъ какой-то «синій армякъ» сказать «сѣрому»: «Небось! прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа!» «Слышите ли вы, какъ вѣрнѣе естественному чутью и чувству человѣкъ?» восклицаетъ въ «Развѣздѣ» очень скромно одѣтый человѣкъ, подслушавшій этотъ возгласъ «армяка». Да развѣ это не очевидно ясно, что послѣ такого представленія народъ получить болѣе вѣры въ правительство? Пусть онъ отдѣлится правительство отъ дурныхъ представителей правительства. Пусть видитъ онъ, что злоупотребленія происходятъ не отъ правительства, а отъ непонимающихъ требованій правительства, отъ нехотящихъ отвѣтствовать правительству. Пусть онъ видитъ, что благородно правительство, что бдитъ равно надъ всѣми его недремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно измѣнившихъ закону чести и святому долгу человѣчества, что поблѣднѣютъ передъ нимъ имѣющіе нечистую совѣсть»... и благомыслящій молодой человѣкъ, произносящій такіа благонамѣренныя рѣчи, тутъ же отказывается отъ выгоднаго предложенія, и рѣшается остаться на своемъ скромномъ чиновничьемъ посту въ далекой провинціи, боясь, какъ бы на его мѣсто не сѣлъ какой-нибудь изъ героевъ «Ревизора».

Этотъ сладкій гимнъ правительству не былъ присочиненъ въ Гоголемъ послѣ; нашъ авторъ такъ думалъ и въ самый день представле-

ня своей комедии, на что указывают черновые наброски «Театрального Разъѣзда» 1836 года. Князь Вяземскій, который былъ свидѣтелемъ работы Гоголя надъ его комедіей, былъ правъ, когда, вспоминая въ 1876 году старину, говорилъ, что либералы напрасно встрѣчали въ Гоголѣ единомышленника и союзника себѣ, и другіе напрасно отрещивались отъ него, какъ отъ страшлища, какъ отъ нечистой силы. «Въ замыслѣ Гоголя,—говорилъ Вяземскій,—не было ничего политическаго. У либераловъ глаза были оболщены собственнымъ оболщениемъ; у консерваторовъ они были велики. Помню первое чтеніе этой комедіи у Жуковского на вечерѣ, при довольно многолюдномъ обществѣ. Всѣ внимательно слушали и заслушивались; всѣ хотали отъ доброй души; никому въ голову не приходило, что въ комедіи есть тайный умыселъ. Тайный умыселъ открыли уже послѣ слишкомъ зоркіе, но вполнѣ ошибочные глаза».

Князь Вяземскій, по поводу «Ревизора» сдѣлалъ я еще одно очень вѣрное замѣчаніе. Онъ сказалъ, что пороки и прегрѣшенія героев «Ревизора» не должно преувеличивать, что всѣ эти пороки очень обыкновенны и скорѣе могутъ назваться слабостями. Эта мысль была ему, вѣроятно, подсказана самимъ авторомъ, который, какъ сейчасъ увидимъ, утверждалъ то же самое. Тотъ фактъ, что пороки выставленные напоказъ въ «Ревизорѣ», были, дѣйствительно, скорѣе слабостями, чѣмъ пороками, позволяетъ думать, что нашъ авторъ имѣлъ въ виду изобразить нравственное искривленіе человѣческой природы въ основѣ своей порядочной. Мысль объ общественномъ значеніи такихъ искривленій у него, конечно, была, но не ее выдвигалъ онъ впередъ, а она сама навязывалась зрителю. Авторъ не указывалъ ни на какія спеціальныя условія русской жизни, допускающія подобныя искривленія; онъ взялъ ихъ какъ простой житейскій фактъ повсемѣстно распространенный, и недаромъ въ «Театральномъ Разъѣздѣ» онъ говорилъ, что его комедія должна произвести глубокое сердечное содроганіе, потому что въ ней всездѣ слышится «человѣческое»; авторъ хотѣлъ втолковать зрителю и читателю, что люди нигдѣ осмѣяны въ сущности лишь слабые люди и отнюдь не злодѣи, угрожающіе обществу, и потому въ «Отрывкѣ изъ письма» и въ «Предувѣдомленіи» онъ успѣшилъ дать ихъ характеристики. Приведемъ эти характеристики вкратцѣ и мы увидимъ, что нашъ сатирикъ и обличитель общественныхъ дѣятелей былъ въ то же самое время для большинства изъ нихъ адвокатомъ, просящимъ снисхожденія.

Городничему, поясняетъ авторъ, некогда было взглянуть по строже на жизнь или же осмотрѣться получше на себя. Онъ сталъ при-

тѣснителемъ и очерствѣлъ непринятно для самого себя, потому что
любоваго желанія притѣснить въ немъ нѣтъ; есть только просто жела-
нiе прибирать все, что ни видать глаза. Просто онъ позабылъ, что
это въ тягость другому и что отъ этого трещать у него спина. Онъ
чувствуетъ, что грѣшенъ; онъ ходитъ въ церковь; онъ думаетъ даже,
что въ вѣрѣ твердъ; онъ даже помышляетъ потомъ когда-нибудь по-
каяться—русскій человекъ, который не то, чтобы былъ извергъ, но
въ которомъ извратилось понятiе правды, который сталъ весь ложь,
уже даже и самъ того не замѣчая». «Судья—человекъ меньше грѣшный
въ взяткахъ; онъ даже не охотникъ творить неправду, но велика
страсть къ псовой охотѣ... что-жъ дѣлать! у всякаго человека есть
какая-нибудь страсть... Изъ-за нея онъ надѣлаетъ множество разныхъ
неправдъ, не подозревая самъ того». «Земляника—плуть тонкiй и при-
надлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые желая вывернуться сами,
не находятъ другого средства, какъ чтобы топить другихъ и потому
горюпы на всякiя каверзничества и допросы». «Смотритель училищъ—
ничего болѣе, какъ только напуганный человекъ частыми ревизов-
ками и выговорами; онъ боится какъ огня всякихъ посѣщенiй, хотя и
не знаетъ самъ, въ чемъ грѣшенъ». «Почтмейстеръ—простодушный до
наивности человекъ, глядящiй на жизнь, какъ на собранiе интерес-
ныхъ исторiй, для препровожденiя времени»... («Предувѣдомленiе».)
Xлестаковъ Гоголь писалъ: «Xлестаковъ вовсе не надуваетъ,—
онъ не лгуиъ по ремеслу; онъ самъ позабываетъ, что лжетъ и
же самъ почти вѣрить тому, что говоритъ... Xлестаковъ—чело-
векъ ловкiй, совершенный *compte à fait*, уминый и даже, пожалуй,
сборочный. Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, повиди-
мому, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей. Онъ даже
оросно иногда держится, даже говорить иногда съ вѣсомъ и только
въ случаяхъ, гдѣ требуется или присутствiе духа, или характеръ, вы-
зывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Молодой чело-
векъ, чиновникъ, и пустой, какъ называютъ, но заключающiй въ себѣ
кого качества, принадлежащихъ людямъ, которыхъ свѣтъ не назы-
ваетъ пустыми. Выставить эти качества въ людяхъ, которые не ли-
шены, между прочимъ, хорошихъ достоинствъ, было бы грѣхомъ со
стороны писателя, ибо онъ поднялъ бы ихъ на всеобщiй смѣхъ. Лучше
есть всякiй отыщеть частицу себя въ этой роли... Всякiй, хоть на
минуточку, если не на нѣсколько минутъ, дѣлался или дѣлается Xлеста-
ковымъ, но, естественно, въ этомъ не хочетъ только признаться. И
всякiй гвардейскiй офицеръ окажется иногда Xлестаковымъ, и госу-
дарственный мужъ окажется иногда Xлестаковымъ, и нашъ братъ,
бѣдный литераторъ» («Отрывокъ изъ письма»).

Кое-что въ этихъ поясненіяхъ присочинено Гоголемъ въ позднѣйшіе годы (1840—1842), но, какъ видно изъ его частныхъ писемъ и изъ его черновыхъ набросковъ, онъ и въ годъ постановки «Ревизора» — цѣнилъ свою комедію больше, какъ картину общечеловѣческихъ нравовъ, чѣмъ какъ сатиру на общественные порядки. Анекдотъ былъ взятъ старый, общераспространенный, казнены были пороки, къ публичной казни которыхъ общество давно привыкло, никакихъ указаній на общественныя условія въ широкомъ смыслѣ этого слова сдѣлано не было и былъ только правдиво изображенъ одинъ простой житейскій случай. Авторъ показалъ наглядно, въ живыхъ лицахъ, какъ пустышій изъ пустыхъ людей, случайно и для самого себя неожиданно, наказалъ и опозорилъ цѣлую толпу другихъ столь же ничтожныхъ людей, ослѣпленныхъ мелкими страстишками, съ очень ограниченными кругозоромъ, людей безъ нравственныхъ устоевъ и безъ сознанія своего долга. Гоголь хотѣлъ какъ будто сказать: вотъ какимъ случайностямъ подвержены всѣ люди, для которыхъ жизнь не есть задача, а лишь времяпрепровожденіе, для которыхъ въ мірѣ нѣтъ ничего выше угожденія собственнымъ, очень пошлымъ страстямъ или привычкамъ. Эту простую нравственную сентенцію нашъ моралистъ углубилъ, однако, и усилилъ тѣмъ, что нѣкоторыхъ изъ этихъ пустыхъ людей (всего лишь четверыхъ) поставилъ на отвѣтственные посты, т.-е. выше другихъ, чтобы тѣмъ больше ихъ унижить.

Конечно, зрителю, критически относящемуся къ переживаемому политико-общественному моменту, «Ревизоръ» могъ легко показаться намекомъ на очень серьезныя явленія русской дѣйствительности и одинъ современникъ (А. В. Никитенко) могъ, не нарушая правды, сказать, что «впечатлѣніе, производимое «Ревизоромъ» много прибавило къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя накопились въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка вещей» — но Гоголь былъ неповиненъ въ этомъ.

Впечатлѣніе, произведенное его комедіей, было для него самого большой неожиданностью, которая причинила ему много боли, но вмѣстѣ съ тѣмъ и повысила въ немъ увѣренность въ своихъ силахъ. Онъ какъ сатирикъ повѣлъ, что «Ревизоръ» есть нѣчто несовершенное, слабое, недоговоренное (не въ смыслѣ художественномъ, а по своему содержанию), онъ самъ созналъ, что ему пора творить съ большимъ размышленіемъ, что настоящая работа ждетъ его еще впереди: именно послѣ «Ревизора» проснулся въ немъ вновь тотъ сильный и смѣлый обличитель какимъ онъ былъ, когда думалъ надъ комедіей «Владиміръ третьей степени», и его вновь стала заботить мысль, какъ сказать такое смѣлое слово. «Я оже-

гочень не вытѣшшимъ ожесточеніемъ противъ моей пьесы,—писалъ въ своему другу Погодину мѣсяць спустя послѣ представленія «Ревизора»,—меня заботитъ моя печальная будущность. Провинція уже либо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны, но жизнь стербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти. Малѣйшая черта ея — и какъ заговорятъ мои ютечественники!» *). Очевидно, Гоголь самъ не считалъ своего «Ревизора» тѣмъ мѣткимъ ударомъ, котораго заслуживала со стороны сатирика наша дѣйствительность. Какъ онъ самъ признавался, въ очень скоро «охладѣлъ» къ «Ревизору», «многимъ былъ въ немъ доволенъ, хотя совершенно не тѣмъ, въ чемъ обвиняли его его изорукіе и неразумные критики». Когда его затѣмъ извѣдали пріятели объ успѣхѣ «Ревизора», онъ сердился. «Съ какой ати пишете вы всё про «Ревизора», — выговаривалъ онъ своему другу Прокоповичу въ 1837 г.—Въ вашихъ письмахъ говорится, о «Ревизора» играютъ каждую недѣлю, театръ погонъ и проч... и обы это было доведено до моего свѣдѣнія. Чтѣ это за комедія? Я, лью, никакъ не понимаю этой загадки. Во-первыхъ, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторыхъ, къ чему это? Если бы это была правда, хуже на Руси мнѣ никто не могъ нагадить. Но, слава Богу, это къ... Мнѣ страшно вспомнить обо всѣхъ моихъ мараньяхъ. Они въ тѣ грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ. Забвенья, долъ забвенья просить душа. И если бы появилась такая моль, кото- і съѣла бы всё экземпляры «Ревизора», а съ ними «Арабески», «Чера» и всю прочую чепуху, и обо мнѣ въ теченіе долгаго времени печатно, ни изустно не произносилъ никто ни слова—я бы благо- мнѣ судьбу» **). Трудно понять такое озлобленіе автора противъ своей см и едва ли его можно объяснять лишь его раздраженіемъ противъ лики; въ этомъ озлобномъ чувствѣ была, конечно, большая доля недоволь- ь самими собою; въ головѣ Гоголя роились новые грандіозные планы в написанное, въ томъ числѣ и «Ревизоръ», показалось несоотвѣтствующъ своему назначенію. «Безъ гнѣва,—признавался Гоголь,—немного но сказать: только разсердившись говорится правда». Быть можетъ, «статокъ гнѣва въ его произведеніяхъ и заставилъ его такъ без- стно отнестись къ нимъ: а гнѣва въ этихъ произведеніяхъ было, ствительно, мало; Гоголь имѣлъ не гнѣвный писательскій темпера- нтъ, и даже тогда, когда онъ сталъ авторомъ «Мертвыхъ Душъ», могъ себѣ сдѣлать тотъ же упрекъ въ мягкосердечіи.

*) Письма Н. В. Гоголя, I, 377.

**) Письма Н. В. Гоголя, I 425.

Въ данномъ случаѣ, однако, для насъ важенъ самый фактъ недовольства Гоголя своей комедіей: очевидно, что пріемъ, ей оказанный, и всѣ пересуды, которыя она возбудила и которыя его такъ огорчили, возвысили его въ собственныхъ глазахъ. Онъ понялъ, что онъ можетъ и долженъ создать нѣчто болѣе сильное, чѣмъ то, что было имъ создано.

Этотъ пріемъ и толки были, какъ сказано, для автора большой неожиданностью, почему и произвели на него такое сильное впечатлѣніе.

Такъ какъ пьеса была до представленія прочитана самому императору Николаю Павловичу и ему понравилась, то хлопотъ съ цензурой было мало, и 19-го апрѣля 1836 года «Ревизоръ» былъ первый разъ сыгранъ на сценѣ Александринскаго театра. Царь былъ на первомъ представленіи, смѣялся много, утѣшая, сказалъ будто: «тутъ всѣмъ досталось, а болѣе всего мнѣ», послалъ даже министровъ смотрѣть «Ревизора» и оградилъ такимъ образомъ пьесу отъ всякихъ нападокъ со стороны власти. Но нападки послѣдовали не съ этой стороны...

Часто говорится о томъ враждебномъ пріемѣ, который встрѣтилъ «Ревизора». При оцѣнкѣ этого пріема, нужно, однако, сдѣлать кое-какія весьма существенныя оговорки. Въ общемъ, комедія имѣла успѣхъ колоссальный, подтвержденный свидѣтельствомъ современниковъ; давалась она очень часто и театръ былъ всегда полонъ. Такимъ образомъ, у публики, въ широкомъ смыслѣ слова, комедія не встрѣтила никакого враждебнаго пріема, и для Гоголя ея представленіе было не фіаско, а торжествомъ. Но въ нѣкоторыхъ кругахъ—аристократическихъ, чиновныхъ и литераторскихъ—она вызвала очень недоброжелательныя сужденія и намоки. Они Гоголя смутили и оскорбили, и онъ подъ первымъ впечатлѣніемъ сильно преувеличилъ ихъ общественное значеніе.

Непріязненное отношеніе нѣкоторой части зрителей къ драматургу сказилось и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ на первомъ же представленіи его комедіи. Тому были свои причины.

Приведемъ рассказы очевидцевъ объ этихъ двухъ знаменательныхъ вечерахъ. Извѣстный впоследствии критикъ П. В. Анненковъ былъ въ Александринскомъ театрѣ 19 апрѣля и рассказываетъ слѣдующее: «Уже послѣ перваго акта недоумѣніе было написано на всѣхъ лицахъ (публика была избранная въ полномъ смыслѣ слова), словно никто не зналъ, какъ должно думать о картинѣ, только что представленной. Недоумѣ-

ие это возрастало потомъ съ каждымъ актомъ. Какъ будто находя своею въ одномъ предположеніи, что дается фарсъ, большинство зрителей, выбитое изъ всѣхъ театральныя ожиданій и привычекъ, становилось на этомъ предположеніи съ непоколебимой рѣшимостью. Однако же, въ этомъ фарсѣ были черты и явленія, исполненныя такой измѣнной правды, что раза два, особенно въ мѣстахъ, наименѣе проворѣчащихъ тому понятію о комедіи вообще, которое сложилось въ мышлении зрителей, раздавался общій смѣхъ. Совсѣмъ другое произошло въ четвертомъ актѣ: смѣхъ по временамъ еще перелеталъ съ конца залы въ другой, но это былъ какой-то робкій смѣхъ, тотъ же и пропадавшій; аплодисментовъ почти совсѣмъ не было, зато шряженное вниманіе, судорожное, усиленное слѣдованіе за всѣми тѣнками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дѣло, проходившее на сценѣ, страстно захватывало сердца зрителей. По окончаніи акта прежнее недоумѣніе уже переродилось почти во всеобщее негодованіе, которое довершено было пятымъ актомъ. Многие звали автора потомъ за то, что написалъ комедію, другіе—за то, что видѣть талантъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, простая публика—за то, что смѣялась, но общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: «это — невозможность, клевета и рсть» *).

Нѣчто подобное случилось и на первомъ представленіи «Ревизора» Москвѣ **). Публика была также высшаго тона и многимъ комедиантшамъ не по вкусу. Артистъ Щепкинъ былъ опечаленъ такимъ отношеніемъ. «Помишу—сказалъ ему въ утѣшеніе одинъ знакомый,— ты можно было ее лучше принять, когда половина публики *берущей*, половина *дающей*?»

Одинъ изъ рецензентовъ, бывшихъ на первомъ представленіи, накомилъ насъ съ публикой, заполнявшей залъ въ этотъ вечеръ. (Онъ писалъ ***): «Публика, гостившая первое представленіе «Ревизора», была публика высшаго тона, богатая, чиновная, выходящая въ будуарахъ, для которой посѣщеніе спектакля есть одна изъ житейскихъ обязанностей, не радость, не наслажденіе. Эта публика стоитъ на той счастливой высотѣ жизни общественной, на которой исчезаетъ мелочное понятіе народности, гдѣ нѣтъ стра-

*) Н. В. Анненковъ. «Воспоминанія и критическіе очерки». I. 193.

**) См. Н. С. Тихонравовъ. «Первое представленіе «Ревизора» на московской сценѣ». Сочиненія, III, I, 568 и слѣд.

*) Въ «Молвѣ», издававшейся при «Телескопѣ» Надеждина.

стей, чувствъ, особенно мысли, гдѣ все сливается и исчезаетъ въ непреложномъ, ужасающемъ простолюднѣ исполненіи приличій, эта публика не обнаруживаетъ ни печали, ни радости, ни нужды, ни довольства, не потому, чтобы ихъ вовсе не испытывала, а потому, что это неприлично, что это вульгарно. Блестящій нарядъ и мертвенная холодная физиономія, разговоръ изъ общихъ фразъ или тонкихъ намековъ на отношенія личныя—вотъ отличительная черта общества, которое «низошло до посѣщенія «Ревизора»—этой русской всероссійской пьесы, возникнувшей не изъ подражанія, но изъ собственного, быть можетъ, горькаго чувства автора. Этой ли публикѣ, знающей лица, составляющія комедію, только изъ рассказовъ своего управляющаго, вѣданшей ихъ только въ передней объятыхъ благоговѣйнымъ трепетомъ, ей ли принять участіе въ этихъ лицахъ, которыя для насъ, простолюдниковъ, составляютъ власть, возбуждаютъ страхъ и уваженіе? Что значитъ для богатаго вельможи будничная, мелочная жизнь этихъ чиновниковъ? Съ этой-то точки глядя на собравшуюся публику, пробираясь на мѣстечко между дѣйствительными и статскими совѣтниками, извиняясь передъ джентльменами, обладающими нѣсколькими тысячами душъ, мы невольно думали: врядъ ли «Ревизоръ» имъ понравится, врядъ ли они повѣрятъ ему, врядъ ли почувствуютъ наслажденіе видѣть въ натурѣ эти лица, такъ для насъ страшныя, которыя вредны не потому, что сами дурно свое дѣло дѣлаютъ, а потому, что лишаютъ надежды видѣть на мѣстахъ своихъ достойныхъ исполнителей распоряженій, направленныхъ къ благу общему. Такъ и случилось. «Ревизоръ» не занялъ, не тронулъ, только разсѣпиглъ слегка бывшую въ театрѣ публику, а не порадовалъ ее. Уже въ антрактѣ былъ слышенъ полуфранцузскій шопоть негодованія, жалобы презрѣнія: *mauvais genre!*—страшный приговоръ ныснаго общества, которымъ клеймится оно самый талантъ, если онъ имѣетъ счастье ему не нравиться. Пьеса сыграна и, осыпанная мѣстами аплодисманомъ, она не возбудила ни слова, ни звука по опущеніи занавѣса. Такъ должно было быть, такъ и случилось!»

Изъ показаній этихъ двухъ свидѣтелей видно, что именно составъ слушателей рѣшительно повліялъ на недружелюбный пріемъ комедіи. И пріемъ этотъ былъ совсѣмъ иной на слѣдующихъ представленіяхъ. Что пьеса не должна была понравиться «избранной» публикѣ, воспитанной въ старыхъ литературныхъ традиціяхъ и безспорно задѣтой многими намеками комедіи—это вполне естественно. Странно, что авторъ не предусмотрѣлъ всего этого.

Онъ вернулся домой изъ театра въ убитомъ и разсерженномъ со-

стоянія духа. Рассказываютъ, что когда онъ въ тотъ же вечеръ пришелъ къ своему другу Прокоповичу и этотъ другъ, желая его порадовать, вздумалъ поднести ему экземпляръ «Ревизора», тогда только что вышедшаго изъ печати, Гоголь швырнулъ экземпляръ на полъ, подошелъ къ столу и опираясь на него, проговорилъ задумчиво: «Господи Боже, ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ... всѣ!..»

Но авторъ скоро сталъ разбираться въ этомъ неприятномъ впечатлѣніи, мало-по-малу становился выше толковъ и пересудъ и скоро выборолъ въ себѣ то угнетенное состояніе духа, въ какомъ онъ вышелъ изъ театра послѣ перваго представленія. Онъ сталъ сердиться уже не на публику, но, какъ мы видѣли, на самого себя.

На письмахъ его того времени эти колебанія въ настроеніи отразились достаточно ясно. «Всѣ противъ меня, чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святаго, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ—писалъ онъ Щенкину; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранить и ходить на пьесу; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины—и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человекъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, если бы я взялъ что-нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей тому, который ихъ любитъ между гѣмъ британскою любовью» *). Черезъ мѣсяцъ послѣ представленія комедіи онъ пишетъ Погодину: «Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подалше быть отъ своей родины. Пророку глѣть славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возставленныя своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ непѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то же кажется пасквилямъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плуговъ—тысяча честныхъ людей сердится, говорить: «Мы не плуты». Но Богъ съ ними!» **). И покидая Россію, Гоголь писалъ тому же другу: «Я не сержусь

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 368, 369.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 370, 371.

на толки, не сержусь, что сердатся и отворачиваются тѣ, которые отыскиваютъ въ моихъ оригиналахъ свои собственные черты и бранятъ меня, не сержусь, что бранятъ меня непріатели литературные, продажные таланты; но грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупѣйшее мнѣніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя дѣйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водить за носъ; грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него и нѣтъ никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. «Онъ зажигатель! Онъ бунтовщикъ!» И кто же говорить? Это говорятъ мнѣ люди государственные, люди выслужившіеся, опытные люди, которые должны бы имѣть насколько-нибудь ума, чтобъ понять дѣло въ настоящемъ видѣ, люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ: русскій свѣтъ, называетъ образованными. Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитаго на наши классы» *). Такъ ясны стали Гоголю мотивы, по которымъ бранили его пьесу и неизбежно должны были бранить люди определенныхъ профессій и положеній. Личное раздраженіе смолкло и его гнѣвъ противъ непонимающихъ сталъ переходить въ чувство глубокой жалости къ нимъ, которыхъ онъ такъ любилъ. Это было нѣсколько самонадѣянно, но Гоголь—какъ моралистъ, мечтавшій о нравственномъ воздѣйствіи на людей—имѣлъ право говорить о своей любви къ людямъ и о «невѣжественной раздражительности» общества, отвергшаго эту любовь.

Стоили ли, однако, можно спросить, всѣ эти толки о «Ревизорѣ» такого, хоть и недолгаго, душевнаго волненія? Принимая во вниманіе нравственную тенденцію автора и его сентиментальный темпераментъ, а также и условія времени, при которыхъ онъ ставилъ свою комедію, мы поймемъ, что эти пересуды должны были напугать его. Только спустя нѣсколько лѣтъ, могъ онъ надъ ними посмѣяться отъ души, какъ онъ это и сдѣлалъ въ своемъ «Театральномъ Развѣздѣ».

«Театральный развѣздъ» получилъ окончательную отдѣлку лишь шесть лѣтъ спустя послѣ представленія «Ревизора»; и авторъ, редактируя «Развѣздъ», имѣлъ въ виду не одного лишь «Ревизора», но и первую часть «Мертвыхъ Душъ», которая тогда была уже имъ написана. Гоголь выступилъ въ «Развѣздѣ» защитникомъ своего юмора и смѣха, и припомнилъ все то, что ему пришлось слышать, когда онъ въ первый разъ засмѣялся по-настоящему. Вотъ почему, если мы хотимъ себѣ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 337

оставить понятіе о всѣхъ толкахъ, вызванныхъ «Ревизоромъ», намъ лучше всего обратиться къ «Разъѣзду», гдѣ они изложены по существу съ подобающими отвѣтами.

Если не считаться съ такими оцѣнками, которыя выражаются словами: «это просто чортъ знаетъ что такое» или: «это просто переводъ. потому что есть что то на французскомъ не совсѣмъ въ этомъ родѣ» или, наконецъ, «да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... въ своемъ родѣ... Ну, конечно, кто-жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было, и гдѣ жъ, такъ сказать... а впрочемъ...» то, какъ замѣтилъ еще князь Вяземскій, всѣ обвиненія противъ «Ревизора» можно свести въ три группы. Одни касались литературнаго достоинства комедіи, другіе ея нравственнаго смысла, и, наконецъ, третьи ея смысла общественно-политическаго. Разбирать подробно эти обвиненія нѣтъ нужды; они общеизвѣстны и на нихъ давно даны отвѣты, разоблачившіе ихъ несостоятельность. Припомнимъ ихъ только вкратцѣ, чтобы указать на какіе серьезные вопросы могла завести эта смѣшная комедія внимательнаго зрителя и на какіе она навела самого автора.

Изъ всѣхъ толковъ о литературныхъ недостаткахъ комедіи самое чувствительное было обвиненіе въ неправдоподобности, сальности и плохости. «Сюжетъ невѣроятный, — говорили цѣнители — все несообразности, визгивязки, ви дѣйствія, ни соображенія никакого. Отвратительная, грязная месса, ни одного лица истиннаго, все — карикатуры. Послѣдняя пустѣйшая комедійка Коцебу въ сравненіи съ нею Мольера передъ Пулковскою горою». Что оставалось отвѣчать на это? Гоголь и не отвѣчалъ серьезно, а только выставлялъ на показъ всѣ такіа сужденія во всей ихъ комической наотѣ. Они сердили его, но не оскорбляли. Иное дѣло, когда оцѣнка касалась нравственнаго смысла комедіи. «Комедія, — говорили цѣнители, есть низкій родъ творчества». Но авторъ рѣшился спросить ихъ, «развѣ комедія, какъ и трагедія не можетъ выразить высокой мысли? Развѣ съ до маглѣйшей излучины души подлаго и безчестнаго человѣка не исходятъ уже образъ честнаго человѣка? Развѣ все это накопленіе несправедливостей, отступленіе отъ законовъ и справедливости не дастъ уже ясно вѣдать, чего требуютъ отъ насъ законъ, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго врача и холодная, и горячая вода лечитъ съ равнымъ успѣхомъ одиѣ и тѣ же болѣзни: въ рукахъ таланта все можетъ гужить орудіемъ къ прокрасному». «Побасенки! говорили цѣнители. Что такое литераторъ! пустѣйшій человѣкъ. Это всему свѣту извѣстно — ни въ какое дѣло не годится!» «Побасенки!» отвѣчалъ имъ оскорбленный вторъ. «Но миръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмелѣла бы

жизнь, плѣсню и тinou покрылись бы души!»... «У автора нѣтъ глубокихъ и сильныхъ движеній сердечныхъ, продолжали критики: кто безпрестанно и вѣчно смѣется, тотъ не можетъ нѣтъ слишкомъ высокихъ чувствъ: онъ не можетъ выронить сердечную слезу, любить кого-нибудь сильно, всей глубиной души!» Что могъ авторъ отвѣтить на этотъ упрекъ, брошенный ему такъ оскорбительно въ упоръ? Онъ смѣренно отвѣтилъ только, что онъ—«глубоко-добрая душа», а деликатность не позволяла ему сказать ничего больше. Но цѣнители не остановились на этомъ заподозрѣваніи писателя во враждебныхъ чувствахъ къ ближнему. Они хотѣли набросить тѣнь и на его любовь къ родинѣ, и на его «благомысліе гражданина». Если вспомнить, какія тогда были времена и какъ крѣпки были въ Гоголѣ его вѣроподданническія убѣжденія, то негодованіе Гоголя на такіе намеки не требуетъ поясненія. «Нѣтъ, это не осмѣяніе пороковъ, говорили нѣкоторые изъ зрителей, это отвратительная насмѣшка надъ Россією — вотъ что. Это значитъ выставить въ дурномъ видѣ самое правительство, потому что выставлать дурныхъ чиновниковъ и злоупотребленія, которыя бывають въ разныхъ сословіяхъ, значитъ выставить самое правительство. Просто даже не слѣдуетъ дозволить такихъ представленій... Для этого человѣка, подхватывали другіе, нѣтъ ничего священнаго; сегодня онъ скажетъ: такой-то совѣтникъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что и Бога нѣтъ. Вѣдь тутъ всего только одинъ шагъ. Говорятъ: «бездѣлушка, пустяки, театральное представленіе». Нѣтъ, это не простыя бездѣлушки; на это обратить нужно строгое вниманіе. За такія вещи и въ Сибирь посылають». «Да если бы я имѣлъ власть, грозился одинъ изъ зрителей—у меня бы авторъ не пикнулъ. Я бы его въ такое мѣсто засадилъ, что онъ бы и свѣта Божьяго не извидѣлъ». Мы знаемъ, какъ Гоголь на такія рѣчи (замѣтимъ, не вымышленныя) отвѣтилъ: онъ пропѣлъ цѣлое славословіе правительству. «Въ груди нашей,—говорилъ онъ разными словами на разные лады,—заключена какая-то тайная вѣра въ правительство. Дай Богъ, чтобы правительство всегда и вездѣ слышало призваніе свое—быть представителемъ Провидѣнія на землѣ, и чтобы мы вѣровали въ него, какъ древніе вѣровали въ рокъ, постигавшій преступленія...»

На каждое изъ обвиненій, какъ видимъ, у нашего автора нашелся отвѣтъ. Но онъ подыскалъ его не сразу. Въ дни первой своей рѣшительной стычки съ публикой эти толки его оглушили, обидѣли и разсердили, и онъ не подумалъ о томъ, могутъ ли всѣ эти голоса, отъ какихъ бы вліятельныхъ лицъ или общественныхъ группъ они ни исходили, назваться голосомъ «народа». А этотъ народъ въ широкомъ, со-

бирательномъ смыслѣ слова, подымъ свой голосъ за автора и переполнялъ театр, когда игралась его комедія. Толки и пересуды остались толками, и общественнымъ мнѣніемъ не стали.

Дѣло «Ревизора» было выиграно и въ критикѣ. Гоголь не могъ пожаловаться на то, что она враждебно встрѣтила его комедію. Конечно, ожидать справедливой оцѣнки отъ людей враждебнаго литературнаго лагера было трудно, и Сенковскій и Булгаринъ успѣли наговорить разныхъ колкостей; Булгаринъ назвалъ завязку комедіи пустѣланшей, дѣйствующихъ лицъ какими-то куклами, «у которыхъ авторъ отнялъ всѣ человѣческія принадлежности, кромѣ дара слова, употребляемаго ими на пустомелью», а про все развитіе дѣйствія комедіи сказалъ, что «оно происходитъ, ну, точь въ-точь на Сандвичевыхъ островахъ у капитана Кука». Булгаринъ, конечно, не признавалъ за «Ревизоромъ» права на названіе «комедіи», кричалъ, что настоящей комедіи нельзя основать на злоупотребленіяхъ административныхъ, утверждалъ, что въ Россіи нѣтъ такихъ нравовъ, что Гоголь почерпнулъ свои характеры не изъ русскаго быта, а изъ временъ предмедонослевскихъ и изъ старыхъ комедій. «Ревизоръ»—это презабавный фарсъ, рядъ смѣшныхъ каррикатуръ... говорилъ злобствующій критикъ. У автора есть безспорный талантъ, но только онъ не дисциплинированъ. Гоголь не знаетъ сцены и долженъ изучать драматическое искусство; онъ преувеличиваетъ до невероятности смѣшное и порочное въ характерахъ, у него языкъ слишкомъ отзывается малороссіанизмомъ, въ русскомъ просторѣчи онъ слабъ... а главное въ пьесѣ масса цинизма и грязныхъ двусмысленностей. Вообще, городокъ автора «Ревизора» не русскій городокъ, а малороссійскій, купцы не русскіе люди, а просто жида; женское кокетство также не русское. да и самъ гоголь не могъ бы взять такую волю въ великороссійскомъ городкѣ, а потому незачѣмъ было и клеветать на Россію. «Ревизоръ»,—продолжалъ нашъ дѣнитель,—производитъ непріятное впечатлѣніе, не слышишь ни одного умнаго слова, не видишь ни одной благородной черты ердца человѣческаго. Еслибъ это перемѣшано было съ добромъ, то ослѣ справедливаго негодованія сердце зрителя могло бы, по крайней мѣрѣ, оскѣжиться, а въ «Ревизорѣ» нѣтъ ни пищи ни уму, ни сердцу, нѣтъ ни мыслей, ни ощущеній. Авторъ сдѣлалъ чучелу изъ взяточника колотить его дубиной. Прочія лица кривляются, а мы хохочемъ, потому что въ самомъ дѣлѣ смѣшно, хоть и уродливо» *).

Почти то же самое, что писалъ Булгаринъ, повторилъ и Сенковскій въ

*) «Сѣверная Пчела», 1836, №№ 97 и 98.

своемъ журналѣ «Библиотека для Чтенія». И онъ призналъ «Ревизора» забавнымъ и грязнымъ, и языкъ его противнымъ чистому вкусу и формамъ хорошаго общества. Комедія Гоголя въ его глазахъ была также непростой фарсомъ, хотя Сенковский и признавалъ, что въ ней есть превосходныя сцены. Но въ «Ревизорѣ», говорилъ онъ, нѣтъ никакой идеи, нѣтъ нравовъ общества. Это простой анекдотъ, старый, всѣмъ извѣстный, тысячу разъ напечатанный. Въ анекдотѣ не можетъ быть и характеровъ, и всѣ дѣйствующія лица комедіи—плуты и дураки, такъ какъ анекдотъ выдуманъ только на плутовъ и дураковъ и для честныхъ людей въ немъ даже нѣтъ мѣста. Нѣтъ въ комедіи и никакой картины русскаго общества. Административныя злоупотребленія въ мѣстахъ отдаленныхъ и мало посѣщаемыхъ существуютъ въ цѣломъ мѣрѣ и нѣтъ никакой достаточной причины приписывать ихъ одной Россіи; изъ злоупотребленій никакъ нельзя писать комедій, потому что это не нравы народа, не характеристика общества, но преступленія нѣсколькихъ лицъ и они должны возбуждать не смѣхъ, а скорбь: негодование честныхъ гражданъ... Наконецъ, критикъ былъ недоволенъ и самимъ ходомъ дѣйствія и давалъ Гоголю совѣтъ оживить этотъ пошлый анекдотъ какой-нибудь любовной интригой Хлестакова *)...

Отъ всѣхъ подобныхъ замѣчаній нужно было, конечно, только отмахнуться, но Гоголь, кажется, принялъ ихъ къ сердцу, такъ какъ подробно отвѣчалъ на нихъ въ своемъ «Театральномъ Развѣдѣ». Уязвимость ли авторскаго самолюбія вообще или просто нервное состояніе заставило нашего автора такъ серьезно взглянуть на эту завѣдомо пристрастную болтовню, но только она ему испортила много крови и онъ преувеличилъ ея значеніе. На мнѣніе публики эта болтовня едва ли могла имѣть вліяніе, потому что публика, несмотря на нея, восторженно аплодировала, а въ журналистикѣ обѣ статьи, и Булгарина, и Сенковского, не только не нашли отзыва, но встрѣтили отпоръ очень дружный. Первый возвысилъ свой голосъ Андросовъ, редакторъ «Московскаго Наблюдателя» и принялъ «Ревизора» подъ свою защиту. Онъ призналъ его настоящей комедіей, ничего общаго съ фарсомъ не имѣющей, призналъ въ ней и идею, и согласіе съ правдой, назвалъ ее отрывкомъ изъ нашей жизни и не соглашался съ тѣмъ, чтобы ея тема была избита **).

Вскорѣ затѣмъ появилась въ «Современникѣ» и извѣстная статья кн. Вяземскаго.

*) «Библиотека для Чтенія», 1836, т. XVI, отдѣлъ V, 1—44.

***) «Московский Наблюдатель», 1836, ч. VII.

Она *) возникла по всѣмъ вѣроятіямъ изъ бесѣды критика съ самимъ авторомъ, на что указываютъ ея совпаденія съ мыслями, высказанными Гоголемъ въ его «Предувѣдомленіи», въ его «Отрывкѣ изъ письма» и въ «Театральномъ Развѣздѣ». Статья Вяземскаго—самое умное, что было сказано тогда о «Ревизорѣ». Комедія оцѣнена со всѣхъ сторонъ: она признана самымъ выдающимся литературнымъ явленіемъ послѣднихъ лѣтъ, поставлена рядомъ съ «Недорослемъ» и комедіей Грибоедова. Критикъ отрицаетъ, что она имѣла полный успѣхъ на сценѣ и нашла отголосокъ въ повсемѣстныхъ разговорахъ. Онъ разбираетъ затѣмъ ея литературное нравственное и общественное значеніе. Какъ литературное явленіе, она настоящая комедія, а не фарсъ, хотя въ ней есть «карикатурная природа», потому что въ самой природѣ не все низащю. Гоголь—нашъ Теньеръ, котораго нельзя мѣрять классическимъ аршиномъ. Для художника нѣтъ въ природѣ низкаго, а есть только истинное. Въ «Ревизорѣ» нѣтъ никакихъ натяжекъ, все натурально. То, что разсказалъ авторъ могло и должно было случиться при условіяхъ имъ указанныхъ: Гоголь—художникъ—реалистъ и въ созданіи типовъ, и въ компоновкѣ положеній и въ языкѣ, противъ котораго кричатъ, что онъ грязенъ и неопрятенъ. Защищаетъ Вяземскій комедію Гоголя и отъ всевозможныхъ нападковъ со стороны людей нравственныхъ, которые были недовольны тѣмъ, что имъ со сцены не было прочтано никакого добродѣтельнаго нравоученія. «Литература не для малолѣтнихъ,—остроумно говоритъ критикъ,—и авторъ былъ правъ, что нарисовалъ лица въ томъ видѣ, съ тѣми оттѣнками свѣта и безобразіями, какими они представлялись его взору. Пусть безнравственны лица—нравственно само впечатлѣніе, произведенное комедіей и въ этомъ и ея общественный смыслъ. Но надо быть справедливымъ и не преувеличивать самой безнравственности героевъ комедіи. Зачѣмъ клепать на нихъ; они болѣе смѣшны, нежели гнусны: въ нихъ болѣе невіжества, необразованности, нежели порочности. Басня «Ревизора» не утверждена на какомъ-нибудь отвратительномъ и преступномъ дѣйствіи: тутъ нѣтъ утѣсенія невинности въ пользу сильного порока, нѣтъ продажи правосудія, какъ, напр., въ комедіи Капюиста «Мбеда»... Говорятъ, кончаетъ критикъ свою рецензію, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного умнаго человѣка; неправда: умнѣе авторъ. Говорятъ, что въ комедіи Гоголя не видно ни одного честнаго и благомыслящаго лица; неправда: честное и благомыслящее лицо есть правительство, которое силою закона поражая злоупот-

*) «Полное собраніе сочиненій П. А. Вяземскаго», II, 257—275.

ребленія, позволяетъ и таланту исправлять ихъ оружіемъ насмѣшки». Критикъ и авторъ, какъ видимъ, совпадали во многихъ существенныхъ взглядахъ и на «Ревизора» въ частности, и вообще на художественную, нравственную и общественную роль комедіи въ жизни.

Съ такимъ же сочувствіемъ къ автору и вѣрнымъ пониманіемъ дѣла отнесся къ «Ревизору» и критикъ «Литературныхъ Прибавленій къ «Русскому Инвалиду». И онъ поставилъ Гоголя наряду съ Фонъ-Визинимъ и Грибоѣдовымъ, упомянувъ при этомъ и о Державинѣ, какъ о творцѣ «лирической сатиры». Критикъ цѣнилъ комедію за ея веселость, за то, что она исцѣлитъ многія печали и разгонитъ многія хандры. Онъ цѣнилъ ее также за ея согласіе съ правдой жизни: нѣкоторые степняки-помѣщики, говорилъ онъ, утверждали, что все это въ ихъ губерніи случилось, и даже называли тѣ оригиналы, съ которыхъ эти портреты списаны. Критику непонятенъ одинъ только Хлестаковъ: Гоголь, говоритъ онъ, неподобно рисуетъ сцены уѣздныхъ людей средняго и низшаго быта, но едва поднимается въ слои высшаго общества, какъ мы отъ души желаемъ, «чтобы онъ опять спустился въ прежнюю свою сферу». Укоряя автора за нѣкоторыя мѣста, при которыхъ краснѣетъ стыдливость, рецензентъ все-таки признаетъ главное достоинство Гоголя въ томъ, что онъ больше «натурщикъ», нежели выдумщикъ *).

Удивительно вѣрный и тонкій разборъ «Ревизора» далъ и журналъ Надеждина «Молва». Анонимный рецензентъ, который присутствовалъ на первомъ представленіи «Ревизора» и о которомъ уже мы говорили, обнаружилъ большой критическій тактъ въ своей оцѣнкѣ и какъ бы предугадалъ то, что самъ авторъ имѣлъ сказать о своей комедіи. «Оригинальный взглядъ Гоголя на вещи, — писалъ рецензентъ, — его умѣнье скватывать черты характеровъ, налагать на нихъ черты типизма, его настоящій гуморъ — все это дастъ намъ право надѣяться, что театр нашъ скоро воскреснетъ, скажемъ больше, что мы скоро будемъ имѣть нашъ національный театръ, который будетъ насъ угощать не насильственными кривляньями на чужой манеръ, не заемнымъ остроуміемъ, не уродливыми передѣлками, а художественнымъ представленіемъ нашей общественной жизни, что мы будемъ хлопать не восковымъ фигурамъ съ размалеванными лицами, а живымъ созданіямъ съ лицами оригинальными, которыхъ увидѣвъ разъ, никогда нельзя забыть... Полученные въ Москвѣ экземпляры «Ревизора»

*) П. Серебряный. «Ревизоръ», сочиненію Н. В. Гоголя. «Литературныя Прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1836, № 59—60.

перечитаны, зачитаны, выучены, превратились въ пословицы и пошли гулять по людямъ, обернулись эниграммами и начали клеймить тѣхъ, къ кому придутся... Кто вдвинулъ это созданіе въ жизнь дѣйствительную? Кто такъ сроднилъ его съ нами? Это сдѣлали два великіе, два первые дѣлатели — талантъ автора и современность произведенія. То и другое дали ему успѣхъ блистательный, и ошибаются тѣ, которые думаютъ, что эта комедія смѣшна, и только. Да, она смѣшна, такъ сказать, снаружи; но внутри это—горе-гореваньицо, лыкомъ подоясано, мочалами изпутано*).

Прошло нѣсколько лѣтъ, «Ревизоръ» игрался часто и никто изъ видѣвшихъ его не поднялся до такой высоты его пониманія, какъ этотъ анонимный критикъ. Только въ 1840 году заговорилъ о «Ревизорѣ» Бѣлинскій и вопросъ о художественной стоимости комедіи получилъ окончательное рѣшеніе.

Отзывъ Бѣлинскаго **) былъ восторженно-хвалебный. Онъ касался, однако, преимущественно художественной стороны пьесы и техники ея выполненія. «Комедія, — какъ говорилъ Бѣлинскій, — должна представлять собой особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, т. е. должна имѣть единство дѣйствія, выходящее не изъ внѣшней формы, но изъ идеи, лежащей въ ея основаніи. Высоко художественное произведеніе Гоголя подтверждаетъ эту истину. Въ «Ревизорѣ» имѣтъ сценъ лучшихъ, потому что имѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны какъ необходимыя части, художественно образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшнею формою, и потому представляющее собою особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ... Все въ этой комедіи продиктовано разумной необходимостью; какъ въ истиннохудожественной комедіи, которая есть выраженіе случайностей—въ ней все выходитъ изъ идеи случайностей и призраковъ и только чрезъ это получаетъ свою необходимость...» Слова Бѣлинскаго едва ли были понятны тѣмъ, кто не былъ знакомъ съ терминами гѣмецкой эстетики, но общій ихъ смыслъ былъ ясенъ: Бѣлинскій признавалъ «Ревизора» за единственную русскую комедію, которая вполне удовлетворяла требованія художественности. Гоголь долженъ былъ быть доволенъ этимъ разборомъ и могъ покоситься лишь на тѣ строки, въ которыхъ критикъ ставилъ его выше Мольера — «для котораго поэзія никогда

*) «Молва», 1836, т. XI. Статья эта «открыта» *И. С. Тихомировымъ* и подробно названа въ его статьѣ «Первое представленіе «Ревизора» на московской сценѣ». «Сочиненія», III, 1. 540—546.

**) Въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 г., въ статьѣ «Горе отъ ума», комедія Грибоедова.

не была сама собою цѣль, но средство исправлять общество осмѣленіемъ пороковъ». Эти слова едва ли могли понравиться автору, потому что въ нихъ обнаружилось полное невниманіе къ нравственному смыслу комедіи, который Гоголь ставилъ такъ высоко.

Изъ этого краткаго обзора литературныхъ мнѣній, высказанныхъ по поводу «Ревизора», видно, что разочарованіе автора въ его публику было преждевременно. Если нашлись журналисты, мнѣніе которыхъ зависѣло отъ личныхъ счетовъ и которые, поэтому, сказали все дурное и несправедливое, что могли сказать; если нашлись мелкіе рецензенты, которые долгое время не могли возвыситься до пониманія «Ревизора», то самыя серьезныя журналы отдали комедіи Гоголя все должное. Жаль, что Гоголь поспѣшилъ отъѣздомъ за границу и не успѣлъ перелистать всѣ эти серьезные журналы (онъ не успѣлъ прочитать ни рецензіи «Молвы», ни статьи «Московского Наблюдателя») — онъ, можетъ быть, простился бы съ родиной безъ того горькаго чувства, съ которымъ покидалъ ее.

Самолюбивый авторъ и нервный человѣкъ, безспорно обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, онъ сталъ помышлять о бѣгствѣ послѣ перваго же представленія «Ревизора». Желаніе посѣтить чужіе края, на которые онъ мелькомъ взглянулъ послѣ сожженія «Ганца Кюхельгартена», было у него и раньше, но нервное настроеніе, въ какое онъ впалъ весною 1836 года, заставило его торопиться отъѣздомъ. Въ началѣ Іюля онъ сѣлъ на пароходъ и уѣхалъ.

«Прощай! — писалъ онъ своему другу Погодину. Вѣду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебѣ, вѣрно, освѣженный и обновленный».

Петербургскій періодъ жизни Гоголя закончился и начался для него долгіе годы скитальчества.

Одержана была блистательная литературная побѣда... Творчество автора, доселѣ колебавшееся между противорѣчивыми направленіями, не установившееся во вкусахъ и приемахъ, повернуло определенно на дорогу, которая должна была возвести его на ту высоту художественнаго созерцанія, на которой жизнь сливается съ вымысломъ. Послѣ долгой борьбы съ сентиментальнымъ темпераментомъ и романтическимъ міросозерцаніемъ врожденный талантъ бытописателя и реалиста достигалъ, наконецъ, своего полнаго цвѣтѣнія. Всякая идеализація, все индивидуально-романтическое, что было въ характерѣ поэта, вѣрнѣе отступало въ тѣнь передъ его способностью объективно и художественно воспроизводить то, что для него — субъективнаго до

взъязъ человѣка — было «не имъ», лежало внѣ его. Результатомъ этихъ тайныхъ душевныхъ бореній было созданіе первой художественной русской комедіи. По художественности выполненія она не имѣла себѣ равной въ прошломъ и въ настоящемъ, но она не выказала всей силы сатирической мысли художника; она была комедіей обиденныхъ нравовъ.

Но тѣмъ не менѣе ея общественный смыслъ былъ значителенъ для того молчаливаго и пугливаго времени. Сравнительно съ сатирой старой она была скромна, никакого рѣзкаго общественного обличенія она въ себѣ не заключала, но своей правдивостью она приводила зрителя все-таки къ сознанію переживаемаго имъ момента историческаго и общественнаго, и наталкивала его на выводы, о которыхъ сама безкитростно молчала.

Какъ все талантливое и правдивое, она раздражила многихъ, и много горькихъ минутъ пришлось пережить автору, сознавшему, накопить свою силу. Не слѣдуетъ только преувеличивать этихъ огорченій.

XIII.

Гоголь за границей (1836—1841).—Повышеніе въ немъ чувства красоты; увлеченіе Италіей и Римомъ.—Гоголь и католицизмъ.—Повышеніе религіозности и самонителія; ближайшіе ихъ источники: подъемъ вдохновенія и болѣзни.—Смерть Пущкина.—Исторія болѣзни Гоголя и его выздоровленіе.—Талантъ бытописателя и усиленіе враждебныхъ ему мыслей и настроеній: послѣдняя побѣда таланта.

Гоголь собрался въ путь и покинулъ Россію очень послѣдшнею, и, кажется, безъ мысли о долгой разлукѣ; но уже на первой станціи рѣшилъ, что скоро не вернется. «Нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, писалъ онъ Жуковскому изъ Гамбурга, послано свыше, тѣмъ же великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое. Это великій переломъ, великая эпоха новой жизни... ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро» *). Гоголь какъ будто угадывалъ, что за границей въ жизни его произойдетъ нѣчто знаменательное.

Онъ покидалъ Россію раздраженный на своихъ соотечественниковъ. Онъ говорилъ, что ѣдетъ размыкать тоску, которую они ему ежедневно наносятъ, что ему опротивѣла та изрядная коллекція гадкихъ рожъ, смотрѣть на которую онъ обязанъ. На основаніи нѣкоторыхъ такихъ рѣзкихъ выходовъ Гоголя, можно—если придетъ охота—сказать много краснорѣчивыхъ и патетичныхъ словъ о разсерженномъ гонимомъ пророкѣ, который бѣжалъ отъ своихъ на чужбину и тамъ скорбѣлъ объ отчизнѣ; но такое краснорѣчіе будетъ, вѣроятно, потрачено даромъ. Что Гоголь былъ раздраженъ, что онъ иногда кипѣлъ негодованіемъ противъ «свѣтскаго аристократства» и иной «черни», и въ дурную минуту говорилъ, что въ Россіи одиѣ только свиньи живуща, что наконецъ онъ часто говорилъ о томъ, какъ онъ непонятъ и огорченъ — все это правда. Гоголю минутами казалось, что соотечественники его выгнали изъ Россіи, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ воспользовался первымъ болѣе или менѣе законнымъ предлогомъ, чтобы уѣхать, куда его давно тянуло, и какъ поэта, и какъ историка, и какъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 381—5.

шавина, и притомъ еще большого. Во всякомъ случаѣ, Гоголь подалъ Россію совсѣмъ не въ подавленномъ настроеніи, и приѣмъ, оказанный «Ревизору», если и разсердилъ его, то на срокъ очень короткій. Келаніе идти въ томъ направленіи, въ какомъ онъ шелъ, говорить бшительно и смѣло съ толпой, столь повидимому его обидѣвшей, у его не только не пропало, но, наоборотъ, возросло. «Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подалше быть съ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ;—писалъ разсерженный поэтъ своему другу Погодину черезъ мѣсяцъ послѣ представленія «Ревизора». Но Богъ съ ними (т.-е. съ людьми, которые кричали хотивъ «Ревизора»). Я не оттого ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ терпѣности этихъ неудовольствій. Миѣ хочется поправиться въ своемъ цуровѣ, разсѣяться, разалечься и потомъ, избравъ нѣсколько постояннаго пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже миѣ юрить съ большимъ размышленіемъ» *).

«Если разсмотримъ строго и справедливо--что такое все написанное юю до сихъ поръ?—говорилъ онъ Жуковскому, только что переѣхавъ ескую границу.—Миѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю традь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и инь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая, рука чинающаго и смѣлая замашка шалуна, вѣсто буквъ, выводящая ючки, за которую бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выбе- тся страница, за которую похвалить развѣ только учитель, прови- шій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться юмъ. О! какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи обстоятельства моей жизни!» **).

Такъ не станетъ писать человекъ, который бѣжитъ изъ отечества голая на не признавшихъ его соотечественниковъ, и Гоголь скоро про- нилъ миѣ обиду и недовольство съ нихъ перенесъ на себя. Продолжая дѣлаться и острить надъ нѣкоторыми жожаками того ходячаго, миѣ- я, которое было къ нему такъ несправедливо, которое умысленно или умысленно криво истолковало его намѣренія, нашъ старикъ позво- ль себѣ иной разъ сказать жесткое слово о Россіи, но все время малъ о ней, собиравъ о ней самыя тщательныя свѣдѣнія, трудился ди она и очень скоро сталъ ей говорить то же самое, что говорилъ н.ше и за что былъ такъ огульно обруганъ.

Любовь къ отчизнѣ возрала въ немъ заграицей и дальность

*) «Письма Н. В. Гоголя» I, 370—371.

***) «Письма Н. В. Гоголя» I, 384.

разстоянія и длительность времени на нее не имѣли вліянія. Наоборотъ, онъ издали сталъ любить родину больше. Для его романтическаго сердца ея общія очертанія стали милѣе ея деталей, которыми онъ, однако, вырисовывалъ съ такой неподражаемой правдой, какъ разъ въ эти годы своей заграничной жизни. Но странно, любя родину въ мечтахъ, онъ тяготился встрѣчей съ нею. Когда послѣ трехлѣтняго пребыванія въ чужихъ краяхъ, онъ, по семейнымъ обстоятельствамъ, долженъ былъ провести конецъ 1839 года и начало 1840 г. въ Москвѣ и Петербургѣ, онъ ѣхалъ домой съ большой неохотой, ему было грустно и онъ чувствовалъ себя въ Россіи не на мѣстѣ; свое состояніе онъ называлъ «ужасно безчувственнымъ и окаменѣвшимъ», «бѣдная душа его не находила себѣ на родинѣ пріюта», онъ друзей просилъ «выгнать его изъ Россіи» и, дѣйствительно, не досидѣвъ и года, онъ ее снова покинулъ *). Положимъ, онъ былъ въ эту осень и зиму 1839—1840 года боленъ и разстроенъ разными семейными непріятностями, преимущественно финансовыми, но едва ли его вытѣе можетъ быть обременено только этими причинами. Въ Москвѣ и въ Петербургѣ въ 1839—1840 гг. онъ былъ окруженъ людьми ему близкими, у него завязались новыя сердечныя связи съ членами аксаковского кружка, ни съ какими непріятностями литературнаго свойства ему считаться не приходилось, — и все-таки онъ скучалъ и томился и не могъ работать. А между тѣмъ, за границей онъ всегда чувствовалъ большой подъемъ творческой силы, что подтверждается и количествомъ, и качествомъ начатыхъ, передѣланныхъ и законченныхъ имъ произведеній. Суета заграничной жизни, встрѣчи и проводы знакомыхъ, новыя отношенія, быстрая смѣна впечатлѣній и жѣли его работѣ. Даже дорога, и та дѣйствовала благотворно на его бодрость физическую и духовную. Дорога—какъ онъ признавался, была ему необходима и приносила большую пользу его бременному организму; она была его единственнымъ лекарствомъ; онъ шутилъ и говорилъ, что съ радостью сдѣлался бы фельдъегеремъ, курьеромъ, чтобы какъ можно дальше скакать, хоть на русскихъ перекладныхъ, въ Кавказку **).

Вообще въ эти шесть лѣтъ заграничной жизни много непонятнаго и страннаго подмѣчаемъ мы во вѣншиемъ образѣ жизни и въ настроеніяхъ и мысляхъ нашего писателя.

Коренной русскій человѣкъ, мало подготовленный къ тому, чтобы разобратъся въ новыхъ впечатлѣніяхъ, онъ какъ-то вѣншиимъ образомъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 625, 627; II, 11, 20, 27, 32, 37.

***) «Письма Н. В. Гоголя», I, 516; II, 82.

живается съ чужой обстановкой, отъ которой ему тяжело однако отойти и которую онъ страстно любитъ, несмотря на то, что въ общемъ теченіи окружающей его новой жизни онъ не участвуетъ; но временно съ этой любовью къ новой обстановкѣ онъ сохраняетъ, дако, всѣ свои прежнія духовныя симпатіи къ роднѣ, все больше больше любить Русь и не теряетъ зоркости взгляда даже на мелочи ой родной, теперь далекой отъ него жизни.

Романтикъ, съ сильнымъ тяготѣніемъ къ религіозности, большой готикъ и любитель старины, онъ живетъ среди природы и людей, рожденія воспитанныхъ въ этихъ романтическихъ чувствахъ, среди обстановки наиболѣе благоприятной для ихъ развитія—и онъ всетаки гается въ творчествѣ своемъ самымъ послѣдовательнымъ реалистомъ, рлетъ на время всякій вкусъ къ романтическому въ искусствѣ подъ итальянскимъ небомъ въ мечтахъ объѣзжаетъ съ Чичиковымъ ные прозаическіе уголки Россіи по самой прозаической надобности.

Гоголь за границей, въ періодъ 1836—1841 г.—большая загадка торую, вѣроятно, не разъяснять никакіе біографическіе матеріалы даже личныя признанія поэта. Въ этой сложной душѣ, полной проворочій, совершалось за этотъ періодъ времени то таинственное боніе, которое художника въ концѣ концовъ обратило въ моралиста и богова, и въ юмориста-бытописателя заставило вновь проснуться съ подновной силой старое романтическое міросозерпаніе. Это было боровіе чала очень радостное, полное вдохновеннаго восторга, а въ концѣ стѣмъ болѣзненное, истощившее художника и физически, и нравственно.

Какъ свершалось это одновременное развитіе художника-наблюдателя и того же художника, который изъ наблюдателя становится мо-нистомъ и затѣмъ богословомъ — это едва ли кто разскажетъ, но і поясненія этой перемѣны нужно все-таки указать на нѣкоторыя строенія и чувства, подъ власть которыхъ Гоголь подпалъ въ это ния, частью въ виду условій новой обстановки, частью въ силу жиданностей или случайностей.

Эти настроенія и чувства не были чѣмъ-нибудь новымъ для голя, они отъ рожденія были присущи ему и уже въ первыхъ трудахъ, когда онъ былъ сентименталистъ и романтикъ по преществу, они прорывались внаружу. Это были — развитое чувство красоты, чувство благоговѣнія передъ гениемъ, и религіозность, прикрасная сажомѣніемъ. Заграницей эти склонности очень усилились и е началомъ угрожать способности художника смотрѣть на жизнь принужденнымъ и непродвизтымъ взглядомъ т.-е. той способности, чрая именно въ это время достигла полнаго своего развитія.

Чувство красоты, всегда въ Гоголѣ очень чуткое, развиваясь, стало постепенно отдалять его отъ дѣйствительности. Интересы современные, общественные и политическіе, къ которымъ у нашего писателя никогда большаго пристрастія не было, не только не оживились въ новыхъ условіяхъ, но, кажется, совсѣмъ заглохли. Страствуя по Германіи, Австріи и Франціи, нашъ путешественникъ, какъ видно изъ его писемъ, я не думалъ присматриваться къ тому, что вокругъ него творилось. Вся сложная социальная и политическая жизнь Европы тридцатыхъ годовъ прошла мимо него. Нельзя, конечно, отъ Гоголя требовать, чтобы онъ сразу обнаружилъ пониманіе того, что ему до тѣхъ поръ было чуждо, но любопытно, что онъ не проявилъ даже и слабаго интереса къ этимъ сторонамъ европейской жизни. Онъ искалъ за границей, кромѣ облегченія своихъ физическихъ недуговъ, исключительно впечатлѣній и ощущеній эстетическихъ. Вотъ почему онъ такъ любилъ Италію и преимущественно Римъ, въ которомъ за эти шесть лѣтъ побывалъ четыре раза и жилъ подолгу (6 мѣсяцевъ въ 1837 г., 10 мѣсяцевъ въ 1832 г., 6 мѣсяцевъ въ 1839 г., 4 мѣсяца въ 1840 г. и 8 мѣсяцевъ въ 1841 г.). Къ другимъ странамъ онъ относился хладнокровно, а иногда очень несправедливо. Швейцарія поразила его на первыхъ порахъ картинами своей природы, но она ему скоро надоѣла, и онъ затосковалъ о русскомъ сѣренькомъ небѣ; масса городовъ промелькнула мимо него, и онъ не зналъ, что сказать о нихъ; повидалъ онъ всевозможныя историческія достопримѣчательности въ разныхъ городахъ, но, кромѣ готическихъ соборовъ, которые онъ такъ любилъ еще на картинкахъ, ничто не вызвало въ немъ настоящаго неподдѣльнаго восторга. Письма Гоголя, писанныя не изъ Итали, очень безцвѣтны и холодны. Парижъ оказался «не такъ дурень, какъ Гоголь его себѣ воображалъ, и понравился тѣмъ, что въ немъ много мѣсть для гулянья»; спусти въ которое время нашъ авторъ добавилъ, что на него произвели большое впечатлѣніе парижскіе рестораны и бульвары. Вся поэзія парижской жизни отъ его нелюбопытнаго взора ускользнула, какъ ускользнула и красота нѣмецкихъ городковъ, которую нѣкогда онъ воспѣвалъ въ своемъ «Гауцѣ Кюхельгартенѣ». «Я сомнѣваюсь,—писалъ онъ въ 1838 году,—та ли теперь эта Германія, какою ее мы представляемъ себѣ. Не кажется ли она намъ такою только въ сказкахъ Гофмана? Я, по крайней мѣрѣ, въ ней ничего не видѣлъ, кромѣ скучныхъ табльдотонъ, вѣчныхъ на одно и то же лицо состриганныхъ кѣльнеровъ и безконечныхъ толковъ о томъ, изъ какихъ блюдъ былъ обѣдъ; и та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи, исчезла, когда я увидѣлъ Германію въ самомъ дѣлѣ, такъ, какъ исчезаетъ прелестный голубой колоритъ дали, когда мы приближаемся

ей близко» *). «Эта гадкая, запачканная и законченная табачи- ния Германия, которая есть не что другое, какъ самая неблаго- щная отрыжка мерзвѣйшаго пива», говорилъ въ сердцахъ нашъ пи- тель при иномъ случаѣ **). Слова болѣе чѣмъ странныя въ устахъ торника, да и эстетика также. Если ихъ можно простить Гоголю, то только потому, что онъ былъ влюбленъ, влюбленъ страстно въ Италію какъ влюбленный, былъ несправедливъ ко всѣмъ соперницамъ своей влюбленной.

Страсть къ Италіи была въ немъ страстью и южанина, и эстетика, романтика, и любилъ онъ въ этой Италіи не только ее самое, но и всю мечту, какъ любить всѣ истинно влюбленные. «Кто былъ въ талии, тотъ скажи «прощай» другимъ землямъ,—исповѣдывался онъ; и былъ на небѣ, тотъ не захочетъ на землю... Европа въ сравненіи Италіей все равно, что день пасмурный въ сравненіи съ днемъ солнечнымъ». «Душенька моя! мой красавица Италія,—восклидалъ онъ и вторюмъ свиданіи послѣ первой разлуки (1837 г.),—никто въ мірѣ ее отниметь у меня! Я родился здѣсь... Россія, Петербургъ, снѣга, под- цы, департаментъ, каеэдра, театръ—все это мнѣ снилось... О если бы взглянули только на это ослѣпляющее небо, все тонущее въ вѣн! Все прекрасно подѣ этимъ небомъ; что ни развалина, то и ртина; на человѣкѣ какой-то сверкающій колоритъ; строеніе, де- ю, дѣло природы, дѣло искусства—все, кажется, дышетъ и гово- рить подѣ этимъ небомъ... Вѣкъ художника, кажется, оканчивается, да онъ оставляетъ Италію и, дохнувъ тлетворнымъ дыханіемъ сѣ- ма, онъ, какъ цвѣтокъ юга, никнетъ головою...» ***)) и на разные ды повторялъ Гоголь эти возгласы, и все ему казалось, что они сильны выразить всю полноту его очарованія.

Всего больше такихъ любовныхъ словъ пришлось на долю Рима. «Въ гъ влюбляешься очень медленно,—признавался его поклонникъ,—поне- ку, и ужъ на всю жизнь». «Нѣтъ лучшей участи, какъ умереть въ Ри- —писалъ онъ,—цѣлой верстой человѣкъ здѣсь ближе къ Божеству. изъ Вяземскій очень справедливо сравниваетъ Римъ съ большимъ краснымъ романоъ или эпопеею, въ которой на каждомъ шагу рѣчаются новыя и новыя, вѣчно неожиданныя красы. Передъ Ри- гъ всѣ другіе города кажутся блестящими драмами, которыхъ дѣй- ю совершается шумно и быстро въ глазахъ зрителя; душа вос- цена вдругъ, но не приведена въ такое спокойствіе, въ такое про-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 512—3.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 607—8

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 451, 459, 461, 609.

должительное наслаждение, какъ при чтеніи этой эпопеи. Я читаю ее, читаю... и до сихъ поръ не могу добраться до конца. Чтеніе мое безконечно». «О Римъ! Римъ! Чья рука вырветъ меня отсюда?» При второмъ свиданіи послѣ краткой разлуки (1838) Римъ показался Гоголю еще лучше прежняго. Ему почудилось, что онъ увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ, но въ которой жили его мысли; но нѣтъ, не свою родину, а родину души своей увидалъ онъ, гдѣ душа его жила еще прежде, чѣмъ онъ родился на свѣтѣ. «Здѣсь только тревоги не властны и не касаются души, признавался онъ; что было бы со мною въ другомъ мѣстѣ!.. Кромѣ Рима, нѣтъ Рима на свѣтѣ, хотѣлъ было сказать—счастья и радости, да Римъ больше, чѣмъ счастье и радость». «Если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны позволили еще на милліоны, и потомъ удесѣтерили эти милліоны, я бы не взялъ ихъ, еслибъ это было съ условіемъ оставить Римъ, хотя на полгода»,—думалъ Гоголь, когда скучный и разсорженный ѣхалъ въ 1839 году, въ Россію, и въ Москвѣ онъ нытъ по этому Риму, нытъ жалобно: «О если бы вы знали, какъ наполняются тамъ неизмѣримыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ! Несчастливъ тотъ, кто два мѣсяца разстался съ тобой и счастливъ тотъ, для котораго эти два мѣсяца прошли, и онъ на возвратномъ пути къ тебѣ!» «Поглядите на меня въ Римѣ, и вы много во мнѣ поймете того, чему, можетъ быть, многие дали названіе бессмысленной странности*»). И это вѣрно. Много страннаго творилось съ нашимъ писателемъ въ Римѣ.

Ясно только одно: Италія и Римъ необычайно сильно подѣйствовали на его эстетическое чувство и безличная красота природы и красота старины мало-по-малу разбирали его съ той дѣйствительностью, которую онъ вокругъ себя видѣлъ. Изъ наблюдателя онъ превращался въ созерцателя, и природа и искусство стали его интересовати больше, чѣмъ люди въ ихъ повседневной жизни. Въ римскихъ письмахъ онъ не скрывалъ своего упоенія искусствомъ и небомъ Италіи и не хотѣлъ замѣчать ничего другого. Римъ былъ для него музеемъ, по которому онъ прогуливался, и въ римскомъ народѣ, характеръ котораго онъ изучалъ довольно внимательно, его прельщало именно эстетическое чувство, «невольное чувство понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейскій умъ не набросилъ своей узды». Даже исто-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 435, 439, 461, 468, 493, 588, 622; II, 6, 12, 51.

рическое прошлое Рима привлекало его меньше, чѣмъ археологическая красота вѣчнаго города въ настоящемъ. «Если бы мнѣ предложили,—говорилъ онъ, — что бы я предпочелъ? видѣть передъ собой древній Римъ въ грозномъ и блестящемъ величии или Римъ нынѣшній, въ его теперешнихъ развалинахъ, я бы предпочелъ Римъ нынѣшній. Нѣтъ, онъ никогда не былъ такъ прекрасенъ!»

Увлеченіе нашего романтика этой безсмертной красотой небесъ и человеческого вдохновенія—вполнѣ понятно; понятно также, что оно въ концѣ концовъ не могло не повліять на направленіе его творчества. Сидѣть подъ сѣнью лазурнаго неба, миртовъ и кипарисовъ, видѣть передъ собой все лучшее, что создано чувствомъ красоты въ человѣкѣ и въ то же время копаться въ душѣ всякихъ Чичиковыхъ, Поздравыхъ и Собакевичей было на долгій срокъ невозможно. Художникъ могъ захотѣть освѣтить лучомъ красоты ту сѣрую жизнь, надъ воплощеніемъ которой онъ работалъ, и такое освѣщеніе или освященіе могло заставить его впасть въ противорѣчіе съ правдой, какъ это дѣйствительно съ нимъ позже и случилось. Увлеченіе красотой въ Италиі было одной изъ многихъ причинъ, застывшихъ сатирика отыскивать красоту не только въ русской природѣ, но и въ русской жизни, и становиться передъ ней преждевременно на колѣни.

Эстетическое чувство, разогрѣтое римскимъ воздухомъ, приблизило Гоголя и къ католицизму. Объ этихъ симпатіяхъ нашего писателя говорилось нерѣдко и его восторгу передъ Римомъ, а также и нѣкоторые его недружелюбнымъ словамъ, сказаннымъ по адресу Россіи придавали иногда смыслъ болѣе глубокій, чѣмъ они на самомъ дѣлѣ имѣли. Писатели заподозрили въ тяготѣніи къ католицизму. Это едва ли вѣрно.

Онъ оставался православнымъ, хотя, какъ поэтъ, и могъ бы позволить восторженные возгласы во славу красоты католическихъ соборовъ и обрядовъ. Когда онъ, напр., говорилъ въ 1838 году, что «только въ одномъ Римѣ молятся, а въ другихъ мѣстахъ показываютъ только видъ, что молятся», что молитва только въ Римѣ на своемъ мѣстѣ, а въ Парижѣ, Лондонѣ и Петербургѣ она все-равно, что на рынкѣ, то изъ этихъ словъ можно сдѣлать только одинъ выводъ—а именно, что въ нашемъ авторѣ, какъ въ остѣ, религиозное чувство пробуждалось подъ сѣнью католическаго храма, который, какъ извѣстно, почти всегда храмъ искусства. Огнѣ, которая подъ этой сѣнью проповѣдывалась, Гоголь въ то время (1837) думалъ мало и судилъ о ней весьма поверхностно, если вѣрить ему, что онъ писалъ своей матери, которая была очень озабочена

его хожденіемъ по католическимъ церквамъ. «Насчетъ monkъ чувствъ и мыслей объ этомъ вы правы, что спорили съ другими, что я не переѣблю обрядовъ своей религіи—писалъ онъ ей *). Это совершенно справедливо; потому что какъ религія ваша, такъ и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно нѣтъ надобности переѣмлять одну на другую. Та и другая истинна; та и другая признаетъ одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную премудрость, посѣтившую нѣкогда нашу землю...» Если въ этихъ словахъ нельзя узнать ревностнаго православнаго, то нельзя подѣлать и никакого тяготѣнія къ католицизму... Возможно, однако, что Гоголь потому такъ наивно говорилъ объ этомъ серьезномъ вопросѣ, что хотѣлъ успокоить свою мать, для которой серьезный разговоръ объ отличіи вѣроисповѣданій былъ бы мало интересенъ. Во всякомъ случаѣ по тѣмъ даннымъ, которыя имѣются, можно говорить лишь о поэтическомъ восхищеніи Гоголя обрядовой стороною католицизма; на болѣе тѣсное сближеніе съ католиками Гоголь не шелъ, хотя они и дѣлали шаги, чтобы привлечь его на свою сторону **).

*) Письма Н. В. Гоголя I, 661—5,

***) Недавно проф. А. А. Кочубинскій очень подробно разъяснилъ и опредѣлялъ на основаніи новаго документа, тѣ сношенія, которыя была у Гоголя съ представителями польскаго католическаго ордена «воскресенцевъ». [А. А. Кочубинскій «Будущимъ біографамъ Н. В. Гоголя» «Вѣстникъ Европы», 1902 г. Февраль, 650—675]. Гоголь встрѣтился съ этими религіозно-политическими агитаторами въ 1838 г. у кн. Зипанды Волконской, проживавшей въ Римѣ и очень ревностной католички. Она и поручивъ ея попеченію два «воскресенца», имѣли безспорное желаніе привлечь Гоголя въ лоно католической церкви. Насколько самъ Гоголь шелъ имъ навстрѣчу въ этомъ дѣлѣ—опредѣлить очень трудно; онъ искалъ ихъ общества, много бесѣдовалъ съ ними о польской литературѣ; онъ зналъ, что они в книжки ваяны обращеніемъ въ католичество сына княгини, и принялъ это вѣстіе сердечно и благодушно; онъ позволялъ «втирать въ себя нѣсколько хорошихъ мыслей» и принималъ и у себя этихъ апостоловъ—но изъ всѣхъ этихъ фактовъ трудно вывести какое нибудь заключеніе о колебаніи Гоголя между православіемъ и католичествомъ, тѣмъ болѣе, что эти сношенія не продолжались и года, и послѣ нѣкоторыхъ бесѣдъ въ началѣ 1838 г., почти сошли на нѣтъ въ слѣдующемъ году. Изъ словъ самихъ «воскресенцевъ», которые въ своихъ дописаніяхъ писали, что они у Гоголя заимѣли «свѣтлыя мысли», что онъ «внутрино работаетъ», что «отъ нихъ послѣдствій въ душѣ Гоголя остается прекрасное впечатаніе»—нельзя сдѣлать никакого вывода, такъ какъ всякій фанатизмъ всегда страдаетъ преувеличеніемъ. Нельзя сказать даже такъ осторожно, какъ сказалъ пр. Кочубинскій, что Гоголь былъ «близокъ къ искусительному шагу». Гоголь былъ хитеръ и себя на умъ и въ откровенности не пускалъ. Онъ дѣйствительно, начиналъ тогда «работать внутрино», но любовь къ Риму была въ Гоголѣ всетаки симпатіей эстетической и чѣмъ можетъ насъ убѣдить его повѣсть «Римъ», написанная приблизительно въ это же время

Религиозное чувство крѣпло въ Гоголѣ само по себѣ и пока еще не переходило въ проповѣдь опредѣленнаго вѣроисповѣданія.

Мысль о Богѣ сочеталась въ немъ прежде всего съ мыслью о самомъ себѣ.

Мы знаемъ, какъ мысль о своемъ великомъ призваніи съ дѣтскихъ лѣтъ была сильна въ нашемъ мечтателѣ. Не нужно было ни Италіи, ни Рима, чтобы укоренить въ немъ эту дерзкую увѣренность въ особомъ Божіемъ покровительствѣ, какое на немъ почіетъ. Онъ уже освоился съ этой мыслью, когда покидалъ Россію въ 1836 г. «Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе,—говорилъ онъ, прощаясь съ родиной,—я чувствую, что веземная воля направляетъ путь мой. Онъ, вѣрно, необходимъ для меня». «Мнѣ ли не благодарить пославшаго меня на землю. Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незаметныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человекъ. Львиную силу чувствую я въ душѣ своей... Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ железомъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни» *). Такъ увѣренно и замонадѣльно писалъ онъ въ 1836 году, тотчасъ послѣ всѣхъ огорченій, испытанныхъ въ Петербургѣ. Онъ призналъ пустяками все, что жъ писалъ доселѣ, и голова его была полна новыхъ литературныхъ плановъ, смелыхъ смѣлыхъ и широкихъ. Эти планы были пока еще только планы, а поэтъ былъ уже въ такомъ экстазѣ. Какъ долженъ былъ тотъ экстазъ возрасти, когда задуманное начало осуществляться? И, съ самою дѣлѣ, по мѣрѣ того, какъ «Мертвыя Души», къ рѣютѣ надъ которыми онъ приступилъ за границей, ложились на бумагу, крѣпло въ Гоголѣ и сознаніе своей божественной миссіи. Вдохновеніе художника превращалось постепенно чуть ли не въ ясновидѣніе пророка. «Много чуднаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни—пишетъ Гоголь Аксакову въ 1840 году. Я радъ всему, всему, что ни случится со мною въ жизни, и какъ погляжу я только, къ какимъ чуднымъ ользамъ и благу вело меня то, что называютъ въ свѣтѣ неудачами, то астроголганная душа моя не находитъ словъ благодарить Невидимую Руку

(339). Любопытно также, что въ тѣ же дни, когда Гоголь интимно бесѣдовалъ съ «скрещенцами», онъ работалъ надъ передѣлкой «Тараса Бульбы»—этого боеваго юга клякони, помоящихъ съ поляками и католицизмомъ.

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 378, 383, 415.

ведущую меня». «Вѣрь словамъ моимъ,—зываетъ онъ къ одному пріятелю,—властью высшаго облечено отнынѣ мое слово. Все можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но не измѣнить мое слово!» *). «О! вѣрь словамъ моимъ,—пишетъ онъ въ это же время (1841) другому корреспонденту, поэту Языкову, ничего не въ силахъ я тебѣ болѣе сказать, какъ только «вѣрь словамъ моимъ». Есть чудное и непостижимое... но рыданья и слезы глубоко вдохновенной благодарной души помѣшали бы мнѣ вѣчно досказать... и отнѣмили бы уста мои. Никакая мысль человѣческая не въ силахъ себѣ представить сотой доли той необъятной любви, какую содержитъ Богъ къ человѣку! Вотъ все. Отнынѣ взоръ твой долженъ быть свѣтло и бодро вознесетъ горѣ: для сего была наша встрѣча. И если при разставаніи нашихъ, прижатіи рукъ нашихъ не отдѣлилась отъ моей руки искра крѣпости душевной въ душу тебѣ, то, значить, ты не любишь меня. И если когда-нибудь одолѣетъ тебя скука и ты, вспомнивъ обо мнѣ, не силахъ одолѣть ее, то, значить, ты не любишь меня. И если мгновенный недугъ отяжелитъ тебя и низу поклонится духъ твой, то, значить, ты не любишь меня» **). Самая поддѣлка рѣчи подъ евангельскій тонъ есть какъ бы косвенный намекъ на то, что художникъ въ своихъ глазахъ возросъ до пророка; и онъ, дѣйствительно, начиналъ чувствовать въ себѣ пророческую силу. Онъ, какъ самъ говорилъ, «слышитъ часто чудныя минуты, живетъ чудной жизнью, внутренней, огромной, заключенной въ немъ самомъ, и вся жизнь его отнынѣ — благодарный гимнъ». «Горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!» сказалъ онъ однажды въ одну изъ такихъ чудныхъ минутъ... а въ другую договорился до совѣтъ непонятнаго мистически-пророческаго возгласа: «Никто изъ моихъ друзей не можетъ умереть, потому что онъ вѣчно живетъ со мною». Если въ чьихъ устахъ такія слова были умѣстны, то развѣ только въ устахъ Спасителя...

Можно спросить, однако, что именно было причиной такого повышенія религіознаго чувства, непосредственно реагировавшаго на самомиѣніе художника?

Причину этой странности найти трудно. Гоголь родился алчущимъ Бога и правды и подъ конецъ своей жизни даже душевно заболѣлъ отъ этого духовнаго голода и жажды. И самомиѣніе было въ немъ также чертой вражденной, какъ и желаніе создать вѣчто великое на благо ближняго и родины. Вполнѣ понять такія натуры можетъ только на-

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 90, 91, 111.

**) «Письма Н. В. Гоголя», I, 168.

тура родственная: ей открыто то невыразимое, что таилось въ душѣ этого искателя правды, искупившаго цѣной страшныхъ душевныхъ страданій свое духовное преимущество надъ другими. Биографъ и изслѣдователь можетъ только прослѣдить самый процессъ развитія этихъ чувствъ и указать на нѣкоторыя условія, которыя способствовали ихъ быстрому росту. Религіозная атмосфера Рима едва ли можетъ быть признана за главное изъ такихъ условій; были другія. На повышение религіозности и самоиживія Гоголя оказалъ прежде всего влияние необычайно сильный подъѣмъ его творческой дѣятельности, который изумилъ самого автора; затѣмъ его болѣзненное состояніе.

Творческія силы Гоголя работали, за границей, дѣйствительно, очень напряженно: художникъ испытывалъ частыя наплывы вдохновенія; одни литературные планы быстро сменялись другими; онъ торопился творить и быть довольнымъ тѣмъ, что создать удавалось. Онъ утѣрявалъ наконецъ въ то, что онъ можетъ свершить нѣчто великое, благое для ближнихъ, свершить, какъ писатель, и что ему дано исполнить эту миссію; дано ли?—Конечно, Богомъ, который предначерталъ весь его земной путь и послалъ ему всѣ испытанія, чрезъ которыя онъ прошелъ не столько какъ человѣкъ вообще, сколько какъ художникъ.

И одновременно съ этимъ подъѣмомъ духа шло медленное увяданіе плоти. Гоголь никогда не пользовался цѣлѣбными здоровьемъ и сталъ болѣть очень рано. За границей приступы этой болѣзни участились, и мнительный человѣкъ (а онъ былъ очень мнителенъ) сталъ преувеличивать опасность: ему казалось, что смерть его близка, что болѣзнь держитъ его на самомъ рубежѣ могилы. Онъ видѣлъ въ этомъ опять указаніе перста Божія, и когда выздоравливалъ (что было вполне естественно), онъ еще больше укрѣплялся въ вѣрѣ въ свое предназначеніе свыше. Мысль о томъ, что смерть проходитъ мимо него по высшему повелѣнію, шадитъ его, какъ писателя, направилась сама собою, и Гоголь облюбовалъ эту льстивую мысль.

Онъ боялся смерти, и какъ разъ въ эти годы ему пришлось дважды столкнуться съ нею, и она произвела на его романтическую душу возвышенно мистическое впечатлѣніе, которое непосредственно отозвалось и на его религіозномъ чувствѣ, и на его мысляхъ о собственномъ призваніи.

Скончался Пушкинъ. Гоголь усмотрѣлъ въ этой смерти для себя юное указаніе свыше. Ничто не можетъ сравниться съ той скорбью, такую онъ испыталъ при этой вѣсти. «Все наслажденіе моей жизни, омырилъ онъ,—все мое высшее наслажденіе печезло вѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта, ни одна строка не писа-

лась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собой. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепеть невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу. Боже! нынѣшній трудъ мой («Мертвая Душа»), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался я за перо—и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!» «Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собой только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я пелъ на презрѣнную чернь: мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ... Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моей высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?» «Великаго не стало». «О Пушкинъ, Пушкинъ, какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе!» «Боже какъ странно, Россія безъ Пушкина» *).

С. Т. Аксаковъ, близко знавшій Гоголя, утверждалъ, что смерть Пушкина «была единственной причиной всѣхъ болѣзненныхъ явленій его духа, вслѣдствіе которыхъ онъ задавалъ себѣ неразрѣшимые вопросы, на которые великій талантъ его, изнеможенный борьбою, съ направленіемъ отшельника, не могъ дать сколько-нибудь удовлетворительныхъ отвѣтовъ» **). Мы знаемъ, однако, что эти неразрѣшимые вопросы Гоголь задавалъ себѣ и раньше, тогда, когда направленіе отшельника въ немъ еще совсѣмъ не сказывалось, но смерть Пушкина была для него все-таки какъ бы откровеніемъ свыше. Гоголь сталъ думать, что къ нему переходила теперь по наследству та роль пророка-прѣзда, которую его другъ такъ грустно закончилъ; и мысль о смерти, неожиданной и случайной, влекла за собой другую мысль о необходимости торопиться со своимъ трудомъ, съ трудомъ, начатымъ съ благословенія Пушкина и теперь осиротѣвшимъ. Молитва къ Богу и воззваніе къ своему гевію слились въ одно. Художникъ сталъ перерождаться въ пророка, но мнительнаго пророка, ожидающаго съ минуты на минуту призыва покинуть земное.

И судьба, какъ нарочно, еще разъ показала ему, какъ гибнетъ

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 432, 434, 436, 441, 459; II, 12.

**) С. Аксаковъ. «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», М. 1890, 13.

случайно и бессмысленно прекрасное въ жизни. Въ 1839 году ему въ Римѣ пришлось провести вѣсколько ночей у одра умирающаго друга, молодого Юсифа Вельгорскаго. Ничѣмъ этотъ юноша не заявилъ себя, но природа, если вѣрить людямъ, его знавшимъ, соединила и одарила его всѣми дарами и духовными, и тѣлесными. Гоголь былъ къ нему давно привязавъ, но неразрывно и братски сошелся съ нимъ только во время его болѣзни. Гоголь жилъ его умирающими днями и ловилъ его минуты. «Непостижимо страшна судьба всего хорошаго у насъ въ Россіи,—говорилъ онъ, глядя на умирающаго друга. — Едва только оно успеетъ показаться—и тотчасъ же смерти! безжалостная, немолчаливая смерть. Я ни во что теперь не вѣрю и если встрѣчаю что прекрасное, то жмуру глаза и стараюсь не глядѣть на него. Отъ него мнѣ несетъ запахомъ могилы...» *) Она его очень разстроила, эта юная смерть, но вмѣстѣ съ тѣмъ наполнила его душу необычайно вѣжными чувствомъ. Гоголь далъ этому чувству волю на двухъ-трехъ страницахъ своего дневника. Онѣ озаглавлены: «Ночи на вилгѣ». Это очень поэтическия страницы, характерныя для нашего романтика, въ которомъ тогда какъ крѣпло и разогрѣвалось религіозное чувство. Въ этомъ дневникѣ оно не принимало еще того строгаго, суроваго аскетическаго оттѣнка, который появился въ позднѣйшихъ словахъ Гоголя, когда мысль о собственной смерти начала страшить его. Эти «Ночи на вилгѣ» — вѣжный гимнъ смерти, ея тихое вѣяніе, уловленное человекомъ, который умѣетъ понять и прочувствовать ея страшную поэзію. Вѣжный, (даже пригорный тонъ въ рѣчахъ, которыми обихиваются больной юноша и поэтъ, ловящій его послѣдніе вздохи... дыхание весны крутомъ и желаніе принять на себя смерть своего друга и ожиданіе близкой развязки... и цѣлый рядъ летучихъ воспоминаній о своемъ дѣтствѣ, когда молодая душа искала дружбы и братства, когда сладко смотрѣлось очами въ очи, когда весь готовъ былъ на пожертвованія, часто даже вовсе ненужныя... Въ такомъ рядѣ поэтическихъ образовъ, настроеній и словъ давалъ себя чувствовать нашему поэту тотъ страшный послѣдствитель, который вѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ кончины Вельгорскаго напугалъ его самого насмерть.

Въ 1840 году здоровье Гоголя, и вообще не цвѣтущее, сильно ошатнулось. Трудно теперь сказать, чѣмъ въ сущности онъ былъ ментъ. Самымъ тяжелымъ симптомомъ болѣзни было подавленное мнхическое состояніе больного. Еще въ ноябрѣ 1836 г., когда Гоголь жилъ въ Вевѣ, докторъ отыскалъ въ немъ признаки ипо-

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 606, 612.

хондрии, происходившей отъ геморроидъ, и совѣтовалъ ему развлекать себя. Въ апрѣлѣ 1837 года Гоголь признается, что на него находятъ часто печальныя мысли, которыя — по опредѣленію врачей — слѣдствіе той-же ипохондрии. Эта ипохондрія, усиленная скорбью о смерти Пушкина, гонится за нимъ по пятамъ и осенью этого же 1837 года. Черезъ годъ онъ говоритъ, что болѣзнь деспотически вошла въ его составъ и обратилась въ натуру. «Что если я не окончу труда моего?—начинаетъ онъ себя спрашивать...—О! прочь эта ужасная мысль! Она вѣщаетъ въ себѣ цѣлый адъ мукъ, которыхъ не доведи Богъ вкушать смертному!» Но отогнать эту мысль Гоголь былъ не въ силахъ; она съ этого времени настойчиво стучалась ему въ голову. «О если бы на четыре, пять лѣтъ здоровья, говорилъ онъ. И неужели не суждено осуществиться тому... много думалъ я совершить... еще донынѣ голова моя полна, а силы, силы... но Богъ милостивъ. Онъ, вѣрно, продлитъ дни мои... Несносная болѣзнь. Она меня сушитъ. Она мнѣ говоритъ о себѣ: каждую минуту и вѣщаетъ мнѣ заниматься. Но я веду свою работу, и она будетъ кончена, но другія, другія... О! какіе существуютъ великіе сюжеты!» *).

Весъ 1838 г. болѣзнь не давала ему покоя. Въ 1839 году она усилилась, и настроеніе его духа, послѣ смерти Вельгорскаго, стало очень мрачно.

Болѣзненное состояніе и тяжелое настроеніе духа держались и за все время краткаго пребыванія Гоголя въ Россіи въ концѣ 1839 г. и въ началѣ 1840 г. Ему стало легче, когда онъ выѣхалъ изъ Россіи. Дорога сдѣлала надъ нимъ свое чудо. Онъ, свѣжій и бодрый, пріѣхалъ въ Вѣну пить маріенбадскую воду. Но здѣсь, въ Вѣнѣ, болѣзнь сразу обострилась, и онъ въ первый разъ испыталъ смерти. Онъ самъ рассказывалъ такъ объ этомъ приступѣ болѣзни. «Лѣтомъ (1840), въ жаръ, мое нервическое пробужденіе обратилось вдругъ въ раздраженіе нервическое. Все мнѣ бросилось разомъ на грудь. Я испугался; я самъ не понималъ своего положенія; я бросилъ занятія, думалъ, что это отъ недостатка движенія при водахъ и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до усталости и сдѣлалъ еще хуже. Нервическое разстройство и раздраженіе возросло ужасно: тяжесть въ груди и давленіе, никогда дотогѣ мною не испытанное, усилилось. По счастью, доктора шапши, что у меня еще нѣтъ чахотки, что это желудочное разстройство, остановившееся пищевареніе и необыкновенное раздраженіе нервъ. Отъ этого мнѣ было не легче, потому что леченіе мое было довольно опасно,

*) «Письма Н. В. Гоголя», I, 414, 412, 454, 514, 519, 520, 555.

то, что могло бы помочь желудку, дѣйствовало разрушительно на нервы, а нервы обратно на желудокъ. Къ этому присоединилась болѣзненная тоска, которой нѣтъ описанія. Я былъ приведенъ въ такое состояніе, что не зналъ рѣшительно, куда дѣть себя, къ чему прислониться. Ни двухъ минутъ я не могъ остаться въ покойномъ положеніи ни на постели, ни на стулѣ, ни на ногахъ. О! это было ужасно! Это была та самая тоска, то ужасное безпокойство, въ какомъ я видѣлъ іѣднаго Вельегорскаго въ послѣднія минуты жизни! Съ каждымъ днемъ послѣ этого мнѣ становилось хуже и хуже. Наконецъ уже докторъ самъ ничего не могъ предречь мнѣ утѣшительнаго. Я понималъ все положеніе и наскоро, собравшись съ силами, нацарапалъ, какъ могъ, общее духовное завѣщаніе. Но умереть среди нѣмцевъ мнѣ показалось глупо. Я велѣлъ себя посадить въ дилижансъ и вѣсти въ Италію *).

Сильный приступъ болѣзни и тоски на этотъ разъ прошелъ, однако, очень быстро. Физическія силы Гоголя возстановились и вмѣстѣ съ ними онъ воспрянулъ духомъ. Литературная работа, прѣстанныя, снова закипѣла, міросозерцаніе просвѣтлѣло, и большой подъемъ пытало его религиозное чувство: его «великій трудъ» былъ спасенъ и его глазахъ, и, какъ онъ былъ увѣренъ, спасенъ Божьимъ вмѣшательствомъ. «Одна только чудная воля Бога воскресила меня,—писалъ въ одной своей пріятельницѣ осенью 1840 года.—Я до сихъ поръ не могу очнуться и не могу представить, какъ я избѣжалъ отъ этой ясности! Это чудное мое исцѣленіе наполняетъ душу мою утѣшею и несказаннымъ: стало быть, жизнь моя еще нужна и не будетъ злосезна». «О моей болѣзни мнѣ не хотѣлось писать къ вамъ,—ворилъ онъ С. Т. Аксакову,—потому что это бы васъ огорчило. Теперь я пишу къ вамъ, потому что здоровъ, благодарн чудной силѣ и, воскресившаго меня отъ болѣзни, отъ которой, признаюсь, я думалъ уже встать. Много чудеснаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни» **).

Таково было отраженіе новыхъ внѣшнихъ условій жизни на психкѣ нашего поэта. Врожденный ему культъ красоты, эстетизмъ его міросозерцанія и темперамента, если такъ можно выразиться, нашелъ въ большую поддержку въ той поэтической обстановкѣ, въ которой приходилось жить за границей; и это утопаніе въ красотѣ должно было отразиться на его талантѣ бытописателя, должно было рано или

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 80, 81.

**) «Письма Н. В. Гоголя», II, 72, 90.

воздно навязать этому таланту известную тенденцію, при которой вполне объективное изображение жизни было трудно достижимо.

Неблагоприятна была для повѣствователя дѣлъ житейскихъ и та религіозная восторженность, которая все больше и больше охватывала душу Гоголя. Она его удаляла отъ земли и несла къ небу, и жеманіе видѣть небесное здѣсь на землѣ должно было помутить ясность и зоркость его безпристрастнаго взгляда на раскинувшуюся передъ нимъ жизнь дѣйствительную.

Болѣзненное состояніе духа также мало способствовало спокойной оцѣнкѣ реальныхъ явленій и грозило гибельно отозваться на юморѣ писателя—на этомъ самомъ сильномъ и блестящемъ оружіи его духа.

Наконецъ, все больше и больше разгоравшееся самолюбіе, склонность любить въ себѣ не только писателя, но и наставника, должна была, въ концѣ концовъ, заставить нашего художника-наблюдателя дѣлать въ жизни не столько ея реальную внѣшность, сколько ея нравственный, внутренній смыслъ, а потому и стремиться, чтобы этотъ смыслъ—вопреки, можетъ быть, правдѣ—проступалъ наружу въ томъ или другомъ присочиненномъ образѣ или явленіи. Пророчество должно было ворваться въ хладнокровный рассказъ о видѣнностяхъ и слышанностяхъ.

Однимъ словомъ, всѣ психическія движенія мятежной души поэта были за этотъ періодъ времени (1836—1842 г.) враждебны и неблагоприятны для его таланта юмориста и бытописателя. Но этотъ талантъ передъ окончательной гибелью собралъ всѣ свои силы и одержалъ побѣду надъ враждебными ему настроеніями и мыслями художника. Это была послѣдняя побѣда, за которой послѣдовалъ упадокъ. Но никто изъ читавшихъ комедіи Гоголя, его повѣсти написанныя и подвоженные загравицей и его «Мертвыя Души» не могъ подозревать, что этотъ упадокъ былъ такъ неизбеженъ и близокъ.

XIV.

литературная деятельность Гоголя въ 1837—1842 годах.— Новые планы и труды, переработка стараго.— Крушеніе литературныхъ плановъ въ старомъ романтичномъ стилѣ.— Неудача съ «запорожской» трагедіей.— Неоконченная повѣсть «Римъ»; автобиографическое значеніе.— Полное торжество реализма въ творчествѣ Гоголя; окончательная отдѣлка комедій; усиленіе реальныхъ чертъ въ прежнихъ романтическихъ повѣстяхъ: «Портретъ» и «Тарасъ Бульба».— Повѣсть «Шинель»; смѣлый юморъ.— Аполлогія смѣха и юмора въ «Театральномъ Развѣздѣ».

Суетливая и полная новыхъ ощущеній жизнь за границей благотворно отозвалась на литературномъ трудѣ Гоголя. Отдохнувъ отъ непріятныхъ впечатлѣній послѣднихъ мѣсяцевъ своей петербургской жизни, надивившись новизной своего положенія, какъ вольнаго странника, Гоголь иень скоро принялся за работу. За границу онъ поѣхалъ съ намѣреніемъ поработать «съ болышимъ размышленіемъ» надъ задуманнымъ маномъ («Мертвыя Души»), начало котораго было имъ написано въ Петербургѣ. Трудясь послѣдовательно, хотя и урывками, надъ нимъ произведеніемъ, Гоголь, однако, не могъ на немъ сосредоточиться. У него скоро явилось желаніе пересмотрѣть и переработать уже писанное и хотя, какъ мы видѣли, онъ и призывалъ какую-то молу, которая съѣла бы все его сочиненія, но на самомъ дѣлѣ онъ поспѣшилъ радить ихъ отъ порчи, подновивъ ихъ или передѣлавъ. Для этой цѣли онъ выписалъ себѣ изъ Петербурга оставленные тамъ рукописи и данныя имъ книги.

Такимъ образомъ, литературная работа Гоголя за это время (1837—42) шла одновременно въ двухъ направленіяхъ: онъ шелъ впередъ, — писалъ свой романъ и дѣлалъ еще кое-какія попытки разработать новые сюжеты, и одновременно оглядывался назадъ и исправлялъ старыя. Но если въ самомъ порядкѣ работы никакой системы не было, въ общемъ направленіи этой непослѣдовательной работы можно замѣтить очень опредѣленную художническую тенденцію. За весь этотъ перодъ времени въ творчествѣ Гоголя реализмъ беретъ рѣшительный перевѣсъ и проявляется во всей своей силѣ какъ въ новыхъ, задуман-

ныхъ и частью выполненныхъ, планахъ, такъ равно и въ передѣлкахъ стараго. Только къ концу этого времени, подмѣчается вновь стремленіе художника внести въ свои творенія хорошо намъ знакомое субъективно-романтическое настроеніе, которое сказывается, напр., въ лирическихъ мѣстахъ «Мертвыхъ Душъ» и въ послѣднихъ главахъ переработаннаго «Тараса Бульбы». Но прежде чѣмъ это настроеніе заволокло совѣсть и навсегда душу писателя (а это случилось приблизительно въ серединѣ сороковыхъ годовъ)—художникъ успѣлъ въ періодъ, о которомъ говоримъ мы (1837—1842), создать вновь и закончить нѣсколько образцовыхъ произведеній, которыя спасли его имя какъ великаго писателя. И всѣ эти произведенія были созданы въ стилѣ строгаго реализма.

Ознакомимся же поближе съ литературной работой Гоголя за это время наибольшаго расцвѣта его таланта—наибольшаго потому, что именно въ эти годы онъ довелъ до художественнаго совершенства всѣ свои комедіи, создалъ первую часть «Мертвыхъ Душъ», написалъ свой самый глубокій по замыслу рассказъ «Шинель» и исправилъ всѣ художественные недочеты двухъ лучшихъ своихъ повѣстей: «Портретъ» и «Тарасъ Бульба».

Первое, что должно отмѣтить въ исторіи развитія его приѣмовъ мастерства за этотъ періодъ это—полную неудачу всѣхъ попытокъ создать что-либо новое въ прежнемъ романтическомъ стилѣ.

А Гоголь, живя за границей въ 1837—1841 годахъ, дѣлалъ такія попытки. Если не считать какого-то грандіознаго, неизвѣстно въ чемъ заключавшагося, «Левіаѳана», надъ которымъ онъ думалъ въ Парижѣ, еще въ 1836 году—и «священная дрожь пробирала его заранѣе, и онъ вкушалъ божественныя минуты»,—то безсиліе романтическаго міросозерцанія покорить себѣ его творчество въ эти годы лучше всего подтверждается неудачей двухъ литературныхъ плановъ, къ которымъ очень лежало тогда его сердце.

Однимъ изъ этихъ плановъ была задуманная Гоголемъ «запорожская» трагедія, подъ заглавіемъ «Выбритый Усь». Авторъ обдумывалъ ее въ 1839 году, трудился много и былъ одно время даже увѣренъ, что она будетъ лучшимъ изъ его произведеній. Онъ стремился запастись и вновь надыхнуться, сколько возможно, стариной; передъ нимъ какъ онъ признавался, проходили какъ прежде, поэтическимъ строемъ времена казачества. «Если я ничего не сдѣлаю изъ этого (сюжета), — говорилъ онъ, то я буду большой дуракъ. Малороссійскія ли пѣсни, которыя теперь у меня подъ рукою, навѣяли его или на душу мою нашло само собою яснovidнѣе прошедшаго, только я чую много того, что мнѣ рѣдко случается». Но эти планы оставались планами,

Гоголь признался, что «его трудъ — неидеть» *), хотя, если вѣрить Т. Аксакову, говорить, «что драма у него вполне составлена въ словѣ, и что ему будетъ достаточно двухъ мѣсяцевъ, чтобы переписать ее на бумагу». Но нашъ мечтатель, мы знаемъ, принималъ иногдаожимое за настоящее. Вдохновение очевидно въ данномъ случаѣ измѣлио художнику. При всей его любви къ старинѣ, онъ не нашелъ въ бѣ прежнихъ силъ для ея воскресенія въ образахъ.

Не хватило у Гоголя силы и на то, чтобы кончить повѣсть «Римъ», которой у него было связано много самыхъ дорогихъ воспоминаній. Какъ должно было развернуться содержаніе этой повѣсти—неизвѣстно, какъ, какъ въ томъ видѣ, въ какомъ она передъ нами, она—недофланный грывокъ безъ всякаго единства стиля. Въ ней много мастерскихъ живоныхъ этюдовъ. Римъ въ дни карнавала, отдаленная улица вѣчнаго рода съ ея типичными обывателями, чиновниками, мелкими торгашами, кильщиками и факинами, перекрестный разговоръ уличной толпы, игаро этого веселаго квартала—Пеппе,—все это описанія, образы, сцены, штрихи, достойные большого мастера... и подъятальянской одеждой сразу узнаемъ нашего юмориста. Но этотъ юмористъ въ своемъ разазѣ хотѣлъ показать себя намъ и тѣмъ восторженнымъ лирикомъ, кимъ онъ былъ въ первые годы своей литературной дѣятельности. В этомъ смыслѣ «Римъ»—запоздалое произведеніе, которое, вѣроятно, тому и не было окончено, что художникъ уже не могъ найти въ бѣ прежней силы, которая была нужна не для обрисовки бытоыхъ картинъ изъ римской жизни, а для выраженія того подъема эстетическаго и религіознаго чувства, какимъ самъ писатель былъ охваченъ, гда жилъ въ Итали. А именно этотъ-то свой личный восторгъ передъ божественной красотой и намѣревался Гоголь излить въ своемъ «имѣ». Героюмъ разказа былъ не вымышленный князь, упоенный красотой вѣчнаго города и Анниунціаты, а сама эта красота, какъ она плотилась въ природѣ, въ римскомъ народѣ, въ римской красавицѣ во всѣхъ чудесахъ торжествующаго въ Римѣ искусства. Мы знаемъ къ Гоголь самъ былъ обвороженъ этой красотой, въ которой для го вромленно потонули всѣ, и житейскіе, и даже религіозные интересы.

Перескажемъ содержаніе этой повѣсти, такъ какъ она лучше чѣмъ жуары, письма и изложеніе фактовъ передлетъ то впечатлѣніе, какое Гоголь вынесъ изъ своей встрѣчи съ міромъ искусства за границей.

Молодой итальянскій князь, біографію котораго нашъ авторъ началъ засказывать, не сразу разгадалъ эту великую тайну искусства; чтобы

*) «Письма П. В. Гоголя», I, 620, 622.

оцѣнить всю животворную силу красоты, онъ долженъ былъ пройти черезъ рядъ обобщеній, тщета которыхъ и могла ему указать на эстетическое созерцаніе, какъ на вѣрную пристань спасенія. И Гоголь заставилъ своего героя пройти эту школу обобщеній, не безъ намека на себя, конечно.

Прежде чѣмъ оцѣнить и понять смыслъ итальянской жизни, среди которой красота процвѣтаетъ, герой повѣсти долженъ былъ присмотрѣться къ быту иныхъ странъ, столь гордящихся своей цивилизаціей. Только послѣ этого сравненія могъ онъ съ чистымъ сердцемъ преклониться передъ своей родиной и изречь осужденіе всѣмъ инымъ интересамъ, какими живетъ Европа. Князь не мало путешествовалъ по Европѣ. «Дикое безобразіе швейцарскихъ горъ, громоздившихся безъ перспективы, безъ легкихъ далей, нѣсколько ужаснуло его взоръ, приученный къ высоко-спокойной, нѣжащей красотѣ итальянской природы. Въ нѣмецкихъ городахъ поразилъ его страшный складъ тѣла нѣмцевъ, лишенный стройнаго согласія красоты, чувство которой зарождено уже въ груди итальянца. Нѣмецкій языкъ также поразилъ непріятно его музыкальное ухо». И очутился князь, наконецъ, въ Парижѣ, въ этомъ вѣчномъ, волюющемся жерлѣ, водометѣ, мечущемъ искры новостей, просвѣщенія, модъ, изысканнаго вкуса и мелкихъ, но сильныхъ законовъ, отъ которыхъ не властны оторваться и сами порицатели ихъ. Онъ былъ пораженъ и увлеченъ этимъ вихремъ. За всѣмъ слѣдилъ онъ, за уличной жизнью, за театромъ, за литературой, за наукой. Жизнь его приняла широкій, многосторонній образъ, обнялась всѣмъ громаднымъ блескомъ европейской дѣятельности, онъ сталъ чувствовать себя членомъ великаго всемірнаго общества. Четыре года прожилъ онъ въ этомъ водоворотѣ и... разочаровался. Онъ увидалъ, что вся эта многосторонность и дѣятельность его жизни исчезала безъ выводовъ и плодоносныхъ душевныхъ осадковъ. Въ движеніи вѣчнаго его кипѣнія и дѣятельности видѣлась ему теперь страшная недѣятельность, страшное царство словъ вмѣсто дѣлъ. Опротивѣли ему и журналистика, и книги, и литература, и театръ, и цуще всего политика. Онъ увидалъ, что вся французская нація была что-то блѣдное, несовершенное, легкій водевиль, ею же порожденный. Не почла на ней неличественно-степенная идея. Вездѣ намеки на мысли, и нѣтъ самихъ мыслей; вездѣ полу-страсти и нѣтъ страстей; все не окончено, все намечано, набросано съ быстрой руки; вся нація — блестящая виньетка, а не картина великаго мастера. Хандра заволокла душу князя; онъ сталъ тосковать по Италиі и, наконецъ, вернулся на родину.

«Въ совсѣмъ иномъ свѣтѣ явилась она теперь передъ нимъ. Только

перь могъ онъ оцѣнить всю ея красоту и въ особенности красоту чужаго города. Онъ находилъ въ немъ все равно прекраснѣйшій и свѣтлѣйшій міръ, шевелившійся изъ-подъ темнаго архитрава, могучій среднѣвѣковъ, положившій вездѣ слѣды художниковъ исполнителей и величавой щедрости папъ, и, наконецъ, прильпившійся къ нимъ новѣйшій съ толпящимися новыми народонаселеніемъ. Онъ влюбился въ этотъ храмъ искусства, гдѣ не было толковъ о понизившихся формахъ, о камерныхъ преніяхъ, объ испанскихъ дѣлахъ: тутъ слышались чуждыя объ открытой недавно древней статуѣ, о достоинствахъ кисти великихъ мастеровъ, раздавались споры и разногласія о выставленномъ извѣдѣніи новаго художника, толки о народныхъ праздникахъ и, наконецъ, частныя разговоры, въ которыхъ раскрывался человѣкъ и горько вытѣснены изъ Европы скучными общественными толками и историческими мнѣніями, изгнавшими сердечное выраженіе съ лица».

И князь упивался этимъ новымъ для него восторгомъ передъ красотой—живой и мертвой, и понималъ, наконецъ, въ чемъ назначеніе его жизни. Одно время онъ мечталъ о воскресеніи ея политическаго значенія, теперь онъ почувствовалъ, смутясь, Великій Чертежъ, начертывающій всеобщія событія. Пусть въ нищенскомъ вретисцѣ очутилась Италия и пелеными отрѣпьями висятъ на ней куски ея померкнувшей царственной славы,—она не умерла и слышится ея неотразимое вѣчное владычество надъ всѣмъ міромъ, надъ нею вѣчно вѣетъ ея великій геній. Пусть историческое ея вліяніе исчезло,—ея геній развернулся надъ міромъ въ искусственными дивами, искусствами, подарившими человѣку невѣдомыя радости и божественныя чувства... И понималъ князь, что самой ветхой и разрушеніемъ своимъ Италия грозно владычествуетъ нынѣ въ мірѣ. Двое собраніе отжившихъ міровъ и презрѣсть соединенія ихъ съ вѣчно тущей природой,—все существуетъ для того, чтобы будить міръ, чтобы жителю сѣвера, какъ сквозь сонъ, представлялся иногда этотъ югъ, въ мечтѣ о немъ вырывала его изъ среды холодной жизни, пренной занятіями, очерсгавающимъ душу, вырывала бы его оттуда, шумъ ему везданно уносящую вдаль перспективой, коллизейскою ю при лунѣ, прекрасно умирающей Венеціей, невидимымъ небеснымъ блескомъ и теплыми поцѣлуями чудеснаго воздуха—чтобы хоть въ жизни былъ онъ прекраснѣйшій человѣкомъ...»

Князь примирился съ паденіемъ своего отечества и полюбилъ свой народъ, въ которомъ сталъ видѣть матеріалъ еще непочатый, этотъ младенчески-благородный народъ, съ характеромъ смѣшаннымъ изъ добродушія и страстей, народъ со свѣтлой непритворной любовью, которой нѣтъ у другихъ народовъ. Онъ оцѣнилъ въ

немъ черты природнаго художественнаго инстинкта, онъ полюбилъ его за чувство справедливости, которое сохранилась въ немъ, несмотря на негнѣность правительственныхъ постановленій и бессмысленную кучу всякихъ законовъ, накопившихся Богъ вѣсть съ какого времени. Онъ вѣрилъ, что для этого народа готовится какое то поприще впереди. Европейское просвѣщеніе какъ будто съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія...

Князь утопалъ въ надеждахъ на будущее и въ спокойномъ созерцаніи настоящаго, и случай захотѣлъ, чтобы сама красота предстала его очамъ въ человѣческомъ образѣ. Онъ мелькомъ, случайно, увидалъ Аннунциату. «Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскрывъ черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потокомъ блеска: таковы очи у альбанки Аннунциаты. Густая смола волосъ тяжеловѣсной косою вознеслась въ два кольца надъ головой и четырьмя длинными кудрями разсыпалась по шеѣ. Какъ ни поворотитъ она сіяющій свѣтъ своего лица—образъ ея весь отпечатлѣлся въ сердцѣ. Но чудесіе всего когда глянетъ она прямо очами въ очи, водрузивъ хладъ и замрзанье въ сердце. Полный голосъ ея звенитъ, какъ мѣдъ. Никакой гибкой пантерѣ не сравниться съ ней въ быстротѣ, силѣ и гордости движеній. Все въ ней—вѣнецъ созданья.»

И князь влюбился въ это чудо природы... Онъ погнался за нимъ, чтобы наглядѣться на него; онъ сталъ отыскивать его всюду, ...и вотъ въ поискахъ своихъ за этимъ чудеснымъ видѣньемъ ему однажды случилось взглянуть на Римъ при закатѣ солнца. «Вѣчный городъ открылся предъ нимъ во всемъ своемъ великолѣпіи, во всей своей чудной сіяющей панорамѣ домовъ, церквей, куполовъ, остроконечій. Надъ всей сверкающей массой темнѣли вдали своей черной зеленью верхушки каменныхъ дубовъ изъ сосѣднихъ виалъ и цѣлымъ стадомъ стояли надъ нимъ въ воздухѣ куполообразныя верхушки римскихъ пиинъ, поднятые тонкими стволами. Во всю длину всей картины возносились и голубѣли прозрачныя горы, легкія, какъ воздухъ, объятые какимъ-то фосфорическимъ свѣтомъ. Солнце опускалось ниже къ землѣ: румянѣе и жарче сталъ блескъ его на всей архитектурной массѣ: еще живѣе и ближе сдѣлался городъ; еще темнѣе зачернѣли поляны; еще голубѣе и фосфоричѣе стали горы; еще торжественнѣе и лучше готовый погаснуть небесный воздухъ... Боже! Какой видъ! Князь, объятый имъ, позабылъ и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свѣтѣ!...»

И въ этомъ созерцательномъ настроеніи покинулъ Гоголь своего князя. Все, даже чувство загоравшейся любви, ушло передъ красотой, и эстетикъ впалъ въ оцѣненіе передъ ликомъ своего Бога... Нельзя, конечно, поставить на счетъ Гоголя всѣ слова князя и все, что объ этомъ князѣ говорится. Гоголь дошелъ до Рима путемъ болѣе короткимъ, и въ Парижѣ не замѣшкался. Ему не нужно было разочаровываться въ политикъ, которой онъ никогда очарованъ не былъ. Но во всемъ остальномъ мы узнаемъ въ князѣ нашего романтика, который грѣлся подъ итальянскимъ небомъ. Всепоглощающая любовь къ красотѣ, религиозное чувство, умиленіе передъ старинной, сентиментальный взглядъ на народную массу, преклоненіе передъ ослѣпительной красотой женщины и это утопаніе въ нѣжныхъ ощущеніяхъ чего-то далекаго, неземнаго и безстрашнаго—все это намъ уже встрѣчалось и въ характерѣ, и въ мысляхъ, и въ словахъ нашего писателя. Въ Итали всѣ эти романтическія чувства въ немъ оживились, онъ хотѣлъ одѣть ихъ въ плоть и кровь въ своемъ «Римѣ»... но сила художника ему изменила, и повѣсть осталась неоконченной.

Талантъ Гоголя былъ однако въ полной силѣ, но только нужны были иные, не такіе романтическіе сюжеты, чтобы эта сила могла свободно развернуться.

Этотъ все болѣе и болѣе расцвѣтавшій талантъ бытописателя, талантъ, стремившійся къ возможно тѣсному сліянію правды въ искусствѣ съ правдой жизни—сказался не только на крушеніи плановъ, задуманныхъ въ старомъ романтическомъ стилѣ, но и на переклѣпкѣ уже написанныхъ прежнихъ повѣстей и комедій. Во всѣхъ этихъ переработкахъ ясно проступаетъ тенденція сблизить какъ можно тѣснѣе искусство и жизнь. Детальная отдѣлка комедій—«Женитьбы», «Ревизора» и остатковъ отъ «Владимира третьей степени»—была вся направлена къ тому, чтобы сдѣлать эти, и безъ того жизненные пьесы, какъ можно болѣе правдоподобными. Авторъ мѣнялъ сценарій, мѣнялъ ролики и все оставался недоволенъ не типами и не фабулой, а именно естественностью въ рѣчахъ и положеніяхъ своихъ героев; зато, когда всѣ эти передѣлки въ 1842 году были закончены, пьесы Гоголя и стали образцами истинно-художественныхъ комедій, народныхъ и бытовыхъ.

Любопытно, впрочемъ, чѣмъ эта послѣдняя работа надъ комедіями, была переработка прежнихъ романтическихъ повѣстей, которая урывками занимала Гоголя за границей. Еще до того времени, когда ему пришла мысль издать полное собраніе своихъ сочиненій, онъ задумывался

наль передѣлать дѣй повѣсти, нѣкогда съ большой любовью имъ написанныя. Это были—«Портретъ» и «Тарасъ Бульба» *).

Объ повѣсти, романтическія по замыслу и выполнению, подверглись очень обстоятельной передѣлкѣ. Она не коснулась впрочемъ сущности сюжета и была направлена исключительно на детали, въ интересахъ все того же торжествующаго реализма. Наиболѣе существенныя перемѣны испытала повѣсть «Портретъ».

Основная ея идея—контрастъ истиннаго вдохновенія и ремесла—осталась неизмѣненной, но реальный элементъ въ повѣсти былъ значительно усиленъ.

Типъ художника, опустившагося до ремесла былъ вырисованъ съ болѣею тщательностью и исторія вырожденія его артистической души рассказана болѣе обстоятельно. Фантастическій элементъ былъ значительно смягченъ въ угоду правдоподобности: онъ не исчезъ совсѣмъ изъ повѣсти, потому что иначе пострадала бы завязка, но все ненужное, несущественное въ немъ было устранено. Исторія продажи портрета и его появленія на квартирѣ Черткова была рассказана вполне правдоподобно; таинственное ночное появленіе старика ростовщика у постели художника было мотивировано, какъ вполне понятный кошмаръ; исчезновеніе портрета на аукціонѣ объяснено также какъ вполне возможная кража. Наконецъ, въ преступленію того художника, который писалъ дьявольскій портретъ, подыскано иное объясненіе, психологически болѣе тонкое. Грѣхъ художника заключался не въ томъ, что онъ сохранилъ на холстѣ черты антихриста (объ антихристѣ въ этой второй редакціи «Портрета» умалчивается), а въ томъ, «что художникъ не чувствовалъ никакой любви къ своей работѣ, что онъ насильно хотѣлъ покорить себя и бездушно, заглушивъ все, быть вѣрнымъ природѣ, что произведеніе его не было созданіе искусства и потому чувства, которыя обнимали всѣхъ при взглядѣ на него, были мятежными и тревожными чувствами».

Но самое характерное измѣненіе въ новой редакціи «Портрета» испытала одна мысль, которая въ первоначальной редакціи была, какъ мы знаемъ, подчеркнута авторомъ очень рѣшительно. Тогда, когда онъ впервые заинтересовался этимъ сюжетомъ, онъ былъ посторженный романтикъ и онъ боялся, какъ бы искусство не проиграло отъ слишкомъ тѣснаго сближенія съ жизнью. Онъ, описывая неприятое впечатлѣніе произведенное портретомъ на зрителя, спрашивалъ себя тогда, отчего переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужъ

*) Начало работъ надъ второй редакціей «Портрета» въ 1837 г. Окончаніе въ 1841 г. Начало переработки «Тараса Бульбы» въ 1838 г., окончаніе въ 1842 г.

жизнь? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ—говорилъ онъ—накопедъ, дѣйствительность—та ужасная дѣйствительность, на которую охсакиваетъ воображеніе съ своей оси какими-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему и тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? *) Въ новой редакціи этотъ страхъ передъ лицомъ реальнымъ искусствомъ значительно смягченъ: вина художника не въ томъ, что онъ слишкомъ близко подошелъ къ жизни, а въ томъ, что онъ «рабски, буквально подражалъ натурѣ, неумѣло подошелъ къ ней.» Уписывая то же неприятное впечатлѣніе, произведенное портретомъ, Гоголь такъ выразилъ свою мысль: «или рабское, буквальное подражаніе натурѣ есть уже проступокъ и кажется яркимъ, нестройнымъ рикомъ? спрашивалъ онъ. Или, если возьмешь предметъ безучастно, безчувственно, не сочувствуя съ нимъ, онъ непремѣнно предстанетъ только въ одной ужасной своей дѣйствительности, не озаренный свѣтомъ какой-то непостижимой, скрытой во всемъ мысли, предстанетъ въ той дѣйствительности, которая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружаешься анатомическимъ ножомъ, изсѣкаешь его внутренность и видишь отвратительнаго человѣка? почему же простая, низкая природа является у одного художника въ какомъ-то свѣту—и не чувствуешь никакого низкаго впечатлѣнія; напротивъ, кажется, какъ будто наслаждался, и послѣ того спокойнѣе и выше все течетъ и движется вокругъ тебя?»

Какъ видитъ, авторъ измѣнилъ свою прежнюю точку зрѣнія: страшна не искусства не дѣйствительность, хотѣлъ онъ сказать; и опасность грозитъ художнику не отъ предмета, который избралъ онъ, а отъ недостатка гинно-художественнаго къ нему отношенія. И эту же мысль настойчиво вторилъ Гоголь во второй редакціи своей повѣсти и устами того живописца, который согрѣшилъ противъ искусства, теперь уже не тѣмъ, что нарисовалъ портретъ со злого оригинала, а тѣмъ, что рисовалъ его, любя, безъ вдохновенія. «Изсѣдуй, изучай все, что ни видишь,—говоря этотъ живописецъ въ наставленіе своему сыну,—покори все какою-нибудь во всемъ умѣи находить внутреннюю мысль и цуце всего старая постигнуть высокую тайну созданія. Блаженъ избраницикъ, властвующій ею. *Нѣтъ ему низкаго предмети въ искусствѣ.* Въ ничтожномъ художникъ-создатель такъ же великъ, какъ въ великомъ; въ прежнему у него уже нѣтъ презрѣннаго, ибо свозить невидимо свозь

*) См. выше, стр. 170.

него прекрасная душа создавшего и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо протекло сквозь чистилище его души...

Такъ писалъ нашъ художникъ, когда сквозь чистилище его собственной души проходило все презрѣнное и ничтожное русской жизни. Онъ какъ будто оправдывался и передъ читателемъ, и передъ самимъ собою въ выборѣ своихъ чисто реальныхъ темъ. И, дѣйствительно, Гоголь, въ эти годы, при каждомъ удобномъ случаѣ стремился разсужденіемъ поддержать реальное направленіе своего творчества; и, какъ видимъ, онъ даже въ старыя повѣсти вставлялъ такія разсужденія...

Стремленіе сблизить искусство съ жизнью сказалось и на тѣхъ передѣлкахъ, какимъ подверглась другая любимая повѣсть нашего писателя—«Тарась Бульба».

Эта переработка также не коснулась ни основной завязки разсказа, ни характеристики главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Вниманіе автора, который тогда, кстати сказать, перечитывалъ Вальтеръ-Скотта, было направлено лишь на то, чтобы согласовать свое повѣствованіе какъ можно больше съ исторической правдой того времени, о которомъ онъ разсказывалъ.

Къ этому старому времени, къ этой своей старой любви Гоголь опять вернулся въ 1839 году и началъ вчитываться въ памятники малорусской старины и въ изслѣдованія, старыя и новыя, посвященные малороссійской исторіи. Очень многое для второй редакціи «Бульбы» дали малороссійскія пѣсни и глѣтописцы, и картина казацкой жизни въ сѣча и въ походѣ обогатилась многими подробностями. Реальный колоритъ повѣсти значительно выигралъ отъ этихъ деталей, равно какъ и отъ смягченія нѣкоторыхъ ультра-романтическихъ описаній казацкихъ подвиговъ, которые въ первой редакціи были выдержаны въ сказочномъ тонѣ; болѣе тонкой и правдивой стала и психологическая мотивировка основной сентиментальной любовной интриги.

При всѣхъ этихъ уступкахъ реализму, повѣсть все-таки осталась романтической по стилю, возвышенной по настроенію и въ новозъ своемъ видѣ была также похожа скорѣй на длинную балладу, чѣмъ на эпическій разсказъ, тѣмъ болѣе, что Гоголь усилилъ во второй редакціи «Бульбы» патріотическій и религіозный мотивъ, уже достаточно ясно проступавшій и въ первой. Едва ли Бульба, умирая, могъ самъ отъ себя грозить въ такихъ словахъ «чортовымъ яхамъ»: «Придетъ время, узнаете вы, что такое православная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальные и близкіе народы: подымется изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ

силы, которая бы не покорилась ему» *). Но несмотря на такое вторичное лиризм, вторая редакція «Бульбы», какъ и всѣ переработки стараго, говоритъ лишь о расцвѣтѣ въ Гоголѣ желанія писать какъ можно точнѣе съ натуры, хотя бы въ данномъ случаѣ — съ мертвой.

Одновременно съ этими попытками передѣлать прежнія романтическія повѣсти и бытовыя комедіи, приближая ихъ по возможности къ типу повѣстей и комедій самыхъ жизненныхъ и реальныхъ, Гоголь въ эти же годы былъ занятъ и иными новыми, весьма разносторонними литературными планами. Часть ихъ была задумана еще въ Петербургѣ, другіе пришли ему въ голову за границей. Все, что было задумано раньше, Гоголь закончилъ, какъ, напр., первую часть «Мертвыхъ Душъ», повѣсть «Шинель», и «Театральный Разъѣздъ»; все прочее осталось недоделаннымъ, а иногда просто добрымъ желаніемъ. Въ романтической запорожской драмы, мы видѣли, ничего не осталось, кромѣ жалкихъ набросковъ; «Римъ» оконченъ не былъ, «Левашинъ» остался мечтой; такой же мечтой былъ и планъ написать космо изъ «нѣмецкой жизни, что должно было быть очень смѣшно» **), и увѣренію самого автора; отъ двухъ какихъ-то бытовыхъ повѣстей, которыя онъ задумалъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ, до насъ дошли также ничтожныя ключья, ничего не говорящія объ ихъ содержаніи; и только переводъ незначительной комедіи итальянца Жиро, «Дядька въ затруднительномъ положеніи» ***), успѣлъ Гоголь старательно выправить, торопясь слать ее своему другу Щепкину для бенефиса.

Новое не писалось, и вся сила художника ушла на выполнение заманнаго раньше. Эта сила юмориста и бытописателя, одерживая къ верху надъ враждебными ей сентиментально-романтическими мыслями и настроеніями поэта, развернулася вполнѣ свободно въ трехъ патникахъ истинно-реальнаго творчества — въ повѣсти «Шинель», въ театральномъ Разъѣздѣ и въ первой части «Мертвыхъ Душъ».

Разсказъ «Шинель» былъ задуманъ Гоголемъ въ 1834 году и возкъ, какъ извѣстно, изъ «канцелярскаго анекдота о какомъ-то чиновникѣ, страстно охотникѣ за птицей, который необычайной эко-

*) Подробное сличеніе двухъ редакцій «Бульбы» дано въ X-мъ изданіи сочиненій Н. В. Гоголя въ примѣчаніяхъ Н. С. Тихонравова, I, 569—677.

**) Гоголю пришла эта мысль въ голову тотчасъ, какъ онъ покинулъ Россію въ 1836 году.

***) Переводъ былъ сдѣланъ, по указанію Гоголя, русскими художниками въ А. въ 1840 году.

номіей и неутомимыми усиленными трудами сверхъ должности накопилъ сумму, достаточную на покупку хорошаго лепажевскаго ружья рублей въ 200. Въ первый разъ, какъ на маленькой своей лодочкѣ пустился онъ по Финскому заливу за добычей, положить драгоцѣнное ружье передъ собой на носъ, онъ находился, по его собственному увѣренію, въ какомъ-то самозабвеніи и пришелъ въ себя только тогда, какъ, взглянувъ на носъ, не увидалъ своей обновки. Ружье было стаяно въ воду густымъ тростникомъ, черезъ который онъ гдѣ-то проѣзжалъ, и всѣ усилія отыскать его были тщетны. Чиновникъ возвратился домой, легъ въ постель и уже не вставалъ: онъ схватилъ горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавшихъ о происшествіи и купившихъ ему новое ружье, возвращенъ онъ былъ къ жизни». Этотъ комичный анекдотъ и послужилъ нашему автору канвой для его глубокотрагичной повѣсти, которую онъ въ 1836 году въ черновомъ видѣ читалъ Смирновой и Пушкину, но окончательно отдалъ лишь за границей (1839--1842).

Значеніе этой повѣсти въ исторіи нашей словесности совсѣмъ особенное. Она—первый по времени и одинъ изъ самыхъ законченныхъ опытовъ того рода произведеній, которыя затѣмъ были очень распространены и имѣли большую общественную цѣнность. Это—страничка изъ исторіи «униженныхъ и оскорбленныхъ», тѣхъ самыхъ, которыхъ непосредственно послѣ Гоголя принялъ подъ свою защиту Достоевскій. На Западѣ: эта защита меньшаго брата, на бумагѣ и на дѣлѣ, началась приблизительно въ эти же годы, вмѣстѣ съ ростомъ и быстрымъ распространеніемъ демократическихъ идей. У насъ, въ данномъ случаѣ: совсѣмъ отъ Запада независимо, эта тенденція заинтересовать общество въ пользу тѣхъ, кого оно совсѣмъ не замѣчаетъ и не слышитъ, была впервые проведена Гоголемъ въ его «Шинель» и тѣ, которые говорили, что именно съ этой повѣсти должно вести исторію нашей «обличительной» литературы были не совсѣмъ неправы. Надо помнить только, что въ рассказѣ Гоголя сила обличенія значительно уступаетъ силѣ мягкаго жалостливаго чувства. Авторъ заставляетъ насъ прожить вмѣстѣ съ Акакіемъ Акакіевичемъ всѣ замѣчательныя минуты его жизни; мы съ нимъ и на чердакѣ, гдѣ онъ отъ каждаго рубля откладываетъ по грошу въ небольшой ящичекъ, гдѣ онъ каждые полгода ровизуетъ накопившуюся мѣдную сумму и замѣняетъ ее мелкимъ серебромъ, гдѣ онъ жерзнетъ и не доѣдаетъ, не сжеть свѣчей, снимаетъ съ себя платье, чтобы онъ не зашивалось и сидитъ въ демикотопоновомъ халатѣ, гдѣ онъ питается «духовно нося въ мысляхъ своихъ вѣчную идею будущей шинели»... мы съ нимъ въ департаментѣ, гдѣ на него обращаютъ вниманіе столько же, сколько

на пролетѣвшую муху, гдѣ издѣваются надъ нимъ и сыплютъ ему на голову бумажки, и гдѣ онъ онъ сидитъ, годы сидитъ и съ любовью выводитъ буквы или откладываетъ бумаги, съ которыхъ для собственнаго удовольствія хочетъ снять копію...

Онъ, какъ живой, передъ нами у портного, въ эти единственные праздничные дни его жизни, когда онъ отъ сомнѣній и страховъ переходитъ къ надеждѣ, когда мечтаетъ о куницѣ на воротникѣ, и наконецъ, покупаетъ и сукно, и козенокоръ и кошку, которую издали можно всегда принять за куницу... Смѣшонъ онъ во всѣхъ этихъ положеніяхъ, но читая повѣсть, никакъ нельзя подавить въ себѣ слезъ и ни къ одному изъ произведеній Гоголя не подходитъ такъ извѣстное выраженіе «смѣхъ сквозь слезы» въ прямомъ, не переносномъ смыслѣ, какъ къ «Шинели». Дѣйствительно, изображеніе физическаго ужаса, который хватываетъ Акакія Акакіевича на площади, когда съ него стаскиваютъ шинель, его мочное бѣгство—рядъ очень смѣшныхъ положеній, отъ которыхъ ставонится однако жутко и страшно. Весь нравственный ужасъ несчастнаго чиновника при встрѣчѣ со значительнымъ лицомъ, у котораго для подчиненныхъ были всего три фразы: «какъ вы смѣете? Знаете ли вы, гдѣ кѣмъ вы говорите? понимаете ли, кто стоитъ передъ вами», сцена, когда нашего чиновника выносятъ за жертво, пораженнаго и оглушеннаго издезрѣвіемъ генерала и бесѣдою съ нимъ—также комическія положенія, которыя однако не вызываютъ даже и улыбки; наконецъ послѣднія минуты—бредъ Акакія Акакіевича, этотъ докторъ съ практическими совѣтами о заказѣ сосноваго, а не дубоваго гроба, эта хозяйка, которая крестится, слыша какъ нашъ чиновникъ въ броду сквернохульничаетъ и риторомъ такъ, что самыя страшныя слова слѣдуютъ непосредственно в словонъ «ваше превосходительство» и, наконецъ, наследство Акакія Акакіевича—пучокъ гусиныхъ перьевъ, десять бѣлой казенной бумаги, три пары носковъ, двѣ-три пуговицы оторвавшихся отъ панталонъ—все это смѣшно и до слезъ грустно. Грустно и тяжело стало и автору въ собственной ироніи и въ концѣ повѣсти онъ смѣялъ ее на столь къ любимую элегію: «И Петербургъ, заканчивалъ онъ свою повѣсть, остался безъ Акакія Акакіевича, какъ будто бы въ немъ его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя вниманія естественнаго наблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее въ микроскопъ,—существо, переносившее морно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла являвшееся въ могилу, но для котораго все же таки, хотя передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, ожи-

вышій на нигъ бѣдную жизнь, и на которое такъ же потомъ востерпимо обрушилось несчастье, какъ обрушивается оно на главы сильныхъ міра сего!» Такъ морализировалъ авторъ, помогая читателю стать на должную точку зрѣнія при оцѣнкѣ этой повѣсти, смыслъ которой, какъ основательно могъ опасаться Гоголь, былъ вовсе не общедоступенъ. Вѣроятно съ тою же цѣлью, чтобы облегчить читателю пониманіе столь необычнаго для тѣхъ годовъ произведенія, авторъ и въ началѣ повѣсти вставлялъ эпизодъ о молодомъ человѣкѣ, котораго такъ сразили слова Акакія Акакіевича: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» «И въ этихъ проникающихъ словахъ — пояснялъ авторъ — звенѣли другія слова: «я братъ твой». И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свѣрѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтлости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ». Можетъ быть для удовлетворенія нравственнаго чувства было къ этой реальной повѣсти присочинено и странное фантастическое окончаніе, въ которомъ рассказывалось, какъ Акакій Акакіевичъ, уже мертвый, содралъ, въ отместку, шубу съ плеча того самаго значительнаго лица, которое такъ любило кричать на подчиненныхъ. Послѣ встрѣчи съ мертвецомъ генералъ сталъ кричать рѣже.

Это фантастическое окончаніе, къ повѣсти произвольно приставленное, написано Гоголемъ чрезвычайно умѣло, совсѣмъ въ иномъ тонѣ, чѣмъ его прежніе фантастическіе рассказы. Къ фантастическому въ «Шинели» примѣшано столько юмора, насмѣшки и смѣха, столько сдѣлано въ немъ намековъ на возможное правдоподобное объясненіе всей чепухи, которая творится съ шинелями въ Петербургѣ у Калинкина моста, что фантастическое совершенно затеривается въ юмористическомъ и утрачиваетъ свой романтическій характеръ. Авторъ пользуется этимъ чудеснымъ лишь въ интересахъ маленькихъ жанровыхъ сценокъ, какими онъ заканчиваетъ свою повѣсть.

Такъ силенъ былъ нашъ писатель какъ художникъ, когда, покидая старую манеру, давалъ полный ходъ своему таланту наблюдателя и юмориста.

Кто пожелаетъ однако измѣрить силу этого таланта во всемъ его объемѣ, тотъ можетъ увѣренно развернуть на любой страницѣ трагикомическую поэму о «Мертвыхъ Душахъ».

И къ этой поэмі должны мы теперь обратиться, къ этому послѣднему слову художника, слову, въ которое онъ стремился вѣтснить столь

глубокий смыслъ, что для полнаго его обнаруженія силъ человѣческихъ не хватало.

Но прежде, чѣмъ говорить объ этой пьесѣ, нужно вспомнить еще объ одномъ драматическомъ этюдѣ Гоголя, этюдѣ очень своеобразномъ и одномъ самыхъ витивныхъ признаній. Это—уже извѣстный намъ «Театральный Разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи». Мысль о немъ явилась, какъ мы помнимъ, чуть-ли не на первомъ представленіи «Ревизора»; но комедія была отдѣлана лишь въ концѣ 1842 года, когда съ только что перечисленные литературные труды заграничнаго похода были окончены и первая часть «Мертвыхъ Душъ» уже вышла изъ печати. «Театральнымъ Разъѣздомъ» Гоголь закончилъ свою литературную дѣятельность—самъ того не подозревая.

Думалъ онъ надъ этой пьесой долго, и не спѣшилъ ее окончаніемъ, гдѣ на то свои причины. Онъ собирался издать полное собраніе своихъ сочиненій и хотѣлъ этой комедіей заключить его. И, дѣйствительно, она была вполне на своемъ мѣстѣ: какъ заключительное слово въ полномъ собраніи всего, что Гоголемъ было написано.

Во-первыхъ, въ ней блеснулъ со всей яркостью его вполне созрѣвшій талантъ драматурга. Обработать въ формѣ живой комедіи такой хитрый сюжетъ, какъ перечень разныхъ мнѣній и толковъ публики—для этого нужно было быть большимъ мастеромъ. Обрисовать такую массу дѣлъ двумя, тремя штрихами, каждому придать оригинальную физиономію и своеобразную рѣчь, для этого нужно было въ совершенствѣ владѣть драматической техникой, и имѣть удивительно острый слухъ и ясное зрѣніе. Вся эта толпа непризванныхъ судей живетъ предъ нами; къ ея видимъ, мы съ ней толчемся въ сѣняхъ театра... ни шаржа, ни клямаца, ни скучныхъ длиннотъ...

И вѣстѣ съ тѣмъ эта пьеса—откровенное признаніе сатирика, защитца смѣльчака, который заговорилъ о дѣйствительной простотѣ, въ извѣстной жизни иначе, чѣмъ принято было говорить о ней. Гоголь, горь «Театральнаго Разъѣзда», былъ уже не авторъ «Ревизора» только, а сатирикъ и юмористъ болѣе широкаго полета. Предчувствовать ли онъ, что этотъ сатирическій смѣхъ, которымъ онъ умѣлъ будить только вѣжнихъ и злобныхъ чувствъ, скоро замретъ въ немъ, или, напротивъ, не предвидя этого крушенія, былъ ли онъ преисполненъ гордаго шествія своей силы, но только въ «Театральномъ Разъѣздѣ» онъ прикинулъ читателю своимъ смѣхомъ, и рѣчь его была необычайно увѣличена и откровенна.

«Хорошо, — говорилъ онъ, думая одновременно и о дѣйствующихъ лицахъ своей комедіи и о герояхъ «Мертвыхъ Душъ» — хо-

рошо, что не выведенъ на сцену честный человѣкъ. Самолюбивъ человѣкъ: выстави ему при множествѣ дурныхъ сторожъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдеть изъ театра». Но развѣ въ самомъ дѣлѣ передъ глазами зрителей проходятъ одни только смѣшные и порочные люди? Почему никто не хочетъ замѣтить честнаго лица? А такое лицо есть. Это честное благородное лицо—смѣхъ. Онъ благороденъ потому, что рѣшился выступить, несмотря на низкое значеніе, которое дается ему въ свѣтѣ. Онъ благороденъ, потому что рѣшился выступить, несмотря на то, что доставилъ обидное прозваніе комику—прозваніе холоднаго эгоиста и заставилъ даже усумниться въ присутствіи нѣжныхъ движеній души его. «Я, — продолжалъ Гоголь, — я служилъ этому смѣху честно и потому долженъ стать его заступникомъ. Нѣтъ, смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ, — не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ болѣзненнымъ расположеніемъ характера; не тотъ даже легкій смѣхъ, служащій для празднаго развлечения и забавы людей, но тотъ смѣхъ, который весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка—излетаетъ изъ нея потому, что на дѣѣ ея заключенъ вѣчно бьющій родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проникающей силы котораго, мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человѣка. Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто возмущаетъ смѣхъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей; но, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. И тотъ, кто бы понесъ ищенье противу злобнаго человѣка, уже почти мирится съ нимъ, видя осмѣянными низкія движенія души его. Нѣтъ, засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко добрая душа. Но не слышать (люди) могучей силы такого смѣха: «что смѣшно, то низко», говоритъ свѣтъ; только тому, что произносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названіе высокаго»...

«Бодрѣй же въ путь!—воскликнулъ авторъ, закапчивая свою пьесу и пѣсть съ ней первое полное собраніе своихъ сочиненій. И да не смутится душа отъ осужденій, но да приметъ благодарно указанія недостатковъ, не омрачаясь даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ и въ святой любви къ человѣчеству. Въ глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И почему знать, можетъ быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ какъ исполинъ, среди бѣды,—въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто

ть часто душевныя, глубокия слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ вѣтается на свѣтѣ»...

Такимъ смѣхомъ сквозь слезы смѣялся нашъ сатирикъ въ своихъ зрѣлыхъ повѣстяхъ, какъ, напр., въ «Запискахъ сумасшедшаго», евскомъ Проспектѣ», «Шинели», и такимъ благороднымъ смѣхомъ своихъ комедіяхъ. Но если мы хотимъ въ этомъ смѣхѣ уловить ось душевнаго сокрушенія о ближнемъ, голосъ человѣка, которому важно за ближняго, но притомъ голосъ всетаки бодрый, сильный своей идей, то мы найдемъ его въ «Мертвыхъ Душахъ».

Въ первой части этой поэмы—къ которой авторъ обращался со нмъ ободрительнымъ призывомъ: «впередъ!»—мы въ послѣдній разъ слышимъ веселую рѣчь того «комика» и юмориста—за права котораго въ горячо вступился Гоголь въ своемъ «Театральномъ Разъѣздѣ».

XV.

Работа надъ «Мертвыми Душами»: быстрый ростъ сюжета.—Плачь войны; отраженіе на немъ этическихъ, патристическихъ и религіозныхъ взглядовъ автора.—Первая часть «Мертвыхъ Душъ»; царство ничтожныхъ людей и общанія автора.—Вторая часть «Мертвыхъ Душъ» и частичное исполненіе общаго.

Работа надъ «Мертвыми Душами» была для автора великой радостью и великой печалью. Никогда не испытывалъ онъ такого возвышеннаго наслажденія и довольства собой, какъ въ тѣ дни, когда цѣлыя страницы поэмы тожились вольно и плавно на бумагу, и никогда не страдалъ онъ такъ, какъ въ тѣ долгіе годы, когда приходилось ждать вдохновенія по мѣсяцамъ, передѣлывать написанное безконечное число разъ, и все это затѣмъ, чтобы передъ смертью бросить въ каминъ все, чѣмъ онъ жилъ послѣднія печальныя десять лѣтъ своей жизни.

Исторія «Мертвыхъ Душъ» — исторія писательской агоніи мѣ автора; рассказъ о томъ, какъ великій талантъ не совладалъ съ великой задачей и послѣ первой рѣшительной побѣды былъ осужденъ на долготѣнную бесплодную работу, которая держала его все въ той же отдаленіи отъ намѣченной цѣли. Эта работа занимала Гоголя въ продолженіи 16-ти лѣтъ, съ 1835 года, когда онъ набросалъ первыя страницы поэмы, до начала 1852 года, когда онъ скончался. Изъ этихъ шестнадцати лѣтъ, — конечно, при посторонней работѣ — шесть лѣтъ (1835—1842) ушло на созданіе первой части поэмы и остальныя десять на попытки присочинить ей продолженіе.

Мы издавна привыкли раздѣлять въ нашемъ представленіи оконченную и неоконченную часть этого единого цѣлаго и, конечно, какъ памятники искусства, первая часть «Мертвыхъ Душъ» и тѣ отрывки, которые уцѣлѣли отъ второй — величины неизмѣримыя; но все-таки обѣ части представляютъ нѣчто цѣльное, и въ умѣ самого автора онѣ были неразрывно связаны еще въ тѣ годы, когда онъ только приступалъ къ работѣ. Разница въ выполненіи, равно какъ и въ общемъ замыслѣ

ервой части поэмы и ея продолженіа вытекал изъ неуловимо тонкихъ сикическихъ движеній, сопровождавшихъ въ душѣ автора ту борьбу, которую велъ въ немъ его романтическое, сентиментально-религіозное просозерпаніе, окрѣпшее за границей, и его талантъ реалиста-бытоисателя, талантъ, который пока побѣдоносно выдерживалъ натискъ того враждебнаго міросозерпанія, а затѣмъ сталъ дѣлать ему постепенныя уступки. И въ первой части «Мертвыхъ Душъ» замѣтны уже кія уступки, хотя и во второй части попадаются еще цѣлыя страницы, писанныя съ прежнимъ неподражаемымъ мастерствомъ реальной живописи.

По мысли автора «Мертвыя Души» должны были быть «поэмой», которой Россія явилась бы во всемъ разнообразіи ея государственной и социальной жизни, со всѣми свѣтлыми и темными ея сторонами. Гоголь хотѣлъ воскресить въ новой формѣ старый эпосъ и, вѣроятно, безъ намека на гомеровы пѣсни, назвалъ свой романъ—поэмой. Идейный планъ этой поэмы пришелъ автору въ голову, конечно, не сразу съ годами принялъ очень странное направленіе. Эпическій рассказъ, началъ безпристрастный переходилъ мало-по-малу въ проповѣдь нравенныхъ истинъ, и желаніе изобразить Россію со всѣхъ сторонъ, гнѣвалось у автора постепенно желаніемъ сказать людямъ нѣчто вообще ихъ души и жизни весьма полезное.

Гоголь не любилъ говорить о своихъ литературныхъ планахъ, но былъ такъ увлеченъ «Мертвыми Душами», что часто въ письмахъ нарушалъ обычное молчаніе, и далъ намъ такимъ образомъ возможность прослѣдить, какія постепенныя видоизмѣненія испыталъ изъ его поэмы.

Анекдотъ, положенный въ основу поэмы, былъ данъ Гоголю Пушкинъ, т.-е. не подаренъ, а, кажется, по необходимости уступленъ. Пушкинъ самъ хотѣлъ воспользоваться рассказомъ о покункѣ мертвыхъ для своей собственной литературной работы, но Гоголь—захвативъ этотъ рассказъ отъ него, поспѣшилъ со своей обработкой; когда онъ прочиталъ начало своего романа Пушкину, то Пушкинъ гнѣлся, что въ рукахъ Гоголя, этотъ матеріалъ будетъ производимъ, чѣмъ въ его собственныхъ, и уступилъ его. Пушкинъ же совѣтъ Гоголю воспользоваться для этой работы и тѣми путевыми записками, какія Гоголь велъ въ томъ 1835 года, когда ѣздилъ въ Малороссію. Имъ записками Гоголь, дѣйствительно, пользовался при первоначальной работѣ надъ поэмой *).

*) В. И. Шенрокъ. «Очеркъ исторія текста первой части «Мертвыхъ Душъ». Изданіи Гоголя 2-ое изданіе, т. VII.

Онъ сталъ писать ее, по словамъ С. Т. Аксакова, только какъ любопытный и забавный анекдотъ—и это, кажется, дѣйствительно такъ и было, хотя съ этимъ не вполне сходятся два показанія самого Гоголя. Вотъ они: «Пушкинъ — говорилъ Гоголь въ своей «Авторской исповѣди»,—находилъ, что сюжетъ «Мертвыхъ Душъ» хорошъ для меня тѣмъ, что дастъ полную свободу извѣдять вѣсть съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разно-образныхъ характеровъ. Я началъ было писать, не опредѣливъ себѣ обстоятельнаго плана, не давъ себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ просто, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго завять Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разно-образные лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самою охота смѣяться создать сама собою множество смѣшныхъ явленій, которыя я намѣренъ былъ переищать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе?» Если вѣрить автору, то сюжетъ поэмы съ перваго же раза навелъ его на серьезныя мысли. Съ этимъ согласенъ и рассказъ Гоголя о впечатлѣніи, вынесенномъ Пушкинымъ изъ перваго знакомства съ «Мертвыми Душами». «Когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ моей поэмы, въ томъ видѣ какъ онѣ были прежде, рассказывалъ Гоголь въ одномъ изъ писемъ, вошедшихъ въ составъ его «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями», то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи, началъ понемногу становиться все сумрачнѣе и сумрачнѣе, и наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже! какъ грустно наша Россія! Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію и замѣтилъ, что все это карриатура и моя собственная выдумка! Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести «Мертвыя Души».

Въ этихъ двухъ авторскихъ показаніяхъ Гоголя нужно отличать неумышленную ложь отъ истины. Гоголь, когда писалъ «Авторскую Исповѣдь» и печаталъ свою «Переписку съ друзьями», былъ не тотъ Гоголь, который приступалъ къ работѣ надъ поэмою. Онъ былъ уже охваченъ релігіознымъ экстазомъ, былъ кающимся грѣшникомъ, и пытался истинно истолковать всю свою жизнь и всѣ свои рѣчи. Онъ могъ приписать себѣ заднимъ числомъ желаніе съ *перваго же раза* отвѣтить на вопросъ, что должно означать то или другое лицо въ его поэмі, какой смыслъ вѣбеть то или другое явленіе? Онъ могъ также обозвать

карикатурой и вымысломъ свои первые наброски потому, что онъ при началѣ работы думалъ о своемъ произведеніи меньше, чѣмъ думалъ послѣ.

Работа надъ «Мертвыми Душами» началась осенью 1835 года, и Гоголь тогда же извѣщалъ Пушкина, что сюжетъ уже раставулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшновъ. «Мнѣ хочется—говорилъ Гоголь—въ этомъ романѣ показать хотя съ одного боку всю Русь». Очевидно, что очень скоро послѣ начала работы, смѣшной анекдотъ получилъ въ глазахъ автора значеніе цѣлой картины.

Въ 1836 году, въ этотъ тревожный для Гоголя годъ постановки «Ревизора», поэма была заброшена. Работа надъ ней возобновилась въ юницѣ этого года въ Швейцаріи. Гоголь передѣлалъ написанное обстоятельно, обдумалъ плавъ и началъ выкладывать его спокойно, какъ истописъ и уже тогда признавался Жуковскому, что сюжетъ его поэмы громный и оригинальный. «Какая разнообразная куча—говорилъ онъ. Вся Русь явится въ немъ. Это будетъ первая моя порядочная вещь—вещь, которая вынесетъ мое имя». Поэма, какъ видимъ, разрослась въ несколько мѣсяцевъ, и намѣреніе показать Русь съ одного лишь боку перестало удовлетворять автора. Работа потекла затѣмъ быстро, свѣжо и бодро. Живя за границей, художникъ не переставалъ себя чувствовать въ Россіи, и передъ нимъ—какъ онъ признавался—было все наше: наши мѣщаники, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, юности, вся православная Русь. «Огромно, велико мое твореніе,—говорилъ онъ—и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя словія и много разныхъ господъ, но что-жъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя чаждовать съ моими земляками. Терпѣнье!» А друзьяиъ своимъ онъ рекомендовалъ строгое молчаніе. Онъ хотѣлъ, чтобы только Жуковский, Пушкинъ да Плетневъ знали, въ чемъ состоитъ сюжетъ «Мертвыхъ душъ»; для другихъ было довольно одного лишь заглавія (1836)*).

Эта плодотворная и вдохновенная работа получила въ 1837 году всѣмъ неожиданно особую санкцію. Умеръ Пушкинъ, и Гоголь взглялъ на свои «Мертвыя Души» какъ на завѣщанное ему сокровище. Надъ свѣжимъ впечатлѣніемъ утраты, нашъ авторъ остановился въ раздумьи надъ своимъ трудомъ: ему показалось, что вмѣстѣ съ Пушкинымъ его покинетъ вдохновеніе. Но скоро онъ созналъ свой нравственный долгъ продолжать начатое. «Я долженъ продолжать мою работу большой трудъ—говорилъ онъ—который писалъ взялъ съ себя слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который (судьба) обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе.

* «Письма Н. В. Гоголя», I, 353, 351, 412, 414, 417.

Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтоб она была долговѣчна». И съ этого времени къ его мысли о «Мертвыхъ Душахъ» присоединяется мысль о собственной близкой кончинѣ и опасеніе, что онъ своего великаго труда не окончитъ.

Онъ продолжалъ надъ нимъ работать, но работа теперь (1838—1839) шла ту же, чѣмъ раньше, и оживилась только въ 1840 году, послѣ поѣздки Гоголя въ Россію, той самой поѣздки, которую онъ предпринялъ съ такой неохотой. Готовность на трудъ онъ почувствовалъ наканунѣ выѣзда изъ Россіи... и ему показалось, что что-то въ родѣ вдохновенія, давно небывалаго, начало въ немъ шевелиться.

Хоть онъ и очень скучалъ въ Россіи за этотъ пріѣздъ, тяготился родиной и рвался скорѣе назадъ за границу, но, если вѣрить ему, то онъ изъ этого свиданія съ отчизной вынесъ много свѣтлыхъ и радостныхъ впечатлѣній, и Россія издалека показалась ему почему-то болѣе милою, чѣмъ раньше. Онъ признавался, что онъ ѣхалъ домой съ затаенной злобной мыслью: въ немъ, какъ ему казалось, начала простывать злость противъ всякаго рода родныхъ плебелъ, злость столь необходимая автору, и онъ надѣялся, что, при свиданіи, онъ къ этимъ роднымъ плебеламъ присмотрится поближе, и сатира его отъ этого выиграетъ. «И вмѣсто этого, что я вывезу? говорилъ онъ. Все дурное изгладилось изъ моей памяти, даже прежнее, и вмѣсто этого одно только прекрасное и чистое со мною... Чувство любви къ Россіи, слышу, во мнѣ сильно. Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ (все это) когда-либо принимать близко къ сердцу... Теперь я вашъ; Москва моя родина. Все было дивно и мудро расположено Высшею Волею: и мой пріѣздъ въ Москву, и мое нынѣшнее путешествіе въ Римъ—все было благо». И люди, встрѣчавшіе Гоголя въ это время за границей, говорили что онъ, дѣйствительно, всегда съ удовольствіемъ вспоминалъ о Россіи, хотя и пріѣзжалъ на родину для того, чтобъ съ ней рассориться *).

Этотъ наплывъ любви къ Россіи, обусловленный, между прочимъ, сближеніемъ Гоголя съ кружкомъ Аксакова, гдѣ тогда пробивались первые ростки славянофильства, не остался безъ вліянія и на ходъ его работы надъ «Мертвыми Душами». Какъ разъ въ это время (1840) принялся онъ писать вторую часть своей поэмы, въ которой положительныя стороны русской жизни должны были ярко про-

*) Письма Н. В. Гоголя, II, 83, 89, 92, 98.

стунить наружу. «Я теперь (въ декабрѣ 1840 г.) готовлю къ совершенной очисткѣ первый томъ «Мертвыхъ Душъ»—писалъ онъ С. Аксакову. Чертежицаю, перчицаю, многое перерабатываю все; между тѣмъ, дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей ище, величественнѣй, и теперь я вижу, что, можетъ быть, современнѣе что выдѣтъ колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы... Те многіе знаютъ, на какія сильныя мысли и глубокія явленія можетъ иаести незначашій сюжетъ...» *) Строки эти были писаны вскорѣ послѣ выздоровленія отъ того сильнаго приступа болѣзни, о которомъ мы говорили выше. Благодарный и религиозно настроенный авторъ бѣдился, что и самъ Господь Богъ взялъ «Мертвыя Души» подъ свое особое покровительство. «Утѣшься!—писалъ онъ въ это время Гоголину. Чудно милостивъ и великъ Богъ: я здоровъ. Чувствую даже вѣжестъ, занимаюсь переправками, выправками и даже продолженіемъ Мертвыхъ Душъ». Вижу, что предметъ становится глубже и глубже. даже собираюсь въ наступающемъ году печатать первый томъ, если только дивной силѣ Бога, воскресившаго меня, будетъ такъ угодно. много совершилось во мнѣ въ немногое время» **).

Такой взглядъ на свое твореніе проникнутый особой религиозностью, инаиваетъ быстро укореняться въ художникѣ. Его поэма наполняетъ ю его душу и все шире и шире развертывается передъ нимъ картина русской жизни, которую онъ «призванъ» явить своимъ соотечественникамъ. Онъ въ мечтахъ упрещаетъ дѣйствительность и, еще и открывъ своей картины передъ зрителями, начинаетъ требовать я себя того почета и вниманія, съ какимъ благодарный соотечественникъ долженъ, какъ онъ думаетъ, отнестись къ своему учителю. спомѣрно самоувѣренный тонъ начинаетъ звучать въ письмахъ Гоголя, когда ему приходится теперь говорить о своей работѣ. «Созданіе двое творится и совершается въ душѣ моей, и благодарными слезами разъ теперь полны глаза мои,—пишетъ онъ Аксакову въ началѣ 41 г. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе происходитъ отъ челонѣка; никогда не выдумать ему такого сюта». «Меня теперь вужно летѣть, но для меня, нѣтъ! Они (т.-е. епкинъ и К. Аксаковъ, которыхъ Гоголь вызывалъ къ себѣ за границу, чтобы они прѣехали за нимъ и отвезли его въ Россію) сдѣлазь въ: бесполезное дѣло. Они привезутъ съ собой глиняную вазу. Коино, эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле дер:

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 91.

***) «Письма Н. В. Гоголя», II, 91.

жится; но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище: стало быть, ее нужно беречь». «Клянусь! грѣхъ, сильный грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня (т.е. отвлекать его просьбою дать что-нибудь въ журналъ, какъ это сдѣлалъ тогда довольно безцеремонно Погодинъ); только одному невѣрующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ позволительно это сдѣлать. Трудъ мой великъ, мой подвигъ спасителенъ. Я умеръ теперь для всего мелочнаго» *)).

Каковъ же былъ планъ этого великаго труда и что именно въ этомъ планѣ давало художнику право на такія гордыя рѣчи? Гоголь таилъ этотъ планъ про себя и только въ самыхъ общихъ выраженіяхъ говорилъ близкимъ людямъ, что его замыселъ широкъ и глубокъ. Непомѣрно гордыя рѣчи Гоголя, конечно, только сердили этихъ друзей и знакомыхъ; но если бы они знали, какой, дѣйствительно, величественный планъ задумалъ авторъ, то, быть можетъ, они простили бы ему его гордыню, тѣмъ болѣе извинительную, что Гоголь гордился вовсе не какъ художникъ, а какъ человѣкъ, обладающій (такъ, по крайней мѣрѣ, онъ думалъ) нравственной истиной, которую онъ повѣдастъ ближнимъ, когда окончательно будетъ достоинъ это сдѣлать.

Хотя Гоголь и утаивалъ планъ своей поэмы, но по случайнымъ признаніямъ, намекамъ, откровеннымъ словамъ въ частной бесѣдѣ, по письмамъ и по отрывкамъ второй части его поэмы можно съ достаточной точностью раскрыть его писательскую тайну, — одновременно тайну художника и моралиста.

Какъ долженъ былъ превратиться смѣшной рассказъ въ душеспасительную поэму?—а самъ авторъ понималъ именно въ этомъ смыслѣ конечное назначеніе своей работы. Въ одномъ изъ писемъ, вошедшихъ въ составъ его «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями» (оно помѣчено 1846 годомъ) онъ писалъ: «Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературы. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ, прежде всего, долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое—душа и прочное дѣло жизни. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно». «Мертвыя Души» въ ихъ цѣломъ должны были быть такими «прочнымъ» сочиненіемъ, на которое человѣкъ могъ бы опереться въ минуту душевной грозы; изъ которыхъ могъ бы вычитать для себя катехизисъ спасенія. Поэма должна была стать для читателя

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 106, 97, 98, 99, 100.

руководство къ его нравственному возрожденію, будучи въ то же время для самого автора очистительной молитвой послѣ душевнаго и нравственнаго просвѣтленія и покаянія въ своихъ собственныхъ грѣхахъ.

Какимъ образомъ такая идея могла, однако, придти автору въ голову?

Гоголь отъ природы былъ натурой сентиментальной и любилъ читать и ставленія. Наставническій тонъ попадался, какъ мы помнимъ, еще въ самыхъ раннихъ его письмахъ и свидѣтельствовалъ не только о самолюбіи мальчика, но и о лирическомъ подъемѣ его души. Этотъ лиризмъ въ чувствахъ и въ мысляхъ прорывался наружу и въ его поѣсіяхъ, и рядомъ съ новиннымъ смѣхомъ въ этихъ первыхъ рассказахъ было много грусти о всевозможныхъ печальныхъ сторонахъ жизни. Но иррѣ того, какъ смѣхъ Гоголя становился серьезнѣе, и писатель прониклся мыслью, что онъ призванъ создать нѣчто великое, моральная тенденція естественно стала увлекать его все больше и больше. Послѣ перваго представленія «Ревизора», онъ увидалъ, что, дѣйствительно, обладаетъ способностью нравственнаго воздѣйствія на толпу и тогда онъ рѣшилъ, что эта сила должна служить великому дѣлу, а не тратиться на мелочамъ. Еще въ самые ранніе годы, когда онъ не сознавалъ этой силы, онъ мечталъ уже о томъ, что непремѣнно свершить нѣчто великое, быть благодѣтелемъ и просвѣтителемъ ближнихъ и вообще героемъ своей отчизны. Онъ при наивности своей стремился тогда поскорѣй поступить на государственную службу, чтобы быть ближе къ цѣли. И когда съ служебные планы рухнули, и мечтатель остался вольнымъ казакомъ при своемъ талантѣ, онъ естественно — продолжая желать для себя великой роли — долженъ былъ возложить всѣ свои надежды на этотъ талантъ — прискать для него настоящее великое дѣло, т. е. великій сюжетъ, который оправдалъ бы самоиженіе писателя и былъ-бы истиннымъ благодѣяніемъ для ближняго.

Такимъ образомъ, анекдотъ долженъ былъ быстро потерять свой ипшій характеръ и преобразиться въ нѣчто такое, чему самъ авторъ не могъ пока наиѣтити границъ и подыскать подходящей рамки. В этомъ сюжетѣ, который позднѣе другихъ пришелъ ему въ голову, иволь сталъ теперь сосредоточивать всю силу своего лиризма, въ немъ стремился дать почувствовать всю силу своихъ собственныхъ нравственныхъ убѣжденій и, наконецъ, этотъ же сюжетъ сталъ онъ расширять и углублять, чтобы возвести его на степенъ того «великаго» жата — обработавъ который, онъ могъ — бы сказать себѣ, что завѣтное важное дѣло, о которомъ онъ мечталъ съ юности, исполнено. Само собою разумѣется, что такое перерожденіе простаго анекдота въ великій

замыселъ происходилъ медленно и постепенно, и самъ авторъ въ началѣ работы не могъ сказать, въ какомъ именно видѣ онъ ее закончить.

Помимо этой *этической* тенденціи, большое вліяніе оказала на поэму и *патріотическая* мысль автора. Патріотизмъ Гоголя возрасталъ съ годами и къ тому времени, когда художникъ принялся за работу надъ своей поэмой, любовь писателя къ родинѣ замкнулась въ очень консервативномъ міросозерцаніи, съ яснымъ религіознымъ оттѣнкомъ. И этотъ патріотизмъ, также какъ и стремленіе наставить ближняго на путь истинны, не остановился въ своемъ развитіи, а продолжалъ нагостать по мѣрѣ того, какъ авторъ углублялъ и расширялъ свою поэму. Гоголю надлежало въ ней говорить о Россіи и на первыхъ порахъ, какъ юмористъ и сатирикъ, онъ наговорилъ ей много неприятнаго. Еще не думая о продолженіи своей поэмы, онъ съ «одного боку» показалъ свою родину, и притомъ съ самаго непригляднаго. И главный герой, и всѣ, съ кѣмъ онъ встрѣчался, были люди ничтожныя. Оставить ихъ такими—значило безсердечно и жестоко обойтись съ отчизной, значило умолчать о хорошихъ ея сторонахъ, о всѣхъ русскихъ людяхъ, которые имѣли право на любовь и уваженіе. Гоголь не могъ умолчать о нихъ, въ особенности послѣ «Ревизора», когда ему пришлось выслушать столько обвиненій за умышленное будто бы очерненіе родины. Все повышавшаяся въ немъ любовь къ ней обязывала его въ своей поэмі сказать соотечественникамъ слово ободренія, любви и участія. Чѣмъ шире раздвигались рамки поэмы, тѣмъ больше онъ чувствовалъ это обязательство. Гоголь отъ сатиры и смѣха сталъ переходить къ прославленію и умиленію передъ русскими добродѣтелями. Онъ желалъ отнести имъ подобающее мѣсто въ своей поэмі, и уже въ первой части «Мертвыхъ Душъ» намекнулъ объ этомъ читателю. Гоголь зналъ, что читатель въ правѣ отъ него потребовать изображенія лицевой стороны русской жизни; и, отвѣчая на это требованіе со стороны, и удовлетворяя собственному чувству патріотизма, художникъ принялся подбирать для своего созданія новые положительныя типы и настраивать свою душу на старый восторженный ладъ.

Такъ сказавшись на планѣ поэмы *патріотическая* мысль писателя.

Не меньшее, если не большее вліяніе оказало на этотъ планъ и настроеніе *религіозное*, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе охватывавшее Гоголя. Мы поминимъ, какъ за границей возросли въ немъ самыя и увѣренность въ особой мисси, которую ему свершить должно; мы видѣли, какъ болѣзнь и выздоровленіе укрѣпили въ немъ вѣру въ Бога и въ особое попеченіе Божіе о немъ и о его трудѣ. Болѣзнь съ годами давала себя чувствовать сильнѣе; наступало и облегченіе, и художникъ только укрѣплялся въ своей надеждѣ на Бога. Его литературная

работа возвысилась въ его глазахъ до настоящаго служенія Божеству, и естественно, что на свою жизнь онъ сталъ смотрѣть какъ на трудный подвигъ, которымъ человѣкъ долженъ закалить себя для того, чтобы быть достойнымъ свершить великое дѣло, довѣренное ему Господомъ. Гоголь сталъ готовить себя къ достойному писательству постомъ и молитвой, сталъ «внутренно работать», сталъ преслѣдовать въ себѣ все, что казалось ему грѣхомъ, и всѣ помыслы свои направилъ на нравственное возрожденіе: только съ чистымъ отъ грѣха сердцемъ и съ просвѣтленными помыслами, казалось ему, можетъ онъ выполнить свою миссію. Естественно, что всѣ эти мысли наложили свой отпечатокъ на его поэму. Она должна была быть и урокомъ высшей нравственности для ближняго, и актомъ очищенія отъ собственныхъ грѣховъ. Гоголь самъ признавался, что именно такъ понималъ онъ задачу своего творчества, когда работалъ надъ «Мертвыми Душами». Въ «Шислахъ по поводу «Мертвыхъ Душъ», которыя онъ предалъ гласности въ своихъ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ Друзьями», онъ говорилъ: «герои мои потому близки душѣ, что они изъ души: всѣ мои послѣднія сочиненія—исторія моей собственной души... Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ, за которое не умѣю, какъ возблагодарить Его, было желаніе быть лучшимъ. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ... и по мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чудныхъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; я сталъ издѣлывать своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею общественною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявъ дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, гадая себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобой, наглѣйшею и всѣмъ, чѣмъ вы попали».

Гоголю на самомъ дѣлѣ стало казаться, что не изъ жизни брать изъ своихъ героевъ, а изъ собственной души, и, напечатавъ первую часть своей поэмы, онъ даже упрекалъ себя, что онъ съ ней игнорировалъ; онъ думалъ, что герои его не стоятъ еще твердо на этой землѣ, на которой имъ быть долженствуетъ, что они еще не отделились вполне отъ него самого и потому не получили настоящей самостоятельности. На вопросъ, почему онъ не выставлялъ читателю явленій утѣнительныхъ и не избиралъ въ герои добродѣтельныхъ людей, онъ отвѣчалъ, что ихъ въ головѣ не выдумаетъ: «Пока не стали самъ, хотя сколько нибудь, на нихъ походить», говорилъ онъ,

пока не добудешь постоянствомъ и не завоеешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ—мертвочина будетъ все, что ни напишетъ перо твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды». Такъ сливалось для Гоголя его «дѣло» какъ писателя съ дѣломъ его души. Поэма становилась въ его глазахъ какой-то очистительной жертвой и грѣхи, о которыхъ онъ говорилъ въ ней, требовали искупленія—грѣхи его героевъ, а потому и грѣхи его собственные. Поэма превращалась въ исторію просвѣтлѣнія грѣшной души и приобретала мистическій смыслъ—тотъ самый, передъ которымъ Гоголь преклонялся когда читалъ великую средневѣковую поэму Данта *).

Самъ Гоголь хотѣлъ быть этимъ Данте, восходящимъ отъ мрака къ свѣту, изъ ада къ небу, и мысль—увлечь за собой своихъ героевъ, заставить и ихъ путемъ покаянія изъ грѣшныхъ стать, если не святыми, то по крайней мѣрѣ людьми добродѣтельными, могла осѣнить автора—и онъ, дѣйствительно, хотѣлъ осуществить эту мысль въ третьей части своей поэмы. Конечно, и это вторженіе религиозный идеи въ свѣтскій разсказъ свершилось не сразу, но оно началось очень рано.

Итакъ, мы видимъ, что «Мертвыя Души» чуть ли не съ первыхъ дней ихъ жизни были поставлены въ совсѣмъ особые условія развитія. Работа надъ поэмой не была для автора работой закругленной, цѣльной, по волюѣ обдуманному, законченному плану. Художникъ, когда начиналъ творить, не зналъ, чѣмъ онъ кончитъ, и подвигаясь впередъ въ работѣ, все расширялъ и измѣнялъ первоначальный общій планъ своего творчества. Цѣлыхъ 16 лѣтъ (1835—1852) убило онъ на его выполнение, не закончилъ его, и наканунѣ смерти все еще носился съ мыслью объ его продолженіи. За эти шестнадцать лѣтъ поэма испытала на себѣ вліяніе всѣхъ разнообразныхъ мыслей и настроеній, которыя владѣли тревожной и больной душой писателя, и моральныя, религиозная и патріотическая тенденція все болѣе и болѣе подчиняли себѣ художника.

Гоголь предполагалъ создать свою поэму въ трехъ частяхъ. Одну онъ закончилъ и отдѣлалъ, другую набросалъ, о содержаніи третьей успѣлъ только намекнуть при случаѣ. Попытаемся же уловить ту основную мысль, которая должна была связывать отдѣльныя части этого грандіознаго замысла. На подробномъ пересказѣ его эпизодовъ и на характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ этой трагикомедіи, едва ли есть необходимость долго останавливаться, такъ какъ съ нашего дѣйства всѣ герои «Мертвыхъ Душъ» стали нашими добрыми знакомыми.

*) Любопытное сопоставленіе «Вожествовной Комедіи» съ «Мертвыми Душами» сдѣлано *Александромъ Веселовскимъ* въ его статьѣ «Мертвыя Души». «Этюды и характеристики». Москва. 1894 г., 593—5.

«Всѣдствие уже давно принятаго плача «Мертвыхъ Душъ» — писалъ Гоголь какому-то анонимному корреспонденту въ одномъ открытомъ письмѣ 1843 г., — для первой части поэмы требовались именно люди ничтожныя... Неспрашивай, зачѣмъ первая часть должна быть вся *пошлостью*, и зачѣмъ въ ней всѣ лица до единаго должны быть пошлы: на это ядуть тебѣ отвѣтъ другіе томы...» Когда Гоголь приступалъ къ содѣланію своей поэмы, онъ, быть можетъ, и не былъ такъ увѣренъ въ томъ, что герои перваго тома «Мертвыхъ Душъ» должны быть ничтожны именно для того, чтобы эта ничтожность объяснилась послѣ, но какъ бы то ни было всѣ дѣйствующія лица первой части поэмы оказались людьми ничтожными. Ничтожность отличительная черта представителей всѣхъ сословныхъ группъ, выведенныхъ въ этомъ романѣ: какъ и герои «Ревизора», всѣ они вестолько порочные люди, сколько именно люди мелкіе. По мягкосердечію своему сентиментальный вторъ и въ «Мертвыхъ Душахъ» бралъ на себя охотно роль итъ адвоката передъ читателями. Выставляя на показъ всяческую грязь человеческой души, всевозможные виды глупости и пошлости, нашъ моралистъ гѣшалъ сейчасъ же смягчить это впечатлѣніе какимъ-нибудь нравственнымъ наставленіемъ, которое должно было напомнить читателю о правосердіи къ грѣшнымъ и падшимъ.

Кто главное дѣйствующее лицо поэмы? Самъ авторъ признался, о писателѣ забыли добродѣтельнаго человѣка, что пора накопить припречь «подлеца», и очевидно, что Павелъ Ивановичъ Чичиковъ — человѣкъ самой сомнительной нравственности, съ очень темными прошлымъ и съ некрасивымъ настоящимъ. Авторъ согласенъ, что это такъ, но онъ не сгущаетъ красокъ; наоборотъ, онъ какъ будто хочетъ сказать, что Павелъ Ивановичъ и не способенъ сдѣлать какой особенно мерзкой гадости, т. е. жизни ничей не разобьетъ лишленно, беззащитнаго и слабого мучить не станетъ, чужимъ несчастьемъ наслаждаться не будетъ, даже въ клевету не пустится, а только оберетъ себѣ все, что лежитъ плохо, и оберетъ съ сознаніемъ, поступать не хуже многихъ другихъ. Какъ гражданинъ, онъ — индѣвикъ въ полномъ смыслѣ слова, какъ личность единичная — онъ самъ обыкновенный представитель очень распространенной морали средноруки, морали безирравственной — но жить другимъ не мѣшающей. Авторъ не остановился, однако, на этой безирравственной характеристикѣ незнаго и обходительнаго хищника; онъ намъ разсказалъ всю исторію дѣтства, онъ объяснилъ, какъ и откуда эти хищническіе инстинкты Чичикова зародились, и тѣмъ самымъ заставилъ насъ подумать о томъ, есть ли на Чичикова вся отвѣтственность за его плутни и мошен-

ничества, или часть этой отвѣтственности должно поставить на счет среды, въ которой онъ выросъ? Можетъ быть, онъ потому такъ дуракъ, что лучъ добра и свѣта на него не падалъ? А къ такимъ лучамъ онъ былъ воспримчивъ: недаромъ авторъ такъ подробно описалъ его снуханіе при встрѣчѣ съ губернаторской дочкой. Не любовь поступалась тогда въ его сердце, а именно то томительно тревожное чувство, которое испытываетъ человѣкъ, когда встрѣчается съ другимъ, душевное превосходство котораго надъ собой чувствуетъ. Конечно, всѣ позы Чичикова передъ этой наивной институткой смѣшны и самъ онъ смѣшонъ со своимъ столбнякомъ, но намѣреніе автора было отнюдь не заставить читателя только посмѣяться.

И наконецъ, Гоголь уже прямо спрашивалъ читателя, «да подлецъ ли Чичиковъ? Почему-жъ подлецъ?»—отвѣчалъ онъ. Зачѣмъ же быть такъ строгу къ другимъ? онъ—просто хозяинъ, приобретатель.

Приобрѣтеніе—вина всего: изъ-за него произвелись дѣла, которыми свѣтъ даетъ названіе не очень чистыхъ. Чичиковъ—жертва страсти «и есть страсти, которыхъ избранье не отъ человѣка. Уже родились онъ съ нимъ въ минуту рожденія его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаніями онъ ведется, и есть въ нихъ что-то вѣчно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное, великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или пронесшись свѣтлымъ явленіемъ, возрадующимъ міръ, однаково вызваны онъ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка передъ мудростью небесъ». Такъ оправдывалъ Гоголь своего героя, давая понять, что этотъ ничтожный человѣкъ въ концѣ поэмы лучше, чѣмъ всякій добродѣтельный, убѣдитъ читателя въ благости Божіей. А на первыхъ порахъ, до разрѣшенія загадки, Гоголь совѣтовалъ читателю оглянуться на самого себя и спросить: «А вѣтъ ли и во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?»

Если для Павла Ивановича могли быть подысканы такіа смягчающія вину обстоятельства, то для всѣхъ его знакомыхъ это было еще легче сдѣлать, такъ какъ никакой особенной вины за ними и не числилось. Ко всѣмъ къ нимъ авторъ отнесся очень милостиво, и къ дворянамъ болѣе снисходительно, чѣмъ къ чиновникамъ. Конечно, всѣ они опять-таки люди ничтожные, но желчи въ насъ они не возбуждаютъ. Мы смѣемся надъ ними, намъ жаль ихъ, но мы ужались бы съ ними безъ особенныхъ компромиссовъ съ нашей стороны. Что

могли бы мы жить, напр., против Манилова, который былъ человекъ такъ себѣ, ни то, ни сѣ», доверчиваго и добродушнаго Манилова, желающаго всегда во всемъ предполагать лучшее, довольнаго и самимъ собой, и женой, и своими сыновьями, которые такъ преуспѣли въ наукахъ, что знаютъ въ какой странѣ какой городъ лучший,—очень любезнаго человека, который даже кучеру говоритъ «вы», хотя и не знаетъ, сколько у него въ деревнѣ мужиковъ перемерю. Пусть себѣ Маниловъ мечтаетъ о томъ, какъ хорошо было бы жить съ другомъ на берегу какой-нибудь рѣки, потомъ черезъ эту рѣку начать строить остъ, потомъ огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, то можно оттуда видѣть даже Москву и тамъ пить вечеромъ чай, на крытохъ воздухѣ и разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ и философствовать... Никому отъ этого никакаго вреда не будетъ.

Ужались бы мы и съ Собакевичемъ, съ этимъ ругателемъ и кукомъ, и удивлялъ бы онъ насъ только подчасъ своими животными инстинктами—для ближняго, впрочемъ, совершенно безвредными. Этотъ инжиръ, находясь въ подчиненіи, конечно могъ страдать отъ сосѣдства оробочки и Плюшкина, но и Плюшкинъ, и Коробочка все-таки скорѣе стойки жалости, чѣмъ осужденія. И самъ авторъ, выставляя на позоръ всю мелочность ихъ души и все ничтожество ихъ прозябанія—ѣхивалъ предостеречь читателя отъ поспѣшнаго суда надъ ними. Онъ ознакомилъ насъ съ Плюшкиныхъ въ иные, счастливые годы его жизни, и мы поняли, что передъ нами несчастный человекъ, отдавшій въ жертву страсти, съ которой онъ боролся былъ не въ силахъ. Съ срушеніемъ гонорилъ авторъ о ничтожности, мелочности и гадости, «которой могъ снизоити человекъ и, указывая на это извращеніе образа дскаго, софтовалъ намъ, выходя изъ мягкихъ юношескихъ глѣтъ въ ровое ожесточающее мужество брать съ собою въ путь всѣ человѣскія движенія и не оставлять ихъ на дорогѣ. Онъ грозилъ намъ имъ живымъ мертвецомъ и вжѣстѣ съ тѣмъ говорилъ о немъ такъ, что вызывалъ не отвращеніе къ нему, а слезу участія. Когда же онъ глѣчалъ, что мы начинаемъ отъ души смѣяться, напр., надъ Коробочкой и только смѣяться, онъ навелъ насъ на раздумье вопросомъ: въ полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной стѣнѣ: человѣческаго совершенствованія? Точно ли такъ велика протъ, отдѣляющая ее отъ сестры ея недосыгаемо огражденной стѣной аристократическаго дома съ благовонными чугунами глѣстни-ми, зѣвающей за недочитанной книгой, въ ожиданіи остроумно-свѣтлаго визита?» И такіе вопросы насъ невольно располагали въ пользу судимой. Даже Поздрева—это сочетаніе безшабашности, плутов-

ства и цинизма—Гоголь представилъ таиникъ добродушнымъ и невольнымъ бременнымъ, что почти отягъ у насъ желаніе на него разсердиться.

Такъ милостиво обошелся Гоголь со всѣми людьми, съ которыми свелъ своего героя—людьми свободными, безъ прямыхъ служебныхъ обязанностей. Но къ этимъ же людямъ, состояющимъ на службѣ—къ чиновникамъ—онъ отнесся съ большей строгостью.

Какъ «Ревизоръ», такъ и «Мертвые Души» не заключали въ себѣ никакого политическаго намека. Ни единымъ словомъ сатира не коснулась высшихъ властей, болѣе или менѣе полномочныхъ и расправилась только съ чинами низшими.

Во избѣжаніе всякихъ предположеній или мыслей о современности, все дѣйствіе поэмы было перенесено въ предшествующее царствованіе, во времена «вскорѣ послѣ достославнаго изгнанія французовъ»... Эта мистификація, была, конечно, очень навивна, да и не нужна.

Какъ въ «Ревизорѣ», такъ въ поэмѣ прославлялось недремлющее око правительства: только въ «Мертвыхъ Душахъ» оно было повышено нѣсколькими чинами. Въ комедіи трепетъ нагналъ жандармъ, присланный ревизоромъ, въ поэмѣ чиновникамъ издали грозилъ тѣнь новаго генералъ-губернатора.. По адресу единой и руководящей власти былъ и здѣсь сказанъ очень прозрачный комплиментъ: «Вообще мы какъ-то не создались для представительныхъ засѣданій,—говорилъ Гоголь по поводу собранія испуганныхъ чиновниковъ у полицеймейстера. Во всѣхъ нашихъ собраніяхъ, начиная отъ крестьянской мірской сходки до всякихъ возможныхъ ученыхъ и прочихъ комитетовъ, если въ нихъ нѣтъ одной главы, управляющей всѣмъ, присутствуетъ препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народъ такой, только и удаются тѣ совѣщанія, которыя составляются для того, чтобы покутить или пообѣдать, какъ-то: клубы и всякіе вокзалы на нѣмецкую ногу».

Вся поэма въ смыслѣ благонадежности была образцовой и не могла натолкнуть читателя ни на какое непріягное для власти раздумье, за исключеніемъ развѣ только многострадальной «повѣсти о капитанѣ Копѣйкинѣ», которую цензура никакъ пропустить не рѣшилась и пропустила лишь послѣ значительныхъ уступокъ со стороны автора. Онъ неохотно на нигъ согласился, но въ концѣ концовъ принужденъ былъ понизить чиномъ то высокопоставленное лицо, къ которому Копѣйкинъ—оставившій на шогѣ браня руку и ногу—пришелъ за правительственной субсидіей, долженъ былъ подчеркнуть, что гнѣвъ начальника объясняется отчасти легкомысленнымъ пристрастіемъ Копѣйкина къ котлетамъ и инымъ лакомствамъ, и въ особенности вынужденъ былъ смягчить окончаніе повѣсти. Въ перво-

начальной редакціи этого окончанія рассказывалось, какъ Копѣйкинъ воспользовался совѣтомъ начальства найдти самому себѣ средства для пропитанія: неутомимый искатель справедливости набралъ изъ разныхъ бѣглыхъ солдатъ цѣлую банду и сталъ разбойничать въ рязанскіе лѣсахъ. Совѣтъ какъ «благородный разбойникъ» стараго типа, Копѣйкинъ не трогалъ добра частнаго и безпощадно грабилъ все казенное—фуражъ, провiантъ и деньги, и обложилъ въ свою пользу даже крестьянъ, отбирая у нихъ всѣ казенныя оброки. Походженія ретиваго капитана этимъ, однако, не кончились. Копѣйкинъ, заваривъ всю эту кашу, бѣжалъ въ Соединенные Штаты и оттуда написалъ письмо къ самому государю, письмо, въ которомъ объяснялъ ему, какъ изъ защитника отечества онъ превратился въ разбойника. Поцутно Копѣйкинъ давалъ царю совѣтъ, устроить за ранеными «примѣромъ эдакое смотрѣніе...» чтобы избѣжать повторенія подобныхъ неурядицъ. Царь былъ великодушень, простилъ виновнаго, банду его не преслѣдовалъ и позаботился объ основаніи инаидаignaго капитала... Цензура не могла, конечно, согласиться на оглашеніе переписки Копѣйкина съ государемъ и весь этотъ юмористическій—но изъ сущности очень серьезный—конецъ повѣсти напечатанъ не былъ. И эта повѣсть была единственнымъ намекомъ, который Гоголь себѣ позволилъ по адресу полномочной власти. Во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ набрасывался на ея исполнителей, разиѣряя и въ этомъ случаѣ силу своихъ ударовъ по табели о рангахъ. Чѣмъ выше былъ чиновникъ, тѣмъ мягче говорилъ о немъ авторъ, подвижный, конечно, не желаніемъ сказать власти что-нибудь лестное, а руководясь соображеніемъ, что чѣмъ интеллигентнѣе человекъ, тѣмъ онъ долженъ быть и болѣе нравствененъ.

Такимъ образомъ, въ «Мертвыхъ Душахъ», не говоря уже о генералъ-губернаторѣ, и губернаторъ и высшіе чиновники оказались лицами и достаточно порядочными, и милыми, только съ нѣкоторыми странностями. Губернаторъ, большой добрякъ, любившій вышивать, напр., по тюлю и очень искусно дѣлавшій кошельки, въ обществѣ, былъ человекъ очень пріятный и обходительный. Такимъ же добродушнемъ отличался и вице-губернаторъ, и предсѣдатель палаты, и прокуроръ. Нѣсколько иначе обстояло дѣло съ полицеймейстеромъ, который, кажется, былъ сродни городничему Сквознику-Дмухановскому, такъ какъ проходя мимо рыбнаго ряда и погребовъ мигалъ очень значительно; когда хотѣлъ подкомиться, звалъ квартальнаго и шепталъ ему что то на ухо, послѣ него столъ его заполнялся всякой закуской; во въ сущности и полицеймейстеръ былъ человекъ очень милый и жилъ онъ среди гражданъ, а какъ въ родной семьѣ, навѣдывался въ гостиный дворъ, какъ въ соб-

ственную кладовую, но пользуясь всеобщей любовью за то, что и былъ гордъ и не давалъ грубо чувствовать своей власти.

Вся эта милая чиновничья компанія едва ли могла опечалить любого моралиста и онъ могъ себя почувствовать, какъ говоритъ авторъ, со-всѣмъ семейственно среди председателя палаты, который зажмурилъ глаза, декламировалъ «Людмилу» Жуковского, почтмейстера, выдававшегося въ философію и читавшаго прилежно по ночамъ Юнговы «Ночи» и прокурора, человѣка необычайно нѣжной и робкой организаціи, который способенъ былъ даже умереть отъ скандала.

Картина рѣзко мѣняется, когда изъ этихъ круговъ относительно высокой уѣздной бюрократіи мы спускаемся въ сферы низшія и входимъ вмѣстѣ съ Чичиковымъ въ присутственныя мѣста, населенныя мелкими чиновниками. Здѣсь мы въ царствѣ бумаги, черновой и бѣлой, на которой творятся разныя беззаконія. Беспѣдуемъ мы съ Иваномъ Антоновичемъ Кувшиннымъ рыломъ, которой книгой прикрываетъ положенную ему подъ носъ ассигнацію, присутствуемъ при подборѣ лжесвидѣтелей, которые набираются тутъ же изъ палатскихъ чиновниковъ, частью полуграмотныхъ; видимъ, какъ вся мошенническая продѣлка Чичикова получаетъ санкцію закона, причемъ изъ любезности даже законныя деньги не взыскиваются съ Чичикова, а неизвѣстно какимъ образомъ относятся на счетъ какого-то другого просителя... однимъ словомъ, мы попадаемъ въ общество мелкихъ плутовъ, уже не сентименталистовъ, какъ большинство ихъ начальниковъ, а людей съ очень утилитарнымъ складомъ ума.

Спустимся еще ниже, изъ города переѣдемъ въ уѣздъ, и мы столкнемся уже съ настоящимъ негодяемъ, хоть, напр., съ застѣдательмъ Дробяжинымъ, который, имѣя сердце весьма нѣжное и блудливое, наѣзжалъ на деревни и, въ качествѣ земской полиціи, проносился по нимъ, какъ повальная горячка, за что мужиками и былъ снесенъ съ лица земли.

Эта страничка, повѣствующая о подвигахъ земской полиціи—самая дерзкая страница въ «Мертвыхъ Душахъ», единственная, про которую можно сказать, что она историческій документъ, безъ комментарія автора. Во всѣхъ другихъ случаяхъ Гоголь смягчалъ впечатлѣнія той мрачной картины людского ничтожества, которую вырисовывалъ.

Какъ видимъ, первая часть «Мертвыхъ Душъ»—дѣйствительно, эпопея людского ничтожества. Ничтоженъ и хищникъ-приобрѣтатель, ничтожно все городское общество, мужское и женское,—это царство мелкихъ интересовъ, безпринципнаго прозябанія, умственной ограниченности, царство пересудъ и сплетенъ; ничтожно и уѣздное дворянство

съ его наивловщиной, кулачествомъ Собакевича, безшабашнымъ разгудомъ Поздрева или скаредничествомъ Плюшкина или Коробочки.

Характериѣ всего то, что въ «Мертвыхъ Душахъ» и крестьянство, о которомъ авторъ вообще говорилъ очень кратко и лишь при случаѣ, изображено преимущественно со своей невзрачной, ничтожной стороны. Мужикъ въ этой поэмѣ ни пороченъ, ни добродѣтеленъ, ни золъ, ни добръ, а именно ничтоженъ, ограниченъ и тупъ. Авторъ не желалъ ни прославлять его ума и качества его сердца, какъ это дѣлали многіе современные Гоголю писатели, сентименталисты и романики; онъ не хотѣлъ и говорить о немъ дурно, какъ сталъ бы говорить сатирикъ, который хочетъ направить вниманіе читателя на пороки и грѣхи низшей братіи, въ надеждѣ, что онъ надъ ними задумается.

Что авторъ сердечно отнесся къ судьбѣ этой низшей братіи—въ этомъ нельзя сомнѣваться. Достаточно прочитать только размышленія Чичикова по поводу списка купленныхъ имъ мертвыхъ душъ, чтобы убѣдиться, какъ фантазія писателя умѣла себѣ живо представлять судьбу всѣхъ этихъ несчастныхъ, которымъ послѣ ихъ смерти хозяева выдали столь честные аттестаты. Конечно, это размышленія не Чичикова, а самого Гоголя... столько въ нихъ лиризма, и чувства, и состраданія ко всѣмъ этимъ крѣпостнымъ столярамъ, плотникамъ, сапожникамъ, для которыхъ жизнь была мачихой, которые молчаливо терпѣли умирали или, не вытерпѣвъ, бѣжали и гуляютъ по гѣсамъ, саять по тюрнямъ или по этапу путешествуютъ изъ Царево-Кокшайка въ Весъегоонскъ. Не малое знаніе народной жизни обнаружилъ Гольмъ въ этихъ размышленіяхъ и не мало любви и состраданія проявлялъ и при другихъ случаяхъ, когда напр. рассказывалъ о томъ, какъ Коробочка продавала своихъ дѣвокъ или когда рисовалъ картину крестьянской нищеты въ усадьбѣ Плюшкина—и все-таки, когда ему приходится рисовать съ этихъ крестьянъ этюды, какіе ничтожные брагъ онъ сигналы! Въ спутники своему герою онъ далъ двухъ придурковатыхъ крѣпостныхъ—Петрушку и Селифана—двухъ добряковъ, съ нечаянно тупымъ мозгомъ. . И всякій разъ, когда Чичиковъ на своемъ ти встрѣчался съ мужиками, онъ, кромѣ безтолковыхъ рѣчей дяди Гтяя и дяди Миняя, ничего не слышалъ. Во всей поэмѣ не было одной страницы, на которой бы нашъ мужикъ показалъ прирожденныи ему умъ и смекалку и порадовалъ бы насъ тѣми качествами ии, о которыхъ издавна и, конечно не безъ основанія, любили говорить наши патріоты. Но Гоголь пока умалчивалъ объ этихъ качествахъ. И вотъ въ этой поэмѣ, въ которой такъ неприглядно была обри-

сована наша жизнь; въ разсказѣ, гдѣ среди толпы ничтожныхъ людей не попадался ни одинъ человекъ достойный уваженія и любви; въ этомъ мастерски сказанномъ словѣ обличенія всяческой пошлости, царящей во всѣхъ классахъ—читатель вдругъ наталкивался на странныя, непонятныя рѣчи автора. Эти рѣчи дышали высокими лиризмами, самыми восторженнымъ патріотическимъ чувствомъ, повидимому—ничѣмъ не оправданнымъ...

Обрывая нить своего разсказа, авторъ напр., восклицаетъ: «Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросано и непріютно въ тебѣ; не развеселять, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства,—города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревья и плющи, вросшіе въ дома, въ шумѣ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоудящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенные одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несметными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь ихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города: ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ухахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и омѣтнула мысль предъ твоимъ пространствомъ. Что пророчить себѣ необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройти ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразилъ во глубинѣ моей; неестественной властью осѣтили мои очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земля далѣ! Русь!»

Но этой рѣчью полной намековъ, въ которыхъ смѣшались грусть и радость, признанію невеселаго настоящаго и надежда на великое бу-

щее, авторъ остался, однако, недоволенъ. Онъ хотѣлъ яснѣе отгнѣять эту патріотическую мысль, и въ концѣ поэмы, рассказывая какъ Чичиковъ въ брчкѣ, подлетывая на кожаной подушкѣ, мчался по дорогѣ, онъ ругъ заговорилъ о своей собственной страсти къ быстрой ѣздѣ пользуется этимъ случаемъ, обратился къ родинѣ съ такимъ восклицаніемъ:

«Не такъ ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? могъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и идетъ позади! Остановился пораженный Божиимъ чудомъ созерцать: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значить это наконецъ ужасъ движеніе? и что за невѣдомая сила заключена въ сихъ гнѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, — что за кони! Вихри сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей икѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню — дружно и разомъ прыгли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ одніи вытянутыя линіи, летяція по воздуху, и мчится, вся кновенная Богомъ!.. Русь, куда-жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не гь отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и повится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, имъ есть на землѣ, и косясь посторониваются и даютъ ей дорогу гдѣ народы и государства».

Всякій прочитавшій поэму могъ спросить, чѣмъ такое окончаніе издается и какъ связать общую и сѣрую картину вашей жизни такими радужными надеждами и такимъ восторгомъ? Неужели Гоголь забылъ, что въ этой хваленой тройкѣ пока возсѣдалъ лишь Паша Ивановичъ Чичиковъ?

Но нашъ авторъ зналъ, что онъ говорилъ: въ его головѣ давно было готово продолженіе поэмы и эти лирическія мѣста относились къ тому, что онъ успѣлъ сказать, а къ тому, что онъ думалъ сказать въ будущемъ. На эти «грядущія рѣчи» онъ уже успѣлъ и напутъ въ своей поэмі, намекнуть вскользь, не желая открывать в тайни. Читатель, который съ интересомъ слѣдилъ за развитіемъ каза, легко могъ просмотрѣть эти намеки, и тогда лирическія а должны были поразить его своей непослѣдовательностью. А км были очень прозрачныя.

Обравываясь передъ читателемъ въ выборѣ своего прованческаго гта, завидуя тому писателю, который говоритъ о великихъ достоинствахъ челоѣка, который не измѣняетъ возвышеннаго строя своей и не спускается со своей вершины къ блѣднымъ ничтожнымъ гь собиратьяиъ—Гоголь писалъ:

«Не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежминутно предъ очами, и чего не зрять равнодушныя очи,— всю страшную, потрясающую тину нечеловѣчій, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неутомимаго рѣзца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ легѣянныя созданья, отвѣдетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ челоуѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта; безъ раздѣленія, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуетъ онъ свое одиночество.»

И долго еще опредѣлено мнѣ чудною властью идти объ руку съ монми странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенія подыметъ изъ облеченной въ священныя ужасы и блистающаго главы, и почувютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей...»

Авторъ даже намекнулъ, о комъ будутъ гремѣть эти другія рѣчи: «Можетъ быть, въ сей самой повѣсти,—говорилъ онъ,—почувются иныя еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всею дивною красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертвая книга предъ живыми словами! Подымутся русскія движенія... и увидятъ, какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ...»

Когда Гоголь писалъ эти строки, его надежды частью уже успѣли осу-

ществиться. Прежде чѣмъ эти обѣщанія были напечатаны, нѣсколько главъ второй части «Мертвыхъ Душъ» были уже написаны.

Герою этой второй части поэмы остался все тотъ же Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, такой же мошенникъ, какинъ онъ былъ и въ первой. Но только надлежащее возмездіе покарало теперь его плутни. Онъ не избѣгъ справедливаго суда, какъ прежде, когда, скупивъ мертвыя души, онъ сѣлъ въ бричку и уѣхалъ. Правда, и преступленіе его теперь было болѣе тяжкое: въ хищника-пріобрѣтателя онъ сталъ поддѣльвателемъ документовъ; за одну такую поддѣлку духовнаго завѣщанія попалъ онъ теперь въ тюрьму, переживъ одинъ изъ самыхъ унижительныхъ моментовъ своей жизни, когда ему пришлось на колѣняхъ обнимать сапоги величественнаго генералъ-губернатора — отца всѣхъ обиженныхъ и грозы всѣхъ преступныхъ, владыки строгаго, но милосерднаго, въ которомъ Гоголь хотѣлъ воплотить торжество гуманной власти. И эта власть не сгноила Чичикова въ тюрьмѣ, и въ Сибирь его также не сослала. Вопреки всѣмъ законамъ, она и на этотъ разъ позволила ему сѣсть въ бричку и уѣхать, потому что авторъ имѣлъ на него свои виды. Авторъ дѣйствительно, замѣтилъ въ своемъ ничтожномъ и преступномъ героѣ способность къ аскалнію и нравственному возрожденію, и хотѣлъ этимъ воспользоваться. Въдѣ если бы съ этою волей и настойчивостью да на доброе дѣло! — дворилъ, глядя съ укоризной и печалью на Чичикова, благороднѣйшій миліонеръ Муразовъ, выхлопотавшій ему прощеніе у генералъ-губернатора. И этотъ резонеръ, олицетвореніе добродѣтельной и бламыслящей финансовой силы взялъ на себя неблагоприятную роль ховиника Павла Ивановича, и сталъ направлять его на доброе дѣло. Не о мертвыхъ душахъ долженъ онъ подумать, а о своей собственной душѣ, не объ имуществѣ, которое могутъ у него конфисковать, а о томъ, котораго никто не можетъ ни украсть, ни отнять... Чичиковъ, слушая эти рѣчи, задумался. Что-то страшное, какіе-то вѣдомыя дотогѣ, незнаемыя чувства, ему самому необъяснимыя, пришли ему: какъ будто хотѣло въ немъ что то пробудиться, что то подавленное изъ дѣтства суровымъ, мертвымъ поученіемъ, безпривѣтностью чуждаго дѣтства, пустынною роднаго жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній... Вътѣ! полно, — сказалъ себѣ Павелъ Ивановичъ, — пора начать новую жизнь. Пора въ самомъ дѣлѣ сдѣлаться порядочнымъ». Такъ думая Чичиковъ, но онъ былъ еще далекъ отъ цѣли. Онъ вышелъ на свободу все-таки съ не совсѣмъ чистыми помыслами. Отъ пріобрѣтенія новыхъ мертвыхъ душъ онъ отказался, но отъ мысли заложить уже неимѣныя пока не оторекся. «Заложу, говорилъ онъ, чтобы купить на

деньги помѣстье, сдѣлаюсь помѣщикомъ, потому что здѣсь можно сдѣлать много хорошаго», и эти благіе планы, кажется, и должны были осуществиться въ дальнѣйшемъ продолженіи поэмы.

Если главный герой сохранилъ во второй части «Мертвыхъ Душъ» свою порочную и ничтожную душу, то помыслы и сердце людей его окружавшихъ значительно просвѣтѣли. Изъ круга людей ничтожныхъ мы во второй части поэмы попадаемъ въ общество людей гораздо болѣе вѣрочныхъ и съ болѣе сложнымъ духовнымъ содержаніемъ. Среди этихъ новыхъ лицъ, съ которыми мы знакомимся, встрѣчаются конечно, и люди умственно и душевно убогіе: какой-нибудь Пѣтухъ, у котораго вся душа ушла въ желудокъ, или сонный и лишенный воли Платонъ Михайловичъ, который никогда не зналъ ни страсти, ни печали ни потрясенія, или, наконецъ, полоумный Кошкаревъ, съ его «главной счетной экспедиціей» и «школой нормальнаго просвѣщенія поселянъ», тотъ самый Кошкаревъ, который хотѣлъ чтобы крестьянинъ, идя за плугомъ, могъ читать въ то же время книгу о громовыхъ отбѣдахъ, который думалъ, что если одѣть всѣхъ въ нѣмецкое платье, то науки возвысятся, торговля подымется и золотой вѣкъ встанетъ въ Россіи. Но не эти лица стоятъ во второй части поэмы на первомъ планѣ. Есть много другихъ, на которыхъ авторъ сосредоточилъ преимущественно свою любовь и вниманіе. Между ними и дѣйствующими лицами первой части поэмы можно подмѣтить известное сходство и кажется иногда, что эти люди, съ которыми Чичиковъ теперь столкнулся—тѣ же его старые знакомые, но только съ душой болѣе сложной и съ умомъ болѣе развитымъ *).

Во всякомъ случаѣ, какъ бы мы ни относились къ этимъ новымъ лицамъ, мы подмѣтимъ въ нихъ духовныя стремленія и потребности, которыхъ совсѣмъ не было у героевъ прежнихъ. Присутствіе этихъ стремленій замѣтно и въ Тентетниковѣ, этомъ прообразѣ Обломова. Смѣшонъ онъ со своимъ сочиненіемъ, которое должно объять всю Россію со всѣхъ точекъ,—гражданской, политической, религіозной и философической. Но въ душѣ этого «копителя неба» осталась закваска идеализма, сохраненнаго имъ съ того времени, когда онъ такъ благородно понималъ свою задачу помѣщика, когда онъ бросилъ службу, чтобы работать на пользу вѣранныхъ ему людей. У него и теперь, при полной бездѣятельности

*) Остроумное сопоставленіе нѣкоторыхъ типовъ первой и второй части «Мертвыхъ Душъ» (Манилова и Тентетникова, Собакевича и Скудронжогола) см. въ статьѣ *Алексея Веселовскаго*, «Мертвыя Души», «Этюды и характеристики», 596—8.

дѣли, остался этотъ гуманный взглядъ на ближняго, и какъ помѣ-
никъ, онъ баринъ добрый—хотя и бесполезно живущій на свѣтѣ,
изъ всякой выгоды и пользы для себя, но и безъ ущерба для тѣхъ,
о отъ него зависитъ. Его обгѣнившаяся и апатичная душа доступна
теперь хорошимъ и тонкимъ чувствамъ: взять хотя бы тѣ ми-
ты, когда ему на память приходится его старый учитель Александръ
Треничъ, этотъ «необыкновенный наставникъ, который имѣлъ вѣкогда
кое высокое нравственное вліяніе на души всѣхъ своихъ учениковъ»,
любікъ одаренный способностью читать съ чужомъ сердцѣмъ и все-
гда ему бодрость».

Нельзя отказать въ симпатіи и промотавшемуся Хлобуеву. «Свиньей
я вѣду, просто свиньей,—говоритъ этотъ кающійся грѣшникъ, у
кого на рукахъ пѣлая семья и разоренное въ конецъ имѣніе.
Вотъ я теперь вѣкуда,—разсуждаетъ онъ,—ни на какую долж-
ность. Что разорять казну! И безъ того теперь завелось много слу-
щихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки
жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе!» Нельзя не по-
мѣтись такой образцовой честности прокутившагося человѣка, который
вспоминать даже чужихъ людей скорѣй отобрать у него имѣніе, чтобы
безпорядочность въ конецъ не развратила крестьянъ, и который кон-
чить тѣмъ, что, подвывая свою всегда понурую голову и расправивъ спину,
бѣгать простую сибирку и на простой тележкѣ отправляется по горо-
дъ и деревнямъ собирать на построеніе храма. Читателя коробитъ
ка отъ такого прянаго смиренія и такой неожиданной религіоз-
ности, но онъ опять долженъ согласиться, что и этотъ человѣкъ не
улыбѣ въ житейской тишѣ, пока самъ помышляетъ о новой жизни.
Возможности такой новой жизни для всѣхъ порочныхъ, слабыхъ
и чтожнихъ и хотѣлъ говорить Гоголь. И онъ не могъ не отвѣтить
естественный вопросъ, который навязывался читателю об-
разомъ всей этой картины. Читатель могъ спросить, въ чемъ же
заключается эта новая жизнь и что именно должны дѣлать эти
одинашескіе люди. Появленіе положительныхъ типовъ въ разсказѣ
оказалось неизбѣжно. Авторъ я нарисовалъ бѣгло два такихъ типа:
одинъ былъ мужской, другой женскій. Одинъ долженъ былъ выражать
силу мужского ума, другой побѣду женской красоты и нѣжности.
Константинъ Федоровичъ Скудровжогло—или, какъ онъ назывался
раньше, Констанджогло—едва-ли привлечетъ теперь наши симпатіи, но
онъ любилъ его, вѣроятно, по контрасту съ самимъ собою, какъ это
и бываетъ въ жизни. Утилитаристъ и практикъ, права довольно
много и даже суроваго, человѣкъ все измѣряющій аршиномъ чи-

стаго дохода и пользы, Скудронжогло совсѣмъ не годился бы въ герцога и не могъ бы при случаѣ «сіять, какъ царь въ день торжественнаго своего вѣнчанія», если бы его практичность шла только ему одному на пользу. И авторъ понималъ значительно шире общественное призваніе такого практика-дѣльца. Въ его описаніи онъ вышелъ заботливымъ, хотя и строгимъ опекуномъ младшей брата. Въ своемъ обращеніи съ ней онъ былъ большой консерваторъ, даже суровый консерваторъ: онъ возставалъ напр. противъ устройства богоугодныхъ заведеній; онъ видѣлъ въ нихъ лишь средство, чтобы оторвать мужика отъ христіанскаго долга. «Помоги,—говорилъ онъ,—сыну праграть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его съ плечъ своихъ». Онъ высказывался рѣшительно и противъ школы, мотивируя это тѣмъ, что писарь въ деревнѣ нуженъ одинъ, а остальные дѣти должны помогать отцамъ на работѣ. «У тебя крестьяне затѣмъ,—разсуждалъ онъ,—чтобы ты имъ покровительствовалъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ же быть? въ чемъ же занятія крестьянина?—Въ хлѣбопашествѣ. Такъ старайся, чтобы онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ». И авторъ хотѣлъ увѣрить насъ, что съ этой нехитрой мудростью его мудрецъ добился большихъ результатовъ. «Все въ его деревняхъ было богато: торныя улицы, крѣпкія избы; рогатый скотъ такъ на отборъ, даже мужичья свинья глядѣла дворяниномъ; и мужики его гребли, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатой». Такой блаженной идилліей тѣшили свою фантазію Гоогль, желая купить процвѣтавше народное по цѣнѣхъ наивозможно дешевой, безъ всякихъ измѣненій нововведеній и заморскихъ хитростей. Мораль трезваго благомыслящаго и практическаго ума—вотъ что повидимому совѣтовалъ Гоогль усвоить мужичиѣ, когда съ такимъ пафосомъ говорилъ о скудронжогло, объ этомъ уже не хищномъ пріобрѣтателѣ.

Прозаическую односторонность такого положительнаго типа Гоогль попытался восполнить другимъ идеальнымъ женскимъ типомъ, о которомъ издавна грезилъ. Эта было та прословутая чудная дѣвица, появленіе которой онъ обѣщалъ читателямъ въ первой части своей поэмы. И авторъ не поскупился на романтическія сравненія и краски для характеристики своей Улиньки. «Она была существо невиданное, странное, которое скорѣй можно было почестъ какимъ-то фантастическимъ видѣніемъ, чѣмъ женщиной. Иногда случается человѣку во снѣ увидѣть что-то подобное, и съ тѣхъ поръ онъ уже всю жизнь свою грезить этимъ сновидѣніемъ. Она была миловиднѣе, чѣмъ красавица; лучше, чѣмъ умъ, стройнѣй и воздушнѣй классической женщины. Какъ въ ребенкѣ, воспитанномъ на свободѣ, въ ней было все свое

равно. Гибель бывала у нея только тогда, когда она слышала о ка-
 кой-бы то было несправедливости или жестокомъ поступкѣ съ кѣмъ
 то ни было. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось
 гдѣ за мыслью: выраженіе лица, выраженіе разговора, движеніе
 рукъ; самая складка платья какъ бы летѣли въ ту же сторону, и
 казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вслѣдъ за собственными
 словами... При ней какъ-то смущался недобрый человѣкъ и нѣмѣлъ,
 добрый, даже самый застѣнчивый, могъ разговориться съ ней
 ругъ, какъ съ сестрой, и—странный обманъ!—съ первыхъ минутъ
 зговора ему уже казалось, что гдѣ-то и когда-то онъ зналъ ея, что
 училось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ
 комъ то родномъ домѣ, всеслышь вечерами, при радостныхъ играхъ
 детской толпы, и послѣ того какъ становился ему скучнымъ разум-
 нѣй возрастъ человѣка... Такой свѣтлый образъ появился теперь пе-
 редъ нами, какъ бы исполняя то обѣщаніе, которое авторъ давалъ
 намъше, когда на губернаторскомъ балу заставилъ Чичикова растеряться
 передъ прекрасной виституткой. Взамѣнъ Коробочки, Феодуліи Ива-
 ны, всякихъ дамъ, пріятныхъ въ разныхъ отношеніяхъ, появлялась
 зерь, какъ думалъ Гоголь,—истинно русская женщина. Авторъ не
 нѣтилъ, что у ней были всѣ добродѣтели и только одинъ недостатокъ,
 именно -- она была мертвая. Но во всякомъ случаѣ, стремленіе ав-
 тора заставить сѣрыя краски первой части поэмы болѣе свѣтлыми—
 залось всего исцѣле на созданіи такого воздушнаго образа.

Это стремленіе оставило свой слѣдъ и на жанровыхъ картинкахъ изъ
 стѣпняцкой жизни... Въ первой части онѣ были неприглядны; теперь
 чительно повеселѣли. Правда, строгая опека надъ мужикомъ была
 режиму признана необходимой; надо было смотрѣть во всѣ глаза
 простымъ человѣкомъ, чтобы онъ не сдѣлался пьяницей и него-
 лъ. Надо было зорко смотрѣть за нимъ потому, что между мужиками—
 въ утверждалъ авторъ—завелось теперь много всякой мерзости. Сму-
 тить ихъ разные раскольники и бродяги, возстановляютъ противъ вла-
 сти, а притѣсненному человѣку возстать легко. «Развѣ трудно подстрек-
 човѣка, который точно терпѣть?—говорилъ Гоголь устами благомы-
 слаго Муразова. Да дѣло въ томъ, что не снизу должна начинаться
 рава. Дѣло плохо, когда пойдутъ на кулаки: ужъ тутъ никакого
 у не будетъ—только ворами пожива. Утѣшайте крестьянъ словомъ
 лучше толкуйте имъ то, что Богъ велитъ перевозить безропотно,
 вѣстаться въ это время, когда несчастливъ, а не буйствовать и рас-
 вѣстаться самому. Говорите имъ, никого не возбуждая ни противъ
 а вслѣдъ примиряя». Эти сентиментальные совѣты авторъ не

оставлялъ, однако, безъ поправки, настойчиво совѣту помещику заботиться о благосостояніи крестьянъ и при случаѣ расуя разныхъ идилліи, въ которыхъ описывалось, какъ веселились сытые и довольные крестьяне, съ какой бодростью они трудились, и какъ кѣживо выражали барину чувства своей привязанности...

Столько консервативно-миревыхъ лучей заставлялъ авторъ упасть на ту сѣрую картину русской жизни, которую набросалъ раньше. И помещикамъ, и крестьянамъ пророчилъ онъ свѣтлую будущность. Въ раздачѣ этихъ обѣщаній обдѣлилъ онъ снова однихъ только чиновниковъ, т.-е. опять не высшихъ, а низшихъ. Про нихъ рассказалъ онъ и во второй части «Мертвыхъ Душъ» много некрасиваго.

Лжесвидѣтельства, доносы, поддѣлка документовъ, наглый обманъ съ переодѣваніемъ, насилие—все поставилъ онъ имъ въ счетъ, и несчастный генералъ-губернаторъ, глядя на нихъ, долженъ былъ воскликнуть: «Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго, всѣ—мерзавцы». Гоголю стало, однако, жаль добродѣтельнаго начальника и ему въ утѣшеніе онъ попытался набросать тутъ же силуэтъ какого-то молодого человѣка,—на лицѣ котораго изображались трудъ и забота, который, не сгорая ни честолюбіемъ, ни желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ другимъ, служилъ только потому, что былъ убѣжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь...

Такова была въ общихъ чертахъ тенденція, какую проводилъ нашъ моралистъ во второй части своей поэмы. Она должна была смягчить впечатлѣніе первой части и укрѣпить въ читателѣ его любовь къ многогрѣшной родинѣ. Авторъ имѣлъ теперь больше права выставить на показъ свой патриотизмъ, и вся эта исторія возрожденія грѣшниковъ и должна была быть сведена въ концѣ концовъ къ прославленію русской природы. «У русскаго человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо, говорилъ Гоголь,... и нигдѣ въ другихъ земляхъ не трепещетъ такъ возвышенно пылко молодое сердце, какъ въ Россіи!»

«Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово: «впередъ!»; кто, зная всѣ силы и свойства, и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеніемъ могъ бы устремить на высокую жизнь русскаго человѣка?»—спрашивалъ писатель, имѣя уже наготовѣ про себя тайный горделивый отвѣтъ.

Его поэма должна была заключать въ себѣ этотъ призывъ ободренія, это давно желанное слово «впередъ!»—и потому, конечно, она

не могла оборваться на томъ моментѣ въ жизни героевъ, о которомъ авторъ теперь рассказывалъ. Если эта вторая часть поэмы была необходима, какъ пояснительное и умиротворяющее продолженіе первой, то она сама требовала также продолженія. Нельзя было покинуть этихъ людей, когда они находились на пути къ обновленію. Нужно было пройти съ ними весь этотъ путь и оставить ихъ, если не среди новаго дѣла, то, по крайней мѣрѣ, въ преддверіи его. Слишкомъ еще мало было въ поэмі свѣта и добра, чтобы она могла соотвѣтствовать своему назначенію, т.-е. служить руководствомъ къ нравственному перевоспитанію читателя и свидѣтельствомъ нравственнаго же усовершенствованія автора. Нужна была третья часть, которая относилась бы къ первой, какъ рай относится къ аду, свѣтъ къ тѣни, добродѣтель къ пороку. Все, на что способно было «справедливое русское чувство», все должно было одѣться въ плоть и кровь и только тогда религіозная, патриотическая и нравственная идея автора нашла бы себѣ полное обнаруженіе и воплощеніе.

И Гоголь думалъ объ этой третьей части «Мертвыхъ Душъ», думалъ, можетъ быть, въ то же самое время, когда отдѣлывалъ первую и набрасывалъ вторую.

О планѣ и о содержаніи этой третьей части почти ничего неизвѣстно. Есть только указанія, что въ ней должны были вновь появиться нѣкоторые изъ дѣйствующихъ лицъ первой части, въ томъ числѣ и Плюшкинъ, но не затѣмъ, чтобы заставить читателя содрогнуться при мысли о ближнемъ, а, наоборотъ, затѣмъ, чтобы укрѣпить въ немъ вѣру въ человѣка. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ оставался попрежнему героемъ поэмы и ему предназначалась особенно важная роль, если вѣрить показанію одного изъ друзей Гоголя. «Помнится—рассказываетъ архимандритъ Теодоръ, съ которымъ Гоголь въ послѣдніе годы своей жизни сблизился*),—помнится, когда кое-что прочиталъ я Гоголю изъ моего разбора «Мертвыхъ Душъ», желая только познакомить его съ моимъ способомъ рассмотрѣнія этой поэмы, то я его прямо спросилъ, чѣмъ именно должна кончиться эта поэма. Онъ, задумавшись, выразилъ свое затрудненіе высказать это съ обстоятельностью. Я возразилъ, что мнѣ только нужно знать, оживетъ ли, какъ слѣдуетъ, Павелъ Ивановичъ? Гоголь, какъ будто съ радостью, подтвердилъ, что это непременно будетъ и оживленію его послужитъ прямымъ участіемъ самъ царь и первымъ вздохомъ Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. «А прочіе

*) «Три письма къ Н. В. Гоголю, писанныя въ 1848 году», Спб., 1860, 138.

спутники Чичикова?—спросилъ я Гоголя. И они тоже воскреснутъ?» *)— «Если захотятъ», отвѣтилъ онъ съ улыбкою и потомъ сталъ говорить, какъ необходимо долѣе привести ему своихъ героевъ въ столкновеніе съ истинно хорошими людьми».

Найти этихъ истинно хорошихъ людей было, конечно, не трудно, и, вѣроятно, Гоголь имѣлъ ихъ за примѣты, но только воплотить ихъ въ образъ онъ былъ уже не въ состояніи. Одиннадцать лѣтъ промучился онъ (1840 — 1852), сочиняя продолженіе для первой части своей поэмы, все раздвигая и расширяя ея рамки и, наконецъ, сжегъ все, что успѣлъ создать, признавъ, что написанное не соотвѣтствуетъ своему великому назначенію. Онъ разочаровался въ своихъ силахъ и какъ моралистъ, и какъ художникъ. Какъ моралистъ, онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что его поэма «не указываетъ для всякаго путей и дорогъ къ высокому и прекрасному», т. е., что она не творитъ чуда; какъ художникъ, онъ приходилъ въ отчаяніе оттого, что талантъ его ослабѣвалъ съ каждымъ годомъ, что въ картинѣ его не было жизни, что лица выходили блѣдныя и становились въ неестественныя положенія... И онъ былъ правъ, осуждая свое твореніе: талантъ бытописателя угасалъ въ немъ подъ сильнымъ давленіемъ до болѣзненности разросшагося романтическаго настроенія его души, которая начинала питаться теперь не впечатлѣніями настоящаго, а туманными чаяніями грядущаго.

Но въ концѣ тридцатыхъ годовъ, когда Гоголь заграницей дописывалъ первую часть «Мертвыхъ Душъ», онъ не догадывался о возможности такихъ мученій. Талантъ его былъ въ полномъ цвѣту, надеждъ много, грандіозное продолженіе поэмы рисовалось его воображенію ясно, онъ думалъ, что, какъ художникъ и моралистъ, онъ осилитъ всѣ трудности,— и, бодрый, возвращался онъ на родину, осенью 1841 года, за тѣмъ, чтобы приступить къ печатанію первыхъ «похожденій Чичикова», съ которыхъ онъ рѣшилъ начать свою душеспасительную проповѣдь на тему о нравственномъ самоусовершенствованіи человѣка.

*) Самъ архимандритъ Феодоръ уже въ первой части «Мертвыхъ Душъ» видѣлъ намеки на возможность новой жизни для Ноздрева, Собаковича и Плюшкина, и надѣялся, что во второй и третьей части Гоголь расскажетъ всѣ прекрасныя и строгія тайны... не боже не менѣе, какъ самого Эдема («Три письма», 67, 90, 99, 182).

XVI.

Прѣздъ Гоголя въ Россію въ 1841 г.—Хлопоты съ цензурой по вѣданію «Мертвыхъ Душъ».—Возмущенное состояніе и первое настроеніе писателя.—Религіозное просвѣтленіе духа.—Гоголь среди западниковъ и славянофиловъ; его сношенія съ дружкой Аксакова и съ Вѣликинъ.—Значеніе произведеній Гоголя для обѣихъ партій.—Отъѣздъ Гоголя изъ Россіи въ 1842 году.—Выходъ въ свѣтъ полного собранія его сочиненій.

Гоголь вернулся въ Россію въ веселомъ настроеніи духа, но оно испортилось очень скоро. Въ этомъ частію была виновата его странная психическая организація, для которой сознаніе законченнаго труда всегда бывало тягостнѣе, чѣмъ самый процессъ работы. Гоголь, какъ удожникъ, никогда собой доволенъ не былъ и, конечно, еще менѣе былъ доволенъ теперь, когда онъ привозилъ на родину частицу неоконченнаго, рандюзнаго по замыслу, романа, который такъ тѣсно слился съ «дѣломъ» его собственной души. Приступая къ печатанію первой части «Мертвыхъ Душъ», авторъ все-таки жилъ мечтой объ ихъ продолженіи, а не чувствомъ довольства тѣмъ, что уже было создано... Онъ эрвничалъ, и эта нервность едва ли требуетъ поясненія, въ особенности если принять во вниманіе какъ самолюбивъ былъ авторъ и какія идежды онъ вкладывалъ на свою поэму. Мысль, что и на этотъ разъ рискуеть остаться непонятымъ, могла испортить всякое веселое настроеніе.

Оно испортилось, впрочемъ, главнымъ образомъ въ виду цѣлаго ряда непріятныхъ столкновеній съ цензурой. Сначала Гоголь представилъ свою рукопись въ московскій цензурный комитетъ, и она была предана на разсмотрѣніе цензору Снегиреву. Снегиревъ нашелъ рукопись совершенно благонамѣренною, но почему-то вдругъ—вѣроятно тупая какому-то давленію со стороны—рѣшилъ снять съ себя вѣтственность за ея пропускъ и вернулъ ее въ комитетъ для содѣстнаго обсужденія. Въ комитетѣ произошло вѣчто невѣроятное. Гоголь въ одномъ частномъ письмѣ такъ рассказывалъ объ

этомъ комическомъ эпизодѣ: «Комитетъ принялъ рукопись такимъ образомъ, какъ будто уже былъ приготовленъ заранее и былъ настроенъ разыграть комедію: ибо обвиненія, всё безъ исключенія, были комедія въ высшей степени. Какъ только Голохвастовъ (помощникъ попечителя московскаго учебнаго округа), занимавшій мѣсто президента, услышалъ названіе: «Жертвы Души», онъ закричалъ голосомъ древняго римлянина: «Нѣтъ, этого я никогда не позволю: душа бываетъ бессмертна, мертвой души не можетъ быть, авторъ вооружается противъ бессмертія». Въ силу, наконецъ, могъ взять въ толкъ умный президентъ, что дѣло идетъ о ревизскихъ душахъ. Какъ только взялъ онъ въ толкъ и взяли въ толкъ вмѣстѣ съ нимъ другіе цензора, что *мертвые* значить ревизскія души, произошла еще большая кутерьма: «Нѣтъ», закричалъ предсѣдатель и за нимъ половина цензоровъ, — этого в подавно нельзя позволить, хотя бы въ рукописи ничего не было, а стояло только одно слово *ревизская душа*; ужъ этого нельзя позволить: это значить—противъ крѣпостнаго права». Наконецъ самъ Снегиревъ увидѣлъ, что дѣло зашло уже очень далеко: сталъ увѣрять цензоровъ, что онъ рукопись читалъ и что о крѣпостномъ правѣ и намекать нѣтъ; что даже нѣтъ обыкновенныхъ оплеухъ, которыя раздаются во многихъ повѣстяхъ крѣпостнымъ людямъ; что здѣсь совершенно о другомъ рѣчь; что главное дѣло основано на смѣшномъ недумѣи продающихъ и на тонкихъ хитростяхъ покупателя и на всеобщей ералани, которую произвела такая странная покупка; что это рядъ характеровъ, внутренній бытъ Россіи и нѣкоторыхъ обитателей, собраніе картинъ самыхъ невозмутительныхъ. Но ничего не помогло. Предпріятіе Чичикова, — стали кричать всё,—есть уже уголовное преступленіе». «Да, впрочемъ, и авторъ не оправдываетъ его», зашѣтилъ мой цензоръ. «Да, не оправдываетъ, а вотъ онъ выставилъ его теперь, и пойдутъ другіе брать примѣръ и покупать мертвыя души». Вотъ какіе толки! Это толки цензоровъ-азіатцевъ, то-есть людей старыхъ, заслужившихся и сидящихъ дома. Теперь слѣдуютъ толки цензоровъ-европейцевъ, возвратившихся изъ-за границы людей молодыхъ. «Что вы ни говорите, а цѣна, которую даетъ Чичиковъ (сказалъ одинъ изъ такихъ цензоровъ—Крылочъ), цѣна два съ полтиною, которую онъ даетъ за душу, возмущаетъ душу. Человѣческое чувство вопіетъ противъ этого. Хотя, конечно, эта цѣна дается за одно имя, написанное на бумагѣ, но все же это имя—душа, душа человѣческая; она жила, существовала. Этого ни во Франціи, ни въ Англіи и нигдѣ нельзя позволить. Да послѣ того ни одинъ иностранецъ къ намъ не пріѣдетъ». Это главные пункты, основывающіяся на которыхъ произошло запрещеніе рукописи. Я

не рассказываю о других мелких замѣчаніяхъ. Какъ-то въ одномъ мѣстѣ сказано, что одинъ помѣщикъ разорился, убирая себѣ домъ въ Москвѣ въ модномъ вкусѣ. «Да вѣдь и государь строитъ въ Москвѣ дворецъ!» сказалъ цензоръ. Тутъ, по поводу, завязался у цензоровъ разговоръ, единственный въ мірѣ. Потомъ произошли другія замѣчанія, которыя даже совѣстно пересказывать, и, наконецъ, дѣло кончилось тѣмъ, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитетъ только прочелъ три или четыре мѣста *)).

Напуганный этими толками, Гоголь рѣшилъ попытать счастья со своею рукописью въ Петербургѣ, надѣясь на друзей, которые могли ей выхлопотать охрану, уже оградившую «Ревизора» отъ слишкомъ зоркихъ читателей. Рукопись «Мертвыхъ Душъ» была отправлена изъ Москвы въ Петербургъ съ Бѣлинскимъ, съ которымъ Гоголь въ это время познакомился. Въ Петербургѣ она, дѣйствительно, и получила цензорское разрѣшеніе, но не сразу, а спустя довольно продолжительный срокъ и не безъ помарокъ. Гоголя истомили эти ожиданія и опасенія; сначала онъ долго не получалъ извѣстія, гдѣ его рукопись, и въ отчаяніи думалъ, что она пропала, затѣмъ, когда она стала проходить сквозь цензурныя мытарства, онъ дошелъ до крайнихъ степеней нервнаго раздраженія и напряженія: ему казалось, что кто-то противъ него злоумышляетъ, что есть враги, которые хотятъ набросить тѣнь на его благонадежность, «тогда какъ онъ не позволилъ себѣ написать ничего противнаго правительству, уже и такъ его глубоко облагодѣтельствовавшему», онъ сталъ думать, что его хотятъ лишить всѣхъ средствъ къ существованію, и въ этихъ опасеніяхъ онъ былъ правъ лишь въ томъ смыслѣ, что, дѣйствительно, надѣялся «Мертвыми Душами» поправить свое расшатанное финансовое положеніе... Но, въ концѣ концовъ, тревоги оказались преувеличенными; разрѣшеніе печатать поэму было получено, и даже цензорскіе штрихи были не очень часты и длинны. Пострадала только «Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ», которая сначала была вся сплошь зачеркнута. Гоголь очень горевалъ объ этомъ, такъ какъ считалъ эту повѣсть однимъ изъ лучшихъ мѣстъ въ поэмі. Не желая ея жертвовать, онъ, какъ мы знаемъ, ее передѣлалъ, и въ смягченномъ исправленномъ видѣ она была пропущена.

Всѣ эти волненія отозвались очень тяжело на писемъ авторѣ. Быть можетъ, онъ бы и не страдалъ отъ нихъ такъ сильно, если бы въ то же время, т.-е. съ конца 1841 года вновь не пошатнулось силь-

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 136—138.

его здоровье. «Я былъ боленъ,—писалъ онъ въ февралѣ 1842 года одной своей пріятельницѣ,—очень боленъ и еще боленъ донынѣ внутренно. Болѣзнь моя выражается такими страшными припадками, какихъ никогда со мною еще не было; но страшнѣе всего мнѣ показалось то состояніе, которое напомило мнѣ ужасную болѣзнь мою въ Вѣнѣ, а особливо, когда я почувствовалъ то подступившее къ сердцу волненіе, которое всякій образъ, пролетавшій въ мысляхъ, обращало въ исполнѣніи, всякое незначительно-пріятное чувство превращало въ такую страшную радость, какую не въ силахъ вывести природа человѣка, и всякое сумрачное чувство претворяло въ печаль, тяжкую, мучительную печаль, и потомъ слѣдовали обмороки; наконецъ, совершенно сомнамбулическое состояніе. И нужно же, въ довершеніе всего этого, когда и безъ того болѣзнь моя была невыносима, получить еще непріятности, которыя и въ здоровомъ состояніи человѣка бываютъ потрясающія. Сколько присутствія духа мнѣ нужно было собрать въ себѣ, чтобы устоять! И я устоялъ; я крѣплюсь, сколько могу» *).

Это болѣзненное состояніе было причиной и жалобъ Гоголя на «толки», «силетни» и «гадости», которыя, какъ онъ увѣрялъ, его окружили на родинѣ. Онъ говорилъ о нихъ въ своихъ письмахъ не совсѣмъ ясно и разумнѣе, вѣроятно, главнымъ образомъ, все тѣ же цензурныя непріятности; но, кажется, что и къ знакомымъ своимъ онъ сталъ относиться въ это время съ излишней раздражительностью. Во всякомъ случаѣ, онъ очень скоро сталъ тяготиться своимъ пребываніемъ въ Россіи и вновь почувствовалъ отливъ вдохновенія и душевной бодрости. «Голова у меня одеревенѣла и ошеломлена такъ, что ничего не въ состояніи дѣлать,—писалъ онъ въ январѣ 1842 г. Максимовичу,—не въ состояніи даже чувствовать, что ничего не дѣлаю. Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествіи! Жду не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы, охлаждающія здѣсь». «Съ того времени, какъ только вступила моя нога на родную землю,—признавался онъ своей пріятельницѣ М. П. Балабиной,—мнѣ кажется, какъ будто я очутился на чужбинѣ. Вижу знакомыя, родныя лица; но они, мнѣ кажется, не здѣсь родились, а гдѣ-то я ихъ въ другомъ мѣстѣ, кажется, видѣлъ; и много глупостей, непонятныхъ мнѣ самому, чудится въ моей ошеломленной головѣ. Но что ужасно, что въ этой головѣ нѣтъ ни одной мысли, и если вамъ нуженъ теперь болванъ, для того, чтобы надѣвать на него вашу шляпку или чепчикъ, то я весь теперь къ вашимъ услугамъ».

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 147—8.

«Голова моя глупа, душа беспокойна, — говорилъ онъ Плетневу. — Боже! думалъ ли я вынести столько томленій въ этотъ прѣздъ мой въ Россію!» *).

Всѣ такіе возгласы для насъ не новость: мы къ нимъ уже прислушались. Въ тревожную минуту, когда нервное напряженіе ибнвало Гоголю работать, онъ всю вину сваливалъ обыкновенно на окружающую обстановку и только и думалъ о томъ, какъ бы скорѣй переимѣнить ее. Немудрено, что и на этотъ разъ онъ сталъ мечтать о тихомъ и мирномъ уголкѣ, который онъ покинулъ, и гдѣ ему такъ работалось. Мысль бѣжать изъ Россіи — стала соблазнять его въ третій разъ: ему вновь, какъ въ 1829 и въ 1836 году, почудилось, что только издали ему видна и мила Россія. «Уже въ самой природѣ моей, — признавался онъ своему другу Плетневу, — заключена способность только тогда представлять себѣ живо міръ, когда я удаленъ отъ него. Вотъ почему о Россіи я могу писать только въ Римѣ. Только тамъ она предстаетъ мнѣ: вся, во всей своей громадѣ. А здѣсь я погибъ и смѣшался въ ряду съ другими. Открытаго горизонта нѣтъ предо мною» **).

Какъ виднмъ, главною причиною жалобъ Гоголя было опасеніе потерять способности къ труду, которая за границей поражала его своего своею интенсивностью и силой.

Дѣйствительно, несмотря на всѣ тревоги, какія онъ испытывалъ за тѣ годъ (1841—1842) жизни въ Россіи, мысль о продолженіи «Мертвыхъ Душъ» его не покидала. Онъ былъ полонъ надеждъ и увѣренности. На ту часть своей поэмы, которую онъ теперь отстаивалъ передъ цензурою, онъ смотрѣлъ, какъ на преддверіе настоящаго храма, который еще надлежало выстроить. «Пересиливаю, сколько могу, и себя и болѣзнь свою, — писалъ онъ своимъ друзьямъ въ февралѣ 1842 г. — Неотразима вѣра моя въ свѣтлое будущее, и невѣдомая сила говоритъ мнѣ, что дадутся мнѣ средства окончить трудъ мой». «Онъ и жентъ и возикъ, и вы не судите о немъ по той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ. Это больше ничего, какъ только выльцо къ тому дворцу, который во мнѣ строится... и разрѣшитъ, наконецъ, загадку моего существованія». «Это блѣдное начало того уда, который свѣтлою милостью небесъ будетъ много не бесполезенъ...» ***).

Таковы были надежды автора; и вѣра въ силу небесъ все возвра-

*) Письма Н. В. Гоголя, II, 139, 140, 157.

**) Письма Н. В. Гоголя, II, 157.

**) Письма Н. В. Гоголя, II, 143, 156, 168, 174.

стала и возрастала въ его сердцаѣ. Въ письмахъ Гоголя за это время встрѣчается много искреннихъ признаній и возгласовъ, въ которыхъ сказывается необычайно глубокое религиозное чувство и, какъ было и раньше, очень повышенное самомиѣніе. Попржежнему понятіе о Божіемъ Промыслѣ, мысль о «Мертвыхъ Душахъ» и мысль о себѣ самомъ какъ-то сливаются въ умѣ нашего автора. Онъ продолжаетъ готовить себя къ великому подвигу чтеніемъ Евангелія; онъ рѣшается предпринять паломничество въ Іерусалимъ и искать благословенія своему труду у Гроба Господня; онъ знаетъ, что Россію нужно покинуть и говорить, что на этотъ разъ его удаленіе изъ отечества будетъ продолжительно и возвратъ его возможенъ только черезъ Іерусалимъ. Попржежнему въ письмахъ его начинаютъ звучать пророческіе возгласы: «Крѣпись и стой твердо,—пишетъ онъ одному изъ друзей,—прекраснаго много впереди! Если же что въ жизни смутитъ тебя, наведетъ безпокойство, сумракъ на мысли, вспомни обо мнѣ, и при одномъ уже твоёмъ напоминаніи отдѣлится сила въ твою душу». Какому-то чиновнику велитъ онъ передать свое слово утѣшенія и пишетъ при этомъ: «Скажите ему, что это говорить тотъ, кому внутренняя неисповѣдимая сила велитъ сказать это». «Будь здоровъ,—привѣтствуетъ онъ одного друга,—и да присутствуетъ въ твоёмъ духѣ вѣчная свѣтлость! а въ случаѣ недостатка ея, обратись мыслию ко мнѣ, и ты посвѣтлѣешь непремѣнно, ибо души сообщаются, и вѣра, живущая въ одной, переходитъ невидимо въ другую». Въ такихъ самоувѣренныхъ обращеніяхъ къ роднымъ и знакомымъ Гоголь перестаетъ даже различать сильныхъ людей отъ слабыхъ, лицъ способныхъ умилься передъ его пророческимъ тономъ, отъ такихъ, которыя могутъ взглянуть на него косо или съ улыбкой. Князю Вяземскому, трудившемуся тогда надъ своимъ изслѣдованіемъ о Фонвизинѣ, онъ напр., пишетъ: «Въ этомъ трудѣ вамъ откроется много наслажденія, вы много узнаете, чего не узнастъ никто, и что больше всѣхъ, вы узнаете глубже и много такихъ сторонъ, какихъ вы, можетъ быть, по скромности не подозреваете въ себѣ. Ваша жизнь будетъ полна! Во имя Бога, не пропустите безъ вниманія этихъ словъ моихъ! По крайней мѣрѣ, предайтесь долго размышленію; они стоятъ того, потому что произнесены тѣмъ человекомъ, который подвигнутъ къ вамъ глубокимъ уваженіемъ, сильно понимающимъ ихъ; совѣсть бы меня мучила, если бы я не написалъ къ вамъ этого письма. Это было величіе извнутри меня, потому оно могло быть Божіе величіе; итакъ, уважьте его вы» *).

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 167, 168, 215, 218, 227.

Друзья Гоголя, читая такія строки, безпокоились, изумлялись, даже сердились, и никто изъ нихъ не понималъ, что такой поворотъ въ мысляхъ и чувствахъ совершался въ Гоголѣ помимо его воли, въ силу психической неизбѣжности. Нашъ романтикъ былъ искрененъ во всѣхъ этихъ странностяхъ. Онъ помышлялъ даже о монашествѣ. «Я не рожденъ для тревоженій,—говорилъ онъ,—и чувствую съ каждымъ днемъ и часомъ, что вѣтъ выше удѣла на свѣтѣ, какъ звали монаха». Въ монахи онъ, впрочемъ, не постригся, хотя и велъ потомъ почти что монашескій образъ жизни, но какое-то священнослужительское право онъ все-таки призналъ за собой, и сталъ надѣлать своихъ родныхъ и знакомыхъ не болѣе не менѣе какъ своимъ благословеніемъ. Онъ посылалъ свое благословеніе и матери, и сестрамъ: «силою стремленій своихъ; силою слезъ, силою душевной жажды, быть достойну того», благословлялъ оцъ Жуковского; и даже преосвященнаго Иннокентія: «Полный душевнаго и сердечнаго движенія,—писалъ мнѣ ему,—жму заочно вашу руку и силою вашего же благословенія благословляю васъ! Неослабно и твердо протекайте пастырскій путь вашъ! Всемогущая сила надъ нами. Ничто не совершается безъ нея въ мірѣ: и наша встрѣча была назначена свыше. Она залогъ полной встрѣчи у рюба Господа» *).

Всѣ такія выраженія, приемы и намеки могли со стороны показаться большимъ чудачествомъ и, дѣйствительно, нашъ авторъ становился загадкой даже для тѣхъ лицъ, которыя были увѣрены, что знаютъ его близко. Надъ душой его нависала большая печаль, но пока еще не казалась ему великою радостью.

Трудно было даже близкому человѣку заглянуть въ эту таинственную душу, и если бы самъ Гоголь въ своихъ письмахъ не рассказалъ намъ томъ, что въ ней творилось, то, кромѣ слова «странность», мы и эмильмъ бы другого слова для обозначенія этого въ высшей степени южнаго психическаго процесса, который художника обратилъ навсегда въ проповѣдника, въ искателя Бога, въ мистика и кающагося грѣшника.

Сопоставивъ нѣсколько отрывковъ изъ переписки Гоголя, чтобы почитать возможно ясное понятіе о душевномъ просвѣтлѣніи и вмѣстѣ съ тѣмъ сокрушеніи нашего писателя, съ которыми намъ надлежитъ теперь юстититься какъ разъ въ этотъ знаменательный періодъ его жизни.

«Скажу,—пишетъ онъ Жуковскому **),—что съ каждымъ днемъ и

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 176, 185, 174.

**) Всѣ эти строки были написаны Гоголемъ тотчасъ послѣ выѣзда изъ Россіи въ июлѣ и августѣ 1842 года.

часомъ становится свѣтлѣй и торжественнѣе въ душѣ моей, что не безъ цѣли и значенія были мои побѣдки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей, что я сталъ далеко лучше того, какимъ запечатлѣлся въ священной для меня памяти друзей моихъ, что чаще и торжественнѣе льются душевные мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ея ступеняхъ. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горнаго свѣга. свѣтлѣе небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрѣшится загадка моего существованія... Грѣховъ, увязанія грѣховъ жаждетъ и жаждетъ теперь душа моя! Еслибъ вы знали, какой теперь праздникъ совершается внутри меня, когда открываю въ себѣ порокъ, дотѣль не примѣченный мною!»

«Васъ утрашаетъ,— писалъ онъ С. Т. Аксакову,— мое длинное и трудное путешествіе въ Іерусалимъ. Вы говорите, что не можете понять ему причины, вы говорите, что нѣсколько разъ хотѣли спросить меня и все останавливались, не рѣшаясь навязываться самому на доѣренность. А вопросъ нашъ былъ бы мнѣ пріятенъ, потому что онъ вопросъ друга. И что бы могъ я вамъ отвѣчать? развѣ произнесъ бы слова только: «такъ должно быть!» Рассмотрите меня и мою жизнь среди васъ. Что вы нашли во мнѣ похожаго на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышитъ наша добрая Москва, не думая о томъ, чтобы быть лучшею? Развѣ нашли вы во мнѣ слѣпую вѣру повсеѣ безъ различія обычай предковъ, не разбирая, на жи или на правдѣ они основаны, или увлеченіе повизною, соблазнительной для многихъ современностью и модою? Развѣ вы замѣтили во мнѣ юношескую незрѣлость или живость въ мысляхъ, развѣ открыли во мнѣ что-нибудь похожее на фанатизмъ и жаркое, вдругъ рождающееся увлеченіе чѣмъ-нибудь? И если въ душѣ такого человѣка, уже по самой природѣ своей болѣе медлительнаго и обдумывающаго, чѣмъ быстраго и торопящагося, который притомъ хоть сколько-нибудь умудренъ и опытокъ, и жизнью, и познаніемъ людей и свѣта, если въ душѣ такого человѣка родилась подобная мысль предаринять это отдаленное путешествіе, то вѣрно, она уже не есть слѣдствіе мгновеннаго порыва, вѣрно уже слишкомъ благодѣтельна она, вѣрно, далеко оглянута она, вѣрно, и умъ, и душа, и сердце соединились въ одно, чтобы послужить такой мысли. Но еслибъ даже и не могло заключиться въ ней никакой обширной цѣли, никакого подвига ю нея ли бви къ братьямъ, никакого

дѣла воиня Христа, то развѣ вся жизнь моя не стоитъ благодарности?» «Какъ же вы хотите, чтобы въ груди того, который слышалъ высокія минуты небесной жизни, который слышалъ любовь, не возродилось желаніе взглянуть на ту землю, гдѣ проходили стопы Того, Кто первый сказалъ слово любви сей человѣкамъ, откуда истекла она въ міръ?.. Признайтесь, вамъ странно показалось, когда я въ первый разъ объявилъ вамъ о такомъ намѣреніи? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума и рѣчей, и жизни,—однимъ словомъ, всему тому, что составить мою природу, кажется неприличнымъ такое дѣло... Но развѣ не бываетъ въ природѣ странностей? Развѣ вамъ не странно было встрѣтить въ сочиненіи, подобномъ «Мертвымъ Душамъ», лирическую восторженность? не слышною ли она вамъ показалась вначалѣ, и потомъ не прижирились ли вы съ нею, хотя не вполне еще узнали ея значеніе? Такъ, можетъ быть, вы примиритесь потомъ и съ симъ лирическимъ движеніемъ самого автора... Какъ можно знать, что нѣтъ, можетъ быть, тайной связи между симъ моимъ сочиненіемъ, которое съ такими погрешниками вышло на свѣтъ изъ темной низенькой калитки, а не изъ побѣдоносныхъ триумфальныхъ воротъ, въ сопровожденіи грубаго грома и торжественныхъ звуковъ, и между симъ отдаленнымъ путешествіемъ. Благоговѣніе же къ Промыслу!.. Душа моя слышитъ грядущее блаженство и знаетъ, что одного только стремленія нашего къ нему достаточно, чтобы всевышней милостью Бога оно ниспустилось въ наши души. Итакъ, свѣтлѣй и свѣтлѣй да будутъ съ каждымъ днемъ и минутой наши мысли, и свѣтлѣй всего да будетъ неотразимая вѣра ваша въ Бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничѣмъ, что безумно называетъ человѣкъ несчастьемъ. Вотъ это вамъ говоритъ человѣкъ, смѣшавшій людей!».

Такъ уиѣренно смотрѣлъ впередъ сатирикъ, въ душѣ котораго теперь релігіозный пиеосъ сталъ подавлять и сарказмъ, и юморъ, и даръ покойнаго созерцанія. Гоголь, впрочемъ, былъ не особенно опечаленъ тратой этихъ даровъ, такъ какъ надѣялся, что вскорѣ вмѣсто «смѣшныхъ» рѣчей раздастся тотъ величавый громъ, который дополнить и вычасть все, что имъ было сказано на пользу и въ назиданіе ближнихъ.

Конечно, нашъ писатель не могъ и представить себѣ, что этотъ релігіозный подъемъ души, которому онъ такъ радовался, станеть и неог источникомъ величайшихъ душевныхъ терзаній. Онъ привѣтвовалъ его какъ зрю утра, тогда какъ это была заря вечерняя.

Всѣ эти признанія были сдѣланы Гоголемъ уже за предѣлами сссім, которую онъ покинулъ въ началѣ іюня 1842 года. Странно! онъ

выѣхалъ изъ Москвы въ тотъ самый день, какъ его «Мертвыя Души» поступили въ продажу. Считалъ ли онъ, что съ появленіемъ его книги на прилавкѣ, онъ свободенъ и можетъ уѣхать; былъ ли онъ такъ нервенъ, что, не выжидая первыхъ отзывовъ читателя, поспѣшно удалился, чтобы не сталкиваться съ читателемъ лицомъ къ лицу—но только онъ спѣшилъ, спѣшилъ покинуть Россію, чтобы летѣть туда, гдѣ его—какъ онъ вѣрилъ—ожидало вдохновеніе.

Наканунѣ новой разлуки, и на этотъ разъ долгой разлуки съ Россіей, онъ писалъ С. Т. Аксакову: «Крѣпки и сильны будьте душой, ибо крѣпость и сила почіеетъ въ душѣ пишущаго сіи строки, а между любящими душами все передается и сообщается отъ одной къ другой, и потому сила отдѣлится отъ меня несомнѣнно въ вашу душу. Вѣрующіе въ свѣтлое увидятъ свѣтлое; темное существуетъ только для невѣрующихъ» *).

Но такая вѣра все-таки не исключала большой тревоги за судьбу напечатанной части поэмы. Вопросъ о томъ, какъ будетъ принята она, былъ равносильнъ вопросу, открылись ли мнѣ сердца ближнихъ, ради которыхъ весь этотъ трудъ мной предпринятъ?

«Мертвыя Души» не выходили еще изъ печати, какъ Гоголь сталъ уже спрашивать своихъ друзей, какіе о нихъ посятся толки. Онъ сталъ просить своихъ знакомыхъ пересказывать ему всѣ замѣчанія, съ сохраненіемъ ихъ «физиономіи»; онъ обращался къ друзьямъ съ просьбой написать критическіе разборы его поэмы, чтобы побудить другихъ высказаться.

Ему было все равно, кто и что будетъ говорить, онъ одинаково интересовался взглядомъ каждаго; онъ просилъ не щадить его, указать ему на всѣ его слабыя стороны и онъ говорилъ, что брань для него цѣннѣе похвалы. «Хула и осужденія для меня слишкомъ полезны, — писалъ онъ. — Послѣ нихъ мнѣ всегда отарывался яснѣе какой-нибудь мой недостатокъ—это уже много значить: это значить почти исправить его».

Не какъ художникъ интересовался онъ усиліемъ своей поэмы, а именно какъ моралистъ, который ждалъ, какъ будетъ принята его проповѣдь, а «Мертвыя Души», даже ихъ первая часть, уже давно пріобрѣли въ его глазахъ санкцію проповѣдническаго слова.

Съ этимъ словомъ, въ которомъ никто кромѣ автора и не подозревалъ проповѣди, Гоголь покинулъ Россію въ одинъ изъ самыхъ знаменательныхъ моментовъ ея общественнаго развитія.

*) «Письма Н. В. Гоголя», II, 176—7.

Въ то самое время, когда наша общественная мысль послѣ долгаго усыпленія начала пробуждаться, въ годы первыхъ серьезныхъ стычекъ западниковъ и славянофиловъ—художникъ, одаренный громаднымъ талантомъ, удалаяся съ арены и могъ лишь издали слѣдить за борьбой, которая разгоралась.

Онъ, впрочемъ, не принималъ этой борьбы особенно близко къ сердцу, но въ силу личныхъ отношеній сталъ все-таки ей причастенъ.

Его связь съ московскимъ кружкомъ славянофиловъ была довольно тѣсная, хотя она вытекала скорѣе изъ чувства дружбы, чѣмъ изъ идейной солидарности или кружковой зависимости. Московскій кружокъ друзей Гоголя собирался въ домѣ старика С. Т. Аксакова, съ которымъ Гоголь былъ знакомъ еще съ 1832 года и близко сошелся въ послѣдній свой прѣздъ въ Россію (1841—1842). Въ семьѣ Аксакова нашъ художникъ проводилъ много хорошихъ минутъ, встрѣчалъ въ ней любовь и ласку, а также поддержку своимъ патріотическимъ и религиознымъ чувствамъ.

Въ своихъ воспоминавіяхъ *) старикъ Аксаковъ говоритъ очень опредѣленно о томъ вліяніи, какое будто бы имѣлъ этотъ московскій кружокъ на Гоголя. Старикъ готовъ былъ вѣрить, что именно этотъ кружокъ пробудилъ въ Гоголѣ настоящую любовь къ Россіи. «Безъ сомнѣнія пребываніе въ Москвѣ,—писалъ онъ,—въ ея русской атмосферѣ, дружба съ нами и особенно вліяніе Константина (старшаго сына Аксакова), который постоянно объяснялъ Гоголю со всею пылкостью своихъ глубокихъ, святыхъ убѣжденій все значеніе, весь смыслъ русскаго народа, были единственными тому причины (т.-е. повышенной любви Гоголя къ родинѣ)—я самъ замѣчалъ много разъ, какое впечатлѣніе производилъ Константинъ на Гоголя, хотя послѣдній старательно скрывалъ свое внутреннее движеніе».

Старикъ, очевидно, преувеличилъ вліяніе его семьи на нашего писателя. Молодой Аксаковъ подогрѣвалъ, конечно, любовь Гоголя къ Россіи, и могъ говорить съ увлеченіемъ, но въ данномъ случаѣ важно знать, какъ глубоко это увлеченіе захватывало Гоголя. Гоголь былъ слишкомъ самобытная и оригинальная личность, чтобы подпасть подъ чье-нибудь прямое вліяніе. Да имѣли ли, дѣйствительно, эти московскіе патріоты достаточно духовной силы, чтобы повліять на Гоголя?

Старикъ Сергѣй Тимофѣевичъ Аксаковъ, котораго мы такъ любимъ изъ его «Семейную Хронику», въ то время еще не выступилъ какъ романистъ на литературное поприще; онъ служилъ, ревностно постѣ-

*) С. Т. Аксаковъ. «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», 46.

шалъ театр, интересовался очень литературой, любилъ собирать около себя литераторовъ и ученыхъ, но вовсе не затѣивъ, чтобы между ними первенствовать; онъ былъ, въ общемъ, добрѣйшій баринъ и большой патріотъ; любилъ простоту помѣщичьей жизни въ деревнѣ, любилъ Царь-Пушку и Царь-Колоколъ, а также Загоскина и съ умилениемъ ходилъ на Воробьевы Горы посмотрѣть на матушку Москву, съ того самаго мѣста, съ котораго на нее смотрѣлъ Наполеонъ съ двенадцатью языками.

Славянофильскаго, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, въ немъ было очень мало; къ отвлеченной мысли онъ былъ вообще довольно равнодушенъ, не строилъ никакихъ системъ, ни патріотическихъ, ни философскихъ, но конечно любилъ Россію своею наивною и чистою душою. Онъ вѣроятно, самъ очень удивился, когда ему его сыновья сказали, что онъ «славянофилъ»... Гоголь любилъ старика и, конечно, больше всего за его сердце.

Старшій сынъ Аксакова—Константинъ, который былъ на десять лѣтъ моложе Гоголя, обладалъ, безспорно, оригинальнымъ и очень сильнымъ умомъ. Позднѣе онъ игралъ видную роль въ исторіи нашего самосознанія, но пока былъ молодымъ романтикомъ, ревностнымъ ученикомъ нѣмецкихъ философовъ и также сентиментальнымъ русскимъ патріотомъ. Онъ былъ влюбленъ въ Гоголя, молился на него, хотя и вступалъ съ нимъ въ споры. Гоголь относился къ нему нѣсколько свысока, отдавалъ ему въ душѣ должное, возлагалъ на него большія надежды, но сохранялъ по отношенію къ нему покровительственный тонъ — какъ видно изъ его писемъ. Энтузіазмъ Константина Аксакова, пафосъ его рѣчи и горячность въ сужденіяхъ (никогда особаго впечатлѣнія на Гоголя не производили. Молодой философъ былъ въ его глазахъ все-таки пока еще незрѣлымъ человѣкомъ.

У насъ есть, впрочемъ, свидѣтельство самого Гоголя, которое показываетъ, что въ его отношеніяхъ къ этой семьѣ не было и тѣни какой-нибудь зависимости. «Хотя я—писалъ Гоголь своему другу Смирновой—и очень уважалъ старика и жену его за доброту, любилъ ихъ сына (Констанина) за его юношеское увлеченіе, рожденное отъ чистаго источника, несмотря на неумѣренное, излишнее выраженіе его, но я всегда однако-жъ держалъ себя вдали отъ нихъ». Гоголь выразился, быть можетъ, рѣзко, но онъ сказалъ правду.

Дружба связывала Гоголя и съ Погодиныхъ и Шевыревыхъ, которые были также друзьями дома Аксаковыхъ; едва ли можно, однако, говорить о вліяніи этихъ людей на образъ его мыслей. Конечно, въ вопросахъ историческихъ, въ которыхъ Погодинъ былъ большой зна-

окъ, и въ вопросахъ эстетическихъ, которыми усердно занимался Шевыревъ, Гоголь могъ кое-чѣмъ у этихъ людей позанимствоваться, но въ тихихъ профессорахъ было слишкомъ мало Божьего огня, чтобы они могли дать почувствовать Гоголю силу своей личности. И тотъ и другой были въ сущности риторы, съ небольшою художественнымъ чутьемъ. Гоголь звалъ меньше ихъ, но, конечно, и чувствовалъ, и понималъ глубже.

Для своихъ московскихъ друзей Гоголь являлся, между тѣмъ, живымъ воплощеніемъ ихъ сердечныхъ чаяній. Малороссъ, который пишетъ по-русски и любитъ Москву, человѣкъ религиозный и большой патриотъ, гениальный художникъ, въ развитіи своего таланта ничѣмъ не обязанный Западу, мыслитель, задумавшій сказать свое глубокое, Богомъ вдохновенное, слово о Россіи, слово, которое должно открыть русскимъ глаза на святую добродѣтель и великое призваніе ихъ родины—такой человѣкъ долженъ былъ быть принятъ и прославленъ москвичами, какъ великій залогъ того, на что Россія способна безъ посторонней помощи. Ирриѣтствуя восторженно художника, москвичи избаловали болѣзненно-амолюбиваго человѣка и онъ скоро заговорилъ съ ними такимъ менорскимъ тономъ, который имъ не понравился.

Но пока (въ 1841—1842 году) онъ на частныхъ собраніяхъ читалъ имъ свои «Мертвыя Души», и когда въ его присутствіи Погодинъ въ русское рошлое искалъ перста Божія и Шевыревъ ему поддакивалъ и тонувъ въ собственномъ краснорѣчій, когда старикъ Аксаковъ умилялся, слушая, какъ его сытъ горячится и ломится сквозь чащу иѣмецкой философіи, чтобы найти въ ней формулу, которая оправдала бы его любовь къ русской дѣйствительности и его надежды на великую будущность родины, Гоголь молчалъ и думалъ: «Все это я скажу и лучше, образнѣе—подождите!»

Совершенно независимое положеніе занималъ Гоголь и въ отношеніи партіи москвичамъ враждебной. Вѣрнѣе будетъ, впрочемъ, если мы скажемъ, что у него никакихъ отношеній съ западниками не было. Съ ними лишь Вѣлиискій Гоголь случайно столкнулся въ это время, это была встрѣча довольно странная.

Кружокъ Станкевича съ перваго раза оцѣнилъ и повялъ всю серьезность творчества Гоголя *), и Вѣлиискій былъ первый, который сталъ искать читателямъ значеніе этого творчества. Гоголь замѣтилъ глумъ Вѣлиискаго и хотѣлъ съ похвалою отозваться о нихъ въ «Совѣнникѣ», но редакція, какъ мы помнимъ, почему-то этого не допу-

*) *И. В. Анненковъ*, «Воспоминанія и критическіе очерки», III, 306.

стила. Затѣмъ критикъ и нашъ авторъ познакомились въ Москвѣ, когда Гоголь прѣхалъ печатать «Мертвыя Души», и очевидно это знакомство пришлось по душѣ Гоголю, такъ какъ онъ довѣрилъ Бѣлинскому рукопись своей поэмы, чтобы отвезти ее въ Петербургъ, гдѣ она должна была поступить въ цензуру. Но на этомъ ихъ отношенія и оборвались; и Гоголь самъ, кажется, стремился скоронить ихъ подъ какою-то таинственностью, боясь, какъ бы они не разсердили его петербургскихъ и московскихъ друзей, которые Бѣлинскаго тогда очень не жаловали *). Сношенія Гоголя съ Бѣлинскимъ были, такимъ образомъ, почти мимолетны и Гоголь былъ недостаточно деликатенъ въ отношеніи къ своему самому добросовѣстному и талантливому критику. Пока между ними не было такихъ принципиальныхъ разногласій, которыя получились позже, Гоголь могъ бы отстаивать свое право на знакомство съ Бѣлинскимъ, но онъ этого не сдѣлалъ.

Итакъ, въ тѣ годы, на которыхъ долженъ оборваться нашъ рассказъ, а именно въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ, Гоголь не принималъ никакого опредѣленнаго участія въ загоравшемся спорѣ между западниками и славянофилами.

Онъ уѣхалъ изъ Россіи надолго, и какъ разъ въ его отсутствіе обѣ партіи сплотились, стали въ боевое положеніе и обмѣнялись первыми угрозами. Гоголь, какъ сентименталистъ и романтикъ, долженъ былъ, конечно, больше любить славянофиловъ, чѣмъ западниковъ, и онъ и любилъ ихъ больше, но, во всякомъ случаѣ, ни у западниковъ, ни у славянофиловъ ему не пришлось ничему научиться, и вышло такъ, что, наоборотъ, онъ сталъ для нихъ предметомъ излученія. Въ его произведеніяхъ обѣ партіи стремились найти подтвержденіе своимъ мыслямъ и чаяніямъ и одинъ этотъ фактъ показываетъ намъ, какое огромное общественное значеніе эти произведенія имѣли въ ихъ цѣломъ.

Это значеніе стало ясно обѣимъ партіямъ очень скоро. Въ 1847 г. князь Вяземскій, сохраняя свое обычное независимое положеніе между спорящими партіями, писалъ по этому поводу: «Странно, что умные и добросовѣстные судьи сбились со стези умѣренности и благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Это самое доказываетъ, что тутъ было какое-то недоразумѣніе. Каждый видѣлъ въ немъ то, что хотѣлось видѣть, а не то, что дѣйствительно есть. Иначе какъ объяснить, что умъ и пошлость, разсудительность и пустословіе, понятія совершенно разнородныя, мѣшшія противоположныя сошлись заодно въ сужденіи

*) *И. И. Панаевъ*. «Литературныя воспоминанія». Спб. 1876, 235. *С. Т. Аксаковъ*. «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ», 51, 107.

о достоинствѣ, полезности и многозначительности одного и того же явленія. Что люди, провозглашающіе наобуздъ какое-то ученіе западныхъ началъ, искали въ Гоголѣ союзника и оправдателя себѣ, это еще повѣтвю. Онъ былъ для нихъ живописецъ и обличитель народныхъ недостатковъ и недуговъ общественныхъ. Эти обличенія нѣсколько напоминали имъ болѣзненное лихорадочное волненіе французскихъ романистовъ. Это было какое-то противодѣйствіе прежнимъ, кореннымъ литературнымъ началамъ. Они не понимали Гоголя, но, по крайней мѣрѣ, такъ могли въ свою пользу перетолковать созданія его вымысловъ. Но что тѣ, которые отказываются и предохраняютъ насъ отъ вліянія чужеземнаго, что тѣ, которые хотятъ, чтобы мы шли къ усовершенствованію своимъ путемъ, росли и крѣпли въ собственныхъ началахъ, чтобы тѣ самые радовались картинамъ Гоголя, это для меня непостижимо. Въ картинахъ его, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ однородныхъ картинахъ, которыя начинаются «Ревизоромъ» и кончаются «Мертвыми Душами», все мрачно и грустно. Онъ преслѣдуетъ, онъ за живое задираетъ не одиѣ наружныя и правильныя болячки; нѣтъ, онъ проникаетъ вглубь, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни одного здороваго мѣста. Жестокій врачъ, онъ растравляетъ раны, но не придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нѣтъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанію *).

На самомъ дѣлѣ въ этомъ единогласномъ признаніи заслугъ Гоголя со стороны людей, которые держались противоположныхъ взглядовъ на сущность и потребности русской жизни, не было никакого недоразумѣнія. Не говоря уже о томъ, что западники въ Гоголѣ, дѣйствительно, цѣнили обличителя, а славянофилы поэта, который обѣщалъ и былъ способенъ показать во всемъ блескѣ свѣтлыя стороны нашей жизни, Гоголь былъ въ тѣ годы единственнымъ писателемъ, по произведеніямъ котораго, съ извѣстными оговорками, можно было судить о наличныхъ силахъ, цвѣтавшихъ нашею жизнью и объ ея строѣ. Къ какой бы партіи крикъ ни принадлежалъ, онъ имѣлъ передъ собою въ произведеніяхъ Гоголя историческіе документы, на которые онъ могъ сослаться. Если въ 1855 году, т.-е. уже послѣ первыхъ шаговъ Тургенева, Толстого, Гончарова, Достоевскаго и Островскаго, Чернышевскій имѣлъ право сказать, что гоголевскій періодъ въ литературѣ длится по сю пору (1855), что не было въ мірѣ писателя, который былъ бы такъ важенъ для своего народа, какъ Гоголь для Россіи, что Гоголь первый (?)

*) «Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго», II, 316, 317 въ статьѣ Языковъ о Гоголѣ (1847).

далъ русской литературѣ рѣшительное стремленіе къ содержанію, и притомъ стремленіе въ столь плодотворномъ направленіи какъ критическое, и что вся наша литература, насколько она образовалась подъ вліяніемъ нечужеземныхъ писателей, принимаетъ къ Гоголю *),—то эти слова становятся полною истиной, если отнести ихъ къ тому времени, когда писалъ Гоголь т.-е. къ періоду отъ 1829—1842 года. Въ эти годы онъ былъ, безспорно, если не первымъ по времени, то первымъ по силѣ писателемъ, который дѣйствительно давалъ литературѣ стремленіе къ содержанію. И если про какой памятникъ художественнаго творчества можно было тогда сказать, что онъ историческій документъ, такъ это только про повѣсть, комедію или поэму Гоголя. При всѣхъ уклоненіяхъ въ сторону личной лирики и романтизма, въ этихъ памятникахъ было во многихъ случаяхъ и уловлено господствующее міросозерцаніе и настроеніе ихъ эпохи, и дано объективно вѣрное воспроизведеніе если не всѣхъ, то очень многихъ сторонъ тогдашней жизни.

Еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ Гоголю пришла мысль издать полное собраніе своихъ сочиненій. И въ 1842 году—спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ появленія «Мертвыхъ Душъ»—оно и увидѣло свѣтъ въ Петербургѣ.

Это былъ итогъ всей его художественной дѣятельности, которая на этомъ годѣ и закончилась.

*) (Н. Г. Чернышевскій) «Очерки гоголевскаго періода русской литературы». Сиб. 1893, 2, 11, 19, 21.

XVII.

опросъ о „первомъ“ русскомъ реальномъ романѣ. Права на первенство ушкина, Лермонтова и Гоголя.—Психологическій романъ того времени: Лермонтовъ, Герценъ, Марлинскій, Гащъ и Жукова.—Нравоописательный романъ.—романы Квитки.—Разные общественные круги въ изображеніи нашихъ беллетристовъ.—Свѣтскій и дворянскій кругъ въ столицѣ и въ деревнѣ—въ повѣстяхъ ермонтова, кн. Одоевскаго, Марлинскаго, гр. Соллогуба, Загоскина, Сенковского, угарина, Даля и Гребенки.—Военные типы въ повѣстяхъ Лермонтова, Марлинскаго, Даля, Полевого и Павлова. Типы чиновниковъ у Даля, Вѣгичева и Греники.—Жизнь литераторовъ въ изображеніи Полевого, Сенковского и Загоскина.—Повѣсти изъ быта мѣщанскаго, купеческаго и крестьянскаго.—Положеніе занимаемое повѣстями Гоголя среди всѣхъ этихъ памятниковъ.

Нерѣдко возникалъ вопросъ, съ какого литературнаго памятника мы можемъ начинать исторію нашего реального романа. Вопросъ былъ поставленъ не совсѣмъ правильно, такъ какъ едва ли можно указать вообще на какой-либо памятникъ, который не имѣлъ бы своего предшественника, — и, кимъ образомъ, исторію русскаго реального романа пришлось бы назвать съ очень отдаленнаго времени. Если нѣсколько видоизмѣнить отъ вопросъ и спросить, въ какомъ изъ романовъ наша дѣйствительность нашла себѣ впервые художественное и болѣе или менѣе ясное отраженіе, то отвѣтить на такую постановку вопроса будетъ легче. Но едва ли и въ этомъ случаѣ можно остановиться на какомъ-нибудь одномъ памятникѣ, который былъ бы и наиболѣе полнымъ, и bestъ съ тѣмъ наиболѣе художественнымъ отраженіемъ нашей жизни.

Могло случиться, что одинъ писатель умѣлъ, какъ реалистъ, довести большого совершенства художественную технику своего созданія, да какъ другой, уступая ему въ технику, могъ обладать большимъ талантомъ и интересомъ къ дѣйствительности, его окружающей, и дать картину несравненно болѣе полную и широкую, чѣмъ его соперникъ. А въ данномъ случаѣ имѣли бы право претендовать на славу перво реалиста, одинъ въ виду своего превосходства, какъ техника, другой въ виду болѣе широкаго кругозора. Конечно, и тотъ и другой

должны быть художниками прежде всего, и разница здесь может быть только в известных степенях таланта, трудно измеримых, но все-таки достаточно ясных.

Когда спорять о том, кого должно признать «отцом» нашего реального романа, то указывают обыкновенно на двух писателей, между которыми никак не хотят подыскать этого почетного звания. Одни склонны приписать всю заслугу Пушкину, ища в виду прежде всего его «Евгенія Онегина», а заглавие его повести—другие отдают преимущество Гоголю, как творцу «Мертвых Душ». Существует также мнение, что настоящий реальный роман начал свою жизнь у нас лишь с конца сороковых годов, с первых созданий Тургенева, Гончарова и Достоевского, но с этим мнением едва ли нужно считаться, потому что все эти писатели открыто признавали себя учениками и Пушкина, и Гоголя.

Кому же из этих двух или трех, если к ним присоединить их младшего современника Лермонтова, должна быть приписана честь первого учителя?

Что Пушкин по времени был первый, который достиг сочетания правды в жизни с правдой в искусстве—это несомненно. Что он, как художник-реалист, не искал себе равного—это тоже верно. Большою техникой реалиста обладал в своей очень замкнутой сфере и Лермонтов. Обладал ли ею Гоголь?

Не в той ровной степени, в какой ею обладали Пушкин и Лермонтов. Не говоря уже о том, что во многих из своих повестей Гоголь никак не мог отделяться от романтической привычки брать действительность всегда октавой выше, идеализировать и людей, и природу, или наоборот иногда слишком подчеркивать в своих типах их житейскую прозаичность,—он и в своих шедеврах нередко обобщал свои типы настолько, что они становились собирательными и превращались в общие образы, жизненные безспорно, но не живущие, т.-е. не развивающиеся на наших глазах, а неподвижно перед нами стоящие. Такими, например, были Мавилы, Собакевичи, Плюшкины и другие. Конечно, отмечая эту характерную черту в реальном воспроизведении действительности у Гоголя, нужно помнить, что она не мешала ему создать целую галерею иных типов, в высокой художественной жизненности которых не может быть ни малейшего сомнения; стоит нам только вспомнить всех действующих лиц его комедий, Чичикова, Поздрева, Акакия Акакиевича и многих других. Сказать, что Гоголь как художник-реалист по технике всегда слабее или ниже Пушкина и Лермонтова было бы несправедливо. Но ска-

затѣ, что во всей его манерѣ реально воспроизводить жизнь за-
мѣтно нѣкоторое колебаніе, нѣкоторая неустойчивость письма, замѣтно
частое покушеніе уклониться въ сторону идеализаціи или обобщенія,—
сказать это можно, ничуть не умаляя поэта. Но высказавъ такое суж-
деніе, нельзя уже настаивать на томъ, что въ исторіи нашего реализма
въ литературѣ ему, какъ художнику, принадлежитъ по времени первое
мѣсто. Пушкинъ опередилъ его во времени и въ силѣ, а Лермонтовъ
не отставалъ отъ него.

Но на этотъ-же вопросъ можно взглянуть и съ иной стороны. При
однѣмъ художественнаго произведенія можно принять за исходную
точку—умѣнье писателя улавливать господствующее настроеніе окружа-
ющей дѣйствительности, ея внутренней смыслъ, основныя черты характера
своей національности, внутренней строй общественной жизни, ея темпера-
ментъ, ея главнѣйшія отрицательныя или положительныя стороны. Если
требовать отъ художника, чтобы онъ на нашихъ глазахъ заставилъ биться
пульсъ жизни не единичнаго какого-нибудь лица, а цѣлаго разно-
шерстнаго общества—то тогда, конечно, сочиненіямъ Гоголя и въ част-
ности «Мертвымъ Душамъ» придется отвести первое мѣсто въ ряду
ихъ предшественныхъ и современныхъ имъ повѣстей, и признать
именно ихъ за первый по времени «реальный» романъ, который помогъ
читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ историческаго момента.
Въ самомъ дѣлѣ, старые наши «правоописательныя» романы гнались въ
большинствѣ случаевъ лишь за описаніемъ внѣшнихъ сторонъ нашей
жизни, мало вникая въ ея смыслъ; а такія художественныя произведенія,
какъ «Евгеній Онегинъ» и «Герой нашего времени» ставили себя
цѣлью разъясненіе и описаніе психическаго міра лишь нѣкоторыхъ
отлѣе или менѣе замѣтныхъ единицъ, людей съ особеннымъ, даже
мало распространеннымъ, образомъ мыслей, съ исключительнымъ на-
строеніемъ и характеромъ. На обрисовкѣ господствующихъ рыча-
говъ и мотивовъ общей жизни эти повѣсти почти не останавли-
лись.

Комедіи Гоголя и «Мертвыя Души» заполняли въ данномъ слу-
чѣ одинъ изъ важнѣйшихъ пробѣловъ въ литературѣ. Городничіе
ихъ сослуживцы, Хлестаковы, Поздревы, Чичиковы, Маниловы,
Мбакевичи, даже Плюшкины и Коробочки—если умолчать о цѣлой
кстѣ другихъ второстепенныхъ лицъ—были не единичными явле-
ніями, а самой Русью, съ ея повсемѣстно распространенными обще-
ственными привычками, стремленіями, мыслями и программами жизни
которыя имѣлъ право на названіе художника-реалиста не потому только,
о реально изобразилъ этихъ русскихъ людей, а потому, что уловилъ

реальную сущность русской жизни, потому что сумѣлъ въ одномъ типѣ воплотить массу душевныхъ состояній и многія жизни. Понятно, что на такой «реальный» романъ могли опереться всѣ недовольные тѣмъ строемъ жизни, который дѣлалъ такіе типы возможными или воплотѣ правдоподобными, и авторъ противъ своей воли долженъ былъ примириться съ тѣмъ, что поклонники его таланта въ осужденіи русской дѣйствительности пошли гораздо дальше, чѣмъ овъ, и для излеченія ея предлагали инныя средства, чѣмъ тѣ, въ которыя вѣрилъ авторъ.

Если среди современниковъ Гоголя многіе обладали столь же зоркимъ взглядомъ, проникающимъ въ самую сущность нашей жизни, если, быть можетъ, нѣкоторые были вооружены даже болѣе острыми зрѣніемъ, то никто не сумѣлъ такъ ясно обнаружить эту зоркость въ художественныхъ произведеніяхъ, какъ Гоголь.

Намъ станеть это ясно, когда мы окинемъ хотя бы самыя бѣглыя взгляды содержаніе тѣхъ повѣстей и романовъ, которые появились на нашемъ литературномъ рынкѣ одновременно съ сочиненіями Гоголя.

Наша повѣствовательная литература тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ была отнюдь не бѣдна содержаніемъ. Много самыхъ разнообразныхъ сторонъ русской жизни успѣла она отиѣтити, и писатель обнаруживалъ наблюдательности, литературный навыкъ, нерѣдко и крупный литературный талантъ. Но этотъ въ общемъ наблюдательный взглядъ писателя скользилъ какъ то по поверхности жизни, мало проникая въ глубину ея.

Если и случалось кому изъ тогдашнихъ художниковъ заглянуть поглубже въ людскую душу, то объектомъ такихъ наблюденій бывалъ чаще всего самъ художникъ, его внутренній психическій міръ, и повѣсть носила тогда характеръ автобіографическаго признанія. Лучшіе по технике рассказы тѣхъ годовъ были именно такими признаніями, въ которыхъ много говорилось о разныхъ тонкихъ чувствахъ, настроеніяхъ и сложныхъ мысляхъ самого писателя и очень мало объ окружающей его жизни.

Къ числу такихъ признаній нужно, наприимѣръ, отнести многіе повѣсти Марлинскаго, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ онъ самъ — чистокровный романтикъ и идеалистъ александровскаго царствованія*). Въ

*) «Онъ былъ убитъ» 1834, «Журналъ Вадимова» 1834, «Путь до города Кубы» 1834.

этот же разряд повѣстей должно зачислить и романтическія повѣсти Н. Полевого, въ которыхъ онъ такъ много говорилъ о своей любви къ искусству *). Особую группу повѣстей съ такими же автобіографическимъ значеніемъ составляютъ и сборники рассказовъ двухъ писательницъ, которыя задались цѣлью познакомить читателя съ психологіей именно женскаго сердца и, главнымъ образомъ, конечно, съ психологіей и патологіей любви. Сочиненія «Зененды Р—вой» (г-жи Ганъ)**) пользовались въ свое время большимъ успѣхомъ, и писательница могла съ нѣкоторымъ правомъ претендовать на знаніе русской Жоржъ-Зандъ, такъ какъ задачей своей поставила оборону женскаго сердца противъ мужского наслія ***). Она не рисовала сильныхъ героическихъ женскихъ натуръ, какъ это дѣлала ее предшественница на западѣ, она наоборотъ стремилась разжалобить читателя въ пользу униженной, оскорбленной и обманутой женщины, и эта тактика ей удалась вполне. Ея повѣсти нанесли читателя на весьма серьезные вопросы, но, конечно, вопросы исключительно личные и семейные. За сочиненіями г-жи Ганъ осталась впрочемъ одна крупная заслуга: тогдашняя повѣсть, не говоря уже о поэмахъ, избѣгала рисовать женщину въ обыденной обстановкѣ или, если и рисовала, то въ обрисовкѣ женскаго характера предпочитала романтическую недосказанность и идеализацію — жизненной правдѣ. Г-жа Ганъ не избѣгала этихъ романтическихъ условностей, но все же въ ея женскихъ типахъ было гораздо больше плоти и крови, чѣмъ во многихъ женщинахъ отъ которыхъ были безъ ума наши романтики. Однородную тему избрала и М. Жукова для своихъ рассказовъ ****). Кровавыя сцены немотивированной ревности, мужская черствость и мягкость преданнаго женскаго сердца, затаенная любовь, неожиданно прорвавшаяся наружу и своимъ волненіемъ поразившая женщину на смерть, наконецъ, страданія обманутой, несчастной обиди, нашедшей передъ смертью опору въ томъ человѣкѣ, котораго она раньше не оцѣнила—вотъ несложные сюжеты очень драматично изработанные нашей писательницей въ интересахъ торжества гуманной идеи. Большой литературной стоимости нельзя признать за рассказы М. Жуковой, но ихъ должно отнѣсать какъ удачный образъ повѣсти, занятой постановкой и рѣшеніемъ чисто психологической задачи.

*) «Эмиля», «Блаженство безумія», «Живописецъ» вышли подъ общимъ заглавіемъ «Мечты и жизнь». Москва 1833. IV части.

***) «Сочиненія Зененды Р—вой». Сиб. 1843. 4 части.

****) «Идеаль», «Медальонъ», «Теофанія Аббиджіо», «Судъ свѣта».

*) М. Жукова. «Вечера на Карповкѣ». Москва. 1838. 2 части.

Если бы мы пожелали однако указать на истинно-художественный при-
меръ такой повѣсти, то обходя всѣ вышеупомянутые опыты, мы могли бы
остановиться лишь на «Герои нашего времени» Лермонтова. По этому на-
мятнику трудно судить объ эпохѣ, когда онъ былъ написанъ: такъ
мало въ немъ картинъ и типовъ, имѣющихъ широкое общественное зна-
ченіе. Но зато ни въ одномъ романѣ тѣхъ годовъ не обрисовалась
такъ рельефно личность самого писателя. А такъ какъ этотъ писатель
въ то же время былъ однимъ изъ самыхъ умныхъ и чуткихъ людей
своего поколѣнія, то и исповѣдь его приобрѣла значеніе и личнаго призна-
нія, и историческаго документа. Такимъ же интимнымъ признаніемъ была
и первая повѣсть А. Н. Герцена «Записки одного молодого человѣка» *).
Уже по этимъ краткимъ отрывкамъ, въ которыхъ авторъ рассказываетъ о
своемъ дѣтствѣ и юности можно было судить о той литературной силѣ, ко-
торая съ такимъ блескомъ развернулася въ сороковыхъ годахъ. Худо-
жественная форма и глубина идеи слились въ этой повѣсти въ одно
цѣлое, и такъ какъ авторъ ея былъ также выразитель думъ цѣлаго
кружка, былъ носителемъ очень яркой общественной идеи, то и эти его
интимныя рѣчи должны быть всегда приняты въ расчетъ, когда говоришь
объ умственныхъ теченіяхъ и о настроеніи того времени. Сентимен-
тальныя движенія сердца, романтическій взглядъ на міръ, гуманный
идеализмъ на почвѣ отвлеченнаго умозрѣнія, культъ Шиллера, въ осо-
бенности маркиза Позы, мечты о всемірной любви, вычитанныя изъ
«шесемъ Юлія и Рафаила», клятва отдать себя въ жертву на благо че-
ловѣчеству, и затѣмъ душевныя тревоги, сомнѣнія и перныя пессими-
стическія мысли въ борьбѣ съ еще неуступчивымъ сердцемъ—все эта
внутренняя жизнь молодого человѣка, о которой такъ остроумно и тепло
рассказываетъ Герценъ — была пережита не имъ однимъ, а всѣми
людьми, кто въ сороковыхъ годахъ составлялъ соль нашей земли. Исто-
рическая цѣнность «Записокъ одного молодого человѣка» повышается
также и удивительно яркой и сжатой картиной нравовъ и жизни про-
винціального города Малинова, т.-е. Вятки, куда Герценъ былъ вы-
сланъ. Этихъ страницъ немного, и рѣчь Герцена не могла быть
пространна, но то, что онъ успѣлъ сказать, передаетъ физионо-
мію провинціального города не менѣе вѣрно, чѣмъ любая картина
Гоголя, у котораго, какъ у художника, Герценъ, конечно, многому
научился.

Таково было въ общихъ чертахъ наличное богатство русскаго

*) Напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ 1840—1841 г. Декабрь
1840 и Августъ 1841 г.

психологическаго», если такъ можно выразиться, романа, т.-е. такого, который гнался не за полнотой и широтой художественнаго воспроизведенія жизни, а за глубиной мотивировки разныхъ душевныхъ состояній, настроеній и мыслей. Всѣ эти повѣсти и рассказы продолжали дѣло, начатое еще Пушкинымъ въ его «Евгеніи Онегинѣ»; Гоголь на эту дорогу не вступалъ и съ первыхъ же шаговъ интересовался въ своихъ созданіяхъ болѣе окружающей жизнью, чѣмъ своимъ собственнымъ внутреннимъ міромъ; разнообразіемъ увлеченныхъ къ типовъ, чѣмъ детальною разработкой какого-нибудь одного изъ ихъ. Въ его творчествѣ замѣчается вообще нѣкоторый недостатокъ въ подробномъ развитіи типовъ; художникъ беретъ лишь самыя главныя черты характера, останавливается на самомъ общемъ направленіи желаній того лица, которое считаетъ наиболѣе типичнымъ: онъ спѣшитъ какъ можно большимъ числомъ лицъ заполнить свою картину и, опираясь въ этихъ лицахъ все самое характерное, онъ предоставляет читателю догадываться, что долженъ чувствовать и думать этотъ человекъ въ разные минуты его жизни. Есть цѣлыя психическія міры, которыхъ Гоголь только еле-еле коснулся, хотя бы, напр., психическій міръ женщины и ребенка, чтобы взять лишь самыя общія рубрики. Не свою собственную внутреннюю жизнь, необычайно богатую и сложную, единственную въ своемъ родѣ, онъ стремился утаить отъ читателя. Правда, ему не удавалось этого достигнуть: всегда неожиданно рывались у него лирическія признанія, иногда сонетъ некстати; чаломъ также, и верѣдко, что онъ донѣдрялъ тому или другому вымышленному лицу отдѣльныя свои мысли и чувства,—но его въ цвѣтущую пору его дѣятельности не хватило рѣшительности, а можетъ быть и таланта, занять читателя своею въ высшей степени оригинальною особой; и это тѣмъ болѣе странно, что него было непреодолимое желаніе напоминать всеѣмъ о себѣ, вникать, чтобы все слушалось его какъ человека, надѣленнаго божьей властью и призваннаго свершить великое дѣло. Когда во второйполовину своей жизни онъ наконецъ рѣшился обнаружить передъ современниками все тайники своей мысли и сердца—онъ не смогъ этой покаянной рѣчи придать художественную литературную форму, и богатый и сложный психологическій матеріалъ былъ утраченъ литературы.

Во всякомъ случаѣ, когда ищешь въ литературѣ того времени художественнаго рѣшенія трудныхъ психологическихъ задачъ или художественнаго воссозданія сложныхъ душевныхъ состояній, то находишь ихъ не у Гоголя, а у Пушкина и Лермонтова, и даже у многихъ

гораздо менѣе талантливыхъ художниковъ, чѣмъ нашъ сатирикъ и бытописатель. А потому если оцѣнивать заслугу Гоголя, то надо сравнивать его созданія съ тѣми, которыя преслѣдовали ту же цѣль, т. е. стремились дать поэтическій синтезъ окружающей ихъ жизни, а не художественный анализъ души самого автора или нѣсколькихъ лицъ, надъ душеннымъ міромъ которыхъ онъ задумался.

Если обозрѣть наличность повѣстей и романовъ, въ которыхъ писатель стремился именно синтезировать свои наблюденія надъ разными сторонами нашей дѣйствительности, то такое обозрѣніе наглядно покажетъ намъ, насколько Гоголь былъ болѣе зорокъ, чѣмъ всѣ современные ему беллетристы.

Среди такихъ повѣстей и романовъ нельзя указать ни на одно произведеніе крупнаго размѣра. Писатель какъ-то не рѣшался рисовать большія полотна и усложнять дѣйствіе своихъ разсказовъ. Онъ покинулъ старую манеру письма, которая ему очень нравилась въ двадцатыхъ годахъ, когда въ такомъ ходу были длинныя романы въ родѣ «Выжигиныхъ», «Семейства Холмскихъ» и всевозможныхъ «Жизнблззовъ». Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ ихъ мѣсто заняла довольно краткая повѣсть; и то, что прежде описывалось въ одномъ романѣ, теперь раздробилась на отдѣльные разсказы. Отъ этого повѣсть вообще выиграла въ законченности и въ обработкѣ деталей. Изъ романовъ относительно пространныхъ можно упомянуть только о «Семейныхъ Хроникахъ», изданныхъ Квиткой-Основыиенко подъ заглавіемъ «Похожденія Столбикова» и «Панъ Халаявскій» *). Изъ нихъ «Панъ Халаявскій» пользовался въ свое время вполне заслуженной извѣстностью, которую сохранилъ за собой и до нашихъ дней. Въ сущности это потѣшная исторія одной малороссійской усадьбы и ея обитателей, исторія комическая, полная шаржа и невѣроятныхъ положеній, но въ основѣ своей все-таки правдивая. Всѣ не очень мрачныя пороки старой дворянской жизни, какъ-то: глѣнь, туеидство, обжорство, списаны авторомъ очевидно съ натуры—такъ много въ нихъ жизни и колорита. Необычайно комичныя разсказы о первоначальномъ воспитаніи и обученіи дворянскихъ дѣтей совѣмъ по простаковской системѣ, конечно,

*) «Жизнь и походенія Петра Степановича, сына Столбикова, помѣщика въ трехъ намѣстничествахъ. Рукопись XVII вѣка». Спб. 1841 г. 3 части. «Панъ Халаявскій». Спб. 1840 г.

тоже не вымышленная картина, и развѣ только рассказъ о невѣроятно глупыхъ приключеніяхъ Халаявскаго въ столицѣ придуманъ авторомъ въ веселую минуту.

Въ этомъ постоянно смѣшливомъ настроеніи, въ какомъ находится самъ авторъ и въ какомъ онъ держитъ читателя, заключена, безспорно, извѣстная грація разсказа, но въ этомъ же и его слабость. За исключительно смѣшными положеніями, въ какія писатель ставитъ своихъ дѣйствующихъ лицъ, почти совсѣмъ не чувствуется та серьезная мысль, на какую такая картина должна навести читателя, да и самъ авторъ, кажется, съ этою серьезною мыслью не хотѣлъ считаться. Во всякомъ случаѣ при всѣхъ своихъ достоинствахъ, «Панъ Халаявскій» скорѣе сборникъ веселыхъ анекдотовъ, чѣмъ смѣльное и художественное произведение быта одного изъ очень характерныхъ уголковъ нашей жизни. Если этотъ романъ по внѣшнимъ размѣрамъ стоитъ впереди всѣхъ бытовыхъ очерковъ и разсказовъ своего времени, то въ нихъ, при всей ихъ краткости, собранный художникомъ матеріалъ сгруппированъ съ меньшей односторонностью и большей точностью.

Пересмотрѣвъ этотъ матеріалъ мы убѣдимся, однако, что и овъ, какъ бы онъ ни былъ точенъ и старательно собранъ, не соответствовалъ своему назначенію, и не даналъ вѣрнаго и исчерпывающаго представленія о богатствѣ и разнообразіи той жизни, изъ которой былъ взятъ.

Для удобства мы можемъ расположить этотъ матеріалъ по тѣмъ общественнымъ кругамъ, въ которыхъ его выискивалъ писатель.

Наибольшую популярность должны были пользоваться, конечно, ювісти изъ свѣтской жизни, которая всегда составила приманку для рѣдятаго читателя. И такихъ повѣстей въ тридцатыхъ годахъ было написано очень много. Почти не было разсказа, въ которомъ не появлялось бы титулованное лицо, въ особенности женскаго пола, лицо иногда эпизодическое, иногда главное, но всегда выдвинутое писателемъ и эффектно поставленное.

За рѣдкими исключеніями такія свѣтскія лица, въ столицахъ или въ деревняхъ, были почти всѣ безъ лица, т. е. ничего характернаго не представляла ни ихъ жизнь, ни образъ ихъ мыслей. Въ нихъ было очень мало типичнаго и всѣ дворяне въ самыхъ различныхъ положеніяхъ или до неузнаваемости другъ на друга похожи. Писатели столько же хвалили это высшее общество за хорошія манеры, вѣжливое обращеніе, хорошую рѣчь, за культурность и образованность, сколько и ругали за гордыню и надменность, за пристрастіе къ внѣшнему блеску, за отсутствіе искренности, вообще за все то, что тогда называ-

лось «пустотой и черствостью свѣтскаго круга». Въ общемъ порицанія раздавались даже чаще, чѣмъ похвалы, но надо помнить, что громадное число обличителей было само неравнодушно къ приманкамъ этого «свѣта» и согласилось бы обжечься и сгорѣть, лишь бы подойти къ нему поближе. Основной недостатокъ многихъ изъ этихъ бытописателей свѣтской жизни заключался, дѣйствительно, въ томъ, что они стояли слишкомъ далеко отъ той среды, которую описывали. Ихъ повѣсти и рассказы были въ большинствѣ случаевъ сатирическими или сентиментальными разсужденіями на тему о положеніи привилегированнаго сословія среди другихъ. Это положеніе могло, конечно, дать богатый матеріалъ для живописца даже и не совѣмъ подробно освѣдомленнаго, но пользоваться этимъ матеріаломъ въ тѣ годы было трудно. Цензура николаевскаго царствованія была строже цензуры царствованія предшествующаго, и потому повѣсти изъ жизни высшихъ слоевъ общества, да и вообще всякая картина современныхъ нравовъ должна была съузнить свои рамки, и то, что она проигрывала въ широтѣ, навертывалась въ разработкѣ: чисто интимныхъ, частныхъ сторонъ описываемой жизни. Такъ и поступала тогдашняя свѣтская повѣсть. Отъ освѣщенія разныхъ общественныхъ вопросовъ, въ разрѣшеніи которыхъ высшее сословіе играло такую выдающуюся роль, наша свѣтская повѣсть заранѣе отказалась—и салонная интрига стала ея любимымъ мотивомъ. Этотъ мотивъ мало-по-малу поглотилъ все вниманіе писателя и читателя, и чиновникъ дворянинъ на высококомъ посту, въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, въ разговорѣ со своими подчиненными, въ бесѣдѣ съ самимъ собой о вопросахъ государственныхъ, этотъ же дворянинъ въ тѣсномъ общеніи съ крестьяниномъ и со своимъ дворовымъ человекомъ—сталъ совѣмъ невидимъ, или появлялся лишь въ гостинныхъ и на балахъ, гдѣ велъ самыя невинныя рѣчи. Писатель сталъ даже побантаться людей въ чинахъ и на ответственномъ посту, почему въ своихъ повѣстяхъ охотнѣе говорилъ о молодыхъ людяхъ, а всего охотнѣе о женщинахъ, такъ какъ въ бесѣдѣ съ ними всего меньше было шансовъ заговорить о чемъ-нибудь въ общественномъ смыслѣ серьезномъ. Вотъ почему намъ и пришлось ждать такъ долго настоящихъ романовъ изъ свѣтской жизни, въ которыхъ человекъ высшего круга былъ изображенъ и понятъ не какъ человекъ вообще, а какъ продуктъ и факторъ культурной среды въ опредѣленной исторической моментъ. Только въ романахъ Тургенева, С. Аксакова, Л. Толстого, Гончарова и въ сатирѣ Салтыкова развернулась передъ нами поучительная картина жизни того общественнаго слоя, который, въ виду всѣхъ его преимуществъ, былъ поставленъ жизнью какъ будто бы въ поученіе всѣмъ прочимъ.

Изъ общей массы романовъ и повѣстей, въ которыхъ тогда изображалась жизнь свѣтскаго круга, придется выдѣлить очень немногіе.

Имена Лермонтова, князя Одоевскаго, Марлинскаго и графа Соллогуба должны быть поставлены въ данномъ случаѣ на первое мѣсто. Помимо таланта, эти писатели имѣли то преимущество передъ другими, что свѣтская жизнь была ихъ родная жизнь, среди которой они выросли и воспитались, и потому ихъ повѣстями можно пользоваться, какъ показаніями очевидцевъ.

Серьезнѣе и глубже всѣхъ былъ взглядъ Лермонтова, несмотря на то, что поэтъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ былъ очень субъективенъ. Его жгучій саркастическій взглядъ на все окружающее помогъ ему разоблачить тайники приличіемъ дисциплинированнаго, но въ сущности очень черстваго свѣтскаго сердца мужскаго и женскаго... Человѣкъ высшаго тона и круга, ухаживатель, любовникъ, мужъ ревнивый и доверчивый, отецъ любящій или черствый, честолюбецъ или индифферентъ — рядомъ съ нимъ предметъ его страсти, невеста и жена — эти свѣтскіе типы вполне удался Лермонтову и были типами безспорно живыми, но ихъ психическій міръ былъ очень несложенъ, и драматическія положенія, въ какія ихъ ставила жизнь, были положенія довольно близкія, общечеловѣческія. Въ жизни русскаго барина Лермонтовъ отмѣтилъ лишь нѣсколько эффектныхъ моментовъ, очень любопытныхъ съ психологической стороны, но далеко не самыхъ характерныхъ для обрисовки того вѣками сложившагося уклада жизни, какимъ жило наше столичное или провинціальное дворянство *).

То же самое можно сказать и про повѣсти кн. Одоевскаго, Марлинскаго и Соллогуба. И въ этихъ разсказахъ свѣтскій человѣкъ показанъ въ нѣсколькихъ эффектныхъ роляхъ, но опять такихъ, которыя могъ бы одинаково хорошо сыграть человѣкъ не свѣтскаго круга и даже не усскій.

Кн. Одоевскій былъ по преимуществу философъ и моралистъ, и атѣмъ уже художникъ, почему въ его повѣстяхъ всегда звучала дидактическая нота. Большой поклонникъ чистыхъ и нравственныхъ выжоній сердца и здраваго благомыслищаго ума, онъ обличалъ разные грѣшныя пороки у тѣхъ лицъ, которыя являлись къ своимъ услугамъ въ дѣлности жизни, чтобы воспитать въ себѣ нравственнаго чело-

*) Самые характерные типы даны Лермонтовымъ въ его юношескихъ драмахъ (которыя въ тридцатыхъ годахъ напечатаны не были): «Menschen und Eigenschaften» 1830 г., «Странный человѣкъ». 1831, «Маскарадъ». 1834, «Два ялта». 1836, а также и въ повѣстяхъ «Княгиня Лиговская». 1836 и въ «Героѣ шшего времени». 1838—1841 гг.

вѣка. Погрѣшности ненормальнаго небрежнаго воспитанія дѣтей, лукавыя приманки паркета для дѣвицъ и юношей, мръ свѣтскихъ сплетенъ по преимуществу, хищная борьба не за существованіе, а за свѣтскій успѣхъ—вотъ какіе общезвѣстные мотивы развивали нашъ моралистъ въ своихъ повѣстяхъ, и если онѣ тогда очень нравились, то только потому, что были рассказаны съ талантомъ и были написаны тѣмъ легкимъ граціознымъ стилемъ, какимъ такъ искусно владѣлъ Одоевскій *). Знакомясь со свѣтскими верхоярами или прямо негодяими, съ юными, подававшими надежды идеалистами, у которыхъ однако свѣтская жизнь вытравивала всякій идеализмъ изъ сердца, съ несчастными женщинами—жертвами скуки, злословія или душевной пустоты, читатель выносилъ хорошій нравственный урокъ и нѣкоторое знаніе человѣческаго сердца, но эти знанія были отрывочны и слишкомъ общи, чтобы по нимъ можно было судить о складѣ жизни цѣлаго сословія. Во всѣхъ повѣстяхъ Одоевского было много ума, остроумія, наблюдательности, но слишкомъ мало типичнаго. Наиболѣе интересною и типичною личностію въ его рассказахъ оставался онъ самъ—онъ идеалистъ-философъ среди поклонниковъ золотого тельца и разныхъ свѣтскихъ призраковъ.

Ничего особеннаго типичнаго не даютъ и повѣсти Марлинскаго, наиболѣе популярныя изъ всѣхъ въ тѣ годы ходкихъ рассказовъ. Тема же, что и у Одоевского: обличеніе свѣтскихъ предразсудковъ, преимущественно салонныхъ и сердечныхъ **). Марлинскій только болѣе справедливъ къ тому кругу, въ которомъ онъ выросъ: въ его повѣстяхъ моральная тенденція заслонена желаніемъ какъ можно ближе подойти къ правдѣ, почему онъ и занятъ прежде всего психологическою мотивировкой тѣхъ разнообразныхъ чувствъ, съ какими молодые люди свѣтскаго круга вступаютъ въ жизнь, чтобы найти въ ней удовлетвореніе всевозможныхъ страстямъ, которыми щедро надѣлили ихъ авторъ—самъ человѣкъ очень порывистый и страстный. Жизнь свѣтской молодежи—вотъ чѣмъ почти исключительно интересовался Марлинскій и потому выборъ темъ въ его повѣстяхъ былъ однообразенъ и ограниченъ. Правда, его повѣсти были написаны съ большимъ чувствомъ къ жизненной правдѣ, въ нихъ было много блестящихъ неподдѣльнаго юмора, но и они только скользили по самымъ любопытнымъ сторонамъ свѣтскаго быта, оставляя въ тѣни генезисъ тѣхъ понятій вкусовъ и настроеній, которые изображали такъ живо и интересно.

*) Изъ повѣстей кн. Одоевского самыми популярными были «Черная чертатка»—1833, «Княжна Мими»—1834, «Княжна Зизи»—1839.

**) Повѣсти «Испытаніе» 1830, «Романъ въ семи письмахъ» 1824, «Фрегатъ Надежда» 1832.

Разказы гр. Соллогуба должны быть поставлены выше повѣстей Марлинскаго. Типы, выведенные Соллогубомъ, болѣе разнообразны, хотя отъ этого картина въ общемъ не становится шире. Графъ Соллогубъ былъ большой знатокъ свѣтской жизни и большой ея дѣлитель. Онъ любилъ дышать атмосферой гостинныхъ, салоновъ, раутовъ, баловъ и концертовъ и въ своихъ повѣстяхъ онъ довелъ изображеніе этой парадной обстановки до совершенства. Если въ какихъ повѣстяхъ читатель могъ, дѣйствительно, очутиться въ избранномъ свѣтскомъ обществѣ и притомъ среди живыхъ людей, а не манекеновъ, такъ это именно въ разказахъ Соллогуба *). Моральная, обличительная тенденція сказывалась въ нихъ не такъ ясно, какъ въ словахъ другихъ писателей, быть можетъ, потому, что самъ Соллогубъ едва ли бы призналъ недостаткомъ то, что въ глазахъ другихъ являлось недочетами аристократизма. Онъ съ любовью вырисовывалъ свои типы, именно съ любовью, чего нельзя сказать про другихъ обличителей, и когда онъ велъ тонкую дипломатическую бесѣду, всю построенную на любовной интригѣ, или давалъ почувствовать ту пропасть, которая ложится между людьми неравнаго происхожденія, когда онъ разказывалъ, какъ энергія и талантъ безъ свѣтскихъ заручекъ бьются напрасно, чтобы отстоять свою позицію въ сердцѣ свѣтской женщины, когда, наконецъ, онъ вводилъ за собою въ высшее общество какого-нибудь «медвѣдя» съ доброю и честною душою, предоставленнаго для транши, — то онъ былъ хозяиномъ во всѣхъ этихъ нерѣдко очень драматическихъ положеніяхъ, но склоняясь передъ побѣжденными, онъ необычайно заманчиво рисовалъ побѣдителей, въ особенности женщинъ, настоящихъ львицъ или такихъ, которыя готовились со временемъ занять это амплу.

При всѣхъ своихъ безспорныхъ литературныхъ достоинствахъ повѣсти Соллогуба грѣшили однако общими для всѣхъ такихъ повѣстей недостаткомъ: и они рисовали лишь наименѣе интересную сторону свѣтской жизни устрняя массу самыхъ существенныхъ вопросовъ, съ которыми свѣтскому человеку безспорно приходилось считаться не въ гостинныхъ, юнотина, а въ споехъ кабинетѣ, на мѣстѣ службы или у себя въ дачнѣ.

Если такими были въ общемъ разказы лицъ, хорошо знакомыхъ со свѣтскою жизнью, которую они описывали, то объ остальныхъ без-

*) Повѣсти: «Мятедь» 1840, «Исторія двухъ калозъ» 1840, «Большой свѣтъ» 840, «Медвѣдь» 1842, «Аптекарьша» 1841.

численныхъ повѣстяхъ съ неизбежными свѣтскими героями придется сказать очень мало.

Хорошій матеріалъ далъ Загоскинъ въ своихъ сборникахъ «Москва и Москвичи *)»—въ маленькихъ сценкахъ, написанныхъ въ повѣствовательной и драматической формѣ, въ которыхъ нашъ патріотъ описывалъ недавнее прошлое своей возлюбленной первопрестольной столицы. Рядомъ съ довольно скучными описаніями московскихъ достопримѣчательностей и древностей, здѣсь попадались историческия картинки изъ жизни московскихъ дворянъ, старой и современной, — типы московскихъ сторожилонъ, для которыхъ вся вселенная сошлась на Москвѣ, сценки семейныя, типы кисейныхъ барышень, которыхъ надо было пристроить, описаніе старинныхъ базаровъ въ Москвѣ, описаніе нравовъ англійскаго клуба съ живыми портретами, очевидно списанными съ природы, и т. п. мелочи московской жизни, художественно необработанныя, но цѣнныя своею правдою,—во всякомъ случаѣ болѣе цѣнныя, чѣмъ та довольно широкая по размѣрамъ картина свѣтской жизни, которую Загоскинъ пытался нарисовать въ своемъ романѣ «Некуситель» **)—въ этомъ скучномъ, но въ автобіографическомъ смыслѣ любопытномъ, произведеніи.

Шаблонныя, по литературному трафарету нарисованныя свѣтскіе типы попадались въ изобиліи и въ повѣстяхъ Булгарина и Сенковского, которые, принимаясь къ требованіямъ средней публики, любили щегольнуть типами изъ высшаго свѣта, съ которыми они сами были знакомы очень поверхностно. Искать живыхъ людей въ тѣхъ многочисленныхъ нравоописательныхъ сценкахъ, въ которыхъ Сенковский изощрялъ свое остроуміе—напрасно. Какъ фельетонистъ съ довольно большой сваркой, Сенковский писалъ живо и ужьгъ смѣшить, но уже его современники оцѣнили этотъ смѣхъ по достоинству и не относились къ нему серьезно. Его сатира, въ томъ числѣ и сатира на свѣтское общество ***) , была всегда цѣлымъ рядомъ обидныхъ мѣстъ, которыя читались только потому, что иногда бывали пикантно изложены. Когда же Булгаринъ брался гонорить объ аристократахъ, то даже этого малаго достоинства его слова не имѣли. Они были до нельзя безцвѣтны, хотя авторъ и стремился запутанностью интриги вознаградить читателя за шаблонность своихъ типовъ. Наиболѣе обстоятельно говорилъ онъ о свѣтской жизни въ своемъ большомъ

*) М. Н. Загоскинъ. «Москва и Москвичи». Часть I и II. 1842 и 1844.

**) М. Н. Загоскинъ «Некуситель». Москва, 1836, 3 части.

***) Напр. «Вся женская жизнь въ нѣсколькихъ часахъ». 1833.

романѣ «Записки Чухина» *), въ которомъ разсказывалъ о походе-
нiяхъ одного благороднаго юноши изъ низшаго слоя общества. Этотъ
скиталецъ сталъ случайнымъ свидѣтелемъ цѣлой запутаннѣйшей се-
мейной драмы въ одномъ барскомъ домѣ, и своею жизнью дока-
залъ, что не рожденiе краситъ человѣка. Характеры свѣтскiе
автору совсѣмъ не удалось, и лучшiя страницы въ романѣ — опи-
санiя тѣхъ притоновъ нищеты и тѣхъ тюремъ, куда судьба занесла
героя этого благонамѣреннаго разсказа.

Итакъ, если объединить весь материалъ, который писатели съумѣли
собрать при своихъ наблюденiяхъ надъ жизнью высшихъ классовъ на-
шего тогдашняго общества, то однообразiе и нехарактерность этого
материала бросится въ глаза сразу. Уловлена была лишь самая внѣш-
няя сторона этой любопытной жизни, а ея скрытыя пружины не были
обнаружены. Казнены были пороки самые общiе; люди показаны были
лишь въ самыхъ обыденныхъ положенiяхъ и позахъ; обнаружены
были только тѣ чувства, которыя приводили въ движенiе лич-
ную жизнь, а вся жизнь общественная оставалась въ полной тѣни.

Несмотря на то, что наблюденiя надъ этою жизнью производились
современниками, мы въ настоящее время узнаемъ о ней больше изъ
романа «Война и Миръ», чѣмъ изъ всѣхъ повѣстей написанныхъ въ
тѣ годы.

Не менѣе скудны по содержанiю и не менѣе однообразны, чѣмъ
эти картины дворянской жизни въ столицѣ, были разсказы, въ кото-
рыхъ писатель знакомилъ насъ съ провинциальною и деревенскою
жизнью дворянства. Тема была благодарная, но выполненiе ея было
связано со многими непреодолимыми трудностями. Не говоря уже о
цензурныхъ затрудненiяхъ, которыя накладывали извѣстный односто-
юнный отпечатокъ на все, что писатель могъ сказать объ отноше-
нiяхъ помѣщика къ крестьянину, требовалась большая наблюдатель-
ность, чтобы уловить характерныя черты провинциальной жизни, во
шлгомъ столь патриархальной и самобытной. Чтобы разсказъ о
ней былъ правдивъ, необходимо было знанiе массы мелкихъ
деталей очень важныхъ для характеристики этой стоячей и кос-
ой жизни, необходимо было знакомство съ самою интимною ея
стороною. Такихъ знанiй у писателя тогда не было и онъ ограничи-
вался опять общими положенiями, которыя обрацали его разсказъ не
о въ блѣдную сатиру на отстающихъ оригиналовъ и чудаконъ, не то

*) *В. Булгаринъ*. Памятныя записки титулярнаго совѣтника Чухина или
рассказъ исторiя обыкновенной жизни. Сиб. 1835. 2 части.

въ идиллію, блещущую разными ординарными семейными добродѣтелями.

Но всетаки кое-какія любопытныя наблюденія были сдѣланы и въ этой области. Много бытовыхъ сценокъ изъ жизни дворянской усадьбы дано было, напр., въ мелкихъ разсказахъ В. И. Даля (казака Луганскаго), разбѣянныхъ въ разныхъ журналахъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Эти разсказы не претендовали ни на полноту, ни на художественную законченность; возникали они случайно, изъ анекдотовъ или наблюденій самого автора, но зато они были правдивы; и хотя авторъ и гонорилъ въ нихъ, въ большинствѣ случаевъ, о пустячкахъ, о разныхъ смѣшныхъ сторонахъ помѣщичьей жизни, но эта жизнь съ ея сноснольною скукой и барскимъ чудачествомъ всетаки выдавала кое-какія свои тайны. Въ данномъ случаѣ: въ особенности любопытенъ довольно большой разсказъ Даля: «Павелъ Алексѣевичъ Игривый», въ которомъ не безъ романтическихъ условностей описана жизнь скромнаго помѣщика-толена, добродушнѣйшаго смертнаго, неспособнаго составить свое личное счастье и, между тѣмъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, имѣющаго на него право.

Вмѣстѣ съ Далемъ эти темы разрабатывалъ въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ Е. П. Гребенка. Не лишенный таланта, наблюдательный и хорошо знавшій жизнь малороссійскій усадьбы, онъ, идя по слѣдъ Гоголю, описывалъ укромные уголки провинціальной жизни, давая, какъ и его предшественникъ, попеременно волю то своему юмору, то патетическому настроенію *). Встрѣчаемся мы у него съ добряками, которые первому встрѣчному готовы довѣрить судьбу своей дочери, съ сосѣдями, проводящими все свое время въ тяжбахъ и въ обоюдномъ услажденіи другъ друга всякими пакостями, съ цѣлою толпою убогихъ обывателей, живущихъ пересудами и кляузами,—и знакомясь съ ними, мы не скучаемъ, хотя и не особенно ими интересуемся. Все это типы довольно заурядные. Не блещетъ оригинальностью въ данномъ смыслѣ и романъ Загоскина «Тоска по родинѣ» **). Въ этомъ двухтомномъ разсужденіи на тему о скукѣ, которую русскій человѣкъ испытываетъ за границей, авторъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, вывелъ нѣкоего Кузьму Петровича Кукушкина, полу-богатаго полу-просвѣщеннаго и полу-знатнаго русскаго дворянина, который топорился, пыхталъ и надувался, чтобы

*) Е. П. Гребенка. «Какъ люди женятся» 1838. «Горевъ» 1839. «Братья» 1839. «Куликъ» 1840. «Семя» 1841. «Шрудъ» 1842.

**) М. Н. Загоскинъ. «Тоска по родинѣ». Москва. 1839. 2 части.

не отстать отъ своей братіи вельможъ, и вель поэтому у себя въ усадьбѣ жизнь довольно занятную, подражая дворянамъ въ разныхъ барскихъ выдумкахъ. Страницы, на которыхъ Загоскинъ разсказалъ жизнь этого чудака, хоть и каррикатурны въ деталяхъ, но все-таки странички изъ жизни.

Однако сколько бы мы ни собирали такихъ литературныхъ крохъ— жизни провинціи того времени остается для насъ совсѣмъ не выясненной.

Наряду съ жизнью свѣтскаго общества писателя тѣхъ годовъ интересовала также и жизнь военнаго круга, по преимуществу тоже свѣтскаго. Военный свѣтскій человѣкъ появлялся въ тѣхъ самыхъ элонныхъ разказахъ, о которыхъ мы говорили, и въ большинствѣ случаевъ ничѣмъ не выдѣлялся изъ общей массы свѣтскихъ типовъ. Мало было повѣстей, которые его изображали въ иной, болѣе ему войственной обстановкѣ, гдѣ онъ могъ развернуть именно свою военную душу. Очень пестрые типы военныхъ александровскаго царствования представителей въ литературѣ не имѣли, да и болѣе однообразный типъ николаевскаго служачи былъ также плохо представленъ. Многихъ вопросовъ, связанныхъ съ жизнью этого сословія, нельзя было освѣтъ коснуться, а для освѣщенія другихъ несвинныхъ и незатѣливаемыхъ нужно было опять знаніе, которое могло быть приобрѣтено только личнымъ опытомъ. Поэтому лучшее, что было сказано о военныхъ того времени, было сказано самими же военными. Въ повѣстяхъ Леронтова, Марлинскаго и Дая (который одно время былъ полковымъ окторомъ) жизни военнаго человѣка была впервые описана на основаніи нагляднаго наблюденія и потому кое-какія стороны этой своеобразной души и открылись читателю; и—что важнѣе всего—рядомъ со свѣтскимъ военнымъ появился въ литературѣ и смиренный армеецъ, и адатъ.

Въ Героевъ нашего времени» Лермонтовъ не ставилъ себѣ цѣль иковать картину военнаго быта, но мимоходомъ онъ собралъ довольно обогатный бытовой матеріалъ. У кого изъ памяти могъ изгладиться аксизмъ Максимовичъ, докторъ Вернеръ, Грушинскій и все военное общество, собранное на кавказскихъ водахъ? Хотя появленіе такихъ повѣ въ литературѣ бросало свѣтъ лишь на нѣкоторые уголки енной жизни, но зато исчерпывало все ихъ духовное содержаніе. Лермонтовъ въ данномъ случаѣ продолжалъ дѣло, начатое раньше о; и однимъ изъ его прямыхъ предшественниковъ, и притомъ очень талантливымъ, былъ Марлинскій, сначала блестящій столичный офицеръ, а затѣмъ простой рядовой на Кавказѣ.

Онъ зналъ военную жизнь лучше, чѣмъ всѣ его современники-

писатели, и въ его повѣстяхъ читатель впервые познакомился съ русскими офицеромъ и солдатомъ какъ съ людьми, обладающими своеобразнымъ міросозерцаніемъ и многими очень тонкими чувствами. Не говоря о томъ, что Марлинскій въ своихъ разсказахъ дѣлалъ часто личные признанія и нарисовалъ свой собственный портретъ—портретъ одного изъ образованнѣйшихъ военныхъ людей александровскаго царствованія, онъ, какъ чуткій и наблюдательный человекъ, сблизилъ насъ съ дѣлымъ рядомъ лицъ, мимо которыхъ мы тогда проходили, не удостоивая ихъ вниманія. Офицеръ въ провинціальныхъ городѣхъ, на посту въ глухихъ мѣстечкахъ, въ гостяхъ у горцевъ, на бивуакѣ, при штурмѣ ауловъ, офицеръ на веселой пирушкѣ,—или на смертномъ одрѣ: былъ центральной фигурой многихъ драматичныхъ разсказовъ Марлинскаго. И рядомъ съ этою типичною фигурой начальника въ повѣстяхъ нашего автора появлялся впервые и солдатъ, не для того, чтобы стоять, какъ молчаливая декорація, а для того, чтобы и чувствовать, и думать, и говорить на нашихъ глазахъ. Въ этомъ ознакомленіи читателя съ психическимъ міромъ солдата въ самыя рѣшительныя минуты его трудной жизни, на морѣ, въ дикихъ ущельяхъ горъ, въ снѣжныхъ долинахъ, заключалась главная заслуга Марлинскаго, какъ бытописателя. Въ этой области онъ въ свое время былъ новаторъ *).

Одновременно съ нимъ, но съ меньшимъ талантомъ, разсказывалъ разные анекдоты изъ военной жизни и В. И. Даль. Походная жизнь была ему знакома, онъ видѣлъ и слышалъ много и, обладая хорошею литературной сноровкой, пытался настояція «были» превращать въ болѣе или менѣе закругленныя повѣсти. Пока онъ разсказывалъ, онъ былъ хорошій разсказчикъ, когда же начиналъ «сочинять», то недостатокъ воображенія давалъ себя чувствовать. Лучшее, что онъ создалъ были его «Солдатскіе досуги» **)—хрестоматія для солдатскаго чтенія—рядъ короткихъ, простыхъ, но иногда колоритныхъ анекдотовъ. Много хорошихъ страницъ попадаются и въ его воспоминаніяхъ о походѣ въ Турцію ***); наконецъ, есть у него и нѣсколько болѣе законченныхъ и отдѣланныхъ типовъ, иной разъ очень трогательныхъ, какъ, напр., типъ отставнаго солдата всю жизнь прожившаго въ деньщикахъ

*) «Аммалатъ-Бекъ» 1831. «Вечера на бивуакѣ» 1823. «Лейтенантъ Бѣлосоръ» 1831. «Онъ былъ убитъ» 1834. «Письмо изъ Дагестана» 1831. «Подвиги Овочкина и Щербинны» 1834. «Путь до города Кубы». 1834 «Разсказъ офицера бывшаго въ плѣну у горцевъ» 1834. «Фрегатъ Надежда» 1832.

**) «Солдатскіе досуги». Въ VI томѣ полного собранія сочиненій (Изд. Вольфа).

***) «Небывалое въ быломъ».

и накамути смерти возвращавшагося въ родную деревню, гдѣ у него гдѣтъ ни кола, ни двора и гдѣ его ждуть новыя печали; типъ несчастнаго офицера «Ивана Невѣдомскаго», Богъ вѣсть отъ кого на свѣтъ появившагося, всю жизнь чувствовавшаго себя неловко и, наконецъ, послѣ одной жаркой схватки съ горцами пропавшаго безъ вѣсти. Встрѣаются и типы комическіе, какого-нибудь капитана Штушкова, которому въ присутствіи дамъ никакъ не удастся сказать въ попадѣ ни одного слова, мичмана Поцѣлуева, сентиментальнаго юноши, прямо съ мирнаго гдѣзда попавшаго въ военную передѣлку****). Хотя всѣ акіе типы и незамысловаты, хоть комизмъ и трагизмъ ихъ въ большинствѣ случаевъ вытекаютъ не изъ ихъ характеровъ, а изъ оложеній, все-таки рассказы Дала изъ военной жизни — правдые документы, а не условный вымыселъ. Автору можно поставить въ прекъ только одно, что онъ недостаточно глубоко вникъ въ трагедію военной дисциплины, въ особенности солдатской. А впрочемъ, можетъ быть, онъ и вникъ въ нее и исполнилъ сознательно къ ней относиться, но мыко былъ безсилень внести эту трагедію въ свои повѣсти.

Нашлись, однако, писатели, которыхъ опасности такой темы не страшила.

Двѣ трогательныхъ повѣсти разсказалъ Н. Полевой**) о солдатской жизни. Собственно, это повѣсти изъ крестьянскаго быта, и этихъ гдѣ особенно цѣнны. Показать, какую нравственную ложку испытывать крестьянинъ, мѣняя одно подневольное положеніе на другое, начали затронуть одинъ изъ важнѣйшихъ соціальныхъ вопросовъ того времени и притомъ одинъ изъ самыхъ опасныхъ для обсуждения. Полевой довольно смѣло его коснулся.

Солдатъ, который разсказываетъ, какъ ему жилось въ нищенской крестьянской обстановкѣ, гдѣ онъ питался гречневою шелухой съ ледой и мякиной, гдѣ онъ работалъ сверхъ силъ, среди полунижныхъ атыенъ, гдѣ онъ выстрадалъ цѣлую семейную драму, когда женился Дуниши въ противъ воли ея отца, наконецъ, гдѣ потерялъ и эту Душу, и полуживой стоялъ у ея гроба и слушалъ, какъ бабы, попи я синуху, голосили—этотъ мрачный разсказъ, въ которомъ, однако, не слышится жалобная нота сожалѣнія объ этомъ непроглядномъ ошломъ,—хорошая поправка къ обычнымъ похваламъ солдатской

*) «Отставной», «Иванъ Невѣдомскій», «Женихъ», «Расплюхъ», «Мичманъ Поцѣлуевъ».

**) Н. Полевой. «Мечты и жизнь», Москва, 1833, т. IV. «Разсказы русскаго цата».

жизни, о которой съ такими бодрыми пафосомъ любили говорить наши патриоты. Заставляетъ задуматься и другая повѣсть Полевого, въ которой онъ стремится пояснить намъ иную солдатскую печаль, — то давящее чувство одиночества, которое испытываетъ отслужившій солдатъ, когда возвращается домой въ деревню, гдѣ у него не осталось въ живыхъ ни одной родной души и гдѣ ему впервые приходитъ мысль, что на склонѣ своей унылой и трудовой жизни ему остался одинъ выходъ — стать бродягой.

Еще болѣе смѣлый вопросъ, поднялъ Н. Ф. Павловъ въ своей повѣсти «Ятаганъ» *). Для автора и для цензора, который ее пропустилъ, эта повѣсть стала источникомъ крупныхъ неприятностей; иначе и быть не могло, такъ какъ она слишкомъ откровенно обнажила одну сторону военной жизни, именно — злоупотребленіе силой у человѣка, имѣющаго власть надъ другими и утратившаго власть надъ самимъ собой. Въ повѣсти описано любовное соперничество одного бурбона-полковника и его подчиненнаго, разжалованнаго въ солдаты офицера... Полковникъ проигрываетъ свою партію и вымещаетъ свой проигрышъ на счастливомъ любовникѣ. Месть его вызываетъ въ молодомъ человѣкѣ вполне понятный протестъ и когда начальникъ за этотъ протестъ подвергаетъ его тѣлесному наказанію, несчастный юноша идетъ на крайнее. Онъ убиваетъ своего начальника среди бѣлаго дня, и приговоръ военнаго суда заканчивается эту кровавую драму. Надо помнить времена, когда эта повѣсть была написана чтобы понять, что она значила.

Какъ видимъ, о военномъ бытѣ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ говорилось нерѣдко и говорилось талантливо и даже иногда смѣло. Но и этотъ литературный матеріалъ далеко не покрываетъ собой дѣйствительности и оставляетъ въ тѣни массу самыхъ интересныхъ сторонъ жизни.

Чинновнй міръ давалъ литературѣ также мало удобныхъ предлоговъ близко подойти къ дѣйствительности, такъ какъ описаніе его быта, не ограничивающееся одними лишь вѣшними деталями или сердечными исторіями, должно было замечъ художника въ разсужденія, на которыя онъ не былъ уполномоченъ. Если оставить въ сторонѣ комедіи и повѣсти Гоголя — самый смѣлый обвинительный актъ противъ бюрократіи — то трудно указать хоть на одну повѣсть, болѣе или менѣе оригинальную и характерную, въ которой чиновникъ стоялъ бы передъ нами живою въ своей обстановкѣ и со своимъ міросо-

*) Н. Ф. Павловъ. «Три повѣсти». М. 1835.

зерцаніемъ. О болѣе или менѣе высокихъ чиновныхъ кругахъ свободной и открытой рѣчи быть не могло, и если объ этихъ сановникахъ, до статскаго совѣтника включительно, рѣшался говорить авторъ, то онъ всегда говорилъ лишь въ самомъ благонамѣренномъ тонѣ и начальникъ былъ для него всегда олицетвореніемъ правосудія и строгой доброты. На растерзаніе литераторамъ были отданы лишь чиновники мелкіе, и литература, дѣйствительно, расправлялась съ ними довольно жестоко. Но такую расправу едва ли можно счесть за общественную заслугу или за вѣрное пониманіе дѣйствительности. Чиновничьи слезки, подсиживанія, угожденіе начальству, плутни, взяточничество и всякія упущенія по службѣ, все это, конечно, не было вымысломъ, а правдой, но только правдой внѣшнею, за которою крылась другая—общая правда всей бюрократической системы; коснуться я въ тѣ годы было невозможно, и писатель былъ вынужденъ либо блицать дозволенные къ обличенію пороки, либо, что было гораздо оубо плодотворно и справедливо, занитересовывать насъ въ пользу рѣшнныхъ и виновныхъ, объясняя узость ихъ умствннаго и нравственнаго кругозора тѣми условіями жизни, въ какихъ этимъ людямъ приходилось vyrостати и бороться за существованіе.

Повѣсти изъ чиновничьей жизни была, такимъ образомъ, въ тѣ годы оубо сатирическою или эгическою, смотря по тому, отнѣнялъ ли авторъ порочное или трогательное въ жизни своего героя.

Изъ сатирическихъ повѣстей такого типа едва ли можно указать отъ на одинъ рассказъ, въ литературномъ смыслѣ цѣнный. Въ раткихъ нравоописательныхъ повѣстяхъ Булгарина и Сенковскаго попадались очень часто типы чиновниковъ (всегда очень изко поставленныхъ) и благомыслящій авторъ казилъ ихъ безподоно во славу истинной служебной честности не замѣчая, что еще долго до казни въ нихъ небыло и признака жизни. За Булгаринъ и за Сенковскимъ пошли многіе другіе, которыхъ преллщали кой дешевой способъ проповѣдничества. Въ видѣ исключенія можно азати разнѣ только на кое-какіе мелкіе рассказы В. И. Дала *), рочемъ мало обработанные, и на попытку Д. Бѣгичева **) въ драматической формѣ представить разность всѣхъ губернскихъ чиновниковъ, учинный однимъ благомыслящимъ губерна торомъ, съ быстротой молніи при-

*) Лучшій рассказъ Дала изъ чиновничьяго быта вылетенъ имъ въ его мавъ «Вахъ Сидорычъ Чайкинъ», смтр. главы гдѣ рассказана исторія семейства Калужинныхъ.

**) А. И. Бѣгичевъ. «Провинціальныя сцены». Сочиненія автора «Семейства вьскихъ». Спб. 1840.

ѣхавшимъ во вѣренную ему губернію и въ сообществѣ съ не менѣе его благороднымъ предводителемъ дворянства произведшимъ ревизію всѣхъ присутственныхъ мѣстъ. Этотъ комическій эпизодъ, рассказанный Бѣгичевымъ, не можетъ, конечно, претендовать на литературную цѣнность, тѣмъ болѣе что очень многія и самыя комическія сцены почти списаны авторомъ съ «Ревизора» Гоголя, но за нимъ остается всетаки значеніе нѣкотораго историческаго документа. Бѣгичевъ—самъ довольно высоко поставленный чиновникъ—зналъ хорошо жизнь своей среды и въ его «Сценахъ» рядомъ со скучнѣйшей моралью попадаются живыя картинки чиновныхъ порядковъ, которые должны однако возбудить въ читателѣ полное довѣріе къ начальству высшему и заставить негодовать на грѣхи начальства низшаго, которое ведетъ себя въ особенности нагло съ беззащитными неграмотными крестьянами.

Повѣсти изъ чиновнаго быта съ элегическимъ оттѣнкомъ встрѣчались въ тѣ годы такъ же не рѣдко. Лучше другихъ умѣлъ ихъ писать Е. П. Гребенка. Малороссіянинъ, не лишенный юмора и умѣнья схватывать истинно комическое въ жизни онъ, еще до выхода въ свѣтъ «Шинели» Гоголя бралъ въ своихъ повѣстяхъ *) эту элегическую жалобную ноту, которая должна была возбудить въ насъ состраданіе къ нищему и духомъ, и тѣломъ, къ этому чернорабочему при государственной машинѣ, для котораго весь міръ сошелся на его департаментѣ. Описание этого царства бумаги, этихъ душныхъ комнатъ, въ которыхъ царятъ одновременно гордыня и надменность, низкопоклонничество и ябеда, и въ которыхъ совершается медленное убійство ума и чувства, придаетъ въ общемъ очень незатѣпливымъ повѣстямъ Гребенки серьезное значеніе. Иногда картина становится очень жалостной и всѣ эти мелкіе чиновники, женатые на своихъ кухаркахъ, молодые люди, съ розовой мечтой прѣхавшіе искать «дѣла» въ Петербургѣ и закишіе въ департаментахъ, вся эта вереница поневолѣ злыхъ и ничтожныхъ людей, производятъ на насъ впечатлѣніе чего-то очень грустнаго, хотя авторъ и смѣшаетъ насъ нерѣдко своими остротами и многими удавшимися юмористическими фигурами.

Въ общемъ, однако, всѣ эти сценки изъ жизни чиновниковъ — и обличительныя, и элегическія—мелочь, если вспомнить не только о тѣхъ вопросахъ, на которые чиновничья жизнь могла нанести наблюдателя, но хотя бы о томъ, что объ этой жизни успѣлъ сказать Гоголь.

Можно было бы думать, что положеніе и нравы самой пишущей

*) Е. П. Гребенка. «Лука Прохоровичъ» 1838. «Вѣрное лекарство» 1839. «Записки студента» 1840. «Сеня». 1841.

ратин дадутъ обильный матеріалъ для литературной обработки. Что недостатка въ этомъ матеріалѣ не было, и что жизнь писателя, какъ мового—публициста, поэта, журналиста, театрального дѣятеля,—представляла большой интересъ и была обильна всевозможными эпизодами, глѣвшими не только частное, но и общественное значеніе—въ этомъ къ легко могутъ убѣдить опубликованныя теперь въ изобиліи мемуары литераторовъ. Но мы напрасно стали бы искать въ тогдашней литературѣ хоть намековъ на интересныя стороны писательской жизни. В этомъ, конечно, сами писатели были виноваты лишь отчасти. Ждать отъ литератора откровеннаго разсказа объ его мытарствахъ, объ его общественномъ подневольномъ положеніи, объ его безгласной борьбѣ цензурой было невозможно. Самая любопытная въ общественномъ отношеніи страница его жизни была недоступна для обсуждения. Остались, правда, иныя страницы, тоже не лишеныя интереса, но онѣ останавливали на себѣ вниманіи писателя.

Единственно ходкою темой тѣхъ лѣтъ былъ разсказъ о житейскихъ и личныхъ страданіяхъ поэта или художника, обреченнаго на тягостное иконовое съ прозой жизни и съ толпой, которая его не понимаетъ. Литературники любили эту тему, разрабатывали ее еще въ двадцатыхъ годахъ, мало заботились о совпаденіи своего вымысла съ правдой жизни, попу по ихъ повѣстямъ и нельзя судить о настоящихъ реальныхъ условияхъ, въ какихъ жилъ русскій писатель хотя бы въ частной своей жизни въ обществѣ. Отмѣтити можно развѣ только повѣсть Соллогуба «спитаниница». Это была одна изъ первыхъ и очень удачныхъ попытокъ разработать вполне реально любимую романтическую тему судьбы таланта съ задающими его условіями трудовой жизни. Соллогубъ разсказалъ очень трогательно исторію одной дворянской дѣвушки, вѣнчанной въ барскомъ домѣ во всѣхъ дворянскихъ традиціяхъ вѣнчанной на улицѣ послѣ смерти своей благодѣтельницы. Эта дѣвушка была одарена необыкновеннымъ драматическимъ талантомъ, но не могла спастись отъ униженія и страданія, и она погибла жертвою корыстныхъ провинціальнахъ сплетенъ и грубаго обращенія «поклонниковъ искусства».

Чуждая жизнь писателя, жизнь, полная радостей и страданій, могла бы пробудить въ его сознаніи и пафосъ, и сарказмъ, но даже эта скромная тема осталась въ тѣ годы совсѣмъ неинтересною. Все что мы узнаемъ изъ текущей литературы того времени о писательской жизни сводится къ незначительнымъ анекдотамъ о невѣжествѣ литераторовъ, самолюбіи, ложномъ образованіи, глупости и нахальствѣ, или къ пересказу ихъ журнальныхъ шкиро-

вокъ, ихъ кабинетныхъ сплетенъ. Читая такіе рассказы, невольно останавливаешься передъ вопросомъ—зачѣмъ было писателямъ выносить весь этотъ соръ изъ избы и подрывать въ публикѣ довѣріе къ своей дѣятельности, которая и безъ того не пользовалась тогда должнымъ признаніемъ? Но литераторы съ настоящимъ талантомъ, которые въ этихъ вопросахъ принадлежатъ бы рѣшающей голосъ, избѣгали такихъ темъ *pro domo sua*, и самооплеваніе писательской братіи въ литературѣ: объясняется тѣмъ, что писатели сводили свои личные счеты и не находили для этого лучшаго пріема, какъ сатирическіе очерки, часто сбивавшіеся прямо на пасквиль. Кто знакомъ подробно съ исторіей журналистики того времени, тому иногда не трудно указать въ этихъ очеркахъ прямо на оригиналы, съ которыхъ списаны дѣйствующія лица.

Конечно, среди этихъ литературныхъ очерковъ можетъ быть установлена извѣстная градація, смотря по тому, насколько автору удавалось обобщить выставленные имъ лица и факты. Такъ, напримѣръ, тѣ рассказы изъ жизни литераторовъ, которые помѣщалъ Полевой въ своемъ «Новомъ Живописцѣ» были въ литературномъ отношеніи значительно выше всѣхъ имъ подобныхъ произведеній, потому что въ обрисовкѣ типовъ и положеній сатирикъ достигалъ извѣстной образности и общности. Наиболѣе бойкіе очерки въ этомъ родѣ принадлежали перу Сенковского. Онъ самъ былъ однимъ изъ большихъ литературныхъ интригановъ, зналъ хорошо закулисныя дѣла журналистики и имѣлъ причины гнѣваться на своихъ собратьевъ по перу, которые въ долгу у него не оставались. Много незастылого сказалъ онъ о нихъ въ своихъ сатирическихъ статейкахъ*), которыя тогда очень нравились, такъ какъ мѣстами бывали, дѣйствительно, очень смѣшны, хотя и не комичны въ настоящемъ смыслѣ. Перечислять тѣ литературскіе пороки, которые осмѣивалъ Сенковский, было бы очень скучно, такъ какъ реестръ ихъ давно составленъ, чуть ли не со временъ Кантемира. Среди этихъ пороковъ нѣкоторые безспорно заслуживали осмѣянія, какъ, напримѣръ, авторское самолюбіе въ разныхъ видахъ и всевозможныя потуги таланта, но были и такія стремленія, которыя можно было осмѣивать лишь при полномъ отсутствіи серьезнаго взгляда на жизнь. И Сенковский, у котораго такого серьезнаго взгляда не было, смѣялся часто самымъ буйнымъ смѣхомъ надъ тѣмъ, что заслуживало полнаго сочувствія. Онъ позволялъ себѣ,

*) *О. Н. Сенковский*. «Выходъ у сатаны» 1832, «Осенняя скука» 1833, «Прохожденія одной ревизской души» 1834, «Превращеніе головъ въ книги» 1839, «Чистъ-Чушь или авторская слава» 1834.

нпр., самыя обидныя глумленія по адресу тѣхъ писателей, въ которыхъ находилъ хоть малѣйшее тяготѣніе къ умозрѣнію. Онъ былъ безсиленъ, но самыя крикливыя врагомъ всѣхъ философскихъ теченій его времени и, какъ часто бываетъ, увлекалъ своимъ площаднымъ гаерствомъ тѣхъ, кому эта, имъ обруганная, философія стремилась принять истинное пониманіе изящнаго въ жизни. Само собою разумѣется, что по его сатирическимъ статьямъ нельзя себѣ составить даже приблизительно вѣрнаго представленія о томъ, что такое была литературная жизнь его времени и кто были эти «романтики» и «философы», надъ которыми онъ потѣшался.

По стопамъ Сенковскаго одно время шелъ и Загоскинъ; и онъ, какъ представитель старшаго поколѣнія литераторовъ, считалъ нужнымъ обличать литераторовъ молодыхъ—романтиковъ и въ особенности «гегелистовъ». Самъ онъ не могъ понять ихъ настоящихъ стремленій и потому его сатира обратилась въ настоящій фарсъ, въ сборище карикатуръ, въ которыхъ никто не узнаетъ настоящихъ представителей нашей молодой словесности, хотя именно въ нихъ-то старикъ и шѣтилъ. Въ этомъ отношеніи въ особенности характерна его сатира «Литературный вечеръ»*), въ которой онъ облилъ грязью Бѣлинскаго, выставивъ его въ самомъ неблаговидномъ свѣтѣ и какъ писателя, и, что хуже, какъ человѣка.

Если поднести итогъ всѣмъ этимъ сатирамъ и очеркамъ, въ которыхъ должны были быть изображены литературныя нравы стараго времени, то кромѣ обличенія самыхъ обыденныхъ писательскихъ пороковъ, кромѣ неумѣстныхъ шутокъ надъ тѣмъ, что самому сатирику было непонятно, кромѣ неумѣлыхъ нападокъ на литературную новизну и наконецъ кромѣ сведенія личныхъ счетовъ—мы не найдемъ ничего въ историческомъ или литературномъ смыслѣ цѣннаго.

Спускаясь изъ этихъ культурныхъ круговъ въ слои менѣе культурныя, переходя къ тѣмъ повѣстямъ, въ которыхъ рисуется жизнь нашего купечества и мѣщанства, мы должны еще больше ограничить наши ожиданія и требованія. Жизнь этихъ круговъ въ тѣ романтическіе годы считалась по существу еще менѣе любопытной, чѣмъ жизнь крестьянская, которую можно было идеализировать по образцу старыхъ описаній «естественнаго» быта или старой сентиментальной идилліи.

Литература тѣхъ лѣтъ почти совсѣмъ игнорировала «среднія состоянія» нашего общества или довольствовалась самымъ шаблоннымъ

*) «Москва и Москвичи», часть II.

типомъ практическаго богобоязненнаго честнаго купца и смиреннаго работника-мѣщанина. Внѣшняя и внутренняя жизнь этихъ темныхъ или полу-темныхъ людей открылась читателю уже послѣ Гоголя, въ годы расцвѣта такъ называемой «натуральной школы». Было бы, однако, несправедливо умолчать о предшественникахъ этой школы, при всѣхъ недочетахъ ихъ работы.

В. И. Далю принадлежитъ среди этихъ скромныхъ наблюдателей первое мѣсто. Въ своихъ мелкихъ рассказахъ и анекдотахъ онъ давалъ временами очень живые портреты мастеровыхъ, мелкихъ и крупныхъ коммерсантовъ, лавочниковъ и иныхъ сѣрыхъ людей, отъ которыхъ литература тогда отвергивалась. Что съ нимъ очень рѣдко случалось—ему удалось даже удачно использовать этотъ матеріалъ въ повѣстяхъ довольно большого объема.

Съ безспорнымъ знаніемъ купеческой жизни написать, напримѣръ, очеркъ «Отецъ съ сыномъ» *)—старая исторія объ отцахъ и дѣтяхъ, возникшая въ средѣ, гдѣ традиція требовала полного повиновенія отъ младшихъ,—исторія, въ которой, однако, носитель этихъ традицій—старикъ, обнаруживаетъ, вопреки ожиданіямъ, глубоко гуманную душу и умъ, умѣющій стать на чужую точку зрѣнія. Трагикомическій эпизодъ женитьбы одного купеческаго сына на дочери нѣмецкаго колбасника рассказанъ Далемъ также очень живо въ повѣсти «Колбасники и бородачи». Въ повѣсти «Жизнь человека или прогулка по Невскому проспекту» была нашимъ авторомъ очень трогательно описана безотрадная жизнь одного несчастнаго ремесленника, подкидыша-горбуна, который, состоя подмастерьемъ въ разныхъ лавкахъ и домахъ, расположенныхъ по Невскому проспекту, тридцать девять лѣтъ бѣгалъ по нему и ни разу не видавъ Невы и на смерть перепугался, когда однажды случайно былъ занесенъ на Петербургскую Сторону.

Какъ образцы хорошихъ «физиологическихъ» очерковъ, нужно отнѣсать рассказы «Петербургскій дворникъ» и «Деньщикъ», а также и довольно ярко написанныя странички «Чухонцы въ Питерѣ» **).

Поставленные рядомъ съ повѣстями Дала другіе однородные съ ними рассказы проигрываютъ въ живости и вѣрности изображенія; изъ нихъ можно указать развѣ только на романъ Башуцкаго «Мѣщанинъ» ***)

*) Напечатанъ въ 1-мъ томѣ его сочиненій.

**) Въ эти повѣсти напечатаны въ III-мъ томѣ полнаго собранія его сочиненій (изд. Вольфа).

***) А. Башуцкій. «Очерки изъ портфеля ученика натурального класса». «Тетрадь первая. Мѣщанинъ.» 2 части. Спб. 1840.

Романъ довольно широко задуманъ: авторъ хотѣлъ въ немъ рассказать полную невѣроятныхъ приключеній, жизнь «мѣщанина изъ отпущенныхъ», который въ чувствахъ своихъ и въ своемъ образованіи опередилъ любого представителя высшаго круга. Романъ написанъ въ романтическомъ стилѣ и почти на всѣхъ страницахъ отклоняется отъ возможнаго и вѣроятнаго, и только описаніе толкачаго рынка имѣетъ литературную и историческую цѣнность и взято, безспорно, изъ портфеля ученика «натуральнаго» класса.

Сколько бы мы ни отиѣчали, однако, такихъ живыхъ страницъ, онѣ все-таки говорятъ намъ очень мало о жизни нашихъ среднихъ сословій и изъ цѣлой массы своеобразныхъ типовъ, живущихъ въ своеобразной обстановкѣ, лишь самая ничтожная часть всплывала наружу, и то только дразнила, а не удовлетворяла любопытство читателя.

Неудовлетворено было это любопытство и тогда, когда читатель хотѣлъ узнать, какими идеалами, умственными и нравственными, живетъ нашъ простой крестьянскій народъ и каковы внѣшнія условія его быта.

Что касается этихъ внѣшнихъ условій, то литература издавна о нихъ повѣствовала и въ своемъ разказѣ выработала извѣстные стереотипные приемы. Часто въ угоду идиллическому настроенію души писателя, крестьянская жизнь изображалась въ мягкихъ и пріятныхъ краскахъ. Нельзя сказать, конечно, что въ этихъ идилліяхъ все отъ перваго слова до послѣдняго было ложью: могло статися, что среди многихъ миллионовъ рабовъ и было нѣсколько, которые съ утратой вободы жили покойно и въ довольствіи, но, во всякомъ случаѣ, такія исключительныя картины не давали никакого понятія объ общемъ ходѣ крестьянской жизни. Гораздо болѣе близки къ истинѣ были тѣ—въ лександровскую эпоху болѣе, а въ николаевскую менѣе—многочисленные писатели, которые свой интерес сосредоточили на мрачныхъ сторонахъ народнаго быта. Эти мрачныя стороны были исчислены и писаны довольно вѣрно, насколько, конечно, позволяла тогдашняя цензура, но во всѣхъ этихъ разказахъ чувствовалось, что народное іросозерпаніе и душа народа были для писателя закрытою книгой. Въ учшеяъ смыслѣ онъ уступалъ мужику на время свои собственныя корбины или протестующія думы и рѣчи.

Наша литература не скоро дождалась, когда народъ заговорилъ самъ на ея страницахъ и когда писатель настолько проникъ въ сущность народной жизни, что, знакомя насъ съ низшею братіей, могъ не шакомить съ самимъ собою.

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ вниманіе писателя все еще

было устремлено на внѣшнюю сторону народной жизни и онъ соби-
ралъ, коллекционировалъ матеріалъ. Когда же ему случалось обраба-
тывать этотъ матеріалъ, онъ приносилъ въ него много условнаго и
субъективнаго. Такъ дѣлалъ Загоскинъ, когда выдвигалъ въ своихъ
романахъ мужика, какъ носителя и выразителя истинно-русскихъ на-
чалъ жизни *), такъ поступалъ Полевой, приписывая мужику свой сен-
тиментальный образъ мысли и рѣчи **), такъ дѣлалъ и Гребенка ***)
въ своихъ фантастическихъ и сентиментальныхъ повѣстяхъ.

Нельзя назвать близкими къ жизненной правдѣ и очень нравив-
шіяся тогда малороссійскія повѣсти Грицька Основьяненки, такъ какъ
и онѣ не что иное, какъ лишь сентиментальныя и романтическія ва-
ріаціи на народные мотивы ****).

Изъ всего, что тогда писалось о народной жизни, нужно отдать пре-
имущество опять таки рассказамъ Даля. Это преимущество было спра-
ведливо отмѣчено еще тогдашнею критикой, которая думала найти въ нихъ
то, чего она такъ искала, именно—русскую «народность». Если требовать
отъ рассказа полнаго совпаденія съ жизнью въ обрисовкѣ внѣшнихъ де-
талей, то критика была права: Даль хорошо изучилъ эту жизнь, обладалъ
единственнымъ въ своемъ родѣ знаніемъ народной рѣчи; ему не было
нужды выдумывать, и онъ, дѣйствительно, рассказывалъ «быль», но
талантъ его, какъ художника, былъ очень скромный и потому всѣ его
повѣсти остались анекдотами. Въ нихъ нѣтъ ни натяжекъ, ни услов-
ностей, ни неѣрностей: все согласно съ правдой; въ нихъ какъ инкрустація
вставлена масса народныхъ изреченій, прибаутокъ, пословицъ, много
чисто народныхъ словъ и оборотовъ рѣчи, но въ нихъ нѣтъ образовъ,
нѣтъ типовъ, нѣтъ развитія въ народной мысли и въ движеніяхъ
сердца. Люди какъ будто сфотографированы моментально; мы видимъ
ихъ въ опредѣленныхъ и единственныхъ позахъ, но мы не живемъ съ
ними.

Какъ собраніе матеріаловъ, повѣсти Даля представляютъ безспор-
ный интересъ, но едва ли читатель того времени могъ по нимъ раз-

*) Лучшее, что въ этомъ родѣ написано Загоскинымъ, это—маленькій
очеркъ «Добрый Ванька» въ его сборникѣ «Москва и Москвичи». Выходъ II-й.

**) Наиболее удачный очеркъ Полевого изъ народнаго быта—рассказъ
«Мѣшокъ съ золотомъ», «Мечты и жизнь», часть IV, но и онъ не свободенъ
отъ сентиментальной приторности.

***) *Е. Гребенка*. «Рассказы ширятица» (1836) и въ особенности рассказъ
«Куликъ» (1840).

****) «Малороссійскія повѣсти», рассказываемыя *Г. Основьяненкой*. 2 части.
Москва. 1834 и 1837.

гадать хоть отчасти трудную загадку—что думает и как чувствует нашъ народъ, тѣмъ болѣе, что и Даль не всегда былъ свободенъ отъ дидактической тенденціи и подбиралъ свои анекдоты съ цѣлью отгнать одну какую-нибудь нравственную истину или достойно наказать того, кто ея ослушался.

Итакъ, если оглянуть бѣглымъ взоромъ всѣ повѣсти и рассказы, въ которыхъ писатель тѣхъ годовъ ставилъ себѣ задачей художественное воспроизведеніе окружающей его дѣйствительной жизни, то, безспорно, придется констатировать быстрый и богатый приростъ наблюдений, сдѣланныхъ писателемъ надъ самыми разнообразными слоями русскаго общества. Много было уловлено деталей, много выведено типовъ, но, частью по винѣ автора, а еще чаще по обстоятельствамъ отъ него независящимъ, всѣ эти наблюдения въ большинствѣ случаевъ касались чисто внѣшнихъ сторонъ жизни и не пытались или не могли проникнуть въ глубь ея. Масса самыхъ характерныхъ типовъ, и самыя интересныя житейскія положенія легли внѣ поля зрѣнія тогдашняго литератора.

Исключеніе въ данномъ случаѣ составлялъ одинъ только Гоголь. Его взглядъ на русскую жизнь былъ шире и глубже взгляда другихъ писателей и его комедіи и повѣсти были наиболѣе полною галлереей характерныхъ и общихъ типовъ.

Были, конечно, области жизни, которыми Гоголь не то что не интересовался, а о которыхъ онъ умалчалъ въ своемъ творчествѣ по неяснымъ причинамъ. Такъ, напр., онъ, хорошо знавшій жизнь свѣтскаго круга, вращавшійся среди аристократовъ, высшихъ чиновниковъ и всевозможныхъ именитыхъ людей, не обмолвился о нихъ почти ни единымъ словомъ. Молчалъ ли онъ изъ деликатности или по отсутствію снѣжности—рѣшить трудно. Былъ онъ очень скрытенъ и во всемъ, что касалось нравовъ того сословія, къ которому онъ самъ принадлежалъ, т.-е. сословія писателей. Своему собрату по перу онъ говорилъ много колкостей въ своихъ журнальныхъ и критическихъ статьяхъ, но имъ почему-то пощадили его въ своей сатири.

Наконецъ мы познаемъ какъ поверхностны, неполны, а иногда и словенно невѣрны были въ его повѣстяхъ картинки народной жизни и народныя типы.

Но за исключеніемъ этихъ пробѣловъ, которые въ творчествѣ Гоголя даютъ себя очень чувствовать — въ остальномъ онъ самый разносторонній и тонкій бытописатель нашей жизни. Онъ очень кратко, но необычайно жѣтко схватываетъ главныя очертанія жизни очень многихъ круговъ и слоевъ нашего общества.

Яркость картины достигается Гоголемъ, повидимому, приемами очень простыми, и эти приемы художника становятся истинно изумительны, когда двумя тремя штрихами онъ набрасываетъ передъ нами цѣлый типъ, который поясняетъ иногда жизнь цѣлаго сословія лучше, чѣмъ длинный рядъ портретовъ аккуратно списанныхъ съ натуры въ подходящей обстановкѣ.

Въ чемъ тайна того впечатлѣнія, которое на насъ производятъ всѣ эти образы, эти люди, съ которыми насъ авторъ сводитъ почти всегда лишь на очень короткое время?

Тайна заключена, конечно, прежде всего, въ талантѣ автора. Онъ, какъ большой художникъ, творитъ людей словами и они стоятъ, какъ живые, передъ нами, но, кромѣ этой жизненности и жизнеспособности эти люди обладаютъ и еще однимъ качествомъ, которымъ они обязаны тому же таланту автора, но главнымъ образомъ, его зоркому и серьезному взгляду на жизнь. Это качество—ихъ типичность. Они всѣ «типичны», т.-е. ихъ умственный складъ, темпераментъ, ихъ привычки, образъ ихъ жизни не есть ничто случайное, или исключительное, ничто лично имъ принадлежащее; весь ихъ внутренний жръ и вся обстановка, которую они создаютъ вокругъ себя—художественный итогъ внутренней и внѣшней жизни цѣлыхъ группъ людей, цѣлыхъ круговъ, классовъ, воспитавшихся въ извѣстныхъ историческихъ условіяхъ; и эти условія не скрыты отъ насъ и пояснены намъ именно благодаря «типичности» тѣхъ лицъ, которыхъ авторъ выставилъ, какъ художественный синтезъ всѣхъ своихъ наблюденій надъ жизнью.

Возьмемъ ли мы помѣщичьи типы и мы сразу видимъ, что въ нихъ дана вся патологія дореформеннаго дворянства съ его маниловщиной на чужомъ трудѣ, съ кулачествомъ Собакевича, не отличающаго одушевленнаго раба отъ неодушевленнаго, съ коздревщиной, которая знаетъ, что въ силу дворянскаго своего положенія она всегда съумѣетъ вывернуться и не погибнетъ, съ самодурствомъ Кошкарева, который учреждалъ министерства и департаменты въ своей усадьбѣ, мня себя самодержавнымъ или, наконецъ, съ благомысліемъ и добродушіемъ Тентетникова, который прѣлъ на корию, избавленный отъ необходимости къ чему-либо приложить свою волю и энергію.

Остановимся ли мы на такихъ лишь бѣгло набросанныхъ типахъ,

какъ напр., Копейкинъ, и тогдашняя армейская нищета духа и тѣла представеть передъ нами воочію. и мы поймемъ, что такое была дореформенная солдатская жизнь—въ ея главныхъ наиболѣе общихъ очертахъ, жизнь, такъ много требовавшая отъ службы и такъ мало цѣнившая человѣка въ служиломъ. Такъ же точно знакомствѣ съ добродушнымъ городничимъ и его сослуживцами, при встрѣчѣ со всѣми «липыми» чиновниками того губернскаго города, въ которомъ временно проживалъ Чичиковъ, при знакомствѣ съ Акакіемъ Акакіевичемъ—развѣ мы не чувствуемъ и не понимаемъ, что передъ нами лица, которыхъ вскормилъ, а затѣмъ вознесъ или принизилъ именно тогдашній бюрократическій строй, прививавшій всякому начальству своеволие и убивавшій всякую свободную волю въ подчиненномъ.

Вѣрно, хотя только въ двухъ-трехъ штрихахъ, сумѣлъ обрисовать Гоголь и домашнюю интимную жизнь купеческой семьи, и когда затѣмъ Островскій разсказалъ намъ исторію этой жизни подробно во всѣхъ деталяхъ, то оказалось, что устои ея — ея косность, мракъ ума и погоня за счастьемъ въ самой матеріальной формѣ, указаны были вѣрно еще нашимъ сатирикомъ.

Почти въ каждомъ изъ гоголевскихъ типовъ можно найти такую типичность. Всегда выведенное имъ лицо интересно и само по себѣ, какъ извѣстная разновидность человѣческой природы, и кромѣ того, какъ цѣльный образъ, по которому можно догадаться о культурныхъ словіяхъ, среди которыхъ онъ выросъ. Въ этомъ смыслѣ Гоголь для всей эпохи былъ единственный писатель: ничей взоръ не проникалъ такъ вглубь русской жизни, никто не умѣлъ придать такую типичность своимъ образамъ и если въ оцѣнкѣ художественнаго разсказа выдвинуть на первый планъ эту способность писателя обнаруживать тайны жизни окружающей его жизни, показывать намъ, какими общими чуждыми мыслями, какими чувствами, стремлениями, среди какихъ приключекъ живетъ не одно какое-нибудь лицо, а цѣлыя группы лицъ, изъ которыхъ слагается общественный организмъ—если эту способность считать въ бытописатель-реалистѣ, то, безспорно, исторію русскаго реального романа придется начинать съ Гоголя.

Его громадная роль въ этой исторіи теперь ясна каждому, и ее, съ и смутно, понимали уже первые его читатели—какъ это видно изъ критическихъ отзывовъ, которыми были встрѣчены его сочиненія преимущественно «Мертвые Души».

XVIII.

Отзывы критики о „Мертвых Душах“; разногласіе отзывовъ и ихъ неполнота. — Сила впечатлѣнія, произведеннаго на общество сочиненіями Го-голя.—Отзывы „Сѣверной Пчелы“, „Библиотеки для Чтенія“, „Литературной Газеты“ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, „Русскаго Вѣстника“, „Москвитянина“ „Сына Отечества“ и „Отечественныхъ Записокъ“.

Мы помнимъ какъ литературная критика старыхъ лѣтъ была недовольна тѣмъ, что ей давала наша юная словесность, съ трудомъ отстаивавшая въ тѣ годы свое право на самобытность и независимость. Всякій разъ, когда критикъ, не желая говорить комплименты своимъ знакомымъ, относился болѣе или менѣе серьезно къ своему дѣлу—онъ начиналъ жаловаться на отсутствіе въ нашей литературѣ самобытной силы, на небрежное отношеніе писателя къ окружавшей его жизни. Онъ искалъ, какъ онъ выражался, «народности» въ литературѣ и не находилъ ея. Правда, онъ самъ не всегда могъ отвѣтить на вопросъ, въ чемъ эта «народность» должна заключаться, я потому часто бывалъ несправедливъ и къ крупнымъ талантамъ, и къ писателямъ средняго дарованія, которые въ тѣ годы производили тщательныя наблюденія надъ русской жизнью, но не умѣли облечь ихъ въ достаточно художественную форму.

Такая несправедливость вполне понятна, въ виду слишкомъ высокихъ требованій, которыя критикъ, воспитанный на образцахъ западной словесности, ставилъ словесности нашей, еще очень юной; а также въ виду того безспорнаго факта, что лучшіе наши писатели начала XIX вѣка, дѣйствительно, обращали мало вниманія на *современную* имъ жизнь и въ своихъ твореніяхъ предпочитали прошлое или иноземное своему и настоящему. Критикъ имѣлъ нѣкоторое основаніе жаловаться на то, что Жуковский, Пушкинъ, Грибоедовъ и иные сильные такъ мало успѣли сказать о той жизни, однимъ изъ лучшихъ украшеній которой они были.

Ближискій былъ правъ, когда въ 1834 году, заявилъ категори-

чески, что «у насъ нѣтъ литературы». Онъ отлично зналъ цѣну нѣкоторыхъ высокохудожественныхъ произведеній нашей словесности того времени, и онъ хотѣлъ сказать только, что связь этихъ произведеній съ нашей дѣйствительностью, съ нашей русской жизнью могла бы быть болѣе тѣсной.

Прошло десять лѣтъ съ того времени, какъ Бѣлинскимъ было сдѣлано это смѣлое заявленіе—въ которомъ онъ только повторилъ то, что до него говорили почти всѣ критики,—и передъ русскимъ читателемъ ежало полное собраніе сочиненій Гоголя. Какъ съ ними сосчиталась критика и удовлетворили ли они ее?

Пріемъ, оказанный сочиненіямъ Гоголя и въ особенности его «Мертвыхъ Душамъ» свидѣтельствуетъ очень ясно и опредѣленно о необычайно сильномъ впечатлѣніи, какое новый художникъ произвелъ на своихъ современниковъ. Силу его таланта почувствовалъ каждый, и даже тѣ критики, которые встрѣтили Гоголя бранью, и они были поражены этой силой и, можетъ быть, потому то съ такимъ забвеніемъ драпаго смысла и выругались. Другіе, подъ обаяніемъ перваго впечатлѣнія, вознесли автора до небесъ.

Остановившаяся передъ этимъ рѣзкимъ разногласіемъ судей, одинъ критикъ писалъ: «Гоголь именно потому и является у насъ чѣмъ-то загадочнымъ, что наука, объемлющая всѣ стороны искусства его, едва въ частіяхъ промелькнула передъ нами. Оттого одни смотрятъ на Гоголя съ энтузіазмомъ, другіе хулятъ его до нельзя» *).

На первый взглядъ, дѣйствительно, могло показаться, что критики разошлись въ эстетической оцѣнкѣ произведеній Гоголя: такъ много такъ часто говорили они о красотѣ или безобразіи его языка и шля, о законченности или неполнотѣ его образовъ, объ ихъ большей и меньшей типичности... Но на самомъ дѣлѣ истиннымъ восторгомъ и раздраженіемъ критиковъ было вовсе не обманутое или удовлетворенное эстетическое чувство. Критики спорили, потому что никакъ не могли согласиться, что произведенія Гоголя на самомъ дѣлѣ «народны», о въ нихъ-то и кроется искомая и желанная народность, что въ нихъ правда жизни вполне совпала съ правдой творчества. Эта величайшая заслуга творчества Гоголя стала выясняться критикѣ лишь постепенно.

Нѣкоторыхъ судьямъ, воспитаннымъ на сентиментальныхъ и романтическихъ традиціяхъ, реализмъ Гоголя, полный ироніи, былъ про-

*) «Современникъ» 1842 г. XXVIII, стр. 82 «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя «Похожденіи Чичикова».

тивень самъ по себѣ, какъ оскорбленіе, которое авторъ будто бы нанесъ искусству; и вообще мало было читателей, которые могли понять истинно глубокой и печальный смыслъ «этихъ карриатуръ въ стилѣ Гольбейна», этой «пляски смертей», какъ кн. Вяземскій остроумно называлъ «Мертвыя Души» *)? Но съ другой стороны нашли и справедливые судьи, которые не успѣли только на первыхъ порахъ вполне высказаться.

Перескажемъ нѣкоторые наиболее характерныя критическія отзывы о сочиненіяхъ Гоголя и преимущественно о «Мертвыхъ Душахъ», чтобы убѣдиться, насколько сильно были задѣты и поражены словами художника умы его читателей.

«Мертвыя Души» и первое полное собраніе сочиненій Гоголя увидѣли свѣтъ въ годы, мало благоприятныя для критической мысли. Эта мысль въ двадцатыхъ годахъ и въ началѣ тридцатыхъ была мѣтѣ опытна, но зато болѣе разнообразна. Къ 1842 году многіе органы, вносившіе большое оживленіе въ журналистику—прекратили свое существованіе.

Умерли частью естественной, а частью насильственной смертью «Вѣстникъ Европы», «Московскій Телеграфъ», «Московскій Вѣстникъ», «Телескопъ» и «Молва», «Европеецъ» и «Московскій Наблюдатель». Нѣкоторые изъ критиковъ, писавшихъ въ этихъ журналахъ, продолжали свою дѣятельность въ иныхъ періодическихъ изданіяхъ, а нѣкоторые совсѣмъ замолкли—и притомъ самыя сѣбѣ и наиболее талантливыя. Пушкинъ и Веневитиновъ скончались; Марлинскій и Кюхельбекеръ были сосланы; Кирѣевскій и Надеждинъ послѣ погрома «Телескопа» и «Европейца» замолчали на долгіе годы; Вяземскій писалъ очень мало и отъ боевой критики, въ которой онъ сыгралъ такую видную роль, сталъ сторониться. Смерть или молчаніе такихъ лицъ было большою потерей.

Возникли, правда, новые органы, но они старыхъ не замѣнили. Въ Москвѣ около «Москвитянина» сгруппировался кружокъ славянофильскій, и присяжнымъ критикомъ журнала сталъ Шевыревъ—прежній сотрудникъ «Московского Вѣстника» и «Московского Наблюдателя». Годы не выработали изъ него хорошаго критика: пылъ и жаръ, который отличалъ его юныя статьи, слегка выдохся и патриотическая тенденція его образа мыслей возросла и очень мѣшала правильности его сужденій.

Петербургская журналистика была болѣе оживлена, хотя и она не могла похвастаться оригинальностью и силой: критическій отдѣлъ «Со-

*) Кн. П. А. Вяземскій. «Полное собраніе сочиненій», II, 315, въ статьѣ «Языковъ и Гоголь», 1847.

«меншика» со смертью Пушкина, съ отказомъ Гоголя вступить въ то, и при рѣдкомъ появленіи статей Вяземскаго былъ бездѣтеленъ; ни юмата, ни цѣлта не придавъ ему и Плетневъ своими статьями. «Библиотека для Чтенія», недавно основанная, была журналомъ очень популярнымъ и по разнообразію и группировкѣ матеріала вполне заслужива успѣхъ, но критическій отдѣлъ, который велъ самъ редакторъ сенковскій, былъ совсѣмъ не на высотѣ своего призванія. Редакторъ—ловчѣкъ большого ума и большихъ знаній, считалъ, повидимому, крику дѣломъ совсѣмъ не серьезнымъ, и потому въ своихъ статьяхъ только шутилъ, остроумничалъ и паясничалъ, а иногда даже очень негтивно ругался.

Этого же тона, но только съ меньшимъ талантомъ и остроуміемъ ржался и Булгаринъ въ своей «Сѣверной Пчелѣ».

Въ обновленномъ «Русскомъ Вѣстникѣ» работалъ заслуженный редакторъ «Московскаго Телеграфа» Поленовъ, попрежнему неутомимый и ергичный, но не способный возвыситься надъ своими старыми мантическими и сентиментальными симпатіями.

Какъ бы въ искупленіе всѣхъ прегрѣшеній тогдашней критики, въ новленннхъ «Отечественныхъ Запискахъ» писалъ, и часто писалъ Блинскій. Въ его статьяхъ заключена вся исторія нашей критической мысли за цѣлое десятилѣтіе (съ конца тридцатыхъ до конца роковыхъ годовъ). Онъ одновременно былъ и лучшимъ теоретикомъ изящнаго въ искусствѣ, и первымъ публицистомъ.

Посмотримъ же, какъ всѣ эти судьи откликнулись на обращенную къ обществу рѣчь художника.

На сужденія Булгарина и Сенковского появленіе «Мертвыхъ Душъ» оказало никакого вліянія. Гоголь остался для нихъ простымъ шуточкомъ, веселымъ разскалчикомъ небылицъ; они не видѣли или не хотли видѣть разницы между первыми произведеніями писателя и его зрѣлыми созданіями. Булгаринъ говорилъ, что въ поэмѣ Гоголя есть и забавное, и смѣшное, и счастливо переданное; есть умныя рѣзкія замѣчанія съ слабостей и глуостей человѣческихъ, но что все это утопаетъ въ странной смѣси вздору, пошлости и пустяковъ. Въ «Мертвыхъ Душъ» нѣтъ ни одного характера, писалъ онъ;—одна карриатура и неинвалициана. Дѣйствующія лица всѣ—одинъ дураки и воры. Передъ нами обывалъ міръ негодяевъ, который никогда не существовалъ. Притомъ, доглядѣвъ критикъ,—вся поэма написана удивительно безвкуснымъ языкомъ и въ дурномъ тонѣ, вѣстами совершенно неприличномъ. Немножкомъ случаѣ это—неглубокое и несерьезное произведеніе, «поэма», а просто положенный на бумагу разскалъ замысловатаго

множюпростодушнаго малороссіянина. Гоголь могъ бы писать и хорошо и серьезно, но почему-то добровольно отказался отъ мѣста подгѣ образцовыхъ писателей романовъ, чтобы стать ниже Поль-де-Кока. Правда, нашъ легкій писатель пользуется теперь большимъ успѣхомъ, но это объясняется не его заслугами, а усердіемъ нѣкоторыхъ критиковъ, которые его захвалили, чтобы заставить публику отвернуться отъ другихъ сатирическихъ и юмористическихъ писателей *).

Въ такомъ же тонѣ, но съ большимъ ухарствомъ говорилъ о Гоголѣ и Сенковский. У него не нашлось для «Мертвыхъ Душъ» иного названія, какъ «буффонада». Гоголь, доказывалъ критикъ, остается во всѣхъ своихъ произведеніяхъ авторомъ анекдотовъ, въ которыхъ пробивается возгѣ: пріятнаго дарованія особенный провинціальный юморъ—малороссійское жартованіе. Отсутствие художнической наблюдательности юмористъ замѣняетъ коллекціею гротесковъ, оригиналовъ, чудаконъ и плутовъ безъ всякой важности для философической сатиры. Стиль его грязенъ, картины—зловонны! Бѣдный писатель! Онъ Чичикова принимаетъ за жизнь. Онъ лепѣтъ такія созданія! О беззвучная трескотня! Бѣдный! Тысячу разъ бѣдный! Онъ могъ думать, что нарисованная имъ картина правовъ и характеровъ есть поэма изъ русской жизни! А кого рисуетъ онъ? Какихъ людей! Какія понятія! И его слушаютъ! А почему? Потому что его захвалили тѣ люди, которымъ это было нужно сдѣлать изъ постороннихъ цѣлей. А въ сущности что такое Гоголь? Поль-де-Кокъ и по слогу, и по сюжету **).

Такъ писали о Гоголѣ люди, которымъ никакъ нельзя отказать въ литературной начитанности, въ писательской опытности и даже въ умѣ. Ихъ сужденія въ данномъ случаѣ настолько расходятся со здравымъ смысломъ, обнаруживаютъ такую узость пониманія, что невольно приходится заподозрить ихъ въ полной неискренности. Они не могли думать того, что писали. Въ ихъ словахъ чувствуется задняя мысль и они, нападая на Гоголя, ишли въ виду не оборону искусства, а защиту чего-то иного, для нихъ въ данномъ случаѣ болѣе дорогого. Не трудно догадаться, что именно ихъ сердило: они открыли свои карты, когда такъ упорно настаивали на томъ, что Гоголя «захвалили» пріятели, что тщеславіе и самолюбіе его обуило, что его друзья и поклонники стараются отвлечь симпатіи публики отъ другихъ не менѣе достойныхъ писателей-юмористовъ и сатириковъ, т. е. отъ нихъ самихъ,

*) «Сѣверная Пчела» 1842 г. № 137 и 279.

**) «Библиотека для Чтенія» 1842 г. LIII, отд. VI, 24—34 и 1843 г. LVII, отд. VI, 21—28.

и Булгарина и Сенковского. Повышенность их злобнаго тона объясняется успѣхомъ Гоголя и притомъ успѣхомъ въ средней публикѣ, той са-
 л, которая до сихъ поръ зачитывалась именно ихъ романами и повѣстями.
 ннхъ образомъ, въ этихъ критическихъ отзывахъ совершенно ничтож-
 гь по мысли, сохранено для насъ очень любопытное указаніе на рас-
 реніе сферы вліянія сочиненій Гоголя—указаніе на захватъ ими цѣлой
 тпы читателей, которые раньше довольствовались иными поставщи-
 ш. Булгаринъ и Сенковскій отлично понимали, что для болѣе или
 ѣе развитыхъ читателей ихъ брань на Гоголя равно никакой цѣны
 итѣсть, и они хотѣли удержать за собою лишь тѣхъ, въ которыхъ
 полнымъ основаніемъ подозрѣвали наступающую пережѣну вкусовъ.
 Ѣйствительно, по восторженному тону, какнхъ о Гоголѣ стали го-
 нтъ журналисты не особенно видныхъ органовъ печати, можно
 о догадаться, что слава его растетъ необычайно быстро. Похвалы
 были очень общаго характера, но въ нихъ уже ясно проступаетъ
 аніе, что въ сочиненіяхъ Гоголя дано нѣчто изъ высшей степени важ-
 что въ нихъ кроется громадная сила; въ чемъ она—объ этомъ критики
 рили пока довольно глухо. «Мертвыя Души»—ужасающая картина
 еменной жизни», писалъ одинъ изъ такихъ поклонниковъ Го-
 (*),—цѣннѣйшій въ немъ его рѣдкій даръ наблюдательности,
 знаніе человеческого сердца, его умѣніе созидать характеры,—
 въ чемъ заключался весь «ужасъ» картины—этого критикъ не поя-
 гь. «Мертвыя Души»—картина вѣрная природѣ, хотя бойкость
 да приближаетъ автора къ карикатурѣ; и рьяность заставляетъ его
 шить противъ стилистики, забывалъ другой рецензентъ. Вся кар-
 огромная, ярко расцвѣченная, фонъ которой составляетъ бытъ на-
 ь провинціальнахъ помѣщикахъ и чиновникахъ. Въ поэмѣ Гоголя
 даны живыя лица изъ нашей «ветхой» жизни. Мы живемъ, дѣй-
 тельно, двойной жизнью: юною, перелитую къ намъ изъ Европы,
 рая отражена въ такихъ типахъ какъ Чацкій, Евгений Онегинъ и
 ринъ, и жизнью ветхой, унаслѣдованной отъ предковъ, которая
 ставлена въ литературѣ семействомъ Простаковыхъ, Сквозинкохъ-
 ановскихъ, Хлестаковыхъ и Чичиковыхъ. Никогда талантъ Гоголя
 роизводилъ творенія столь обширнаго въ своемъ объемѣ, столь
 зительнаго по разнообразію и выдержанности, по оригинальности
 ности характеровъ, по вѣрности и яркости красокъ, какъ его
 твыя Души». Въ заключеніе критикъ предрекалъ поэмѣ Гоголя

блестящую участь *). Пусть въ своихъ предсказаніяхъ онъ ошибся, но въ различеніи «юной» и «ветхой» жизни, которой мы живемъ, критикъ обнаружилъ безспорное пониманіе смысла гоголевской сатиры, хотя опять-таки мысль свою оставилъ безъ развитія.

Такая недосказанность въ сужденіяхъ о «Мертвыхъ Душахъ» была тогда явленіемъ общимъ; не только критики средней силы, но и судьи уже опытные и очень даровитые грѣшили ею. Гоголь давалъ такъ много въ своей поэмі, что всякій желавшій высказать свое сужденіе о ней былъ подавленъ тѣми мыслями, которыя она вызывала и не могъ формулировать ихъ сразу вполне определенно и съ достаточной полнотой. Въ этомъ мы сейчасъ убѣдимся по отзывамъ лицъ наиболѣе компетентныхъ въ судѣ надъ литературными памятниками.

Исключеніемъ среди всѣхъ этихъ компетентныхъ судей былъ Полевой. Престарѣлый романтикъ, которому надлежало теперь высказать свое сужденіе о лучшемъ представителѣ торжествующаго реализма, сказалъ откровенно, ясно и определенно все, что онъ думалъ. Его слова были жестоки и совершенно несправедливы, но ихъ нужно отнѣстись въ виду ихъ характерности, хотя считается съ ними илѣтъ необходимости такъ какъ критикъ обнаружилъ полное непониманіе того, судить о чемъ онъ взялся. Это непониманіе было вполне искреннее со стороны Полевого; для него сочиненія Гоголя были прямымъ отрицаніемъ всего, что онъ считалъ изящнымъ и художественно правдивымъ. Ругать Гоголя побудили его не личные, не редакціонные счеты, а сложившіеся его романтическіе вкусы и старая эстетическая теорія, отъ которой онъ не то чтобы не хотѣлъ, а не смогъ отступить. Ему — романтику и сентименталисту — откровенный реализмъ въ искусствѣ былъ противенъ.

Принимая на себя веденіе критическаго отдѣла въ обновленномъ «Русскомъ Вѣстникѣ», Полевой призналъ въ своей руководящей статьѣ **, что русская литература переживаетъ трудное время. Классицизмъ палъ, писалъ онъ, но теперь одно зло смѣнили другимъ. Невольно пожалѣешь о добромъ старомъ времени классическаго владычества. Старую теорію мы уничтожили, ну а создали ли мы новую? У насъ теперь масса трибуналовъ и полное безначаліе въ критикѣ. Такая же путаница и въ теоріяхъ ученыхъ и въ философіи. Толпа невѣрующихъ разрушителей нападаетъ на Гете, предпочитаетъ Энцикл.—Шибелунги, Рафаэлю—ви-

*) «С.-Петербургскія Вѣдомости» 1842 г. № 163—165. Статія М. Сорокина.

***) «Русскій Вѣстникъ» 1842 г. № 1, статья П. Полевого. «Нѣсколько словъ о современной русской критикѣ».

тійскую живопись, отвергаетъ все въ Корнелі и Расині, холодно смотъ на творенія В. Скотта и любитъ уродливаго Диккенса. Нашъ съ—страстность, наше прекрасное—дикость, наша страсть—повизна. кмо выйти изъ этого хаоса, надо перейти къ времени мирному, къ ому тихому возсозданію прежнихъ положительныхъ идей человѣча... Это будетъ новлй классицизмъ, который съумѣетъ цѣнить Шекса, отдавая справедливость Корнелю, Кондилляка замѣнить эклекомъ, безбожіе энциклопедистовъ уничтожить передъ свѣтомъ реин, помирить романтизмъ и классицизмъ. Чтобы повернуть литерату на этотъ путь сліянія прежняго сухого классицизма и неистоваго антизма (отъ котораго Полевой теперь отрекается), чтобы не позтъ литературѣ: одичать въ погонѣ за реализмомъ — нужна новая гика. Полевой обѣщаетъ ее въ своемъ журналѣ. «Эта критика, готъ онъ, не осудитъ безотчетно на позоръ прежнихъ условій искуса, но, дополняя ихъ новыми открытіями ума человѣческаго, возсозтъ ихъ; не станетъ утверждать, что въ искусствѣ нѣтъ никакихъ овій и въ наукѣ существуетъ только слѣпой опытъ безъ теорій, иецъ такая критика пойметъ вполне слово «народность» въ ужѣ нукѣ, сознавая, что при эклектизмѣ человѣчества каждый народъ кемъ жить своею сабобытностью, хотя и не осуждая на безсмысліе ертъ всѣ другіе народы».

Этихъ суждѣнъ надъ сочиненіями Гоголя Полевой и попытался ядать эту «новую» критику. Онъ любилъ Гоголя за его раннія знеденія, въ которыхъ реализмъ былъ такъ скрашенъ романтизъ, и онъ не терпѣлъ Гоголя за его послѣднія созданія, за его комедіи «Мертвыя Души», въ которыхъ видѣлъ торжество именно той дикости и той страстности, которая заставляла его жалѣть о погибшемъ реализмѣ, нѣкогда имъ столь нелюбимомъ. Слѣдуя новой теоріица, онъ въ первыхъ же номерахъ своего журнала забросалъ Гоголя неучтивыми упреками и обвиненіями. Онъ утверждалъ, что сила Гоголя въ одномъ малороссійскомъ жартѣ. Захваленный месечный своими поклонниками, писалъ критикъ, Гоголь превратно итъ на свое назначеніе. Все, что составляетъ прелесть его творчества теперь исчезаетъ, все, что губить ихъ—постепенно усиливается. «Мертвыя Души» бѣдны содержаніемъ, онѣ простое повтореніе «Ревизора», грубая каррикатура, которая перешла за предѣлы изящнаго. «Въ ней преждее добродушное жартваніе? Ужь если писатель хотѣлъ дать намъ человѣка, то пусть онъ не показывааетъ одну лишь жалкую сторону, а «Мертвыя Души»—это неопытная гостинница—на Россію. Сколько гризи въ этой поэмѣ! И приходится согла-

сяться, что Гоголь родственникъ Поль-де-Кока. Онъ въ близкомъ родствѣ и съ Диккенсомъ, но Диккенсу можно простить его грязь и уродливость за свѣтлыя черты, а ихъ не найти у Гоголя. И авторъ могъ думать, что «Мертвыя Души»—нравственное поученіе?! Неужели въ каждомъ русскомъ можно видѣть зародыши Хлестакова и Чичикова? *).

Такія слова въ устахъ Полевого были одновременно и огульнымъ осужденіемъ Гоголя, и уступкой ему. Закоренный романтикъ бранилъ бездоказательно нашего реалиста, не понимая его, и вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, подъ впечатлѣніемъ сочиненій Гоголя, сталъ догадываться, что романтизмъ въ литературѣ свое дѣло проигрываетъ и что если реализмъ Гоголя и очень вреденъ, то для борьбы съ нимъ нужно нѣчто иное, чѣмъ то, что онъ—Полевой—до сего времени считалъ въ искусствѣ правдивымъ и художественнымъ.

Если критика Полевого въ вопросѣ о литературной и общественной стоимости сочиненій Гоголя ровно никакой цѣны не имѣетъ, то и она—какъ видимъ—косвенно свидѣтельствуетъ о постепенно возроставшемъ его успѣхѣ.

Отзывы другихъ авторитетныхъ критиковъ были все хвалебные и восторженные.

Переходя къ разсмотрѣнію этихъ хвалебныхъ рецензій—единодушныхъ, несмотря на разницу направленій тѣхъ журналовъ, въ которыхъ они были напечатаны—мы должны отмѣтить, прежде всего, ихъ неполноту. Судьи все въ восторгѣ; они поражены новизной явленія, поражены богатствомъ картинъ, типовъ и положеній, но никто изъ нихъ не рѣшается высказаться по существу и съ достаточной полнотой опредѣлить все значеніе «Мертвыхъ Душъ» для русской жизни, хотя каждый изъ нихъ и торопится сказать, что эта поэма въ общественномъ смыслѣ явленіе очень знаменательное. Очевидно, что на всѣхъ критиковъ «Мертвыя Души» произвели настолько сильное впечатлѣніе, что судьи не могли въ немъ сразу разобраться; и Гоголь былъ правъ, когда жаловался на читателя, который не откликнулся на его слова такъ откровенно и полно, какъ бы ему этого хотѣлось. Гоголя не удовлетворяли похвалы, онъ хотѣлъ критики, т.-е. всесторонней оцѣнки, и, главнымъ образомъ, не эстетической, а нравственной. Вмѣсто нея ему пришлось прочесть лишь восторженные привѣтствія, искреннія, но слишкомъ общаго характера. «Другой мѣсяць или читаемъ васъ, или говоримъ о васъ, — писалъ

*) «Русскій Вѣстникъ» 1842 г. № V и VI, 33—57.

Гоголю въ июлѣ 1842 года старѣйшій членъ славянофильскаго московскаго кружка, С. Т. Аксаковъ. Никому не повѣрю, чтобъ нашелся человѣкъ, который могъ бы съ перваго раза вполне понять ваши безсмертныя «Мертвыя Души». Это міръ Божій. Можно ли однимъ взглядомъ его разсмотрѣть? Какое надобно вниманіе и разумѣнье, чтобъ открыть въ немъ совершенство творчества въ малѣйшихъ подробностяхъ, повидимому и не стоящихъ большого вниманія?.. Я прочелъ «Мертвыя Души» два раза про себя и третій разъ вслухъ для всего моего семейства; надобно нѣкоторымъ образомъ остыть, чтобъ не пропустить красоту творенія, естественно ускользящихъ отъ пылающей головы и сильно бьющагося сердца» *).

Аксаковъ сказалъ правду: все, что было написано о «Мертвыхъ Душахъ» непосредственно послѣ ихъ выхода въ свѣтъ, грѣшило недоказанностью и неполнотой сужденія...

Въ «Москвитинишѣ» поэму Гоголя довольно подробно разобралъ Шевыревъ.

Его статья, — лучшая изъ всѣхъ его критическихъ статей — не лишена достоинства. Значеніе Гоголя, какъ реалиста-художника, было въ ней юнато и выяснено вѣрно. Но въ ней была одна задняя мысль, которая побуждала критику подробно остановиться на оцѣнкѣ того, что авторъ дагъ въ первой части «Мертвыхъ Душъ» и торопила его говорить о томъ, что онъ нахѣревался сказать въ будущемъ. Шевыревъ былъ друженъ съ Гоголемъ и зналъ, чѣмъ долженъ былъ закончиться разсказъ о походе Чичикова. Какъ руссофилъ и какъ критикъ, занявшій въ первыхъ же книжкахъ **) своего журнала открыто и вызывающе о поемъ патристическомъ образѣ мыслей, Шевыревъ не сказалъ всего, что можно было сказать о тѣневой сторонѣ нашей дѣйствительности, и пѣшилъ утѣшить читателя обѣщаніями, что въ слѣдующихъ частяхъ поэмы Гоголя воссіяетъ вся красота и добродѣтель той русской жизни, которой на первыхъ порахъ такъ много дурного сказалъ художникъ. «Всѣ мы, — писалъ онъ въ одной изъ своихъ критическихъ статей, которая предшествовала его разбору «Мертвыхъ Душъ», — съ мы, дѣйствующіе мыслью и словомъ на образованіе народное, по разнымъ вѣтвямъ поэзіи, словесности, науки, какъ бы ни раздѣлялись мѣншіями, должны помнить, что у всѣхъ насъ одна задача: выразить вселѣ всеобъемлющую, всемірную, всечеловѣческую, христіанскую въ

*) С. Т. Аксаковъ. «Исторія моего знакомства съ Гоголемъ» 69, 70.

**) «Москвитинишъ» 1842 г. № 1, статья Шевырева. «Взглядъ на современное направленіе русской литературы».

самоу русскоу слову» *)). Шевыревъ считаеъ Гоголя художникомъ, призваннымъ выполнить именно эту задачу,—но конечно, въ будущемъ.

Если въ первомъ томѣ своей поэмы, говорилъ Шевыревъ, комическій юморъ Гоголя возобладаетъ, и мы видимъ русскую жизнь и русскаго человѣка по большей части отрицательною ихъ стороною, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознестись до полнаго объема всѣхъ сторонъ русской жизни. Онъ самъ обѣщавъ намъ дагѣ представить все несмѣтное богатство русскаго духа, и мы увѣрены заранѣе, что онъ славно сдержитъ свое слово. Къ тому же въ этой части, гдѣ самое содержаніе, герои и предметъ дѣйствія увлекали его въ хохотъ и иронию, онъ чувствовалъ необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіяхъ, въ яркихъ замѣткахъ, брошенныхъ эпизодически, даъ намъ предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую со временемъ раскроетъ во всей полнотѣ ея... Мы думаемъ также, что поэтъ способенъ дать своей фантазіи полетъ самый свободный и обширный, котораго достало бы на обхватъ всей жизни, и предполагаемъ, что, развиваясь дагѣ, его фантазія будетъ богатѣть полнотою и обнимать жизнь не только Руси, но и другихъ народовъ,—возможность къ чему мы уже видѣли ясно въ его «Римѣ».

Вдохновленный лиризмомъ Гоголя Шевыревъ такъ говорилъ о томъ, что ожидаетъ читателя въ будущемъ: «Взгляните на вѣтеръ передъ началомъ бури,—писалъ онъ.—Легко и низко проносится онъ сперва; взметаетъ пылъ и всякую дрянь съ земли; перья, листья, локутки летятъ вверхъ и нлются; и скоро весь воздухъ наполняется его своенравнымъ круженіемъ... Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала, но въ этомъ вихрѣ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморъ Гоголя... Но вотъ налетѣли тучи... Сверкнула молнія... Громъ раскатился по небу... Дождь хлынулъ потоками. Земля и небо смѣшались вмѣстѣ... Не такова ли будетъ вторая часть его поэмы, въ которой обѣщавъ онъ намъ *лирическое теченіе, горизонтъ раздающійся и величавый громъ другихъ рѣчей?*» **).

Въ ожиданіи этой бури и этого грома Шевыревъ нѣсколько небрежно взглянулъ на ту «пыль» и на ту «дрянь», которую съ земли подняли слова Гоголя.

*) «Москвитянинъ» 1842 г. № 3, статья *Шевырева*. «Взглядъ на современную литературу».

***) «Москвитянинъ» 1842 г. № VIII, статья *Шевырева* «Похожденія Чичикова». 370, 372, 356.

Самое цѣнное въ статьѣ Шевырева,—это указаніе на торжество реализма въ нашемъ искусствѣ и на непосредственную связь сочиненій Гоголя съ тѣмъ, что мы вокругъ насъ видимъ. Если Шевыревъ не достаточно выяснилъ какъ велика была цѣна такихъ реальныхъ типовъ для нашей тогдашней жизни, то онъ все-таки понялъ, насколько они жизненны, и ему было ясно, что въ нихъ кроется глубокій смыслъ. «Давно уже поэтическія явленія не производили у насъ движенія столь сильнаго, какое произвели «Мертвыя Души», говорилъ онъ,—и причину этого движенія онъ правильно усматривалъ въ необычайной близости того, что говорилъ художникъ, съ тѣмъ, что насъ окружало. Чичиковъ былъ для него истиннымъ героемъ нашего меркантильнаго прозаическаго времени. «Будьте же благодарны поэту за то, что онъ силою своего могучаго воображенія вызвалъ вамъ изъ какого-то отдаленнаго захолустья нашей отчизны такихъ земляковъ, такихъ странныхъ собратій вашихъ, о существованіи которыхъ если вы и имѣли кой-какія подозрѣнія, то позабыли вовсе въ своихъ великолѣпныхъ суетахъ и заботахъ,—говорилъ критикъ. Понсюду важна связь искусства съ жизнью, но особенно важна она у насъ, какъ народа практическаго, не способнаго къ отвлеченностямъ. Только то произведеніе тронетъ у насъ за живое и возбудитъ участіе всѣхъ, въ которомъ существенная основа тѣсно связана съ корнемъ нашей жизни, въ хорошую ли, въ дурную ли ея сторону. Пора уже намъ отъ блестящей жизни виѣшней, которая насъ слишкомъ увлекаетъ, возвращаться къ внутреннему бытію, къ дѣйствительности собственно русской, какъ бы ни казалась она ничтожна и отирательна намъ, увлекаемыми незаслуженною гордостью чужого просвѣщенія, и потому каждое значительное произведеніе русской словесности, напоминающее намъ о тяжелой существенности нашего внутренняго быта, открывающее тѣ захолустья, которыя лежатъ около насъ, а намъ кажутся за горами потому только, что мы на нихъ не смотримъ, каждое такое произведеніе, заглядывающее вглубь нашей жизни, крохѣ своего достоинства удожественнаго, можетъ по всѣмъ правамъ имѣть достоинство и благороднаго подвига на пользу отечества. Въ пышномъ вѣкѣ Екатерины Гонимизинъ раскрылъ одну изъ глубокихъ ранъ тогдашней Россіи въ семейномъ быту и воспитаніи. Въ наше время тотъ же подвигъ совершилъ былъ Гоголемъ въ «Ревизорѣ», и совершается теперь въ другой азѣ въ «Мертвыхъ Душахъ».

Какъ видимъ, мысли совершенно вѣрныя; и если бы Шевыревъ, вмѣсто того, чтобы въ патріотическомъ восторгѣ предкинуть будущее тратить свои силы на не всегда вѣрное истолкованіе эстетической

самою русскою словѣ» *). Шевыревъ считалъ Гоголя художникомъ, призваннымъ выполнить именно эту задачу,—но конечно, въ будущемъ.

Если въ первомъ томѣ своей поэмы, говорилъ Шевыревъ, комическій юморъ Гоголя возобладалъ, и мы видимъ русскую жизнь и русскаго человѣка по большей части отрицательною ихъ стороною, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы фантазія Гоголя не могла вознестись до полного объема всѣхъ сторонъ русской жизни. Онъ самъ обѣщавъ намъ далѣе представить все несчетное богатство русскаго духа, и мы увѣрены заранѣе, что онъ сланно сдержитъ свое слово. Къ тому же въ этой части, гдѣ самое содержаніе, герои и предметъ дѣйствія увлекали его въ хохоть и иронію, онъ чувствовалъ необходимость восполнить недостатокъ другой половины жизни, и потому въ частыхъ отступленіяхъ, въ яркихъ замѣткахъ, брошенныхъ эпизодически, далъ намъ предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую со временемъ раскроетъ во всей полнотѣ ея... Мы думаемъ также, что поэтъ способенъ дать своей фантазіи полетъ самый свободный и обширный, котораго достало бы на обхватъ всей жизни, и предполагаемъ, что, развиваясь далѣе, его фантазія будетъ богатѣть полнотою и обнимать жизнь не только Руси, но и другихъ народовъ,—возможность къ чему мы уже видѣли ясно въ его «Римѣ».

Вдохновенный лиризмъ Гоголя Шевыревъ такъ говорилъ о томъ, что ожидаетъ читателя въ будущемъ: «Взгляните на вѣтеръ передъ началомъ бури,—писалъ онъ.—Легко и низко проносится онъ сперва; взметаетъ пылъ и всякую дрянь съ земли; перья, листья, лоскутки летятъ вверхъ и вьются; и скоро весь воздухъ наполняется его своенравнымъ круженіемъ... Легокъ и незначителенъ кажется онъ сначала, но въ этомъ вихрѣ скрываются слезы природы и страшная буря. Таковъ точно и комическій юморъ Гоголя... Но вотъ налетѣли тучи... Сверкнула молнія... Громъ раскатился по небу... Дождь хлынулъ потоками. Земля и небо смѣшались вѣсть... Не такова ли будетъ вторая часть его поэмы, въ которой обѣщавъ онъ намъ *лирическое теченіе, горизонтъ раздающійся и величавый громъ другихъ рѣчей?*» **).

Въ ожиданіи этой бури и этого грома Шевыревъ нѣсколько небрежно взглянулъ на ту «пыль» и на ту «дрянь», которую съ земли подняли слова Гоголя.

*) «Москвитининъ» 1842 г. № 3, статья *Шевырева*. «Взглядъ на современную литературу».

***) «Москвитининъ» 1842 г. № VIII, статья *Шевырева* «Похожденія Чичикова» 369, 370, 372, 356.

Самое цѣнное въ статьѣ Шевырева,—это указаніе на торжество реализма въ нашемъ искусствѣ и на непосредственную связь соименій Гоголя съ тѣмъ, что мы вокругъ насъ видимъ. Если Шевыревъ не достаточно выяснилъ какъ велика была цѣна такихъ жалкихъ типовъ для нашей тогдашней жизни, то онъ все-таки юнгалъ, насколько они жизненны, и ему было ясно, что въ нихъ кроется глубокій смыслъ. «Давно уже поэтическія явленія не производили у насъ движенія столь сильнаго, какое произвели «Мертвыя Души», говорилъ онъ,—и причину этого движенія онъ правильно усматривалъ въ необычайной близости того, что говорилъ художникъ, съ тѣмъ, что насъ окружало. Чичиковъ былъ для него истиннымъ героемъ нашего меркантильнаго прозаическаго времени. «Будьте же благодарны поэту за то, что онъ силою своего могучаго воображенія вывалъ вамъ изъ какого-то отдаленнаго захолустья нашей отчизны такихъ смятень, такихъ странныхъ собратій нашихъ, о существованіи которыхъ слы вы и не знали кой-какія подозрѣнія, то позабыли повсе въ своихъ великодушныхъ суетахъ и заботахъ,—говорилъ критикъ. Повсюду важна жизнь искусства съ жизнью, но особенно важна она у насъ, какъ народа практическаго, не способнаго къ отвлеченностямъ. Только то произведеніе тронетъ у насъ за живое и возбудитъ участіе всѣхъ, въ которомъ существенная основа тѣсно связана съ корнемъ нашей жизни, въ хорошую ли, въ дурную ли ея сторону. Пора уже намъ отъ блестящей жизни внѣшней, которая насъ слишкомъ увлекаетъ, возвратиться къ внутреннему бытію, къ дѣйствительности собственно русской, какъ бы ни казалась она ничтожна и отвратительна намъ, увлекаемымъ незаслуженною гордостью чужого просвѣщенія, и потому кажемъ значительное произведеніе русской словесности, напоминающее намъ тяжелой существенности нашего внутренняго быта, открывающее тѣ холустья, которые лежатъ около насъ, а намъ кажутся за горами потому только, что мы на нихъ не смотримъ, каждое такое произведеніе, заглядывающее вглубь нашей жизни, кромя своего достоинства дожественнаго, можетъ по всѣмъ правамъ имѣть достоинство и благороднаго подвига на пользу отечества. Въ пышномъ вѣкѣ Екатерины онъ близинъ раскрылъ одну изъ глубокихъ ранъ тогдашней Россіи въ мелкомъ быту и воспитаніи. Въ наше время тотъ же подвигъ совершилъ былъ Гоголемъ въ «Ревизорѣ», и совершается теперь въ другой разъ въ «Мертвыхъ Душахъ».

Какъ видимъ, мысли совершенно вѣрныя; и если бы Шевыревъ, вместо того, чтобы въ патріотическомъ восторгѣ предвкушать будущее тратить свои силы на не всегда вѣрное истолкованіе эстетической

стороны творчества Гоголя, развили эту мысль о значеніи словъ Гоголя для нашего самосознанія, то его критическая статья была бы одною изъ лучшихъ.

Большую статью о «Мертвыхъ Душахъ» напечатать въ «Современникѣ» и другой пріятель Гоголя П. А. Плетневъ^{*)}. Статья была умная, но мало оригинальная, такъ какъ она утверждала то, съ чѣмъ почти всѣ болѣе или менѣе серьезные читатели были согласны. На вопросъ о значеніи творчества Гоголя не для искусства, а для жизни, статья Плетнева давала также отвѣтъ не полный. Плетневъ говорилъ, что въ настоящее время Гоголь нашъ первый писатель по таланту, что онъ весь проникнуть жизнью; вышедши изъ своего уединенія мысли на попріице явленій жизни, онъ обязанность созерцателя переменялъ на ощущеніе дѣствующихъ; онъ возвелъ характеръ искусства въ поразительное явленіе самой жизни. Онъ весь проникнуть сферою движущагося около него общества, дѣлать его образъ мыслей, говорить его языкомъ, признаеть за истину всякую, самую ложную его идею—и такимъ образомъ ничто васъ не тревожитъ въ очарованіи созданной имъ дѣйствительности. Отсутствіе усилія, естественное положеніе всѣхъ лицъ и между тѣмъ всеобщая жизнь и постоянное дѣйствіе комической красоты—вотъ что изумляетъ въ авторѣ, повидимому, безпечномъ и все предоставившемъ самой природѣ... Его пронизательный, вѣрный взглядъ возводитъ въ эстетическую сферу такія обстоятельства, изъ которыхъ обыкновенный писатель не извлекъ бы ничего, кромѣ натянутыхъ остротъ и скучныхъ шуточекъ... Мы живемъ въ эпоху—продолжалъ Плетневъ—въ которую отъ каждаго художника критика требуетъ ближайшаго, ясно высказавшагося соотношенія между жизнью и произведеніемъ искусства. Поэма Гоголя можетъ служить образцомъ такого соотношенія. Я могъ бы указать на каждый изъ выведенныхъ имъ характеровъ, какъ они окружаютъ читателя явленіями русской жизни»...

На эти явленія русской жизни критикъ обратилъ однако мало вниманія и смыслъ всей поэмы онъ увидалъ въ «великой идеѣ о жизни человѣка, увлекаемаго жалкими страстями». Основной замыселъ Гоголя сводился, дѣйствительно, къ исторіи возрожденія жалкой души, но вѣдь не въ этой интимной исторіи Чичикова заключался общественный смыслъ гоголевской поэмы. «Въ нашихъ русскихъ разговорахъ, мысляхъ и поступкахъ, говорилъ критикъ далѣе,

^{*)} «Современникъ» XXVII, статья П. А. Плетнева «Чичиковъ или Мертвыя Души Гоголя».

есть особенности національныя, но въ нихъ нѣтъ того, что придавало бы имъ цѣнность общую и приводило бы ихъ въ соприкосновеніе съ интересами другихъ народовъ. Самыя поразительныя мѣста поэмы Гоголя, отъ которыхъ приходишь въ восхищеніе, не выносятъ души на тотъ горизонтъ, откуда она обозрѣваетъ подобныя явленія у иностранныхъ писателей. Во всемъ чувствуешь мелочность и ограниченность. Для иностранца, который не въ состояніи трепетать отъ художественнаго мастерства Гоголя, вся прелесть исчезаетъ за недостаткомъ жизни болѣе цѣнной и болѣе общепонятной. Въ этомъ, конечно, Гоголь не виноватъ. Онъ возвратилъ обществу то, что оно могло ему дать само, да и притомъ у всѣхъ самыхъ великихъ писателей русскихъ степень развитія интересовъ всегда была ниже, нежели у писателей другихъ народовъ». Но Плетневъ такъ довѣрялъ силѣ таланта Гоголя, что просилъ читателя подождать, когда его поэма будетъ закончена. Кто знаетъ, — думалъ онъ, очевидно, хотя и не высказалъ этого, — кто знаетъ, можетъ быть въ послѣдующихъ частяхъ «Мертвыхъ Душъ» и будетъ одержана эта великая побѣда, и русскій юманъ будетъ полонъ «общественнаго интереса» для читателя западнаго?

Въ этой тайной мысли Плетневъ сошелся съ открытымъ пророчествомъ Шевырева, но разошелся совершенно съ другимъ, въ то время чуть ли не самымъ авторитетнымъ критикомъ—съ Вѣлинскимъ.

Отъ Вѣлинскаго мы могли бы ожидать наиболѣе вѣскаго и исчерпывающаго слова о новомъ произведеніи Гоголя. Вѣлинскій былъ первымъ и самымъ смѣлымъ защитникомъ нашего писателя, когда этотъ писатель только начиналъ свою дѣятельность. Если кто помогъ читателю понять автора «Миргорода» и «Ревизора», то это былъ критикъ Гелескопа» и «Молвы», и затѣмъ «Отечественныхъ Записокъ». Ему одному принадлежалъ рѣшающій голосъ и теперь, когда Гоголь сказалъ свое самое задушенное и серьезное слово.

Вѣлинскій откликнулся, но далеко не такъ, какъ этого могъ ожидать отъ него читатель. Поразила ли Вѣлинскаго глубина затронутыхъ вопросовъ настолько, что онъ не сразу собралъ всѣ свои силы или по цензурнымъ условіямъ онъ не могъ эти мысли воплотить и выразить—только свое сужденіе о Гоголѣ, какъ объ авторѣ «Мертвыхъ Душъ», Вѣлинскій отерочилъ. Въ мелкихъ статьяхъ и рецензахъ, въ которыхъ ему приходилось говорить о Гоголѣ, онъ давалъ бланше, что въ ближайшемъ будущемъ онъ подробно, въ цѣломъ цѣлѣ статей, изложитъ свое сужденіе о всѣхъ сочиненіяхъ Гоголя по порядку. Своего обѣщанія Вѣлинскій однако не исполнилъ и мнѣній

своихъ о Гоголѣ: не свелъ воедино. Они остались разсыянными въ разныхъ его статьяхъ, преимущественно въ его «Обзорахъ» и уже послѣ его смерти были сгруппированы Чернышевскимъ въ «Очеркахъ гоголевскаго періода русской литературы (1855—1856 г.)». По всѣмъ вѣроятіямъ Бѣлинскому помѣшалъ окончательнo высказаться самъ Гоголь, который обѣщалъ продолженіе «Мертвыхъ Душъ» и взамѣтъ ихъ неожиданно издалъ свои «Избранныя мѣста изъ переписки съ друзьями».

Но при всей ихъ неполнотѣ и случайности, сужденія Бѣлинскаго, высказанныя имъ тотчасъ послѣ выхода въ свѣтъ «Мертвыхъ Душъ» — очень яркое свидѣтельство о силѣ впечатлѣнія, произведеннаго этой картиной на одного изъ умнѣйшихъ и самыхъ чуткихъ читателей.

Въ первой своей краткой замѣткѣ о поэмѣ Гоголя *) Бѣлинскій прежде всего радуется успѣху Гоголя и торжествуетъ свою побѣду. Онъ первый предсказалъ блестящее развитіе этого таланта, который въ послѣднемъ своемъ произведеніи посрамилъ всѣхъ своихъ хулителей. Теперь, послѣ появленія «Мертвыхъ Душъ», много найдется литературныхъ Колумбовъ, которымъ легко будетъ открыть новый великій талантъ, новаго великаго писателя русскаго — Гоголя...

«Мертвыя Души» — твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервною, кровною любовью къ плодovитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта и въ то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое.

Бѣлинскій былъ въ такомъ восторгѣ отъ «Мертвыхъ Душъ», что съ одинаковой похвалою отнесся и къ способности автора объективно изображать дѣйствительность, и къ его собственной «субъективности», т. е. ко всѣмъ романтическимъ порывамъ его души. Онъ приписывалъ художника, у котораго такое горячее сердце, такая симпатичная душа и «духовно-личная самобытность». «Она заставляеть его проводить черезъ свою душу живую явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живую». «Мертвыя Души», — говорилъ критикъ, не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда не виданное произведеніе. «Мертвыя Души» требуютъ изученія».

Какъ рѣдко при первомъ чтеніи человекъ можетъ себѣ составить

*) «Отечественныя Записки» 1842 г., XXIII, № 7.

гѣрное понятіе о великомъ произведеніи, это доказалъ самъ Бѣлинскій въ своемъ отзывѣ. «Мы не видимъ въ поэмѣ Гоголя ничего шуточного и сифшного,—писалъ онъ;—ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія сифшнить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ общается еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на «Мертвыя Души» и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру...» и Бѣлинскій выписываетъ въ своей рецензій вѣ знаменитыя «лирическія» мѣста поэмы, не исключая и ультра-патріотической картины несущейся во весь духъ тройки. «Грустно думать,—заканчиваетъ онъ свою выписку,—что этотъ высокій лирическій паосъ, эти гремящіе, поющіе дионрамбы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія (?), достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для вѣхъ доступны, что добродушное невѣжество отъ души станетъ хохотать отъ того, отчего у другого волосы встанутъ на головѣ при священномъ трепетѣ...» Какъ бы въ смягченіе этихъ восторженныхъ словъ, а на самомъ дѣлѣ въ полное противорѣчіе съ ними (объяснимое только неопредѣленностью перваго сильнаго впечатлѣнія), Бѣлинскій въ той же рецензій упрекнулъ Гоголя въ излишествѣ: «непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувствна, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося», которое сказало на нѣкоторыхъ, къ несчастью рѣзкихъ, мѣстахъ, «гдѣ авторъ слишкомъ легко судить о національности чужихъ племенъ и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними».

Таковы были первыя слова, какими Бѣлинскій встрѣтилъ «Мертвыя Души». Все, что въ нихъ было сказано о художественныхъ пріемахъ Гоголя, объ историческомъ и общественномъ значеніи его вымысла, критикъ повторилъ затѣмъ неоднократно въ своихъ статьяхъ, такъ же кратко, сжато и безъ подробнаго развитія своей мысли, которую онъ надѣялся обставить доказательствами въ задуманной имъ, но не написанной, большой статьѣ о Гоголѣ. Что же касается взглядовъ на «субъективность» Гоголя, на его лирическій паосъ и на «гремящіе дионрамбы», то Бѣлинскій очень скоро взялъ вѣ свои слова назадъ, и несма рѣшительно. На измѣненіе образа его мыслей повлияло отчасти болѣе спокойное отношеніе къ произведенію, которое его сразу такъ плѣнило, отчасти выходъ въ свѣтъ одной славянофильской брошюры, до небесъ восхвалявшей Гоголя.

Эта брошюра *) принадлежала перу К. С. Аксакова, великаго и страстнаго поклонника Гоголя. У Бѣлинскаго и его стараго друга, съ которымъ онъ въ это время уже разошелся, завязалась по поводу этой статейки длинная и рѣзкая полемика, — главнымъ образомъ потому, что Бѣлинскій въ своемъ спорѣ съ К. Аксаковымъ вѣдѣлъ въ виду не столько Гоголя, сколько московскихъ славянофиловъ, на которыхъ начиналъ тогда сердиться.

Аксаковъ пришелъ отъ поэмы Гоголя въ неописанный восторгъ. «Явленіе ея такъ важно, — говоритъ онъ, — такъ глубоко и вѣдѣтъ такъ ново-неожиданно, что она не можетъ быть доступною съ перваго раза». Самъ онъ однако, взялся судить о ней подъ первымъ чарующимъ впечатлѣніемъ. Онъ увидалъ въ «Мертвыхъ Душахъ» новое откровеніе искусства, оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сферы давно унижаемой: ему показалось, что въ «Мертвыхъ Душахъ» передъ нами возсталъ древній эпосъ. Гоголь напомнилъ ему Гомера, а его поэма — Илиаду.

«Созерцаніе Гоголя, говорилъ Аксаковъ, древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; изъ-подъ его творческой руки возстаетъ, наконецъ, древній, истинный эпосъ, надолго останявшаіи мѣръ, эпосъ самобытный, полный вѣчно свѣжей, спокойной жизни, безъ всякаго излишества. Чудное, чудное явленіе!»

Исчезновеніе этого эпоса, продолжалъ Аксаковъ очень чувствовалось въ европейской литературѣ. Въмѣсто возвышенныхъ эпическихъ сюжетовъ уже издавна выдвигались происшествія мелкія и мелющія съ каждымъ шагомъ, и, наконецъ весь интересъ устремился на анекдотъ, который становился хитрѣе, замысловатѣе, занималъ любопытство, замѣнившае эстетическое наслажденіе, изъ эпосъ снизошелъ до романовъ и, наконецъ, до крайней степени своего униженія — до французской повѣсти. Гоголь актомъ своего творчества показалъ намъ, что это сокровище искусства старинный эпосъ — не погибъ безвозвратно. Онъ явился теперь передъ нами съ новымъ содержаніемъ, съ содержаніемъ русскимъ. Какой же мѣръ объемлетъ собою поэма Гоголя? Хотя это только первая часть, — отвѣчалъ Аксаковъ, — хотя это еще начало рѣзки, дальнѣйшее теченіе которой Богъ знаетъ куда приведетъ насъ и какія явленія представить, но мы, по крайней мѣрѣ, можемъ имѣть даже право думать, что въ этой поэмі обхвывается широко Русь; и уже не тайна ли русской жизни лежитъ, заключенная въ ней? не выговорится ли она здѣсь художественно? И Аксаковъ вѣрилъ, что она выговорится, и залогомъ этого считалъ

*) К. Аксаковъ. «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя Похожденія Чичикова или «Мертвыя Души». Москва. 1842.

все ту же картину несущейся тройки, рисуя которую Гоголь коснулся общаго «субстанціального чувства русскаго, и вся сущность (субстанція) русскаго народа, тронутая имъ, поднялась колоссально, сохраняя свою связь съ образомъ, ее возбудившимъ». — «Здѣсь, восклицалъ Аксаковъ, — проникаетъ наружу и видится Русь, лежащая, думаемъ мы, тайнымъ содержаніемъ всей поэмы Гоголя».

А Гоголь вполне можетъ оправдать такую смѣлую надежду. «Въ самомъ дѣлѣ, — спрашивалъ Аксаковъ, — у кого встрѣтимъ мы такую полноту, такую конкретность созданія? У немногихъ; только у Гомера и Шекспира встрѣчаемъ мы то же; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этою тайной искусства. Гоголь не сдѣлалъ того гонимъ (кто знаетъ, что будетъ впередъ?), что сдѣлали Гомеръ и Шекспиръ, и потому, въ отношеніи къ объему творческой дѣятельности, къ содержанію ея, мы не говоримъ, что Гоголь то же самое, что Гомеръ и Шекспиръ; но въ отношеніи къ *акту творчества*, въ отношеніи къ полнотѣ созданія — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ. Мы далеки отъ того, чтобы низкати колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія ни ниже Гоголя»...

Статья Аксакова, какъ видимъ, имѣла одно безспорное достоинство: она была до дерзости оригинальна; все остальное въ ней было сомнительнаго достоинства. Языкъ былъ тяжелый, напоминавшій трудныя страницы нѣмецкихъ эстетикъ, основная мысль была невѣрна, такъ какъ по «акту творчества» эпически спокойный разсказъ Гомера едва ли отъ быть сравниваемъ съ разсказомъ Гоголя, мѣстами возвышенно прическимъ и насквозь пропитаннымъ ироніей, которая въ древнемъ поэтѣ совершенно отсутствовала. Наконецъ, возведеніе Гоголя въ Гомеры и Шекспиры со старшинствомъ передъ всеми другими писателями міра отъ было оправдано только лишь патріотизмомъ Аксакова, патріотизмомъ почти слѣпымъ, который не желалъ замѣчать чужого богатства *).

Статья произвела сенсацію и скорѣе навредила Гоголю, чѣмъ принесла ему: она дала обильную пищу для шутокъ: недоброжелатели могли лишній разъ прокричать о томъ, какъ друзья хвалятъ своего кумира, какъ они искусственно муσειруютъ его славу. не только недоброжелатели, но даже и расположенныя къ Гоголю

*) Основная мысль статьи легко могла быть подсказана Аксакову самимъ гоголемъ, который, если и не производилъ себя въ Гомеры, то мечталъ о «поэте», въ которой вся русская жизнь должна была найти свое отраженіе.

лица должны были быть неприятно поражены этим славословіемъ. «Описанія въ поэмѣ Гоголя живы, комическія черты мастерски схвачены, характеры обрисованы чрезвычайно удачно,—писалъ о «Мертвыхъ Душахъ» критикъ «Сына Отечества». Гоголь—талантъ необыкновенный, но его захвалили, и онъ, упоенный похвалами, теперь не видитъ уже своихъ недостатковъ. Онъ переходитъ границу вкуса, краски его бываютъ грязны, слогъ небреженъ, онъ слишкомъ много говоритъ о себѣ и своей поэмѣ», но какъ же ему и не говорить, если его провозглашаютъ Гомеромъ? «А вѣдь всѣ послѣдователи покойнаго, туманной памяти нѣмецкаго философа Гегеля, всѣ «гегелисты» непременно и «гоголисты» *)).

Статья Аксакова очень разсердила и Бѣлинскаго, который посвятилъ ей нѣсколько страницъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» **). Не называя автора по имени, Бѣлинскій наговорилъ ему колкостей, впрочемъ, на первый разъ довольно безобидныхъ. Онъ проницательно отнесся къ сближенію Гоголя и Гомера, нѣсколько преувеличивъ это сопоставленіе сравнительно съ тѣмъ, какъ оно было высказано у Аксакова. А главное—полемизируя не столько съ истолкователемъ Гоголя, сколько съ московскимъ патриотомъ, онъ заступился—и совершенно правильно—за честь униженныхъ западныхъ гениевъ. «Мѣриломъ при сравненіи одного поэта съ другимъ должно быть содержаніе,—писалъ Бѣлинскій.—Только содержаніе дѣлаетъ поэта мировымъ—высшая точка, зенитъ поэтической славы. Мировой поэтъ не можетъ не быть великимъ поэтомъ; но великій поэтъ еще можетъ и не быть мировымъ поэтомъ. Гдѣ, укажите намъ, гдѣ вѣсть, въ созданіяхъ Гоголя, этотъ всемірно-историческій духъ, это равно общее для всѣхъ народовъ и вѣковъ содержаніе? Скажите намъ, что бы случилось съ любымъ созданіемъ Гоголя, еслибъ оно было переведено на французскій, нѣмецкій или англійскій языкъ? Гдѣ же права Гоголя стоятъ на ряду съ Гомеромъ и Шекспиромъ? Знаете ли, что мы сказали бы на ухо всѣмъ умозрителямъ: когда развернешь Гомера, Шекспира, Байрона, Гете, или Шиллера, такъ дѣлается какъ-то неловко при воспоминаніи о нашихъ Гомерахъ, Шекспирахъ, Байронахъ, и проч... И однакожъ мы сами считаемъ Гоголя великимъ поэтомъ, а его «Мертвая Душа»—великимъ произведеніемъ. Но Гоголь—великій русскій поэтъ, не болѣе; «Мертвая Душа» его—тоже только для Россіи и въ Россіи могутъ имѣть безконечно великое значеніе.

«Было время, когда на Руси никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ рус-

*) «Сынъ Отечества» 1842. III, № 6, стр. 1—30, статья К. Масальскаго.

***) «Отечественныя Записки», 1842, XXIII, № 8.

кій умъ, русскій языкъ могли на-чтонибудь годиться: теперь настало другое время, когда намъ уже ни почемъ и Гомеры, и Шекспиры и Байроны, потому что мы успѣли уже позавестись своими—ли чужихъ становимъ въ шеренги, словно солдатъ, заставляемъ ихъ аршировать и справа, и слѣва, и взадъ, и впередъ, благо бѣдняжки очатъ и повинуются нашему гусиному перу и тряпичной бумагѣ...

«Юность не хочетъ и знать этого. Чуть взбредеть ей въ голову какая-нибудь недоконченная мечта—тотчасъ ее на бумагу, съ тѣмъ живнымъ убѣжденіемъ, что эта мечта—аксіома, что міру открыта великая истина, которой не хотять признать только невѣжды и завистлики».

Аксаковъ обидѣлся этими словами и отвѣчалъ Бѣлинскому въ «Москвитянинѣ» *). Ничего новаго не сказалъ онъ въ этомъ отвѣтѣ, вторилъ всѣ свои положенія, упрекнулъ Бѣлинскаго въ умышленнѣ искаженіи его словъ и мимоходомъ сказалъ ему также нѣсколько жесткихъ. Бѣлинскій въ долгу не остался и на вторую статью Аксакова отвѣтилъ довольно длинной филиппикой **). И въ этой яркой своей статьѣ: онъ также имѣлъ въ виду не столько Гоголя, сколько Аксакова и его разбушеваншійся патріотизмъ.

(Оставляя въ сторонѣ: этотъ споръ западника и славянофила,—споръ, который не стоитъ въ прямой связи съ интересующимъ насъ вопросомъ, отиѣтитъ ли важныя поправки, которыя Бѣлинскій внесъ въ свою книгу творчества Гоголя. Онѣ касаются его взгляда на дальнѣйшую судьбу поэмы и на тотъ патріотическій пафосъ, который критику чала такъ понравился. Бѣлинскій имѣлъ теперь время освободиться перваго чарующаго впечатлѣнія и задуматься надъ очень серьезнѣмъ вопросомъ: а не повредитъ ли этотъ патріотическій пафосъ правому изображенію русской жизни? и не осилитъ ли въ Гоголѣ романъ-патріотъ художника-бытописателя?)

«Кто знаетъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ?» спрашиваетъ въ своей статьѣ Аксаковъ. Именно такъ: «кто знаетъ это?» повторяетъ и мы, —отвѣчалъ Бѣлинскій. —Глубоко уважая великій талантъ мя, страстно любя его гениальныя созданія, мы въ то же время чужды и ругаемся только за то, что уже написано имъ; а насчетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только: кто знаетъ? Но, слишкомъ много обѣщано (Гоголемъ въ лирическихъ страницахъ,

*) «Москвитянинъ», 1842. V, № 9, стр. 220—229.

**) «Отечественныя Записки», 1842, XXI, № 11, статья Бѣлинскаго «Объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души».

которыя онъ вставилъ въ свою поэму), обѣщано такъ много, что всегда и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ; намъ какъ-то страшно, чтобъ первая часть, въ которой все комическое, не осталась истинною трагедіею, а остальные двѣ, гдѣ должны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими, по крайней мѣрѣ, въ патетическихъ мѣстахъ... Намъ обѣщаютъ мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мѣрѣ и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди (т.-е. западные европейцы) окажутся пустѣйшими людьми... Но мы именно въ томъ-то и видимъ великость и геніальность Гоголя, что онъ своимъ артистическимъ инстинктомъ вѣрнѣ дѣйствительности, и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ, великою задачею—объектировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугѣ то, до чего никому, кромя художниковъ и диллетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такою, какой она никогда не бывала...»

Великая правда заключалась въ этихъ словахъ Бѣлинскаго: онъ предугадалъ всю душевную трагедію Гоголя. Со свойственной ему зоркостью критическаго взгляда, онъ предвидѣлъ то время, когда страсть къ обобщенію житейскихъ явленій заглушитъ въ Гоголѣ его умѣнье рисовать эти явленія безъ прикрасть, когда желаніе философствовать о жизни затуманитъ ясность взгляда художника и потому понизитъ общественную стоимость его произведеній. И Бѣлинскій рѣшился предупредить Гоголя о грозившей ему опасности. «Главная сила Гоголя,—писалъ онъ,—заключается въ непосредственномъ творчествѣ, но эта сила, въ свою очередь, много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, отводитъ ему глаза отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Надо желать, чтобы преобладаніе рефлексіи постепенно усиливалось въ немъ, хотя бы насчетъ акта творчества.»

Слова Бѣлинскаго какъ будто противорѣчатъ тому, что онъ сейчасъ говорилъ о паосѣ поэта, но это противорѣчіе кажущееся. Бѣлинскій выражалъ лишь пожеланіе, чтобы Гоголь, не отступая отъ правды русской жизни, отнесся бы къ этой дѣйствительности съ большей «рефлексіею» т.-е. болѣе критически, съ меньшей непосредственностью, съ болѣе сознательнымъ обличеніемъ. Понимая и чувствуя, что Гоголь вовсе не боевая натура, что онъ романтикъ, который мечту и желаемое способенъ всегда принять за дѣйствительное и настоящее, Бѣлинскій съ тревогою думалъ о томъ, что скажетъ теперь, послѣ первой части «Мерт-

ль Душъ», его любимый писатель; и Бѣлинскій въ заключеніе своей статьи обратился къ русской критикѣ съ воззваніемъ, чтобы она погла художнику выполнить его трудную задачу. «Истинная критика Мертвыхъ Душъ» — говорилъ онъ — должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о тройкѣ, — бтъ, истинная критика должна раскрыть пагосъ поэмы, который со- вить съ противорѣчіи общественныхъ формъ русской жизни съ ея убогими субстанціальными началами, доселѣ еще таинственнымъ, селѣ еще не открывшимся собственному сознанію и неуловимымъ ни я какого опредѣленія», т. е. истинная критика должна показать, какъ совпадаютъ факты русской реальной жизни съ тѣми надеждами, торыя дозволительно питать, когда думаешь о многихъ хорошихъ оронахъ русскаго ума и сердца.

Въ длинномъ рядѣ статей Бѣлинскій хотѣлъ нахъ дать образецъ кой истинной критики, — и ограничился только намекомъ. Но этотъ лекъ среди всего, что тогда говорилось о Гоголѣ, былъ, пожалуй, кой цѣнной мыслью.

Къ числу лучшихъ статей, писанныхъ по поводу «Мертвыхъ Душъ», жна быть отнесена и статья Н. М. «Голосъ изъ провинціи о поэмѣ голя «Похожденія Чичикова или Мертвыя Души», напечатанная въ гь же «Отечественныхъ Запискахъ» *). Статья выдѣлялась серьез- тью своего взгляда одновременно и на художественную, и обще- енную стоимость поэмы. Авторъ обнаруживалъ большую начитанность онкій эстетическій вкусъ. Ссылками на мысли объ эстетикѣ Платона, истотеля, Тассо, Горація, Цицерона, Квинтиліана, Лонгина, Лабрюэра, ля, Шиллера, Жанъ-Поля, вплоть до Виктора Гюго пытался кри- ть обосновать свое сужденіе о красотѣ и жизненности творчества оля. Онъ разбираалъ поэму Гоголя въ отношеніи къ ея содержанію, жѣ и идеѣ, указывалъ на гармоническое сочетаніе въ «Мертвыхъ шяхъ» всѣхъ этихъ трехъ сторонъ всякаго художественнаго произ- нія и выносилъ полное оправданіе нашему писателю, какъ худож- у, «произведеніе котораго не есть только вѣрная картина жизни, пиронанная въ камеру-обскуру, а представленіе жизни, какъ идеи возможности, настолько, сколько поэтъ проникнуть ею, какъ идеей дѣйствительности».

Если такія философскія тонкости, въ которыя авторъ охотно въ ей статьѣ пускался, и были мало убѣдительны для большинства ателей, то нныя, не столь общія мысли, высказанныя въ той же

*) «Отечественныя Записки» 1843 г. Т. XXVII. Отд. V, стр. 27—28.

статьи, были всемъ доступны, и читатель могъ не безъ пользы ознакомиться съ ними. Это были тѣ страницы, на которыхъ критикъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ о художественномъ выполненіи поэмы, говорилъ объ ея значеніи для русской жизни. Онъ констатировалъ прежде всего, что въ далекой провинціи поэма Гоголя въ лучшемъ кругу читателей принята съ самымъ искреннимъ участіемъ. Какъ она поята однимъ изъ лучшихъ читателей—это должна была показать сама статья.

«Поэзія—зеркало, отражающее жизнь, повторяя критикъ вслѣдъ за Платономъ и Жанъ-Полемъ, и твореніе Гоголя, которое всесторонне касается русской жизни требуетъ взаимнаго повсѣдственнаго къ себѣ участія. Гоголь оправдалъ слова Виктора Гюго, который говорилъ, что всякій истинный поэтъ, независимо отъ идей, имѣющихъ источникомъ собственную организацію, и идей, сообщаемыхъ ему вѣчной истиной, долженъ сомѣщать въ себѣ сумму идей своего времени». «Точно ли сфера содержанія поэмы Гоголя есть современная наша дѣятельность, прозрачно отраженная свѣтлымъ зеркаломъ поэзіи? спрашивалъ критикъ и очень умѣло отвѣчалъ на этотъ вопросъ утвердительно, доказывая, что всѣ разговоры и крики непонимающихъ людей, нежелающихъ видѣть въ словахъ Гоголя правды, считающихъ его карикатуристомъ, что всѣ эти хулы на бытописателя вытекаютъ изъ неспособности нашей замѣчать то, что стоитъ къ намъ слишкомъ близко, что *мы сами*. Критикъ смѣло указывалъ, какъ много среди насъ—Маниловыхъ, Собакеничей, Поддубныхъ, Чичиковыхъ и Хлестаковыхъ: «Винить ли Гоголя за такую правду? говорить ли о недостаткѣ въ его душѣ патриотизма?—душѣ, которая излилась въ такихъ восторженныхъ ибненіяхъ во славу грядущей доблести и силы Россіи? Если правда то, что Гоголь искалъ въ лирическихъ отступленіяхъ своей поэмы, если, дѣйствительно, другимъ народамъ и государетнамъ суждено посторониться и дать Россіи дорогу, то такая будущность возможна лишь при одномъ условіи—при полномъ сознаніи своей грѣхонности». Авторъ заключалъ свою статью такими словами: «Все начинается съ сознанія и пока нѣтъ сознанія, не можетъ быть и помину о возможности. Сознаніе—это свѣтлая заря, пророчествующая лучезарный востокъ дѣйствительнаго исполненія... Въ этомъ отношеніи національное значеніе поэмы Гоголя столь велико, что если оно можетъ скользнуть безпривѣтно по душѣ кого-нибудь изъ русскихъ, въ патриотизмѣ того, несмотря на всѣ патриотическіе возгласы въ нужныхъ случаяхъ, смѣло усомниться можно... Мѣтъ, сердце сердцу вѣсть даетъ, по выраженію одного изъ старшихъ нашихъ поэтовъ... И вси Русь православная, вопреки крикамъ нѣкоторыхъ крити-

ь, давнымъ давно уже усвоила себѣ этотъ драгоценнѣйшій податъ ей одного изъ сыновъ ея, пламенѣющаго къ ней, общей нашей ери, чистою, а не лицемерною, не безотчетною, а разумною любовью». гь восторженный патріотъ, какъ видится, былъ менѣе дальновзорокъ ь Бѣлинскій.

Таковы въ общихъ чертахъ тѣ хулы и восторги, замѣтки и сужде- какими были встрѣчены «Мертвыя Души». И отрицательные оты и хвалебные говорятъ ясно объ успѣхѣ, какой имѣло это про- дение въ обществѣ, и каждый серьезный читатель предчувствовать, ь велико должно быть значеніе этого памятника для русской ии.

Во время Пушкина ни одинъ авторъ не заставлялъ гово- о себѣ такъ много, какъ Гоголь, и ни одинъ не возбуж- , такихъ серьезныхъ споровъ. И, дѣйствительно, никто кромя, и не заслуживалъ ихъ. Гоголь не только рисовалъ картины, рыя могли нравиться или не нравиться, онъ тишичностью сво- образовъ наводилъ читателя на мысли о такихъ вопросахъ, въ жденіи которыхъ единодушіе, конечно, не могло быть достигнуто. ной сущности русской природы, объ ея идеалахъ, ея грѣхахъ, ея силѣ вности нужно было говорить, когда разговоръ заходилъ о поэзіи ии, и нельзя было надѣяться, что при этомъ разговорѣ не будутъ ты не только симпатіи и антипатіи, но настоящіи страсти. Эти сти и обнаружались, но только онѣ не нашли себѣ пока еще яснаго редѣленнаго выраженія въ печатномъ словѣ. Впрочемъ, могло ли ть иначе? Чисто внѣшнія стѣсненія очень тормозили это печатное), и нѣтъ сомнѣнія, что не будь ихъ, критика, напр., «Отечествен- ь Записокъ» могла бы формулировать свои сужденія болѣе опре- нно и точно. Но не въ этихъ стѣсненіяхъ надо искать главную ину той недосказанности, той неполноты въ оцѣнкѣ «Мертвыхъ ь», какая замѣтна во всѣхъ критическихъ отзывахъ. Слишкомъ ѣ характеръ этихъ отзывовъ объясняется трудностью самой задачи, иая выпала на долю судей. Литература не приучала ихъ критикѣ окружающей дѣйствительности, и въ дѣлѣ разви- нашего историческаго и общественнаго самосознанія романти- я литература тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ сдѣлала чрез- ѣнно мало. Она почти не давала критику повода углубляться въ ыпросы, которые и для словесности и для ея судей должны были ыть самыми дорогими и цѣнными, т.-е. въ вопросы не частнаго, цемароднаго значенія.

Дѣйствительно, если вспомнить, какъ бѣдна была литература николаевскаго царствованія именно такими мыслями, типами, характерами, описаніями, драматическими положеніями, въ которыхъ художникъ становился истолкователемъ дѣлаго историческаго момента, переживаемаго его родиною,—то недомолвки критики о твореніяхъ такого писателя, какъ Гоголь—вполнѣ понятны.

Пусть этотъ писатель былъ консерваторъ по своимъ политическимъ убѣжденіямъ но онъ былъ строгій моралистъ въ своихъ общественныхъ взглядахъ. Онъ не только описывалъ грѣхъ и зло, которое попадалось ему на глаза, онъ разыскивалъ ихъ въ разныхъ слояхъ общества, и потому углублялся въ жизнь. Талантъ помогъ ему создать такую картину, глядя на которую каждый серьезный человекъ принужденъ былъ мыслить, и отъ ощущенія прекраснаго, отъ размышленія о нравственной проблемѣ долженъ былъ перейти незамѣтно для самого себя къ раздумью надъ широкими вопросами общественными, которые затѣмъ могли увлечь его и дальше.

Личность художника и его рѣчи были явленіемъ, дѣйствительно, необычнымъ.

XIX.

изя личности Гоголя.—Краткій обзоръ исторіи его творчества.—Общественное и
равнодушное значеніе этого творчества: обличеніе и состраданіе.—Воспитательное
значеніе совѣстливаго отношенія автора къ самому себѣ.

Личность была оригинальная и сильная. Правда, Гоголь не за-
нималъ въ обществѣ такого положенія, которое ставило бы его
особенно на виду, и потому кругъ вліянія его, какъ личности,
былъ довольно ограниченъ, тѣмъ болѣе, что долгіе годы онъ про-
велъ внѣ предѣловъ Россіи. Но всё, кого судьба съ нимъ сводила,
могли не испытать на себѣ такъ или иначе вліянія той очень свое-
образной духовной силы, какою былъ одаренъ этотъ человѣкъ. Иныхъ
она покоряла, другихъ отталкивала, но она была все-таки сила, кото-
рая, наконецъ, сломила в самого ея носителя. Заключалась она не
въ литературномъ только талантѣ, огромномъ и всѣми признанномъ,
но въ самомъ, если такъ можно выразиться, строеніи духа писателя.
Изъ многихъ оно производило менпріятное впечатлѣніе.

«Я не знаю ни одного человѣка, который бы любилъ Гоголя, какъ
другъ, независимо отъ его таланта, — писалъ С. Т. Аксаковъ своему
сыну Ивану *)».—Надо мною смѣялись, когда я говаривалъ, что для
меня не существуетъ личности Гоголя, что я благоговѣнно и съ лю-
бовью смотрю на тотъ драгоценный сосудъ, въ которомъ заключенъ
великій даръ творчества, хотя форма этого сосуда мнѣ совсѣмъ не
нравится». И Аксаковъ, знавшій близко нашего писателя, неодно-
кратно говорилъ, что въ Гоголѣ было что-то отталкивающее, хотя
и стремился смягчить свой отзывъ указаніемъ на странность всей
душевной организаціи своего друга.

Это признаніе расположеннаго къ Гоголю человѣка можетъ быть

*) «Н. С. Аксаковъ въ его письмахъ». Москва. 1868, I, 424.

дополнено словами другихъ лицъ, какъ, напр., Никитенки, Павлова, также отиѣчавшихъ непріятное впечатлѣніе, какое они выносили, встрѣчаясь съ Гоголемъ не на бумагѣ. Конечно, считаясь съ такими отзывами, должно помнить, что было много лицъ, какъ, напр., Жуковский, Языковъ, Смирнова, для которыхъ, наоборотъ, Гоголь былъ именно другомъ сердца.

Какъ бы то ни было, но нужно признать, что эта своеобразная личность, дѣйствительно, могла и должна была многимъ не нравиться. И не въ отдѣльныхъ чертахъ характера Гоголя крылась причина этому, а въ ихъ сочетаніи. Гоголя нерѣдко упрекали въ лукавствѣ и хитрости, въ томъ, что онъ утаиваетъ свою мысль или умышленно искажаетъ ее, его упрекали въ томъ, что онъ всегда себя на умѣ, насторожѣ; во вторую половину своей жизни онъ въ особенности могъ сердить своимъ сачомиѣніемъ, проповѣдническимъ тономъ, самозваннымъ учительствомъ—и всѣ эти непріятныя черты характера, какъ намъ кажется, были неизбежны, такъ какъ Гоголь былъ натура очень властная и принадлежалъ, безспорно, къ семьѣ пророковъ, которые на ряду съ откровеннымъ словомъ позволяютъ себѣ и многосказаніе, и умолчаніе, и горделивую небрежность въ обращеніи съ ближними. Пророчилъ ли Гоголь истинное или неистинное — объ этомъ можно спорить, но онъ создавалъ себя пророкомъ, исцѣлителемъ душъ. человекомъ, посланнымъ на землю Богомъ; онъ не бралъ на себя умышленно никакой роли, не позировалъ, когда думалъ и говорилъ о своей миссіи, и только въ виду искренней вѣры въ самого себя онъ и пострадалъ такъ жестоко, когда увидалъ, что Богъ наполнилъ его душу восторгомъ, а слова, для выраженія этого восторга, ему не далъ.

Гоголя иногда сравниваютъ съ Руссо: такъ сравнивалъ его Вяземскій *) и затѣлъ Чернышевскій **), и это—довольно мѣткое сравненіе. И Руссо, и Гоголь были по природѣ своей—искатели Божьей правды на землѣ, обличители существующаго нравственнаго уклада жизни,—люди, давшіе себѣ особыя полномочія, люди властные и во многомъ нетерпимые, скрытные въ вопросахъ мелкихъ и житейскихъ и необычайно смѣлые въ рѣшеніи вопросовъ самыхъ годоволомныхъ и сложныхъ. Оба они были сентименталисты и моралисты чистѣйшей крови; оба съ очень нервнымъ и восторженнымъ темпераментомъ, но только Руссо

*) «Полное собраніе сочиненій» II, 332.

***) (Н. Г. Чернышевскій) «Замѣтки о современной литературѣ, 1856—1862 гг.». Спб. 1894, 11.

былъ плохой художникъ и апостолъ революціи; Гоголь — художникъ первоклассный и апостолъ консерватизма. Руссо былъ силенъ и великъ провозвѣдью политико-общественныхъ началъ, которымъ принадлежало будущее, Гоголь также вложилъ весь смыслъ своей жизни въ такую проповѣдь, но она осталась безъ отвѣта, и, вопреки собственному желанію, онъ былъ повѣтъ в оцѣненъ не какъ моралистъ и учитель личной и гражданской морали, а именно какъ художникъ.

Отдавая все должное искренности Гоголя, какъ учителя жизни, придется при окончательномъ судѣ надъ его дѣятельностью, все-таки остановиться исключительно на оцѣнкѣ его литературныхъ заслугъ, такъ какъ этими художественными трудами онъ и оказалъ наибольшее нравственное воздѣйствіе на ближняго, который остался глухъ къ его предписаніямъ личнаго религиозно-нравственнаго самоусовершенствованія и къ его рецептамъ общественной и государственной мудрости.

Припомнимъ же главнѣйшіе моменты въ исторіи развитія его художественной творческой работы.

Онъ выступилъ со своими первыми повѣстями, когда сентиментальное и романтическое направленіе въ литературѣ были еще въ цвѣту, ю когда ощущался уже недостатокъ въ произведеніяхъ, которыя бы трогали не только правду души самого художника, но и правду окружавшей его жизни. Читатель требовалъ народнаго и современнаго, и училе художники тѣхъ годовъ на это требованіе откланялись лишь зрѣдка. Гоголь былъ призванъ удовлетворить ему, но и онъ на первыхъ порахъ пошелъ старою дорогою. Прежде чѣмъ стать наблюдателемъ и истолкователемъ дѣйствительности, онъ — по своей психической организаціи самый чистокровный романтикъ — далъ въ своихъ первыхъ повѣстяхъ лучшіе образцы стараго литературнаго стиля: сентиментальная идиллія съ отбѣнкомъ народности, фантастическая или историческая сказка ни у кого не получала такой литературной и художественной отдѣлки, какъ у него въ его «Вечерахъ на Хуторѣ»; никто изъ его современниковъ не сумѣлъ такъ тонко и правдоподобно анализировать душу романтика, страдающаго отъ разлада мечты и дѣятельности, романтика, влюбленнаго въ красоту, художника, отдавшаго во власть всевозможныхъ искушеній, какъ сдѣлалъ это Гоголь въ своемъ «Невскомъ Проспектѣ», въ «Запискахъ сумасшедшаго», въ «Портретѣ» и во всѣхъ статьяхъ и стихотвореніяхъ въ прозѣ, посвященныхъ вопросу объ искусствѣ, его исторической миссіи и его слугѣхъ. Кто умѣлъ такъ проникаться старинной, улавливать ея романтическую красоту, превращать рассказъ о ней въ величественную симфонию съ удивительнымъ колоритомъ и пафосомъ, какъ не онъ, авторъ

лекцій, сбивавшихся на лирическія пѣсни, и «Тараса Бульбы» — этой рыцарской баллады?

Романтическій литературный стиль нашелъ себѣ въ Гоголѣ лучшаго выразителя, въ созданіяхъ котораго этотъ романтизмъ и сентиментализмъ вспыхнули послѣднимъ самымъ яркимъ огнемъ, прежде чѣмъ угаснуть. Гоголь великъ не только тѣмъ, что онъ завоевалъ для словеснаго творчества новыя области жизни; онъ великъ и тѣмъ, что старые литературные приемы довелъ до художественнаго совершенства.

Но идя еще по старой дорогѣ, онъ былъ уже предвѣстникомъ новаго. Уже въ его романтическихъ повѣстяхъ проглядывала его необычайная способность живописать съ натуры. Детали и мелочи жизни дѣйствительной художественно размѣщались на страницахъ, полныхъ романтическаго пафоса или сентиментальнаго чувства. Реальная тенденція въ его творествѣ начала сказываться рѣшительно и быстро. Она сначала не различала въ жизни важнаго отъ неважнаго. Авторъ писалъ шутки въ родѣ «Носа» и «Колыска», выбиралъ темой для своихъ этюдовъ совсѣмъ глухіе уголки жизни въ родѣ тѣхъ, которые описаны въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и въ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», но всѣмъ этимъ работамъ самъ авторъ не придавалъ особеннаго значенія и всю силу своего юмора и реального письма сосредоточилъ на цѣломъ рядѣ драматическихъ произведеній, съ которыхъ и началась исторія нашей бытовой комедіи. Комедія Гоголя — это было нѣчто новое, созданное въ новомъ стилѣ и не имѣвшее себѣ параллели въ нашей литературѣ. Если въ чемъ нашъ авторъ былъ новаторъ, такъ это, именно, въ комедіи, которая стала теперь самостоятельнымъ родомъ художественнаго творчества, а не литературной формой для сатиры, чѣмъ она была раньше. Реализмъ въ искусствѣ одержалъ свою первую рѣшительную побѣду и за ней послѣдовала вторая и послѣдняя.

Гоголь пожелалъ въ одномъ цѣльномъ связномъ романѣ соединить всѣ свои наблюденія надъ русской жизнью; онъ задумалъ создать поэму, въ которой Россія предстала бы со всѣми ея пороками и добродѣтелями, ея тьмой и свѣтомъ. Но въ самый разгаръ работы надъ этимъ трудомъ онъ самъ начиналъ изнемогать отъ душевнаго разлада, которымъ болѣла его романтическая душа, ве примирившаяся съ тѣми тѣневыми сторонами жизни, которыя ему были такъ хорошо видны. Отъ этого разлада пострадалъ, прежде всего, его талантъ бытописателя и реалиста, и художникъ успѣлъ закончить лишь первую часть задуманной имъ грандіозной работы. Но и этотъ отрывокъ былъ великъ силою своей ху-

домашней правды. Если авторъ не всегда выдерживалъ тонъ, начиналъ иногда пророчить, вѣщать и наставлять, если въ компоновкѣ романа и въ развитіи дѣйствія было нѣчто условное, напоминавшее приемы старыхъ «сравнительныхъ» романовъ, если, наконецъ, многіе образы приближались къ типамъ слишкомъ общимъ и собирательнымъ, то зато какъ широка была сама картина и сколько въ ней было детальныхъ этюдовъ, сценовъ, шутокъ, художественно передающихъ жизнь, если не всѣхъ, то очень многихъ сословныхъ группъ того времени. Ни отъ одного памятника тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ не вѣло такъ дыханіемъ жизни, какъ отъ «Мертвыхъ Душъ», въ которыхъ хоть и не вполне были исчерпаны всѣ высшія формы нашего стараго помѣщичьяго и чиновнаго быта, зато схвачена его сущность, его главные стимулы и мотивы.

Мастерству реального письма училъ насъ до Гоголя еще Пушкинъ, и одновременно съ Гоголемъ—Дерригоновъ. Но картина русской жизни, набросанная нашимъ сатирикомъ была несравненно полнѣе и шире, чѣмъ все, что было въ этомъ направленіи создано его предшественниками и современниками. Только прочитавъ Гоголя, мы могли сказать, что ознакомились со многими страницами той, еще до сей поры не дочитанной книги, которая называется русскою жизнью.

Но говоря о Гоголѣ, какъ о бытописателѣ и юмористѣ, нужно помнить, что эта сторона его таланта всегда находилась во враждѣ съ основными чертами его характера и со складомъ его ума. Гоголь имѣлъ сердце всегда сентиментальное и религиозно настроенное, фантазію богатую, но романтически-восторженную, умъ въ значительно большей степени синтетическій, чѣмъ аналитическій. Приходится удивляться, что при такой душевной организаціи онъ могъ такъ часто забывать себя, проливать слезы тогда, когда хотѣлось плакать, рассказывать тогда, когда хотѣлось разсуждать и говорить о всякой житейской мелочи и пошлости, когда душа такъ и рвалась къ возвышенному и вѣчному. Теперь, когда намъ известны вся его жизнь и его интимныя думы, мы понимаемъ, что рано или поздно романтическія силы его духа должны были пересилить въ немъ способность спокойно и юмористически относиться къ жизни. Страннымъ можетъ показаться не этотъ поворотъ отъ наблюдения надъ жизнью къ суду надъ нею, отъ ироніи къ молитвѣ, отъ анализа настоящаго къ предвкушенію будущаго; нѣтъ ничего страннаго и въ томъ, что при такихъ условіяхъ процессъ творчества сталъ для писателя извурительнымъ и безплоднымъ, что вмѣсто живыхъ образовъ художникъ сталъ создавать лишь символы, что, наконецъ, онъ осудилъ все имъ раньше созданное, и сталъ просить у Бога особой къ себѣ благодати

для того, чтобы вновь начать создавать все съзнавая. Все это естественно и понятно; необычной может показаться лишь та богѣзненность, съ какою этотъ процессъ совершался въ душѣ Гоголя. Поэтъ страдалъ, онъ былъ боленъ отъ этихъ душевныхъ волненій художника, не находящаго словъ для обступившихъ его мыслей и нависшаго надъ нимъ настроенія. Но эта богѣзненность и есть показатель совѣтъ особой «пророческой» организаціи поэта, которая бываетъ вся потрясена и въ минуты наплыва восторга и въ минуты отлива, и Гоголь былъ подвижникъ своей религіозно-нравственной идеи и вѣрилъ, что онъ апостолъ. Вотъ почему онъ сталъ такъ самоувѣренно говорить со своими соотечественниками обо всемъ: объ ихъ обязанностяхъ въ отношеніи къ Богу, къ царю, къ родинѣ, къ семьямъ, къ ближнему равному и ближнему рабу; и онъ очень сердился и сокрушался когда увидѣлъ, что всѣ эти совѣты, которые онъ въ 1847 году огласилъ въ печати какъ «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» не встрѣтили должнаго сочувствія.

Онъ былъ удрученъ этимъ неуспѣхомъ своей проповѣди и смирился: причину неуспѣха сталъ онъ искать не въ другихъ, а въ себѣ самомъ; онъ удвоилъ посты и молитвы, онъ сталъ истязать свою плоть, чтобы придать духу особую силу и святость, и, доведя свой духъ до значительной высоты религіознаго созерцанія, онъ въ конецъ разрушилъ свое тѣло.

Умиралъ онъ съ самымъ тяжелымъ сознаніемъ, что онъ безсиленъ словами выразить то, чѣмъ было полно его сердце. Онъ создавалъ себя вполне одинокимъ и не видалъ вокругъ себя человѣка, которому онъ могъ бы довѣрить свои думы.

А между тѣмъ его даръ переходилъ по наследству къ его законнымъ наследникамъ. Но Гоголь не призналъ ихъ. Въ то время, какъ онъ такъ мучился со своими неизреченными словами, его ученики стали продолжать его дѣло художника. Почти въ тотъ же годъ, когда онъ огласилъ свою переписку съ друзьями, были написаны первые «Разказы Охотника» Тургенева, «Сонъ Обломова» Гончарова, «Бѣдные люди» Достоевскаго и «Банкротъ» Островскаго. Художникъ-реалистъ не могъ найти лучшихъ наследниковъ. Трудная задача претворенія въ поэзію всей русской жизни во всемъ ея богатствѣ и разнообразіи, со всеми ея мрачными и свѣтлыми сторонами, начала разрѣшаться, но тотъ, кто мечталъ такъ пламенно объ ея разрѣшеніи и такъ много для этого сдѣлалъ, уже не интересовался этой задачей. Онъ умеръ, сляясь забыть о всѣхъ своихъ чисто-литературныхъ побѣдахъ.

Но кромя него никто не забылъ ихъ; и сердечное желаніе художника все-таки исполнилось: если общество невнимательно отнеслось къ назначенію своего любимаго писателя, то именно его литературные труды оказали читателю большую нравственную поддержку и, какъ мечтавъ ихъ неблагодарный авторъ, способствовали не мало его нравственному а потому и общественному возрожденію.

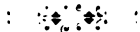
И въ самомъ дѣлѣ, не одной своей красотой были сильны творенія Гоголя, въ нихъ была еще и иная сила, которая давно за ними признана. Ее обыкновенно опредѣляютъ словомъ «обличеніе». Принято говорить, что какъ обличитель пороковъ, слабостей, пошлости, косности и всякихъ иныхъ личныхъ и общественныхъ недуговъ—Гоголь былъ однимъ изъ передовыхъ нашихъ общественныхъ дѣятелей, и, конечно, никто никогда не отниметъ у него этой нравственной заслуги передъ отечествомъ.

Но при ближайшемъ ознакомленіи съ его творчествомъ видишь, что его сила заключалась не въ одномъ только обличеніи. Сатирикъ былъ въ сущности очень мягкій человекъ (т.-е. мягкій не въ отношеніяхъ къ людямъ, которые, наоборотъ, часто жаловались на его эгонизмъ, а мягкій въ томъ смыслѣ, что онъ могъ легко самъ себя разжалобить и поднять со дна своей романтической души цѣлую волну нѣжности), а мы видѣли, какъ много состраданія обнаружилъ онъ ко всѣмъ людямъ, которыхъ обличалъ въ своихъ твореніяхъ. Онъ находилъ слова извиненія и оправданія для самыхъ порочныхъ, онъ даже не любилъ говорить о порокахъ и предпочиталъ говорить лишь о слабостяхъ, а всегда предрасполагалъ читателя въ пользу подсудимаго. Не столько обличеніемъ грѣшниковъ приводилъ онъ людей къ сознанию своей грѣховности, сколько тѣмъ, что будилъ въ нихъ чувство жалости къ ближнему, обездоленному не по своей винѣ или самого себя обездолившему; и тѣ, которые продолжали его работу, какъ художника, были и въ этомъ смыслѣ его наследниками. Какъ сатирики-обличители, наши писатели пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ превзошли Гоголя въ силѣ ударовъ, которые они наносили пороку; превзошли его и въ силѣ любви и состраданія къ униженнымъ и оскорбленнымъ.

И не только печаль Гоголя о чужихъ грѣхахъ, но и скорбь его о своихъ личныхъ недостаткахъ, столь рѣзко проступившая наружу въ послѣднее десятилѣтіе его жизни (1842—1852), имѣла общественную и нравственную цѣну.

Къ какимъ бы консервативнымъ или безплоднымъ въ общественномъ смыслѣ взглядамъ ни приходилъ самъ писатель въ эти годы покаянія и самоистязанія духа, какъ бы онъ ни сердилъ читателя своимъ

сентиментальнымъ оптимизмомъ, все-таки его *совѣстливое* отношеніе къ каждому своему слову и чувству имѣло воспитательное значеніе. Не соглашался съ Гоголемъ въ выводахъ, которые онъ выдавалъ за истину, читатель не могъ не отдать должнаго той строгости къ самому себѣ, съ какой нашъ моралистъ эту истину отыскивалъ. Совѣстливое отношеніе художника къ нравственнымъ проблемамъ жизни передавалось неволью каждому, кто задумывался надъ его словомъ или надъ его трагичной судьбой.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. Народныя черты характера Гоголя.—Его настроеніе въ дѣтствѣ.—Страстности этого настроенія.—Школьная жизнь.—Мечты о своемъ призваніи и планы будущаго	1
II. Литературныя опыты въ школь.—Неоконченныя историческія повѣсти.—Идиллія „Ганцъ Кюхельгартенъ“.—Ея содержаніе и біографическое значеніе.—Туманныя идеалы.—Впечатлѣніе, произведенное Петербургомъ.—Неудача съ идилліей.—Выгство за границу.—Тревожное состояніе духа и успокоеніе.—Возвращеніе въ Петербургъ и поступленіе на службу.—Работа надъ „Вечерами на Хуторѣ“.—Ихъ выходъ въ свѣтъ въ 1831 и 1832 гг.	9
III. Критическая мысль двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, недовольная старыми литературными традиціями.—Требованіе народнаго и самобытнаго творчества.—Мнѣнія, высказанныя по этому вопросу Кюхельбекеромъ, Вестужевымъ, Сомовымъ, кн. Вяземскимъ, Веповитиновымъ, Кирѣевскимъ, Полевымъ и Надеждинымъ	24
IV. Наша дѣлательность и ея бытописатели.—Отраженіе современной жизни въ творчествѣ Крылова, Жуковского, Ватюшкова, Грибоедова и Пушкина.—Второстепенныя литературныя силы: Нарѣжнѣй, Вулгаринъ, Вѣгичевъ, Ушаковъ, Лажечниковъ, Загоскинъ, Марлинскій и Полевой.—Значеніе ихъ романовъ въ дѣлѣ сближенія искусства и жизни	66
V. Народная старина и народный бытъ въ памятникахъ словесности.—Повѣсти Погодина.—„Вечера на Хуторѣ“; смѣшеніе въ нихъ романтизма съ реализмомъ.—Отступленія отъ бытовой правды; фантастическое; идеализація.—Отзывы критики о „Вечерахъ“.—Автобіографическое значеніе этихъ повѣстей	101
VI. Семь лѣтъ жизни въ Петербургѣ (1829—1836). Религіозное настроеніе Гоголя и мысли о своемъ призваніи.—Отношеніе къ людямъ.—Гоголь на поискахъ службы: учительство и профессура.—Колѣбанія въ приемахъ творчества.—Романтикъ энтузіастъ въ борьбѣ съ бытописателемъ-юмористомъ.—Гоголь въ кружкѣ Пушкина	117
VII. Статьи Гоголя по вопросамъ объ искусствѣ; ихъ личностнѣйшій тонъ.—Гоголь какъ литературный критикъ.—Жизнь и истинный міръ ху-	

дожинка въ повѣстяхъ того времени.—Повѣсти и драмы кн. В. Ѳ. Одоевскаго, Кукольникка, Полевого, Тимофѣева и Павлова.—Повѣсть Гоголя „Портретъ“; значеніе ея въ исторіи развитія взглядовъ Гоголя на искусство. — Райладъ мечты и дѣйствительности, какъ онъ изображенъ въ повѣстяхъ Гоголя „Невскій Проспектъ“ и „Записки сумасшедшаго“ 134

III. Увлеченіе Гоголя исторіей; романтическая подкладка этого увлеченія. Приемы его работы. — Чего онъ требовалъ отъ исторіи и историка. Любовь Гоголя къ среднимъ вѣкамъ. — Религіозная и консервативная тенденція въ его историческомъ міровоззрѣніи. — Литературная обработка историческихъ сюжетовъ: „Ал-Мамунъ“ и „Альфредъ“. — „Жизнь“. — Занятія Гоголя исторіей Малороссіи; его увлеченіе пѣснями. Неоконченная повѣсть объ Острицицѣ. — „Тарасъ Бульба“; реализмъ въ деталяхъ повѣсти и романтизмъ въ замыслѣ. — Наша историческая повѣсть времени Гоголя: Пушкинъ, Наръжмій, Марлинскій, Загоскинъ, Лажечниковъ и Полевой. — „Тарасъ Бульба“, какъ лучшій образецъ исторической повѣсти романтическаго стиля 180

IV. Постепенное торжество реализма въ творчествѣ Гоголя. — „Віа“. — „Староивлѣцкіе помѣщики“. — „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“. — „Ночь“. — „Коляска“. — „Петербургскія записки 1836 г.“. — Выходъ въ свѣтъ „Арабесокъ“ и „Миргородъ“. — Отзывы критики. — Значеніе повѣстей Гоголя въ исторіи развитія его творчества. 211

Наша комедія до Гоголя; ея малая художественная стоимость и въ очень рѣдкихъ случаяхъ большая стоимость общественная. — „Недоросль“ Фонъ-Визина и „Ябеда“ Капниста среди бездѣтной комедіи XVIII вѣка. — Водевиль и легкая комедія александровскаго царствованія; Крыловъ, Хмѣльницкій, кн. Шаховская и Загоскинъ. — Малая идейная стоимость этихъ комедій. — Вѣрность и глубина сатирическаго взгляда на современную жизнь въ сатиру Грибоедова. Паденіе театра въ концѣ двадцатыхъ годовъ. Общественные вопросы, затронутые въ ненапечатанныхъ драмахъ Лермонтова и Бѣлинскаго. — Комедіи Квитки: „Дворянскіе выборы“ и „Пріѣзжій изъ столицы“ 224

Взгляды Гоголя на смѣшное въ жизни; „шутка“ и облагораживающій нась „смѣхъ“. — Гоголь, какъ обличитель общественныхъ пороковъ; отсутствіе либеральной тенденціи въ его сатиру. — Первые мысли о комедіи; одновременная работа надъ тремя сюжетами; трудность и длительность этой работы. — „Игроки“. — „Женитьба“; обзоръ типовъ и общественный смыслъ комедіи. — Остатки отъ неоконченной комедіи „Владиміръ третьей степени“; „Утро дѣдоваго челоуѣка“; „Тяжба“; „Отрывокъ“ и „Лакейская“. — Выведенные въ нихъ типы и затронутые вопросы 240

Исторія текста „Ревизора“. — Вопросъ о совпаденіяхъ съ другими комедіями. — Художественное значеніе „Ревизора“. — Отсутствіе въ комедіи либеральной тенденціи. — Ея нравственный смыслъ и поясненіе этого смысла, данное авторомъ. — Первое представленіе „Ревизора“ въ Петербургѣ и Москвѣ. — Умныя Гоголя и его жалобы на зрителей. —

Толки и обвинения; отзывы на них Гоголя. — Отзывы критики: статьи Бугарина, Сенковского, Андреева, кн. Вяземского, Седебреннаго, критика „Молвы“ и Валинского. Значение комедій Гоголя въ истории развитія его творчества

306

XIII. Гоголь за границей (1836 -1841). Повышеніе въ немъ чувства красоты; увлеченіе Италіей и Римомъ. — Гоголь и католицизмъ. — Повышеніе религіозности и самооптѣнн; ближайшіе ихъ источники: подъемъ вдохновенія и болянь. Смерть Пушкина. — История боляни Гоголя и его выздоровленіе. — Талантъ бытописателя и усиленіе враждебныхъ ему мыслей и настроеній; послѣдняя побѣда таланта

291

XIV. Литературная дѣятельность Гоголя въ 1837—1842 годахъ. — Новые планы и труды, и переработка стараго: Крушеніе литературныхъ плановъ въ старомъ романтическомъ стилѣ. Неудача съ „запорожской“ трагедіей. Неоконченная повесть „Римъ“: ея автобиографическое значеніе. — Полное торжество реализма въ творчествѣ Гоголя; окончательная отдѣлка комедій; усиленіе реальныхъ чертъ въ прежнихъ романтическихъ повѣстяхъ: „Портретъ“ и „Тарасъ Бульба“. — Повесть „Шинель“: ея грустный юморъ. — Апологія смѣха и юмора въ „Театральномъ Развѣдѣ“

306

XV. Работа надъ „Мертвыми Душами“; быстрый ростъ сюжета. Планъ поэмы; отраженіе на немъ этическихъ, патристическихъ и религіозныхъ взглядовъ автора. — Первая часть „Мертвыхъ Душъ“: царство ничтожныхъ людей и обѣщанія автора. Вторая часть „Мертвыхъ Душъ“ и частичное исполненіе обѣщаннаго

325

XVI. Прѣздъ Гоголя въ Россію въ 1841 г. Хлопоты съ цензурой по заданію „Мертвыхъ Душъ“. Большевнее состояніе и первое настроеніе писателя. Религіозное просвѣтленіе духа. Гоголь среди западниковъ и славянофиловъ; его сношенія съ кружкомъ Аксакова и съ Валинскимъ. Значеніе произведеній Гоголя для обѣихъ партій. Отъздъ Гоголя изъ Россіи въ 1842 году. Выходъ въ свѣтъ полного собранія его сочиненій

354

XVII. Вопросъ о „первомъ“ русскомъ реальномъ романѣ. Права на первенство Пушкина, Лермонтова и Гоголя. — Психологическій романъ того времени: Лермонтовъ, Герценъ, Марлинскій, Ганъ и Жукова. — Нравоописательный романъ. Романы Квитки. — Разные общественные круги въ изображеніи нашихъ беллетристовъ. Свѣтскій и дворянскій кругъ въ столицѣ и въ деревнѣ въ повѣстяхъ Лермонтова, кн. Дюбюсскаго, Марлинскаго, гр. Соллогуба, Загоскина, Сенковского, Бугарина, Даля и Гребенки. — Военные типы въ повѣстяхъ Лермонтова, Марлинскаго, Даля, Полевого и Павлова. Типы чиновниковъ у Даля, Вьгичева и Гребенки. — Жизнь литераторовъ въ изображеніи Полевого, Сенковского и Загоскина. Повѣсти изъ быта мѣщанскаго, купеческаго и крестьянскаго. Положеніе, занимаемое повѣстями Гоголя среди всѣхъ этихъ памятниковъ

370

XVIII. Отзывы критики о „Мертвыхъ Душахъ“: разногласіе отзывовъ и ихъ неполнота. Сила впечатлѣній, произведеннаго на общество сочиненіями Гоголя. Отзывы „Сѣверной Пчелы“, „Библиотеки для Чтенія“

„Литературной Газеты“, „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“, „Русскаго Вѣстника“, „Москвитянина“, „Сына Отечества“ и „Отечественныхъ Записокъ“	401
XIX. Сила личности Гоголя. — Краткій обзоръ исторіи его творчества. — Общественное и нравственное значеніе этого творчества; обличеніе и состраданіе. — Воспитательное значеніе совѣтливаго отношенія автора къ самому себѣ	426



ЗАМѢЧЕННЫЯ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ.

На стр. 62 напечатано:

Этой свободой интеллигентное общество широко воспользовалось. Въ немъ можно было встрѣтить...

Слѣдуетъ читать:

Въ немъ можно было встрѣтить.

На стр. 96—97 напечатано:

Его «Вечеръ на Кавказскихъ водахъ», «Аммалъ-Бекъ» и позднѣе «Мулла-Нуръ» — лучшее, что до Лермонтова было у насъ написано о Кавказѣ.

Слѣдуетъ читать:

Его «Рассказъ офицера, бывшаго въ плену у турковъ» и т. д.

На стр. 132 напечатано:

Этой силы не было въ поэзи Жуковского.

Слѣдуетъ читать:

Силы не было въ поэзи Жуковского.

На стр. 171 напечатано:

Жизнь теряла тотъ постепенный привлекательный образъ.

Слѣдуетъ читать:

Жизнь постепенно теряла тотъ привлекательный образъ.

На стр. 304 напечатано:

Въ такомъ родѣ поэтическихъ образовъ давалъ себя чувствовать нашему поэтъ тотъ страшный посетитель, который нисколько нисколько не смущалъ послѣ кончины Велеторскаго напугать его самого на смерть.

Слѣдуетъ читать:

Который *случилъ* годъ послѣ кончины и т. д.

На стр. 325 напечатано:

Какъ памятники искусства, первая часть «Мертвыхъ душъ» и тѣ отрывки которые увидѣли отъ второй величины неизмѣримыя.

Слѣдуетъ читать:

...величины *несоизмѣримыя*.

На стр. 336 напечатано:

Нашъ моральность *смыслил* сейчасъ же смягчить.

Слѣдуетъ читать:

Нашъ моральность *смыслил* сейчасъ же смягчить.

На стр. 341 напечатано:

Здѣсь мы въ царствѣ бумаги, черновой и *бллой*.

Слѣдуетъ читать:

...бумаги черновой и *бллой*.

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 02754 2292

The KALMBACHER
BOOKBINDING CO
CERTIFIED
LIBRARY MATERIAL
TOLEDO, OHIO



Digitized by Google

